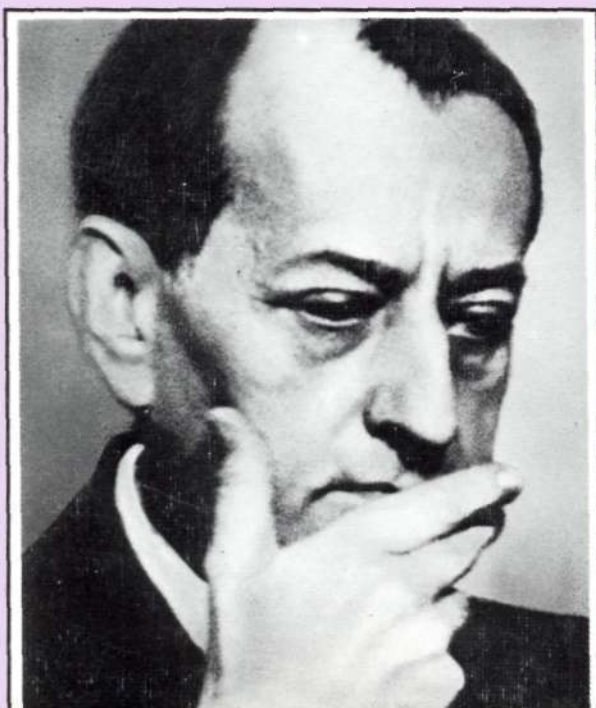


Андре МАЛЬБРО

Зеркало лимба

Годы презрения. Антимемуары.
Веревка и мышцы. Надгробные речи.



Андре МАЛЬБРО

Мы осознали судьбу так же глубоко, как осознавал ее Восток, но для нас она куда более многолика и соотносится с роком древности, как наш музей с коллекцией памятников античности. У нашей судьбы иные масштабы, чем у мраморных теней, она — Призрак XX века, и именно в противоборстве с нею пробует утвердить себя нарождающийся вселенский гуманизм.

Цель любой культуры — сохранить, обогатить или преобразовать, не нанеся ему ущерба, идеальный образ человека, унаследованный теми, кто его в свою очередь творит. У нас на глазах народы, одержимые будущим, — Россия, Американский континент — все внимательнее вглядываются в прошлое именно потому, что культура — это определенное качество мира, полученное в наследство.

Озирая кладбище мертвых ценностей, мы обнаруживаем, что ценности живут и умирают в зависимости от судьбы. Высшие ценности, так же как человеческие типы, их воплотившие, — защитники человека. Каждый из нас ощущает, что святой, мудрец, герой воплощает победу над уделом человеческим.

Искусство — это антисудьба.

("Голоса безмолвия")





Берт Лами-Мальро
и Фернан Мальро —
родители писателя





Андре в возрасте
четырех лет

Андре в мушкетер-
ском костюме





Отец

С отцом (1917)



На военной службе

В годы работы
над романом «Удел
человеческий»





Клара и Андре
Мальро в
Индокитае
(1923)

С. М. Горьким
(1934)





Мадрид (1936)

В небе Испании







Между полетами



Обложка романа
«Удел человеческий»



В момент получения
Гонкуровской премии
(1933)

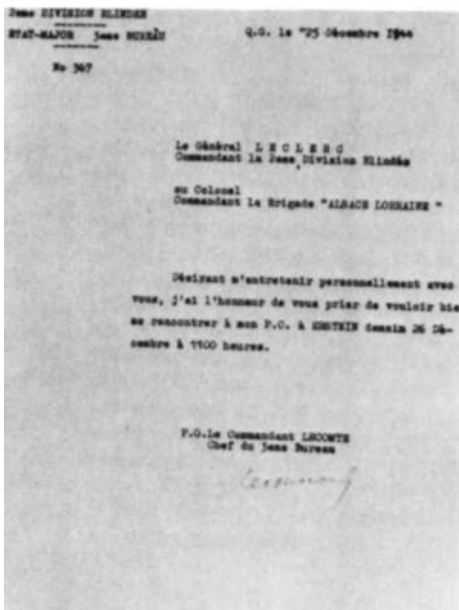
Кадр из фильма
«Надежда»

С С. М. Эйзенштей-
ном во время
подготовки
к съемкам фильма
«Удел человече-
ский»





А. Мальро и А. Жид перед
вручением петиции в защиту
Г. Димитрова



Под именем
полковника Берже
в бригаде
«Эльзас-Лотарингия»

Донесение генерала
Леклерка полковнику
Берже (1944)

В боях в Вогезах





1945

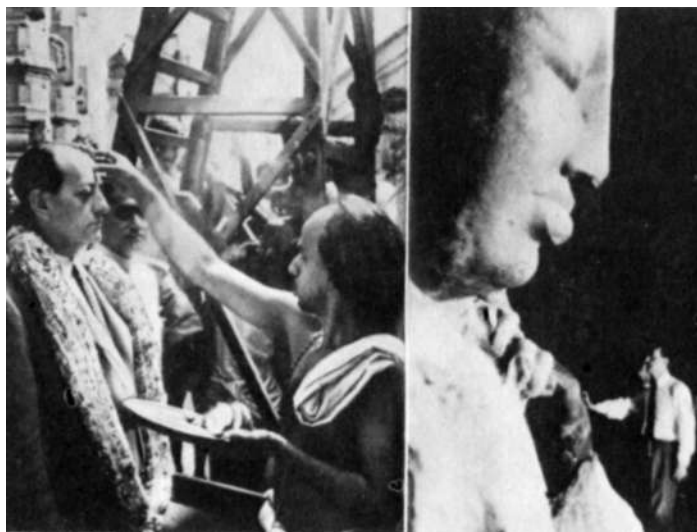


С генералом де Голлем (1946)



С. Д. Неру (1958)

В Индии (1958)



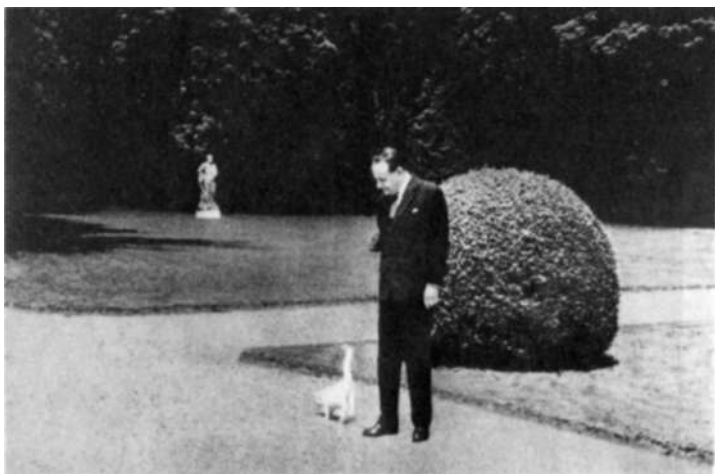


Министр культуры (1967)



Доктор honoris
causa Оксфордско-
го университета

В «Ла Лантерн»
(резиденции
министра культу-
ры) в момент
выхода «Антимему-
аров» (1967)





Среди манифестантов от
«Союза демократов в защиту
республики» (1968)



На похоронах Ш. де Голля
(1970)



За чтением воспоминаний
об О. Мандельштаме (1971)

Mon cher - Je réponds d'abord aux questions de
votre lettre :

a) Le cache n'est naturellement pas fondamental.
L'essentiel est de demander ce que se appelle l'attitude
passive. Mais le cache n'est pas non plus accidentel.
Je meis qu'il y a dans une époque donnée ~~de~~ peu
de lieux où la condition d'un telisme possible n
trouvent réunies.

b) Le son positive est peut-être excessif. Je ne dirai pas
comment faut-il vivre, mais : comment faut-il essayer
de vivre.

Mais la question par moi-même n'est pas tout à fait
ainsi. Je ne expliquerais un jour en termes affirmatifs, et
qui ne rompent pas le lien : il y a d'abord un doute
de la conscience. L'homme se pose, mais il n'est nullement
nécessaire qu'il le fasse (et beaucoup ne le font pas) de
devenir essentiel est dans l'opposition de deux systèmes
de pensée, l'un qui tend à mettre l'homme et la vie en
question, l'autre qui tend à supprimer toute question par
une série d'activités. Spinoza contre Leibniz. Disons, pour
simplifier, qu'il s'agit de reporter en termes précis
le rapport de la vie et de la pensée. Ce ne viendrait avec
la vie, comme le souff... Je ne salue que manquez la plume.
C'est dans l'accomplissement de la vie que se trouve la dignité
fondamentale de la pensée, et toute pensée qui jure, bé
nigne est l'ennemi s'occulte de qu'elle est autre chose
qu'un espoir. Il faudrait maintenant songer à :

Mais de votre côté de. J'en ai reçu un peu, mais...
Je ne suis sûr de celle qui témoignent d'une intelligence
et d'un intérêt pour la vie. Ce n'est, à priori, à une
sympathie

André Malraux

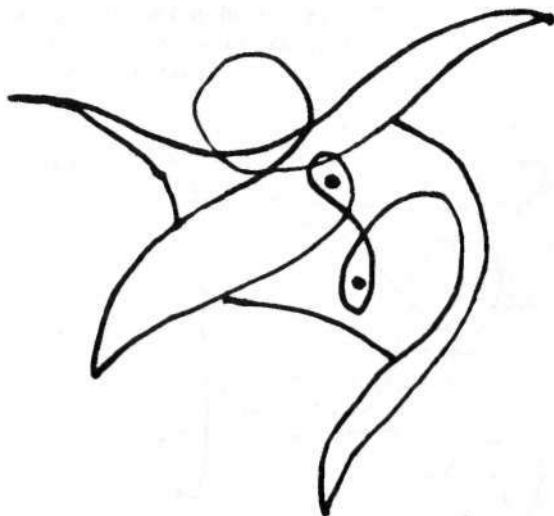
Страница рукописи
с автографом

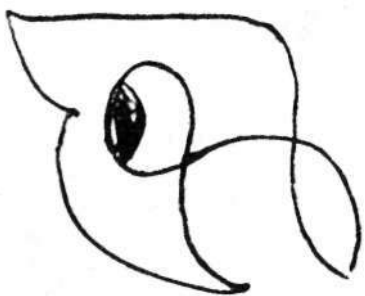
Одна из подписей
писателя, любившего
кошек



Рисунки писателя:

Чертов критик
искусства

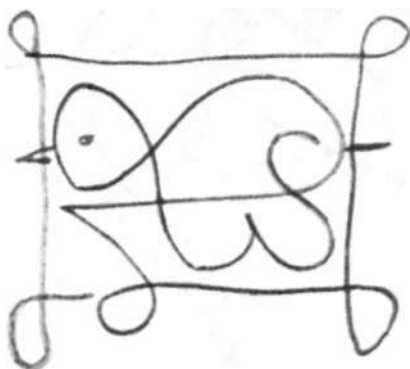




Удивление



Сраженный лис



Цыпленок на вертеле

И·З*К·Н·И·Г

МОСКВА «ПРОГРЕСС»

**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ, Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР

Андре МАЛЬРО



Зеркало лимба



Художественная публицистика

Перевод с французского



Москва «Прогресс» 1989

ББК 84.4Фр
М21

Составитель *к. ф. н. Е. П. КУШКИН*
Автор предисловия *д. ф. н. Л. Г. АНДРЕЕВ*
Авторы комментариев *к. ф. н. Г. В. ФИЛАТОВА, к. ф. н. Е. П. КУШКИН*
Художник *В. И. ЛЕВИНСОН*
Редактор *Т. В. ЧУГУНОВА*
В работе над сборником принял участие *д. ф. н. Ю. П. УВАРОВ*

Мальро А.

М 21 Зеркало лимба: Сборник: Пер. с фр. / Сост. Е. П. Кушкин; Авт. предисл. Л. Г. Андреев. — М.: Прогресс, 1989. — 520 с, 1,5 л. ил. — (Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза).

Творческая биография французского писателя, видного государственного деятеля Андре Мальро (1901—1976) неразрывно связана с важнейшими историческими событиями 20—70 гг. XX века, непосредственным свидетелем и участником которых он был. О многом и впервые так широко поведаст советскому читателю Мальро — человек действия, антифашист, сподвижник де Голля, яркий публицист: о своих юношеских поисках истины в обществе, отмеченном «смертью богов» («Искушение Запада»), о радости обретения человеческого братства в годы гражданской войны в Испании и второй мировой войны («Антимемуары»), о перипетиях деголлевского правления («Веревка и мыши»), о своем понимании искусства. Помимо воспоминаний, статей в сборнике представлена художественная проза писателя (повесть «Годы презрения», отрывок из романа «Удел человеческий»), образчики его ораторского искусства («Надгробные речи»). Почти все вошедшие в сборник материалы на русском языке публикуются впервые.

М 470300000—430 76—89
006(01)—89

ББК 84.4Фр

ISBN 5—01—001582—X

© "Antimémoires", "La corde et les souris" — Gallimard.

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык, кроме отмеченного в содержании *, художественное оформление издательство «Прогресс», 1989.

У роковой черты, или Зеркало лимба



Знаменитый французский писатель Андре Мальро (1901—1976) на закате своей жизни приступил к изданию большого, итогового труда под названием «Зеркало лимба». Образ лимба в его поэтическом и метафизическом осмыслении приковывал к себе Мальро как образ видимого края необозримого и загадочного пространства, как образ роковой черты, у которой стоит человек, размышляя о своей жизни и о своей смерти. «Меня в моей судьбе завораживает движение по черте, отделяющей жизнь от бездонных глубин, возвещающих о смерти», — писал Мальро в «Зеркале лимба». Жизнь — это «бытие относительно смерти», по убеждению Мальро, и лимб предстает вратами этой истины, преддверием инобытия, окрашивающего человеческое существование мрачными красками неумолимого исхода. Но лимб одновременно — символ конца и символ начала, так как для писателя, жаждущего преодолеть рок, лимб обретает значение «антисудьбы», значение вечности, отвоеванной у смерти разумом и искусством¹.

¹ Безотносительно к тому, имел в виду Мальро или нет «Божественную комедию» Данте, поэма помогает расшифровать туманный символ. У Данте лимб — «круг первый», он расположен «у края». С лимба начинается движение по всему миру теней, начинается приобщение к этому миру и одновременно — к бессмертию. В лимбе собрались носители бессмертной мысли, бессмертных шедевров искусства, там и Аристотель, и Сократ, и Платон, и Гомер, и Гораций, там сам Вергилий. В компании великих подошел к «роковой черте» и Андре Мальро: в «зеркале лимба» — «отражение» и де Голля, и Пикассо, и Неру, и Мао Цзэдуна, с которыми о жизни и о смерти беседует писатель.

Не раз оказывался «у роковой черты» и сам Мальро — бунтарь, революционер, боец Сопротивления. И это не просто факты его биографии. Ядром своей эстетики Мальро сделал понятие пережитого — *vécu* — и не очень-то фантазировал в своих произведениях. Он непременно присутствовал в них, был их единственным главным героем, оставался таковым, что бы ни писал — эссе и романы, воспоминания и «антиме-муары», книги о пережитом и книги об искусстве. Его творчество — словно множество зеркал, улавливающих и отражающих одну и ту же судьбу, все то же движение по роковой черте лимба, какое бы название, какое бы имя ни давалось каждому из отражений — будь то вымышленные персонажи романов, будь то подлинные политические деятели, персонажи воспоминаний Мальро.

Навязчивая одержимость «роковой чертой» — отражение исторической достоверности в жизни и творчестве Андре Мальро. Достоверности XX века как границы, рубежа человеческой истории, как преддверия. Мальро, надо отдать ему должное, как сейсмограф редкой чувствительности, ощущал свое время, социальную атмосферу эпохи, ее бури и грозы, перемены политического климата. Поистине «встреча Мальро с Историей стала историей Мальро»¹. Особая социальная чувствительность позволила ему оценить значение политики в XX веке и решающую роль социальной практики. Практика менялась — менялся и Мальро. В первый период его творчества, в 20—30-е годы, главной его темой была революция. Во второй период, после второй мировой войны, когда все, по его убеждению, стало определяться фактом существования атомной бомбы и лагерей уничтожения, главной темой стало искусство.

«Бытие относительно смерти» — идея, которую вместе с тем Мальро унаследовал в традиции западного пессимизма и нигилизма, в традиции Фридриха Ницше. На основе этой идеи Мальро интерпретировал XX век как абсурдный мир, время смерти богов, утраты идеала и смысла, осознания одиночества и обреченности человека. Конкретный историзм и догматизм, динамика и статика, питаюсь одновременно реальностью нашего времени и мифом XX века, образуют главное противоречие Мальро.

По сути своей идеи Мальро должен быть замкнут на отдельном человеке, на его призвании и его судьбе — но этот отдельный человек не может не апеллировать к другим людям, к человечеству. Противоречие разрешалось благодаря постоянному присутствию Мальро в его произведениях, благодаря

¹ G. Picon. Malraux. P., 1974, p. 19.

публицистичности его искусства. Мальро называл свое творчество «непрерывным размышлением». Публицистика для него была не родом занятий, а осуществлением призвания. Кем бы он ни казался — романистом, философом, теоретиком искусства, — он был публицистом, и развитие его шло от философской публицистики к публицистической эстетике.

И в то же время разговор Мальро с другими, с человечеством — это форма своеобразного «диалогизированного монолога». В опустошенном, лишившемся веры мире писатель осознает себя самого в роли ушедшего бога, в роли носителя истины. Утративший бога мыслитель унаследовал стиль его мышления. Диалог при этом допускался — но в рамках «диалогизированного монолога». Монолог, правда, трансформировался по мере движения Мальро; в итоге своей эволюции он все же научился слушать других — но к возражениям так и не привык...

* * *

Первая встреча Андре Мальро с Историей состоялась в 20-е годы. Родился он в Париже, там же учился, как будто (не все известно о первых шагах будущей знаменитости, как, впрочем, и о последующих) изучал археологию и восточную культуру, работал в книжной лавке, приступил к издательской деятельности. Примыкал к авангардистским группировкам, в частности в дадаистской манере исполнены его первые литературные опыты («Бумажные луны», 1921, и др.).

Мировоззрение Андре Мальро в немалой степени определялось послевоенной атмосферой. Клара Мальро, жена писателя, лучше кого-либо знавшая, какие именно импульсы усваивались его восприимчивой натурой, писала: «Мы из числа тех, кому лгали властители дум, кому лгали родители... Мы жили в мире неуверенности, сомнений, перемен. Каждый за себя. К кому примкнуть, если не к себе самому, еще не знающему, что ты собой представляешь?.. Что есть добро? Что есть зло?..»¹ Таким образом, сама практика как будто сразу же подтвердила жизненность того символа веры, который навязывался ей усвоенной Мальро традицией западного мышления. Такая диалектика одновременного опровержения и подтверждения догматики сопровождает весь процесс «непрерывного размышления» Мальро. Мысль проверялась и корректировалась практикой — но и социальная практика оценивалась мыслью, пристрастной и требовательной даже в силу своей догматичности.

Вначале было Слово. Но ведь так было тогда, когда слово

¹ С. Malraux. Le bruit de nos pas., P., 1966, t. II, p. 195.

было божьим. Бога не стало — не стало начала всех начал. В опустошенном мире началом могло стать лишь Дело.

Андре Мальро с дела и начал. Летом 1923 года он отправился на Восток, в Камбоджу. Возможно, к тому его побудила востоковедческая подготовка. Несомненно, серьезные материальные затруднения и надежда на легкую добычу. Традиция учила и этому — отношению к Востоку как месту приложения деловой энергии «западного человека» («синдром Лоуренса»). Без особенных трудностей сумел Мальро изъять три горельефа из заброшенного кхмерского храма. Трудности пошли потом — искателя кладов арестовали, осудили на три года. Организованная во Франции кампания в защиту подающего надежды литератора помогла сократить срок наказания. Затем он вновь на Востоке, издает газету «Индокитай», атаковавшую колониальные власти. Во время поездки в Гонконг попадает в Кантон, где только что закончилась забастовка.

Восток во многом определил структуру мысли писателя. Здесь тоже действовала традиция: рубеж веков, от «Происхождения трагедии» Ницше до «Заката Запада» Шпенглера, оперировал категориями «Европа», «Запад», предполагавшими определенную симметрию в виде «Востока», «Азии». Совсем еще молодым, до своих приключений в Юго-Восточной Азии, Мальро начал писать книгу «Искушение Запада». Она была опубликована в 1926 году и оказалась его первым значительным произведением, точкой отсчета его творческого пути.

«Искушение Запада», эти новоявленные «персидские письма», — первый «диалогизированный монолог» в творчестве Мальро. Построена книга в виде переписки двух молодых людей, француза А. Д. и китайца Линя. Первый из них оказался в Китае, второй — в Париже. Двоеголосие в этой книге — условность. Оба голоса звучат в унисон с общей оценкой, при некоторых различиях исходящей из одного источника. Китаец Линь — это взгляд европейца на самого себя со стороны, француз А. Д. — взгляд изнутри, самокритика Запада. Словом, монолог, не слишком даже диалогизированный. В эссе «О европейской молодежи» (1927), примыкающем к «Искушению Запада», следы диалога и вовсе стираются, поглощаются монологом. Однако это такой монолог, который предполагает ответную реакцию, во всяком случае — аудиторию. Мальро не предается академическим медитациям, плотно прикрыв входную дверь: даже ранняя его эссеистика воспринимается как некий социальный акт, как начало действия, как осмысление предпосылок поведения данной размышляющей личности.

Трудно говорить о философии Мальро в привычном смысле этого слова, скорее это осмысление ситуации, даже переживание ситуации. Его «я» не просто носитель мысли, не

всегда к тому же оригинальной, оно принадлежит типу «западного человека», являет собой самый наглядный пример — пример характерной «отдельной судьбы», — то есть в недрах эссеистики Мальро содержится зародыш романа. И не силлогизмом завершается «Искушение Запада», а впечатляющей картиной бедственного существования данного «я» на «великом кладбище Европы». «Отдельная судьба» напомнила о себе исповедью, признанием в трагической судьбе, образом «себя самого», приобщенного к «искушению Запада».

Мысль Мальро глобальна, он оперирует понятиями рас и цивилизаций, прошлого и настоящего. Суть всех размышлений — признание абсурда основополагающим признаком западной цивилизации. «Западный человек» поистине оказался «у роковой черты». Утрата идеала и смысла бытия сделала его участь трагичной, разлад между личностью и цивилизацией приобрел катастрофический характер. Утративший связи с общностью, подверженный своей индивидуальной судьбе, а значит, обреченный, «западный человек» по этим своим признакам противопоставлен «восточному человеку», подчиняющемуся «общему ритму».

При всех издержках усвоенной и наложенной на реальность концепции (корреспонденты даже не ищут подтверждения ей в наблюдаемой ими реальности Запада и Востока) в ней содержится немало весьма точных, хотя и абсолютизированных характеристик буржуазного общества XX века. В потерявшем идеал обществе воцарилась поверхностная, суетная жизнь, деловитая, но угнетающе прагматическая. «Западный» (то есть буржуазный) человек принимает за истину некую условную реальность, все меряет размерами своего дела и честолюбивой мечтательностью, все упрощает, классифицирует, разум его трудится впустую.

Боги умерли — остался человек, и смыслом его действий оказывается определение собственного «я», из собственного «я» исходящее. Этому «я» невозможно придать четкие контуры, и, соответственно, его невозможно типологизировать в строгой философской системе. «Единственность» не подвластна аналогиям, ей не отыскать подобия, без чего не установить закономерности, не познать и не обуздать судьбу. Но в глубинах этого «я» творится образ этой неповторимости, оно так и просится в герои романа, оно типологизируется эстетически.

И «Искушение Запада», и «Европейская молодежь» в сущности своей введение в философию художественного творчества. Цивилизация, себя самое пожирающая после крушения богов и позитивного, научного знания, увековечивает себя только в искусстве. Предпосылки действия реализуются в ро-

мане как модели поведения «западного человека». Он сам, этот человек, и перебирается на страницы первых романов Мальро в том облике, который обрел в эссе. Следовательно, одновременно и автором, претворяющим свое миропонимание в картине абсурдного мира, и героем, занимающим в этой картине место носителя авторских идей. Роман вызревал в недрах эссеистики и читается как иллюстрация эссе — как «зеркало» идеи Мальро.

Оба романа 20-х годов — «Завоеватели» (1928) и «Королевская дорога» (1930) — имеют местом действия те регионы Востока, которые при разных обстоятельствах посетил Мальро. Как видно, он действительно писал о пережитом. Однако Восток появился и потому, что история Мальро становилась Историей — пережитое писателем осмыслялось в соотношении с поступью XX века. И хотя пережитое им приключение снабдило роман «Королевская дорога» сюжетом, начал он не с него, а с романа о революции. Сказалось умение Мальро слышать эпоху. Восточные обстоятельства потребовались писателю для демонстрации участи «западного человека». В Европе тех лет Мальро не нашел экстремальных условий, ни социальных, ни природных, способных проверить европейца в его единоборстве с судьбой. Напомним, однако, что только что миновала первая мировая война, первое не вызывающее сомнений подтверждение абсурдности «западного» бытия. В 20-е годы о мировой войне Мальро не писал, значит, писал о том, что так или иначе пережил. О войне он напишет позже, когда пройдет через 30-е годы, — следовательно, в 20-е годы образ «абсурдного мира» и «западного человека» в значительной мере был данью идеологической традиции, данью ницшеанству.

Гарин, герой «Завоевателей», и Перкен, герой «Королевской дороги», поразительно похожи друг на друга, хотя один из них — участник социальных боев, а другой — авантюрист. «Не определять Революцию, а ее делать» — так соотносил Мальро мысль и действие, ибо из философии абсурдного мира и невозможно извлечь определения революционного дела, ибо для Мальро в 20-е годы революция была одним из тех дел «западного человека», в которых он противостоял своему уделу. С матриц «новой философии» можно отпечатать множество вариантов подобных «дел», и каждое из них совершается относительно мира внешнего, но направлено на себя, поэтому цель и смысл действия значения не имеют. Коль скоро дело в том, чтобы схватиться с роком и в этой схватке, в этом единоборстве ощутить себя, утвердить себя, продлить себя, — несущественно, совершать ли революцию или же грабить старинные храмы. С абсурдом пока еще не справиться ни

Перкену, ни Гарину, и тот и другой «у роковой черты», оба обречены, смертельно больны, оба идут навстречу своей смерти как на главное дело своей жизни, в котором находят стимулы для действия, для самой жизни — «жизни относительно смерти».

Однако «самый главный для Гарина вопрос гораздо менее состоит в том, каким образом можно принять участие в революции, нежели в том, как избежать того, что зовется абсурдом»¹, — комментировал Мальро свой роман «Завоеватели» вскоре после его публикации (речь «Бунт и Революция», 1929). Таким образом, участие в революции еще не связалось в сознании Мальро с преодолением абсурда, но преодоление абсурда уже мыслилось как задача писателя. Не случайно Мальро рассуждал о Гарине как о достаточно определенном типе бунтаря, соотносил его бунтарство с революционностью большевика Бородина, уточнял, что именно их сближает, а что разделяет. Сочиненный Гарин был для Мальро исторически подтвержденной достоверностью.

Речь Мальро «Бунт и Революция» завершается надеждой на то, что Гарин может быть примером, он рассуждает об этическом значении этого примера «выхода из абсурда в человечность». Пока еще, в 20-е годы, надежда на такой выход сформулирована, можно сказать, в дополнении к творчеству, а не в самом творчестве, Бородин держится за сцену и на судьбу «западного человека» не влияет, Гарин обречен, отчаянный пессимизм «Королевской дороги» как будто делает надежды утопическими, а смерть закрепляется в статусе единственной достоверной истины. Однако встреча с Историей состоялась, возник хотя и малозаметный, но все же зазор между автором и протагонистом, который позже позволит Мальро назвать Перкена «отрицательным героем». Зазор возник от созревшего подспудно желания «избежать того, что зовется абсурдом».

Вот почему выход к 30-м годам был не столь внезапен, как может показаться при простом сравнении «Королевской дороги» и «Надежды» (1937). Тем не менее он означал существенную трансформацию «западного человека». Эта трансформация превратила Андре Мальро в символ времени, в символ политически ангажированной западной интеллигенции. Как и другие, Мальро вынужден осуществлять свой выбор в действии политическом. Абсурд обрел черты фашизма, а смерть, оставаясь обязательным условием человеческого существования, человеческой природы, приблизилась к социальной драме, ввязалась в нее, смерть — это гибель рево-

¹ "Magazine littéraire", octobre 1967.

люционера от руки фашиста, смерть — это война. На языке социальной практики — антифашизмом, солидарностью в борьбе, братством товарищей по оружию стал именоваться и гуманизм.

Эти слова вошли в лексикон Мальро, в его публицистику 30-х годов. В отличие от предыдущего десятилетия она имеет конкретную политическую цель, политически определенный адрес. Не с «западным человеком» говорит Мальро, а с «товарищами», соратниками, антифашистами, да и сам Запад в представлении писателя раскололся, в нем определилось то, что умирает вместе со «старым обществом». Соответственно жанр эссеистики вытесняется речами, обращениями, предисловиями, разными формами непосредственного разговора, рассчитанными на немедленный эффект, на совместное политическое действие.

Одиночество теряет метафизический смысл — одинок в фашистской тюрьме Димитров, одинок арестованный фашистами Тельман, одинока республиканская Испания. Этим одиночкам, жертвам политической реакции, пытается помочь, пуская в ход всю свою энергию, свой дар агитатора и организатора, Мальро — один из руководителей Всемирного антифашистского комитета, Лиги борьбы с антисемитизмом.

Признак существенных перемен — Мальро в 30-е годы непрестанно обращает свой взор в сторону Советского Союза. Там вырисовываются, считает он, очертания новой цивилизации. Она возникает благодаря усилиям возрождаемого «человеческого братства», «мужественного братства» соратников по общей участи и общей борьбе. В этой борьбе преодолевается наконец тяжелое заболевание Запада — индивидуализм. Увлекла Мальро и советская культура (не только литература — он неоднократно ссылается на Эйзенштейна) как зеркало новых социальных процессов. Самое красноречивое свидетельство возникшего у Мальро интереса к СССР — приезд в Москву и участие в работе Первого съезда советских писателей. Трибуну съезда Мальро счел достаточно высокой для обнародования своих программных заявлений, в том числе и для подтверждения приоритета политики в его тогдашних интересах.

В Испании Мальро появился через несколько дней после франкистского путча. Французское правительство, следуя «принципу невмешательства», отказалось поставлять оружие Республике. Мальро удалось купить несколько самолетов, создать интернациональные экипажи. Эскадрилья под его командованием сыграла свою роль в боях, тем более заметную, что на стороне Франко была почти вся армия, которой противостояла плохо вооруженная и необученная рабочая ми-

лия. Одновременно Мальро развернул пропагандистскую кампанию в поддержку революционной Испании. Ее частью был поставленный им фильм «Надежда».

В 30-е годы Мальро было не до эстетики. Тем не менее в его размышлениях приметны новые акценты. В речи «О культурном наследии» Мальро говорит об искусстве как о средстве овладения судьбой и, следовательно, преодоления рока. Культурное наследие «помогает жить» — ранее на такую помощь Мальро и не надеялся, его герой мог рассчитывать только на себя, лишь на иллюзию продления своего бытия перед лицом не преодолимой никоим образом судьбы.

И еще один новый и важный акцент: «В произведении Сезанна в счет идет Сезанн». Такое соображение будет развиваться писателем в его поздних трудах об искусстве, приобретая ключевое значение для определения роли искусства как «антисудьбы». Ключевое значение приобретут и наблюдения Мальро над важнейшим, с его точки зрения, процессом репродуцирования шедевров, превращения их благодаря фото, кино, радио во множество доступных каждому копий. В 30-е годы этот процесс оценивался Мальро очень высоко, как процесс демократизации, сближения искусства и народа, движения к «сопричастности» на основе универсальных гуманистических ценностей.

Один из выводов, следовавших из ключевой мысли — «в произведении Сезанна в счет идет Сезанн», — обозначился именно в 30-е годы и отвечал пафосу активности того времени. «В счет идет Сезанн», поскольку созидательная активность художника направлена на то, чтобы «себя превзойти». Прошлое помогает жить в настоящем, так как на вопросы, настоящим поставленные, помогает ответить. А это значит, что традиция обрела созидательную, гуманистическую направленность, что «судьба преобразуется осознанием», то есть намечается возможность ограничить власть рока, отвоевать жизненное пространство для утверждения достоинства, «качества человека», себя самого способного превзойти. Свое место в этом сотворении человека занимает теперь революция, «предоставляющая человеку возможность обрести достоинство».

Закономерно, что 30-е годы стали для Мальро эпохой романов — «Удел человеческий» (1933), «Годы презрения» (1935), «Надежда» (1937), «Орешники Альтенбурга» (1941). Романов специфических — первого проекта «антисудьбы», дающего возможность «себя превзойти» приобщением к революционному действию и одновременно к искусству, в котором такое приобщение и совершается и в котором «в счет идет» Мальро, то есть романов с «особым измерением»,

остававшимся константой его мысли и творчества при всех превратностях и трансформациях.

Мальро говорил: «Я верю, что с того времени, как христианство потеряло значение основы мира, романист, вслед за философом, — хочет он того или нет — предлагает некий пример образа жизни, и предлагает его в соответствии с незблемым качеством, тесно связанным с литературным творчеством, в соответствии с особенным измерением, не существующим в жизни»¹.

Роман есть роман, то есть во всех случаях «особенное измерение», несводимое, само собой разумеется, к жизни. Однако у Мальро речь идет об ином, не о специфике искусства, а о своеобразии его функций в лишенном смысла, абсурдном мире, — функций, которые определяют «особенное измерение» искусства Мальро как художника этого мира, пусть и «превзошедшего себя» приобщением к революционному действию. Следовательно, и в 30-е годы налицо характерные противоречия писателя.

Свидание с Историей, несомненно, преобразовало его романы. Конкретно-историческая, политическая реальность насытила их, трансформировала жанр, вплоть до возникновения признаков романа-хроники. Обобщенно-притчевое место действия — улицы Кантона в «Завоевателях» не отличаются, по существу, от лесных чащ «Королевской дороги», являя собой арену схватки с судьбой, — сменяется исторически достоверными обстоятельствами, будь то революционный Китай («Удел человеческий»), фашистская Германия («Годы презрения») или война в Испании («Надежда»). Монолог Мальро диалогизируется за счет анализа реальной социальной среды, персонажи утрачивают одноликость, звучат разные голоса, идеи обретают живые и разнообразные лица, а в «Надежде» целый хор таких голосов, целая портретная галерея в своей совокупности выражают истину испанской революции.

Все герои Мальро — люди действия. Утрата активности для них смерти подобна. Но есть разница между культом действия как такового, действия «у роковой черты», относительно стимулирующей его и во всех случаях неодолимой смерти — и действием, стимулированным высокой социальной и нравственной целью, достижение которой кажется делом возможным хотя бы потому, что смерть не обязательно обрывает, замыкает индивидуальную судьбу. Революционер может умереть так, как умирает Кио в романе «Удел человеческий»: «чтобы придать смысл своей жизни».

Но даже в «Надежде» «в счет идет Мальро», дает о себе

¹ "Magazine littéraire", octobre 1967.

знать «особенное» и «незыблемое» измерение его искусства, его «непрерывного размышления». Даже в «Надежде» за сценой, на которой разыгрываются социальные драмы, слышится грозный голос рока, и в этом братстве товарищей по оружию каждый умирает в одиночку, поскольку революция преобразует всех, но не каждого, не добирается до глубин индивидуального. К тому же спектакль вскоре завершился, гармония «себя превосходящего» художника и «превосходящей себя» действительности нарушилась, образ реальной жизни, питавший романы Мальро, потерял значение примера — «примером» перестал быть и сам роман Мальро. Роль «антисудьбы» стало играть искусство — Мальро приступил к сооружению «Воображаемого Музея искусства».

* * *

Вторая мировая война. Мальро в танковых частях французской армии. Затем плен, бегство из плена. В 1941 году пишет последний свой роман, лишь часть которого («Орешники Альтенбурга») сохранилась, остальное, по заявлению автора, было уничтожено гестапо. С 1943 года — маки, опять плен, сражения во главе бригады «Эльзас-Лотарингия». В начале 1945 года состоялась встреча Мальро и де Голля. Осенью того же года писатель возглавил министерство информации в созданном де Голлем правительстве, оказавшемся недолговечным (до января 1946 года). В 1958 году де Голль стал президентом Франции, а министерство культуры вскоре возглавил Мальро — бунтарь, революционер, занятый «побелкой стен» почерневшего от времени Парижа. Это была послевоенная сенсация!

Мальро, конечно, изменился, но менялись и времена. «Западный человек» оказался втянутым уже не в революционные войны, а в войны за национальную независимость. В Соппротивлении Мальро, по его словам, «обрел Францию», «обручился с Францией». Понятие судьбы отождествилось с «судьбой Франции», а значит, перестало быть метафизическим «человеческим уделом». Иным стало наполнение достоинства — это честь, мужественное братство, вкус которого Мальро ощутил еще в «годы презрения». Пустота «печального заката» заполнилась бесчисленными ценностями человеческого духа, ценностями культуры. Закатные краски стерлись, отступили. Тем более что «обручение с Францией» не превратило Мальро в националиста: все нации, повторял он, участвуют в общем для всех деле спасения цивилизации.

В этом пункте мысль Мальро прозвучала истинно пророчески. Навязчивая идея кризиса и заката Западной Европы

казалась все же априорной, почерпнутой в традиции нигилизма и скептицизма. Однако обнаружилось, что сосредоточенность на идее абсурдности человеческого бытия позволила Мальро уловить в действительности важнейшие тенденции, уловить до того, как они были широко и по достоинству оценены. Мальро опередил многих. Уже давно в его размышлениях появилось понятие «атомного века».

Атомная бомба и лагерь, предназначенные для унижения и уничтожения множества ни в чем не повинных людей, стали для Мальро обозначением исторического рубежа. Более чем реальная угроза гибели цивилизации в результате атомной войны — таков факт, и своевременное осмысление этого факта превращало Мальро из мифотворца в реального политика. Более чем реальные факты уничтожения людей в лагерях смерти придавали гуманизму Мальро необыкновенную весомость и своевременность.

«Истинное варварство — это Дахау, истинная цивилизация — это прежде всего то в человеке, что лагеря пытаются уничтожить» — такое приближение понятия цивилизации к реальной истории, к участи любого человека знаменовало очищение мысли Мальро от метафизического снобизма. И закономерно, что в финале «Антимемуаров» Мальро как к провидцу, как к современнику обращается к Достоевскому, к рассуждениям о цене прогресса, о неизменности проверяющих цену мира страданий и о надежде, рождающейся в мире униженных и оскорбленных.

В 20-е да и в 30-е годы мысль Мальро сталкивалась с Историей, которая властно вторгалась в мир «западного человека», его ломая, его трансформируя, порождая трагические коллизии, драматизм судьбы индивидуума. Драматизм возникал от несовпадения исторического ритма и ритма индивидуальной судьбы, чурающейся историзма как фундамента современного мышления. «Обретение Франции» помогло Мальро осознать как величайшее открытие современности «единство мира», осознать смысл этого единства, его гуманистические основы. Объединяющий ритм Истории — от индивидуального к общему, от национального к общечеловеческому. Сопrotивление приобретает в этой панораме значение стержня человеческой истории, значение реализации человечности. О героях маки, как и о тех простых женщинах, которые «испокон веков» приносили хлеб сражавшимся героям, Мальро говорил с пафосом. Так устанавливается эстафета добра и чести, извечный ритм человечности — от макизаров к Жанне д'Арк, к героям Эллады.

Однако даже «обретение Франции» не освободило Мальро от противоречий. Истоки их в противоречивой и драмати-

ческой реальности нашего века. Осознанное Мальро «единство мира» не помогало освободиться от кошмаров лагерей и атомных угроз. Он писал об «удивлении», которое испытывает, наблюдая ход истории, об удивлении и отчуждении. Надо отдать ему должное. С отменной проницательностью в пору эйфории, порожденной научно-технической революцией, он заметил: «Цивилизация машин и науки, самая могущественная из всех известных, не способна создать ни своего храма, ни своей гробницы».

Мальро вновь и вновь возвращается к мысли о «смерти богов», о смене основанной на вере цивилизации цивилизацией технократии и безверия. Это его удручает. «Общество инфузорий», общество, «подвластное инстинктам и мечтаниям примитивным», грозит стать будущим человечества¹. И Мальро делает ставку на искусство как на единственный в этом обществе способ сохранения и передачи истинных ценностей.

Так у позднего Мальро сложилось противоречивое, но закономерное сочетание реализма и романтизма. Его занятия и увлечения в послевоенные годы — и министерская деятельность, и деятельность теоретика культуры, и увлечение Францией, и увлечение де Голлем — лишь кажутся разбросанными, на самом деле они взаимосвязаны так, как связаны романтизм и реализм «удивленного» Мальро.

Центральное место соответственно занимают в творчестве Мальро 40—70-х годов эссе об искусстве и «Зеркало лимба» как особый тип воспоминаний. Его Мальро определил названием первого тома всей этой серии — «Антимемуары» (1967). «Антимемуары» одновременно воссоздают и пересматривают, «перечитывают» прошлое, освещают его в зеркалах настоящего. «Антимемуары» — жанр «диалогизированного монолога» в творчестве Мальро, еще один вариант «непрерывного размышления».

В «Зеркале лимба» ощутима идея «края бытия», зависимости человеческого существования от рокового предначертания, вращающего колесо истории. Так и писатель вновь и вновь возвращается к пройденному пути, себя перечитывает, редактирует, переиздает, как если бы роковая черта преградила его путь. Все, что вошло во второй том «Зеркала лимба», в книгу «Веревка и мыши» (1976), — это переиздание «Поверженного дуба» (1976), «Лазаря» (1974), «Статуэтки из обсидиана» (1975). И все о «роковой черте» — беседы с де Голлем, умершим в 1970 году («с де Голлем можно говорить о Франции или о смерти»), беседы с Пикассо (умер в 1973 году), размышления, инспирированные собствен-

¹ Antimémoires P., 1967, p. 348.

ной болезнью. И в «Антимемуарах» Мальро пообещал встречу с «человеком, который соотносится с вопросами, поставленными смертью перед бытием».

«Зеркало лимба» — своего рода «роман в романе», «роман» писательского «я» в контексте Истории, в «романе» реальной действительности. Грань реального поэтому порой зыбка, подправляется воображением, и его плоды могут занять свое место рядом, наравне с фактами, исторически достоверными.

И все же «Зеркало лимба» — реалистический, «исторический» ряд «непрерывного размышления» Мальро. Отличие «антимемуаров» от мемуаров он сам видел в том, что они «выражают индивидуальный характер меньше, чем особые связи с миром». Конечно, по своему обыкновению Мальро охотнее всего слушает себя, как, впрочем, охотно слушают его знаменитые собеседники, которых он провоцирует своими вопросами, себя самого проявляя и подтверждая в этих отражающих его зеркалах. И все же «воспоминания вступили в диалог», Мальро научился слушать и слышать эпоху. Меж собой говорят в его книге люди, культуры, страны, эпохи; разговор этот определяет композицию произведения и интерпретацию реальности, из реальности прежде всего исходящей. Диалог стал выражением жизненной диалектики, способом снятия метафизики «западного человека», формой познания «связей с миром».

И здесь присутствуют Запад и Восток. Но это уже не миф о «человеке западном» и «человеке восточном», а глубокое, можно сказать, профессиональное проникновение в нравы, культуру, историю, политику и Запада, и Востока. Чего стоит воссоздание исторической реальности через мастерски написанные образы великих политических деятелей современности! Бог умер — остался человек, а человеку пришлось взвалить на себя тяжкую ношу: Мальро неизменен в своем пристрастии к такому человеку, к значительной, великой личности. Смысл величия с течением времени изменился, мифологического Перкена сменили личности исторические, в которых писателя привлекает и индивидуальное, и типическое: «Де Голль одержим Францией, как Ленин был одержим пролетариатом, Мао — Китаем, Неру — Индией».

Особое место в ряду выдающихся политических деятелей занимает, естественно, Шарль де Голль. Для Мальро де Голль — это и есть Франция, ее судьба, ее предназначение. Мальро совершенно не беспокоило то, что вызывало тревогу у Сент-Экзюпери, с опаской взиравшего на политическую амбициозность и тоталитаристские замашки генерала. Как и для Франсуа Мориака, для Мальро образ де Голля раз и

навсегда был определен выступлением 18 июня 1940 года, обращением к французам с призывом к сопротивлению оккупантам. Затем все, что де Голль делал, что он говорил, представлялось Мальро событием историческим, предопределяющим если и не настоящее, то будущее Франции.

«Обретение Франции», собственно, приковало Мальро к политическому деятелю, отождествившемуся в его представлениях с самой Францией. «Во имя Франции» пригласил его к сотрудничеству де Голль. Согласился Мальро без колебаний. После первого министерского портфеля в 1945—1946 годах он был активистом деголлевской партии, затем десять лет отдал министерству культуры (оставил министерство в 1969 году вместе с де Голлем, покинувшим пост президента).

В рамках более чем скромного бюджета министерства культуры Мальро пытался сделать все возможное для оживления культуры, возрождения традиций, повышения престижа Франции — организацией домов культуры, постоянных и временных экспозиций, даже «покраской стен». Свое значение имел престиж самого министра — знаменитого писателя, теоретика культуры, историка искусства. В годы начавшейся экспансии «американского образа жизни», на фоне тревожных признаков американизации французской культуры, деятельность Мальро воспринималась как прямое продолжение патриотической эпопеи периода Сопротивления, как форма борьбы за независимость и достоинство Франции. В этом Мальро и де Голль были действительно солидарны — известна роль де Голля в определении независимого курса французской политики. Тень выдающегося политика падала на Мальро — писатель придавал политике генерала облик утонченной интеллектуальности.

Сент-Экзюпери, для которого «пробным камнем» было «уважение к человеку», чутко и точно зарегистрировал теневые стороны деголлизма; Мальро не в состоянии был их заметить, его гуманизм не отмечался такой демократичностью, как гуманизм Сент-Экзюпери. Его можно упрекнуть в том, в чем он упрекал французскую интеллигенцию, — в склонности к «политической мифологии». Для Мальро де Голль — своего рода миф вечной Франции, миф ее предназначения.

Трезвый политик, Мальро не переставал созерцать Абсолют. Сама идея «общей основы» в немалой степени мифологична. В Бомбее Мальро перечитывает написанное им о французах, сражавшихся и умиравших в 1940 году; духовность Индии наводит его на размышления о партизанском духовнике. В мощной сцене танковой атаки сближаются все эпо-

хи, «века толкаются» и «я» чувствует себя «первым человеком», носителем истины той цивилизации, для которой «жизнь не имеет смысла», и одновременно носителем общности бытия человеческого. «Я» созерцает уже не только «руины Запада», но и ночное небо, которое одно и то же и в сегодняшнем Дели, и над садами Вавилона, и накануне Французской революции, и в канун Октябрьской революции. Сама реальность мифологична у Мальро — а мифы могут обрести характер «антимемуаров».

Или же облик легендарного генерала, который «не поддался року», — вполне реального и одновременно мифологизированного, романтизированного.

Или же облик искусства — романтический облик «анти-судьбы». Одновременно, полагал Мальро, были сделаны величайшие открытия: стало очевидным «единство мира» и был найден универсальный язык искусства, благодаря которому из лап смерти «нечто вырывается», а именно культура как единственный носитель надежды. Мальро сооружает «Воображаемый Музей искусства». Атомные реакторы вытеснили храмы — Мальро отдает свои силы строительству нового храма для нового божества.

Искусству Мальро посвящает целую серию капитальных трудов. Главные из них: «Психология искусства» («Воображаемый Музей», 1947; «Художественное творчество», 1948; «Цена абсолюта», 1950), «Воображаемый Музей мировой скульптуры» («Скульптура», 1952, «От барельефов к священным гротам», 1954, «Христианский мир», 1954), «Метаморфоза богов», 1957, «Бранный человек и литература», 1977. Эстетическими трудами назвать эти работы трудно, собственно теория искусства в них не содержится. Скорее это публицистическая эстетика или эстетическая публицистика, определение функции искусства в мире, лишившемся бога, определение искусства в соответствии с этой общественной функцией.

Благодаря репродуцированию, констатирует Мальро, шедевры бесконечно размножились, «музеи» стали доступны, вошли в каждый дом, открыв немыслимые ранее возможности познания. «Музеем» можно считать и книги Мальро, содержащие бесконечное множество фактов истории искусства различных времен и разных народов. «Хранитель» музея Андре Мальро поражает редкостной искусствоведческой эрудицией.

И тем не менее этот «хранитель» остается «западным человеком». Наблюдая свободный полет его мысли, мы ожидаем встречи с покладистым и терпимым человеком, но черты догматичности и фанатичности обозначаются, как только Мальро заговаривает о так называемом «современном искусстве».

По мысли Мальро, новая эра в искусстве начинается бла-

годаря репродуцированию и благодаря появлению «современного искусства». Случилось это «около 1860 года», «с пришествием «Олимпии» Мане (1863 год). Чтобы родилось «современное искусство», «должен исчезнуть сюжет, так как возникает новый сюжет, господствующее в произведении искусства присутствие самого художника». «Современное искусство» в реальности не нуждается: «Чтобы Мане мог написать «Портрет Клемансо», ему нужно было решиться стать всем, а Клемансо не быть ничем». Не в жизни, а в искусстве пребывает художник; в «музее», «библиотеке», в предшествующем искусстве выбирает он свои образцы. Искусство первично («истина»), а жизнь вторична («видимость»).

Можно подивиться, как неубедителен в рассуждениях о «современном искусстве» осведомленный и мыслящий писатель. Его аргументация рассчитана на эстетически не образованного читателя. Например, напоминание об общеизвестной истине, что искусство несводимо к реальности, из чего Мальро и делает вовсе не следующий из этого трюизма вывод о том, что искусство в реальности не нуждается. Втиснуть искусство XX века в прокрустово ложе «современного», то есть пренебрегающего реальностью, — значит просто исказить истинное положение дел. Ни на каком уровне красноречия — а уровень красноречия Мальро очень высок — невозможно убедить в том, что реализм всего лишь «полемическая идеология».

Такая заинтересованность, инспирирующая откровенную одержимость Мальро, — результат его попыток одолеть злой рок, заполнить пустоту мира. Оторвать искусство от реальности — значит, по убеждению Мальро, вернуть ему истинную ценность. Репродуцирование имеет такие же последствия, оно вырывает произведение искусства из власти истории, отрывает от времени — делает стилем. Стиль становится центральным понятием эстетики Мальро: «На вопрос «Что такое искусство?» мы готовы ответить: «Это то, благодаря чему формы становятся стилем».

А вневременной, царящий в художественной традиции стиль — это уже Абсолют, который может вступить в конкуренцию с умершими богами, с цивилизацией, на вере в бога основанной: «Художники так же обесценивают реальность, как обесценивает ее любой религиозный мир».

«Искусство — это борьба с судьбой», искусство — «анти-судьба». Вырваться из Истории — значит вырваться из цепких лап рока, беды, смерти. Удастся это искусству, благодаря воле Андре Мальро, без особенного труда, без дополнительных усилий, в силу своей специфики. Любое произведение искусства является, несомненно, организованной структу-

рой — следовательно, преодолением хаоса. Вот этой констатации для Мальро совершенно достаточно. Анна Каренина, рассуждает Мальро, претерпевает события, о которых повествует Толстой, они ею владеют, а читатель владеет ими — «между жизнью и ее художественным воспроизведением различие именно в упразднении судьбы». Всякое произведение искусства — «порядок, навязанный хаосу» согласно воле художника, который и выступает своего рода богом-творцом. Это «еще не религия, но уже вера». Благодаря этому «человек менее чувствует себя муравьем, чем в истинной жизни». Искусство отвергло мир, «который нами владеет и суть которого мы не знаем». Так наконец человек обретает свободу, отодвигает «роковую черту».

«Наше возрождение начинается с современного искусства». Однако путь к этому конечному выводу Мальро столь противоречив, что не помогает даже упрощенная по необходимости аргументация. Оторвав во имя своих задач искусство от реальности, обожествив внеисторический стиль, Мальро вернулся на стезю «чистого искусства», и отнюдь не случайно на память ему приходит Малларме, который уверовал, что мир существует, чтобы возникла книга. Однако сами по себе задачи Мальро далеки от «чистого искусства», от эстетства, которое не могло не казаться анахронизмом для писателя XX века, да еще обладавшего такой повышенной социальной чувствительностью.

Связи этого бунтаря, революционера, макизара, наконец, министра с реальностью столь органичны и крепки, что его рассуждения о «стиле» кажутся каким-то сбоем, нарушением ритма его собственной мысли. Однако это не сбой, это итог, высшая точка всего пути Мальро, последняя ставка «западного человека», сохраняющего верность гуманистической традиции. Он ведь хочет принести надежду в эпоху безверия, в «общество инфузорий», и вся его актуальность теперь, в конце XX столетия, на пороге грядущего века, — от этого высокого порыва. Но приносит Мальро еще один миф, еще одну утопию. Вряд ли пренебрегающее реальностью и историей искусство способно одолеть зло концлагерей и атомной угрозы. И не потому ли трезвый политик Мальро, отодвигая в сторону Мальро-романтика, так внимательно вглядывался в лицо де Голля, в лица других политических деятелей?

Поскольку искусство, по Мальро, противостоит жизни как особая сфера, наделенная таинственными полномочиями, «таинственной властью», эта стена разделяет «художников» и «нехудожников», к таинственным полномочиям не причастных. Резко заострив свою мысль против псевдоискусства, против «массовой культуры», этого бедствия XX века, Мальро

пригласил простого человека, «нехудожника», к созерцанию шедевров «Воображаемого Музея», призвал к познанию искусства истинного, его высокой социальной и нравственной функции — но категорически оттеснил «простого» от «причастных». В либерализме Андре Мальро зреет зерно крайней недемократичности — художник в эстетике уподобляется небызвестному генералу в его политике.

И не обещает ли «современное искусство» Мальро спасение от рока только лишь художникам, только «генералам», тогда как всех прочих, «нехудожников», ожидает незавидная участь пассивных зрителей в «Воображаемом Музее», заведомо обреченном «атомным веком»?

Леонид Андреев

Запад и Восток



ИСКУШЕНИЕ ЗАПАДА

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ

От Линя — А. Д.

Париж

Милостивый государь!

Я снова пишу вам о Риме. С тех пор как я покинул Рим и Афины, они живут во мне и, говоря другие, не те слова, понять смысл которых я туда ездил, все еще понуждают меня прислушиваться к ним. Все то, что я вижу в Европе, скорее, чем мои воспоминания, оживляет их образ. Об Афинах я вам не писал потому, что не нашел там никакой ясности. Я ждал, пока то, что мне хотелось обрести в Афинах, прояснится в моей душе. В новом городе прелесть ажурных перцовых деревьев едва смягчала досаду, какую вызывали во мне сооружения современности. Античный город — от него ожидал я откровения новой, неведомой чистоты — явил мне символ народа, увенчанного лаврами и воспитанного на крепостных стенах, и поверг меня в смятение; однако в мыслях, что возникли у меня во время путешествия, не найдется, наверное, ни одной, которая не была бы связана невидимыми нитями с этими разбитыми колоннами, с жесткой линией этого горизонта и не напоминала бы о маленьком, уютном и тихом музее в Акрополе, где старый грек, отставной военный, показал мне несколько камней — лучшее олицетворение Запада, какое известно мне на сей день. Он был влюблен в эти камни; поглаживал их, словно бедный коллекционер. Однако предпочитал им оливковое дерево богини, веточку с которого и вручил мне за праведную мзду. Поскольку не существует вечной красоты, то несомненно, что более великие тени скоро затмят вереницу теней прошлого, которые воплощали чистоту, а стали всего лишь прелестными образами. Но справедливо и то, что величайшие умы вашей расы прихо-

дят сюда искать ясный образ собственной сущности. Какая еще, столь же великолепная хвала может быть воздана мертвым, нежели паломничество людей с чистой душой, светлых и жаждущих познать самих себя?

Тем не менее эта гармония бедна, а эта чистота — всего лишь человекна. Несколько мгновений назад, когда из всех произведений искусства, что видел я в разных странах мира, мне вспомнился скромный музей в Акрополе, голова юноши с открытыми глазами невольно показалась мне аллегорией греческого гения, его глубоко скрытого смысла — стремления сделать мерой всех вещей продолжительность и насыщенность *одной* человеческой жизни. Почему на бюсте этого неизвестного юноши вы не начертали имя Эдипа *? Смысл истории Эдипа — борьба европейцев со сфинксом их собственных способностей. Чудовище — будь то дракон, сфинкс или крылатый бык — есть одно из отражений Востока, но также и отражение той части души, которую пыталась разрушить Греция, в ходе веков оно вновь появляется каждый раз, когда люди требуют от жизни большего, чем может им дать мысль. Погибнув в Фивах, чудовище возрождается в Египте, Согде и на границах Индии, где оно в свой черед одолевает Александра — этого скорбного Эдипа...

Отдельная человеческая жизнь. Для меня, человека Азии, весь греческий гений сводится к этой идее и порождаемому ею миру чувств. Здесь налицо акт веры. Грек верит, что человек обособлен от мира, подобно тому как христианин верует в неотрывность человека от Бога, как мы верим в связь человека с миром. Сущее упорядочено по отношению к человеку. Неповторимое отличие греческих богов, довлеющее над ними, состоит отнюдь не в том, что они человечески, а в том, что они индивидуальны. О значении человека, совершенстве, которого он способен достигнуть, нам, китайцам, известно, как и греку. Но мы постигали мир в его целом, были восприимчивы и к силам, из которых он состоит, и к человеческим порывам; в нашем уме идея рода человеческого уже преобладала над идеей человека. Греки мыслили человека как человека *единичного*, как существо, которое рождается и умирает. Течение жизни, которое для греков стало основной стихией вселенной, в мысли и эмоциональном складе китайцев имеет не больше значения, чем в мысли и чувствах европейцев имеет деление жизни на юность, зрелость, старость. На место сознания, я бы даже сказал ощущения себя частью мира, которое неизбежно предшествует совершенно абстрактному понятию «человек», греки поставили сознание бытия живого, цельного, отдельного существа на благодатной земле, где одухотворенными были лишь образы людей

и моря. Именно эта особая чувствительность, что порождается почти безжизненными пейзажами Греции, а не мысль, пронизывает все европейские образы. Запад с суровым ликом Минервы*, во всех своих доспехах, а также со всеми стигматами его будущего безумия, родился здесь. Ярость, которая поднимается в китайцах, способна, как вы утверждаете, нас погубить. Ярость, сжигающая европейцев, творит. «Мудрость в том, — внушают чародеи моей страны, — чтобы не пробуждать драконов, дремлющих под землей...» После гибели Сфинкса Эдип набрасывается на самого себя.

Когда обретаешь в Риме следы эллинов, он кажется уже не могилой Империи, а единственным на земле местом, где сила постепенно сменяет всеобъемлющее милосердие. Славит ли себя человек, вглядывается ли в душу свою — все равно семь холмов научат его покорности. Разве можно лучше понять вашу цивилизацию и ее ритм, чем вслушиваясь в разговор голосов жажды и высокомерия, которые слышишь в Греции и Риме — этих землях, усеянных обломками мраморных статуй? Мне было приятно видеть в городе ликторов* — весь его гений ушел на то, чтобы украсить фасцией победоносную секиру, — множество церквей, чьи внутренние колонны происходили из античных храмов. В этих церквях мне слышались голоса двух христиан: один пел хвалу Господу; другой глухо его вопрошал. И вопрошающий уже не стремился внушить человеку сознание тех из сил человеческих — от могущества до сладострастия, — что утверждают человека на земле, отделяя его от мира; свои сомнения, покаяния, свою внутреннюю борьбу, что составляет его жизнь, он наделял высшей ценностью и крайней напряженностью: он связывал с ними Бога. Безответственный человек Востока стремится возвыситься над конфликтом, который его не касается. Христианин *вообще не может* оторвать себя от этого конфликта; отныне Бог и христианин неразрывны, и мир предстает не чем иным, как никчемной декорацией их конфликта. К интеллектуальной муке греков, к бескорыстной тревоге, которые они обретали, пытаясь придать жизни гуманный смысл, прибавляются ваша тревога и ваши поступки слепцов; Бог являет себя вам в бурных чувствах, и, приводя их в порядок, вы тянетесь к нему. Тянетесь... Бог для вас — это душевное состояние; для нас, китайцев, — это ритм.

От Линя — А. Д.

В ответ на незначительное письмо

Париж

Милостивый государь!

Вы не правы, китайские народные верования наделяют жизнью не только жестокие страсти, но все страсти. Страсти — это и зыбкие тени, что по вечерам встают над рисовым полем или прячутся за фарфоровыми рыбками, что украшают крыши пагод; это и тени, что, словно преданные, злые псы, бредут следом за вами по размытым дорогам. Рожденные нами страсти бросают нас и уходят искать по свету своих бесчисленных, непохожих на них сестер. Великое множество этих страстей-духов перешептывается над осенней землей, сливаясь в шорох, который доносится из окутанных туманом лесов, где с размокших под дождем манговых деревьев размеренно падают тяжелые капли!..

Я не могу удивляться слабости европейских мужчин перед лицом их страстей. К слабости их толкает все: способ понимать и переживать время, их представление о самих себе. Любовь интересует меня больше любой другой страсти. Мне нравилось разгадывать, чем может стать мужчина. Сегодня предаваться этому занятию мне нравится гораздо больше, ибо антипатия, которую я питаю к Европе, не всегда защищает меня от европейского влияния и мне тоже любопытно представлять себя в образе европейца, пусть я никогда и не вживусь в него. И как иначе я смогу обрести самого себя, если не глядя на вас? Я и смотрю, как вы слегка теряете себя в любви, сожалея, что не в силах за вами последовать; чтобы потерять себя, надо в себя верить.

Мне кажется, вы придаете чрезмерное значение тому, что почти с согласия всех именуется реальностью. Созданный благодаря этому согласию мир — вас он устраивает потому, что от человека, который решил бы отрицать его, потребовалось бы большое мужество, — тяжело давит на вас. Страсть при вашем социальном порядке оказывается некоей удобной лазейкой. Какова бы ни была наша раса, мы, китайцы, знаем, что живем в обусловленных прошлым мирах, но своего рода дикая радость охватывает нас, китайцев и европейцев, когда зов наших глубинных потребностей раскрывает перед нами то, что есть в этих потребностях произвольного. Страстный человек находится в разладе как с тем миром, что порожден его разумом, так и с тем миром, в котором он живет, и пусть он предвидит страсть, это ничего

не может изменить. Человек, который хочет любви, хочет убежать от самого себя, и это такая малость; однако мужчина или женщина, которые хотят быть любимыми, которые стремятся, для собственного блага, избавить любимых от подчинения реальности, покорны, как мне представляется, столь мощной необходимости, что из нее я заключаю: *в душе европейского человека, подавляя его великие жизненные порывы, коренится изначальный абсурд.* А как вы думаете? [...]

А. Д. — Лилю

Мой дорогой друг!

Чрезмерное значение, которое мы были вынуждены придавать «нашей» реальности, без сомнения, является только одним из средств, к коему разум прибегает для обеспечения самозащиты. Ибо утверждения подобного рода скорее служат нам опорой, нежели объясняют нас. Люди на протяжении многих тысячелетий стремились отыскать пределы своих возможностей и свой образ и неизменно удовлетворялись лишь тогда, когда их поиски терпели крах. Они обретали себя в миру и в Боге. Те европейцы, которых вы могли наблюдать, ищут себя в самих себе. Остерегайтесь их речей.

Европа, усвоив понятие бессознательного и проявляя к нему всепоглощающий интерес, лишилась самой надежной своей защиты. Абсурд, неотразимый абсурд, обвивающий нас, словно змей древо добра и зла, окончательно никогда не исчезал, а теперь мы видим, как он уготапливает нам свои самые обольстительные игрища при преданном соучастии нашей воли. Если мы привычно судим другого человека только по его поступкам, то по отношению к самим себе мы этого не делаем; реален лишь тот подвластный контролю и измерениям мир, в котором суетятся другие люди. В нашем собственном мире властвует мечта с ее ожерельем побед. Достаточно несколько мгновений одиночества и скуки, чтобы в наших душах вновь пробудилось слабое воспоминание о великолепии нашего разума: высшая слава драм истории и искусства состоит в том, что они ежедневно разыгрываются в глубинах бесчисленных, безвестных умов. Ибо действовать только в мечтах — вот вся западная душа... Эти игрища, абсурдность которых показалась бы чудовищной, если бы не была пошла, оставляют в наших душах почти столь же неизгладимые следы, что и воспоминания. Разум создает идею нации, но эмоциональную силу ей придает общность людских мечтаний. Для нас братья те люди, чье детство убаюкивали эпопеи и легенды, которые властвовали и над нашим детством.

Каждый из нас чувствовал прохладу и туман в утро Аустерлица *, переживал тревогу того долгого мучительного вечера, когда в Версаль, где воцарилась тягостная тишина, впервые доставили хлеб, выпеченный из травяной муки *. Как много образов необходимо белым людям, чтобы наделить их национальной душой!

Чтение, зрелища служат людям, лишенным культуры, источниками их воображаемых жизней. Нет ничего бескорыстнее на свете, чем желание познать. У Запада, который не одурманивается опиумом, есть пресса. Газета, эта арена борьбы честолюбий-однодневок, то побеждающих, то терпящих поражение, владеет толпами, взирая на них незрячими зрачками! Именно это превращает существование людей нашей расы в обособленные друг от друга жизни. Ничто в них не откликается тем звуком, услышать который мы рассчитывали. Задумайтесь, мой дорогой друг, над тем, что среди европейцев нет человека, который в мечтах не покорил бы Европу. Какие возможности для презрения...

Нравится ли вам бурлеск? Если да, пойдите в кинематограф. Его безмолвное действие и быстрый ритм способны удивительным образом воздействовать на наше воображение. Понаблюдайте за людьми, когда они расходятся после окончания сеанса: вы заметите, что они повторяют движения персонажей, которых только что видели на экране. Как героически-решительно переходят они улицы! В уме европейцев, мой дорогой друг, скрыты девственно-чистые диски для фонографа. Отдельные движения, живо затрагивающие наши чувства, фиксируются на них. Стоит только нашему желанию или нашему безделью коснуться их, как любой из нас заводит собственную героико-комическую мелодию. Едва ли наша культура приукрасит эту мелодию и изредка доставит нам удовольствие — быть неотступно преследуемыми призраками изысканных любовниц...

Странное зрелище: безумие, созерцающее само себя. Одержимость властью, которой украшены великие личности, волнует нас больше, чем их дела, — благодаря последним они лишь достигают своих целей — и отделяет великие личности от их дел, как только несвоевременное вмешательство реальной жизни приводит великих к разладу с ней. Какое нам дело до Святой Елены * и до того, что Жюльен Сорель погибает на эшафоте!

Юный француз, которого час безделья превращает в Наполеона, повторяет взволновавшие его жесты императора, но мнит себя императором. Схемы прославленных биографий направляют его и на мгновение ломают его послушное воображение, которое в свой черед вдруг одолевает эти схемы.

Временами на это безумие опирается абсолютная ясность: мнимый генерал разрабатывает логически стройные планы и с помощью точных методов преодолевает предполагаемые трудности. Западные романы, кстати, прекрасно покажут вам, во что может превратиться мечтательность, требующая от разума средств, заставляющих принимать ее безрассудство.

Мы очерчиваем не один обманчивый образ себя самих, но множество образов — большинство из них едва намечены, — которых разум, хотя вычерчивались они с его помощью, не приемлет. Это проявляется в любой книге, в любой беседе; каждая новая страсть возрождает эти образы, которые меняются вместе с только что пережитыми нами радостями и нашими последними огорчениями. Образы эти, однако, достаточно устойчивы для того, чтобы оставить в нас тайные воспоминания, разрастающиеся до такой степени, что они образуют одну из важнейших составляющих нашей жизни — наше самосознание, которое так потаенно, так противоположно любым доводам, что само умственное усилие, стремящееся его охватить, приводит к исчезновению этого самосознания. Здесь нет ничего окончательного, ничего, что дало бы нам возможность определить, кто мы такие; это некая невыявленная сила... Так как кажется, будто нам не представилось лишь случая, чтобы в реальном мире совершить живущие в наших мечтах поступки, у нас сохраняется смутное ощущение не того, что мы их совершили, а нашей способности их совершить. Мы чувствуем в себе эту способность, словно атлет, который знает свою силу, не думая о ней. Жалкие актеры, которые больше не хотят отказываться от ролей великих людей, мы являемся для нас самих существами, в коих дремлет пестрая толпа инженеру, способных на все наши поступки и мечты.

Бытие этого самосознания, вскормленного не только обещаниями или надеждами одной человеческой жизни, но и сокровищами бреда, не может существовать в становлении, то есть быть кем-либо. Самосознание не подлежит никакому обсуждению. Если оно никогда не принималось в расчет, то лишь потому, что раздумья, предметом которых на Западе являлось «Я», главным образом сосредоточивались на неизменном характере этого «Я». Во всех этих рассуждениях неявно допускается, что в наше время «Я» отделено от мира. Китайцы, с которыми я беседовал, совершенно не принимают этого противопоставления; и должен признать, что меня оно не волнует. Сколь бы сильно я ни жаждал осознать себя самого, я ощущаю, что покорен хаотическому течению чувств, над коими я никак не властен: они зависят лишь от моего воображения и тех реакций, что им вызываются. Ибо и мечта-

тельность — она тоже представляет собой действие, поддерживается пассивным воображением, чья суть состоит в произвольных подменах. Вся эротическая игра в этом: быть самим собой и *другим*; переживать свои собственные чувства и воображать чувства партнера. От садизма, мазохизма вплоть до чувств, вызываемых каким-либо зрелищем, мужчины подвластны этому раздвоению — последнему лику древних сил судьбы. Странная эта способность — предугадывать чувства и потому испытывать их; еще более странная — понимать подобную игру. Ведь в ней разум обретает себя самого: если мы, захваченные этими чувствами, на них отвечаем, то направляет нас разум; так же и наши открытия, и наши заблуждения — в сфере разума, вне которой исчезают формы, и в сфере разума — наша общая защита: идея «Я», возможность любых вероятностей.

Эта защита от непрерывного соблазна мира — отличительный признак европейского гения, выражает ли он себя под маской эллинизма или под маской христианства. Когда какой-нибудь католический богослов называет дьявола «Князем мира», мне кажется, будто я слышу почерневшую бронзу, что говорит голосом античных статуй. Этот голос, то ликующе радостный, то полный отчаяния, который кричит о своей вере в пределы человека, в необходимость этих пределов, — тоже отличительный признак европейского племени, наших горделивых земель, наш смысл существования! А также отличительный признак расы, что покорна доказательству действием и тем самым обречена на самую кровавую судьбу.

.....

Линь — А. Д.

Париж

Милостивый государь!

[...] Пейзажи ваших стран гармонируют с идеей достоинства человека, столь дорогой европейцам. В природе нет ландшафта, с которым вы не могли бы сравнить творение рук человеческих. Ни держава гор, что навевает лишь чувства спокойного величия, ни хаотичное волнение зарослей, что, склоняясь до земли и вновь распрямляясь, лавиной срываются с заоблачных вершин и, словно застывшие волны, вечно бросаются в море, не сумеют породить в вас того чувства, что существует сила, более грандиозная, чем сила людей. Я говорю не о божественной силе. Напротив, имею в виду бесчеловечный, непостижимый, стихийный характер той силы, которая потрясает нас, когда мы ее осознаем.

Я, старающийся мыслить как бы между восточным умом и умом западным, прежде всего, как мне кажется, схватываю разницу в их направленности, я бы сказал, в самой их «поступи». Западный ум хочет вычертить план вселенной, создать ее постижимый разумом образ, то есть установить между вещами непознанными и вещами известными связь отношений, которые способны привести к познанию тех вещей, что до сих пор остаются загадочными. Он хочет подчинить себе мир и тем больше гордится своими действиями, чем больше, как ему кажется, он этим миром овладевает. Его вселенная — это стройный миф. Восточный ум, наоборот, не придает никакой ценности отдельному человеку; наш ум исхитряется отыскивать в ритмах мира мысли, которые ему позволят порвать с человеческими привязанностями. Западная мысль хочет принести человеку весь мир, восточная мысль отдает человека в дар миру...

Те, кто видел в статуях буддийского храма ряд причудливых демонов, понимали нас не хуже, чем европейские ученые, перед которыми, словно занавеси, расшитые магическими узорами перед храмовыми божествами, опустилась идея символа. Жизнь — это бесконечная область возможностей. Многорукий идол, пляска смерти вовсе не *аллегории* мира, пребывающего в вечном превращении. Они — существа, пропитанные нечеловеческой жизнью, *что сделала необходимым множество рук*. Надо созерцать этих существ так, как разглядываешь гигантских ракообразных, которых сетями поднимают с больших глубин. Те и другие сбивают нас с толку, неожиданно открывая нам то, что в нас есть простого, и наводя на мысль о существах, чья жизнь никак не связана с нашими жизнями. Однако первые представляют собой лишь статуи, скрепленные песком, тогда как вторые — это ходатаи сверхчеловеческого.

Творение статуй божеств — сакральное искусство. Только долгое погружение в себя, чистота жизни, строгость монастырей позволяют художнику обрести в себе мистическое чувство, достаточно сильное для того, чтобы он облек это чувство в новую форму. Эта форма, порожденная преисполненным томлением восторгом, не является понятием, которое она должна явить тем, кто будет ее созерцать; это некая особая неупорядоченность, некое волнение, вызванное одной из мировых сил...

Я умышленно пишу о волнении. Вас, когда вы пытаетесь нас понять, останавливает то, что мысль и волнение для нас нераздельны. Мысль неотделима от нашей жизни так же, как любовь — от вашей. Вы думаете, что все аспекты мира охватили множеством разных взглядов, вы обладаете этими

взглядами лишь в силу болезни вашей мысли, именно эта болезнь вынуждает вас постигать мир подобным образом. В человеке вы выделили некоторые чувства и самые общие их причины; но вы считаете, будто существу, называемому вами Человеком, присуще нечто неизменное, что не существует в природе. Вы похожи на умудренных ученых мужей, которые, тщательно описав передвижения рыб, не заметили, что рыбы живут в воде.

Какова первая потребность ума перед лицом хаотичного мира? Охватить этот мир. Мы не можем сделать этого, основываясь на образах мира, потому что прежде всего мы чувствительны ко всему проходящему в них; мы хотим охватить мир, основываясь на его ритмах. Познать мир не означает превратить его в систему, как познать любовь не означает проанализировать ее. Знать мир означает интенсивно его осознавать. Наша мысль (если только она не находится на службе религиозных споров) в отличие от вашей, является не итогом познания, а основой, подготовкой к самому познанию. Вы подвергаете анализу все, что пережили; мы мыслим для того, чтобы переживать. [...]

А. Д. — Лию

Кантон

Мой дорогой друг!

Увы! все, сказанное вами, кажется мне произвольным, столь же искусственным, как наихудшая из систем, как самая ложная из западных философий. Мне понятны усилия, потраченные вами на то, чтобы в отличие от нас, европейцев, не отделять мысль от мира, чтобы обрести нечто большее, чем жалкая горделивая радость, которую на Западе приносит мысль. (Меня не слишком настораживает контроль дыхания, против которого обычно возражают европейцы, знающие китайцев. Взятый сам по себе, он обладает лишь эффектами низкой магии.) И я знаю, что ваши чувства, гораздо в большей степени, чем наши, способны привязываться к безличным объектам: вы питаете к предкам — как к живым, так и к умершим — большую нежность, чем к вашим женам; воспитание, получаемое вами, стремится укреплять те из ваших чувств, что зависят от абстракций; абстракции же позволяют вам вглядываться в ваши чувства с большей ясностью, нежели женщины, золото или власть, или обособлять свою собственную жизнь.

В истоках вашего поиска я нахожу акт веры. Нахожу не

в существовании принципа — в значении, которое вы ему придаете. Мыслитель в состоянии экстаза не отождествляет себя с абсолютом, как учат ваши мудрецы; абсолют он называет высшую степень своих чувств. Довод ваших философов: все состояния экстаза одинаковы, потому что экстаз начинается там, где кончается мир, — мне кажется ничтожным, как ничтожны те следствия, которые они из него выводят. Аналогии можно проводить только между определенными вещами; неопределенное отнюдь не аналогично самому себе, оно — вне сферы аналогий. В экстазе все сводится лишь к тому, чтобы утратить сознание *определенным способом*. «Это значит обрести само сознание, — говорят мне китайские мудрецы, — слиться с мировой душой...» «Утратить лишь *одно* сознание, — хочется мне возразить, — *одну* мысль...» Ведь самое прекрасное приглашение к смерти — выход только для слабых...

Во всем этом менястораживает именно значение, что придается тем порывам, которые своим возникновением обязаны одним лишь чувствам. Среди торговцев-китайцев, среди нас, европейцев, я вижу людей, чью жизнь определяют эти порывы, и подозреваю, что мы все — в их власти. Скоро почти два года, как я нахожусь в Китае. Раньше всего Китай изменил во мне западную идею Человека. Я уже не способен помыслить о Человеке вне принципа напряженности. Достаточно прочитать любой трактат по психологии, чтобы почувствовать, как лживы становятся наши самые глубоко-мысленные общие идеи, едва мы хотим приспособить их для понимания наших поступков. Их ценность утрачивается по мере того, как продвигаются наши поиски, и мы вечно наталкиваемся на непостижимое, на абсурд, то есть — на крайнюю степень частного.

Не в напряженности ли, всегда иной, которая сопровождает жизнь, ключ к этому абсурду? С напряженностью соприкасаются наша сознательная, видимая жизнь и наша более скрытая, сотканная из мечтаний и потаенных ощущений жизнь, простирающаяся среди абсолютной свободы. Мечта человека стать королем или счастливым любовником ни в чем не меняет его повседневного поведения; но едва любовь, гнев, едва страсть или потрясение выбивают его из колеи, как поступки другого человека начинают с той или иной силой, смотря по тому, охвачен этот человек возбуждением или подавлен, находить в нем отзвук... Вертер приглашает к смерти *, но его приглашение по-прежнему принимают лишь отдельные люди и лишь в определенное мгновение. А разве любовь, которую не надо путать с желанием покорить женщину, любовь раз-деленная, — это не заколдованный лес, где почву наших поступков и нашей воли образуют чувства, которые свободно

резвятся и влекут к страданию, иногда разлучая нас, словно бы мы, *пресытившись своими чувствами*, уже не можем их выносить? Ибо чувства гораздо больше подвержены влиянию их самостоятельной жизни, нежели внешних событий. Глубинная жизнь: торжество неопределенности, роковое, вечно повторяемое создание неповторимого случая...

Линь — А. Д.

Париж

Милостивый государь!

Полно! Кто бы вздумал отрицать, что все это основано на том, что вы называете актом веры? Подобный акт, утверждаете вы, есть воплощение произвольного. Согласен! Но что же тогда позволяет вам жить рядом с другими людьми и понимать их? Откуда берется ваша сила? И что же означает ваше осознание реальности, если не ее приятие? Неужели вы думаете, что если вы относитесь к европейской цивилизации с некоторым недоверием, то уже избавились от ваших мертвецов, ваших потребностей и от той трагической случайности, которая скрыта в тайная тайных вашей жизни? Мое письмо, кстати, преследовало лишь одну цель — указать вам другое направление и его конечный пункт. Когда я писал вам, меня интересовали порывы чувств, а также некоторые наши разногласия, что могут надлежащим образом выявить произвольность любой человеческой жизни.

Знание европейцев, которое я постепенно приобретаю, а также ваше письмо, которое служит поводом, понуждают меня написать вам эти слова. Мне кажется, что сегодня напряженность, которую идеи создают в европейцах, объясняет жизнь Европы лучше, чем сами эти идеи. Для вас абсолютной реальностью был Бог, потом — человек; но, вслед за Богом, *умер человек* *, и вы судорожно ищете, кому бы вверить его необычное наследство. Вашим мелким потугам создать разновидности умеренного нигилизма, по-моему, не суждена долгая жизнь...

Какое сознание способны вы получить от этой вселенной, на которой было достигнуто ваше согласие и которую вы именуете реальностью? Сознание отличительности. Полное осознание мира — это смерть, что вы хорошо поняли. Ваше же сознание упорядочено и, следовательно, представляет собой разум. Жалкая опора, блик на замирающей воде... История психологической жизни европейцев и новой Европы — это история покорения разума чувствами, хаос в которых вызывает их равномерная напряженность. Картина всех этих лю-

дей, что тшятся спасти Человека, который дает им возможность преодолеть мысль и жить, тогда как мир, где Человек царит, с каждым днем становится для них все более чужим, — это, без сомнения, последняя картина Запада, которую я унесу с собой.

.....

А. Д. — Лилю

Тяньцзинь

Дорогой друг!

Для любого, кто хочет жить вне будничных забот, упорядочить мир может только убеждение. Миры событий, мыслей и поступков, в которых мы с вами живем, мало благосклонны к убеждениям; а наши отсталые сердца совсем непригодны, по-моему, к тому, чтобы наслаждаться, как это принято, распадом Вселенной и Человека, над чем столь усердно трудится множество добропорядочных умов.

Сила уходит от человека дважды. Сперва тогда, когда он ее создал; потом, когда жаждал ею овладеть. Служа безмозглой энергии, стихии западной силы сталкиваются и сражаются друг с другом, несмотря на преходящие сочетания человеческих интересов, а смысл мира, движение которого они, сами того не желая, направляют, ускользает как от них, так и от читателей новостей. Непредсказуемые последствия поступков властвуют над этими поступками; силы, способные изменять события, завладевают ими так быстро, что разум знает: он не может воздействовать на какую-либо реальность, не может прийти к необходимому для него согласию с убеждением, служащим ему оправданием. Разум с трудом пытается уйти от самого себя, хватаясь за средства лжи. Но разве имеет значение, если позаимствуют кое-что у того, кто уверен в количестве и могуществе своих владений? Выраженная более или менее отчетливо, идея невозможности овладеть какой-либо реальностью владеет Европой. Владычество папы и короля, яркое даже в своих слабостях, сегодня показалось бы тщеславной суетой; не осталось больше власти настолько возвышенной, чтобы она несла с собой сознание. Этим объясняется глубокое преобразование человека, которое значительно совсем не потому, что о нем кричат на всех перекрестках, а потому, что сметены преграды, которые целое тысячелетие ограждали и укрепляли мир внешней жизни. Какое наслаждение, мой друг, находит беспокойная душа, исследуя анархическую действительность — эту служанку энергии: ведь в этой

действительности мыслить зачастую означает осознавать какую-либо ущербность!

Приходящая в упадок реальность берет себе в союзники мифы, отдавая предпочтение тем из них, что порождены разумом. К чему взывает видение непостижимых сил — над ними медленно всплывает древний лик судьбы — нашей цивилизации, чья великолепная и, может быть, гибельная вера состоит в том, что любое искушение она разрешает в познании?..

В сердце западного мира разыгрывается безысходный, — неважно, в какой форме он нам открывается, — конфликт: это конфликт человека с его творением. Конфликт мыслителя с его мыслью, европейца с его цивилизацией или действительностью, конфликт нашего недифференцированного сознания с его выражением в обыденном мире средствами того же мира — конфликт этот я нахожу в каждом потрясении современного мира. Поглощающий события и самого себя, этот конфликт учит сознание исчезновению и готовится нас к металлически-холодному царству абсурда.

Развитие личности, преследующее цель завоевать власть, часто опирается не на самоутверждение, но на своего рода оппортунизм, постоянное приспособленчество или приятие догм какой-нибудь партии. Так, после упадка наследственной аристократии чувство кастовости приобрело над европейцами странную власть. Желание отличаться от других не может опираться только на иллюзию; кроме того, мы, утратив нашу способность избавляться от реальности, всегда склонны звать к ней, когда полагаем, что она способна доставлять нам удовольствие: реальность — это мир наших попыток самооправдаться. Кастовый дух европейцев, который зиждется на нашей потребности в новизне, вы легко можете заметить по его признаку — моде; мода, конечно, легче бросается в глаза, чем то качество чувств, которое вам столь дорого. Ибо мода — я имею в виду смену костюмов, поведения, вкусов или слов, — отличительная особенность Европы и затронутых европейским влиянием стран, представляет собой внешний признак, благодаря коему пытается утвердиться эфемерная аристократия, ряды которой редеют по мере того, как увеличивается время, что тратят аристократы на то, чтобы достичь аристократизма. Утвердить себя в одинаковом для всех мире — это значит выделиться, установить различие между вещами одного порядка. В психологической жизни человека, в мире нашей личности это означает природное различие. Один из этих порывов тяготеет к оправданию, другой — к абсолютной никчемности этого оправдания. Эти порывы расходятся все дальше и дальше, и расхождение это нами осознается. Какая ирония заклю-

чена в этой двусмысленной мысли, в этом замкнутом человеке, который из всей вселенной допускает в свой внутренний мир лишь стихии раздора!

Несколько молодых людей работают над преобразованием мира, которое совершается в их душах. Эта работа делает их отличными от других людей, а их разум нуждается в этой отличительности для жизни. Разум превращается в слугу этой работы, и любое его действие сводится теперь к тому, что он указывает молодым людям на порывы утратившего свои опоры мира, на то, что какие-то страсти, поступки или мысли вынуждают человека — это обладающее знаниями животное — подчинять свое поведение воле неких неведомых планов, обнаруживая тем самым существование этих планов; ибо мысль, став своим собственным предметом, влияет на мир гораздо сильнее, нежели страсть. Разум — убийца жизни, как и других, более скрытых вещей, до которых не дотягивается грубая лапа законов, — может оказаться проникнутым своим преступлением *или* тем новым бытием, какое он навязывает жизни. В зеркале войн впервые видят себя странные лица. Сами мы меняемся или изменяется мир, когда страсть, словно море, отступает от страстного поступка, который противопоставляет нас миру?

Европейская мысль становится куда скуднее, чем мысль молодых китайцев, о которых мне говорил Ванлу... С невозмутимой скорбью мы осознаем антагонизм наших поступков и нашей внутренней жизни. Жизнь — это напряженность, и она не может принадлежать разуму; разум, прекрасная машина, забрызганная кровью, знает об этом и крутится вхолостую... Ибо наша внутренняя жизнь — это вместе с тем нечто самое рудиментарное, и ее могущество, которое выявляет произвол разума, неспособно избавить нас от этого произвола. «Ты — ложь и орудие лжи, — говорит эта жизнь разуму, — ты — создатель реальностей...» И разум отвечает жизни: «Да. Но испокон веков, в глубину которых не проникает свет дня, люди верили, будто видят во мраке сокровища, а твои сокровища, жизнь, — это всего лишь последние отблески этого угасшего света».

Умертвив Бога, европейский разум разрушил все то, что могло противостоять человеку: человек, достигший предела своих усилий, словно Рансэ перед трупом своей возлюбленной *, находит повсюду только смерть. Наконец-то узрев образ своей мертвой возлюбленной, он убеждается, что уже бессилён пылать к ней страстью. Никогда человек не совершал столь тревожного открытия...

Нет идеала, которому мы могли бы отдать себя в жертву, ибо мы, кому неведомо, что есть истина, знаем: все идеалы

ложны. Земной тени, которую отбрасывают мраморные статуи богов, достаточно, чтобы отделить нас от идеалов. Каким же цепким объятьем человек сжал себя самого! Разве статуи родины, справедливости, величия, истины не запятнаны следами рук человеческого, разве каждая из этих статуй не рождает в нас лишь ту печальную иронию, что и некогда любимые, старые лица! Понимание отнюдь не допускает любые безумства. И все-таки сколько таится в нас жертвенности, сколько неоправданного героизма...

Конечно, есть более высокая вера: та, что несут нам кресты деревенских церквей и такие же кресты, что высятся на могилах наших мертвецов. Вера эта — любовь, и в ней успокоение. Я не приму ее никогда; не унижусь до того, чтобы испрашивать у нее успокоения, которого взыскует моя слабость. Европа, великое кладбище, где спят одни умершие завоеватели, грусть твоя становится глубже, когда ты украшаешь себя их славными именами; Европа, мне оставляешь ты лишь пустынный горизонт и зеркало, что подносит отчаяние — древний властитель одиночества. Быть может, и отчаяние тоже умрет своей смертью. Где-то вдали, в порту, воеет сирена, словно пес без хозяина. В этом вопле побежденной слабости... слышится мне эхо самого себя. Я уже не забуду его.

Зыбкий образ меня самого, нет у меня к тебе любви. В тебе, как в широкой, плохо зарубцевавшейся ране, живут моя мертвая слава и живое мое страдание. Я отдал тебе все, и, однако, я знаю, что своей любви я не отдам тебе никогда. Не унижаясь, я каждый день буду приносить тебе в жертву свой покой. Жадная ясность, одиноким и стройным пламенем продолжаю я гореть перед тобой, гореть в душной ночи, где кричит обжигающий ветер, гореть в этих чужих ночах, где свежий ветер повторяет для одного меня горделивый ропот пустынного моря...

1921—1925

О ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Дух тех стран, где западная цивилизация, которая сегодня противопоставляет себя католической традиции, обнаруживает себя наименее бесхитростно, всегда вызывал у меня особенное впечатление, очень сходное с прикосновением к тайне. Во всей Центральной Европе, в России, в Италии, в Соединенных Штатах, в Бельгии и в самой Франции я вижу, рассматривая причудливые, словно узоры инея, образования, которые проступают на построениях европейской мысли, как ослабевает тот порыв *без предела*, что властвует над нашей

расой. Люди сегодня хотят избавиться от своей цивилизации подобно тому, как вчера жаждали освободиться от божественного. Перед лицом своих умерших богов весь Запад, исчерпав радость своего торжества, готовится к победе над собственными загадками; при этом думаешь о тех античных, бесчеловечных и все-таки потрясающих душу трагедиях, в которых ночь наполняет стенания Земли. Какое понятие о Человеке может вынести из своей тревоги цивилизация одиночества, которая из всех понятий о нем взяла только власть над его поступками?

О, скорбь упрямого Запада, взыскующего собственного единства! Древняя тревога, которая вынуждала людей, всматривавшихся в свой образ, мучиться и рыдать от ужаса; та тревога, что повергала их, плачущих, ниц перед богом христиан или толкала бороться с ним до умоисступления, сегодня столкнулась с единственным, что ей остается: с Человеком. И начинается конфликт между самыми глубокими силами бытия и этим почти неуловимым предметом, *одолеть который нельзя.*

Невозможность отделить от человека понятие божественного уже была важнейшей чертой греческой и христианской культур. Христианство во всех своих мифах связано с тем, как оно объясняет нам природу человеческую; из всех печатей, которыми мы отмечены, христианство, вошедшее в нашу плоть и даже созданное из нашей плоти, глубже всех остальных, словно шрам, впечаталось в нас. Вместе с остатками души эта печать метит нас идеей единства, неизменности и ответственности человека; благодаря греху, ограждая себя тем, что составляет ее слабость, утверждает она свою силу на обостренном сознании нашего разлада. Римский католицизм создал *покорную* цивилизацию; разлад, который придает современному миру характер случайности и заброшенности, — следствие бунта против этой покорности и произвольное согласие с направлением жизни, пребывающей в постоянном изменении именно потому, что она постоянно разрушается в силу своей неизменной природы.

Похоже, церковь упорно стремилась отделить человека от него самого. Церковь не могла бы ни игнорировать человека, ни слишком его унижать: человек ведь был связан с Богом. Но она пыталась сразу избавить человека и от страдания, и от права судить себя самого. Она учредила институт духовников; и веками, подчиняя себе все порывы духа, все странности, все страхи христианских сердец, словно собор, строила тот образ мира, который до сих пор господствует над нами, вычерчивала ту христианскую схему, согласно коей мир способен навязать себя человеку.

Конфликт двух рас прежде всего учит нас тому, что существует различие между двумя способами, благодаря которым ими овладевает реальность. Каждая раса, а может быть, каждая великая культура вынуждают тех, кто им подвластен, творить некую особую реальность. Унаследованный нами мир меньше влияет на нас своими образами и идеями, нежели *тайной* иерархией, которая управляет разумом. Великое настоящее христианства — это настоящее западной реальности; и первая наша слабость проистекает из необходимости, вынуждающей нас, уже переставших быть христианами, познавать мир сквозь призму христианства.

Итак, создается впечатление, что современный мир должен сосредоточить главное усилие на создании своей, присущей ему реальности¹. Однако сделать это мешает сегодня человеку невозможность примириться со своим подчиненным положением; совсем скоро мы увидим, как человек, стремящийся к полному самосознанию, будет вынужден уничтожить и само понятие реальности.

Свобода (или, если хотите, хаос) и главенство разума, что возникли во времена упадка католицизма, выдвинули на первый план великие течения чувства: они придают нашей эпохе ее смысл, а последние философские системы являлись только украшением или, иногда, завесой этих течений. Весь XIX век пронизал порыв, который по мощи и значимости можно сравнить лишь с религией. Прежде всего этот порыв выражается во всепоглощающем влечении, в некоей страсти человека, который начинает занимать внутри себя самого место, раньше отдаваемое им Богу²; затем этот порыв выражается и в индивидуализме³. Видеть в этой пылкости ко всему человеческому следствие философских систем — значит исказить ее природу: ведь экзальтации, которую надо оправды-

¹ Католики, те, например, смогли бы придать реальности современного мира католический характер, тем более что они свободны от всякой тирании «Я». Но реальность эта будет значима только для них. Когда Маритен пишет: «Надо привязать себя к реальности», то его реальность оказывается реальной лишь благодаря предшествующему акту веры. *Прим. автора.*

² Похоже, подобное событие произошло в Греции, когда в Северном Средиземноморье впервые перестал существовать истинный характер Азии — порядок, устанавливаемый по отношению к Абсолюту. *Прим. автора.*

³ Но все более явные проявления индивидуализма не тяготели к утверждению его царства. В своих истоках индивидуализм был средством борьбы. Кстати, в этом и главная причина его слабости. *Прим. автора.*

вать, как бы не существует. Ницше находит такой сильный отклик в отчаявшихся сердцах именно потому, что сам он — лишь выразитель их отчаяния и насилия.

«Человек — единственный предмет, достойный нашей страсти».

«Я — единственный предмет, достойный моего страстного увлечения».

Поэтому мы и вынуждены класть в основу нашего понятия о Человеке самосознание каждого индивида. Сколь же прочные узы отныне привязывают нас к поиску самих себя! Подготавливается первое появление абсурда.

* * *

Великие учения Запада всегда неявно допускали, что человек волен быть судьей самого себя, способен устанавливать постоянные отношения между принятыми им принципами и собственными действиями.

Эти учения наделяли взирающее на само себя сознание чертами, что присущи этому сознанию лишь тогда, когда оно взирает на других и когда опорой ему служит разум. Однако мы отмечены крахом этого сознания; мы убеждаемся, что даже наша память несвободна, а воспоминание о наших поступках зависит от направляющей и ограничивающей ее силы. Исповедь сделала возможным обращение к нашим прошлым поступкам *тем, что они становятся известны*. Те из наших поступков, те из наших мыслей, вспоминать о которых нам тяжело, мы вновь обретаем уже как бы безжизненными. События связаны с напряженностью, с присущей им способностью нас волновать, которая и составляет их реальность. Утрачивая эту напряженность, события оказываются для нас лишь именами: они — мертвы. Анализировать свою прошлую жизнь мы можем, лишь опираясь на совокупность принципов, с которой нас связывают наши чувства; подобный анализ ограничен так же, как ограничена игра теней, порождаемая неподвижным светом.

Но, говорят нам, события не дают нам сознания того, что есть в нашей жизни неповторимого. Сознание это таится в глубинах души каждого из нас; когда кто-то думает о своем «Я», то перед ним встают вовсе не поступки. Это несомненно. «Я» — это образ, в котором совершенно свободно отражается наше неповторимое искажение мира. Обычно этот образ создается из воображаемых побед, будущих успехов, жестоких или удачных поступков, что способны вызвать уважение романистов, которые отдают должное существам исключительным; и все эти трофеи достаются нам в те часы,

когда воображение поселяется в наших мечтах или господствует над ними. В «Я» — этот дворец тишины — каждый проникает в одиночку, в нем упрятаны все драгоценности наших преходящих безумств попеременно с сокровищами нашей ясности, а самосознание наше в основном соткано из тщетных желаний, надежд и грез. Наша инстинктивная жизнь — почти никогда она не бывает полностью бессознательной — без особого усилия одолевает жизнь сознательную. И со вселенной нас связывает лишь стихийное в жизни; от инстинктивной жизни зависит целый строй чувств, которые до сих пор мы только угадывали: те, что порождаются в нас воображением, а точнее, нашей способностью отождествлять себя с личностями, в выборе которых мы не вольны. Механика самых сильных страстей и чувств, я имею в виду те чувства, чьим предметом оказывается человек, всегда подвержена тонкой иронии. Подвластные этим чувствам, мы испытываем два порядка чувств — свои и те, которыми наделяем нашего партнера. Как по-новому бы выглядела игра любви, если бы она не включала инстинктивное и *постоянное* угадывание чувств любимого человека...

Желание придать «Я» четкие контуры означает заставить это «Я» рассеяться на множество возможностей. Чем же объясняется испытываемая нами трудность утверждать, что «Я» исчезает, когда мы видим, как оно стирается прямо на наших глазах? Тем, что в глубине нашей души живет чувство, что в это мгновение существуем только мы одни. Сознание *единственности* — одна из непоколебимых данностей человеческого существования, быть может самая незабываемая. Даже безумие невластно ее поколебать; некоторые сумасшедшие ощущают себя несколькими личностями, но не одновременно, а поочередно. Чувство единственности воспринимает все образы, благодаря им обретает форму, словно силуэт далеких гор, вычерченный угасающим светом заходящего солнца. Учения, зиждущиеся на понятии личности, вовсе не выражают ее, но создают легенду о ней. И подобно тому, как религиозные легенды удовлетворяют очень мощное чувство, предмет которого может быть различным, так и эти учения украшают утонченной мифологией наше глубинное «Я», особенно неповторимое благодаря качеству сменяющих друг друга состояний безумия. Доводить до крайности поиск собственного «Я», *принимая его мир*, — значит тяготеть к абсурду.

* * *

С тех пор как наша цивилизация потеряла надежду обрести в науке смысл мира, она лишилась всякой духовной цели. Каждое из поколений, на протяжении века сменявшихся в Европе, должно было более двух десятилетий трудиться, чтобы устроить мир по образу собственного желания; и этот неизбежный разлад мысли и склада чувств — одна из немаловажных причин того смятения, какое мы наблюдаем. Однако вот мы и подошли к тому моменту, когда торжествующий индивидуализм хочет более отчетливо осознать самого себя. Заряженный страстями людей разных поколений, индивидуализм уничтожил все, кроме себя самого; взлелеянный высочайшими умами нашей эпохи, последовавший за безумием Ницше, украшенный тем, что осталось от умерших богов *, вот он, перед нами, а мы видим в нем лишь слепого триумфатора. Идол отяжелел от всех даров мира, но нас он больше не интересует; и тревога наша все возрастает оттого, что в идоле этом мы находим свой собственный образ... Разумеется, мы можем допустить идею личности в ту систему аллегорий, каковой является наша мысль; однако, если никто не способен познать самого себя, к чему тогда понятие «Я»? И если мы способны познать наш образ только благодаря акту веры, то какой же трагической иронией веет от баталий двух веков! Эти баталии вложили нам в руки самое совершенное оружие, которым мы могли бы прикончить самих себя. Утвердив свое существование и свои права, человек предпринял поиски самого себя, подобно рыцарям, коим их победы позволяли проникать во дворцы, где они ожидали узреть предмет своих грез, но находили только глубокие, уходящие во тьму перспективы.

Теперь надо посметь заглянуть в глубь самих себя; там мы вновь обретем тайну Европы. В недрах цивилизации, чью силу составлял самый грубый индивидуализм, пробуждается новая мощь. Кто скажет, куда она намерена нас вести? Великий порыв разума — в тот миг, когда он пробуждается, — позволяет лишь догадываться о его направлении и его воле к разрушению; о существовании этого порыва мы догадываемся только по тем ранам, которые он нам наносит. Раз мы не знаем нашей судьбы, давайте познавать наши раны.

Нет сомнений, что над всей молодежью, преданной разуму, сияют созвездья отчаяния, схожего с разочарованием в любви. О вы, неприкаянные сердца во всех краях Европы, что начинаете понемногу учиться не замыкаться в себе, сколько прошлых побед оплачиваете вы своей печалью и жестокостью! Доктрины, религии, как же тяжело человеку не воздавать вам хвалы за собственное одиночество, как тяжело ему вкладывать свою разочарованную душу лишь в те напрасные

усилия, которые изредка сверкают, словно доспехи рыцарей, в той тьме, в которой выбивается из сил Запад, стремясь избавиться от избытка любви...

Что видим мы в этой рассеянной по всем странам Европы молодежи, которая объединена своеобразным, ранее неведомым братством? Ясную волю к тому, чтобы — за отсутствием доктрины — выставить напоказ свою борьбу; и в этом лишь ее слабость и страх. Наша эпоха, в которой еще звучит так много отголосков прошлого, не желает признавать, что ее мысль — нигилистическая, разрушительная, по самой сущности своей негативная. И другая, более скрытая причина толкает всех тех, кто в Европе столкнулся с жизнью сразу же после войны, глухо вопрошать мысль величайших из них: ведь только определенные идеи могут защитить человека от медленного, неумолимого преобразования, которому его подвергает время.

Любая иерархия, любые предлагаемые нам «ценности» могут противоречить нашим суждениям; глубже, серьезнее эта иерархия противоречит той иерархии, что никогда не выходит на свет; той, которую устанавливает возраст. Ведь стареть — это еще и *подчиняться внутреннему порядку*, чьей власти не поддаются лишь немногие. Какой еще мятеж можно поднять против этого извечного порядка?

* * *

На место исчезающей ценности становится ценность иного порядка: большую часть XIX века индивидуализм властвовал с той же силой, с какой в XIII веке властвовал католицизм, хотя и совершенно иным образом. Сегодня необходимо снова добиться согласия человека с его мыслью, не подчиняя человека заданной а priori¹ мысли. Нет сомнения, что цена, которую в эти последние годы выплачивали возможному, объясняется этой потребностью. Возможное — древняя сфера фантастического и безумного со своим миром грез — неожиданно возвышается до какой-то странной власти. Оно самовластно царствует в пластических искусствах Восточной Европы и почти самовластно в поэзии всего Запада. Художественные манифестации, которые посвящены возможному, быстро выходят из моды и исчезают. Быть может, так оно и есть, быть может. Но в данном случае сами произведения почти не имеют значения: если к полотнам Кандинского* относятся пренебрежительно, то происходит это во имя какого-нибудь

¹ Заранее (лат.).

другого Кандинского. Пусть эти произведения эфемерны, зато наше стремление к ним постоянно.

Творец достигает здесь крайнего индивидуализма: пренебрегая даже собственным выражением мира, он предлагает нам видения, требуя от последних лишь поэтических или пластических качеств. Однако искусство — это средство, которое подталкивает зрителя (вынужденного *принимать* это видение, чтобы им наслаждаться) к самому изощренному распаду. А вкус к этому распаду...

Европейскую молодежь больше волнует, каким может быть мир, чем то, каков он на самом деле. Она менее чувствительна к той мере, в которой мир утверждает собственную реальность, чем к той, в какой мир эту реальность утрачивает. В каждом человеке она хочет видеть истолкователя мимолетной реальности.

Мимолетной... Во что превращается мир, который есть мое представление, если я почти безразличен себе самому, а волю к *созданию* этого представления считаю ложной в своей основе? Какая тщета, эта аллегория мира, созданию которой я обязан терпеливым построениям разума! Порожденная иллюзией моей неизменности, сама эта иллюзия в свой черед улетучивается, рассеивается, словно ночное божество, и отныне я могу мыслить ее лишь как бесконечность возможностей... А мир сводится к грандиозной игре отношений, которую больше не пытается фиксировать никакой разум, потому что в их природе изменчивость, бесконечное обновление. Похоже, наша цивилизация стремится создать себе такую метафизику, в которой не будет ни одной фиксированной точки, метафизику того же порядка, что и ее концепция материи. Что может поделать подобная метафизика с потребностями души, после того как один за другим были разрушены «Человек» и «Я»? Попытаться их уничтожить, создать наряду с жизнью, которой стало чуждо все, что не может быть выражено в действиях и цифрах, такую область разума и чувства, где все будет сведено к движению, изменению, к новым отношениям и новым порождениям... Перед лицом древних потребностей человека какие это малоутешительные образы. Итак, какая же судьба уготована этой пылкой, защищенной от себя самой молодежи, которая свободна от низкого тщеславия — называть величием презрение к жизни — и не знает, как ей связать себя с этой жизнью?

От абсурда к братству людей



УДЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

10 часов

Охранник сказал «временно».

Кио сообразил, что его ведут в тюрьму для уголовников.

Едва он переступил порог, даже раньше, чем успел что-то увидеть, ему ударила в нос нестерпимая, одуряющая вонь: скотобойня, зверинец, отхожее место. Перед ним был коридор, подобный тому, откуда его привели. Справа и слева от пола до потолка — огромные деревянные решетки. В клетках — люди. В центре сидит за столом надзиратель, на столе кнут: короткая рукоятка, плоский ремень шириной с ладонь и толщиной в палец — холодное оружие.

— Стой, выродок, — сказал надзиратель.

Он окинул Кио наметанным, привычным к темноте взглядом и принялся записывать его приметы. Голова у Кио по-прежнему болела, и ему казалось, что от этого неподвижного стояния на месте он вот-вот потеряет сознание; он прислонился к решетке.

— Как, как, как поживаете? — выкрикнул кто-то за его спиной.

Голос насадный, как у попугая, но, несомненно, человеческий. Было слишком темно, чтобы Кио мог разглядеть лицо, он видел лишь огромные пальцы, судорожно вцепившиеся в решетку совсем рядом с его горлом. В глубине — копошение непомерно длинных теней, лежащих, стоящих, — люди, как черви.

— Можно и лучше, — отозвался он, отстраняясь.

— Заткнись, черепаший ублюдок, если не хочешь беззубовостаться, — сказал надзиратель.

Кио слышал слово «временно» несколько раз, значит, долго он здесь не останется. Он решил пропускать мимо ушей

оскорбления, переносить все, что можно перенести; главное — это выйти отсюда, продолжить борьбу. Но он мучительно, до тошноты страдал от унижения, которое испытывает всякий человек перед тем, от кого зависит, — беспомощный перед этой гнусной тенью с кнутом, обезличенный, лишенный своей человеческой сути.

— Как, как, как поживаете? — снова завершал голос.

Надзиратель встал, отворил дверь — к счастью, напротив. Кио вошел в стойло. На длинных нарах лежал всего один человек. Дверь закрылась.

— Политический? — спросил человек.

— Да. А вы?

— Нет. При императоре я был мандарином *...

Глаза Кио начали привыкать к темноте. Перед ним был старик, белый облезлый кот почти без носа, с жидкими усами и острыми кончиками ушей.

— Я торгую женщинами. Когда дела идут хорошо, я плачу полицейским, и меня не трогают. Когда плохо — они считают, что я сквалыжничая, и отправляют меня сюда. Но, по мне, все равно лучше сидеть на казенных харчах за решеткой, чем подыхать с голоду на свободе...

— Здесь?!

— Знаете, человек привыкает... На воле тоже скверно, когда ты стар, как я, и немощен...

— Почему вас содержат отдельно?

— В удачные месяцы я подбрасываю денег за здешнему писарю. Поэтому, когда я сюда попадаю, у меня режим, как у временных.

Надзиратель разносил еду. Он просунул через решетку две маленькие чашки, наполненные месивом цвета грязи, над которым поднимался пар, не менее зловонный, чем атмосфера вокруг. Надзиратель зачерпывал в котле клейкое варево, вываливал его половником в чашку, куда оно звучно плюхалось комом, и передавал заключенным по очереди — теперь уже у клетки напротив.

— Мне ни к чему, — сказал кто-то. — У меня завтра. (Казнь, пояснил мандарин Кио.)

— И у меня завтра, — сказал другой. — Можешь дать мне за него двойную порцию, а что? Мне от этого только сильнее хочется жрать.

— По зубам захотел? — рявкнул надзиратель.

Вошел солдат, что-то спросил у надзирателя. Тот зашел в соседнюю клетку, лениво пнул чье-то тело.

— Шевелится, — сказал он. — Жив, наверно, еще...

Солдат ушел.

Кио изо всех сил напрягал зрение, пытаясь понять, кому

из этих теней принадлежат голоса, которые так скоро унесет смерть, как и его самого, быть может. Разглядеть немислимо: эти люди так и умрут, оставшись для него всего лишь голосами.

— Вы есть не хотите? — спросил сосед.

— Нет.

— Поначалу все так...

Он взял чашку Кио. Вошел надзиратель, наотмашь ударил его по лицу и унес чашку, не говоря ни слова.

— А меня почему он не тронул? — шепотом спросил Кио.

— Виноват один я, но дело не в этом: вы политический, временный, вы хорошо одеты. Он попытается вытянуть деньги у вас или у вашей семьи. Впрочем, это ничему не мешает... Дайте срок...

«Деньги преследуют меня даже в этой змеиной яме», — подумал Кио. Низость тюремщика казалась ему почти баснословной, нереальной, и в то же время ему виделась в ней какая-то чудовищная закономерность, словно для того, чтобы обратить едва ли не всякого человека в животное, достаточно дать ему власть. Но и эти неведомые существа, кишачие за решетками во тьме и вызывающие своим видом содрогание, как крабы или гигантские насекомые из его детских снов, тоже не вполне люди. Предельное унижение и одиночество. «Осторожно!» — сказал он себе, чувствуя, что уже отчасти растерял свою силу. Он подумал, что, не будь он сам хозяином собственной смерти, его обуял бы ужас. Он расстегнул ремень и переложил цианистый калий из пряжки в карман.

И снова этот голос:

— Как, как, как поживаете?

— Хватит! — заорали хором заключенные напротив.

Кио наконец освоился кое-как с темнотой, и количество голосов его не удивило: за решеткой, на нарах, лежало больше десятка тел.

— Ты заткнешься? — заорал надзиратель.

— Как, как, как поживаете?

Надзиратель встал.

— Шутник или баламут? — шепотом спросил Кио.

— Ни то, ни другое, — ответил мандарин. — Ненормальный.

— Но почему...

Кио умолк — его сосед заткнул уши. Хриплый, пронзительный вопль, вопль боли и ужаса, до предела заполнил всю окружающую тьму: пока Кио разговаривал с мандарином, надзиратель вошел в соседнюю камеру с кнутом. Кнут шелкнул снова — и снова тот же крик. Кио не смел заткнуть уши;

вцепившись в прутья, он ждал, когда этот нестерпимый вопль в третий раз пронзит его до костей.

— Всыпь, сыпь ему хорошенько, — произнес чей-то голос, — а то покоя от него нет!

— Надоел до смерти! — загудело сразу несколько голосов. — Пусть даст наконец поспать!

Мандарин, по-прежнему зажимая уши ладонями, наклонился к Кио:

— За неделю он бьет его уже одиннадцатый раз. За те два дня, что я здесь, — четвертый. Как уши ни затыкай, все равно слышно... Понимаете, глаза не могу закрыть: мне кажется, когда я смотрю, я поддерживаю его...

Кио тоже смотрел, хотя почти ничего не видел... «Сострадание ли? А может быть, жестокость?» — задавал он себе страшный вопрос. Все, что таится в человеке самого отвратительного, дикого, рвалось сейчас наружу под гипнозом чудовищного зрелища, и рассудок Кио всеми силами сопротивлялся этому. Он вспомнил вдруг, каких усилий ему всегда стоило отойти на улице от изуродованных трупов: ему приходилось, в буквальном смысле, отрывать от них. То, что люди могут смотреть спокойно, как бьют слабоумного — в сущности, безобидного и почти наверняка, судя по голосу, старого, — и одобрять это истязание, потрясло его не меньше, чем признания Чена в ночь Ханькоу: «спруты...». Катов рассказывал ему, как трудно совладать с собой студенту-медику, когда он впервые видит вскрытую брюшную полость с живыми внутренностями. Такой же парализующий ужас испытывал сейчас и он, не страх, а именно ужас, всесильный, не отступающий перед разумом и еще более нестерпимый оттого, что Кио душило сознание полной своей неспособности с ним справиться. Между тем глаза его еще не успели так привыкнуть к темноте, как у его соседа, и он мог видеть лишь мгновенный отблеск изогнувшегося, словно огромный крюк, бича, исторгавшего у старика крик. С самого первого удара Кио стоял не шевелясь, пальцы его сжимали прутья решетки почти у самых глаз.

— Эй, надзиратель! — крикнул он.

— Кнута захотел?

— Мне надо сказать тебе кое-что.

— Да?

Пока надзиратель яростно задвигал тяжелый засов, смертники корчились от хохота. Они ненавидели «политических».

— Давай, давай, охрана! Повесели народ!

Фигура надзирателя возникла прямо перед Кио, расщепленная пополам столбом решетки. Лицо его выражало самую непотребную скотскую злобу — злобу дурака, которому ка-

жется, что кто-то посягает на его власть; черты его, однако, не были отвратительны сами по себе: правильные, незапоминающиеся...

— Послушай, — сказал Кио.

Они смотрели друг другу в глаза. Надзиратель был выше Кио, он видел его руки, по-прежнему стискивавшие решетку. Прежде чем Кио успел понять, что происходит, ему показалось, что его левую руку разорвало на куски: кнут, который надзиратель держал за спиной, опустился со всего размаха. Кио не смог сдержать крик.

— Bravo! — заорали напротив. — Не все же одним должно доставаться!

Обе руки Кио повисли вдоль тела, скованные своим собственным бесконтрольным страхом, в котором он даже не сразу отдал себе отчет.

— Ты все еще хочешь мне что-то сказать? — спросил надзиратель.

Кнут был теперь на виду.

Кио стиснул зубы и с невероятным усилием, словно отрывая от земли тяжкий груз, снова стал медленно поднимать руки к прутьям, не сводя глаз с надзирателя. Надзиратель тем временем незаметно подался назад, чтобы размахнуться. Кнут щелкнул, но удар пришелся по прутьям. Инстинкт оказался сильнее Кио: он непроизвольно отдернул руки. Но вот он уже снова поднимал их, напрягая мышцы до изнеможения, и надзиратель понял по его взгляду, что на сей раз он их не уберет. Он плюнул ему в лицо и стал не спеша заносить кнут.

— Если ты... перестанешь бить слабоумного, — произнес Кио, — то, когда я выйду отсюда, я дам тебе... пятьдесят долларов.

Надзиратель заколебался.

— Ладно, — сказал он наконец.

Он отвел взгляд. Кио показалось, что он сейчас упадет в обморок — так велико было разом отпустившее его напряжение. Левая рука болела до того, что он не мог согнуть пальцы. Он успел поднять ее, как и правую, довольно высоко, и она так и застыла наверху с раскрытой ладонью. Новый взрыв хохота напротив.

— Ты протягиваешь мне руку? — захихикал надзиратель.

И он ее пожал. Кио понял, что до конца дней своих не забудет это пожатие. Он отнял руку и тяжело опустился на нары. Надзиратель потоптался на месте, почесал в голове кнутовищем и пошел к своему столу. Сумасшедший рыдал в голос.

Час за часом — однообразная беспросветная мерзость.

Наконец за Кио пришли солдаты, чтобы доставить его в спецполицию. Возможно, его уводили на смерть, но он вышел с такой радостью, что острота ее удивила его самого: он чувствовал, что оставляет здесь отвратительную часть своего существа.

— Войдите!

Один из охранников-китайцев подтолкнул Кио в спину, но легонько: когда они имели дело с иностранцами (а Кио был для них японцем или европейцем, но уж, во всяком случае, не китайцем), охранники сдерживали свою грубость, к которой, как они полагали, обязывала их должность. По знаку Кёнига они остались за дверью. Кио приблизился к столу, пряча в кармане распухшую руку и глядя в упор на сидящего мужчину, который тоже искал его взгляда: острое бритое лицо, кривой нос, волосы бобриком. «Человек, которому предстоит стать твоим убийцей, — подумал Кио, — на вид решительно ничем не отличается от других». Кёниг протянул руку к лежащему на столе револьверу — нет, взял пачку сигарет. И предложил ее Кио.

— Спасибо. Я не курю.

— Кормят в тюрьме отвратительно, как и полагается. Не хотите ли со мной позавтракать?

На столе — кофе, молоко, две чашки, нарезанный хлеб.

— Спасибо. Только хлеба.

Кёниг усмехнулся:

— Кофейник, как видите, и для вас, и для меня один и тот же.

Сесть было не на что, и Кио жевал кусок хлеба, стоя перед столом, как дети. После кошмара тюрьмы он ощущал невероятную легкость. Он понимал, что решается вопрос о его жизни, но даже умереть казалось просто. Быть может, этот человек так любезен от безразличия: он белый, и не исключено, что оказался на этой работе случайно или из корысти. Кио очень хотелось бы так думать — не потому, что он испытывал к этому человеку симпатию, нет, просто он мечтал расслабиться, освободиться от напряжения, которое изматывало его в тюрьме; он успел узнать там, какое испытание для нервов — быть вынужденным полностью и надолго замкнуться в себе.

Зазвонил телефон.

— Алло! — сказал Кёниг. — Да, Жизор, Киоши¹. Совершенно верно. Да, он у меня.

— Интересуются, живы ли вы еще, — сказал он.

¹ Полное имя.

— Зачем вы меня вызвали?

— Я полагаю, что мы сумеем найти общий язык.

Телефон зазвонил снова.

— Алло! Нет. Я как раз говорю ему, что мы найдем общий язык. Расстрелять? Перезвоните попозже.

Кёниг не сводил глаз с Кио.

— Что вы об этом думаете? — спросил он, вешая трубку.

— Ничего.

Кёниг опустил глаза, потом поднял снова.

— Вам безразлично, будете ли вы жить?

— Смотря как.

— Умереть тоже можно по-разному.

— Человек не выбирает, как ему умирать...

— Вы думаете, человек всегда выбирает, как ему жить?

Кёниг подумал в этот момент о себе. Кио решил не уступать в главном, но вовсе не хотел его озлоблять.

— Не з н а ю , — ответил он.

— Мне сказали, что вы стали коммунистом ради... как это, постойте, забыл... человеческого достоинства. Это так?

Кио не сразу понял. Ожидание звонка держало его в напряжении, и он не понимал, к чему клонится этот необычный вопрос.

— Вас это в самом деле интересует? — спросил он.

— Более чем вы думаете.

В тоне Кёнига была угроза. Кио ответил:

— Я действительно считаю, что коммунизм позволит обрести достоинство людям, вместе с которыми я сражаюсь. Во всяком случае, то, что коммунизму противостоит, достоинство у них отнимает. Зачем вы спрашиваете, если не слушаете ответа?

— Что вы называете достоинством? Это слово ровно ничего не означает!

Зазвонил телефон. «Жизнь?» — подумал Кио. Кёниг не спешил брать трубку.

— Это противоположность унижению, — сказал Кио.

«Для человека, который побывал там, где только что побывал я, это кое-что да означает», — подумал он.

Телефон продолжал звонить. Кёниг положил руку на аппарат.

— Где спрятано оружие? — спросил он.

— Оставьте телефон. Я наконец все понял.

«Спектакль, не более т о г о», — подумал Кио. Ему пришлось быстро пригнуться: Кёниг едва не швырнул в него одним из двух своих револьверов, но сдержался и положил его на стол.

— Я возьмусь за тебя и н а ч е , — сказал о н . — А подстроены

ли были звонки, ты, деточка, скоро узнаешь. Тебе случалось видеть, как пытаются?

Кио пытался согнуть в кармане распухшие пальцы. Яд лежал здесь, и он боялся уронить его, если придется им воспользоваться.

— Во всяком случае, я видел тела замученных. Для чего вы спросили меня, где оружие? Вам это известно или скоро будет известно. В чем же смысл?

— Коммунисты повсюду разгромлены.

Кио молчал.

— Это правда. Поразмыслите хорошенько: если вы будете на нас работать, вы спасены, и ни одна душа никогда ничего не узнает. Я устраиваю вам побег...

«С этого и надо было начинать», — подумал Кио. Возбуждение настраивало его против воли на иронический лад. Он прекрасно знал, что полиция не довольствуется в этих случаях сомнительными векселями. Однако, как ни странно, предложение Кёнига удивило его, будто сама банальность такой сделки исключала возможность ее предлагать.

— Только я один, — продолжал Кёниг, — буду об этом знать. Мне совершенно достаточно...

Почему, думал Кио, он произносит «совершенно достаточно» так вкрадчиво?

— Я не пойду к вам на службу, — сказал он спокойно.

— Имейте в виду, я могу засадить вас в камеру с десятком невинных людей и сказать им, что их участь зависит от вас, что их будут держать в тюрьме до тех пор, пока вы не заговорите, и они свободны в выборе средств...

— Палач, наверно, проще.

— Ошибаетесь. Чередование мольбы и истязаний куда хуже. Не говорите о том, чего не знаете — во всяком случае, пока не знаете.

— На моих глазах только что истязали сумасшедшего.

— Вы отдаёте себе отчет в том, чем рискуете?

— Да.

Кёниг был убежден, слушая Кио, что он все же не вполне сознает нависшую над ним опасность. «Ему помогает молодость», — думал он. Двумя часами раньше Кёниг допрашивал пленного чекиста — через десять минут они почти побратались. Их мир — мир, к которому принадлежали они оба, — существовал вне мира людей. Если Кио ничего не боится от недостатка воображения — терпение...

— Вам не любопытно, почему я до сих пор не запустил вам в голову этим револьвером?

— Вы сказали: «Я возьмусь за тебя иначе»...

Кёниг позвонил.

— Может быть, сегодня ночью я зайду поговорить с вами о человеческом достоинстве.

— В зал, серия А, — сказал он вошедшим конвойным.
[...]

6 часов

В огромном помещении — бывшем школьном зале для игр — около двухсот раненых коммунистов ждали расстрела. Приподнявшись на локте, Катов, принесенный одним из последних, осматривался вокруг. Люди лежали на полу. Многие стонали, на удивление равномерно; кто-то курил, и узоры дыма таяли где-то под потолком, уже едва различимым, несмотря на большие европейские окна, успевшие потемнеть от туманной вечерней мглы, — казалось, он вознесен очень высоко над лежащими вповалку людьми. Хотя еще не совсем стемнело, атмосфера была уже ночной. «Это из-за того, что кругом раненые, — думал Катов, — или оттого, что мы все лежим, как на вокзале? Да это и есть вокзал. Мы отправимся отсюда в никуда, вот и все...»

Четверо охранников-китайцев шагали взад и вперед среди раненых, и потускневший дневной свет причудливо отражался в их примкнутых штыках, прямых и гладких, над свалкой бесформенных тел. Желтоватые огни в тумане за окнами — видимо, газовые фонари, — казалось, тоже стерегли их. Внезапно, словно порождение этих огней — ибо он тоже возник где-то в глубине тумана, — раздался протяжный гудок, заглушивший шепот и стоны — гудел паровоз (рядом был вокзал Шапей). В зале царило нестерпимо гнетущее напряжение, которое не было однако ожиданием смерти. Тогда что же? Ответ Катов получил вскоре от собственного пересохшего горла: это была жажда — и голод. Привалившись к стене, он медленно обводил глазами помещение: лица большей частью знакомые. Вдоль одной из стен зала оставалось пустым пространство шириной метра в три. «Почему люди лежат чуть ли не друг на друге, вместо того чтобы перебраться туда?» — спросил он вслух. Он попал сюда позже остальных. Опираясь на стену, Катов стал подниматься. Несмотря на раны, он понял, что на ногах держаться может, но, не успев распрямиться, застыл: хотя никто не произнес ни слова, он почувствовал вокруг такой пронизывающий ужас, что это остановило его. Во взглядах? Он едва мог их разглядеть. В позах? Но позы в большинстве своем не выражали ничего, кроме боли. Однако, как бы он ни выражался, ужас был налицо, не испуг — смертельный ужас, ужас животных, людей, одиноких и беспомощных, перед чем-то нечеловеческим. Катов, по-прежнему держась за стену, перешагнул через своего соседа.

— Ты спятил? — раздался голос с пола.

— Почему?

Вопрос-приказ. Но никто не ответил. Один из охранников, метрах в пяти от него, вместо того чтобы швырнуть его обратно на пол, смотрел на него, оцепенев от удивления.

— Почему? — переспросил он еще более жестко.

— Он же не знает, — донесся снизу другой голос.

И одновременно третий, потише:

— Еще узнает...

Второй раз он задал свой вопрос очень громко. В молчании толпы было что-то жуткое, ведь почти все эти люди его, Катова, знали: опасность, нависшая над пространством у этой стены, угрожала, видимо, всем, но главным образом ему.

— Ложишься, — сказал один из соседей.

Почему никто из них не обращается к нему по имени? И почему не вмешивается охранник? Катов видел, как он только что ударил прикладом раненого, который хотел перебраться на другое место... Катов лег возле человека, ответившего ему последним.

— Там место для тех, кого будут пытаться, — прошептал сосед.

Это знали все, но никто не решился сказать — то ли потому, что про это вообще боялись говорить вслух, то ли потому, что боялись сказать именно ему. Кто-то ведь произнес: «Еще узнает...»

Дверь отворилась. Вошли солдаты с фонарями. На носилках принесли раненых и свалили, как тюки, рядом с Катовым. Надвигалась тьма. Она поднималась с пола, где стоны пробегали по рядам, точно крысы, и расплзался нестерпимый запах: большинство не могло двигаться. Дверь захлопнулась.

Прошло какое-то время. Среди звуков человеческой боли лишь шаги часовых да последние отблески света на штыках. И вдруг снова гудок, глуше, чем первый, как будто туман от темноты сделался более плотным. Один из только что принесенных, лежавший ничком, зажал уши ладонями и закричал. Остальные не кричали, но ужас опять был здесь, стлался по полу.

Раненый вскинул голову, приподнялся на локтях.

— Подонки! — заорал он. — Убийцы!

Подошел часовой и пинком под ребра перевернул его на спину. Он замолк. Часовой отошел. Раненый начал бредить. Было уже слишком темно, чтобы Катов мог видеть его глаза, но он хорошо слышал голос и чувствовал, что слова вот-вот станут отчетливее. Действительно: «...не расстреливают, а бросают живьем в топку паровоза, — бормотал ране-

н ы й . — А теперь вот гудят...» Часовой приближался. Все стихло, кроме стонов.

Дверь опять распахнулась. Снова штыки, освещенные снизу фонарями, но никаких раненых. Вошел офицер гоминыдана, один. И хотя Катов мог видеть лишь общие очертания груды тел, он почувствовал, как каждый в отдельности похолодел. Офицер, плоский призрак, слабо высвеченный фонарем на фоне сумерек, остановился у двери и отдал приказ часовому. Тот подошел к раненым, поискал Катова, нашел. Не прикасаясь к нему и ничего не говоря, он почтительно сделал ему знак подняться. Катов с трудом встал, повернувшись лицом к двери, где офицер продолжал делать распоряжения. Солдат, с винтовкой в одной руке и фонарем в другой, встал слева от него. Справа — пустое пространство и белая стена. Солдат указал винтовкой в ту сторону. Катов улыбнулся — с горькой, безнадежной гордостью. Но лица его никто не видел: часовой нарочно старался не смотреть, а те из раненых, кто не был при смерти, опираясь на бедро, на локоть, на подбородок, провожали взглядом его тень, еще не совсем черную, выраставшую на стене истязаемых.

Офицер вышел. Дверь осталась открытой.

Часовые взяли «на караул»: вошел человек в штатском. «Секция А», — послышалось снаружи, и дверь захлопнулась. Один из часовых подвел вошедшего к стене, бранясь на чем свет стоит; Катов, остолбенев, увидел перед собой Кио. Поскольку Кио не был ранен, часовые, видя, что он шагает между двумя офицерами, приняли его за одного из иностранных советников Чан Кайши; поняв свою ошибку, они теперь издали осыпали его бранью. Он лег в темноте рядом с Катовым.

— Ты знаешь, что нас ждет? — спросил Катов.

— Они позаботились о том, чтобы меня уведомить, но мне все равно: цианистый калий при мне. А твой?

— То же.

— Ты ранен?

— В ноги. Но ходить я могу.

— Ты давно здесь?

— Нет. Тебя когда взяли?

— Вчера вечером. Сбежать отсюда можно?

— Ничего не выйдет. Почти все тяжело ранены. Снаружи везде солдаты. Ты видел пулеметы перед дверью?

— Да. Где тебя взяли?

Оба испытывали потребность отвлечься от этого предсмертного бдения, говорить, говорить: Катов о взятии командного пункта, Кио — о тюрьме, о разговоре с Кёнигом, о том, что было потом; еще до того, как он оказался в тюрьме, он успел узнать, что Мэй не арестовали.

Катов лежал почти вплотную к нему, на боку; под весело вздернутым носом — распухшие губы, рот полуоткрыт, веки опущены; вся безмерность боли отделяла его от Кио, но он был связан с ним безоговорочной дружбой, дружбой без недо-молвок и сомнений, какую рождает лишь близость смерти: рядом была готовая оборваться жизнь, прибывшая к его собственной во тьме, полной опасностей и страдания, среди толпы их общих братьев по нищенствующему ордену Революции. Каждый из этих людей вырвал на ходу у судьбы то единственное величие, которым мог обладать.

Конвойные привели троих китайцев. Их поместили отдельно от общей массы раненых, но и не у стены. Их арестовали еще до начала сражения, кое-как наспех судили, и теперь они ждали расстрела.

— Катов! — позвал один из них.

Это был Лу Юшэн, компаньон Хеммельриха.

— Да?

— Ты не знаешь, расстреливают далеко отсюда?

— Не знаю. Во всяком случае, выстрелов не слышно.

Какой-то голос чуть поодаль произнес:

— Говорят, они потом выдирают золотые коронки.

— А мне плевать, у меня их н е т , — отозвался кто-то поблизости.

Вновь прибывшие курили сигареты, сосредоточенно и быстро затягиваясь.

— У вас нет лишнего коробка спичек? — спросил кто-то из раненых.

— Есть.

— Пошлите мне.

Лу передал свой.

— Хочется, чтобы кто-нибудь сказал моему сыну, что я умер мужественно, — проговорил он вполголоса. И еще тише добавил: — Это не так-то легко — умирать.

Катов в глубине души порадовался: ни жены, ни детей. Дверь опять открылась.

— Давай сюда одного из этих! — закричал часовой.

Все трое прижались друг к другу.

— Эй вы, решайтесь, — сказал охранник, — смелее.

Сам он не выбирал. Один из двоих незнакомых китайцев резко шагнул вперед, бросил едва начатую сигарету, зажег другую, сломав две спички, и быстро пошел к двери, на ходу застегивая одну за другой пуговицы своей куртки. Дверь закрылась.

Один из раненых подобрал обломки спичек. Он и его соседи разломали спички из коробка, посланного Лу Юшэном, и играли теперь в какую-то игру.

Меньше чем через пять минут дверь открылась снова.

— Следующий!

Лу и его товарищ шагнули вперед одновременно, держась под руки. Лу читал вслух громким сдавленным голосом сцену гибели героя из какой-то известной пьесы; но старая китайская традиция действительно распалась: его никто не слушал.

— Который? — спросил солдат.

Они не ответили.

— Ничего, разберемся!

Ударом приклада он разъединил их: Лу стоял ближе, он взял его за плечо.

Лу высвободился, пошел сам. Его товарищ вернулся на свое место и лег.

Кио почувствовал, насколько труднее будет ему умирать: он ведь остался один. Он не менее храбр, чем Лу, ведь они выступили вперед одновременно. Но теперь он лежал скрючившись, обхватив плечи руками, и поза его была немим криком страха. В самом деле, когда охранник встряхнул его, с ним случился нервный припадок. Двое солдат схватили его за ноги и за голову и выволокли на улицу.

Лежа на спине и скрестив на груди руки, Кио закрыл глаза: это была в точности поза покойника. Он вообразил себя лежащим неподвижно, с закрытыми глазами и с тем безмятежным покоем в чертах, который смерть дарит на день или два почти всем мертвецам, словно в это время должно проявиться достоинство даже самых убогих. Он не раз видел, как умирают люди, и благодаря своему японскому воспитанию всегда считал, что это прекрасно — умереть своей смертью, смертью, которая похожа на прожитую жизнь. Но умереть — это акт пассивный, убить же себя — поступок. Как только придут за кем-нибудь из них двоих, он убьет себя совершенно сознательно. Он вспомнил — и сердце его замерло — граммофонную запись *. То было время, когда надежда еще имела смысл! Он никогда больше не увидит Мэй. Единственное страдание, для которого он еще уязвим, — это ее страдание, как будто в его собственной смерти есть его вина. «Угрызения совести за смерть», — подумал он со злой иронией. Ничего подобного не чувствовал он по отношению к отцу, который в отличие от Мэй всегда был для него воплощением силы. Больше года прошло с тех пор, как Мэй полностью освободила его если не от горечи, то от одиночества. Стоило ему подумать о ней, как острое желание укрыться в нежность сплетенных тел обожгло его, уже не принадлежащего к живым... «Надо, чтобы она забыла меня...» Написать ей об этом — только большее ранить ее и еще сильнее привязать к себе. «И это значит предложить ей любить другого!» О тюрьма, место, где останавливается вре-

мя, которое продолжает течь повсюду... Нет! Здесь, в зале для школьных игр, отделенном пулеметами от остального мира, революции — какова бы ни была ее судьба и где бы она потом ни возродилась — предстояло принять последний выстрел; везде, где люди подавлены унижением и бессмысленным изнурительным трудом, они думали об обреченных, подобных этим, как верующие молятся; в городе их начинали любить так, как будто они уже умерли... На всем пространстве, которое накрыла собой на земле их последняя ночь, это средоточие хрипов было, несомненно, местом, самым богатым мужественной любовью. Стонать вместе со всеми, слиться в жалобном бормотании с этой отданной на заклятие болью... Неслышный гомон множества голосов присоединялся в глубине ночи к этому рокоту страдания: как и у Хеммельриха, почти у всех дома оставались дети. Однако эти люди приняли неизбежность, она была разлита в воздухе, как вечерний покой, накрывала Кио, его сомкнутые веки, руки, скрещенные на распростертом теле, и сообщала гудению стонов величественность погребального пения. Он боролся за то, что в его время было исполнено самого важного смысла и самой большой надежды; он умирал среди тех, рядом с кем хотел бы жить; он умирал, как и все лежащие вокруг, за то, что дал своей жизни смысл. Чего стоила бы жизнь, за которую он не согласился бы умереть? Умирать легко, если умираешь не одиноким. Смерть в густом сплаве дрожащих родных голосов, братство побежденных, в которых массы признают со временем своих великомучеников, кровавая легенда, рождающая золотые легенды *! Мог ли он, уже ощутив на себе взгляд смерти, не услышать этот гул человеческого самопожертвования, которое кричало о том, что мужественное сердце людей — пристанище для мертвых ничуть не хуже, чем дух?

Он держал яд в руке. Прежде он не раз думал о том, трудно ли будет умереть. Он знал, что если примет решение убить себя, то сделает это, но, помня о безжалостном равнодушии, с которым жизнь разоблачает нас в наших собственных глазах, не мог не испытывать тревоги перед мгновением, когда смерть навалится на мысль всей своей неодолимой тяжестью.

Нет, смерть может стать вдохновенным поступком, высшим выражением жизни, на которую будет похожа, и одновременно спасением от этих двоих солдат, нерешительно приближающихся к нему и к Катову. Кио раздавил яд зубами так же решительно, как отдал бы приказ, успел услышать голос Катова, который тревожно о чем-то спрашивал его и ощупывал, и в ту минуту, когда он уже готов был в удущье схватиться за его руку, он почувствовал, что все его силы куда-то отлетели от него, взорванные последней конвульсией.

Солдаты направлялись к двоим заключенным, которые сами подняться не могли. Несомненно, сожжение живьем давало право на некоторые почести, хотя и ограниченные: их перетаскивали вдвоем на одних носилках, навалив одного на другого, и сбросили слева от Катова — справа лежал мертвый Кио. На пустом участке пола, отделявшем их от тех, кто был приговорен всего лишь к смерти, вокруг фонаря сидели солдаты. Постепенно лица и взгляды раненых вновь погрузились в темноту и лишь изредка обращались к этому пятну света, которым было отмечено место обреченных у стены.

После смерти Кио, мучившегося удушьем примерно минуту или чуть больше, Катов почувствовал себя вновь отброшенным в одиночество, еще более мучительное оттого, что он был среди своих. Его неотвязно преследовало воспоминание о китайце, которого, чтобы убить, пришлось нести, ибо он бился в нервных судорогах. И все же он ощущал успокоение, как будто ждал этого момента многие годы, — успокоение, обретаемое им в худшие минуты жизни. Где же это он читал: «Не открытиям, а тяготам первопроходцев завидовал я, их страдания влекли меня»? Словно в ответ на его мысли, в третий раз донесся издалека паровозный гудок. Его соседи содрогнулись. Они были очень молоды: один из них был Сун, которого Катов знал лишь по сражению в командном пункте; второго не знал вовсе. (Это не был Пэй.) Почему их переложили сюда?

— Организация боевых отрядов? — спросил он.

— Покушение на Чан Кайши, — ответил Сун.

— Вместе с Ченом?

— Нет. Он хотел один бросить свою бомбу. Чан Кайши в машине не оказалось. Я ждал на дороге. Меня взяли с бомбой.

Голос, отвечавший Катову, был такой сдавленный, что он невольно взгляделся в лица: молодые люди беззвучно плакали. «Словами тут ничего не сделаешь», — подумал Катов. Сун двинул плечом, и лицо его исказилось от боли — он был ранен в руку.

— Сгореть, — произнес он. — Сгореть живым. И глаза тоже, ты понимаешь, глаза...

Его товарищ зарыдал в голос.

— Сгореть можно и от несчастного случая, — сказал Катов.

Казалось, они говорят не друг с другом, а с кем-то посторонним, невидимым.

— Это другое дело.

— Конечно, другое, это хуже.

— И глаза, — повторил Сун уже тише, — глаза... Каждый палец, и живот, живот...

— Замолчи! — почти беззвучно сказал второй.

Ему хотелось кричать, но он уже не мог. Он сжал кулаки,

коснулся ран Суна, и тот передернулся от боли.

«Человеческое достоинство», — пробормотал Катов, думая о разговоре Кио с Кёнигом. Соседи его замолчали. За фонарем, в темноте, теперь уже полной, все тот же рокот боли... Катов придвинулся ближе к Суну и его другу. Один из охранников что-то рассказывал остальным: их сблизившиеся лица заслоняли свет фонаря, и обреченные даже не могли разглядеть друг друга. Несмотря на голоса и осязаемое присутствие множества людей, которые сражались вместе с ним, Катов чувствовал себя одиноким, одиноким между телом мертвого друга и двумя перепуганными товарищами по несчастью, одиноким между этой стеной и далеким гудком во тьме. Но человек может оказаться сильнее, чем это одиночество и даже, быть может, чем этот жуткий гудок: страх боролся в нем с самым невероятным искушением в его жизни. Как Кио в тюрьме, он расстегнул пряжку ремня. Наконец:

— Эй, С у н , — сказал он очень т и х о . — Положи руку мне на грудь и, когда я дам знак, возьми то, что там найдешь. Я отдаю вам свой цианистый калий. Здесь ровно на двоих.

Он отказался от всего на свете, кроме этих последних слов: «Здесь ровно на двоих». Лежа на боку, он разломил комочек пополам. Свет, окружавший охранников дрожащим ореолом, был скрыт за их спинами, но вдруг они поменяют позу? Невозможно совершенно ничего разглядеть; дар, значивший больше, чем жизнь, Катов вручал горячей руке на своей груди — даже не телу, даже не голосу. Рука сжалась, как зверек, и тут же отделилась от него. Напрягшись всем телом, он ждал. И вдруг один из двоих произнес:

— Потерял. Он упал на пол.

В голосе почти не слышалось испуга, как будто такая катастрофа не могла произойти на самом деле и все должно как-то уладиться. Для Катова это было непереносимо. Беспредельная ярость закипела в нем, но тут же улеглась, сраженная безысходностью. И все-таки! Отдать *такое*, чтобы этот кретин его потерял!

— Когда? — спросил он.

— Пока я брал. Не смог удержать, когда Сун мне передал: я ранен и в руку тоже.

— Он уронил обе половинки, — сказал Сун.

Они шарили по полу между собой. Потом между Катовым и Суном, на котором, видимо, почти лежал его товарищ, ибо Катов, ничего не видя, чувствовал возле себя массу двух тел. Он тоже искал, стараясь совладать с нервозностью, и дециметр за дециметром ощупывал пол всюду, куда мог дотянуться. Их руки соприкасались. И вдруг одна из них накрыла его руку, пожалала, задержала в своей.

— Даже если мы не найдем... — произнес голос.

Катов ответил на пожатие, взволнованный до слез этим горьким братством без лиц, даже почти без голосов (шепот у всех людей одинаков), которое было ему послано в этой тьме в обмен на самый большой дар, какой он когда-либо принёс в жизни и который, судя по всему, принёс впустую. Сун возобновил поиски, но руки их не разъединились. Пожатие вдруг превратилось в судорогу:

— Вот он!

О возрождение!.. Но:

— Ты уверен, что это не камешки? — спросил другой.

На полу валялось множество обломков штукатурки.

— Дай сюда! — сказал Катов.

Пальцы его нащупали знакомую форму.

Он вернул комочки назад — вновь отдал и х, — еще сильнее сжал руку, нашедшую его руку опять, и стал ждать, дрожа и стуча зубами. «Только бы яд не отсырел, хоть он и в фольге», — думал он. Рука, которую он держал в своей, внезапно чуть не вывихнула его руку, и Катов почувствовал, что скрытое темнотой тело судорожно напряглось. Как завидовал он этим конвульсиям, этому мучительному удушью! Почти одновременно — другой: короткий сдавленный крик, на который никто не обратил внимания. Потом — ничего.

Катов почувствовал себя покинутым. Он перевернулся на живот и стал ждать. Дрожь не проходила.

Среди ночи вошел офицер. Гремя оружием, шестеро солдат приблизились к обреченным. Все заключенные проснулись. В свете фонаря виднелись лишь длинные неясные силуэты — кладбище непогребенных — и всего несколько отсветов живых глаз. Катову удалось подняться. Старший из конвоиров потянул Кио за руку и, почувствовав, что тот неподвижен, схватил Суна — результат тот же. Шум пробежал от первых рядов раненых к последним. Начальник конвоя приподнял ногу сначала одному, потом другому; они упали со стуком. Он подозвал офицера. Тот проделал то же самое и взглянул на Катова:

— Умерли?

К чему отвечать?

— Изолируйте шестерых ближайших заключенных!

— Бессмысленно, — сказал К а т о в, — это я дал им яд.

Офицер заколебался.

— А сам? — спросил он наконец.

— Там было только на д в о и х, — ответил Катов с глубоким внутренним ликованием.

«Сейчас получу прикладом в л и ц о», — пронеслось у него в голове.

Гул среди раненых перерос почти в крик.

— Пошли, — коротко сказал офицер.

Катов не забыл, что один раз его уже приговаривали к смерти и он видел направленные на него пулеметы, слышал, как они выстрелили... «Как только выйдем, попытаюсь задушить одного из них и не разжимать рук, пока они меня не застрелят. Они сожгут меня, но мертвым». В это мгновение один из солдат схватил его, другой заломил руки за спину и связал. «Малышам, похоже, повезло, — подумал он. — Ну что же, вообразим, что я погиб во время пожара». Он пошел к двери. Тишина упала вновь, как крышка люка, ее не нарушали даже стоны. Как несколькими часами раньше по белой стене, тень Катова, теперь уже совершенно черная, скользила по огромным темным окнам; он шел тяжело, переваливаясь, с трудом переступая с ноги на ногу; когда он приблизился к фонарю, тень его головы переместилась на потолок. Живая темнота зала следила за каждым его шагом. Тишина нависла такая, что слышно было, как он ступает по полу; головы подымались и опускались в такт его шагам, с любовью, ужасом, смирением, точно каждый открывал самого себя, провожая взглядом этого уходящего человека. Все застыли, подняв голову: дверь закрылась.

Теперь с пола поднималось глубокое, как во сне, дыхание: шумно дыша через нос, со сведенными ужасом челюстями, те, кто был еще жив, неподвижно ждали гудка.

1933

О ФАШИЗМЕ ВО ФРАНЦИИ

ВОПРОСНИК ЖУРНАЛА «АВАНПОСТ»

Господин и дорогой коллега!

В Париже только что состоялся очень важный антифашистский конгресс *. Мы надеемся с помощью нашей анкеты, проводимой среди ограниченного круга писателей, оказать содействие в выявлении существующих позиций и взглядов по поводу важной проблемы, каковой является фашизм.

Мы будем весьма признательны, если Вы ответите на следующие вопросы:

1) Допускаете ли Вы в ближайшем будущем приход к власти во Франции фашистского правительства в завуалированной или открытой форме, сразу или постепенно? Какие, по Вашему мнению, формы могло бы принять такое правительство?

2) Как Вы лично относитесь к демократическим свободам и их упразднению?

3) Если Вы считаете, что с фашизмом необходимо бороться, то каковы, по-вашему, наилучшие способы борьбы? Какова, в частности, в этом роль писателей?

В надежде, что Вы предельно быстро направите нам ответ, просим принять, господин и дорогой коллега, выражение чувств профессиональной солидарности.

ОТВЕТ АНДРЕ МАЛЬРО

а) Мне кажется, что во Франции укореняется путаница между представлением о фашизме, с одной стороны, и идеей о сильном правительстве — с другой. Фашизмом я называю движение, которое, *вооружая* и организуя мелкую буржуазию, претендует на то, чтобы править от ее имени, направляя свои усилия на борьбу против пролетариата и против капитализма.

Однако нам известно, что следует думать о борьбе против последнего, вспомним, что Гугенберг * и Тиссен * входят в нацистское правительство, а на одного Гуалино, что сидит на Липарских островах *, сколько ему подобных наслаждаются жизнью на Капри. Что касается борьбы против пролетариата, то она действительно существует. Видя в подлинном фашизме часть капитализма, поскольку одна только мелкая буржуазия не в состоянии обеспечить первичные фонды этому движению, я считаю, что французский капитализм предпочтет фашизму демократию, если только угроза со стороны рабочих не принудит его к обратному. Демократия платит больше, лучше и представляет меньшую опасность. Относительная же слабость французского пролетариата, таким образом, снимает, мне кажется, необходимость обращения к фашизму и, напротив, позволяет предвидеть «сильное» правительство типа правительства Клемансо *, якобинского или радикального характера.

В *настоящее время*, по-моему, рабочее движение не имеет никаких шансов взять власть во Франции. Его шансы будут связаны с революционной обстановкой — глубоким кризисом, голодом или войной. Есть причины (излагать их было бы здесь слишком долго), по которым значительная часть французской мелкой буржуазии остается приверженной демократии и враждебной фашизму. Именно поэтому от союза пролетариата с «народными» элементами мелкой буржуазии я жду формирования боевой массы, способной противостоять фашизму, поскольку после этого, и только после этого, под воздействием обстоятельств и при малейшем обострении кризиса станет возможным руководство этой массой пролетарской идеологии.

б) и в) Любой вопрос борьбы связан с организацией. Если такая организация существует, то пусть судят о ней по ее делам, идут за ней либо нет. Если же ее не существует, то надо или работать над ее созданием, или помалкивать. Рассуждать о том, что должна представлять собой такая организация, — это толочь воду в ступе.

Андре Мальро. 1933

ИСКУССТВО — ЭТО ЗАВОЕВАНИЕ

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи! Вам адресовали такое множество приветствий, что вы, наверное, устали на них отвечать.

Если бы мы не были солидарны с Советским Союзом, нас не было бы в этом зале.

Поэтому я сразу перейду к делу и буду говорить с вами так, как человек говорит с людьми о том, что их сближает, и о том, что разделяет. Вы уже работаете для пролетариата; мы же — революционные писатели Запада — работаем против буржуазии.

В чем с точки зрения психологии проявляется для нас основной характер коммунистической цивилизации?

В том, что вы оказали доверие женщинам, которых угнетал царизм, что из этих женщин, живших в страданиях и нищете, вы создали советскую женщину. В том, что вы оказали доверие детям, всем детям, даже беспризорникам, и сделали их пионерами. В том, что вы оказали доверие саботажникам, убийцам и ворах, в том, что вы спасли их и вместе с ними построили Беломоро-Балтийский канал.

И в будущем скажут: «Несмотря на все преграды, несмотря на гражданскую войну и голод, впервые за тысячелетия коммунисты оказали доверие человеку».

Выражает ли советская литература тот образ СССР, который она создает?

Во внешних фактах — выражает.

В этике и психологии — нет.

Так происходит потому, что то доверие, которое вы оказываете всем людям, вы недостаточно оказываете писателям.

Чем это объясняется?

Мне кажется, недоразумением, которое существует у вас в отношении культуры.

О чем просили вас все делегации, что вместе с подарками несли в этот зал то человеческое тепло, ту неповторимую дружбу, которыми окружена ваша растущая литература?

«Выразите нас, покажите нас».

Остается лишь узнать, каким образом этого достигнуть?

Да, Советский Союз необходимо выразить; да, необходимо составить необъятный реестр жертв, героизма и выдержки, но будьте, товарищи, осторожнее. Кстати, Америка показывает нам, что выражать мощную цивилизацию не означает тем самым создавать могучую литературу и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература.

На одном московском заводе я спросил рабочего: «Почему вы читаете?» «Хочу научиться жить», — ответил он. Культура — это всегда учеба. Но, товарищи, у кого учились наши учителя? Мы читаем Льва Толстого, но у него книга Толстого не было. То, что дает нам Лев Толстой, ему надо было создать самому. Писатели — «инженеры человеческих душ», не забывайте, что высочайшая функция инженера — творчество.

Искусство — не смирение, искусство — завоевание.

Что искусство завоевывает?

Чувства и способы их выражения.

Над чем одерживает победу?

Почти всегда над бессознательным; очень часто — над логикой.

Марксизм — это осознание социальной жизни; культура — осознание жизни психологической.

Буржуазии, которая твердила об индивиде, коммунизм ответит Человеком. Коммунизм противопоставит лозунгам величайших эпох индивидуализма тот лозунг культуры, который у Маркса связывает первые страницы «Немецкой идеологии» с последними черновыми набросками к «Капиталу»: «Больше осознания!»

Пришлось бы говорить слишком долго, чтобы дать определение того, что представляло собой осознание для классиков русского романа. Их глубокое понимание человека почти всегда заключалось в показе противоречивых и непредвиденных стихий человеческой природы. Когда герой Толстого, который бредет в ледяной ночи, открывает, что холод уничтожает его любовь, когда Раскольников убеждается, что убийство, от которого он ждет могущества, приносит ему одиночество, как поступают эти писатели? Эмпирический факт они подменяют фактом логическим; и, поскольку в психологии нет

истинной логики, а существует простая подражательность, то подражательность у них сменяется художественным открытием.

Вы обожаете ваших классиков не только потому, что они прекрасны. Не объясняется ли это обожание тем, что классики дают более насыщенное и более противоречивое понятие о психической жизни, чем советские романы, а также тем, что вы иногда считаете Льва Толстого более *современным*, нежели многие из вас? В искусстве отказ от психологизма ведет к самому нелепому индивидуализму. *Ибо каждый человек осознает свою жизнь, хочет он того или нет*; отказ от психологизма на практике означает, что человек, который лучше осознает собственную жизнь, вместо того чтобы передавать свой опыт другим, сохранит его для себя.

Это бесспорно, потому что произведения Максима Горького, любимые вами более всех остальных, оставаясь общедоступными, всегда содержат то психологическое или поэтическое открытие, которого я здесь требую. Поэтическим открытием я называю картину звездного неба, которая помогла раненому под Аустерлицем и лежащему на поле боя Андрею Болконскому постичь спокойствие души, что превосходит страдания и суету людскую.

Товарищам рабочим, что в литературных кружках при заводах изучают литературу, лет через десять будут нравиться совсем иные произведения, нежели их товарищам, которые занимались лишь технической подготовкой. И несомненно, они *также* будут любить те произведения, что глубоко проникают в сущность человека. Но вы должны помнить, что эти новые произведения будут укреплять за рубежом культурный престиж Советского Союза, так же как его укрепляют сегодня произведения Пастернака, а раньше книги Маяковского.

Пьесы Шекспира смотрели и графы, и грузики. Сейчас, когда люди на Западе собираются вместе только для того, чтобы горьким смехом смеяться над собой, глядя фильмы Чарли Чаплина, сейчас, когда множество наших лучших писателей пишут для призраков или для людей будущего, вы, похожие друг на друга и тем не менее разные, как две руки одного тела, закладываете здесь основы цивилизации, которая породит своих Шекспиров. Пусть эти Шекспиры не задохнутся под грузом самых прекрасных фотографий. Мир ждет от вас не только показа того, кто вы есть в действительности, но и показа того, что выше вас, и скоро лишь одни вы сможете показать миру все это.

23 августа 1934

ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССЕ РОЖДЕНИЯ

Каковы причины, толкнувшие целый ряд выдающихся писателей и художников Франции, даже тех, которые были враждебны революционной борьбе классов, на путь пролетариата, путь борьбы за социалистическое общество и защиты СССР?

Писатели и художники, враждебные революционной борьбе классов, принадлежат к двум различным категориям.

С одной стороны — сентиментальные пацифисты, ставшие на сторону революции, очевидно, из-за угрозы фашизма. С другой — плюралисты, ставшие марксистами. Последние были, во-первых, свидетелями кризиса, затем — зарождения фашизма и, наконец, угрозы фашизма в собственной стране. Антифашисты, по существу (совершенно ясно, что тот, кто не был против фашизма, не мог стать коммунистом), постепенно прониклись настроениями борьбы. *Между тем воинствующий плюрализм немислим.* Он подразумевает пассивную позицию. Марксизм же именно мыслится как позиция боевая. Ясно, что на вопрос: «Что существует?» — может быть тысяча разных ответов, труднее услышать тысячу ответов на вопрос: «Что делать?» И этот вопрос, на мой взгляд, основной в марксизме: действовать, чтобы преобразовать.

В вопросе о защите СССР имеются две позиции: защита СССР во имя пролетариата и защита его во имя свободы.

О первой позиции говорить не приходится, она ясна; что же касается второй, то сторонники ее рассматривают СССР как эксперимент и относятся враждебно ко всему, что может помешать осуществлению этого эксперимента. Они прекрасно понимают, во имя чьих интересов готовится нападение на СССР, и не имеют ни малейшего желания жертвовать своей жизнью ради процветания капитализма.

Если же говорить не о защите, а о сочувствии, то ведь надо принять во внимание, что часть либеральной интеллигенции ставила красный террор в счет коммунизму — в его пассив. С другой стороны, буржуазия говорила Советам: «Я — культура». Но мы видим, что в Москве открываются библиотеки, а в Берлине их закрывают, перед нами прошел Всесоюзный съезд советских писателей, мы наблюдаем развитие советской концепции культуры. Писатели и художники, которые были напуганы лозунгом «Техника в период реконструкции решает все», видят, как их сочувствие СССР, когда-то пассивное, становится активным и жизненным. Это — факт огромного агитационного значения: эти писатели и художники имеют большое влияние на французскую интеллигенцию, социальное лицо которой весьма сложно. Было бы весьма желательно,

чтобы по этому вопросу появился серьезный труд на русском языке.

Что мешает многим нашим писателям окончательно примкнуть к рабочему классу и принять принцип классовой борьбы?

Редко бывает, что человек, даже интеллектуально развитый, принимает теорию как таковую — скорее он принимает определенные формы жизни. Присоединение к победившей партии диктуется не только выгодой: дело в том, что эти партии становятся центром коллективной жизни вместо того, чтоб быть центром жизни идеологической. Прочтите «Страницы дневника» Жида *. Не связь с Марксом определяет их, а связь с Советским Союзом. Если говорить не об отдельной личности, а об обширном коллективе, то побеждает не идея, а человеческое общество.

Кроме того: представление о коммунизме у большинства французов, включая и интеллигенцию, просто смехотворно. И одна из наших первых задач — это ликвидация этого нелепого толкования («муравейник» и т. п.). Много французских интеллигентов видели в коммунизме уравнение, что неверно, исключительный культ техники — что тоже неверно, обезличивание — что уже нелепо. Они думали, что их сдержанность по отношению к Советскому Союзу спасает культуру. Но в данном случае нам помогут не отвлеченные споры, а успехи пятилетки. Когда в СССР читают, то читают Горького, Толстого и с десятков других романистов, творчество которых отображает тот или иной участок жизни. Где шансы культуры выше? В стране, где наибольший тираж имеют произведения Горького, или там, где зачитываются «Фантомасом»?

В итоге я думаю, что причина сдержанности большинства наших писателей заключается в недостаточном доверии к пролетариату и даже в недостаточном доверии к человеку. Только в СССР и Соединенных Штатах верят в человека. Но советский пролетариат может подтвердить это не только красивыми фразами.

Если интеллигенты колеблются между демократией как таковой и коммунизмом, который представляется им авантюрой, если даже они откровенно предпочитают первую, то очень немногие из них предпочитают фашизм. И вот мы стоим перед новым фактом: им приходится выбирать не столько между демократией и коммунизмом, сколько между коммунизмом и фашизмом.

Я приведу вам пример Комитета бдительности *, деятельность которого очень симптоматична и знаменательна. Комитет насчитывает в данный момент более двух тысяч членов, принадлежащих к различным профессиям умственного труда:

писатели, художники, профессора. Основная задача Комитета заключается в помощи пролетарским организациям, так как только в этих организациях интеллигенция видит силу, способную оказать сопротивление фашизму.

Каковы главные современные проблемы (в литературе, науке, культуре, политике, экономике и т. д.), являющиеся на сегодняшний день наиболее значимыми для человеческого общества, и в чем заключается роль революционного пролетариата, и в частности пролетариата в СССР, в разрешении этих проблем?

Так как лучше говорить только о том, что знаешь, то я остановлюсь лишь на двух из указанных проблем: культуре и литературе. Наиболее важный психологический факт в Западной Европе — это конец индивидуализма в его установившейся буржуазной форме. Я верю не в конец индивида, так как индивид — факт биологический, а в конец индивидуализма, который есть *ценность*, придаваемая этому факту, — превознесение *частного*. Я верю, что в ближайшем будущем явится не индивидуализм, а советский *гуманизм*, аналогичный, но не похожий на гуманизм Греции, Рима и эпохи Возрождения. Но эта мысль требует более глубокого развития.

Что в СССР представляет для меня наибольший интерес в связи с моей литературной работой и археологическими изысканиями?

В области археологии: Центральная Азия. Думаю, что расширение наших знаний в области греко-буддийских и иранских культур будет главным образом зависеть от работ советских ученых в ближайшее десятилетие. Затем скифское искусство. Оно приобрело сейчас большое значение, а скифские могилы почти исключительно находятся на советской территории.

В области культуры: новый человек. Человек в процессе рождения. Он так же отличается от буржуа, как буржуа от феодала. Но разберемся в перспективах и результатах.

Что касается результатов (я подразумеваю современного советского человека, советскую психологию, советское общество), то здесь создано много отвлеченных теорий, а мне кажется, что мы располагаем конкретным материалом — материалом чистки. *Опубликование наиболее показательных заседаний комиссии по чистке дало бы нам в тысячу раз более яркую картину, чем все существующие теории.*

И еще: колхозник читает Гоголя и Толстого. Это, конечно, факт величайшей важности. Но *как* он их читает? Умело составленная анкета могла бы осветить этот вопрос. Усвоение культурного наследия само по себе творческий акт. Точно так же, как буржуазное общество восприняло наследие феодальной мысли и тем самым *модифицировало его*, так и пролетариат

воспринимает культурное наследие прошлого, модифицируя его. Произведение искусства не камень — это зерно, меняющееся в зависимости от почвы, в которой оно произрастает.

Но произрастанию зерна можно помочь.

Какую роль играет идеология писателя в художественной литературе и какое значение я ей придаю?

Во-первых, реальность в искусстве — это ровно ничего не говорит. Конечно, существует известное подчинение художника внешнему миру, весьма отличающееся от формального желания пользоваться этим миром для выражения себя самого. Но хочет он того или нет (а это его нежелание может иметь большое значение), он всегда создает мир *по своему выбору*. Не только в кинематографии существуют фотография и монтаж, но в других искусствах это не так заметно.

Итак, я вам отвечаю, что идеология, сознательно или бессознательно, предопределяет монтаж.

Кстати, большое значение имеет и идеология читателя, опять-таки сознательная или бессознательная: французский читатель обвиняет советский роман в однообразии, не задумываясь над тем, что добрая половина тех книг, которые он читает, кажется советскому читателю одним бесконечным, убийственно-скучным любовным романом...

Может быть, сознательное желание дать фотографию. Она имеет свой смысл: ее можно принять или отвергнуть. Не существует «точной» фотографии. Уже начинают понимать, что фотоснимок — это модель плюс фотограф, даже если он плох. Пора понять, что это верно и для других видов искусства. Обращали ли вы внимание на то, что ранние фото, наиболее безличные, кажутся нам теперь имеющими свой стиль и столь же иератическими и примитивными, как византийские фрески?

Еще одно замечание, немного в сторону, но тем не менее существенное: эффективность лозунга «*социалистический реализм*» объясняется прежде всего тем, что в Советском Союзе он применяется к *романтической действительности*: гражданская война, строительство, героизм и т. д.

Кроме того, заметьте, что в психологии речь идет не о воспроизведении, а об открытиях: приведение в систему ряда открытий требует определенной идеологии.

Вот диалектика психологии:

а) явления жизни кажутся нам несовместимыми с объяснениями, которые дает современная идеология; в) художник отделяет их от этой идеологии и возвращает в эмпирический мир; с) из их совокупности и из сопоставления их рождается новая идеология.

Мне кажется, что французская психология определяется главным образом поисками закона логики (Стендаль, Лакло * и

другие), а русская психология (Толстой, Достоевский) прежде всего алогична: ее сила почти всегда в замене формальной логики нелогичным фактом. Например: любовь наряду с ненавистью; теперь это весьма обычная концепция, но до Достоевского ее не было. (Во французской трагедии ненависть в любви бывает только следствием гнева, а не компонентом любви.)

В известном смысле воля к психологическому анализу, в рамках материалистической философии, есть защита от идеализма. Но анализ нарождающейся советской психологии потребует длительного изучения ее. (В общих чертах это будет психологией поведения.)

Теперь коротко о перспективах французской литературы, о круге тем и проблемах формы, которые занимают французских писателей.

Литература, ведущая свое начало от Флобера и Малларме (примат эстетических ценностей), умирает, и все современные течения французской литературы можно собрать в единый поток возвращения к человеку.

Само собой разумеется, что формы, в какие выльется эта новая литература, будут главным образом зависеть от политических событий ближайшего будущего.

Мне думается, что основная и вместе с тем мало подчеркиваемая проблема форм — это проблема *живой речи*, поднятой, однако, на большую стилевую высоту.

1934

ПОЗИЦИЯ ХУДОЖНИКА

Необходимо с самого начала уточнить два понятия, на которых строится все, что я намерен сказать, как и все, что было сказано здесь до сих пор.

Первое — это отношения между марксизмом и советской литературой.

Представление о литературе как о воплощении некоей доктрины никогда не соответствовало действительности. Евангелие породило христианство, которое в свою очередь породило христианскую литературу. Учения греков создали эллинский город, и уже он создал греческую литературу. Марксизм построил советское общество, которое выражает себя в литературе СССР. Между теорией и литературой всегда стоит цивилизация, живые люди.

Вторая проблема — это проблема свободы художника. Все, о чем здесь говорилось, мне кажется верным, но, видимо, следовало бы рассмотреть и более сложный ее аспект.

Утверждать, что свобода буржуазного писателя сводится

к возможности, действительно неограниченной, выражать взгляд на мир буржуазного класса, справедливо в социальном отношении, но значительно менее справедливо — в художественном.

Буржуазия, как мне представляется, никогда не выражала себя впрямую. И никогда не утверждала себя как таковая. Она всегда выступает то в образе аристократии, то культуры, то нации, то религии, тогда как христианская цивилизация утверждала себя в своем собственном качестве. С тех пор как великий век буржуазии — восемнадцатый — ушел в прошлое, она оправдывает себя окольными путями.

Ни Клодель, ни Пруст не *представляют* буржуазию, *представляет* ее Анри Бордо *.

Настоящий художник в силу своей природы отнюдь не свободен в выборе темы: можно ли, к примеру, вообразить сегодня даже самого лучшего из буржуазных писателей, решившего воспеть в своей книге президента Думерга * и сумевшего создать талантливое произведение? Дело в том, что *творение искусства черпает свою силу только в положительной стихии бытия*, и именно на это я и хотел обратить ваше внимание.

Настоящая свобода творчества не есть свобода делать что угодно: это свобода делать то, к чему художник стремится, а советский художник знает, что не в разладе с окружающим его обществом, но лишь в согласии с ним его талант может обрести силу.

Мы же привыкли жить и мыслить внутри общества, против которого разум восстает. Я не собираюсь сейчас пускаться в сложные идеологические проблемы, а хочу, наоборот, высветить лишь один простой факт: вне зависимости от своих сильных или слабых сторон законы жизни, существующие в Западной Европе, неотделимы от определенной доли лицемерия. Многие из тех, кто сейчас слушает меня, пережили войну. Они помнят свое возмущение — не опиравшееся, кстати, ни на какую доктрину — чудовищным расхождением между трагической, кровавой действительностью — даже если им виделось в ней величие — и тем, как эту действительность представляла печать. В этом смысле мир не слишком переменялся со времен войны.

Но не будем сопоставлять лучшие стороны советского искусства с тем, что есть самого недостойного в искусстве буржуазном. Обратимся к его более возвышенным аспектам и разберемся, чем же в основе своей различаются эти два искусства.

В течение более шести десятков лет великие произведения западного искусства продолжают одну и ту же неизменную линию. Суть давно уже не в том, чтобы, как любили говорить о Бальзаке, «изображать внешний мир», а в том, чтобы

с помощью образов выразить проблемы личности. «Бесы» — это не изображение, пусть даже неприязненное, русской революционной среды: это развитие этической мысли Достоевского через столкновения живых персонажей. Как Ницше в «Заратустре» *, Достоевский — философ, мыслящий притчами.

В живописи ситуация та же самая. Если у Сезанна сюжет становится все менее и менее важен, то это не из пристрастия к «выписыванию» деталей, как у фламандцев, и не из особой любви к натюрморту. Просто Сезанн таким способом развязывает себе руки для самовыражения, и это отмирание сюжета, которое приведет впоследствии к абстрактной живописи, означает не растущий интерес к графической стороне, как утверждают некоторые, а растущий интерес к самому художнику. Современный художник-абстракционист творит свой миф в точности так же, как Достоевский с в о й , — в том смысле, в каком надо понимать высказывание Гёте о том, что каждый писатель пишет свое полное собрание сочинений. Можно сказать, что Пикассо практически всю жизнь именно это и делает.

Итак, художник творит свой миф. Остается объяснить, каким образом этот миф находит свою публику и за счет чего живет произведение искусства.

Я приведу два примера: Бодлер и Фромантен *. В обоих случаях речь идет о художниках с чрезвычайно своеобразным восприятием, в котором определенное количество читателей находит созвучие со своим собственным, только выраженным на более высоком уровне и тем самым утвердившимся в своем праве на существование. Следовало бы, конечно, развить эту мысль поглубже, но в общем и целом можно, по-моему, сказать, что читатель воздает автору восхищением за подтверждение правоты своих чувств.

Я не верю в таинственную платоновскую красоту, которой удастся достичь за все века лишь несколькими особо выдающимися художникам, я верю во взаимосвязь между типами человеческого восприятия и в заложенную в нем потребность быть выраженным и тем самым получить признание своей значимости.

Эта проблема стоит в центре всей творческой жизни Запада, искусство буржуазной цивилизации, можно сказать, вращается вокруг нее.

Дело в том, что художник и современная цивилизация не могут не находиться в противоречии. В такой, например, стране, как Франция, независимо от классовых и тому подобных

различий, произошло разделение людей на тех, кто приемлет сегодняшнее общество, и тех, кто его не приемлет. Школьные учителя, университетские преподаватели, женщины, рабочие, буржуа могут в любом количестве входить в эту новую группу, именуемую «интеллигенцией», и в том, что касается искусства, у них находится множество точек соприкосновения. (Я хочу, чтобы меня правильно поняли: я рассматриваю эту группу как общность временную, ибо любой глубокий общественный кризис наверняка расколет ее. Я просто привожу вам факт литературной жизни в том виде, в каком он на сегодняшний день существует.)

В нашей цивилизации установилось фундаментальное несогласие между мыслью, с одной стороны, и общественным укладом — с другой. Лицемерие, о котором я недавно упоминал, чрезвычайно сильно у нас в сфере мысли, тогда как если мы захотим представить себе отношение русского рабочего к своему обществу, то нам не найти лучшего сравнения, чем с настроениями народных масс на Западе в период всеобщей мобилизации, когда они еще принимали войну. Нетрудно представить себе, каким могло бы быть искусство периода войны, если бы она до конца сохранила для всей страны свой первоначальный высокий смысл, как это было для Франции во времена войн Первой республики *. Советское искусство имеет ту же природу. Здесь уже говорили до меня, и я готов повторить, что советское общество есть общество тоталитарное. Под этим я понимаю такое общество, к которому люди ощущают свою причастность, которому сознательно подчиняют свои интересы и где труд не является мертвой частью жизни. То же говорят порой и о фашизме. Сомневаюсь, чтобы это было правдой. Ибо фашизм, в той мере, в какой он оставляет за деньгами их определяющую роль, сохраняет в этической сфере все буржуазные противоречия, и когда нам говорят, будто фашистская немецкая литература пока слишком молода, чтобы можно было судить об ее успехах (кстати, некоторые из лучших советских произведений были созданы еще в период военного коммунизма), то невольно вспоминаешь о долгих годах фашизма итальянского, чья литература вызывает у нас большие сомнения относительно тоталитарности итальянского общества.

У нас тоже есть тоталитарное искусство, есть художник, который, оказавшись он сейчас в этом зале, мог бы, как любой советский художник в Москве, сказать: «Вы все меня знаете и все любите, каждый на свой лад». Это Чарли Чаплин. Единодушие людей в оценке художественного произведения обнаруживается теперь на Западе лишь по отношению к комическому жанру — мы обретаем подлинную общность лишь для того, чтобы посмеяться над собою.

Первая и главная особенность советского искусства заключается в том, что художник перестает быть объектом интереса в собственных глазах.

Мир кажется ему интереснее, чем он с а м , — прежде всего потому, что мир здесь еще не открыт. Нельзя не помнить, что наше буржуазное общество, уже довольно дряхлое, в общем, сравнительно хорошо исследовано; открытия Золя по отношению к миру Бальзака крайне невелики, и для западного художника обратиться к общественной жизни означает либо копировать ее, либо преобразовывать, пропуская через собственное восприятие. Можно сказать, что опись буржуазного мира уже составлена. В советском мире к ней еще только приступают.

На первом месте факты. С *исчезновением духа секретности* писателю всюду предоставляется неограниченный доступ к самым разнообразным материалам, он оказывается перед действительностью в роли захваченного новизной первооткрывателя, подобно, скажем, психологу, которому новый метод открыл неведомую доселе область исследований. По своему положению в мире советский художник больше напоминает Фрейда в начале пути *, чем современного французского писателя.

Начинается поиск типажей, чрезвычайно важных для русской литературы. Читатель познает новый мир через человеческие типы. Полагаю, что появление нового общественного слоя или класса в стране немедленно влечет за собой возможность, вернее, даже необходимость для великого художника выразить себя через новые образы. *То, что я говорю о советском художнике, могло бы быть сказано о Бальзаке*, перед которым была схожая социальная ситуация.

Далее — человек.

О советском человеке много говорили, пытались проникнуть в его психологию. Мне кажется, что теоретизировать здесь бессмысленно, есть другие пути, более плодотворные. На протяжении последних лет, в ходе так называемых чисток партии, были рассмотрены тысячи человеческих судеб. Эти разбирательства показывают нам советского человека, чьи особенности еще не систематизированы и не разложены по полочкам, в действительности. Вместо того чтобы строить теории по поводу нового человека, было бы куда полезнее собрать всю эту огромнейшую и зачастую волнующую документацию и сделать из нее выводы.

Часто говорят о подозрительности, недоверии, с которым молодое советское общество, так часто оказывавшееся в опасности, вынуждено относиться к человеку. Будем осторожны в словах: эта подозрительность распространяется только на отдельную личность. Что же касается человека вообще, то, напротив, доверие, оказываемое ему Советами, быть может,

самое большое за всю историю. Доверие к детям сделало из них пионеров. Женщина царской России, чье положение было, пожалуй, самым униженным и тяжелым в Европе, превратилась, благодаря доверию к ней, в советскую женщину, проявляющую сегодня поразительную волю и сознательность. Трудом воров и убийц построен Беломорканал. Из беспризорников, которые тоже почти все были ворами, созданы коммуны по перевоспитанию. На одном из празднеств я видел, как встречали на Красной площади делегацию бывших беспризорников. Толпа приветствовала этих ею же спасенных людей, как она не приветствовала никого другого.

Наконец, герой. Уничтожив значение денег, СССР обрел тем самым и положительного героя, вечно живого героя литературы всех времен, — того, кто ставит свою жизнь на службу другим. Деньги не стоят между ним и людьми, и это сообщает героическому деянию всю его изначальную высоту — ту, которую оно имело бы в войне, если бы не существовало торговцев оружием и война не была бы кому-то выгодна, — в войне Прометея.

.....

Итак, главнейшая особенность советского искусства, на мой взгляд, — это вновь обретенная объективность. Что происходит, спросят меня, в этой ситуации с творческой индивидуальностью? Не думаю, чтобы ценность ее уменьшилась, но полагаю, что методы у художника здесь другие. Он не выносит суждения, а отбирает факты.

Познер * только что говорил о том, что нынешний метод русского искусства — это социалистический реализм. Он объяснил, что следует под этим понимать, и я нахожу этот метод действенным и сильным. Но мне хотелось бы подчеркнуть вот что: реализм жизнеспособен в советской литературе главным образом потому, что применяется к романтической действительности. Гражданская война, военный коммунизм, пятилетний план, стройки, охрана границ, автономия республик — все это складывается в картину порой трагическую, порой ярко живописную, позволяющую преодолеть реализм изнутри.

.....

Я считаю, наконец, что важнейший результат образования Советского государства — это возможность обновить понятие гуманизма. Гуманизм может стать здесь определяющей позицией человека по отношению к цивилизации, которую он приемлет, — в то время как индивидуализм есть его позиция по отношению к цивилизации, которую он отрицает, — и ак-

цент переместится с индивидуального своеобразия каждой личности на ее внутреннюю значительность; человек будет отстаивать не то, что отделяет его от прочих людей, но, напротив, то, что позволяет ему с ними соединиться поверх личностных барьеров.

Давно пришло время показать, что союз людей есть нечто иное, нежели картина первого причастия. Я верю, что, подобно Ницше, поднявшему позицию «зверя» до высоты Заратустры, мы обратимся вновь — без всякой нелепой сентиментальности — к тем ценностям, которые объединяют людей, и вернем мужественному человеческому братству его изначальный смысл.

1934

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Мы проводим наш Конгресс в тяжелейших условиях. Усилиями горстки энтузиастов. Почти без денег. Но взгляните на газетные вырезки, расклеенные на стендах у входа: гневные выпады и прежде всего красноречивые замалчивания убеждают нас, что Конгресс работает успешно.

И даже если ему суждено остаться лишь возможностью предоставить самую широкую аудиторию книгам, лишенным ее в своих странах; даже если ему суждено остаться лишь выражением солидарности, провозглашенной в резолюциях, призывающих нас сплотиться вокруг наших товарищей-эмигрантов, мы скажем, что Конгресс собрался не зря...

Но значение его не только в этом. Вчера вы прочитали выступления французских фашистов. Так пусть же каждый из нас научится мужественно сражаться на своем посту. Не будем приуменьшать, как это делает маниакальная военщина, силу мысли, позволяющую сегодня произведениям наших балканских товарищей, запрещенным в их странах, нравиться это кому-то или нет, вернуться на родину на французском или английском языке, поскольку наш Конгресс принял решение перевести их. Фашизм гордится принадлежностью нации, мы — человечеству.

Много слов было произнесено здесь в защиту культуры. Однако главное значение Конгресса, наверное, в том, что он убедил нас в необходимости ставить вопрос иначе.

Я поясню свою мысль.

Когда средневековый мастер вырезал распятие, когда египетский скульптор высекал портретную статую умершего, они создавали то, что мы назвали бы сегодня фетишами или сак-

ральными фигурами; они не думали об искусстве. Они даже не подозревали о его существовании. Распятие замещало Христа, скульптурный портрет — покойника; мысль о том, что их могли бы когда-нибудь выставить рядом в одном музее для сравнения линий и объема, показалась бы им кощунственной. В стеклянном шкафу каирского музея находится несколько статуэток — древнейшие изображения людей. В те времена был известен лишь двойник, понятие куда более привычное, двойник, покидающий человека во время сна, прежде чем навсегда расстаться с ним после смерти. Один посетитель измерял при мне их формы, а я думал о головокружении, которое неминуемо охватило бы египетского скульптора, если бы он мог предугадать, что событие, случившееся около трех тысячелетий назад в долине Нила, когда неведомый художник впервые изобразил человеческую душу, выльется в эстетическую проблему.

Всякое произведение искусства рождается во исполнение потребности, но эта потребность должна быть достаточно страстной, чтобы дать ему жизнь. Затем потребность покидает произведение, как кровь покидает тело, и начинается его таинственное превращение. Оно вступает в царство теней. Лишь наша кровная потребность, наша глубочайшая страстность способны вызвать его оттуда. До той поры ему суждено пребывать огромной статуей с пустыми белками глаз, мимо которой тянется траурная процессия слепцов. Но та потребность, которая устремит навстречу статуе одного из них, в тот же миг исцелит их обоих. Стоит нам вернуться в прошлое на какие-то сто лет, и вот уже многие жизненно необходимые нам произведения превращаются в совершенно забытые; на двести лет, и вот уже мы видим гримасу в судорожно-лучезарной улыбке готики. Произведение искусства — это вещь, но это также и встреча со временем. А я глубоко убежден, что мы открыли свою историю. Произведения, созданные любовью, отправляются на чердаки; они могут, конечно, переселиться в музеи, но это мало что изменит. Произведение искусства умирает без любви.

И все же есть свой смысл в этих великих переселениях. Если искусство, идеи, поэмы — все эти древнейшие грезы человечества нужны нам для жизни, мы нужны для их воскрешения. Нужна наша страстность, наши порывы — *наша воля*. Они пребывают там не внесенным в опись движимым имуществом покойника, но тенями античного царства мертвых, со страстной тоской ждущими встречи с живыми. Хотим мы этого или нет, творя себя, мы творим их. Ронсар в порыве самотворчества воскрешает Грецию, Расин — Рим, Гюго — Рабле, Коро — Вермеера, и нет ни одного выдающегося инди-

видуального творения, которое не было бы отягощено веками, не увлекало бы за собой их уснувшее величие. Традиция не наследуется, она завоевывается.

Писатели Запада, мы вовлечены в яростную борьбу за наше исконное наследие. Советские товарищи, вы провели свой московский Конгресс * под сенью портретов величайших мастеров прошлого, но не поклонения им ждем мы от вашей культуры, сохранившей их наследие, несмотря на кровь, тиф и голод, а того, чтобы вы заставили их вновь открыть нам свои преображенные лики.

Из миллионов различных складывается наша единая воля. Но эта воля явлена здесь и теперь, и, когда мы превратимся всего лишь в один из ликов нашего времени, когда все противоречия примирятся в братском лоне смерти, нам хотелось бы, чтобы образ прошлого пережил очередное превращение благодаря тому, что свело нас здесь вместе, несмотря на все слабости и разногласия нашего собрания.

Ибо всякое произведение символизирует и означает, но не всегда одно и то же. Произведение искусства таит в себе возможность перевоплощений. И многовековое прошлое сможет осознать себя лишь в совокупной воле живущих.

Речь идет о том, чтобы каждый из нас, в своей области, в самостоятельном поиске, во имя жаждущих обрести себя, пересоздал наследие обступивших нас призраков — отверз очуи всем слепым статуям и утвердил от надежды к волеию, от Жакерии к Революции, гуманное сознание, пробужденное тысячелетним человеческим страданием.

1935

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ИНДОКИТАЙ. SOS» АНДРЕ ВИОЛЛИС

Кто из современных писателей не примеривался, в поисках новой романной формы, к сборникам, составленным из газетных очерков, и кто из них рано или поздно не разочаровывался в своих надеждах? А между тем очерк продолжает одну из наиболее продуктивных традиций французского романа от Бальзака до Золя: герой, открывающий мир для себя, открывает его и для нас.

И вот уже в России, в Америке значение вымысла убывает. А ведь в XIX веке его роль была так велика, что само представление об искусстве связывалось с трансцендентальностью, уничтожением реальности: мемуары стремились выдать за романы, забывая о том, что Рец * и многие другие писали са-

мые настоящие романы в форме мемуаров. Воля к правде обрела новые силы после того, как всем открылось мастерство, с каким художник использует жизненный материал, после того, как искусство метафоры незаметно уступило место искусству эллипса.

Перспективные возможности очерка — в том, что он решительно отказывается от вымысла, обретает совершенство (как в романе Толстого) в интеллектуальном и чувственном овладении миром, а не в создании мира воображаемого (который также служит иногда целям овладения действительностью). В искусстве, где метафора — главное средство изображения, очеркист — лишь чернорабочий; поэт, романист превосходят его во всем. Там, где искусство видит свою задачу в уничтожении факта, очеркист неизменно терпит поражение; там же, где задача искусства — в эллиптическом сближении, но не двух слов, а двух событий, кинематографист и очеркист берут реванш над художником. Ведь в очерке ценностная соотносительность элементов действительности важнее самой достоверности. Не подлежит сомнению, что Альбер Лондр * создавал своих персонажей как романист, обобщая множество разрозненных впечатлений. Но мне представляется, что творчество Альбера Лондра, одного из лучших французских очеркистов, знаменует не столько расцвет, сколько упадок этой романной формы. В новой журналистике, в предлагаемой книге Андре Виоллис, в книгах Киша *, в некоторых статьях Эренбурга меня привлекает то, что в них важны уже не столько персонажи, сколько детали. Когда Андре Виоллис показывает нам начальника сайгонской тюрьмы, который, весьма благодушно потрепав по щеке молодого аннамита *, приговоренного к смертной казни, называет его «проказником», эта деталь обретает смысл только в соотнесенности с другими деталями, во взаимодействии составляющих ее элементов. И если здесь в свернутом виде таится настоящий роман, то потому, что всякая новая форма искусства предполагает волевую устремленность, потому, что французский очерк беспомощен в той мере, в какой не стремится ничего доказать. Бальзак создал роман современного типа, наделив главных героев эпическим размахом своей личности, сообщив Гранде, Бирото, Попино ту страстность, которая могла бы стать чертой их характера, если бы судьба пожелала связать с их жалкой профессией какого-нибудь Бонапарта. Ясность авторской позиции — вот что придавало «экстенсивность» героям старого романа, что придает ее фактам современного репортажа. У Эренбурга и других советских журналистов, так же как у Киша, это — революционный протест, кристаллизующий разрозненные сведения и создающий условия для возникно-

вения художественного произведения. Когда в послевоенном мире иссяк набор изобразительных средств, голоса, а порой и выкрики рабочих сцены открыли зрителям глаза на нелепость обветшалых декораций; материальный интерес склоняет очеркистов к примирению с действительностью, но талант зовет их к борьбе.

Я вполне допускаю, что можно было бы отобрать и другие факты. Но и они лишь подтвердили бы значение представленных в этой книге. Репортеру-патриоту придется прежде всего уяснить, что избличаемые в ней зверства — отнюдь не неизбежная цена, которую Франции приходится платить за свою цивилизаторскую миссию, что даже если признать ее необходимость, приведенные факты не позволяют отождествлять нужды колонизации с вытекающими из них нелепостями. Индокитай далеко; оправдывает ли это безразличие к доносящимся оттуда крикам боли? Авторитет французской колониальной администрации, как и любой демократической формы правления, определяется ее способностью к самоуправлению. Странно, что представление о том, что самоуправление парализует, тогда как диктатура пробуждает инициативу, так распространено в стране, хранящей глубочайшую память о сражениях в год Рейна *. Сила нации лишь весьма опосредованно зависит от формы правления: Франция была могущественной державой при Наполеоне I, но не при Наполеоне III, слабой в 1848-м, но не в 1791-м. Самоуправление народа — важное дело его жизни. Возмущение, вызванное моим предложением, сделанным в 1925 году в Сайгоне, об учреждении в Париже Верховного суда, независимого от министерства колоний, убедило меня в том, что такое самоуправление возможно. Еще убедительнее свидетельствует в его пользу Институт Пастера, о самоотверженной деятельности которого рассказывает нам Андре Виоллис — эффективной именно благодаря его независимости от колониальной администрации. Ибо тайная дипломатия колониальных предприятий и связанных с ними административных учреждений направлена на то, чтобы в интересах работы среди местного населения взять на себя те функции управления, которые государство оставляет за собой и которые эти предприятия У него оспаривают.

Стоит только разуму озарить этот мир фактов, как открывается бездна нелепостей. Те, кто в ответах на вопросы Андре Виоллис выражают уверенность в возможности справедливого колониализма, забывают, что врач лепрозория достоин восхищения лишь в той мере, в какой не служит прикрытием для политика. Аннамит может вполне резонно заметить: пусть труд французов, прокладывающих дороги и возводящих

мосты в Индокитае, оплачивается так же, как в Сиаме * или Персии, и пусть они по своему усмотрению тратят заработанные деньги. Ибо, если вы считаете, что трудящиеся наряду с зарплатой имеют право еще и на политическую власть, учредите во Франции Советы объединяющие всех, от специалистов до рабочих.

Нет нужды доказывать, что колониализму не место в мире свободы, а в мире фактов проблема колонизации — это проблема не насилия, а сотрудничества.

* * *

Я не забыл о тебе. В тот день, когда ты зашел за мной, правительство наложило арест на единственную революционную газету Индокитая и крестьян Баклье обобрали в полной, ничем не нарушаемой тишине.

В течение нескольких недель полиция делала все, чтобы не допустить распространения газетных номеров; несмотря ни на что, аннамитские почтальоны обеспечивали их доставку; но в тот день угрозы сломили мужество нашего наборщика.

Тем временем рабочие отремонтировали старые печатные станки. Шрифты, за которыми мы ездили в Китай, были отобраны у нас при таможенном осмотре. Мы раздобыли новые. Но литеры, отлитые в Китае для набора английских текстов, были без диакритических знаков. Грабеж крестьян продолжался, а мы сидели у отремонтированных станков с негодными литерами.

И тогда ты вынул из кармана завязанный кошельком носовой платок с углами, торчащими, как уши кролика: «Здесь é, ç, ÿ и ù ... Хуже с ï; впрочем, может быть, удастся обойтись и без них. Завтра рабочие принесут еще, сделаем все, что сможем». Развязав платок, ты высыпал на мраморный стол горсть литер, похожих на бирюльки, и молча выровнял их пальцем профессионального наборщика. Ты взял их в типографии правительственной газеты, зная, что в случае ареста будешь осужден не как революционер, а как вор. Когда все литеры выстроились в ряд, как пешки, ты сказал: «Если меня арестуют, сообщите тем, в Европе, что это сделали мы. Пусть знают, что здесь творится».

* * *

Эта книга тоже написана для того, чтобы знали. Между тем изображенная в ней пляшущая смерть не перестает выделять свои головокругительные коленца.

ОТВЕТ ШЕСТИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЕМ

Я не буду подвергать критике такие аргументы, как «силы беспорядка и анархии», в которых, конечно же, слышится противопоставление образцового порядка винных погребов Кавказа ошеломляющему беспорядку пятилетних планов.

«Горстка диких племен, сплотившихся в сомнительных целях», — заявляют интеллигенты-реакционеры: конечно, если кто и возбуждает здесь страсти, так это эфиопы; еще немного, и им захочется цивилизовать итальянцев. Лишь мимоходом упомяну я об иронии, хуле и клевете, к которым прибегают ваши сторонники в адрес тех, кто пользуется вашими же методами защиты; привычка, которая должна была бы вызвать у эфиопов законное желание развесить таблички с надписью: «Убивайте, но не глумитесь». Призыв тем более дальновидный, что людям не дано заглушить голос совести и вам, вдохновляющим палачей, всякий раз приходится оплакивать жертвы, превознося всех Жанн д'Арк, которых вы сожгли бы по приказу английского короля и позволили бы сжечь при попустительстве короля французского.

С тем большим правом подвергну я критике ваш идеал Европы, сплотившейся под эгидой латинского правопорядка. В нем на протяжении вот уже многих лет видите вы залог спасения Запада. Между тем тот самый латинский правопорядок, которому вы упорно намереваетесь вверить судьбу Европы, неизменно обрекал ее на поражение! Кто воплощает Запад для жителей Шанхая, Сингапура, Манилы? С одной стороны, протестантские страны: Англия и США. С другой — Советы. Между тем вся ваша пропаганда сводится к обещанию, что какая-нибудь славная Италия в один прекрасный день станет, быть может, тем, чем на протяжении вот уже ста пятидесяти лет является ненавистная вам Англия.

Мир попросту незнаком с той западной культурой, престиж которой вы берете на себя труд защищать. Запад для него — все, кроме вас. В Японии фашизм воцарился раньше, чем у вас. А для остального мира, и вы это знаете, Франция — не Расин, а Мольер, не Жозеф де Местр *, а Стендаль, не фашиствующие поэты Наполеона III, а Виктор Гюго, не одиннадцать продажных академиков, а Андре Жид и Ромен Роллан.

И даже словом «цивилизация» вы обязаны всему, что сами же попираете: рассуждать о ней вы можете лишь потому, что колониальные войны подняли в метрополиях волну демократических настроений. Всем известны последствия цивилизаторской миссии Испании в Перу *.

Успехи, достигнутые Западом в области технологии, не-

сомненны. Но коль скоро технологическое превосходство дает право вести захватнические войны, Соединенным Штатам Америки давно пора уже начать колонизацию Европы. Если технологические достижения и идут на пользу какой-либо отсталой стране, то благодаря усилиям оплачиваемых западноевропейских специалистов, а не чиновников, чья братия мешает хорошей работе, зато создает прекрасные условия для плохой.

В действительности проблема колонизации далеко не так проста, как представляется на первый взгляд. Обычно берут экономические показатели какой-нибудь азиатской или африканской страны накануне колонизации и сравнивают с достигнутыми ею в более поздний период. Но ведь сравнивать надо не Кохинхину * Наполеона III с Южным Вьетнамом, а Индокитай с Сиамом, Марокко с Турцией, Белуджистан * с Персией, не говоря уже о Японии, которая в 1860-х годах испытала, как видно, неодолимое желание цивилизоваться...

Ясно, что в контексте вашей идеологии цивилизация означает европеизацию. Не будем спорить. Но посмотрите сами, какие народы развиваются быстрее других? Как раз те, которые выпадают из-под вашего контроля. Паранджу носят мусульманки Марокко, Туниса, Триполитании и Индии, а не персиянки и уж подавно не турчанки. В какой стране до сих пор сохраняется мандаринат? Не в Китае и не в Японии — в Аннаме... То, что пытаются упразднить освободившийся Сиам, заботливо оберегается в Бирме и Камбодже. Сиамские больницы, часть врачей в которых — оплачиваемые белые, не хуже камбоджийских, но последние не оказывают медицинскую помощь и одной десятой тех, кто в ней нуждается, потому что через посредство наших административных бонз мы делаем все, чтобы закрыть туда доступ больным. Технология европеизирует мир, но в колониальных странах этот процесс развивается не быстрее, а медленнее, чем в свободных...

Как раз тогда, когда Абиссиния просит прислать ей специалистов, ее снабжают оружием. И в случае победы она не станет ни более, ни менее цивилизованной, чем в случае поражения.

Искалечить миллионы людей, чтобы поместить их в больницы: вряд ли это лучший способ заставить их обратиться за медицинской помощью. В какой рай превратились бы эти колонии, если бы Запад возвел больницы для всех убитых, разбил сады для всех депортированных!

Надо решить раз и навсегда: либо работа в колониях не гарантирует никаких политических прав и применение западной технологии — лишь средство получения заработной платы, либо работа гарантирует политические права и вы неза-

медлительно учреждаете во Франции Советы, объединяющие всех, от специалистов до рабочих.

Такова фактическая сторона дела. Перейдем к теории. Так называемые традиции римской цивилизации вы противопоставляете нашим идеалам, объявляя их фикцией.

Допустим. Но ведь и то, чем обогатили человечество Древний и Новый Рим, которыми вы гордитесь, — тоже фикция. Собрать в храме две тысячи «мертвых и пропавших», чтобы превратить их в две тысячи «оживших и нашедшихся». Неизвестно, всегда ли вера возносит над землей, зато хорошо известно, что недоверие погребает навечно. Нет такой цивилизации и даже такого варварства, которые были бы в силах отнять у людей их мифы, древнейшее выражение человеческого могущества, зато варварство способно принести людей в жертву мифу. Мы же за такую цивилизацию, которая подчинила бы мифы людям.

Цивилизация означает наиболее действенное подчинение силы мечте, а не мечты силе.

Неужели во имя вклада, внесенного Древним Римом в западную цивилизацию, выступаете вы против экономических санкций, на применение которых согласилась Франция? Не распавшуюся империю, не вереницу междоусобных войн, опустошивших Западную Европу, оставил Рим в наследство западной культуре, а Римское право, положившее конец этим войнам. Не войну — ограничение войн. И если в наших спорах чей-то голос глухо, но мощно перекрывает ваши голоса, то это голос Древнего Рима. Вам известно, что лежало в основе Римского права — верность принятым обязательствам.

Перейдем наконец к сути вашей «концепции, к «понятию человека, того, чему Запад обязан своим историческим величием и творческой доблестью».

Не помешало бы вначале уточнить предмет нашей полемики. Понятие «историческое величие Запада» применимо лишь к весьма ограниченному отрезку времени. Карл Великий — довольно заурядный император в сравнении с Чингисханом или Тимуром, захватившим пол-Азии, разгромившим в двухдневном сражении турецкую армию, которая незадолго перед этим наголову разбила христиан в битве при Никополе*. Слава Венеции померкла в глазах Марко Поло после того, как он набрел в Китае на город с более чем миллионным населением. Чем предстает в XVI веке королевский двор Валуа по сравнению с дворами персидских королей, китайских и японских императоров? Париж — все еще лабиринт узких улочек, когда в Испагани персидские архитекторы прокладывают широкие проспекты, окаймленные четырьмя рядами деревьев, проектируют Королевскую площадь, не уступающую

по размаху площади Согласия. Даже Версаль — весьма скромное сооружение в сравнении с Запретным городом Пекина *. Все меняется лишь за последние сто лет. Почему бы это?

Потому что Запад понял, что усилия интеллекта выгоднее направлять на овладение предметным миром, а не людьми. Любая цивилизация, белая, черная или желтая, возникает не тогда, когда появляется воин, а тогда, когда легист или священник умиротворяют воина, когда аргумент становится правомочнее силы. Всякая цивилизация основывалась на сознательности и уважении прав *другого*; прогресс нес с собой не свободу человека — он не свободен и по сей день! — а возможность свободы. А также понимание того, что делиться добытыми знаниями выгоднее, чем утаивать их. «Творческая доблесть» Запада, господа интеллигенты-реакционеры, возникла в результате отмирания того, что вы защищаете. В результате ослабления иерархии, на закате старого общества, куда менее «западного», чем наше с вами, куда более азиатского! Основы проповедуемой вами иерархии надо искать не на Западе и даже не в Риме, а в Индии.

Во все времена соперничество Запада с Азией было соперничеством иерархии относительной с иерархией всепроникающей. Что касается правопорядка, даже внутрисударственного, нам нечего преподать Азии: Италии потребовалось двести лет на то, чтобы создать у себя социальную структуру китайского типа. Не иезуиты, а техника распахнула перед Западом ворота желтых империй. Запад открыл не ценность правопорядка, он открыл непреходящую ценность деяния, непрерывно видоизменяющего социальную структуру общества. Именно деянию обязан Запад тем, что вы именуете его историческим величием, тем, что целью борьбы перестал быть только человек, что над солдатом он поставил инженера, что от Декарта до Маркса взглядом древнего мага он обозревал безграничный мир живой и мертвой материи, что он решился овладеть им, преобразовать, препоручить достойным. Запад изобрел цивилизацию количества, противопоставив ее миру, знакомому лишь с качеством. И вот теперь наш долг состоит в том, чтобы вернуть людям качество таким, каким оно было до голода и крови, открыть в Москве библиотеки, сожженные в Берлине.

Но бог с ними, с традициями. Главное, что творческая доблесть Запада незаметно воспитывает свободного человека. Человека, а не представителя касты, человека, а не социальную функцию. Воспитывает универсальность, не иерархическую, а целостную, подобную Франции, состоящей из отдельных провинций. За порогом преображенного мира эта

доблесть встречает человека, вскормленного ею, как некогда он был вскормлен своим страданием, однако более величественного, чем все, из чего состоит человек, не дар природы, а результат исторического развития человека, внутреннее достояние которого осуждает и отвергает вас.

1935

ГОДЫ ПРЕЗРЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статьи, посвященные этой повести после ее появления в журнале, вызывают у меня желание высказать здесь, совсем коротко, несколько мыслей, развить которые я надеюсь в другом месте.

Пусть все, кто считает мою документацию не слишком убедительной, ознакомятся с официальными правилами концентрационных лагерей. Я не свожу сущность национал-социалистической партии Германии только к лагерям; известное нам о французской каторге тоже не вселяет особой бодрости; но в моей повести рассказывается именно о концлагерях.

Мир произведения, подобного «Годам презрения», — существующий издревле мир трагедии, то есть мир человека, толпы, стихий, женщины, судьбы. В нем всего два действующих лица — герой и тот смысл, что он придает жизни; личные антагонизмы, которые усложняют роман, здесь не находят воплощения. Если бы мне понадобилось показать нацистов с той серьезностью, с какой я показываю Касснера, я, разумеется, сделал бы это, раскрыв их подлинную страсть — национализм.

Прославленный пример Флобера сбивает с толку более всех других; Флобер (искусство для него было величайшей ценностью, художника он ставил превыше святого и героя), бесстрастно создавая своих персонажей, мог написать: «Я всех вымажу одной грязью, так будет справедливо». Подобная мысль была бы непостижима для Эсхила или Корнеля, Гюго или Шатобриана, даже Достоевского. Но эту мысль стали разделять — и разделяют — так много авторов, что противопоставлять одних другим смысла не имеет: речь тут идет о двух различных пониманиях сущности искусства. Ницше считал Вагнера гистрионом в той мере, в какой композитор ставил собственный гений на службу своим героям. Но худож-*

нику может быть дорог тот смысл слова «искусство», что заключается в попытках помочь людям осознать их собственное величие, о котором они даже не подозревают.

Произведение искусства разрушает не страсть, а упорное желание что-либо доказать; ценность произведения зависит не от страсти или беспристрастия, которыми оно исполнено, но от гармонии между тем, что в нем выражено, и теми средствами выражения, которые для этого найдены. Однако, если эта ценность — то есть смысл существования произведения и продолжительность, пусть короткая, его бытия — заключена в его качестве, то, независимо от воли автора, воздействие произведения проявляется благодаря смене этических ценностей; нет сомнения, что само произведение не возникло бы без упорной потребности изменить эти ценности. Поэтому историю художественной этики во Франции за последние полвека следовало бы назвать агонией мужественного братства. Подлинный враг этого братства — тот неявно выраженный индивидуализм, который, пронизывая весь XIX век, возник скорее не из воли к созданию цельного человека, а из фанатизма исключительности. Тот индивидуализм художников, что главным образом проявляется в сохранении ими своего «внутреннего мира» и правомерен лишь тогда, когда он выражается в сфере чувства и мечты, ибо, беря конкретный пример, «великие хищники Ренессанса», чтобы действовать, всегда были вынуждены превращаться в нагруженных святыми реликвиями ослов, и фигура Чезаре Борджа * теряет весь свой блеск, когда думаешь, что самое яркое в его деятельности шло от престижа церкви. Политики часто презирают людей, но редко в этом признаются. Ведь социальная действительность вынуждает чистого индивидуалиста лицемерить, едва тот пытается действовать, не только в эпоху Стендаля.

Личность противостоит общности людей, но из нее черпают жизненные соки. Гораздо важнее знать не о том, чему личность противостоит, а о том, что ее питает. Подобно гению, личность ценна тем, что она несет в себе. Обратившись к прошлому, мы видим, что между личностью христианина и современным индивидом существует разница — это душа. Любая психическая жизнь — это общение, и главная проблема каждой личности сводится к знанию, чем намерена она насыщать душу свою.

По мнению Касснера и множества интеллигентов-коммунистов, коммунизм возвращает личности все ее богатства. Римлянин эпохи Империи, христианин, солдат Рейнской армии, советский рабочий, любой человек связаны с окружающими людьми; александриец, писатель XVIII века от людей отъединены. Если личность не слита с общностью людей,

которая за ней пойдет, то выражением ее сущности не может быть героическое. Люди-то в жизни ведут себя по-разному...

Быть человеком трудно. Но еще труднее стать человеком, углубляя свою причастность к человеческому братству, чем лелея собственную исключительность. И эта причастность с не меньшей, чем исключительность, силой питает все, благодаря чему человек остается человеком, питает все, благодаря чему человек превосходит свои Силы, творит, изобретает или познает себя.

НЕМЕЦКИМ ТОВАРИЩАМ *,
которые решили рассказать мне
о том, как они *выстояли*,
посвящая эту книгу — ОНА
ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ.

I

Когда Касснера втолкнули в дежурку, там еще продолжался допрос другого заключенного, шелест бумаг и шарканье полицейских сапог заглушили его последние слова. По ту сторону стола — гитлеровский чиновник: снова эти челюсти, это квадратное лицо, все тот же жесткий ежик светлых волос и почти сбритые виски.

— ...партийные поручения.

— С какого времени?

— С 1924 года.

— Чем вы занимались в нелегальной коммунистической партии?

— О нелегальной партии ничего не знаю. До января 1933 года выполнял в партии задания, не имеющие отношения к политике.

Коммунист подвинулся, повернувшись почти спиной к Касснеру. Теперь голоса и лица совсем перестали соответствовать друг другу. У допрашиваемого голос был глуховатый, невыразительный, словно его обладатель даже тембром давал понять, что отвечает не *он сам*, а кто-то другой, не несущий ответственности и действующий по принуждению. У следователя же голос был безразличный и еще более юный, чем его очень юное лицо. Касснер сосредоточился, чтобы по голосу и по словам определить, что представляет из себя этот юнец, от которого теперь зависит его судьба.

Следователь смотрел на заключенного, тот смотрел в пустоту.

— Вы ведь ездили в Россию.

— Как технический специалист: я работал на строительстве электростанции.

— Проверим. А какой пост вы занимали в немецкой республике на Волге?

— Никогда не был в этой республике. И на Волге тоже.

— Членом какой ячейки вы являлись в Берлине?

— Икс-1015.

— Проверим. Кто был секретарем?

К этому времени Касснер видел уже только спину коммуниста и слышал его голос:

— Ганс.

— Так и думал. Я его фамилию спрашиваю! Ты что, мне голову решил морочить, сволочь чертова?

— Мы все знаем друг друга исключительно по именам.

— Где он живет?

— Я его видел только на собраниях ячейки.

— Ладно. Здесь я тебя познакомлю с нашими ячейками. Вот увидишь, память сразу освежится. Сколько тебя держали в Моабите?

— Шесть месяцев.

— Значит, полгода со дня ареста?..

Касснер вдруг вспомнил, что и его тоже арестовали. Штурмовики привели его в свой автобус (предназначенный для нацистов, еще более закрытый, чем тюремные машины). Одно из дел, служивших ему прикрытием, — небольшое предприятие по изготовлению воздушных винтов переменного шага, благодаря чему Касснер имел возможность при случае воспользоваться самолетом; сейчас самолет спал в ангаре, и Касснер не переставал о нем думать все то время, пока его везли. На одном из перекрестков он услышал песню: пели маляры, подновлявшие витрину магазина торговца красками, такую же многоцветную, как Красная площадь... Все, что с ним происходило, казалось ему нереальным, причем похожим не столько на сон, сколько на какой-то обряд.

— Полгода... — повторил следователь. — Так, так... А скажи-ка, кто все это время спит с твоей бабой?

Дрогнул ли заключенный под пристальным взглядом следователя? Касснер всем своим существом чувствовал состояние допрашиваемого, накрепко опутанного несвободой и из последних сил пытающегося вырваться. Тон следователя заметно помягчел.

— Кто спит с твоей бабой-то, а?

Касснер ощущал себя на месте этого коммуниста, словно был одновременно и сопереживающим зрителем, и действующим лицом, и от этого постепенно терял ясность ума.

— Я не женат, — ответил заключенный, вновь повернувшись в профиль.

Молчание.

— Ну и что, баба все равно может быть... — сказал наконец нацист с прежним равнодушием в голосе.

Они посмотрели друг на друга с привычным отвращением.

Следователь кивнул на дверь: двое штурмовиков вывели заключенного, подтолкнули к столу Касснера. Нацист взглянул на него, открыл папку и вынул фотокарточку.

Как и все, кому при случае время от времени приходится изменять имя или внешность, Касснер знал все характерные особенности своего вытянутого лошадиного лица с выступающими скулами. Что за фотографию рассматривал сейчас гитлеровец? Касснер мог видеть ее вверх ногами. Ничего особенно опасного: на ней он коротко стрижен, заостренные кончики ушей, лицо — словно вырезанная из кости узкая маска, и выражение его весьма отличается от нынешнего, в котором есть даже что-то романтическое — пряди каштановых волос, взгляд загнанного английского рысака. На фото у него плотно сжаты губы. Снимаясь, он знал, что, стоит ему улыбнуться, и его крупные зубы обнажатся до самых десен. То же самое получится, если закусить нижнюю губу. Что он и сделал, но не сильно — очень болел зуб, — и одновременно опустил взгляд на стол: его огромные глаза обычно смотрели как бы чуть вверх, и нужно было немного потупиться, чтобы исчезла белая полоска между зрачком и нижним веком.

Нацист смотрел поочередно то на фото, то на лицо, не говоря ни слова. Касснер не сомневался: если его узнают, он будет убит, причем могут обойтись и без приговора.

— К а с с н е р, — произнес нацист.

Головы канцелярских крыс и штурмовиков повернулись как по команде.

Впервые Касснер прочитывал легенду о самом себе на лицах врагов.

— Меня хорошо знают в нашей дипломатической миссии. К тому же среди конспираторов вряд ли найдутся дураки, которые сами полезут в западню, да еще попросят прикурить у жандармов перед входом.

Он и его друзья собрались тогда в антикварной лавке, владеlec которой тоже был свой; через полчаса Касснеру нужно было быть на приеме у зубного врача, вдруг вошел еще один подпольщик, повесил плащ над грудой риз, стихарей, икон и прочей церковной утвари, сел и сказал: «У Вольфа засада. Будет обыск». Вольф вскочил: «У меня в крышке часов спрятан список членов организации». Хранить дома списки имен не рекомендовалось. «Так. Тебя наверняка арестуют еще при

входе. Где лежат часы? — В шкафу, в кармане черного жилета. Но ведь... — Все, хватит. Нужен список! Давай ключи». Когда Касснер вошел, на площадке стояли двое штурмовиков, — это уже не засада. Он остановился прямо перед ними, пощелкал пустой зажигалкой, пытаясь прикурить, попросил огоньку у штурмовиков и стал подниматься по лестнице. Нажимая на кнопку звонка, он прислонился плечом к двери, чтобы прикрыть руку, всовывавшую ключ, вошел, запер дверь, открыл шкаф, достал часы, сунул в рот список, положил часы на место и закрыл шкаф. На лестнице тихо, никаких шагов. Видимо, его возьмут внизу. Спрятать ключ от двери в комнате некуда, а открывать окно было бы глупостью. Он положил ключ в карман брюк, висевших в шкафу: Вольф вполне мог иметь несколько ключей.

Надо было подождать еще минут пять, будто бы он пришел к Вольфу, но не застал его. Вкус бумаги, которую он жевал, чувствуя боль (что это, нерв или дупло? Жаль, не успел сходить к врачу!), напомнил ему запах картонных карнавальных масок. Даже в самом лучшем случае выбраться отсюда будет нелегко: документы фальшивые — что с них возьмешь? А нацистская тюрьма не внушала особого оптимизма. Может ли кто-нибудь сказать, сколько он способен продержаться? Много раз он слышал, что заключенному, чтобы пройти через все, требуется столько дополнительных сил, что хватило бы на целую подпольную группу. Он выбросил сигарету: вкус пережеванной бумаги в сочетании с табачным дымом вызывал тошноту. Наконец он вышел, и его взяли прямо на площадке.

— На моем заводе вы можете ознакомиться с перепиской между г-ном Вольфом и мной, больше пятнадцати писем, понимаете ли, — сказал Касснер. — И все обязательства по поставкам выполнены.

Подпольная организация обеспечила хорошее прикрытие.

Пльзеньский акцент получался неплохо, хотя подлинный Касснер был родом из Мюнхена. Разговаривая с товарищами по партии, Касснер уже так давно привык вставлять это «понимаете ли», что перестал его замечать, но сейчас доброжелательность этих слов, обращенных к нацистам, покорила его. Он старался следить за собой, хотя и тщетно, и говорил медленно. И следователь, и допрашиваемый знали, как трудно найти уязвимое место в тщательно разработанной легенде. Нацист перелистывал досье, поднимал глаза, вновь начинал листать.

Фотокарточка, думал Касснер, приметы. Что там еще есть? Один из штурмовиков подтвердил, что Касснер попросил

у него прикурить, А вот как он вошел? Ключа при нем не нашли, ладно, к тому же они слышали, как он звонил, но можно ли поверить, что дверь была не заперта?..

Как могла выглядеть его жизнь на этих бумажках? Сын шахтера; затем студент университета, организатор одного из пролетарских театров; был в русском плену, перешел к партизанам, затем вступил в Красную Армию; ездил с особыми заданиями в Китай и Монголию; писатель; в 1932 году вернулся в Германию для подготовки стачек в Руре против декретов Папена*; организатор нелегальной службы информации, бывший активист комитета солидарности. Словом, вполне достаточно, чтобы его убить, но если держаться уверенно, то можно и проскочить.

— Расхаживать с фальшивыми документами по дипломатическим миссиям не сложнее, чем просто по улице, — сказал нацист.

Однако Касснер чувствовал, что тот колеблется и все остальные тоже: людям всегда хочется, чтобы у тех, чья жизнь похожа на увлекательный роман, в лице было нечто театральное. Казалось, что Касснер — хроникер гражданской войны в Сибири, обладавший даром, к тому же развитым в его сценическом прошлом, на редкость образно и сильно, с мужественной суровостью воспроизводить события, — казалось, такой человек непременно должен нести на себе следы тех драм, которые им пережиты и описаны; в памяти людей жизнь его самого была неотделима от голодранческой сибирской эпопеи. Кроме того, было известно, что он вернулся в Германию после триумфа Гитлера и поэтому все потерпевшие поражение уважали в нем своего соратника (его роль была достаточно важной, хотя и не первостепенной) и одновременно будущего летописца тяжких для них времен. Даже в мнении своих врагов он нес на себе отпечаток того, чему был свидетелем: как путешественник — той страны, которую исколесил, как прохожий — той катастрофы, которую ему удалось избежать. Каждый представлял себе лицо, как-то отмеченное Сибирью, и конечно находил такие отметины на его фотографиях, появлявшихся в свое время в газетах, или без труда наделял ими его образ. Живое лицо меньше поддавалось подобным приукрашиваниям. Едва ли не все, кто сейчас с сомнением разглядывали его, склонялись к тому, что было бы нелепо принять этого субъекта за Касснера. Следователь вышел, затем вернулся, закрыл папку и кивнул на дверь точно так же, как и в конце предыдущего допроса. Те же двое штурмовиков подтолкнули Касснера к двери и, продолжая время от времени пихать его (но не грубее, чем при обычном солдатском обращении), повели к тюрьме.

Если бы они решили прикончить меня сразу, думал Касснер, то скорее всего отвели бы в караульную.

Но нет: все коридоры да коридоры.

Наконец его, как в какую-то дыру, бросили в довольно большую темную камеру.

Минут через пятнадцать темнота понемногу рассосалась, словно поглощенная стенами, чей серый рисунок проступал все четче. Касснер ходил взад и вперед по камере, охваченный приступом какой-то бесцельной активности и беспредметных мыслей; осознав это, он остановился. У двери стена была более грязной, особенно снизу. Может быть, из-за таких, как он, вышагивавших туда-сюда? Вряд ли: пыли здесь не было. В камере убирались с поистине немецкой чистоплотностью; гигиена прежде всего... Тогда, может быть, из-за влажности? Он стал замечать, что задает себе эти вопросы чисто автоматически: в голове по-прежнему носились обрывки мыслей, а тело продолжало свое бестолковое кружение (наверное, скоро я буду совсем как лошадь), тем временем взгляд его уже успел остановиться, глаза уяснили раньше, чем мозг: стена у самого пола вся исписана.

Его мысль цеплялась за первый попавшийся предмет, лишь бы остаться свободной. О чем, о чем думать? Если его опознали, остается лишь уточнить, с какой именно целью за ним вскоре придут — пустить в расход, пытаться или просто избить; лучше уж думать о том, что написано на стене.

Многие надписи полустерты. Некоторые зашифрованы. (Если останусь здесь, нужно будет подобрать ключ). Остальные довольно четкие. Он снова, очень медленно, двинулся вдоль стен, выхватывая взглядом те из надписей, которые лучше всего были видны, и по мере приближения прочел: *Не хочу...* Конец стёрт. Другая: *Погибнуть на улице было бы все-таки не так паршиво, как здесь...* Сколько раз уже, с тех пор как его взяли, Касснер начинал думать о том, что поддержка со стороны большинства рабочих — которой партии как раз и не хватало — могла бы быть завоевана прямо в ходе сражения; но при этом он создавал, насколько романтична эта его идея, и чрезвычайно остерегался ее. «С одним авангардом победить нельзя» *, — неотвязно вертелась в голове ленинская фраза. Сразу по возвращении в Германию Касснер убедился в невозможности объединения трудящихся без работы партии в реформистских и католических профсоюзах, в том, что работа внутри профсоюзов и на заводах велась слишком слабо, и трудно было рассчитывать на их участие в борьбе: всего лишь одна десятая часть членов партии работала на крупных предприятиях, поскольку револю-

ционно настроенных рабочих увольняли в первую очередь, и они переходили в ремесленники. Число забастовок в Германии за прошлый год уменьшилось по сравнению с Францией, Англией, Соединенными Штатами... Касснер участвовал в создании красных профсоюзов, к концу года в них насчитывалось более трехсот тысяч членов. И все-таки этого было слишком мало.

Сейчас, когда власть перешла к Гитлеру, надлежало организовать союз всех революционных сил прямо на заводах и сплотить их для совместных действий в едином направлении, которое определялось бы только с учетом свежей информации о ежедневно меняющейся обстановке и использовало инициативу первичных организаций. С января Касснер как раз и занимался сбором информации, работа эта была одной из наиболее опасных, и наверняка именно ее выполняли те, кому принадлежали самые разборчивые — то есть самые недавние — из надписей на стене. Касснер разобрал еще одну: *«У меня все еще черные волосы»*, и тут же, словно выбрать эту надпись ему помогло не зрение, а какое-то гораздо более острое и верное чувство, где-то послышались шаги. Сколько их там?

На слух было трудно определить: трое или четверо, нет, не меньше пяти, может быть, даже шесть.

Сразу шестеро штурмовиков могли прийти сюда в это время только с одной целью — избивать.

Вот открыли дверь в какой-то из дальних камер, затем захлопнули ее, и только что грохотавшие сапоги исчезли в ватной тишине.

Страшили больше всего не физические мучения, даже не смерть, а садистская изобретательность тех, что сейчас закрыли за собой дверь. В любой стране подобным ремеслом занимаются только отборные мерзавцы.

Заставляя жертву выносить предельное унижение, предельную боль, палач почти всегда добивается своего. «Если бы меня пытали, чтобы выведать то, что мне самому неизвестно, я так или иначе не смог бы никого выдать. Вот и нужно предоставить, что мне ничего не известно». В эти минуты он употреблял все свое мужество, чтобы отделиться от себя самого, отделить человека, которого вот-вот настигнут эти грозно грохочущие сапоги, от того Касснера, каким он вновь станет потом.

От тюремных стен исходила такая мощь, что даже надзиратели обычно разговаривали почти шепотом. Внезапно всю камеру заполнил вопль и тянулся долго, насколько хватило дыхания, захлебнувшись, наконец, в удушье.

Сбежать, укрыться в полнейшей пассивности, в безот-

ветности сна или безумия. Сохранить в самой глубине незамутненность сознания, чтобы можно было защитить себя, уберечь от непоправимого разрушения. Исторгнуться из себя самого, оставив на растерзание лишь то, что не являлось основой.

Снова крик. И еще более истошный. Касснер заткнул пальцами уши. Все напрасно: его мозг сразу же уловил периодичность вопящей боли и ожидал крика именно в тот момент, когда он раздавался. Касснер прошел войну, но никогда ему не приходилось слышать, как заходится криком человек в пыточной камере. Стоны и крики раненых в бою не имели ничего общего с тем, что он слышал сейчас; этот вопль наводил ужас прежде всего потому, что в нем была скрыта некая тайна. Как же надо было истязать человека, чтобы он так кричал? Будут ли и его так же мучить? Пытка вне стен, на воле, вдруг показалась ему счастьем.

Снова лязгнула дверь, шаги стали приближаться к его камере.

Тут только он осознал, что стоит, весь вжавшись в стену и втянув голову в плечи. Решимость его не покинула, но колени об этом не знали. Он отошел от стены, с раздражением ощутив вялость в ногах.

Еще раз хлопнула дверь, словно схватив и спрятав за собой шаги. Опять затишье в шуршащем муравейнике.

Он вернулся к двери: *«Сталь убит в ...»* На этот раз надпись не стерлась, а просто была не закончена. Камни сочлились судьями.

Он вспомнил слова из письма жены одного заключенного: *«Как же они били его! Я его не узнала, ты понимаешь, Тереза, я не узнала его среди других...»*

Сколько еще своих попадет сюда после него? У него пока не отобрали карандаш, и он написал: *Мы с тобой.*

Отведя руку, он прочитал очередную надпись: *«Через меня я убью Федервиха»*. Был такой лагерный начальник. Кто из них мертв — угрожавший или тот, кому он угрожал?

Пока взгляд продолжал двигаться по строчкам надписей, слух напряженно ловил шаги надзирателей, еле различимое царпанье в соседних камерах, неожиданно донесущуюся откуда-то со двора перебранку, приглушаемую коридорами и в то же время более отчетливо слышимую за счет эха... Крика все не было. Его жизнь состояла теперь из одних только звуков и враждебных шумов, словно у постоянно испуганного слепого.

Касснер знал, как трудно безответно сносить побои. Он был уверен в своей силе, в той мужественной самоотвержен-

ности, благодаря которой ему нередко удавалось даже в почти окаменевших сердцах находить потаенный уголок, где еще теплилась память об ушедших навсегда; но у него не было ни малейшего желания вступать в разговор с нацистами. Хотя вряд ли эти гитлеровцы сами стремились в охранники; убивать на войне позволено каждому, однако, чтобы ударить заключенного — Касснеру это было известно, — необходима гнусная санкция государства. Нужно постараться молчать во что бы то ни стало. Его долг не в том, чтобы отвечать на удары словами, которые войдут в историю, а в другом: совершить побег и продолжить революционную работу. Пусть даже он будет убит — важно, что в Хагене, на заводе, где работает семьсот пятьдесят человек, невзирая ни на какой террор, ни один не выдал тех, кто распространял листовки.

«Здесь у тебя память освежится, вот увидишь...»

Он продолжал стоять посредине камеры, прижав локти к телу, в ожидании нового крика. По-прежнему тихо. Хотя — поскольку камера, в которую сейчас зашли штурмовики, была расположена ближе к нему, чем предыдущие, — ему показалось, что он расслышал глухие удары... Он все еще напряженно ожидал крика, когда наконец в промежутке между лязганьем открывшейся и закрывшейся двери донеслось отчетливое, но какое-то сдавленное повизгивание.

Опять шаги, на этот раз совсем близко. Он успел почти вплотную подойти к двери, когда она распахнулась.

В камеру вошли четверо штурмовиков, двое остались в коридоре. Все как на подбор — висящие обручем руки, голова вперед. Один из них поставил на пол переносной керосиновый фонарь.

Безликие и бестелесные, они производили неизмеримо более зловещее впечатление, чем какие-нибудь громилы из комедий, с геркулесовыми плечами и руками до земли, как У шимпанзе. Тревога, мучившая его, вдруг исчезла. Это было какое-то животное чувство, рожденное страхом перед неизвестностью; он готовился встретить садистов, пьяных, обезумевших, — словом, каких-нибудь выродков. Эти были не пьяны. Оставался садизм. Но с их приходом мучительная тревога уступила место решительности и душевному подъему.

Они смотрели на него. Наверняка ему, как и им, было очень плохо видно, да и он не мог получше разглядеть их — бесформенные пятна, подсвеченные снизу подбородки и скулы; их массивные тени прыгали по потолку, как огромные пауки. У него вновь возникло ощущение, будто он загнан в нору, и вся каменная громада тюрьмы нависает над дырой, куда он забился. В его скулы тоже бил снизу свет фонаря, причи-

няя боль; впрочем нет, больно было оттого, что он изо всей силы сжимал челюсти. Он с горечью отметил, что зуб перестал ныть. У него теперь не было сомнений, что он не отступит ни на шаг.

Кулак врезался ему в живот и словно провалился туда, сложив его пополам; голова еще не успела опуститься, как страшный удар в подбородок разогнул его и отбросил назад: ребра приняли на себя одновременно жесткость цементного пола и тупые кувалды сапог. Его удивило, что боль была вполне терпимой, хотя от нее можно было потерять сознание; в сравнении с пытками, со всем тем, о чем он успел передумать, избиение казалось пустяком. Кроме того, поскольку он упал на живот, уязвимые части тела были прикрыты. Живот представился ему словно бы защищенным клеткой с прутьями из костей и ребер, на которые разъяренно обрушивались сапоги. Из града ударов один пришелся в челюсть, сплюнув кровь, Касснер услышал: «Что, уже своим флагом плюешься?» и в ту же секунду с трескучим сверканием молнии глаза пересекла широкая красная полоса: ударили в затылок. Тут он наконец потерял сознание.

Сквозь забытие он осознал, что его с размаху швыряют в другую камеру, крикнув: «Еще увидимся!»

Когда захлопнулась дверь, его первым чувством было ощущение душевного покоя. Та самая дверь, что прежде угнетала, сейчас ограждала его от бессмысленной мерзости внешнего мира; в то же время уединение, теснота и постепенный выход из обморока возвращали ему зыбкое состояние защищенности и уюта, которые он испытывал очень давно, в детстве, когда, играя в индейцев, прятался под столом. Он чувствовал невероятное облегчение.

Скоро ли кончится эта ночь? Когда надзиратель открывал и закрывал глазок, луч света из коридора высвечивал на задней стене камеры решетку, которая, очевидно, прикрывала узкое вентиляционное отверстие, глубокое, как бойница в старинной крепости. Оно не выходило наружу, не связывало камеру с внешним миром — оно существовало внутри замкнутой и душной жизни, к тому же позволяло ощутить подавляющую мощь каменной толщи. Касснер находился в каком-то склепе, и весь мир словно был где-то там, по ту сторону забытия и безумия; однако благодаря дыре удушающая толща камня начинала жить своей подпанцирной жизнью, изрытая ходами и ячейками, по которым неустанно, как сороконожки, передвигались заключенные, вернее те из них, кто еще мог ходить.

Он нащупал стену; несколько раз, с паузами, постучал в нее согнутым указательным пальцем. Ответа не было.

Его возбуждение прошло сразу же после схватки. Приятное оцепенение, в котором Касснер пребывал после того, как закрылась дверь, неудержимо распалось, сменяясь прежней тоской: оно слезало лохмотьями с обостренно чувствительной кожи, сползало по одежде, вдруг обвисшей, как разношенная пижама; стоило срезать пуговицы, отобрать шнурки и подтяжки (значит, самоубийство для него не предусматривалось), как даже материал будто стал другим. Дыра эта, что ли, так подавляла его или понемногу делавшая свое дело боль, а может быть, этот мрак? Все, кого сажают в круглые камеры, где не на чем остановить взгляд, рано или поздно сходят с ума.

Он постучал еще. Две полоски света, обозначавшие правый угол дверного проема, погасли.

Сделавшись ненужной, сила Касснера начинала грызть его изнутри. Он был из тех особей, которые не могут бездействовать, а тьма высасывала его волю.

Переждать, вот и все. Продержаться. Прожить вполсилы, хоть как-нибудь, как парализованные, как умирающие, с почти потухшей, но неистребимой волей к жизни, подобно лику во мраке ночи.

Иначе — безумие.

II

Сколько же дней прошло?

Почти все время — кромешная тьма; лишь изредка приоткроется глазок или просочится лучик света между дверью и порогом. Сколько уже дней борьбы в одиночку со скользким, липким безумием...

В соседних камерах продолжали избивать.

Должно быть, на воле сейчас день, погожий, ясный день, весь в шелесте травы и деревьев, в матовом поблескивании оцинкованных кровель...

Жена Касснера была в Праге, но он вот уже с полчаса пребывал в уверенности, что она умерла — умерла, пока его держали здесь, точно наказанную собачонку в чулане. Он живо представлял себе ее лицо, умиротворенное и обильно припудренное, как у всех покойников; полные губы, сжатые немало плотнее обычного, распущенные волнистые волосы, скрытые сейчас под веками бледно-голубые, как у сиамской кошки, глаза — вознесенная над жизнью, освобожденная от боли и радостей маска... И даже если он пройдет через все, ему уже никогда не вернуться в прежний, полнокровный мир, вечным Рубцом будет напоминать о себе эта одинокая смерть. От подобных мыслей он еще яснее начинал ощущать могущество

этой ночи, связавшей его; могущество врага, который выбрасывал его из свершавшейся мировой судьбы, как мертвеца или сумасшедшего.

Удалявшиеся шаги охранника глухо разносились по коридору в мерном ритме похоронного марша. «Если я успею десять раз обойти камеру, пока не пройдет следующий (они шли друг за другом с небольшим интервалом), — значит, она жива».

Он зашагал по кругу. Два, три. Наткнулся на стену — казалось, она должна быть дальше. Четыре. «Так быстро нельзя, надо идти в одном темпе». Говоря себе это, он уже бежал, прихрамывая. Шесть. Послышались шаги. Семь, восемь. Круги все сужались, он кружился почти на одном месте. Охранник прошел мимо.

Девять.

Он бросился на пол. Лежать в камере запрещалось. «Если я досчитаю до ста, пока они будут возвращаться, — значит, она жива». Один, два, три... Все тихо. Он считал с закрытыми глазами, словно восходя по этим числам на эшафот. Шестнадцать... восемьдесят... девяносто восемь, сто: «Жива».

Он увидел: Анна открывает глаза, — и тоже открыл; пока длился этот счет, он успел, сам того не сознавая, вытянуть ноги и скрестить руки на груди — покойник, да и только.

«Я уже начинаю сходить с ума», — подумал он.

Опять шаги. Он решил не вставать: хотелось увидеть живого человека. Его мужество, как всегда и бывает, помогало в борьбе с опасностью, но было почти бессильно против тоски и тревоги. Он знал это с той самой ночи в сибирской деревне: в любой момент ее могли окружить белые, и мучительное, тревожное ожидание не давало ему заснуть до тех пор, пока ему не пришло в голову распахнуть настежь все двери и окна в избе.

Охранники прошли, так и не заглянув в глазок. «Пожалуй, здесь нелегко убить себя до того... Нужно непременно что-нибудь придумать. Когда начнутся пытки, у меня все-таки есть шанс собрать все силы и промолчать, но если я сойду с ума... Стоило глотать список, чтобы потом выдать вещи куда более важные! А что, если это происходит незаметно?..» Вполне вероятно, что он так и не почувствовал, когда именно начал сходить с ума; не исключено, что, очнувшись в камере, а затем в позе покойника выпытывая у случайных чисел, жива ли его жена, он просто ненадолго вернул себе ясность сознания.

В очередной раз по коридору прошел охранник, что-то негромко напевая. Музыка!

Касснер вдруг остро ощутил пустоту и одиночество: углубле-

ние правильной формы в огромной каменной глыбе, и брошенный в эту нору кусок мяса для пыток; однако сюда могли без труда проникнуть и русские песни, и Бетховен, и Бах. Его память была переполнена самой разной музыкой. Эта музыка медленно, но властно изгоняла безумие из его груди, рук, пальцев — прочь, за дверь; она пробежала по всему его телу, не задев только горла, ставшего как-то особенно чувствительным (хотя он вовсе не начинал петь, а только вспоминал). То сливаясь, то разлетаясь, воображаемые звуки воскрешали давние переживания: безоблачное счастье детства, восторг и отчаяние влюбленного, — чувства, которые, находя себе выход в крике или рыданиях, словно заставляют человека целиком перевоплощаться в звук; безмолвие, окружавшее Касснера, теперь походило на предгрозовое затишье, и все, чем оно было наполнено, — безумие и бессилие, умершая жена, умерший ребенок, умершие друзья, исстрадавшийся народ, — все это вот-вот должно было быть погребено под гулко vzdымавшимся валом людских стонов и гимнов.

Стоило плотнее закрыть глаза, и вот уже покатались первые волны, то здесь, то там взламывая непрочную корочку его едва затянувшихся ран; горизонт все уже, простор все величественнее; чья-то властная рука заставляет колыхаться этот океан звуков, пение затихает и вновь вскипает, раздирая края всех его ран одновременно, словно щепку, вознося на гребень боли лишенный управления корабль: в этом могучем всплеске явственно слышится чистый и сильный голос любви. Боль растекается по всему телу, вынуждая безумие заползать в самые дальние закоулки, чтобы там дожидаться своего часа. Начинается долгий, неотвязный кошмар: его бросили в клетку к огромному черному грифу, и тот своим чудовищным загнутым клювом принимается рвать на куски его тело, заглатывая их и впиваясь ему прямо в глаза хищным немигающим взглядом. Мерзкая тварь все увеличивается в размерах, раздувается от разлитой вокруг черной крови; проходит вечность, и все сметается новым мощным вихрем музыки. Осознав бессмысленность сопротивления, Касснер целиком отдается во власть этой бешеной круговерти: морозная мгла где-то в окрестностях Гельзенкирхена, лай собаки вслед проносящейся стае диких уток, чей свист тонет в пушистом ковре снега; рупор, призывающий шахтеров к стачке, надрывный вой гудка; разрывы снарядов, изувеченные, обезглавленные подсолнухи, желтые лепестки, забрызганные кровью убитых партизан; желтый ветер монгольской степи, разносящий по мертвенно-бледному зимнему пространству засохшие лепестки роз, похожие на оторванные крылышки бабочек; серый рассвет, капли дождя, стекающие с деревьев на крыши хижин,

тускло поблескивающие спинки лягушек, а откуда-то изда- лека, из темноты — пронзительные гудки грузовиков с вос- ставшими; трещотки китайских торговцев, обращенных в бег- ство красными отрядами и пропавших из виду в конце аллеи, в рое светлячков; бледный лунный свет над разлившейся до горизонта Янцзы, чернеющие кое-где островки из трупов, напоровшихся на корявые сучья деревьев; множество людей, прижавшихся ухом к холодной истерзанной насекомыми земле, чтобы расслышать гул надвигающейся из-за горизонта монгольских степей белой армии; его молодость, его боль, сама его воля — все это исчезает в недвижном вращении созвездий. Черный гриф и темный карцер сливаются в еди- ное целое, подмятые накатывающейся громадой похоронно- го марша; в бездне музыки все пережитое освобождается из плена времени, обретает постоянство вечности; своей все- охватной очевидностью она напоминает твердь звездного неба, по которой растекается расплав жизни и смерти; обрыв- ки военных воспоминаний, женские голоса, мятущиеся тени — память разверзается бесконечным дождем, и непрерываю- щийся поток увлекает вещи, лица, события в самые глубины прошлого. Наверное, смерть очень похожа на эту музыку: здесь же, или в дежурке, или в подвале, когда ему выстрелят в затылок, его жизнь пройдет перед ним почти так же — без боли, без ненависти, утопая в торжественном покое, как его тело утопает сейчас в этом мраке, как клочья его воспоми- наний утопают в этом священном пении. Где-то за пределами тюремных стен, вне времен открывается мир, в котором по- беждена боль, куда нет доступа примитивным чувствам и ку- да теперь устремляется вся его жизнь, втянутая в могучее круговращение миров в гигантской воронке вечности. Ощуще- ние наполняющегося ветром паруса возвращает его в сны, в которых он летал, широко раскинув крылья, но только сейчас он несется в разреженном пространстве рядом с сияющими светилами, зачарованный грозной громадой ночи, неторопли- во дрейфующей по безмолвному океану вечности. И снова не- бо Монголии, ветер, разносящий по пустынным просторам Гоби запах высушенного жасмина, раскосые лица погонщи- ков верблюдов, распростертых в пыли для вечерней молитвы и надрывно завывающих: *«...а если эта ночь станет ночью судь- бы — да будет благословенна она до утренней зари...»*

Он встал с пола. Если не шевелиться, тело полностью рас- творялось во тьме; при малейшем движении давали о себе знать болезненные уплотнения, словно наплывы на древе у оснований сучьев. Сделав шаг, он ясно ощутил свое тело как конструкцию — скелет, ноющие суставы, череп, будто раз- бухший в темноте; и все-таки было в этой музыке что-то еще

помимо неудержимого потока звуков, который словно бы переводил человека в иное физическое состояние и возносил его сквозь прозрачность лазури туда, где обретают утешение все униженные; сейчас в ней слышался могучий взывающий гул, возмущенное многоголосье явившихся на Страшный суд и сливавшихся теперь в едином крике, который разносился во все пределы подземного мира, в котором музыка поднимает склоненные головы и медленно обращает их навстречу братству мужественных: то был зов тех, кто продолжал отстаивать красный цвет и клялся отомстить за смерть товарищей, тех, кто на месте табличек с названиями улиц писал имена замученных друзей, тех, кто в Эссене падал под ударами дубинок, с переломанными ребрами и с кровавым месивом вместо лица и кто в ответ на издевательский приказ штурмовиков петь «Интернационал» начинал, уткнувшись в землю, хрипеть первые строки с такой яростной надеждой, что обезумевший унтер выхватывал револьвер и стрелял, стрелял... Касснер по-прежнему ощущал себя разваливающимся скелетом, который идет вперед, шатаясь от накатывающихся волн звуков. Но вот уже — несмотря на то, что эти голоса пробуждали в оцепеневшем сознании воспоминания о революционных песнях, поднимающихся над сотысячными колоннами (а в музыке ничто так не потрясает, как простой припев, подхваченный бесчисленным множеством голосов) и колыхавших огромные толпы, как своевольные порывы ветра над бескрайним пшеничным полем, — вот уже иные, новые аккорды властно и величаво возвращают все и вся в извечный сон; и в этом спокойствии полегшей армии музыка брала верх над своим собственным недавним призывом к подвигу, как она превосходила все на свете, как то заложено в самой ее природе — все превосходить, все сжигать в мятущемся и в то же время ровном пламени горящего и не сгорающего куста *; ночь воцарялась во вселенной, ночь, в которой люди узнают друг о друге по звуку шагов или по молчанию, ночь пустынная, в мерцании звезд и токах дружбы... Ему казалось, что он слышит, как в ней бьется его сердце, сердце смертельно уставшего человека, и сквозь это тревожное биение проступала его молодость, бастующие шахтеры, зеленый луг с лежащими на нем коровами, которые медленно открывают глаза, потревоженные собачьим лаем, разносящимся от фермы к ферме; пение уже совсем смолкло, и страстное слияние жизни и смерти, которое только что совершилось в этой необыкновенной музыке, внезапно затмилось вселенской рабской покорностью: навек предопределены орбиты светил в межзвездных далах, до скончания мира обречены эти космические пленники ходить по одному и тому же кругу, как арес-

танты во дворе тюрьмы, как он сам в своем карцере. Все завершилось тремя ударами невидимого колокола, разбудившими боль сразу во всех его ранах; осколки небесного свода исчезали в глубинах затоплявшей все вокруг тоскливой безнадежности, приняв напоследок знакомые очертания черного грифа.

Не открывая глаз, судорожно вцепившись руками в рубашку на груди, Касснер ждал чего-то еще. Но ничего больше не было, ничего кроме громады камня со всех сторон и ночи — мертвой, не той. Он стоял, вжавшись в стену. «Как сороконожка», — подумал он, изо всех сил стараясь уловить последние отзвуки музыки, порожденной его воображением и оставлявшей его сейчас, словно отлив дохлую рыбу на берегу; музыка откатывалась назад, в небытие, унося с собой чистый звук человеческого счастья.

Вполне приспособиться к жизни в этом каменном мешке могло бы лишь существо бесчувственное, ничтожное, ставшее абсолютно безразличным к ходу времени. Для заключенных время — это черный паук, слегка покачивающийся на сплетенных им в углу камеры сетях, одинаково страшный и заражающий как для них, так и для их собратьев — смертников. Вот и Касснера не столько угнетало настоящее, сколько кошмар будущего, неумолимое «навсегда», «пожизненно», которое наглухо запертая дверь и ощущение полной беспомощности делали более разрушительным, чем темнота, холод и даже подавляющая мощь камня. Какая-то часть его пыталась приспособиться — иными словами, отупеть; отупение прерывалось время от времени длинными музыкальными фразами, которые словно случайно застряли в камере. Это были какие-то обрывки протяжного православного церковного песнопения, вновь и вновь возвращавшие его к тому самому мигу, когда он принял решение пойти на проваленную явку, они воскрешали причудливый беспорядок русской антикварной лавки: иконы, ризы, епитрахили, стихари, кресты, — и вновь растворялись в темноте. Касснер то и дело ввязывался в бой с сонной одурью и чередой липких часов, но паузы между схватками становились все дольше, и ему уже казалось, что это будет тянуться до бесконечности: где-то в глубине его неотвязных мыслей, как в чреве затонувшего корабля, будет временами поблескивать вся эта золоченая церковная утварь, и проблески будут все реже и реже, а промежутки между ними все больше и больше, как у кругов на воде, чтобы в конце концов все поглотило немое ничтожество отупения.

Послышался стук в дверь. Неужели в дверь?

Он ждал этого стука с того самого момента, как оказался в камере.

Стук повторился.

— Кто? — спросил он.

— Мы, — ответили из-за двери низкие голоса, те самые. На этот раз руки у них не болтались, они стояли неподвижно, как бесчувственные посланцы, которые явились сюда по приказу самой Пытки, ударившей в глухой колокол рока. Стук, однако, повторился снова: пять ударов, потом еще два, и каждый удар возвращал Касснера к той ясности сознания, какую только возможно сохранить в кромешной тьме — стучали в стену.

Два удара, пауза, еще шесть — пауза подлиннее.

Он начал стучать сам, но ответа не услышал. Надежда была сродни безумию.

Но с другой стороны, разве не безумие — прятаться, едва забрезжила надежда?

Пять ударов — два — два, шесть — девять — десять — один, четыре — один, четыре — два, шесть — девять.

Он сбился, и все из-за этой церковной тяготины; когда ж они кончат свою зауспокойную по обчищенному храму! Но прежде всего, прежде всего показать соседу, что его слышат. Он постучал. Сейчас сосед ответит, скорее всего это будет повтор.

Чем бы записать — в камере ничего нет!

Сосед застучал, на этот раз помедленнее.

Чем записать, чем записать? Касснеру вдруг пришло в голову, что можно было бы, как только раздастся стук, повторять удары, постукивая каблуком — как лошадь копытом, или попробовать раскачиваться в такт. Нет, запоминай — от этого не станет легче. «Надо подумать». Но как размышлять, если мелко-мелко стучат зубы и вообще все тело дрожит от ощущения чьего-то неуловимого присутствия, от ожидания новых ударов, от яростного отчаяния?

Сосед продолжал стучать. Пять, два — два, шесть — девять — десять — один, четыре — один, четыре — два, шесть — девять.

Опять эти песнопения!

«Не это ли и называется — пытка надеждой?..» Если Касснер вызовет его, тот, наверное, сможет запомнить, что ему передали. Как же составить азбуку? Сейчас опять будет стук...

Чтобы собраться с мыслями, ему пришлось сделать одно из самых невероятных усилий в своей жизни. Но все же не удалось отделаться от навязчивого образа: рука никак не может поймать кружащую муху. Наконец запомнил: сосед отстучал тринадцать цифр. Если из них составить одно число может быть, удастся удержать его в памяти. Нет, слишком

длинное. А если разделить на две половины?..

Тишина.

Он все прислушивался, едва переводя дыхание и застыв в позе невероятного напряжения. Иногда он принимался стучать просто так, наугад. Ответа не было, хотя он явно не оглох: слышал ведь он свои собственные удары, свои шаги и вообще все тюремные шорохи, неопределенное бормотание, которое сейчас даже заглушало упорно распевавших свои псалмы пономарей. Вот открыли дверь соседней камеры. Неужели возьмут за то, что перестукивался? Или это просто совпадение? Надежда постепенно оставляла его, как только что его оставила музыка, — одного, в трясине ничтожества. По инерции он еще был весь в ожидании стука, но уже осознавал тщетность надежды — это был ее последний всплеск, очень похожий на последний выброс крови из смертельной раны, судорожное сокращение сердечной мышцы в агонии.

Он закрыл глаза и погрузился в приглушенно мерцающую стихию полусна. Нагромождение образов на фоне каких-то радужных разводов — точно расплывающееся на воде бензиновое пятно; оно становится розовым, покрывается торчащими во все стороны черными запятыми. Видимо, это тот самый переход вброд через реку, почти забитую уносимой течением рыбой, оглушенной артиллерией белых, партизаны с вытянутыми от голода лицами и поднятыми над головой винтовками, продирающиеся сквозь груды рыбин в лососево-розовых проблесках холодного рассвета... Но вот солнце словно взлетело в зенит, и проблески вспыхнули золотом, точно упали на россыпь золоченой церковной утвари, похожей на ту, из антикварной лавки. На ее неровностях и извивах лучи подрагивали в звуках песнопений, как огонек лампадки под иконой, который превращался в ночные огни транссибирского экспреса, распростертого на насыпи, словно потерпевший крушение океанский лайнер, посреди тайги и поваленных телеграфных столбов...

Гражданская война.

Сознание бросалось в головокружительную погоню за образами, которые поддерживали в нем жизнь. Необходимо как следует организовать эту погоню, превратить ее в победу воли. Когда Бакунин сидел в тюрьме, он каждый день выпускал воображаемую газету: передовая, новости, роман с продолжением, фельетон, комментарии. Для Касснера мимолетные образы, навеянные музыкой, были своего рода зрелищем; нужно было включить их в реальное время жизни. Находясь в одиночке, главное не оставаться пассивным. Быть может, ему, Касснеру, удастся одолеть безумие, отупение и одержимость побегом, которая подспудно жила в нем, как

идея вечного спасения в грешнике. Запас его внутренних сил был еще вполне сопоставим с нависшей угрозой.

III

Размалеванная витрина продавца красок, мимо которой его везли после ареста, оборачивается расписными маковками храма Василия Блаженного в глубине Красной площади; вдруг оживает груда церковной утвари из антикварной лавки — все эти стихари и епитрахили с болтающимися крестами и кадилами; почему-то они сливаются с голубыми, украшенными медными звездами куполами монастыря-крепости, и вот уже эта громада, покачивая двойными крестами и громыхая позолоченными цепями, на которых пристроились голуби и вороны, отчаливает в кромешную тьму; где-то внизу виден город — оплот вконец разложившейся контрреволюции, со странниками, просфорами, печатными пряниками и резными медведями — матушка-Русь, чья обгаренная кровью святость не могла заслонить тела повешенных на колокольне партизан. Интернациональный батальон, присланный на подмогу обескровленным партизанским отрядам и имевший один пулемет, залег в лесу. В монастыре наверняка есть карцеры. В одном из карцеров сидит заключенный. Он обязательно совершит побег. Вот он уже в коридоре, он смотрит сквозь матовое стекло, за ним едва различимые очертания цветка, точнее два пятна, одно красное, другое зеленое — цветные, разноцветные! Он подходит к самолету. Его жена сейчас в Праге.

Сознание Касснера кружило вокруг мысли о побеге, а сам он безостановочно кружил по камере. Нет, надо вспоминать все строго по порядку, постараться восстановить последовательность. Не отдаваться стихии, а воссоздать самому. За свою жизнь он слишком многого требовал у судьбы, чтобы теперь с удовольствием ворошить прошлое, но тем не менее, обретя какую-то цель, его измочаленная память вновь собиралась с силой. Упорно, не спеша, он возвращался в тот лес вблизи города, съжившегося в разрывах тумана.

Ночь жметя к замерзающей земле, которая содрогается от того, что постепенно проступает во мгле: из-за холма медленно возникают огромные кресты, которыми размахивают как дрекольем, а следом — православные хоругви, вышитые поблескивающим в лунном свете бисером. Сзади слышится шорох листвы — наверное, кабан; нет, это убегает кто-то из партизан — рот перекошен в немом вопле, вместо глаз мутные лунные бельма; на пригорке появляется поп в серебряной ризе до пят, он грузно опирается на древко хоругви, полот-

нище хлопает от налетевшего порыва ветра.

Касснер ждет звука хлопка. Тишина. Мертвая тишина. Нет ни шелеста сухих листьев, ни ночного шуршания, ни кабаньего шороха, с которым вскочил тот человек. Был же, был перекошенный в крике рот — но самого крика он тоже не слышал.

Значит, оглох! Мозг его едва не раскололся от его собственного внезапного крика. И сразу же звякнуло открытое надзирателем очко. Он взглянул на заключенного, отброшенного потоком света, полузадушенного своими кошмарами, как будто на него надели плотный мешок, — пожал плечами. Звяканье закрывшегося очка столкнуло Касснера обратно в омут контролируемого бреда.

Попы, возникшие на пригорке, начинают приближаться. Все это кажется совершенно нереальным, каким-то наваждением — колыхание крестов и хоругвей над стихарями и митрами, точно ожившая и зашагавшая ризница; дикое зрелище золота, швыряемого пригорошнями в липкую слякоть; развевающиеся на ветру седые бороды; дрожащие капельки бисера и лунные отблески на серебре риз. Они идут вперед. Возмущение и ненависть слышатся в их стройном песнопении, уже много часов не покидавшем карцера, а сейчас перебиваемом шуршанием опавшей листвы — как будто под копытами убегающего кабана, — доносящимся издали беспорядочным серебряным позвякиванием. Какой-то еще звук пронизывает эту ночь: похожий на далекое завывание собаки, он скользит по земле, как ширококрылая тень парящей в вышине птицы.

Нет, это выл заключенный в одной из ближних камер.

Касснер пристально следит за темным комочком — не то крыса, не то хорек, — который, подпрыгивая, катится навстречу шествию. Оно уже остановилось и сразу уменьшилось в размерах в этом бескрайнем лунном пейзаже. Попы размахивают крестами, как дубинками, но все же они безоружны. Трудно выстрелить в безоружного человека, который даже не прячется. Они все время раскачивают какими-то небольшими сосудами; из них курится дымок, собираясь в небольшие облачка, которые замерзают на лету и кружатся в лунной мгле. Это и есть кадила.

Сколько уже дней Касснер провел без курева?.. Ночь доносит до него запах ладана, который совсем не вяжется с этой звенящей холодом и ненавистью пустыней, залитой сиянием огромного звездного неба. Волна сладковатого склеп-

ного духа зависает над стойким терпким ароматом листвы и веток кустарника, но вот ее догоняет новая волна, из-за пригорка, грозно ошетинившегося крестами. Там, за частоколом крестов, — белые. Вчера они точно таким же способом взяли ближнее село, и потом, на закате, когда уходило за лес тусклое зимнее солнце, целый час — или даже дольше — было слышно, как орет под пытками мужик, которого взяли за то, что он красный...

Нет, это снова крик откуда-то из соседней камеры. Человеческое воображение может быть очень изобретательным по части пыток. Касснер закрыл уши ладонями.

Из-за частокола крестов раздается выстрел: стреляет кто-то из белых; почти сразу же стреляет один из попов (значит, и у них револьверы?); третий выстрел вспыхивает красноватым огоньком, похожим на те, что светятся в прорезях кадил. Тут начинает работать пулемет интернационального батальона, чуть ли не за спиной у Касснера. На всякий случай он отползает немного в сторону. Пулемет стучит короткими очередями — как ключ по прутьям тюремных решеток; отстреленный кончик ветки медленно падает, кружа на ветру. С этим пулеметом Касснер знаком еще по Кавказу; тогда его докрасна раскаленный ствол приходилось охлаждать виноградным соком: одну за другой он выжимал грозди, и сок с шипением стекал по остывающему металлу. Пуля попадает в кого-то из попов, и он сползает вниз, словно обвиваясь вокруг креста; остальные бросаются бежать, смешиваясь с солдатами, которые пытаются их остановить. Пулемет теперь строчит почти без перерыва, а из леса раздаются выстрелы старых винтовок: партизаны тоже наконец заметили белых — то тут, то там падают убитые, но эта бойня выглядит глупо и жалко на фоне великого безмолвия равнодушных звезд.

— Ты откуда? — спрашивает Касснера пулеметчик.

— Иностраный коммунист.

Снова молчание, ветер, ночь.

— А я с Алтая. Посмотри на них: лежат седобородые, в серебряных ризах. Вот скажи мне, почему они так похожи на снег в горных расщелинах, который никогда не тает?..

На ночной земле тела убитых складываются в огромного белого грифа с мощным клювом и выдранными крыльями.

В камере послышался чей-то голос, который отчетливо произнес торжественным шепотом: «Они умерли». Затем чуть громче: «Анна тоже умерла, это точно... Она умерла». Под ладонями Касснера, по-прежнему прижатými к ушам, судорожно билась кровь, задыхаясь без видений, как нырлящик без воздуха; кровь, единственный оставшийся с ним товарищ,

сражалась с тишиной ударами подводного колокола, резким щелканьем бичей, топотом копыт во тьме. Стены как будто стали наползать на Касснера; да нет же, это был новый прилив мучительной тревоги, которая отступала лишь при очередном ударе в висках. Вернуться обратно в тот город, обратно в город!

Неужели этот корабль-призрак, несущийся среди рваных облаков, расшвырявший по небу свои колокола, бросивший свою перебитую команду в торжественном облачении коченеть в завьюженных полях, — неужели перед ним тот же самый монастырь? И почему он так заворуженно следит за рукой невесты откуда взявшегося бородатого мужика в расшитом кафтане, который пытается поймать падающие снежинки в полный до краев стакан водки и гоняется за ними вдоль монастырской стены, над которой болтаются на языках больших черных колоколов повешенные партизаны и кружит воронье? Он стоит в самом центре плотной тишины, посреди главной улицы, на которую вытащено и в беспорядке навалено огромное количество покрытой позолотой мебели, из-за чего улица имеет вид гостиной, а низкое небо с слегка желтоватой подсветкой погружает ее в уютный полумрак; на рассвете, когда город был уже взят и сразу оказался во власти гудящего людского водоворота, а ветер уносил последние лохмотья ночи и вороха заиндевевшей листвы, партизаны стали выносить из богатых домов вычурную салонную мебель — типичные образцы русского барокко, буйства витых линий в сочетании с роскошью стиля Людовика XV. Взгромоздившись на огромный рояль с ножками в виде химер, прихватив с собой охапку белоснежных искусственных цветов, по улице катит пестрая ватага развеселых бородатых партизан. Из парчовых поповских риз они соорудили себе какие-то немислимые наряды в духе гофмановских сказок. Похожие на банду сумасшедших, разгромивших оперный театр, они прокладывают себе дорогу, отшвыривая в сторону то кресло, то фортепьяно, чье серебро или позолота, уже слегка припорошенные снегом, тускло поблескивают в спускающихся сумерках. От земли начинает подниматься тревожный тягучий гул, идущий откуда-то издалека и приглушенный снегом...

Чувствуя себя довольно уверенно в набегающих волнах видений, Касснер следит за тем, как приближается это глухое буханье; сначала оно было похоже на форсированный марш колонны, чеканящей шаг, потом на мерное пыхтение парохода. Проснувшиеся партизаны вскакивают с кресел и бегут к подъездам домов... Раздается несколько выстрелов, и опять тишина: бой еще не начался. Лишь кровь стучит

в висках, и кажется, что сейчас земля разверзнется от этого стука, к которому примешивается отчетливое яростное ржание — значит, все-таки кавалерия.

Они уже здесь, за поворотом! В полной воинской сбруе, с седлами и полуазиатскими чепраками, тысячи лошадей без всадников затопляют город. Неровным галопом, словно уже успевшие одичать, мечутся они по переулкам, стремясь вырваться на простор главной улицы; скачка швыряет их то вправо, то влево, как меняющийся ветер распущенные паруса; с ржанием и грохотом копыт смешивается треск кушеток и кресел. Будто чудом явившийся в полной сбруе из доисторических времен великих кочевий, табун неудержимо несется вперед в пене грив и бурунах спин, стиснутый домами, как стадо быков в коридоре загона. Последние партизаны, похожие сейчас на мелких насекомых, спешат укрыться от этой содрогающейся армады, которая вздымается и опадает, оказываясь то флотом, то морем, затопившим всю улицу; за жердяной изгородью переминаются тощие бедняцкие кобылки, с тоской взирая на мчащихся лошадей, которых казаки при отступлении выпустили на волю. Партизаны тоже провожают зачарованным взглядом это проносящееся мимо богатство, и кажется, что нет ему конца, пока вдруг следом за казацким табуном, разметав свою изгородь, на улицу не выскакивают мужицкие лошаденки, которые в своей бесседельной наготе — после роскошного убранства — похожи на голых людей. Стук множества копыт постепенно исчезает в надвигающихся сумерках, рассыпаясь веером у опушки леса, почти погрузившегося в темноту. Там, за горой, притаились горе и война, но в этом стуке слышен крик из глубин самой земли, сотрясающейся в счастливых рыданиях под замерзшей коркой. Морозный воздух! Холод — но не тот, что исходит от каменных стен, а тот, что взвивается на дыбы, как один из тех коней, последние из которых, иногда оборачиваясь, пропадают из виду; он встает на дыбы в ледяном мраке ночи, варварски раздалбливая копытами распростертую, растерзанную землю — живую, как река, как море!

Касснер открыл глаза.

Ничего режущего. Ни веревки, ни даже носового платка. Разве что вскрыть вены ногтями. Проверив на ощупь, он убедился, что они еще не отросли.

Неужели он не сможет найти какой-нибудь другой способ? Когда-то один из его друзей попросил, чтобы после смерти ему обязательно вскрыли вену и убедились, что кровообращение действительно прекратилось. Касснер вновь видел сейчас скальпель ассистента (врач отказался это делать), ищущего

в уже обескровленных тканях дряблую бледную вену. Точно так же, наверное, и ему придется вслепую, окровавленными пальцами нащупывать свою вену — пульсирующую, упругую...

Собственное тело, которое всегда представлялось ему таким уязвимым, вдруг зажило упрямой, непобедимой жизнью; оказалось, что сердце и легкие надежно защищены грудной клеткой. «Да, природа все изготавливает так, будто знает, что люди только и заняты мыслями о самоубийстве...»

Им владело желание спокойно умереть и в то же время вцепиться в горло первому же, кто войдет к нему в камеру, и не разжимать пальцев, ни за что... Как сделать, чтобы его смерть принесла пользу? Сидя в этой норе, нельзя помочь ни одному человеку. «А ведь сколько было прекрасных возможностей отправиться на тот свет...» Судьба сделала крайне неудачный выбор. Придется все-таки остановиться на ногтях.

Это будет не так просто. Он наклонился к тоненькой ниточке света, обозначавшей дверной порог, и в конце концов различил в темноте свою руку с растопыренными пальцами и слишком короткими, как он уже убедился, ногтями. Сначала нужно будет воспользоваться ногтем мизинца, как перышком для прививки. Он попробовал проткнуть им кожу у запястья. Не получилось: ноготь был слишком коротким и к тому же слишком круглым и тупым, а кожа оказалась эластичнее и плотнее, чем он думал. Придется затачивать ноготь об стену. На это уйдет дня два, не меньше.

Он по-прежнему пытался разглядеть свои пальцы, кончики которых едва виднелись в полной темноте, словно они вообще принадлежали не ему, а кому-то другому. Его мужество перевоплотилось в смерть. Он все смотрел как завороченный на свою почти невидимую плоть, внутри которой совершалась неторопливая работа по выращиванию ногтя, нужного ему, чтобы убить себя.

Он снова стал мерить камеру шагами. Его рука, ставшая теперь вместилищем рока, странно болталась сбоку, точно сумка на ремне. Ни через час, ни через два ничего не изменится; тысячи смутных шорохов, которыми кишит тюремная тишина, будут вечно сопровождать тяжкий быт этого клоповника, и страдание равномерно осядет тоской, словно пылью, в этих застывших пределах небытия.

Он прислонился к стене и окунулся в стоячее болото времени.

В камеру ворвался свет лампы из коридора. Значит, на дворе ночь.

В дверях, расставив ноги, стоял охранник и смотрел на него. «Наверное, развлечься хочет», — подумал Касснер. Он слышал истории о том, как заключенных заставляют ходить на четвереньках.

Охранник шагнул в камеру.

Касснер был уверен, что столкнется сейчас с жестокостью или с намерением унижить, хотя против света мог различить на этом лице лишь взгляд — взгляд покупателя на невольничьем рынке. Он сделал шаг назад, чтобы сохранить дистанцию, и подал корпус вперед, оторвав левую пятку от земли. «Если он заговорит со мной, отвечать не буду, а если дотронется, двину головой в живот. А там посмотрим».

Охранник, видимо, все понял: когда отступают от страха, корпус бывает наклонен не вперед, а назад. Что-то мягкое упало на пол.

— Работа. Щипать, — сказал охранник.

Дверь захлопнулась.

В тот самый миг, когда Касснер был ближе всего к самоубийству, оказалось достаточно вторжения реальной жизни, чтобы к нему вернулись силы. Точно так же и в первый раз, когда приходили штурмовики, страх исчез — несмотря на вопли, доносившиеся из соседних камер, — едва они переступили порог карцера, едва кончилось мучительное, тоскливое ожидание. Он уже познал законы, правящие миром бессонницы, в котором с неутомимым муравьиным автоматизмом бесконечно воспроизводится один и тот же кошмар; он вел свой бой, находясь внутри этого мира, и успех сражения заключался не в обретении покоя — что было явно недостижимо, — а в получении возможности почувствовать себя готовым к бою: кулаки крепко сжаты, голова вперед. Он так давно не дотрагивался ни до чего, кроме камня, что нанес бы удар с такой же жадностью, с какой голодный набрасывается на еду.

Ощувив под ногою предмет, который швырнул на пол охранник, он поднял его: это была веревка.

Интересно, можно ли есть веревку, если ее хорошенько поджарить? Сочный поджаристый кусок мяса, переливающиеся капельки на запотевших стенках ледяного графина, аромат аниса и мяты в вечернем воздухе, тихий шелест листьев над головой! Сколько раз его кормили за то время, что он здесь? Бывало, от голода у него начинался одуряющий лихорадочный озноб, как при сильном гриппе.

«Работа...»

Он подумал, что от выщипывания ниток из веревки у него будут стачиваться ногти: самоубийство как будто вернулось на минуту, чтобы забрать то, что им было случайно забыто. В набухшей черной тишине раздавалось похожее на гамму поочередное лязганье дверей: охранники всем раздавали веревки. Не вползала ли вместе с этими веревками в каждую камеру мысль о самоубийстве, почти ко всем одновременно, — как в свой час приходило отчаяние, как в свой час приходило отупение? Не закружили ли волны безумия, отхлынувшие от Касснера, его собратьев, унося их все ниже, все дальше от нормального человеческого состояния? А может, вцепившись в веревку, в нацистскую эту веревку, они сходили с ума, поняв, что последний доступный им свободный выбор и тот заранее предугадан, что у них отобрали смерть так же, как отобрали жизнь?.. Среди них были те, кого посадили гораздо раньше него, были люди моложе его, были и больные... Веревка лежала в каждой камере, и Касснер не мог поступить иначе: он начал стучать.

Не останавливаясь. Почти не осмеливаясь прислушаться. И все же — либо он сошел с ума, либо ему отвечали. С той же стороны, что и в прошлый раз. Он вслушивался изо всех сил, при этом боясь в самом деле услышать стук: а вдруг он опять прекратится? Почудились же ему однажды шаги охранника, и как потом оказалось, он ошибся. Надежда и та представляла разновидностью боли.

Приученная к невероятной терпеливости, на которую способны лишь заключенные, невидимая рука отстукивала: пять — два — два, шесть — девять — десять — один, четыре — один, четыре — два, шесть — девять.

Пауза между девятью и десятью была длиннее, чем между двумя и шестью.

Слушая стук, Касснер не пытался угадать азбуку. Сейчас это казалось не так важно по сравнению с самим фактом установления связи: просто давая понять, что слушает, он не только вытаскивал из небытия своего соседа, но и спасался сам. Вряд ли группы цифр два — шесть, один — четыре входили в какую-либо систему разделения алфавита, поскольку за ними следовали одиночные цифры. Они наверняка означали числа пять, два, двадцать шесть — девять, десять. Остальные он уже забыл.

Он стукнул один раз.

Сосед снова ответил: пять, два, двадцать шесть — девять, десять — четырнадцать — четырнадцать — двадцать шесть, девять.

Он повторял эти цифры с перерывами до тех пор, пока Касснеру не удалось воспроизвести их.

Изо всех сил сжимая веки, чувствуя, как до самых висков больно стянула лицо гримаса, Касснер пытался представить целиком весь ряд цифр. Вернее будет искать ключ, отталкиваясь не от их названий, а от того, что они могут значить. Ему померещилось, что он превратился в какого-то запасливого жучка, который, устроившись в каменной норке, подгребает под себя свое богатство и складывает лапки — он как раз вцепился руками в рубашку на груди — на горке чисел; эти числа были по меньшей мере знаком дружбы, но слабость или перенапряжение памяти или просто пробуждение могли стереть их. Нанизанные на невидимую непрочную нить, они висели у него перед глазами, заполняя собой пустоту мрака, проплывали у него над головой, будто он должен был уцепиться за них, чтобы спастись, но рука раз за разом промахивалась. Он перепробовал все ключи: прибавлял число к количеству букв в алфавите, вычитал, умножал, делил алфавит на серии. Размышлять, разгадывать, ускользать от пустоты было таким спасительным занятием, что любое препятствие на этом пути казалось смешным. Может, попробовать алфавит в обратном порядке? Тут он обнаружил, что наизусть знает алфавит только с начала до конца.

А если стучал сумасшедший?

Когда один из его старых товарищей, анархист, попал в военный госпиталь и, кстати, там ухитрился сагитировать многих соседей по палате отказаться от военной службы по идейным соображениям, то, помнится, его положили тогда между стеной и койкой с сумасшедшим.

Ну, и наконец, почему бы охраннику было не отстучать ему в ответ, намеренно, серию ударов без всякого смысла?

Снова стук. Такое слепое упорство могло исходить только от заключенного, да и не смог бы сумасшедший стучать так старательно и четко.

Надо запастись терпением, и он обязательно найдет ключ! Жаль только, что, проверяя различные предположения, он путал порядок цифр, смысла которых так настойчиво доискивался, и теперь сидел, точно ограбленный и раздетый, совсем близко от неумоимого братства...

Каждый тюремный звук казался похожим на отдаленный стук, а сама тюрьма — на ту ночную сходку в Гамбурге, когда по его сигналу каждый зажег спичку и увидел, как далеко в бесконечность вытянута эта людская масса, мерцающая мириадами огоньков... Он вспомнил улицу рабочего квартала неподалеку от Александерплац, лунные блики на запертых дверях табачных лавочек. В ту ночь шел бой. Коммунисты только что оставили эту улицу, и последние огни гасли по мере того, как приближалось глухое рычание полицейских

грузовиков. Но стоило им проехать, как по всей улице из конца в конец зажглись окна, отбрасывая на тротуар прямоугольники света, изрезанные силуэтами: вся улица была у окон, люди с напряженными лицами держались чуть в глубине комнаты; чуть понижались головы вездесущих мальчишек. То тут, то там открывались двери, впуская товарищей, сумевших переждать за выступами стен. И вдруг это олицетворение человеческого братства столь же внезапно, как и возникло, кануло обратно в ночь: еще один полицейский грузовик промчался по улице мимо домов, утонувших в равнодушном сиянии луны.

Опять поползли часы, изгрызенные муравьиными челюстями чисел, изредка прерываемые шагами охраны. Незаметно, почти случайно и как бы даже независимо от его усилий ему пришла в голову мысль, что число пять могло означать не то, что первая буква сообщения была пятой по алфавиту, но сам алфавит нужно было считать с пятой буквы. Тогда F была первой, G — второй и так далее: Z — двадцать первой, A — двадцать второй, B — двадцать третьей... E — двадцать шестой. Сосед опять застучал, и Касснер, слушая удары, загибал пальцы:

2-G; 26-E; 9-N.¹

Радость потрясла его, вновь опередив работу сознания. Он задержал дыхание, хотя ему не хватало воздуха, пальцы самопроизвольно впивались в бедра. Вдруг он покачнулся, поглубже отпрянув в темноту: к стуку теперь примешивался какой-то другой звук. Это возвращался охранник.

Не спеша. Спокойный, равнодушный, скорее всего пресыщенный той томительной скукой, что растекалась по всей тюрьме из-под дверей камер, где шел медленный распад человеческих тел и душ: узник времени среди узников отупения и смерти.

Раз, два, три, четыре...

Конечно, Касснеру здесь, в карцере, было лучше слышно, чем охраннику из коридора. Пять, шесть... Но он уже приближался и мог услышать. Семь... С каждым шагом время все мощнее накатывалось на Касснера, вскипая, как горный поток, и выдирая сложноразветвленные пучки его нервов. Восемь, девять... Если охранник услышит, то того, кто стучал, либо прикончат на месте, либо запрут в вертикальный гроб — камеру-шкаф, куда человек помещается только стоя; однако не менее страшно то, что им станет известна азбука. Касснер чувствовал на себе такую огромную ответственность, будто

¹ Genosse (нем.) — товарищ.

терпеливое упорство его соседа, его неутомимое желание помочь вот-вот должно было попасться на приманку его, Касснера, глупости и неуклюжести. Десять... Он был зажат между стуком и приближающимися шагами, которые настигнут его через три секунды... Даже если он действительно угадал азбуку, то как отстучать «внимание»? Как составить А, С...¹ Он принялся загибать пальцы, начиная с F. Получалось больше двадцати...

Он было поднял кулак, но, тут же сообразив, что так будет не слышно, согнул указательный палец...

В этот момент стук прекратился.

Может, сосед тоже услышал шаги охранника? Вполне вероятно: сосредоточившись, как и Касснер, на ударах, он, разумеется, чутко улавливал и все прочие шумы. Кроме того, караул проходил через более или менее равные промежутки времени. В тишине, растянувшейся до бесконечности, но вместе с тем таившей угрозу возобновления стука из соседней камеры, гулко раздавались шаги. Касснер слушал их, затаившись, втянув голову в плечи, чудовищным внутренним напряжением стараясь подавить возможный стук и превратившись, точно гипнотизер, в сгусток воли.

Шаги начали удаляться.

Удары возобновились: 10-0.

Сосед продолжал, и Касснер тоже начал стучать: один, четыре — S; один, четыре — S; два, шесть...

В полной тьме они оба выстукивали слово «товарищ», теперь уже уверенные в том, что понимают друг друга, но все равно не обрывающие стук; они заканчивали слово, каждый слышал одновременно и свои удары, и удары другого, как будто это глухо билось их общее сердце.

Касснеру хотелось сказать что-то самое главное, найти такие слова, которые замурованный в одиночке человек смог бы прижать к груди. Прежде всего сказать ему, что он не одинок, защитить его от веревки, которую он тоже не щипал, потому что стучал. Касснер подыскивал слова, считал, загибая пальцы: ему приходилось говорить на языке, который он освоил пока лишь по слогам; только что, когда они стучали вместе, ему было легче. Но вот уже он слышал: ДЕРЖИСЬ.

Опять шаги охранника.

Сосед продолжал (хотя после того, как Касснер отстучал КТО, они оба вроде бы решили прерваться): МОЖНО...

Громыхнувшая со всего размаху дверь будто прихлопнула удары. Слух Касснера обострился до предела. Он был уверен, что точно угадывает, откуда доносятся звуки; дверь

¹ Achtung (нем.) — внимание.

захлопнулась именно там, откуда слышался стук. Либо они вошли в камеру его товарища, либо в одну из соседних, поэтому он и перестал стучать. Вдруг послышались какие-то глухие, беспорядочные и странно далекие звуки — точно они шли из-под толщи воды; все чувства Касснера напряглись до предела, до дрожи. Вот что-то стукнуло! Нет, это был какой-то другой удар. За ним еще один — плотнее, приглушеннее. Снова удары, на этот раз твердые и резкие: теперь было совершенно ясно: стучали не пальцем — его товарища избивали, и мягкий звук означал удар о стену всем телом, а твердый — головой; эти звуки обрушивались на Касснера, запертого во мраке, застывшего в немом вопле, теряющего рассудок от рабского своего бессилия.

Он ждал их к себе.

Хотя было неизвестно, придут ли они и к нему тоже. Скорее всего, они слышали стук только с одной стороны: сам он стучал гораздо меньше; в противном случае они бы подождали, чтобы выяснить, кто отвечает, и уж тогда...

Действительно, они все не шли. Значит, скоро вернется одиночество. Лишившись братства, как до того — надежды и видений, Касснер зависал в тишине, вбиравшей в себя сотни нитей воли, протянувшихся в этом черном термитнике. Говорить, говорить людям, пусть даже они и не услышат его!

«Товарищи, все, кто окружает меня в темноте...»

Столько часов, столько дней, сколько потребуется, он будет готовить свою речь для этой тьмы...

V

«Вот уже... не знаю точно: в темноте часы сливаются, — в общем, за две недели до ареста — я был в Париже, на митинге в защиту заключенных в Германии. наших там было десятки тысяч, все стояли. В главном зале все первые ряды отведены слепым, они самозабвенно поют революционные песни, которые подхватываются в других залах и на ночной площади, — поют и нелепо, как все слепые, жестикулируют, что производит страшное впечатление. Они поют для нас. Поют, потому что мы здесь.

Я видел умершего Ленина. Было это в зале бывшего Дворянского собрания. Его голова, понимаете ли, казалась даже немного больше, чем обычно. А из ночи шли и шли люди, и падал снег.

После того как мы прошли перед гробом — а может, до того, — мы собрались в соседнем доме. И когда подошла жена Ленина — седая, похожая на старую учительницу, — мы поняли, что даже самое глубокое молчание может сделаться

еще глубже. Все ждали. Это было мучительно. И она чувствовала, что мы с ней вместе спускаемся по ступеням смерти.

И голосом, понимаете ли, который бывает в подобных случаях, старая большевичка произнесла всего лишь одну фразу, — которую никто из нас не ожидал: «Товарищи, Владимир Ильич горячо любил народ...»

Вы, мои китайские товарищи, похороненные заживо, мои русские друзья с выколотыми глазами, мои немецкие друзья, сидящие в камерах, с этими веревками, и ты, которого сейчас уже, наверное, забили до смерти, — то, что объединяет нас всех, я и называю любовью.

Я знаю, сколько нужно силы, чтобы сделать по-настоящему доброе дело. Знаю также, что ничто, кроме победы, не сможет вознаградить нас за муки, которые испытывают сейчас многие из нас. Но по крайней мере, если мы все-таки победим, каждый из нас обретет наконец свою подлинную жизнь. Как обретут ее и те, кто знает, что они одиноки, что, возвратившись к себе домой, они снова и снова будут одиноки и что они принесут к себе в дом всеобщее презрение и равнодушие, и никчемность своей жизни, которая будет вечно тащиться за ними, как собака. И тогда они отправятся искать женщину, чтобы жить с ней вместе, потому что нужно же с кем-то жить; и они будут спать вместе и нарожают детей, но опять-таки не по своему выбору, а потом сгниют в земле вместе со множеством непроросших семян. В это самое время, если сейчас снаружи такая же ночь, как здесь, во всех домах молча садится за стол или ложится в постель задавленная страхом толпа. Ибо любовь — это всегда выбор, а когда отдать нечего, то и выбирать невозможно.

Но в это же самое время в любой стране, от Парижа с его слепыми до Китая с его Советами, есть люди, которые думают о нас, как о собственных умерших детях.

Я видел...

Нет, мне надо вернуться еще дальше назад... Трудно говорить в темноте.

Мой отец был одним из самых видных партийцев в Гельзенкирхене, и так было целых двадцать лет. Но вот умерла моя мать, и он запил. Каждый вечер, напившись, он отправлялся на собрание — как те, кто, однажды чуть не умерев с голоду, встают по ночам и запихивают под подушку куски хлеба. Он перебивал выступавших, откалывал всякие дурацкие номера, хотя, бывало, и сидел молча где-нибудь в заднем ряду. Все его знали, кого-то он огорчал, кого-то раздражал своим поведением, но его не гнали. «Забавный он», — сказал как-то с улыбкой один товарищ, не заметивший меня за своей спиной... Именно отцу — но до того — я обязан своим полити-

ческим становлением. Когда я тоже начал выступать на собраниях, он было попытался бросить пить, но потом опять сорвался. Мои первые речи каждый раз проваливались из-за его выходок, однако как раз тогда я и осознал, насколько неразрывно связан с революцией. Он работал на шахте. Однажды там произошел взрыв: в забое в это время находилось двести шахтеров, в том числе и мой отец. Товарищи из спасательной команды спускались вниз под невыносимый похоронный звон колокола. Отовсюду вырывались языки пламени, и они не смогли спасти даже своих: двое погибли, один пропал без вести. Добровольцы — то есть, понимаете ли, мы все — толпились у входа в шахту, передавая друг другу огнетушители и мешки с песком, в тишине слышался лишь шум мотора стоявшей в тщетном ожидании машины «скорой помощи». Пожар все усиливался. Уже погибли три спасателя. Это продолжалось двое суток. Затем инспектора и наши представители объявили, что окись углерода окончательно заполнила штольни, и вход в шахту на наших глазах тщательно заложили...

Однажды я видел пьесу, в которой речь шла почти о том же. Это было в Москве, в день праздника молодежи. По улицам в колоннах проходили триста тысяч юношей и девушек. Чтобы попасть в театр, нужно было пересечь людской поток; пьеса начиналась в девять, а праздничная демонстрация шла с пяти часов. В антрактах мы спускались покурить и каждый раз наблюдали этот неиссякаемый поток молодых людей, над которыми реяли тысячи красных знамен. Потом кто-то возвращался к событиям на сцене, а я — в свою молодость. И так в каждом антракте мы выходили на улицу, и ребята продолжали идти, и мы возвращались к пьесе, которую люди слышали и на Каспии, и на Тихом океане, потому что в ней труд обретал смысл и доблесть. А я вспоминал о том колоколе, о плотной толпе шахтеров, таких одиноких посреди непроглядной германской ночи... Когда спектакль закончился, я подумал, вновь глядя на не позволявшую нам выйти толпу, что всем им нет еще и двадцати. И значит, среди них, среди всех, кто уже много часов спускался к Красной площади, не было, понимаете ли, ни одного, кто успел бы познать годы презрения...

Мы...»

Шаги в коридоре.

Касснер, сам не зная зачем, подошел к двери.

«Мы сейчас все вместе замурованы в той шахте. У наших газет раньше не было корреспондентов на заводах, но они появились с тех пор, как каждый, кто пишет для нас, рискует оказаться в таком карцере. И все же несмотря на

эти доводящие до умопомрачения берлоги, на плебисците пять миллионов сказали «нет».

Понимаете ли...»

Внезапно распахнулась дверь, и вспышка света из коридора обожгла его до корней волос. Свет струился по его телу, смывая темноту, еще липнущую к векам.

— Ну что, пойдешь?

Ему наконец удалось открыть глаза: два красно-зеленых человека в ослепительных желтых пятнах... Постепенно они окрашивались в цвет хаки: форма штурмовиков, черная свастика на белых нарукавных повязках; белый, какой потрясающий цвет... Касснер понял, что его толкают вперед.

Они вели его через огромные волны желтого света. Итак, всем известно, что он Касснер. Попробовать сбежать? Он почти потерял контроль над своими движениями; он не смог бы ни прыгнуть, ни ударить. Кроме того, он еле видел. «Я снова стану человеком, как только меня начнут пытаться». Его незаконченная речь еще билась внутри, словно птица со спутанными крыльями. Он чувствовал, как его, будто воздушный шар, поднимают и несут вперед наполняющий грудь пахучий воздух, быстрая ходьба, голубоватый свет — таким он кажется, когда снимаешь темные очки. Вот уже первый этаж, за окнами день. «Через час я, наверное, уже смогу; успеть бы прикончить одного из них».

Лишь когда перед ним возник тот нацистский чиновник, который допрашивал его сразу по прибытии в лагерь, он понял, что его вели не в дежурку и не в подвал. Может быть, решили перевести в другое место? Здесь, кроме темных камер, были еще только «вертикальные гробы». Дневной свет расплывался на чиновничьем лице, так что Касснер видел только короткую щетку усов и густые брови, и на двух личностях в штатском, которые стояли в темноте, прислонившись к стене, и очень напоминали два пальто на вешалке. Комнату насквозь пробивал солнечный луч, в котором поблескивали пылинки, точно рябь на воде. Касснер расписался в каком-то реестре, чиновник протянул одному из двух пальто конверт и дырявый бумажный пакет; Касснеру показалось, что оттуда торчали его подтяжки. Открыв пакет, пальто пронесло:

— Здесь не хватает зажигалки и баночки с кашу.

— Они завернуты в носовой платок, — ответил чиновник.

Затем спотыкающегося заключенного повели к машине: он никак не мог наглядеться на небо, цеплялся ногами за все подряд и поминутно оступался. Те двое сели у него по бокам, и машина сразу же тронулась.

— Наконец-то! — выдохнуло первое пальто.

Касснер ощутил безотчетное желание поддержать разговор, хотя почти не сомневался, что эта парочка из гестапо. Среди вольного, промытого голубыми струями воздуха сидевший рядом плотный охранник казался каким-то совершенно нереальным со своими свисающими реденькими усами и чуть ли не торчащими из-под них клыками; вообще все его мясистые черты выглядели карикатурно. Касснеру он напоминал моржа, которого он когда-то давно видел в Шанхае, и одновременно толстого китайца, выступавшего с тем моржом. Касснер знал за собой привычку искать в каждом лице сходство с каким-нибудь животным, но такого ему еще не попадалось. И вот это лицо, пронзительно живое, в падающих на него с двух сторон косых нитях света, подрагивало, обхватенное рукой с выпуклыми, причудливо изогнутыми ногтями. Искажаемое трепещущим дневным светом, оно словно намеревалось раствориться в нем: за окнами машины все мчалось назад, и лица обоих агентов становились подвижными, уязвимыми, непостоянными, готовыми растаять в разноцветном воздухе. Это не было видением или сном, предметы существовали в обычных своих измерениях, обладали присущим им весом, — и тем не менее они не были реальными. Другая планета, неведомый мир, царство теней.

— Ну что, — поинтересовался морж, — скоро и с матушкой увидимся?

«С какой такой «матушкой»?» — подумал Касснер. Но ему хватило сил удержаться от вопроса, куда его везут.

Морж расплылся в улыбке, — то ли просто так, то ли с издевкой, — и клыки обрисовались теперь очень четко на мелькающем фоне осенних полей и перелесков. Касснеру даже почудилось, что тот разговаривал не ртом, а только этими клыками.

— Полегчало, сразу видно, — не унимался морж.

Касснер что-то мурлыкал себе под нос, не сразу осознав, что это был все тот же монотонный поповский речитатив, только в убыстренном, жизнерадостном темпе. Сознание еще ощущало угрозу, тело же было свободно. Вполне возможно, что морж в следующее мгновение растает в воздухе, исчезнет и машина, а он вновь очутится в своем карцере. Вполне возможно, что все им услышанное тоже никогда никем не приносилось, и все чужие слова и его собственные мысли точно так же принадлежат небытию, как мелькание деревьев и фиолетовых астр по обочинам дороги. Какая-то часть его самого все же сохраняла ясность восприятия и была настоящей, но вокруг него — то ли наяву, то ли во сне, а может быть, уже по ту сторону бытия — мчался и вихрился некий

грандиозный вымысел под названием Земля.

— А все-таки, — продолжал морж, покачивая головой, — вам крупно повезло, что он решил сам явиться.

— Кто?

— Да Касснер.

Лицо агента вдруг выплыло из света, как будто наконец удалось навести бинокль на резкость. И тут же Касснер снова увидел окраину деревни, сибирское утро, наполненное счастливым жужжанием и звоном насекомых, и лежащие на земле скрюченные трупы двух красноармейцев с обуглившимися ранами в паху.

— И удалось установить его личность?

— Он сам признался.

Помолчали.

— Здесь в чем угодно можно признаться, — тихо сказал Касснер.

— Вам здесь ничего плохого не сделали. А этого сукиного сына даже и не били. Пока, разумеется. В общем, он признался сам.

Гестаповец нахмурил свои реденькие брови.

— Все знали, мы его ищем. И сделаем все необходимое, чтобы найти. В общем, все, что нужно. Мы уж было взялись за дело. Но тут он сам пришел с повинной.

— Все, что нужно... А может, он хотел уберечь других от всего этого?

— Смеетесь? Это же коммунист! Я думаю, он понятия не имел о наказаниях, которые применяются к другим. Просто, узнав, что ищут именно его, он и явился с повинной. Видно, у вас голова не варит от страха, что вы опять можете туда вернуться....

А вдруг он действительно сошел с ума? Это серое низкое небо из снов, человек с головой моржа, весь этот дрожащий мир, вот-вот готовый растаять; да еще это отражение в ветровом стекле — какая-то всклокоченная голова, — причем в тот самый момент, когда ему надо говорить о себе, как о ком-то другом...

— Наверняка есть фотографии. И потом, он ведь знал, на что идет.

— Где он сейчас?

Гестаповец пожал плечами.

— Он мертв?

— С чего бы это? Живехонек... Такие вопросы задаете, странно, что они могли принять вас за важного коммуниста. В общем, он сукин сын, но не сумасшедший.

Проезжали мимо станции. На путях работали заключенные; у вагона поезда, который должен был отправляться, ка-

кой-то пассажир обнимал жену, и почти все заключенные не сводили с них глаз.

— Нет, он не сукин сын.

— А если бы с вами что-нибудь сделали вместо него, вы бы по-прежнему считали, что он весьма достойный человек? Касснер все смотрел на целующуюся парочку.

— Если бы со мной... Да.

Тот другой агент положил руку на плечо Касснеру.

— Если вы так хотите вернуться...

Морж прервал его, покрутив пальцем у виска.

Либо этот человек выдал себя, чтобы спасти других от пыток, думал Касснер, либо он сознательно искал смерти, либо надеялся, что освободят товарища, которого он считал более полезным, чем он с а м , — то есть меня. Интересно, когда человек сходит с ума, он продолжает считать себя нормальным? Возможно, кто-то уже погиб вместо него; он об этом знал, думал, но никак не мог до конца осознать это; так же невыносимо, как если бы, добиваясь признания, у него на глазах стали мучить его ребенка. Даже когда он задавал вопросы, ему не удавалось полностью сбросить тюремное оцепенение.

— А у вас нет его фотографии?

Тот снова пожал плечами и равнодушно махнул рукой.

А что, если он не сошел с ума и его просто обманывали?

Скажем, Морж все это выдумал, чтобы заставить его говорить? Или просто для развлечения? С тех пор как его увезли из лагеря, Касснер ни на секунду не верил в истинность происходящего. Да и знал ли он, что такое истина?

— Вот если бы вы не поддерживали отношений с людьми, с которыми иностранец, уважающий законы гостеприимства, встречаться не дол же н , — сказал другой а г е н т , — с вами бы ничего не случилось. Ваше счастье, что миссия ваша так за вас хлопотала. Зря она это делала, очень зря!

Да, его ребята кое-кого знали в чехословацкой миссии.

Касснер взглянул на того, кто к нему сейчас обращался: глаза наконец-то привыкли к дневному свету. Физиономия полицейского, плотный, приземистый, типичный мелкий буржуа. Хотя зрение у Касснера почти восстановилось, сознание его пока не могло выпутаться из тюремной паутины. Наверное, морж спохватился, что наговорил лишнего: он отвернулся и стал рассматривать поля, по которым несло опавшую листву.

...И так до самого полицейского управления, где после нескольких вопросов и формальностей какой-то секретарь с заложенным носом отдал Касснеру пакет с подтяжками и шнурками, отобранные у него деньги и прогнусавил:

— Я удерживаю с вас одиннадцать семьдесят.

— За гербовые марки?

— Нет, за пребывание в лагере. Одна марка тридцать пфеннигов в день.

— Почти даром. Так, значит, я пробыл там всего девять дней?

Касснер только-только начал ощущать под ногами землю, как она вновь куда-то исчезла от одной мысли, что он провел в тюрьме всего девять дней; реальность была похожа на язык, который он то припоминал, то забывал. Его вдруг обожгла мысль о том, как невероятно повезло его же не , — словно на свободу выходил не он, а она.

— Вам дается двое суток, чтобы покинуть пределы Германии. Если только до тех пор...

— Что до тех пор?

Заложенный нос не ответил. Впрочем, это не имело значения: Касснер прекрасно знал, что, пока он не пересечет границу, он не может чувствовать себя в безопасности. Почему же нацисты не устанавливали личность того, кто выдал себя за него? Видимо, сочли, что смерть дает достаточную гарантию, а возможно, были и другие весомые и неожиданные причины, о которых он никогда не узнает. Кто бы ни был тот человек, его, вероятно, убили до того, как пришел запрос в лагерь, где держали Касснера. Если это Вольф, то ему ничего не стоило раздобыть документы на имя Касснера, однако Вольф не был на него похож...

Касснер посмотрел вверх, в нависшее над крышами тяжелое небо: рейсы сегодня, разумеется, отменены. Необходимо было воспользоваться высылкой и как можно скорее покинуть Германию, чтобы сменить документы, — а уж потом они еще встретятся, он и гестапо. Его взгляд скользил вниз по этажам. Возможно, кто-то погиб вместо него. Внизу улица продолжала жить своей обычной жизнью.

Удастся ли взлететь тому самолету с его завода?

VI

Пилот был почти уверен, что его безымянный пассажир — это Касснер, но никаких вопросов не задавал. Небольшой завод воздушных винтов, принадлежащий подпольной организации партии, давал Касснеру право на несколько испытательных полетов в неделю и позволял располагать двумя самолетами. Тот, на котором он полетит сейчас, вернется через месяц под другим номером и с другим пилотом. Касснер перестал разглядывать восхитительно розовый ломтик ветчины в сэндвиче, который он держал, и взял листок с метеосводкой: плохая видимость в десяти километрах от аэродрома;

буря с градом над Чешской возвышенностью, потолок очень низкий; во многих местах — туман у самой земли.

— Ну, что скажешь? — спросил пилот.

Касснера поразила улыбка — и это перед таким полетом! — на лице этого озабоченного воробья (неужто и впрямь все летчики похожи каждый на какую-нибудь птицу?):

— Во время войны, понимаешь ли, я был наблюдателем. А рейсовые самолеты вылетали?

— Нет, все полеты в южном направлении запрещены.

— Это для германских самолетов, а для чешских?

— Они тоже не вылетали. Чтобы прорваться — один шанс из трех.

Касснер еще раз посмотрел на этого человека, о котором он не знал ничего, кроме его страсти, и вместе с которым ему предстояло рискнуть жизнью. Его всегда неодолимо влекло к дружбе, однако сейчас ощущение того, что они связаны не просто как два человека, но объединены одной общей страстью, наполняло его особым волнением, точно каждый шаг приближал их к суровой и могучей дружбе, рассеянной по земле.

— Уж если рисковать, — улыбнулся Касснер, — то я бы предпочел упасть по ту сторону границы.

— Хорошо.

Они продолжали шагать к самолету, распластанному на летном поле: до чего же он маленький и такой невзрачный...

— Вылетим на север, — сказал летчик. — По такой погоде через десять минут нас потеряют из виду.

Вот они у самолета: одномоторный, запас горючего очень небольшой. Прогулочный самолет.

— Рация есть?

— Нет.

Впрочем, это ему безразлично.

Последние штампы в паспортах и других документах, пристегивание парашютов.

— Готов. Контакт!

— Есть контакт.

Разбег.

Самолет набирал высоту. Касснер даже не видел, чтобы пригубились деревья, хотя сильный встречный ветер то поднимал самолет, то заставлял снижаться, — как военный корабль при затяжной килевой качке. Внизу, под несколькими мимолетными облачками и ниже птичьих стай, летевших, казалось, у самой земли, почти приклеившись к ней, наподобие людей, — в просторном предвечернем покое осенней раскрепощенности растянулась широкая полоса дыма от дале-

кого поезда, соединяя мирно дремлющее стадо дереvушек с клубящимся городом. Вскоре из-под тяжелого покрывала неба проступали лишь птичьи косяки, прижимавшиеся к земле, словно к величественно спокойному морскому дну; домики и деревья будто бы понемногу переплетались своими тихими судьбами, отделяясь от мира тюрем. И все же даже в этом пространстве где-то наверняка должен был быть концлагерь; с ненасытной жестокостью детей одни люди там истязали других людей, пока те не начинали безнадежно агонизировать. Воскрешенный памятью мрак загонял в грудную клетку Касснера что-то бесконечно огромное, а в его глаза — этот пророческий пейзаж, не позволяя думать ни о чем другом, кроме как о страданиях и жестокости, словно только они влачили за собой не меньше тысячелетий, чем эти леса и равнины. Но ближе равнин и облаков было сосредоточенное лицо летчика. Общее дело связывало обоих мужчин подобно прочной старинной дружбе; летчик был здесь, перед ним, он напряженно всматривался во все более густую белизну и будто бы воплощал в себе ответ тех, кого Касснер спас, проглотив список, равно как и тех теней, к которым была обращена его речь, и вот все эти безмолвные свои, что наполняли давно и недавно крошечную тьму застенков, словно населили теперь владения туманной мглы — серый безбрежный мир, в котором стойко и упрямо жил мотор, более чувствительный, чем дикий зверь.

Самолет поднялся с тысячи на две тысячи метров и вошел в полосу плотного тумана. Хотя Касснер почти отключился, что-то внутри него неусыпно прислушивалось к гулу мотора, ожидало малейшего просвета, через который еще хоть раз показалась бы земля. В кабине он отыскал карту, но неподходящего масштаба, а кроме того, густые облака делали наблюдение невозможным. Посреди тумана, теперь уже сплошного, время таяло так же неуловимо и странно, как во сне. Что обнаружит он в конце пути — Германию или Чехословакию, а может быть, один из тех азиатских ландшафтов, над которыми он так часто когда-то летал: развалины императорских дворцов, осиный рой над ними, ослы, длинные уши которых скошены набок от сильного ветра, разносящего мириады маковых лепестков?.. По компасу нельзя определить снос самолета боковыми воздушными потоками. После затяжного пролета в тумане, там, где на карте была едва обозначена небольшая возвышенность, вдруг выросли отвесные хребты со снежными вершинами, а небо еще больше почернело.

Судя по этим вершинам, самолет снесло по меньшей мере километров на сто.

К Касснеру внезапно вернулось ощущение собственных ничтожных размеров в сравнении с подстерегающей их громадной черной тучей, которая была уже не той спокойной и неподвижно застывшей где-то в вышине, но подобравшейся, ожившей и смертоносной. Ее края подкрадывались к самолету, словно она вбирала его постепенно в свое нутро, а неохватность и неспешность движения делали предстоящее похожим не столько на звериную схватку, сколько на исполнение воли рока. Крылья самолета тем временем врезались на полной скорости в тяжелую массу тучи, чьи обтрепанные желтовато-серые края, видневшиеся вдали подобно острым мысам в тумане моря, терялись теперь в бескрайнем сером мире, не имевшем берегов в силу своей оторванности от земли: грязная пакля тучи уже подползла под них, как бы запирая их во владения неба, однако и от него они были отделены, отгорожены той же свинцово-серой массой. Касснеру вдруг почудилось, что они освободились от земного притяжения и парили среди иных миров, соединенные узами братства и вступающие в первозданную битву с тучей, тогда как покрытая тюрьмами земля продолжала свой бег где-то внизу, и они никогда больше не должны были с ней встретиться. В полутьме, окружавшей со всех сторон кабину и видневшейся через отверстие в полу, казалось невероятным, как этому крошечному самолетику еще удавалось в яростном усилии цепляться за тучи, подчинявшиеся отныне лишь своим собственным законам, цепляться, несмотря на затопляющий все вокруг утробный рев заклятого врага — всемогущего урагана. При каждом шквальном порыве самолет как будто швыряло оземь, но даже при такой сильной качке вниманием Касснера было бы по-прежнему приковано к ослепшему мотору, который продолжал тянуть их вперед, если бы корпус не начал вдруг как-то странно шкварчать: они оказались в самом центре градовой тучи.

— Чехословакия? — прокричал Касснер.

Ответ услышать невозможно. Металлический корпус самолета звенел, как бубен, перекрывая дробный треск градин, обрушившихся на стекла кабины; они влетали в щели, царапали лицо, хлестали по глазам. На секунду приподнимая веки, Касснер успевал заметить, как они отскакивают от стекла, бегут, подпрыгивая, по стальным желобкам и исчезают в бующей мгле. Если стекло разлетится вдребезги, нельзя будет управлять самолетом. Однако летчик словно ничего не замечал, словно какой-то инстинкт помогал ему вести машину, несмотря на град. Касснер из всех сил уперся правой рукой в переплет остекления: надписи в камерах, крики, стук в стену, жажда расплаты — все это было сейчас в их кабине и про-

тивостояло урагану. Курс не менялся, по-прежнему строго на юг, но диск компаса поворачивался к востоку. «Влево!» — выкрикнул Касснер. Бесполезно. «Влево!» Он еле слышал сам себя из-за тряски и качки, из-за налетов града, которые глушили его крик и заставляли самолет подсакивать, точно от ударов кнута. Свободной рукой он показал налево. Увидев, что пилот делает поворот на 90 градусов, он тут же опять взглянул на компас: самолет шел вправо. Он потерял управление.

И все же пока самолет продолжал довольно уверенно пробурлачивать шквалы; посреди всего этого неистовства, даже несмотря на почти полную потерю управления, ровный гул мотора позволял надеяться, что человек еще заставит машину повиноваться. Вдруг самолет затрясся всем корпусом, мгновенно застыв на месте, охваченный этой жестокой дрожью, точно чья-то властная рука остановила его. Вокруг град и все та же черная туманная мгла, а посередине диск компаса — их единственная связь с землей. Он медленно поворачивался вправо, но вот после очередного особенно сильного порыва ветра пошел быстрее, быстрее и сделал полный оборот. Затем второй и третий. Попад в центр циклона, самолет то крутился колесом, то вращался вокруг своей оси.

Однако даже сейчас ощущение уверенности не исчезло, мотор с прежней упрямой яростью пытался вытащить их из циклона. Но сильнее любых ощущений все же было вращение диска компаса: в нем была сосредоточена жизнь машины, подобно тому, как в единственном зрячем глазу бывает сосредоточена жизнь паралитика. Через ровный шепот диска компаса им передавалась та великая и баснословная жизнь, которая встряхивала их так же легко, как клонила к земле деревья; в крошечном чувствительном пространстве компаса с большой четкостью проступало буйство космической стихии. Самолет продолжало крутить. Вцепившись в рукоятку, летчик почти слился с машиной; но в его лице больше не было недавнего сходства с озабоченным воробьем, сейчас оно было совсем другим — глаза уменьшились, губы набухли, оно не было искажено и оставалось столь же *естественным*; черты лица не были перекошены, просто они стали иными. И это вовсе не удивляло; словно благодаря ощущению собственной причастности к тому, что происходило, Касснер наконец понял, что на этом лице проступило детское выражение, — причем такое случалось не впервые (хотя осознал он это впервые), чтобы на его глазах в решительную минуту лицо мужчины приобретало сходство с детским. Летчик вдруг дернул рукоятку на себя, и вздернутый на дыбы самолет взмыл вертикально вверх; диск компаса заклинило. Их подхватило

снизу, точно кашалота, переворачиваемого волной из глубины. Дыхание мотора оставалось по-прежнему ровным, внутри у Касснера отпустило. Что это, уже мертвая петля или еще подъем? Между двумя очередными ударами града-кнута к нему вернулась способность дышать. Он с удивлением обнаружил, что его бьет дрожь, причем дрожали не руки (он продолжал придерживать стекло), а только левое плечо. Едва он успел подумать, не выравнивается ли самолет, как пилот подал рукоятку вперед и сбросил газ.

Касснеру был знаком этот маневр: падать и воспользоваться ускорением свободного падения, чтобы вырваться из урагана, а перед самой землей попытаться выровнять машину. На высотомере — 1850; однако он не заблуждался относительно точности высотомеров. Вот уже 1600; стрелка ходила ходуном, как только что диск компаса. Если туман лежит и у поверхности земли или если под ними еще горы, то им конец. Касснер подумал, что только близость смерти дает право увидеть на лице мужчины детское выражение — то самое, которое ему довелось наблюдать, и что еще одному человеку предстояло умереть за него. Но по крайней мере вместе с ним. Теперь, когда самолет вновь обрел способность сопротивляться, у Касснера прекратилась дрожь в плече; все его чувства предельно напряглись, как это бывает при половом возбуждении: задержав дыхание, они круто пикировали, пробивая шквалы, словно крыши домов, в нескончаемой апокалипсической мгле, раздираемой первобытным воем града.

1000

950

920

900

870

850

На этой отметке он почувствовал, что его глаза, одержимые одновременно ужасом перед готовой вот-вот возникнуть горой, — и почти безумным восторгом, буквально выпрыгивают из орбит.

600

550

500

4...

Совсем не плоская и не прямо перед ним, как он ожидал, а вдалеке и наискось, — равнина! Касснер на мгновение растерялся, увидев эту линию горизонта под углом в 45 градусов (машина падала с таким наклоном), но тут же сообразил, в чем дело, да и пилот уже начинал выравнивать самолет. Земля была далеко внизу, под этим морем мерзких облаков,

похожих на клочья спрессованной пыли и перепутанных волос, которые то смыкались, то оставляли просветы; вдруг, буквально в ста метрах под крылом, из последних серых лохмотьев вынырнул какой-то графитовый ландшафт — чернеющие тупые осколки холмов вокруг мертвенно-бледного озера, запустившего в долину свои щупальца и с непостижимым геологическим спокойствием отражавшего низкое блеклое небо.

— Чехословакия? — опять прокричал Касснер.

— Не знаю...

Еле живой, самолет тащился теперь ниже бури, в полсотне метров над цепью холмов, над фиолетовыми виноградниками, затем над озером, которое оказалось вовсе не таким спокойным, каким оно поначалу выглядело: на широкой пупырчатой водной поверхности можно было различить легкую зыбь от пробегавшего низового ветра. Касснеру еще раз показалось, что спасся не он, а его жена. Самолет летел уже над другим берегом, и тут, видимо, благодаря стремительному приближению земли Касснер ощутил внезапный прилив какого-то первородного чувства, исходившего от полей и дорог, от заводов и ферм, распластанных при взгляде с высоты, от рек, ветвящихся венами по освеженным мышцам наконец-то появившихся равнин. Меж самых нижних облаков поминутно возникал и пропадал раскинувшийся повсюду упрямый мир людей; неизбежная схватка с землей, неустанно заглатывающей мертвецов и час от часу становящейся все плотней, наполняла слух Касснера глухими могучими звуками, подобными тем, что издавал оставленный позади циклон; и воля тех, кого он называл своими и кто там, по ту сторону Карпат, кипел гневом из-за порабощенности таких, как он, — поднималась к последним рыжим отсветам неба, со священным гласом безбрежных пространств, а в нем — биение самой жизни и смерти.

Он оторвал руку от стекла и улыбнулся, снова увидев свою длинную линию жизни и линию удачи, которую он однажды в шутку сам себе прорезал бритвой; точно так же были прочерчены и все остальные линии его жизни — только не лезвием бритвы, а терпеливой твердостью воли: да и что есть свобода человека, если не осознание и построение предначертанного ему? На эту землю, где из осеннего тумана, перемешанного с ночной темнотой, вырывались брызги бесчисленных огоньков, на эту землю тюрем и жертв, где были и героизм, и святость, — быть может, когда-нибудь придет и просто сознание. Дороги, реки, шрамы каналов уже едва проступали в тумане, как переплетение полустертых линий на чьей-то огромной ладони. Когда-то давно Касснер услышал, что у покойников на руках пропадают линии, и, точно боясь упус-

тить возможность еще раз перед его исчезновением увидеть это последнее проявление жизни, он взглянул на руку своей умершей матери: хотя ей было никак не больше пятидесяти и кожа на ее лице и даже на тыльной стороне ладони еще оставалась молодой, сама ладонь у нее была как у старухи — изборожденная тонкими и глубокими линиями, бесконечно перекрещивающимися, подобно хитросплетениям судьбы. И вот ее ладонь вновь возникла перед ним во всех этих линиях на земле, которые поглощались туманом и тьмой и в которых тоже проступала судьба. Спокойствием жизни веяло от мертвенно-бледной пока земли на измученный самолет, преследуемый морозящим дождем, как будто отзвуком града и отброшенного назад урагана; казалось, все вокруг утопало в безбрежном умиротворении — и вновь обретенная земля, и поля, и виноградники, и дома, и кроны деревьев, полные, наверное, уснувших птиц.

Касснер поймал взгляд летчика. Тот улыбался — застенчиво и лукаво, — и это была улыбка школяра, избежавшего наказания; он уже узнал одну из железнодорожных линий и летел вдоль нее в прощальных подхлестываниях ветра, словно большой шмель.

А на горизонте показались огни Праги.

VII

Шагать по этому немислимому тротуару, по этому городу, где просто не было такой улицы, которая вела бы в немецкую тюрьму! Всем своим существом он открывался навстречу сверкающему ералашу витрин, что развешивали перед ним самое феерическое зрелище, на какое было способно его воображение ребенка, покидающего волшебное представление, — широкие улицы, заваленные ананасами, паштетами, китайскими безделушками, точно сам дьявол решил вывалить сюда товар из всех лавок Преисподней... Но ведь это он явился сюда из преисподней, а вокруг была всего-навсего обыкновенная жизнь... Он вышел из машины, которая везла его с аэродрома.

Пилот решил остаться на летном поле; на другое утро он должен был вылетать с другим товарищем в Вену. Они с Касснером знали, что между людьми могут складываться такие глубокие отношения, которым и не следует подниматься на поверхность обыденной жизни; они крепко пожали друг другу руки со сдержанной, понимающей улыбкой.

Касснер вновь входил в жизнь общества, словно в плотную глубину каникул; и все же он пока еще не обрел ни себя, ни

окружающий мир. За шторами какая-то женщина старательно, с усердием гладила; в этом странном месте под названием Земля по-прежнему были и рубашки, и белье, и горячие утюги... И еще были руки (он проходил мимо витрины с перчатками), руки, умевшие делать все: не было вокруг ни одной вещи, так или иначе не прошедшей через них или не созданной ими. Руки населяли землю, и, возможно, они смогли бы жить одни, действовать самостоятельно, без людей. Он прилагал усилия, чтобы вновь узнать все эти галстуки, чемоданы, конфеты, окорока, перчатки, аптеки; в витрине мехового магазина среди безжизненных шкур и шкурок прогуливалась белая собачка, она то садилась, то опять принималась ходить: живое существо, обросшее шерстью, неуклюжее и не похожее на человека. Животное. Он совсем забыл, что бывают еще и животные. Собачка спокойно прохаживалась посреди смерти — совсем как это лагерное и кладбищенское мясо, эти прохожие, спешащие к площади. На огромных афишах мюзик-холла дрыгались какие-то ядовито синие фигуры, и прохожие как будто подхватывали их движения, а между тем где-то в глубине, словно подземное море, раскинулись пространства, стихающий рокот которых Касснер еще продолжал носить в себе: протрезвление от небытия давалось нелегко. Снова магазины с едой и одеждой, фруктовая лавка. Какое же это чудо — фрукты, наполненные дыханием земли! Но прежде всего разыскать Анну. Он все-таки зашел в табачную лавку, купил сигарет, сразу же закурил, и сквозь облако дыма вновь проступил нереальный мир: витрины со шляпками и сумками, часовой магазин (заодно продавалось и время — часы, прожитые вне тюрьмы), кафе. И люди.

Они никуда не исчезали. Они продолжали жить, пока он пропадал в царстве слепоты. Он глядел на них с необъяснимым волнением, которое ему уже пришлось испытать однажды во время войны, когда в конце какого-то коридора, заваленного побуревшей от крови штукатуркой, он вдруг наткнулся на целехонькую витрину с изящными безделушками. Рабочие кварталы соседствовали здесь с самыми бедными из буржуазных кварталов... Кто перед ним — свои, враги или равнодушные? Были тут люди, вполне довольные тем, что они вместе, довольные полудружкой и полудобротой, но были и другие, пытавшиеся, кто терпеливо, кто страстно, добиться от собеседника немного больше внимания и уважения; и плелись по мостовым усталые ноги, и сплетались под столами пальцы чьих-то рук. Жизнь.

Незаметная жизнь людей; но вот совсем рядом, у дверей, три женщины: одна из них очень красивая, и глаза почти как у Анны. Все верно, на этой земле были еще и женщины;

однако слабость сделала его целомудренным, лишила влечения. Ему просто хотелось дотронуться до них, как только что хотелось погладить собачку: за девять дней руки, можно сказать, умерли. А где-то за спиной по-прежнему раздавались крики из камер, и кто-то выдал себя, чтобы спасти его. Как это смешно и глупо — называть братьями тех, кто связан лишь кровным родством! Он погружался в согревающий рой дурацких фраз, возгласов, вдохов и выдохов, как в бессмысленное и чудесное тепло жизни; он опьянел от того, что вокруг были люди. Если бы наутро его убили, то вечность, наверное, представилась бы ему в виде таких вот промозглых осенних сумерек, из которых понемногу выступает людская жизнь, словно капельки воды на запотевшем ледяном стакане. На подмостки земли выходила великая нежность наступающей ночи, стайки женщин у витрин, аромат вечерних духов... О мирные вечера, не знающие, что такое тюрьма, вечера, когда никто не умирает рядом с тобой! Неужели он когда-нибудь все-таки будет убит и больше не вернется назад таким же вечером? Там, в ночной тьме, оставались уснувшие поля, и высокие прямоствольные яблони, окруженные кольцом падалицы, и горы, и леса, и нескончаемый сон зверей на одной половине земли; а здесь эта толпа, что пускалась в жизнь с ее ночными улыбками или кувырком летела в смерть с ее коронами и гробами, эта беспечно-безумная толпа, которая даже не понимала, что в ней самой способно ответить смерти, подстерегавшей там, вверху, в звездных степях; которая даже не знала собственного голоса, собственного лихорадочно бьющегося сердца, затоптанного в этом кишении; Касснер вновь узнавал его, как ему предстояло вновь узнать свою жену, как предстояло вновь узнать сына.

Он подошел к своему дому. Поднялся по лестнице. А вдруг он сейчас снова окажется в камере? Он постучал в дверь; тишина; постучал громче и тут увидел, что под дверь подсунута записка: «Я в „Люцерне"». Анна была членом союза немецких эмигрантов; а один из самых больших пражских залов для собраний назывался «Люцерна». Надо было купить партийную газету. Он продолжал глупо смотреть на дверь с огорчением и одновременно с облегчением: она, конечно же, знала о его аресте, и ему всегда было тяжело думать о той минуте, когда они встретятся. А может быть, за этой чертовой дверью спал его ребенок? Да нет же, он наверняка проснулся бы от стука в дверь. А кроме того, она бы не оставила его одного.

Когда его выпустили, и потом, когда самолету удалось вырваться из урагана, ему уже казалось, что спасся не он, а она; и он переживал ее отсутствие, как ограбление. Он спус-

тился по лестнице, купил газету: театры... кино... так, «Люцерна»: *Митинг в поддержку заключенных антифашистов*. Их устраивали каждую неделю. Значит, и здесь она была рядом с ним.

Похоже на чемпионат мира или на народное гулянье, но с грозным оттенком: толпа в пятнадцать—двадцать тысяч человек, вокруг, на каждом углу — наряды полиции, тускло поблескивает оружие. Поскольку зал не мог вместить всех, на улице установили громкоговорители; рядом с Касснером, с трудом пробившимся вперед, люди, задрав головы, слушали доносившееся из динамиков скрежетание:

«... Мой сын был рабочим. И даже не был социалистом. Его отправили в лагерь Ораниенбург, и он умер там».

Голос женский. Когда Касснеру удалось протиснуться в зал, он различил впереди, в удалявшейся перспективе алых ситцевых полотен с лозунгами, силуэт старой женщины, неловко склонившейся к микрофону: дешевая шляпка, черное пальто — воскресный наряд. Ниже — сплошные затылки, все одинаковые: в такой толпе ему ни за что не разыскать Анну.

«Только за то, что он участвовал в антифашистской демонстрации как раз перед их приходом к власти.

Я никогда не занималась политикой. Говорят, не женское это дело. Вот мертвые дети — это их дело.

Я... я... не буду произносить речь...»

Касснеру было знакомо это мучительное замешательство оратора, не имеющего привычки обращаться к массе и впадающего в оцепенение, едва пройдет, схлынет начальное возбуждение, подмятое волнением зала (к тому же многие из собравшихся здесь не понимали по-немецки), как будто этот молчаливый отклик заставлял выступавшего терять равновесие. Однако сейчас в повисшей паузе точно застыл внезапно прерванный мощный крик забиваемых на бойне животных: у толпы, твердо решившей перестать быть таковой и замершей, вытянув шеи, дыхание перехватило еще сильнее, чем у этой женщины; можно было подумать, что здесь решался вопрос о ее совести. Касснер вспомнил о тех, на улице, до кого эта тишина доносилась только через громкоговорители, — среди них, возможно, стояла и Анна. Он был уже в трех метрах от трибуны, позади нее, и до головокружения искал глазами, теперь уже спереди, среди тысяч лиц.

«Скажи, что это им так не пройдет», — негромко произнесла другая женщина.

Она подсказывала, как в школе. Вместе с толпой, задрав подбородок, она ждала, когда будут произнесены слова, застрявшие в каждом горле. Но та продолжала молчать, и

Касснер впился глазами в одеревеневшую спину старой полузадушенной Эринии *, которой подсказывали призывы к мести. По искажившимся в муке лицам он догадался, что она больше не в состоянии найти нужные слова. Постепенно она начала наклоняться, как будто подходящие фразы надо было поднять с пола.

«...Его убили... вот что я должна сказать всем... А остальное... будут выступать делегаты, ученые... Они объяснят...»

Она подняла кулак, чтобы выкрикнуть «Рот фронт», — ей часто доводилось видеть, как это делали другие; однако, растерянно хватая ртом воздух, она лишь едва приподняла руку и чуть слышно, точно прощаясь, произнесла эти два слова. Душой все были с ней; зал переживал ее неловкость, как свою собственную, и пока она покидала трибуну, к ней катилась растущая волна сочувственных аплодисментов, подобно тому, как только что на всех накатывалась ее боль. Затем всеобщая взволнованность перешла в покашливания и хлюпанье носами, и пока председатель переводил ее слова на чешский, наступила разрядка, раскрепощение, начался суетливый поиск какого-нибудь повода для веселья. Не поможет ли это оживление в зале разыскать Касснеру наконец глаза Анны, глядя в которые он неизменно вспоминал сиамских кошек? Вдруг метрах в двадцати от себя он увидел ее посмуглевшее лицо, ее глаза с длинными черными ресницами и огромными светлыми зрачками. Он стал изо всех сил протискиваться поближе; в это время выступала неизвестная молодая женщина: «...с войной играть нельзя, а в последний раз, когда он вернулся с подбитым глазом, он объяснил мне: „Понимаешь, мы сейчас более развитые, мы играем в революцию...“» Шаг за шагом он пробирался вперед в мучительном страхе, что лицо Анны будет теперь видеться ему во всех, издали на нее похожих. «Мы наверняка сможем собрать необходимые средства, если в делегацию будут включены наши ребята». «Разумеется! Почему бы нет?» — отвечал зал. Было жарко и душно. Его взгляд до такой степени устал скользить по этим бесконечным лицам, что он засомневался, узнает ли свою жену. Он вернулся назад к трибуне. Секретарь диктовал кому-то из товарищей распоряжения по предстоявшей кампании: «Пусть в посольствах и консульствах раздаются непрерывные телефонные звонки с требованием освободить заключенных. — Установить круглосуточные дежурства. — Составить делегации для проведения расследований в Германии. — Почтовикам наклеивать марки с портретом Тельмана на всю корреспонденцию, идущую в Германию. — Морякам и докерам продолжать бойкот судов с гитлеровским флагом, проводить беседы с немецкими моряками. — Желез-

нодорожникам писать наши лозунги на вагонах, следующих в Германию...»

Наконец, голос председателя, негромкий, как при обычном разговоре: «Вильгельм Шрадек, семи лет, потерял отца; отец ждет его в кабинете», и вслед за этим громко: «Слово предоставляется товарищу...» Фамилия, а за ней слова, которых Касснер не разобрал. Однако разговоры тут же стихли, а вокруг каждого островка шума расходились большие круги тишины, в которых понемногу терялись аплодисменты.

«Товарищи, вслушайтесь в эти аплодисменты, которые доносятся из глубины ночи.

Послушайте, сколько их, как далеко они разносятся.

Сколько нас здесь, во всех этих залах, стоящих, тесно прижавшись друг к другу? Двадцать тысяч. Товарищи, в лагерях и тюрьмах Германии находится более ста тысяч человек...»

Касснеру больше не найти Анну; и все же в этой толпе он был вместе с ней. Оратор — низенький, лысый, судя по речи, интеллигент — говорил, почти не жестикулируя, и только тербил длинный ус. Делегаты политических партий скорее всего будут выступать в самом конце.

«Наши враги расходуют миллионы на пропаганду: было бы полезно нашими общими усилиями осуществить то, что они делают с помощью денег.

Мы добились освобождения Димитрова. Мы добьемся освобождения других наших товарищей, томящихся в тюрьмах. Редко убивают просто так, для развлечения, и если стольких людей бросают за решетку, в этом есть смысл. Мы имеем дело с попыткой запугать всех, кто противостоит нацистскому режиму; однако оказывается, что сам этот режим считается с мнением, которое о нем складывается в других странах. Чрезмерная непопулярность наносит вред военной промышленности и не способствует предоставлению кредитов.

Необходимо сделать так, чтобы в результате нашей постоянной, настойчивой, неустанной кампании разоблачений Гитлер потерял больше, нежели он приобретает сейчас, продолжая осуществлять то, что он называет подавлением».

Касснер вспоминал свою речь, обращенную к теням.

«Устраивать открытый процесс Димитрова было очень неосмотрительно, поскольку пришлось показать его самого. И затем оправдать. Напрасно радуется прокурор в Кёльне, мол, «правосудие вновь обрело свой карающий меч, а палач вновь взялся за топор, как в давние времена»; лица неизвестных борцов, отразившись в стали топора, становятся известны всем. И все они от Тельмана до Торглера *, от Людвиг Ренна * до Осецкого * день за днем устремляются к тому, что во все времена было самого великого в человеке, устремля-

ются с той же непоколебимостью, с какой жизнь приводит к смерти...

По лицам людей было видно, что они уже не здесь, не в зале, где продолжают звучать слова, но далеко-далеко, с теми, кто томится в одиночках. Совсем недавно Касснер наблюдал, как на лице летчика появилось детское выражение человека, глядящего в глаза смерти, а сейчас он видел, как менялись лица, и рядом с этой толпой, которая не прошла, как он, причащения воли, он все же вновь обретал те устремления и истины, которые открываются только людям, собравшимся вместе. Это было похоже на возбуждение, возникавшее при взлете боевых эскадрилий, когда самолет мчался по полосе между двух ведомых, и все — летчики и наблюдатели — были нацелены на предстоящий бой. И теперешнее единение, ошеломляющее, грозное и суровое, которое начинало охватывать его, сливалось с обликом его невидимой жены.

«Немецкие товарищи, чьи сыновья или братья находятся в концлагерях! В эту ночь, в эту самую минуту, повсюду от этого зала до Испании и до Тихого океана, собираются толпы, подобные нашей, и по всей планете люди не спят, чтобы помочь им в их одиночестве...»

Вера в народ, погребенный в тюрьмах Германии, привела эту массу людей сюда, а не в увеселительные заведения или в теплые постели; она была здесь из-за того, что уже знала, и из-за того, чего не знала, и негибаемая сила, внутри которой незримо присутствовала Анна, становилась ответом на удары чьего-то тела, швыряемого об стену, а в произносимых речах неизменно гремел доносившийся из-под земли зов людского горя. Все ждали лозунгов. Касснер не раз спрашивал себя, имеет ли хоть какое-то значение мысль рядом с теми двумя трупами на окраине сибирской деревни — с кровавым месивом в паху и бабочками, порхающими у самых лиц. Никакое человеческое слово не могло потрясти глубже, чем жестокость, но все же братство мужественных проникало вслед за ней в самые глубины естества, в запретные уголки сердца, где притаились пытка и смерть...

VIII

Он закурил сигарету — двенадцатую, считая с аэродрома, — словно хотел, оказавшись в темноте, осветить лестницу. Дверь в квартиру была приоткрыта. Толкнув ее, он вошел. В кабинете пусто, но из соседней комнаты слышались голоса, хотя из-под двери не пробивалось ни полоски света. Ставни были открыты. Нащупав выключатель в полутьме кабинета, где обои казались высокими, бледными тенями, он прислуши-

вался к этим голосам, словно приглушенным легким туманом, и озаренным отблеском уличных огней.

«Солнышко мое, крошечка, цыпочка моя! Цыпленочек... Я подарила тебе чудесные глазки, голубенькие, а если хочешь, подарю тебе в воскресенье новенькие. И с этими глазками пойдём мы в страну зверушек. Там живут собачки и птички, все пушистенькие, потому что крохотные, и плавают там папырыбы и мамы-рыбики, они светятся, как одуванчики. Только голубые. Увидим мы и котят, и медвежат. Ножками пойдём с тобой. Вдвоем...»

— Вдвоем пойдём, одни... — с горечью повторила она, и голос ее дрогнул, как будто ее неожиданно ударили.

Ребенок что-то вскрикивал в ответ. Там, за дверью, Анна тоже сидела в полутьме, и к сердцу Касснера медленно приливалось это незримое материнство.

«Ты увидишь грустных рыбок, что живут далеко-далеко в море. У них есть фонарики, которыми они освещают себе путь. А когда им совсем холодно...»

Тут она запнулась.

— Они приплывают погреться к меховым рыбам, — распахнув дверь, тихо подсказал Касснер.

Она вцепилась в спинку стула и подергивала головой, словно не желая верить ни в приход Касснера, ни в существование меховых рыб. Он же улыбался какой-то скованной улыбкой, которая — он это чувствовал — стягивала кожу на лице, как шрам рану. Тень от рамы дрожала на груди Анны будто большой черный крест, и Касснер заметил, как под юбкой дрожат ее колени. Она поднялась, не в силах оторваться от спинки стула, к которому, казалось, ее привязали. Наконец Анна выпустила стул, протянула руку к выключателю, но нажать его не решилась; Касснер чувствовал, что она боится увидеть его лицо при свете. Слова и жесты были нелепыми и лживыми, а главное, жалкими, почти пародийными, более резкими и менее глубокими, чем их чувства. Здесь оказались бы уместными лишь молчание и обоюдная оцепенелость, что сильнее объятий, но ни тот ни другой на это не осмелились и обнялись.

— Как было... там? — спросила она, когда отстранилась от него.

— Чудовищно, — просто ответил он.

Касснер гладил ребенка по головке и чувствовал, что детская щечка ищет его руку. Он почти забыл черты этого личика: он хорошо помнил лишь его гримасы, сын начал существовать для Касснера перед самым отъездом, когда впервые улыбнулся. Он любил ту надежду, что возлагал на эту жизнь, но еще больше любил то полное, животное доверие, какое пи-

тал к нему ребенок: однажды, когда он стукнул малыша по пальцам, потому что тот дергал собаку за хвост, мальчик нашел защиту от обиды в его же объятиях. Ребенок — от полу-сонной щеки на его ладони до своих снов — был само доверие, и для него целый мир радости заключался в Касснере. «Вчера в это время...» Касснер осторожно вытащил руку, поднес ее к глазам и в серой полутьме посмотрел на пальцы. Ноготь, конечно, еще не отрос.

Касснер с Анной прошли в кабинет.

— Они поверили поддельным документам, — повернулась она к нему, — поверили в...

Он включил свет. Машинально вздрогнув, она сказала:

— Я так боялась, что...

Освещенное огоньком сигареты, его лицо казалось опустошенным. На самом деле костлявое лицо Касснера мало изменилось от того, что он похудел. Анне слишком хорошо были известны письма жен заключенных, которые не могли при свидании узнать собственного мужа, письма тех женщин, кому в тюрьме говорили: «Принесите чистое белье», потому что старая рубашка пропитана кровью... и потому она всегда боялась за него.

— Они поверили поддельным документам? — переспросила она.

Он чувствовал, что в его присутствии все вопросы нахлынули на нее так же, как неотступно, днями и ночами, они преследовали Анну, пока она была одна.

— Нет, То есть поверили, но не сразу. Потом кто-то заявил, что он — Касснер.

Она взглянула на него, и в звенящей тишине он произнес:

— Нет, кто это был, не знаю...

Анна присела на диван возле окна. Она молча смотрела на него так, словно некая часть Касснера умерла вместе с тем человеком, выдавшим себя.

— Его расстреляли?

— Не знаю...

— Мне так много нужно сказать тебе, — прошептала она, — но сейчас не могу. Давай поговорим о чем-нибудь, мне надо привыкнуть, что ты снова со мной...

Он знал, что должен молча обнять ее и лишь этот жест способен выразить все, что пролегло между ними и их погибшим товарищем, но был не в силах принудить себя к прежним жестам нежности, а никаких других не знал.

— Как он? — спросил Касснер, кивнув в сторону комнаты, где спал ребенок.

Она с какой-то печалью и вместе с тем восхищением кивнула головой, так, будто вся сияющая радость, вложенная ею

в этот кивок, была ненужной, будто звук ее голоса не сумел бы выразить ее любовь к ребенку, не пробуждая все горестное, что жило в ее любви к мужу.

За пять лет, что они жили вместе, Касснер впервые возвращался из такого далека, но он знал, что после нового отъезда его снова ждут ночные возвращения. То страдание, что словно приклеивало Анну к нему всей тяжестью ее взгляда, который хотел быть покорным, веселым, то страдание, что он ей причинял, жестоко отдаляло Касснера от Анны. И то, что она умом и сердцем одобрила бы его отъезд, то, что она боролась бы вместе с ним в меру своих сил, ничего не меняло. Иногда он спрашивал себя, не упрекает ли его Анна в глубине души за такую жизнь, где существовало нечто, превыше ее боли, той боли, в которой она себе не признавалась, которую переносила с покорностью и отчаянием. Он знал, как часто он злился на себя за свою любовь к ней.

— Когда самолет взлетел, под нами вихрем взвились листья. Радость всегда чуть похожа на них, эти легкие... порхающие над землей листья...

Была какая-то жестокость в том, чтобы отвергать радость в эти мгновения, когда Анна желала быть как бы живым ее воплощением; но она догадывалась, что его слова соучаствуют в ее боли и ничто из того, что соединяло их обоих, не заставляло ее страдать.

— А я была твоей радостью или нет? — спросила она.

Анна почувствовала его волнение и кивком головы ответила «нет» с такой очаровательно-непосредственной, изящной грустью, что Касснер опять убедился: перед нежностью мужчины навеки обречен быть грубым.

— Моя жизнь такая, какая есть. Я приняла ее, даже... сама выбрала... Я хочу, чтобы в твоей жизни сохранилось для меня маленькое местечко: но я себе на уме и хотела сказать, что гораздо сильнее хочу быть твоей радостью...

Муж одной ее подруги, вернувшись из концлагеря, почти каждую ночь просыпался с криком: «Не бейте меня!» Касснер закрыл глаза, и Анна подумала, что она боится его сна.

— Бывают минуты, — вновь заговорила она, — когда мне кажется, что людей изменяет не страдание, а надежда...

Она печально подняла на него свои светлые, с большими черными ресницами глаза. Наморщив лоб, смотрела на него снизу вверх. Касснеру, к которому возвращалась, словно потерявший сознание к жизни, эта умная маска, были знакомы некоторые жалкие, скрытые ее движения, составляющие тайну человеческих лиц, были знакомы ее слезы, любовь, чувственность; для него эти черты могли быть чертами самой радости. Он знал, какие бы унижения ни терпел он в тюрь-

ме, в этих глазах он увидит лишь сочувствие к своим страданиям. Анна говорила, а скорбь и морщины словно исчезали с ее лица:

— Во сне я столько раз говорила с тобой, что и теперь страшусь того мгновенья, когда проснусь. Но я поклялась, что в тот день, когда ты вернешься, не скажу тебе ни единого грустного слова. Во мне больше радости, чем...

Анна не нашла нужного слова и, махнув рукой, улыбнулась, впервые обретя свою прежнюю улыбку, свое прежнее лицо, которое озаряли ее великолепные зубы.

Наконец она все-таки с горечью сказала:

— Но она не смеет прорваться... словно ей по-прежнему страшно.

Только об одном Анна пока не решалась сказать; может быть, еще не настало время, чтобы к ним вернулась хотя бы мысль о счастье? Жизнь захватывала Касснера так же, как его рука обнимала плечи Анны, медленно возрождалась в нем.

— Наверное, — продолжала она, — я думаю о том, что сейчас скажу, потому что сегодня не могла бы думать ни о чем другом, хотя это и не довод, будто я ошибаюсь. Совсем счастливой женщиной я чувствую себя не всегда: я живу жизнью, которой жить трудно... И все-таки знаю: ничто на свете, ничто не может быть сильнее того, что у меня есть ребенок. И что он — мой. Я думаю, что в этом городе живет, я не знаю, пять или десять тысяч детей. И тысячи женщин, у которых вот-вот начнутся схватки — почти всегда они начинаются в первом или втором часу ночи, — женщины, которые ждут. Да, ждут с тревогой, но с каким-то еще чувством. Рядом с ним слово «радость» почти лишено смысла. Как и любое другое слово. С тех пор, как мир стоит, так и происходит каждую ночь.

По ее голосу он угадал, что стыдливость и, может быть, давнее суеверное беспокойство заставляли Анну выражать свою радость лишь в тех образах, что ее месяцы тревожного ожидания оставили в ней живыми. Детский голос слышался в ее голосе: этот голос не плакал, он утешал себя историями.

— Когда он родился, ты был в Германии. Однажды я проснулась, посмотрела на него, такого сморщенного, в своей кровати, подумала, что его ждет такая же жизнь, как у всех, и разревелась над ним и над собой как корова... Поскольку я была очень слабая, слезы лились ручьем, но с той минуты я поняла, что для меня есть что-то превыше горя...

— Мужчины детей не рожают.

Он не сводил глаз с этого лица, которое считал умершим.

— И все-таки в тюрьме, пойми, у мужчин появляется какая-то неодолимая потребность в том, чтобы было нечто,

что живет на той же глубине, что и боль... У радости нет слов.

— Для меня радостью была музыка.

— Теперь музыка приводит меня в ужас.

Анна хотела спросить почему, но инстинктивно удержалась. Он чувствовал, что она слушает его не одним умом, но и всем своим существом, слушает, как мать, и понимает его лучше, чем он сам. Он смутно подумал, что человеку удалось быть человеком, несмотря на тюрьмы, несмотря на жестокость, и лишь человеческое достоинство способно сопротивляться боли.... Но сейчас ему хотелось смотреть на Анну и не думать. Вдруг постучали в дверь соседней квартиры. Касснеру снова послышались какие-то тюремные стуки, но Анна отреагировала быстрее:

— Мне почудилось, что это ты стучишь!

Дверь открылась, послышались чьи-то приветливые голоса... Дверь в жизнь, человеческие голоса.

— Мне снова хочется писать, — сказал он. — В тюрьме я пытался обратиться к музыке... для самозащиты. Вспоминал ее часами. Она, естественно, рождала образы, образы, и вдруг случайно выплыла фраза, одна-единственная, из молитвы погонщиков верблюдов: «Если эта ночь станет ночью судьбы...»

Она взяла его руку, прижала ее к виску и, ласкаясь о нее лицом, шепотом закончила:

— «Да будет она благословенна до самой зари...»

Отвернувшись, Анна посмотрела в ночное окно, ее профиль чуть-чуть выдавался из-под его ладони. Прошел дождь, и по мокрой мостовой, как ветер в листве, промчалась машина. В раме окна глаз Анны, полуприкрытый его ладонью, казалось, разглядывал угол двух пустынных улиц. Касснер знал, что на всю жизнь запомнит этот угловой дом.

— Даже к твоему скорому отъезду, — тихим голосом сказала Анна, — я отнесусь не так болезненно, как ты думаешь...

Она хотела сказать: «Я переживу». Угловой дом был в шесть окон, по три на каждую улицу, и два чердачных окна; все они были темные, хотя чуть светлее неба, потому что на еще сверкающие от дождя стекла ложились какие-то блики, и ночь простиралась вокруг так же, как только что простерлись навстречу ему руки Анны. Дом этот, откуда вышел какой-то парень, чтобы сразу исчезнуть во мраке, жил одним из тех мгновений, что внушают людям веру в то, что сейчас родился бог, и Касснеру, забрызганному всей кровью, сквозь которую он прошел, казалось, что мир снова обрел смысл и вновь свершается потаеннейшая жизнь вещей. Он закрыл глаза: осязание проникает глубже других чувств, глубже самой мысли, и только висок Анны под его ладонью жил в

гармонии с умиротворенной землей. Ему снова привиделось, как он мечется по камере взад-вперед, мучительно соображая, жива ли она. Он сразу же открыл глаза, и ему показалось, будто он объял их с Анной вечность, ту вечность, где есть вчерашние заключенные, доверчивая щека ребенка, толпа, вцепившаяся в тех, кого пытаются, лицо пилота во время урагана и лицо того человека, что выдал себя за Касснера, есть даже его скорое возвращение в Германию, то есть вечность живых, но не вечность мертвых; эта вечность все уносила с собой и в биенье его крови была заодно с тем единственным в человеке, что выше человека, — его даром мужества; мощными ударами эта вечность обрушивалась на вновь опустевшую улицу, где поднимался ветер. И во всех деяниях вечности от Касснера останется то, что осталось в нем от крови близких, и в тот день, когда его убьют в Германии, вместе с ним погибнет нынешнее мгновение вечности. Вдруг ему стало невыносимо сидеть в неподвижности:

— Мне хочется пройтись, пойти с тобой куда-нибудь.

— Надо найти кого-нибудь, кто бы присмотрел за малышом.

Она ушла. Он погасил свет, впусив в комнату земную ночь, еще раз посмотрел на две по-прежнему безлюдные улицы, которые очень быстро, не прыжками, а семеня лапами, словно мышь, перебежала кошка.

Теперь они будут говорить, вспоминать, рассказывать друг другу обо всем... и наступят будни; вместе, рядом, они сойдут по лестнице и будут шагать по улицам под небом, что неизменно с тех пор, как умирает или побеждает воля человека.

1935

ЗА ТЕЛЬМАНА

Товарищи!

Кто слышал Тельмана, когда он выступал в Бюлье *, несомненно, помнит его слова: «Я с революционной Францией, которая меня слушает, и знайте, что я всегда буду с ней!»

Думаю, мы будем справедливы, если скажем, что и сама Франция вот уже два года не перестает быть рядом с Тельманом.

...Нам безудстанно твердят: что дают такие собрания, как это? Мы безудстанно отвечаем: наличие этих добровольно собравшихся толп людей позволяет выжить тем, кто сидит

ради них в тюрьмах. Народ знает, что, если такая акция, как акция Комитета за освобождение, была бы напрасна, капитализм не развернул бы столько сил на пропаганду и что мы делаем здесь по доброй воле то, что наши враги повсюду делают с помощью денег.

Я бы не попросил сегодня слова, если бы не хотел добавить еще одно имя к списку мучеников, зачитанному здесь, — имя, пока недостаточно хорошо знакомое вам, я хочу, чтобы вы его знали лучше. Это имя Людвиг Ренн.

Он должен быть освобожден в этом году, и мы рассчитываем сделать все, что в наших силах, чтобы это произошло.

Ренн — один из наиболее крупных немецких писателей. Он был офицером. Его участие в коммунистическом движении было расценено как особо опасное по причине его знакомства с боевыми организациями.

Не стоит здесь долго говорить о связях пролетариата и представителей интеллигенции: те, кто борется бок о бок, не нуждаются в дискуссиях на тему, почему они вместе. Тем не менее я хотел бы подчеркнуть, что Ренн был с вами не потому, что он видел в вас будущее, а потому, что он принадлежит к тем интеллигентам, которые стремятся вернуть глубокий смысл смешанному с грязью слову «достоинство».

Товарищи, да убережет вас удача от тех интеллигентов, которые придут к вам лишь накануне вашей победы...

Мы с ним потому, что он благороден, и потому, что предпочел быть коммунистом, потому, что он был офицером и предпочел писать против войны, потому, что он был писателем и, имея возможность бежать, предпочел нести чрезвычайную тяжесть того, что он высказал и осмыслил, потому, что в тот час, когда ждал приговора, он сказал:

«Я принадлежу коммунистической партии и буду принадлежать ей до своей смерти. Сегодня вы победили, и вы нас бьете. Это в порядке вещей. Но знайте, что в настоящий момент я полностью отвечаю за свои мысли и что тот день, когда меня заставят сказать не то, что я говорю сейчас, станет днем, когда я перестану быть человеком».

Товарищи, суд при закрытых дверях требует вдвое больше мужества от осужденного. Сейчас над Ренном нависло полное фашистское молчание. Этот человек, говоривший, что он пришел к нам в поисках братства мужественных — братства, которое он искал и не нашел на войне, ожидал увидеть в бунте, а нашел в Революции, — этот человек говорил: «Если однажды мне вынесут приговор, пусть те, за кого я боролся, будут рядом со мной...» Сегодня вечером в этом зале, где в мои слова врывается шум автомобилей, в этой предпраздничной атмосфере, в обстановке, когда никто из вас не может по-

шевелнуться, не почувствовав локоть товарища, в зале, наполненном присутствием братства и света, пусть мои скромные человеческие слова превзойдут то, что я хочу выразить, когда я говорю от вашего имени Тельману, Ренну, всем нашим заключенным: «Товарищи, мы рядом с вами в вашем одиночестве и тьме...»

Ренн, Вы сказали: «до тех пор, пока я буду человеком...». Вы оставались Человеком, мы здесь, чтобы подтвердить это. И не только мы, но и другие, неизвестные, которые с момента последнего совета в Астурии до первого совета в Китае* составляют вокруг молчаливых тюрем свои посты. Толпа, которая намерена превратить молчание в действия, мучеников в вожаков, для которой ваше место рядом с Димитровым, в Коминтерне.

1936

О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ

Однажды ко мне пришел человек, многие годы проведенный в тюрьме за то, что укрывал анархистов. Образованный интеллигент, он заговорил о книгах. «Так в о т , — сказал о н , — в тюрьме читаются только три романа: «Идиот», «Дон Кихот» и «Робинзон Крузо».

После его ухода я записал эту поразившую меня фразу и задумался над ее смыслом. И я вспомнил, что из трех упомянутых им писателей двое, Достоевский и Сервантес, отправились на каторгу, а третий, Даниэль Де ф о , — к позорному столбу. Каждый из них написал книгу об абсурдной жизни, об одиноком человеке, открывающем для себя пошлых и бессмысленных людей, не желающих знать, что где-то существуют каторги и позорные столбы. И все трое написали о борьбе с одиночеством, об отвоевании мира теми, кто вышел из ада. Страшная сила смирения, — говорил Достоевский. Но также и страшная сила мечты, и страшная сила труда... Им предстояло овладеть миром одиночества, писателям — претворить в победу, читателям — в иллюзию победы поражение, нанесенное жизнью.

Трагедия с беспредельной жестокостью поставила их перед проблемой, которую бессознательно вынужден решать каждый из нас. Искусство существует благодаря тому, что помогает людям избежать их удела, но не уклоняясь от него, а овладевая им. Искусство — средство овладения судьбой. И культурное наследие — не сумма произведений, требующих поклонения, а сила, помогающая выжить.

Культурное наследие — это хор голосов, отвечающих на наши вопросы. И люди, томящиеся в тюрьмах или живущие на свободе, так же как и цивилизации, пересоздают завоеванное ими прошлое.

Наличие национальной культурной традиции — бесспорный факт. Однако представление о зависимости произведения от традиции основывается на недоразумении. Убеждающая сила произведения — не в его универсальности, а в том, что отличает его от предшествующих творений. Для нас Джотто — примитив, однако современникам его картины казались «правдивее самой жизни». Они казались «правдивее самой жизни» не благодаря своей универсальности, а благодаря тому новому, что создал Джотто на материале византийской живописи. Сила воздействия художественного произведения — в его значимом отличии; всякое произведение рождается как исключение и лишь постепенно становится правилом. Оценивать произведение в свете традиции — значит выявлять отличие в ряду универсальностей; но наличие этого ряда не дает оснований судить о том, какое место займут в нем произведения современного искусства.

Не столько люди подчиняются традиции, сколько традиция подчиняется людям. Упорядоченность всякого наследия сохраняется благодаря решимости преобразовать настоящее; правда, эта решимость направляется ничтожными причинами. Чахотка вынуждала Ватто отказаться от Рубенса ради фантазий «Галантных празднеств», а Шопена вдохновляла на создание трагической музыки. Судьба художника исторгает из него крики радости или горя, но смыслом наделяет их судьба мира.

Мне бы хотелось выяснить здесь, в пределах какой необходимости способна проявляться наша воля.

Под словом «искусство» мы подразумеваем два весьма различных рода деятельности: ту, которую я назвал бы риторической, — достояние эллинистического, ренессансного или современного художника, где произведение меньше своего творца, ценится благодаря тому, что художник привносит в свое изображение. И ту, свойственную средневековой, Египту и Вавилону, где художник — меньше того, что он изображает. Значение первой задается присутствием художника, второй — содержанием изображаемого предмета. Это содержание обычно определяется универсальной ценностью, приписываемой предмету: способен ли современный художник, вырезающий распятие, искренне поверить в то, что Христос принял смерть *ради себя*? Скорбь Ниобеи * — это ее скорбь, и художник проникается ею без труда. Скорбь Девы Марии — скорбь всех людей. Когда появляется античный скульптор, исчезает средневековый.

Но и исчезая, он не утрачивает величия. И художника, который не ощущал себя таковым, мы ценим так же высоко, как и риторического. Неважно, кем ощущает себя художник. Важно лишь — на протяжении последних тысячелетий, — чтобы он не подчинялся преднайденому миру форм, стремился изменить его, завоевать с его помощью свою правду. В Афинах, Шартре или Линкольне. Однако в ходе веков (несмотря на то, что сущность творческого процесса осталась, на мой взгляд, неизменной) искусство пожертвовало волей к правде ради субъективной воли художника. Сегодня мы верим не в Христа, воплощенного в дереве, а в предмет искусства, именуемый распятием. В статуе святого в счет шел святой; в картине Сезанна в счет идет Сезанн. Между тем искусство масс — правдивое искусство. Поэтому со временем массы забыли дорогу к искусству, перестали встречаться с ним в соборах; и тут оказалось, что, хотя массы отвернулись от искусства, оно по воле техники само устремилось в массы.

В этот процесс по-разному вовлечены демократические, коммунистические и фашистские страны. За истекшие тридцать лет каждое искусство изобрело свои полиграфические средства: радио, кино, фотографию. Судьба увлекает искусство от уникального, неповторимого шедевра, оскверненного копией, не только к репродукциям этого шедевра, но к производству, заведомо предназначенному для тиражирования, — кинофильму. Именно кино раскрывает многозначность современной цивилизации, комической у Чаплина, трагической у Эйзенштейна, воинственной в странах фашизма.

Нужно ли доказывать роль фотографии в судьбе изобразительного искусства, благодаря которой распространение черно-белых, обладающих необходимым качеством изображения снимков привело к тому, что итальянская живопись, в которой преобладает рисунок, резко повысилась в цене, живопись, в которой господствует колорит (витражи), предана забвению, а выразительная декоративная живопись (византийская), в которой главное — развитие цветовой гаммы, превозносилась, но не могла быть оценена по достоинству? Восприятие произведений изобразительного искусства во многом зависит от того, в какой мере они поддаются репродукции. Нужно ли повторять вслед за У. Бенжаменом *, что характер эстетического переживания меняется в зависимости от того, созерцается ли произведение единственное в своем роде, или сознание теряется в рассеянном, а порой и одержимом забытьи перед зрелищем, возобновляемым бесчисленное множество раз? Все согласны с тем, что типографский текст «песни о деяниях» отличается от сказания аэда *. К тому же аэд пользовался средствами внешней выразительности, тогда как поэта

побуждает к творчеству эмоциональное переживание.

Словом, еще раз: отношение художника к творческому процессу меняется на наших глазах. Что касается меня, то я от всего сердца приветствую возрождение в людях чувства общности в фундаментальной области человеческих эмоций. Человечество всегда относилось к искусству как средству самопознания, и меня радует, что наша деятельность позволяет иногда людям осознать живущее в них, но неведомое им величие и достоинство; меня радует, что наше искусство, а может быть его будущие воплощения, поможет осознать это величие и достоинство возможно большему числу людей. Фотография картины Рембрандта приближает к Рембрандту, плохая живопись удаляет от него.

Но важно не то, радует нас это или огорчает: важно то, что этот новый фактор обуславливает восприятие культурного наследия, сущность которого меняется в процессе самого восприятия.

Пусть меня не поймут превратно: я далек от мысли защищать здесь ошибочное представление об искусстве, направляемом массами и послушного им. Эта идея, вульгаризирующая индивидуальное искусство буржуазной эпохи во имя создания коллективного искусства нового общества, чем-то напоминает концепцию готики, возникшей будто бы в результате вульгаризации древнеримских образцов. Искусство развивается по своим законам, настолько непредсказуемым, что их постижение доступно лишь гению. Пластический XIX век завершается барочным Ренуаром, Сезанн — современник первых небоскребов, но никакая логика не смогла бы предсказать стилевую манеру Сезанна.

Переосмысление европейского культурного наследия, осуществленное XIX веком, стало возможным благодаря открытию многообразия художественных форм и вере в воспитательную роль искусства. Западноевропейский XVIII век презирал готическую скульптуру потому, что видел в ней не столько присущую ей выразительность, сколько отсутствие классической экспрессии. Мы далеки еще от того, чтобы окончательно освободиться от скептического отношения к известной части нашего наследия, но верно и то, что принимать все — значит не любить ничего. Сойдемся хотя бы на том, что искусство, оставляющее нас сегодня равнодушными, станет необходимым другим, научимся уважать страсти, дремлющие в музейных экспонатах.

В целом можно было бы сказать, что XVI век открыл историю искусства, а XIX — его географию; эти пространственные обретения дополняются вскоре обретениями психологическими. Сначала англичане устремились в Афины; затем статуи

Парфенона потекли в Лондон; сегодня же, благодаря печати и кино, Афины и Парфенон вошли в каждую английскую семью. Даже если сложившиеся ныне отношения между художником и публикой останутся неизменными (в чем я глубоко сомневаюсь), само по себе развитие культурных форм жизни, не только на Западе, но и во всем мире, обогатит искусство новыми возможностями. Именно в этой сфере может проявить себя наша индивидуальная воля.

Технические средства, знакомящие массы с достижениями западного искусства, действуют не вслепую, а в соответствии с явно или смутно проявляющейся идеологией масс, развивая не худшее, а лучшее ее содержание. Это не исключает возможности того, что какая-нибудь правительственная акция не воспользуется отрицательными или недостойными чертами, присущими массам, но я утверждаю, что художник берется за создание произведения искусства, лишь проникнувшись позитивным, созидательным элементом общественного воодушевления. Подобно всем эпохам радикальных преобразований, наше время не дает художнику покоя, требует от него всеобъемлющих озарений, принуждает к гениальности. Я считаю, что толпа способна плодотворно воздействовать на художника, поскольку художник вдохновляется присущей ей энергией коллективизма. Слишком много говорилось о безумии толпы и слишком мало о ее величии: многие ли из тех, кто внимал вместе с толпой проповедям архиепископов Кентерберийских *, услышат их в одиночестве? В массе дремлют как созидательные, так и разрушительные силы, и одна из наших обязанностей — пробудить ее творческие способности.

В чем видит фашизм принцип новой общности? В экзальтации сущностных, неустранимых и вечных различий: расовых, национальных. В национал-социализме есть слово «нация» и есть слово «социализм»; но мы знаем, что лучшее средство бороться за социализм — не расстреливать социалистов и что ключевым словом является здесь слово «нация». На нем основывает фашизм свою подлинную идеологию, на этом фундаменте вынужден он возводить свое культурное наследие, развивать свое искусство.

Но фашистские идеологии по самой своей природе — частные и неизменные идеологии. Либерализм и коммунизм расходятся в вопросе о диктатуре пролетариата, но не в вопросе о ценности демократии; по мнению марксистов, путь к подлинной демократии ведет через диктатуру пролетариата, ибо политическая демократия — обман, если она лишена экономической основы. Демаркационная линия, разделяющая нас в вопросе о ценностях, то есть в вопросе, который собрал нас здесь, пролегал, как мне кажется, там, где мы стремимся поддерживать

или пересоздавать не частные и неизменные, а гуманистические и диалектические ценности, которые благодаря искусству и знаниям становятся доступными все большему числу людей. Гуманистические в силу своей всеобщности. Потому что — миф в ответ на миф — мы боремся не за Немца, Германца, Итальянца или Римлянина, а за человека.

Меня всегда поражала беспомощность фашистского искусства, неспособного изобразить ничего, кроме борьбы человека с человеком. Есть ли в фашистских странах что-либо похожее на советские фильмы — эти романы будущего? Нет, потому что коммунистическое общество, вернувшее коллективу средства производства, позволяет перейти от гражданской жизни к военной, тогда как фашизм, сохранивший капиталистическую структуру экономики, исключает такую возможность: между колхозником и бойцом Красной Армии нет качественного различия; в глазах художника, так же как и в своих собственных, они пребывают в одном жизненном ряду. Каждый из них может свободно менять свои социальные роли. Но между штурмовиком и немецким фермером существует качественное различие. Первый находится внутри капитализма, второй — вне его. Реальная, нелицемерная, собственно фашистская общность может существовать лишь в форме военной машины. Так что фашистская цивилизация в своем крайнем выражении ведет к милитаризации всей нации. А искусство фашизма, если оно существует, — к прославлению войны. Но ведь врагом солдата является другой солдат, то есть человек, тогда как, с точки зрения либерализма и коммунизма, человеку противостоит не человек, а земля. В труде за овладение землей, в воодушевлении борьбы за подчинение вечного мира формируется, от «Робинзона Крузо» до советских фильмов, одна из наиболее продуктивных западноевропейских традиций. Решившись на борьбу, коль скоро борьба — единственная гарантия смысла, который мы хотим придать нашей жизни, мы далеки от того, чтобы приписывать ей абсолютную ценность. Нам нужна такая идея, такое государственное устройство, такое наследие и такая надежда, которые вели бы к миру, а не к войне. Но и самый безоблачный мир принесет с собой столько битв, трагедий и воодушевлений, что их хватит искусству на долгие века.

Таковы те первопричины, во имя которых французская секция поддерживает вынесенный на ваше рассмотрение проект. Наша самая благородная задача состоит в том, чтобы поддержать гуманистическое наследие, и, конечно, одному проекту сделать это будет не под силу. Но он отвечает как потребностям в распространении знаний, так и потребностям выбора, а следовательно — целям нашей деятельности. Ибо то, что Запад

именует культурой, есть прежде всего, на протяжении вот уже пятисот лет, возможность выбора.

Я говорил, что всякое наследие взывает к нашей воле. Но наша воля, как воля художника в процессе созревания замысла, пребывает в смутном и напряженном состоянии. Каждодневным усилием культура формирует прошлое, подобно тому как каждый новый мазок художника меняет облик всей картины. Для нас, революционных писателей, нет ничего опаснее стремления подменить живое и смертное наследие сегодняшнего дня наследием, осмысленным в соответствии с абстрактной логикой. По отношению к прошлому всякая цивилизация оказывается в положении художника перед лицом культурной традиции. Его влечет к тому или иному выдающемуся творению, выставленному в музее или на книжной полке, постольку, поскольку оно помогает ему осуществить собственный замысел. Предметы, именуемые прекрасными, изменчивы, но простые люди и художники неизменно называют прекрасным то, что помогает им выразиться с максимальной полнотой, превзойти самих себя. Человек не раб своего наследия, он — его господин; не античность вызвала к жизни Возрождение — Возрождение создало античное искусство. Там, где человек примиряется с Богом, в Реймсе или Бамберге, там, где смягчается дуализм христианства, в XII, XIII и XIV веках во Франции, Италии, Германии, возрождается античность. Открытие Николая Кузанского *, увидевшего в Христе совершенного человека, воскрешает интерес к античным статуям. Нет античности там, где буйствует ад: испанское Возрождение — лишь переход от готики к барокко. Зато там, где ад умирает, возрождается античность. В Реймсе, так же как и в Ассизи, первая улыбка готической статуи напомнила лицо Венеры.

В этом смысле любая цивилизация подобна Возрождению: из материала прошлого создает она свое наследие, помогающее ей возвыситься над судьбой. Наследие не получают в дар, его завоевывают. Но завоевывают неспешно, непреднамеренно. Так не будем же требовать от искусственных цивилизаций сделанных на заказ шедевров. Потребуем от самих себя ясного понимания того, что наш выбор из сокровищницы прошлого — из того, что составляло безграничную веру л ю д е й , — отвечает нашей жажде величия и нашей воле.

Весь смысл искусства, весь смысл того, что люди вкладывают в понятие культуры, сводится к тому, чтобы претворить судьбу в материал сознательного творчества: освоить биологическую, экономическую, социальную, психологическую и т. п. необходимость, чтобы овладеть ею. Не заменить одну опись другой, а развить до крайних пределов ту область, из которой человек черпает свое человеческое содержание, — неограниченную

возможность ответов на жизненно важные вопросы.

День за днем, от мысли к мысли люди пересоздают мир, следуя своему высшему назначению. Революция открывает перед ними лишь возможность более высокого достоинства; долг каждого — претворить эту возможность в действительность. И для этого мы, люди духа, — христиане, либералы, социалисты, коммунисты, — несмотря на разделяющие нас убеждения, ищем объединяющие нас стремления. Ибо каждая возвышающая мысль, каждое произведение искусства — неисчерпаемая возможность перевоплощений. И многовековое прошлое сможет осознать себя лишь в совокупной воле живущих.

1936

РЕЧЬ В МАДРИДЕ

Обращаться к народу Мадрида и одновременно говорить на профессиональные темы невозможно. Поэтому я предпочитаю, товарищи, говорить с вами о людях, которых я встречал по всему миру, — о людях, проникнутых любовью к вам.

Бергамин * два дня назад в своей восхитительной речи сказал, что Испания одинока. Совершенно верно: правительство Испании оказалось сегодня в трагическом одиночестве по сравнению с прочими правительствами, особенно теми, которые за несколько месяцев до мятежа Франко требовали от Испании категорического обязательства приобретать оружие только у Франции, а потом отказались выдать его вам в тот самый момент, когда на вас напал вооруженный враг.

Но если так обстоит дело с правительствами, то совсем не так обстоит дело с людьми. О них-то я и буду говорить. В одной из самых бедных стран, точнее, в одной из самых бедных областей земли, которая так похожа на Испанию, а именно во французской Канаде, где такая же нищета и где люди так же мужественны, в Монреале, говорил я в пользу Испании, затем выступал в Соединенных Штатах, и всюду мы получали чеки и доллары.

В Канаде однажды пустили по кругу поднос — на нем оказалось несколько долларов, много монет, мелочь и часы — старые часы 1860 года. Я спросил у товарища, ходившего с подносом, откуда эти часы.

— Их положил старый рабочий, не пожелавший класть мелочь.

— Он что, член профсоюза? Человек, имеющий отношение к политике? — спросил я.

Нет, ничего подобного. Я захотел увидеть этого человека и перед отъездом побеседовал с ним.

— Почему вы отдали свои часы? Я знаю, вы небогаты. Вы один из наших?

— Я ничего не понимаю в политике, — ответил он, — но, что касается Испании, я понял одну вещь: я понял, что есть люди, восставшие против того, чтобы таких, как я, бедняков всего мира можно было бы и дальше унижать, понял, что есть люди, которые, невзирая на свои политические взгляды, дерутся сейчас за то, чтобы уничтожить право презирать других, за право доверять друг другу. И эта, такая простая штука стала для меня самой важной в жизни, поэтому я и положил на поднос для Испании единственную вещь, которую я имел, которой я больше всего дорожил.

Несколько позже я побывал в Голливуде. Случилось так, что я попал на съемки фильма с Марлен Дитрих в тот момент, когда они только начались. Рядом с Марлен один из самых богатых людей режиссер Любич * и несколько технических работников.

Зайдя спереди, я вдруг увидел, что все электрики потирают ухо или застегивают воротнички. Присмотревшись получше, разглядел у каждого из них в полуприкрытой ладони маленькое изображение Испании, вырезанное из меди их товарищами...

В начале войны в Испании у наших испанских товарищей не было ни одного порядочного пулемета. Французские и английские пулеметы, которые должны были быть поставлены испанскому правительству перед мятежом Франко, так и не поступили. У нас были испанские пулеметы старых образцов, которые все время заклинивало.

С самой значительной помощью, которая была оказана испанскому народу, я непосредственно не сталкивался. Она была иного рода. С несколькими товарищами мы оказались на дороге после только что закончившейся долгой бомбардировки вражеской авиацией нескольких наших позиций. По ту сторону дороги валялись неразорвавшиеся авиабомбы.

Удивленные, мы с товарищем вскрыли одну из них и неожиданно обнаружили внутри этой бомбы, направленной через Португалию из Германии, листок, на котором написано: «Товарищи, эта бомба не взорвется».

1 Мая в Париже был проведен день солидарности с испанским народом. Десятки тысяч рабочих с профсоюзными флагами приближались к сборщикам средств для Испании с растянутыми за углы большими простынями. Для того, чтобы было понятно, что они делают, в центре простыни поме-

стили афишу, которую вы все хорошо знаете, афишу с изображением погибших детей.

Проходя мимо, рабочие склонили свои флаги. Многие из тех, которые шли следом, суровым жестом преклоняли своих детей.

Товарищи, я приветствую вас тем же приветствием! Для меня это был, может быть, самый волнующий момент в моей жизни, и я не могу не думать о нем при громе пушек, которые угрожают городу.

Находясь с вами, мы, будь то бойцы или писатели, приветствуем вас, как парижские рабочие, склоняем головы перед вашим мужеством и постараемся по мере сил, чтобы бомбы, угрожающие вам, не взорвались.

1937

Обретение Франции



АНТИМЕМУАРЫ

Слон — самое мудрое из животных, единственное, которое помнит о своих прежних жизнях, и он подолгу стоит неподвижно, размышляя об этом.

Буддийский текст

1965 год, в открытом море на широте Крита

Я бежал в 1940 году вместе с будущим капелланом партизанских частей в Веркоре. Некоторое время спустя после побега мы оказались в деревне департамента Дром, где он был приходским священником и щедро раздавал евреям свидетельства о крещении, проставляя любую дату, но при условии, чтобы крещение было принято на самом деле: «что-то от этого непременно в душе остается...» Выпускник Лионской духовной семинарии, он ни разу не был в Париже. Мы вели с ним нескончаемые беседы, гуляя по ночной деревне.

— Когда вы впервые начали исповедовать?

— Лет пятнадцать назад...

— И что на основе исповеди вы узнали о людях?

— Понимаете, исповедь тебя ничему не учит, потому что, начав исповедовать, сразу становишься другим человеком, на тебя нисходит благодать. И все же... Люди более несчастны, чем мы думаем, вот что главное... и к тому же...

И в ночи, усеянной звездами, он воздел к небесам свои руки лесоруба.

— И к тому же вся суть в том, что *взрослых не существует...*

Он погиб на плато Глиер *.

Размышлять о жизни — о жизни перед лицом смерти — это, по существу, почти то же, что еще глубже погружаться в бездну своего вопрошания. Я говорю не о случаях, когда людей убивают, ибо это не ставит почти никаких проблем перед теми, кому выпал не столь уж редкий жребий обладать муже-

ством; я говорю о смерти, которая проявляется во всем том, что могущественнее человека, — в старении и даже в преобразении земли (земля внушает мысль о смерти своим тысяче-летним оцепенением, равно как и своим преобразованием, даже если оно есть дело рук человеческих) и особенно в бесповоротном постулате: «Тебе никогда не узнать, какой во всем этом смысл». Перед лицом этого вопроса важно ли для меня то, что важно лишь для меня одного? Почти все писатели, которых я знаю, любят свое детство, я свое ненавижу. Я мало и плохо приучен творить самого себя, если творить себя означает приравниваться к порядкам в том постоялом дворе, торчащем среди бездорожья, который именуется жизнью. Иногда мне удавалось совершать поступки, но польза поступка — кроме случаев, когда он поднимается вровень с историей, — в том, что люди делают, а не в том, что они говорят. Я себе почти не интересен. Дружба, которая играла в моей жизни большую роль, никогда не оборачивалась любопытством. И я согласен с капелланом Глиера; но если он предпочитал, чтобы на свете вообще не было взрослых, это, наверно, лишь потому, что дети всегда спасены...

Зачем мне себя вспоминать?

Затем, что, прожив часть своей жизни в той зыбкой сфере духа и вымысла, которая составляет удел художников, потом в сфере сражений и в сфере истории, двадцатилетним юнцом узнав Азию, чья агония осветила дополнительным светом значение Запада, я не раз сталкивался с мгновениями, порой неприметными, а порой ослепительно яркими, когда главная загадка жизни предстает перед каждым из нас такой, какой предстает она почти перед всеми женщинами при виде рожденного ими ребенка, почти перед всеми мужчинами на пороге смерти. Во всех формах того, что уносит нас в своем потоке, во всем том, что на моих глазах противилось унижению, и даже в тебе, о нежность, про которую мы спрашиваем себя, что тебе делать здесь, на з е м л е, — жизнь, подобно богам исчезнувших религий, иногда являлась мне в обличье либретто какой-то неведомой оперы.

Хотя Восток, с которым я познакомился в юности, казался мне в ту пору схожим со старым арабом, который, сидя на своем осле, погружен в беспробудный сон ислама, — двести тысяч жителей Каира стали четырьмя миллионами, Багдад заменил моторными лодками камышовые верши, которыми ловили рыбу его вавилонские крестьяне, и мозаичные ворота Тегерана затерялись в нынешнем городе, как ворота Сен-Дени в Париже *. В Америке давно уже выросли гигантские современные города — но эти современные города не стерли следов

другой цивилизации и не стали символом преобразования человека.

За один век земля настолько измениться не может, это известно каждому. Я знал воробьев, которые возле Пале-Рояля* поджидали лошадей, впряженных в омнибусы, — и знал робкого и обаятельного майора Гленна *, вернувшегося из космоса; знал татарский облик старой Москвы — и увенчанный шпилем небоскреб Московского университета; знал старую Америку, чей образ воскрешала миниатюрная железная дорога с начищенной до блеска паровозной трубой в форме тюльпана и с вокзальчиком в Пенсильвании, — и Америку новую, воплощенную в небоскребе Панамериканской компании. Уже сколько веков ни одна великая религия не сотрясала нашего мира? Вот она перед нами, первая в истории цивилизация, способная завоевать всю землю, но не способная выдумать ни собственных храмов, ни собственных гробниц.

Отправиться в Азию — еще недавно это было неторопливым проникновением в сопряженные друг с другом пространство и время. Индия после Ислама, Китай после Индии, Дальний Восток после Востока; корабли Синдбада, стоящие сиротливо на якоре в густеющих сумерках вдали от какого-нибудь индийского порта, а после Сингапура — первые джонки, как часовые у входа в Китайское море.

По совету врачей я вновь совершаю это медлительное проникновение и вижу воочию грандиозную встряску, которая перевернула всю Азию и которой заполнена и моя — обогреченная кровью и тщетная — жизнь, и за океаном обретаю снова и Токио, куда я отправлял Венеру Милосскую *, и ставший неузнаваемым Киото, и, несмотря на сгоревший храм, почти не пострадавший Нара — все эти города еще недавно встречал я после суток полета, — и обретаю опять Китай, которого с юности больше ни разу не видел. «До самого горизонта — Океан, застывший, покрытый лаком, даже без единой струи за кормой...» Глядя на море, я вспоминаю первую фразу первого своего романа * и, как сейчас, вижу палубу с витриной для телеграмм, где сорок лет назад появилась депеша, возвестившая возвращение Азии в лоно Истории: «В Кантоне объявлена всеобщая забастовка» *.

Что отвечает моя жизнь этим богам, которые закатываются за горизонт, и городам, которые восходят над ним, и деловитому грохоту, который ткнулся сейчас в борт корабля, как извечный шум моря, и стольким напрасным надеждам и стольким павшим друзьям? Наступает пора, когда мои современники принимают рассказывать о том, что с ними случилось.

В 1934 году на улице Вьё-Коломбье Поль Валери упомянул

мимоходом о Жиде. «Если вы равнодушны к его творчеству, — спросил я его, — почему вы так высоко ставите его «Беседу с немцем» *? — «А что это за беседа?» Я напомнил ему. «Ах, да! Должно быть, потому, что он там удачно применил глагол несовершенного вида в сослагательном наклонении!..» И продолжал с оттенком значительности, который обычно примешивался к его патрицианскому жаргону: «Жида я люблю, но как может серьезный человек терпеть, чтобы какие-то юнцы были судьями его мыслей?.. И потом — да! меня привлекает ясность, но мне неинтересна откровенность. Впрочем, им на это плевать». Такой сентенцией он нередко завершал свои речи на темы, которые, если воспользоваться формулой Уайльда, полагал достойными обсуждения.

Но то, что Жид называл юностью, не всегда ограничивалось молодыми людьми, как христианство не всегда ограничивалось верующими. Демон любит сообщества, еще больше сборища; авторитеты тоже. До тридцатилетнего возраста я жил среди людей, одержимых откровенностью. Потому что в ней они видели антитезу лжи, а также (это были писатели) еще и потому, что после Руссо она стала излюбленным материалом литературы *. Добавьте сюда агрессивную самозащиту: «Лицемерный читатель, мой ближний, мой брат...» Ибо речь идет отныне не о познании человека, речь идет о снятии покрова с тайны, речь идет о том, чтобы *признаться*. Христианское признание было всегда платой за прощение, дорогой к раскаянью. Талант — не прощение, но его воздействие не менее глубоко. Если предположить, что «Исповедь Ставрогина» * в действительности была исповедью Достоевского, значит, он перевоплотил ужасный факт в высокую трагедию, а Достоевского — в Ставрогина, в вымышленного героя, — метаморфоза, суть которой прекрасно выражена словом «герой». Нет необходимости изменять факты; виновный спасен, и не потому, что он прибегнул ко лжи, но потому, что сфера искусства — не сфера жизни. Горделивая стыдливость Руссо не уничтожает жалкой стыдливости Жан-Жака, но приносит ему надежду на бессмертие. Это преобразование, одно из самых глубоких, какие вообще в силах сотворить человек, является преобразованием судьбы претерпеваемой в судьбу покоренную.

Я восхищаюсь исповедями, которые мы именуем Мемуарами, но они захватывают меня лишь наполовину. Тем не менее анализ свойств личности, не говоря уже о воздействии, которое он оказывает на нас, когда это личность большого художника, активизирует ту самую работу духа, которая так интересовала меня во время разговора с Валери: свести к минимуму свое участие во вселенской комедии. Речь идет тогда о победе каждого из нас над искусственным миром, в который он погружен

и который при этом его личной собственностью не является; малейшее сомнение в этой победе приводит нас в ярость, на чем в значительной мере и зиждется комический театр, где персонажи Лабиша* наследуют персонажам Мольера и тому исполненному негодования оратору у Виктора Гюго, который отважно бросает слова правды в лицо королю* (сему романтическому персонажу суждено играть роль столь же постоянную, сколь и бесполезную в политической жизни народов Средиземноморья). Но воевать с комедией — это выглядит так, будто воюешь с людскими слабостями, тогда как стремление к открытости выглядит погоней за тайнами.

Свое нынешнее место в Мемуарах личность заняла с тех пор, как они заделались Исповедями. Мемуары святого Августина* ни в коей мере не исповеди, и завершаются они метафизическим трактатом. Никто не подумает назвать исповедью «Мемуары» Сен-Симона: когда он говорит о себе, он делает это лишь для того, чтобы им восхищались. В великих поступках великих людей всегда искали Человека, и его же ищут в тайных поступках личностей. (Тем более что великие поступки часто оказывались жестокими и что хроника происшествий сделала жестокость чем-то обыденным и заурядным.) В XX веке Мемуары бывают двоякого рода. С одной стороны, это свидетельства о событиях, иногда — как в «Военных мемуарах» генерала де Голля* или в «Семи столпах мудрости»* — рассказ об исполнении великого замысла. С другой стороны, самонаблюдение — его последним выдающимся представителем является Ж и д , — задуманное как исследование человека. Но «Улисс» и «В поисках утраченного времени» приняли форму романа. Самонаблюдение-признание изменилось в своей сути, потому что признания самого вызывающе смелого из мемуаристов выглядят детской забавой рядом с монстрами, которых вызывает к жизни психоанализ даже у писателей, несогласных с конечными выводами этого метода. От охоты за тайнами невроз усиливается. «Исповедь Ставрогина» поражает нас меньше, чем «Человек с крысами»* Фрейда, и мы ценим ее благодаря гению автора.

Если больше никто всерьез не считает, что единственная забота создателя автопортрета и даже портрета — скрупулезное копирование оригинала (достаточно вспомнить историю портретных решений от барельефов, изваянных скульпторами Древнего Египта, до кубистских полотен), то в отношении литературных портретов все еще приняты прежние оценки. Считается, что портрет тем лучше, чем он больше похож, и тем больше похож, чем в нем меньше условности. Именно такое определение внушается всеми видами реализма, которые почти всегда формировались в борьбе с идеализацией. Но если все формы идеализации, и в Древней Греции, и в эпоху Возрожде-

ния, были одним из основных направлений в изобразительном искусстве Европы, то идеализация литературная, их мнимое подобие, сближается с Леонардо или с Микеланджело разве что общностью трагических персонажей. Однако не подлежит сомнению, что «Людовик Святой» Жуанвиля * или портреты Боссюэ * представляют собой не меньшую ценность, чем персонажи «Дневника» Гонкуров, хотя автор задумывал их как образец для подражания. Ценнее всего достоверность? Но я сомневаюсь, что «Наполеон» Мишле *, этот достаточно плоский памфлет, более достоверен, чем замечательный панегирик, каким является его «Жанна д'Арк». Мы знаем, как был падок Стендаль на «мелкие подлинные факты»; но почему не на крупные? Изобразить Наполеона при Аустерлице не менее важно, чем показать его странную привычку вымазывать вареньем рожицу Римского короля *. И победа под Маренго * была, может быть, вызвана причинами несколько иного свойства, нежели адюльтер Жозефины *. Показывать крупные факты, потом их отвергать из презрения к условности, потом признавать только мелкие... Принято считать, что истинное в человеке — прежде всего то, что он скрывает. Мне приписали фразу одного моего персонажа *: «Человек — это то, что он делает». Так оно, конечно, и есть, и персонаж говорил это в ответ на реплику другого персонажа: «Что такое человек? Жалкая кучка секретов...» Сплетня придает дешевый блеск тому, чего мы ожидаем от иррационального, и при помощи психологии подсознательного мы с готовностью перемещали то, что человек скрывает — и что зачастую достойно лишь жалости, — с тем, что он носит в себе, сам об этом не ведая. Но Жуанвиль и не претендовал на то, чтобы знать всё о Людовике Святом, как, впрочем, и о самом себе. Боссюэ многое знал о Великом Конде *, которого он, возможно, и исповедовал; но перед лицом смерти он не придавал большого значения всем этим, как тогда было принято говорить, слабостям. Равно как и Горький, когда он говорил о Толстом.

В молодости Горький ощущал потребность украдкой наблюдать за людьми, чтобы сделать из них своих персонажей (Бальзак тоже такое любил). Наблюдал он и за Толстым в яснополянском лесу *. «Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу: «Хорошо тебе, а?» Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял перед нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице: „А мне — нехорошо“»

Мы только что срубили маленькое деревцо * — этим любо-

¹ Цит. по: М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т., т. 15, с. 281. М., «Гослитиздат», 1951.

пытным ритуалом сопровождалась обычно обеды у Горького. Его фигура в татарской тюбетейке вырисовывалась на фоне неоглядного Черного моря. И он продолжал вспоминать о старом «гении земли русской», который ходит по лесу, полному зверей, и они слушают этого восьмидесятилетнего Орфея.

Чувство, будто ты становишься чужим этой земле или заново на нее возвращаешься, с которым читатель будет здесь неоднократно встречаться, возникает, кажется, чаще всего из диалога со смертью. Стать жертвой инсценированного расстрела — подобный опыт вряд ли можно считать пустяком *. Но этим чувством я обязан *прежде всего* тому странному, порой чисто физическому воздействию, какое оказывает на меня колдовское присутствие ушедших веков. И чувство это становится еще более коварным оттого, что я занимаюсь искусством, ибо весь Воображаемый Музей говорит о смерти цивилизации и в то же время о воскресении того, что было цивилизациями создано. Мне всегда кажется, что я пишу для людей, которым предстоит читать меня позже. Не из какого-то особого доверия к этой книге, не из обостренного интереса к теме смерти или к Истории как осязаемой судьбе человечества — нет, из-за пронзительного ощущения, что мы вовлечены в какой-то своевольный и непоправимый дрейф, подобный дрейфу облаков в небе. Почему свои беседы с главами государств я записываю чаще, чем разговоры с другими людьми? Потому что беседа ни с одним из индийских друзей, будь он мудрецом и великим знатоком индуизма, не даст мне возможности ощутить время так, как это делает Неру, когда он мне говорит: «Ганди считал, что...» Если о встречах с этими людьми я вспоминаю в одном контексте с описанием гробниц и храмов, это происходит потому, что все они вместе одинаково выражают «то, что происходит». Когда я слушал генерала де Голля во время самого обычного обеда в его личных апартаментах Елисейского дворца, я думал: «Сегодня, в 1960 году...» На официальных приемах я думал о том, как проходили такие же приемы в Версале, в Кремле, в Вене при последних Габсбургах. В скромном кабинете Ленина, где горка словарей служит подставкой для маленького бронзового питекантропа, подаренного американским дарвинистом *, я думал о том утреннем часе, когда эту дверь распахивал Ленин, я пытался представить себе день, когда внизу, во дворе, Ленин принялся плясать на снегу, крича обомлевшему Троцкому: «Сегодня мы продержались на день больше, чем Парижская коммуна!..» Сегодня... Глядя на бурлящую в гнев Францию или на жалкого питекантропа, я бывал зачарован струеньем веков, трепетным и переменчивым солнечным блеском на стремнине потока... Перед вывеской перчаточника в Боне, когда я возвращался после своей первой прогулки

в сторону смерти, и в Грама, когда немцы тащили меня на носилках, чтобы разыграть сцену расстрела, и в яме-ловушке, куда украдкой скользнул мой т а н к , — сколько раз я думал о том же, о чем думал в Индии, — в 1938-м, или в 1944-м, или в 1968 году до рождества Христова.

«Откровенность» не всегда была самоцелью. В каждой из великих религий Человек предстал как *данность*; Мемуары множатся, когда удаляется исповедь. Шатобриан беседует со смертью, может быть — с Богом, но уж никак не с Христом. Когда Человек становится предметом исследования, а не откровения — ибо каждый пророк, открывающий Бога, открывает тем самым и Человека, — нарастает искушение исчерпать его до конца; мы будем знать о человеке тем больше, чем будут больше разбухать Мемуары или Дневник. Но человеку не дано достичь дна человека; он не находит своего образа на том пространстве знаний, которое он освоил; он находит свой собственный образ в вопросах, какими он задается. Человек, которого вы найдете в этой книге, — это человек, прислушивающийся к вопросам, что задает смерть о смысле нашего мира.

Этот вопрос о смысле нигде не встает передо мной с такой настойчивостью, как в преображенном Египте или Индии в их разительном контрасте с руинами древних городов. Я видел немецкие города, пестревшие белыми флагами (свисавшими с окон простынями) или до основания разрушенные бомбардировками; видел Каир, шагнувший от двухсот тысяч жителей к четырем миллионам, с его мечетями, крепостью, некрополем и пирамидами вдалеке, — и Нюрнберг, разбитый до такой степени, что в нем нельзя было отыскать главную площадь. Война вопрошает глупо, мир — таинственно. И возможно, в сфере судьбы человек ценится скорее глубиной своих вопросов, чем своими ответами.

В сочиненьях романов, в войне, в музеях, воображаемых или реальных, в культуре, быть может, в Истории я набрел на главную загадку — набрел по прихоти памяти, которая, тоже по прихоти или нет, не воскрешает прожитую жизнь в ее постепенном развертывании. Освещенные невидимым солнцем, возникают туманности, и кажется, что они готовят неведомое созвездие. Иные из них принадлежат области воображаемого, многие — воспоминанию о прошедшем, и эти воспоминания порою внезапно вспыхивают, а порою приходится извлекать их терпеливо на свет: самые значительные мгновения жизни во мне не живут — они за мною то гонятся, то бегут от меня. Неважно. Пред ликом неведомого иные из наших видений значат не меньше, чем наши воспоминания. Поэтому я восстанавливаю здесь и сцены, давно перекочевавшие во владения

вымысла. Связанные с воспоминанием зачастую довольно запутанными нитями, эти сцены, бывает, каким-то смущающим душу образом оказываются воспоминаниями о том, чему еще только предстоит произойти. Эпизод, который идет следом за этим вступлением, заимствован из «Орешников Альтенбурга», из начала романа; гестапо уничтожило в нем слишком много страниц, чтобы их можно было восстановить. Эпизод назывался «Битва с ангелом» — в другие я не ввязываюсь. Это самоубийство — самоубийство моего отца, этот дед — мой собственный дед, преобразенный семейным преданием. Он был судовладельцем, его чертами, и прежде всего его смертью — смертью старого викинга я еще более щедро наделил дедушку — героя «Королевской дороги». Хотя патентом бочарных дел мастера он гордился больше, чем своим флотом, который к тому же почти весь погиб в море, он считал нужным соблюдать обряды своей молодости — и раскроил себе череп ударом обоюдоострого топора, символически завершая, согласно обычаю, фигуру на носу своего последнего корабля. Этот фламандец родом из Дюнкерка стал у меня эльзасцем, потому что первая немецкая газовая атака была предпринята на Висле * и это потребовало от меня, чтобы мой персонаж служил в 1914 году в германской армии.

Навесы, где клоуны проскальзывают между стволами высоких елей — это навесы, где сушились паруса; место моря занял лес. Об Эльзасе я ничего не знал. Пять-шесть недель я служил гусаром в Страсбуре, в желтых казармах времен Наполеона III, и мои леса родились из смутного воспоминания о лесе в Сент-Одиль или в Верхнем Кёнигсберге; персонажи носят фамилию Berger, потому что эта фамилия может одновременно быть и французской, и немецкой, в зависимости от того, как ее произносить — Берже или Бергер. Но на два года она стала моей: друзья окрестили меня «Берже» во время Сопротивления, и эта кличка за мной осталась. И эльзасцы избрали меня командиром бригады «Эльзас-Лотарингия», и я начал сражение под Данмари через несколько дней после того, как моя вторая жена умерла в клинике на проспекте Эльзас-Лотарингии в Бри-ве. Моя третья жена жила на улице Эльзас-Лотарингии в Тулузе. Но хватит об этом; во Франции много улиц с этим названием. Но снова я женился в Риквире, возле Кольмара.

Не открою Америки, если напомним, что Виктор Гюго написал «Марион Делорм» до того, как встретил Жюльетту Друэ *. Та же причина, которая побудила Виктора Гюго написать «Марион», она же, без сомнения, заставила его взглянуть на жизнь Жюльетты Друэ внимательнее и глубже, чем сделал бы это заурядный содержатель актрис. Но как же все-таки их объяснить, эти бесчисленные примеры творческого акта, осно-

ванного на предчувствии, предзнании? У «дневных сновидцев» вирус сновидения, по словам Т. Э. Лоуренса, порождает к тому же еще и поступки. А когда нет никакого поступка и есть лишь пророческие строки, которые Клодель воспринимал с таким ужасом и где Бодлер и Верлен предвещают свою гибель? «Отплывает душа моя к страшным крушениям...» *

Я думаю о Пеги *, к чьей могиле в полях Марны я ездил с генералом де Голлем: «Блаженны те, кто пал в сраженье справедливым...» Думаю о Дидро, который, возвращаясь из России, писал, что «на донце котомки у него осталось не больше десяти лет», — и ведь так и случилось, с точностью до одного месяца. Думаю об отце Тейяре де Шардене *, который в марте 1945 года на вопрос: «Когда вы хотели бы умереть?» — ответил: «В день Пасхи» — и умер в день Пасхи 1955 года. Думаю об Альбере Камю, который за десять лет до случайной своей смерти писал *: «В то время как днем всегда кажется, что полет птиц лишен какой-либо цели, вечером птицы всегда словно вдруг обретают некую цель. Они летят к чему-то определенному. И так же, быть может, под вечер жизни...»

Существует ли он, вечер жизни?

Сент-Одиль с боем взяла бригада «Эльзас-Лотарингия», и вызволять увезенный немцами алтарь Грюневальда * отправился в подземелья Верхнего Кёнигсберга полковник Берже... Корабль, на котором я все это писал, назывался «Камбоджа»; зубная боль, мучившая персонаж «Годов презрения» в часы его побега, похожа на ту боль, которую мне причиняли тесные башмаки, когда семь лет спустя я тоже совершил побег *. Я много писал о пытке, когда этой проблемой еще почти не занимались; потом я сам чудом избежал пытки. А Хемингуэй? Вычерчивая сложную кривую характеров своих героев, которая, через столько драм мужского бессилия и самоубийств, ведет от истории молодого человека, влюбленного в женщину старше его, к персонажу, влюбленному в женщину моложе его, чтобы завершиться трагедией шестидесятилетнего полковника, чья любовница — молодая девушка, он постоянно предвосхищал собственную судьбу. А Шамфор *? А Мопассан? А Бальзак? Ницше написал последнюю строку «Веселой науки» («Здесь уже начинается трагедия») за несколько месяцев до того, как он встретил Лу Саломе — и Заратустру *.

Мне довелось однажды увидеть Лу Саломе; это была уже старая дама, облаченная в сак. Она только что ответила госпоже Даниэль Галеви, которая спрашивала ее, чаю налить ей или портвейна: «Я сюда пришла не для того, чтобы заниматься ерундой!» Мы с ней оказались вдвоем в углу гостиной, и я говорил о ее книге про Ницше, потом о самом Ницше; устремив взгляд своих чудесных глаз куда-то вдаль и выдвинув вперед рабо-

танную американским дантистом челюсть, она отвечала: «И все-таки мне очень хочется вспомнить, поцеловала я его или нет на той дорожке — знаете, над озером Комо...»

В людях меня интересует удел человеческий: в великом человеке — природа его величия и те способности, какими он величия добился, в святом — характер его святости. И еще некоторые черты, в которых проявляется не столько индивидуальный характер, сколько своеобразие отношений с миром. Ницше говорит: «Два человека научили меня кое-чему в психологии — Стендаль и Достоевский». Достоевский — согласен! — лавина самоуничтожения, это грандиозное наследие самоуничтожения Руссо, не могла не потрясти величайшего иррационалиста своего века. (Насколько бы Ницше яснее и чище звучал, если бы его дура сестра не озаглавила «Воля к власти» * последнюю книгу человека, написавшего «Странника и его тень!» *) Но Стендаль? Точный и как хрусталь прозрачный ум — можно ли по-иному определить его психологию?

Когда Жиду исполнилось семьдесят лет, о нем писали, что это самый крупный французский писатель. О нем как о личности — что сообщают нам даже самые его интимные произведения, включая дневник? Отношения между психологией и литературой были тогда смутные. Жид рассказал мне о визите, который нанес ему Бернар Лазар *, полный решимости ринуться в ту ожесточенную схватку, какой вскоре стало дело Дрейфуса. «Он поверг меня в ужас: это был человек, который какие-то ценности ставил выше литературы...» Чистилище Жиды во многом связано с тем, что Истории для него не существовало. Она не напомнила о себе и моим братьям (да и скольким еще другим), не спросила у них, чем она была в их глазах — которые она и закрыла.

Гностики * верили, что ангелы задают каждому умершему вопрос: «Откуда идешь ты?» В этой книге вы найдете то, что сохранилось у меня в памяти. Иногда я говорил об этом, чтобы на поиски отправились другие. Боги отдыхают от трагедии, не только обращаясь к комическому; связь между «Илиадой» и «Одиссеей», между «Макбетом» и «Сном в летнюю ночь» — это связь между трагическим и областью феерии и легенды. Сознание наше придумывает своих котов в сапогах и своих кучеров, на рассвете превращающихся в мышей, потому что ни человека верующего, ни атеиста не может полностью удовлетворить видимая сторона вещей. Я называю эту книгу «Анти-мемуарами», потому что она отвечает на вопрос, которого не задают Мемуары, и не отвечает на вопросы, которые они задают; а также потому, что в ней, часто в тесной связи с трагическим, присутствует нечто еще, что-то незыблемое и зыбкое, словно метнувшаяся в темноте кошка, что-то экстравагантное и при-

чудливое, чье имя — «фарфелю» * — я, сам того не зная, оказывается, воскресил.

Юнг, психоаналитик, приезжает в качестве миссионера к индейцам Новой Мексики. Они спрашивают у него, какое животное является тотемом его клана, он отвечает, что в Швейцарии ни кланов, ни тотемов нет. После продолжительной беседы индейцы покидают залу по приставной лестнице, спускаясь по ней спиной к перекладинам, как делаем мы, сходя по ступеням обычных лестниц. Юнг же спускается лицом к перекладинам — как и мы все, когда пользуемся приставной лестницей. Внизу индейский вождь молча показывает на бернского медведя, вышитого на куртке у гостя; медведь — единственное животное, которое никогда не спускается спиной ни к стволу дерева, ни к перекладинам лестницы.

III

2

1940

Все та же дорога, те же деревья по сторонам, те же крутые камни Фландрии под гусеницами наших танков. Скука переходов по равнинным дорогам. Последняя наша дорожная скука; ей на смену отныне придут возбуждение или страх: мы направлялись к передовой. Наше внимание томилось и цепенело в отупляющем однообразии пути, в жаре, в реве моторов и грохоте гусениц, которые, казалось, молотили нас прямо по головам. Я знал, какие у нас были лица, когда после долгого перехода мы вылезали из танков: все черты словно стерты, глаза очумело моргают, под касками ландскнехтов торчат клоунские физиономии...

Вокруг без конца и без края фламандская ночь. Позади девять месяцев казарм и квартирного расположения — срок, который нужен, чтобы родить человека.

Девять месяцев тому назад я жил в гостинице в Керси. Горничные не отходили от радиоприемников. Это были старые женщины. Однажды утром я столкнулся на лестнице с двумя из них — мелкими торопливыми шажками они поднимались к себе в комнаты, по страдальческим лицам текли слезы. Так я узнал, что германская армия вступила в Польшу.

К вечеру я увидел в Больё расклеенные приказы о мобилизации. Церковь в Больё обладает одним из самых красивых фронтонов романского стиля, единственным, где скульптор сзади раскинутых рук обнимающего мир Христа изваял его руки на кресте, точно пророческую тень. Древню затопил

тропический ливень. Перед церковью — статуя Богородицы; по обыкновению в честь праздника урожая — так делают ежегодно вот уже пять веков подряд — виноградари привязали к руке Младенца роскошную гроздь. На пустынной площади со стен начинали свисать и отваливаться приказы; по виноградной грозди с виноградины на виноградину скатывались капли воды и в мертвой тишине одна за другой с легким звоном падали в лужу.

Наши танки катили в сторону немецких позиций. Нас было четверо в танке. Задание состояло лишь в том, чтобы идти по ночной дороге и приближаться к войне. Не этой ли ночью предстояло нам умереть?

Я видел, как они тысячами уходили в первые дни сентября, безмянные люди, похожие на трех моих сотоварищей, — пять миллионов человек без возражения явились в казармы.

Громкоговоритель на площади Мулена сообщил о первых боях. Наступал вечер. Две-три тысячи мобилизованных слушали в полном молчании — одинаково неуклюжие в своей солдатской одежде, и в новой, оттого что она была новая, и в старой, оттого что она была грязная. На сборные пункты по всем дорогам тянулись мужчины, и удрученные женщины вели подлежавших реквизиции лошадей. С крестьянской решимостью противостоять наводнению. Народ поднимался, чтобы отразить беду.

Итак, трое моих спутников катили той ночью по унылой дороге навстречу немецким танкам и пушкам.

Механик Бонно, разумеется, торчал в люке. (Ни в одном танке, что шли один за другим по ночной дороге, механики не оставались у машин — к черту уставы!) Поскольку никто из нас уже не мог его слышать, он наверняка беседовал с самим собой, и гусеницы с грохотом расплющивали его монолог.

Когда в сопровождении жандармов он прибыл в роту — небритый, в кожаной куртке, — у него была такая рожа, что капитан тут же отдал его под начало профессионального боксера. Тот при виде этого подарка явно сдрейфил. Я редко встречал настоящую смелость у поклонников кулачной расправы.

Впрочем, кулачной расправы не было. Все ограничилось натянутыми отношениями — и то на первых порах. Бонно предстал перед нами в обличье сутенера, который привык внушать окружающим презрение или страх и хотел бы внушать страх тем более сильный, чем сильнее было выказываемое ему презрение. Но солдаты редко кого презирают, и, когда Бонно, грозно выпятив челюсть, спрашивал: «Чего это ты на меня так уставился?», в ответ он слышал равнодушное: «Я? Да я вообще на тебя не смотрю...»

Он утверждал, будто в драке убил человека, что, без сомнения, было ложью, иначе бы его отправили в штрафной батальон. Но от писарей солдаты довольно скоро узнали, что в его личном деле значатся три судимости за нанесение увечий. Народ куда менее чувствителен к романтической стороне убийства, нежели буржуазия; в его глазах убийца — это особая порода, нечто вроде волка. Важно лишь было узнать, в самом ли деле Бонно принадлежит к этой породе, «правда ли все это или же липа».

Единственным, кто верил в эту романтику, был он сам. Тюремные байки, рассказы о сутенерах, заявления, что он «хотел бороденку отпустить», чтобы иметь право не бриться и сохранить таким образом физиономию уголовника, и блатные его присловья, и песенки Монтегюса *, которые он распевал, отправляясь в наряд, а наряды он получал непрерывно. Злосчастное дитя нищеты... Когда вся рота, столпившись на лестнице, ожидала выдачи башмаков, вдруг раздавались куплеты «Легионера» *, после чего начинался монолог: «Эх, была у меня бабенка одна — пальчики оближешь! Вот кого я любил! Эти суки убили ее...» Далее непременно следовала больничная история, в которой «они» — это и врачи, и вообще все, кто живет в ладу с законом; и недоверчивые товарищи по роте, хоть и слушали его, подталкивая друг друга локтями, точно школьники, обступившие на перемене записного балагура, придумывали сложнейшие комбинации, чтобы не оставлять его дневальным. Он приобщал их к кабацкому фольклору — были тут и жертвы общества, ставшие изгоями из-за пьянства или разврата, и не поддающийся исправлению завсегдатай штрафных батальонов, и человек вне закона, который один на один воюет со всей полицией в каком-нибудь Фор-Шаброле, и некий Боно * (тут наш Бонно, разумеется, не забывал отметить, что он и его персонаж без малого однофамильцы), который через плечо стреляет в префекта; но прежде всего это был чувствительный и отважный сутенер, хотя и подлец, но парень что надо, верный в дружбе и убийца из ревности, который бегит с каторги и кончает свою разнесчастную жизнь в пасти крокодила где-нибудь на реке Марони. Ибо в аду нашего Бонно, населяли ли его фигуры героические или жалкие, был всего лишь один круг — круг жертв.

Когда он принес в казарму раненого зяблика и заявил, что будет его выхаживать, общий страх только возрос: в глазах моих однополчан всякий убийца — это прежде всего псих.

В каждой роте была своя система светомаскировки, и чем строже требовало начальство не зажигать огня, тем хитрее становилась эта система. Унтера вывинчивали лампочки, но

в свой час из-под подушек появлялись другие. Как-то вечером в двух розетках не оказалось тока, и Бонно, объявив, что он «раньше электромонтером работал», прокрался к главному распределительному щиту, после чего отключились все розетки не только у нас, но и в четырех соседних ротах. В темноте возмущались: «У меня все эти хмыри вот где сидят!», «Сапожник несчастный...», «Я-то настоящий монтер, и то соваться не стану, пока не позовут, а тут — здрастье вам!». По тому, как хлопнула дверь в помещении первой роты, все поняли: возвращается Бонно. Голоса смолкли. Потом послышались глухие звуки пререканий, и кто-то — явно не мордобойный капрал — очень четко, спокойно и твердо произнес: «Послушай, Бонно, ты нам надоел. Плевать мне, что ты блатной. Будешь лезть не в свое дело — пожалеешь. А если мои слова тебе не по нутру, вот он я. (Из темноты выступило лицо, освещенное электрическим фонариком.) Так что утром сможешь меня найти, если захочешь».

Так я впервые услышал Праде.

И услышал, как Бонно оправдывается в темноте: «Я не виноват... тут напряжение... пробки...» Я думал, все теперь скажут, что он испугался, но, по общему мнению, выходило не так: «Да он ведь не сдрейфил, он парень что надо, увидел, что не прав, и не стал переть на рожон...» Получалось, не такой уж он псих. Рота готова была его принять, но мы остались без света.

Один механик-водитель, из бывших шоферов автобуса, затащил «Солдатика». Многие из нас были родом из Фландрии, но особую выразительность придавали напеву не наши воспоминания, а его громкость и заунывная протяжность. Песня звучала похоронным маршем, шофер исполнял ее в ритме народного плача, да пел к тому же гнусаво, в нос, и от этого жалкого голоса, который горевал в темноте, песня обретала особенно скорбный смысл. Солдаты еще и еще просили повторить то один, то другой куплет — так в войсковом буфете берут они стакан за стаканом, чтобы надраться до чертиков на этой войне, смахивающей на тюрьму.

Певец, которому осточертела эта не приносящая славы музыка, во все горло затащил арию из «Тоски». После финальных воплей наступило неловкое молчание, шофер, в раздражении буркнув: «Что ж, если этим господам такое не по вкусу!..», повалился снова на койку, и к унынию, которое охватило солдат после первой песни, добавилось тягостное ощущение утраченного единства. Бонно был забыт. Каждый погрузился в собственную печаль. Кто первым тогда вытащил из бумажника фотографию жены, чтобы взглянуть на нее в запретном

свете карманного фонаря? Через пять минут карточки уже кочевали от группы к группе, четыре или пять пилоток склонялись над ними в бледном мерцании, любительские снимки выскальзывали из толстых пальцев и под аккомпанемент ругани падали на солому. Никого, впрочем, особенно не занимали жены других, на них глядели только для того, чтобы показать свою. Но в этом мягком свечении откровенности лица любимых возникали, как тайна, и женские платья говорили о жизни мужей красноречивее, чем могли бы поведать о ней их собственные цивильные фотографии. Благоверной Праде была женщина с каменным лицом и гладко зачесанными волосами; лишь у Бонно оказались фотографии потаскушек — их было целых четыре, одна похлеще другой. А застенчивый малыш Леонар с красным как свекла носом, стрелок-радист нашего танка, после долгих уговоров вытащил из кармана почтовую открытку с фотографией на редкость красивой девушки в ослепительном наряде из перьев. Внизу было написано несколько строк. И ребята, сдвинув головы под Леонаровым носом, причудливо освещенным откуда-то снизу, разобрали, приблизив фонарик вплотную: «Моему котенку Луи» и подпись одной из знаменитостей мюзик-холла.

Леонар был пожарным в «Казино де Пари». Каждый день он с неизменным восторгом взирал на звезду, когда та, размянвившись от оваций, выбегала за сцену. Он ни разу не заговорил с ней. Несмотря на чудовищных размеров рубильник, его лицо могло и понравиться: добрые глаза спаниеля глядели на вас с каким-то щемящим душу выражением, начисто лишенным даже намека на гордость. Тронуло ли танцовщицу его неустанное восхищение, была ли это минутная прихоть? В один из вечеров своего оглушительного триумфа — «даже поднимаясь по лестнице, можно еще было слышать, как кричали «браво!», — она увела его к себе в уборную и переспала с ним. «Но что удивительнее всего: когда мы... ну, когда мы легли, она вдруг уставилась на мою форму — я ее на стул бросил — и говорит, а сама вроде бы вот-вот мне отдастся: «А х , — говор и т , — скажи, ты случаем не из полиции?» — «Да нет же, это пожарника форма...» — «Потому как иначе...» Ну, каково! Видела меня каждый вечер, а что я пожарный — не знала... Мы ведь солдаты... У нас и оружие есть!.. Нужно, правда, сказать, я в ту пору был помоложе...»

У всех была в жизни мечта — Марлен Дитрих, или Мистенгет *, или герцогиня Виндзорская *, но мечта и оставалась мечтою. И на своего товарища, самого неотесанного парня во всей казарме, с которым вдруг заговорили феи, солдаты начали смотреть не просто как на счастливого, нет, он был для них отмечен перстом судьбы, его физиономия кудрявого малыша с баг-

ровым носом была живым доказательством таинственной непостижимости любви; прихоть звезды мюзик-холла невольно зачаровала их, как любовный напиток Изольды *.

— Да ты расскажи, что у вас было потом! — попросил хор, и пальцы его дрожали, снова и снова трогая снимок.

— Потом она мне больше знаков не подавала, и я тогда понял...

Он ответил без малейшего злопамятства, даже без выражения покорности судьбе; он был просто согласен. Ответ вызвал всеобщее одобрение. Правила, воспринятые по наследству от предков, не позволяли моим товарищам быть запанибрата со счастьем.

После фотографии Леонара самый большой успех выпал, разумеется, на долю четырех карточек Бонно. Он прочно занял свое место в роте. И, глядя, как он на марше вдруг наклоняется, чтобы подобрать кем-то оброненный нож, и сует его в патронную сумку, приговаривая: «Такие ножички на улице не валяются, он мне пригодится, пожалуй», ребята постепенно стали понимать, что в этом громиле живет тряпичник, а что такое тряпичник, всякий знает. Потом, спустя время, в нем выявился другой персонаж — исполненный почтения к священнослужителям: «Моя мамаша, сами понимаете, ничему меня толком не выучила, но она научила меня уважать этих людей! Почему государство отобрало у них все, что у них было? Говорю вам, это грабеж! А всё Ротшильды, банкиры и прочее кодро — это они учинили; с бедняков ведь всегда по три шкуры дерут!» Щеголяющий медалью за оккупацию Рура; боготворящий капитана де Мортемара, «у которого я был под началом, когда в Страсбуре гусаром служил, вот это командир, не чета здешним хлюпикам, уж он-то командовать умел, мог сорвать с себя галуны и сказать кому-нибудь из ребят: "Выходи, если ты настоящий мужчина"»; вполне созревший, если бы его произвели в унтеры, стать примерным служакой, с добрым сердцем и сумасбродной башкой, но при этом по-прежнему готовый по любому поводу возмущаться и негодовать. Записавшийся в хозяйские профсоюзы и уважающий респектабельность. «Ну-ну, Бонно, — говорил ему лейтенант, — ведь не такой уж вы непутевый, каким хотите себя представить!» — «Да я непутевым и не был, господин лейтенант, это люди меня таким сделали...» И его толстые губы выпячивались, черные брови взлетали вверх, и казалось, стоит ему сбросить маску «громилы» — и на божий свет выглянет неисправимо детская душа.

Он не рассердился на Праде за его отповедь. Мы были товарищами по танку и частенько ходили вместе в столовую; когда Бонно принимался за свои рассказы, Праде пожимал плечами, смотрел на него и молчал. Бонно быстро сбивался

и чувствовал, что перед ним люди другой породы — те, кто никогда не фантазирует и не мечтает.

Так было и в тот раз, когда мы сидели за литром красного вина, вернувшись с беседы, на которую нас вызывали экипажами по четыре человека и где симпатичного вида лейтенант доказывал необходимость расчленения Германии. Праде, невозмутимый, как азиат, да и похожий на азиата своей плоской физиономией и раскосыми глазами, не глядя на меня и сильно растягивая слова, сказал с акцентом уроженцев востока Франции:

— Это я по поводу того, о чем вы у ребят спросили, что они думают о словах этого сосунка с погонами. Праде так считает: одно дело, ежели с тобой говорят как с солдатом, а ежели как с французским гражданином, дело совсем другое. Как солдат я готов все что угодно слушать, и услышу в этих речах только то, что услышал! А ежели ко мне обращаются как к гражданину — тут другой коленкор. Совсем другой коленкор!

Казалось, он не просто говорит, а яростно возражает некоему невидимому лжецу.

— И тогда мне совсем не нравится, что меня заставляют думать о применении силы. И что мне рассказывают всю эту чушь. Фрицев я знаю, уж я-то их хорошо знаю! Когда они заявили к нам в пятнадцатом, все у нас попрятались в подвалы. Фрицы стучали в двери прикладами. Я был мальчишкой, меня послали открывать. Я дрожал как осиновый лист... Среди них всякие были — одни нам подзатыльники раздавали, а другие совали хлеб. Как и везде.

Выдвинув вперед беззубую челюсть и все так же возмущаясь невидимым лжецом, он повторил:

— Как и везде!

И тем же тоном:

— Но они не дают себе труда обратиться к вам как к гражданам! И все эти красивые слова нужны им только лишь для того, чтобы заставить вас творить гнусности.

— Какие гнусности?

— Какие — пока никто не знает, а потом, когда все увидят...

Часто казалось, что солдаты, вместе с которыми я жил, принадлежат другой эпохе. Слушая Праде, я словно слышал старую республиканскую Францию; за минувшее столетие ее исполненный достоинства голос почти не изменился. Праде почувствовал ко мне дружеское расположение и доверительно сообщил, что один из его братьев, парень восторженный и пылкий, вернулся из Испании, из Интернациональных бригад.

— А ежели кто приезжает оттуда, это вам Праде говорит, пусть и не пытается работу найти!..

Но однажды он отыскал меня и сказал, все так же растяги-

вая слова, с тем же акцентом и словно подчеркивая каждое слово взмахом руки:

— Денщик у капитана удрал. Служить в армии денщиком — это еще не самое скверное...

Я ждал. Когда Праде отыскивал меня и начинал с какого-нибудь отвлеченного рассуждения, это означало, что он собирается просить у меня помощи или совета. Он продолжал:

— Нет ничего хуже, когда офицер...

— Так зачем же тебе соваться ему в лапы, соглашаться на лакейскую должность?

— А кто тут у нас не лакей? Я вам скажу так: ежели ты денщик, ты больше с бабой дело имеешь, чем с ее мужиком. Ежели ты человек серьезный, работу свою выполняешь — я вам так скажу: в конечном счете ты исхитришься, чтобы тебя в покое оставили. С офицером и с прочими мужиками, что между офицером и нами стоят, покоя тебе никогда не видать. А баба — она баба и есть; и уж по крайней мере без погон!

Мне не хотелось произносить слово «достоинство», я стал говорить обиняками, но он тут же сам его произнес:

— Ежели у человека есть собственное достоинство, оно в любой должности у него будет, я вам так говорю! А нет — так его не будет нигде!

У него был сын, единственная частичка абсолюта в том унижительном и мрачном приключении, которое зовется жизнью. Когда он спрашивал, считаю ли я, что война будет долгой, он делал это вовсе не для того, чтобы узнать, сколько времени ему еще придется служить.

— Ему одиннадцать лет, моему мальцу, чуть побольше, чем было мне в ту войну. Война-то и не дала мне образование получить. Закон божий учить меня отдали, а в школу отдать так и не получилось... Он у меня парнишка толковый, очень толковый... Ему могли бы и стипендию дать... А тут война — куда они теперь пошли, эти денежки на стипендию? Чтобы он мог учение продолжать, надо, чтобы я работал, а я видишь как тут работаю: с ружьем дурака валяю. Потеряет он два года, и ничего потом уж не сделаешь, поздно будет... А он бы у нас в семье первым с образованием был!.. Что ни говори, мальчишка в этом возрасте требует, чтобы им занимались... Я-то еще мог бы. Ежели бы он до старших классов дошел, уж тут бы я пас, и сейчас бы еще мог — правда, кроме правописания. Арифметику я здорово зубрил... Я-то с ним заниматься могу. А жене разве под силу! У нее в семье целая куча детишек была...

И своим обычным безапелляционным тоном, на этот раз с оттенком грусти:

— Она не слишком толковая...

Праде и вел танк в ту ночь. И поскольку в наших танках, хотя они были получены прямо с завода, система сигнализации между командиром танка и механиком-водителем не действовала, мы были соединены двумя веревочками; они были привязаны у него к запястьям, а концы я зажал в кулаке.

Несмотря на грохот гусениц, нам вдруг показалось, что наступила тишина: танки сошли с дороги. Как лодка, вырвавшаяся из объятий песка, как самолет, что оторвался наконец от земли, мы погрузились в родную стихию; наши мышцы, судорожно сжавшиеся из-за вибрации брони и нескончаемых ударов гусениц по каменистой дороге, сразу расслабились и вступили в согласие с безмятежностью лунного света...

Так, избавленные от пут, катили мы примерно с минуту между садами в цвету и пластами тумана. В чаде касторового масла и жженой резины я нервно вцепился в наши веревочки, готовый остановить танк, если надо будет открыть огонь: килевая качка, даже в этих, казалось бы, ровных полях, была все же слишком сильна, чтобы наводить пушку на цель, продолжая движение. С того момента, как мы покинули дорогу и редкие предметы, едва угадываемые в полутьме, могли оказаться целями, мы еще сильнее ощутили раскачивание наших угловатых галер. Тучи скрывали луну. Мы вступили в хлеба.

В эту минуту для нас началась война.

В языке не имеется слова, которое обозначило бы ощущение человека, движущегося навстречу врагу, а меж тем это чувство так же специфично и сильно, как половое влечение или страх. Весь мир становится безликой угрозой. Мы шли по компасу и различали лишь то, что проступало на фоне неба: телеграфные столбы, крыши, верхушки деревьев; фруктовые сады — они были чуть посветлее тумана — теперь исчезли, и казалось, что сумрак, сгустившись, пополз вровень с землей — вровень с полями, которые нас раскачивали и сотрясали; лопни хоть одна гусеница — мы будем убиты или попадем в плен. Я знал, с каким напряжением раскосые глаза Праде всматриваются в приборный щиток, чувствовал, как веревка то и дело щекочет мою ладонь, будто вот-вот, предупреждая меня об опасности, последует резкий рывок... А ведь в соприкосновение с противником мы еще не вошли. Война поджидала нас чуточку дальше — может быть, за взьерошенным колыханьем телеграфных столбов, на бетонной дороге, что фосфорировала при свете снова возникшей луны.

Неясные размашистые линии ночной равнины, пласты ярко-белого тумана, еще раз вынырнувшего из мрака, поднимались и опускались в такт движению танка. От боковой качки, сухой и резкой, от неистовой вибрации, возобновлявшейся вся-

кий раз, как между пахотных полос проступала твердая земля, все тело судорожно сжималось, как в автомобиле в секунду аварии; я вцепился в башню не столько руками, сколько мускулами спины. Стоит бешеной этой вибрации оборвать один из бензопроводов, и танк в ожидании снаряда закружится на месте, точно припадочный кот. Но гусеницы по-прежнему молотили по полю и по камням, и в смотровые щели своей башни я видел, как за едва различимыми пятнами невысоких хлебов, и садов, и тумана поднимается и опускается на ночном небе линия горизонта, которую пока еще не перечеркнула ни одна орудийная вспышка.

Немецкие позиции были перед нами; спереди нашим танкам огонь был не страшен — разве только снаряд угодит в оптический прицел или в орудийный щит. Мы верили в надежность нашей брони. Врагом были не немцы, а поломка гусеницы, мина или яма-ловушка.

Яма-ловушка в первую очередь. О минах мы говорили не больше, чем о смерти: либо ты взорвешься, либо не взорвешься — тут обсуждать было нечего. Другое дело — яма; мы заслушались немало историй о ямах первой войны, да и во время учений повидали современные ловушки с наклонным дном, чтобы танк не мог поднять нос, и с четырьмя противотанковыми орудиями, которые приводятся в действие падением танка в яму. Среди нас не было ни одного, кто бы уже не видел себя в скрещении наведенных на него четырех орудийных стволов в тот самый миг, когда они открывают по нему огонь. И мир ловушек был невероятно разнообразен, начиная с этого адского устройства или замаскированной на скорую руку яемки, падение в которую включало особый сигнал перед тяжелым дальнобойным орудием, и кончая простой рытвиной.

От древнего союза человека с землей ничего не осталось: хлеба, среди которых мы тряслись в темноте, были уже не хлебами, а маскировкой для танков; не было больше земли для жатвы, была лишь земля для мин, и казалось, что танк сам собою ползет по направлению к западне, которая тоже существует сама по себе, и неведомые существа из грядущего вступают этой ночью в свою междуособную битву, никак не связанную с человеческими делами...

На низком холме появились наконец очень частые сиреневые вспышки — тяжелая германская артиллерия. Смешалось ли это недолгое полыханье со светом луны — или в самом деле начался обстрел? Вспышки пробежали по всему фронту, начавшись справа и кончившись слева от нас, и при этом довольно далеко, насколько позволяли нам видеть наши раскачивающиеся башни, словно по горизонту чиркнули спичкой. Но возле нас — ни одного разрыва. Наши моторы перекрывали любой

шум; мы, несомненно, покинули хлебное поле, ибо гусеницы возобновили свою бешеную молотьбу. Я приказал на мгновение остановиться.

Из обрушившейся на меня тишины донесся гул канонады, ее толчки гасил ветер. И в мои уши, где еще глухо ворочался наш собственный грохот, тот же ветер, сквозь разрывы падавших сзади нас немногих снарядов и сквозь стремительный перестук гусениц, доносил глубокий шум леса, трепет гигантских пологих тополиной листвы — движение невидимых французских танков в глубину ночи.

Обстрел прекратился. Сзади нас, а потом впереди разорвалось еще несколько снарядов, и, когда истаял их гранатовый блеск, снова установилась тишина ожидания, вся наполненная прохождением наших танков.

Мы снова двинулись в путь, наращивая скорость, чтобы догнать наш отряд. Грохот гусениц возобновился, и мы с Праде снова оглохли, снова оказавшись приклеенными к броне и к рычагам управления, и воспаленными глазами ловили каждую тень, стараясь не пропустить фонтана земли и камней, когда он взмоет пред нами багровым взрывом, звука которого мы не услышим. В прогалах между огромными тучами ветер гнал к немецким позициям звездные лужи.

Нет ничего более медленного, чем продвижение к полю боя. Слева от нас двигались в майском тумане два других танка нашего отряда, дальше — другие отряды, еще дальше и сзади растянулись в лунном свете все наши роты. Леонар и Бонно, слепо уткнувшиеся в броню, тоже знали об этом, как и прильнувший к своему перископу Праде и как я у своих смотровых щелей; всем телом я ощущал — так же явственно, как шлепанье гусениц по жирной почве, — параллельный прорыв наших танков сквозь ночь. Впереди другие танки шли нам навстречу в той же светлой ночи; в них, так же скрючившись, тоже сидели люди, отрешенно глядящие в ночь. Слева от меня носы наших танков смутно вздымались и снова ныряли на менее темном фоне хлебов. За ними двигались легкие танки и густые массы французской пехоты... Крестьяне, которые в первые дни сентября на моих глазах молча тянулись по дорогам Франции к своим казармам, стекались теперь к фламандской равнине, по которой угрюмо катилась наша рота... О!.. да пребудет победа с теми, кто вершит войну, войны не любя!

Все ближние формы внезапно исчезли, кроме верхушек деревьев; вровень с землей ничего уже не было видно; мрак хлынул на танки, шедшие рядом. Должно быть, туча закрыла луну, которая поднялась теперь так высоко, что в смотровые щели была уже мне не видна. И мы начали снова думать о минах, к которым влекло нас в упругих хлебах это движение хо-

рошо смазанной системы шестерен, и братские тени, окружавшие нас, бесследно исчезли. Отрезанные от всего, что не было Праде, Леонаром, Бонно, мною — что не было нашим экипажем, — мы остались одни в целом свете.

Рука стрелка-радиста Леонара скользнула между моим бедром и башней, положила рядом с компасом записку. Я включил освещение, и мои глаза, ослепленные светом, с трудом, буква за буквой, в конце концов разобрали в мигании красных солнц: «Танк Б-21 наткнулся на яму-ловушку».

Праде погасил. Сквозь рваные тучи лунный свет опять и опять пробегал по равнине... Наши танки вынырнули из тьмы немного позади нас — мы их, оказывается, обогнали. Потом впереди, метрах в ста, пышно, как в кино, разорвался снаряд, отозвавшись дрожью в нашей броне. Дым, в первую секунду казавшийся красным, наклонился под ветром и сделался матово-черным в свеченье луны...

Другие разрывы. Немногочисленные. Это был даже не заградительный огонь. Наш отряд рванулся быстрее вперед, но пока еще не на предельной скорости. Какую пользу противнику мог принести этот рассеянный оружейный огонь? Быть может, у немцев недостаточно артиллерии? Мой взгляд снова уперся в компас, слабо мерцающий в темноте. Я потянул за одну из веревочек, выправляя для Праде курс: грунт стал неровным и твердым, танк повело вбок... Вдруг мы заскользили куда-то вниз, точно нас всасывала земля.

Это неправда, будто в минуту смерти перед человеком проходит вся его жизнь!

Подо мной кто-то взвыл. Бонно? Леонар, уцепившись руками за мои ноги, кричал:

— Праде! Праде!

Эти вопли, пронзительные, как птичьи крики, долетали до меня откуда-то из-под ног в тишине катаклизма, наступившей после того, как Праде, чувствуя, что мы падаем, рванул тормоза.

Яма!

Вновь заработавший мотор заглушил голоса.

Праде устремил наклонившийся танк вперед.

— Назад! Назад!

Я дернул изо всех сил за правый шнурок — и он лопнул. Те падавшие время от времени снаряды, взрывы которых недавно я видел, подрывали запеленгованные ямы-ловушки. Земля содрогалась от гула избежавших западни танков, которые мчались вперед, обходя стороной нашу гибель...

Праде попробовал было взять разгон и тут же дал задний ход. Сколько секунд до снаряда? Наши головы были втяну-

ты в плечи, нервы на пределе. Танк яростно ткнулся носом в преграду, задрал хвост, как японская рыбка, попятился, косо въехал задом в стенку ловушки и весь затрепетал, точно топор, вонзившийся в дерево. Потом соскользнул, оседая. Что потекло у меня по носу — кровь или пот? Мы повалились набок. Бонно, который не переставая вопил, попытался было открыть боковой люк, но тут же захлопнул его. Люк оказался теперь почти под танком. Одна гусеница вращалась в пустоте; Праде рванул на второй, танк снова свалился вниз — отвесно, будто попал еще в одну яму. Моя каска звякнула, стукнувшись о башню, и мне показалось, что голова у меня раздувается, раздувается, хотя ожиданье снаряда вбило ее в плечи, как гвоздь. Если дно ямы окажется рыхлым, мы увязнем, и снаряд может не торопиться... Нет, танк пошел вперед, отступил, двинулся снова. Дно современных ловушек устроено так, что танк застопоривает; да и противотанковые пушки с их перекрестным огнем уже давно должны были выстрелить; значит, мы попали в яму, которая уже сыграла свою роль. Если ее стенка прежде была вертикальной или наклонной, мы, пожалуй, и выберемся (но что говорить «если прежде», а снаряд...); если же мы оказались в воронке, нам не выбраться никогда, не выбраться никогда, не выбраться никогда. Невидимая стенка была где-то рядом. Обезумевший Бонно без конца изо всех сил открывал и закрывал люк, и броня, несмотря на грохот мотора, особенно оглушительный в этой яме, гудела, как колокол. Почему нет снарядов? Леонар отпустил мои ноги и стал молотить по ним своим башмаком. Он хотел открыть люк моей башни. Снаряд взорвется в яме, из ямы не выскочишь, бежать из танка еще глупее, чем оставаться в бездействии внутри, между безумцем, который пытается переломать вам ноги, и другим полоумным, очумевшим от боязни выйти и от боязни остаться, который лихорадочными ударами люка выбивает зловещую барабанную дробь кошмарного бреда. Я оставил башню, наклонился, чтобы добраться до Праде, который в эту минуту вдруг включил освещение. Снаряда не будет, при ярком свете не убивают, убивают лишь в ночной темноте...

Пока я возился, протискиваясь во внутренний ход сообщения, Леонар юркнул в башню на мое место; он толкнул башенный люк и замер с разинутым ртом; из танка он выскакивать не стал, а присел на корточки и, ни слова не говоря, обернулся ко мне; лицо его застыло от ужаса, плечи затряслись на черном фоне распахнутого люка. Гусеницы работали вхолостую. Мы были в воронке. На четвереньках я кинулся к Праде, оттолкнув Бонно, который, не переставая вопить, тряс боковой люк.

— Заткнись! — крикнул я мимоходом.

— Я? Я ничего не говорю!.. — откликнулся вдруг его со-

вершенно нормальный голос, который я узнал, несмотря на рев мотора.

Глаза у него бегали, лицо подергивалось, как у ребенка, который съезжился в ожидании подзатыльника; потом он выпрямился, ударился каской о потолок и снова упал на колени. Его физиономия персонажа из фильма ужасов приобрела в преддверии смерти жутковато-невинное выражение.

— Я ничего не говорю... — повторил он (так же, как я и как мы все, он в то же время продолжал вслушиваться: ждал снаряда).

Оттолкнув от себя люк, он встретился наконец со мной взглядом, растопырил руки и, в глубоко нахлобученной от удара каске, сидевшей на нем, точно шляпа, весь содрогаясь от вибрации буксующих гусениц, снова начал голосить, не смолкая и не сводя с меня глаз.

Я добрался до Праде, смог чуть-чуть распрявиться. Мы находились в передней части танка, нос которого медленно поднимался, и мое тело постепенно возносилось вверх, словно этот освещенный в ночи, застрявший в ловушке танк протягивал его смерти как искупительную жертву. Неужто сейчас мы опять свалимся на дно? Я почувствовал, что нервы мои наконец сдают. Гусеницы по-прежнему буксовали; промасленными окровавленными руками я скреб воздух, как роющий землю зверь; я будто сам сделался танком...

Гусеницы вгрызлись в землю!

Замаскированная рытвина? В яме-ловушке гусеницы бы так не вгрызались. Неужто мы выскочим раньше, чем взорвется снаряд? Трое моих товарищей стали мне самыми старыми друзьями. Люк опять грохнул, точно взрыв. Ведь может же так случиться, что немецкие артиллеристы из-за смены дежурств не заметят сигнала падения нашего танка в яму, или наблюдатель проспит, или... Что за идиотство! Но уже полным идиотством было надеяться, что существуют ловушки без наведенных на них орудий! Гусеницы все еще вгрызались в землю.

Праде выключил свет.

— Ты чего делаешь?

Несмотря на неистовое желание выскочить из танка, я воспринимал тишину вокруг нас как еще один слой брони: пока мы не слышим никакого свистящего звука, мы еще несколько секунд будем живы. Да перестанет когда-нибудь хлопать этот люк? Я продолжал вслушиваться — с тем же остервенением, с каким до сих пор вглядывался, и за гонгом люка улавливал только рокот наших танковых волн; отражаясь от стенок ямы и от брони, он накатывался на нас и удалялся, затухая... Прижавшись каской к каске Праде, я прокричал в отверстие его наушника:

— Давай вперед!

Праде, с задранными вверх ногами, прикованный своим креслом к неподвижному, вставшему на дыбы танку, повернулся ко мне; лицо у него постарело и, как и лицо Бонно, приобрело выражение полнейшего простодушия; его оцепенелые глаза и все три зуба изобразили снисходительную улыбку умирающего.

— Вот уж теперь-то моему мальцу придется худо... Видишь, гусеницы снова буксуют...

Сквозь его слова я пытался не пропустить таинственного зарождения снарядного свиста.

— Ежели вы так уж настаиваете, можно попробовать на брюхе драпануть...

Свист... Ни у кого из нас больше не было шеи. Праде лягушачьим движением убрал ноги с педалей, защищая живот. Снаряд разорвался впереди нас, совсем рядом.

Свет погас. Съездившись, ждали мы следующего снаряда, уже не свиста, не взрыва, а далекого орудийного выстрела, голоса самой смерти. И китайское лицо Праде неуловимо проступило во мраке, обрело четкость и ту свинцовую торжественность, какой отличаются лица убитых; таинственное свечение, смутное и очень слабое, наполнило танк. Как будто смерть подавала нам знак. Неподвижное лицо Праде, поразительно нездешнее — страх стер с него все признаки жизни, — все отчетливее выступало из темноты... Я даже больше не прислушивался: смерть была уже в танке. Праде опять повернул ко мне голову, увидел меня и откинул назад обессиленную шею — сверхъестественный ужас избавил его даже от мысли о снаряде, — голова с размаху грохнулась о броню. И колокольный удар каски, развеяв пугающий призрак, заставил меня наконец открыть стекло перископа; вставший на дыбы танк глядел в небо, в котором только что выбралась из облаков луна, и то, что так странно озаряло наши безжизненные лица, оказалось перископным зеркалом, отражавшим лунное небо, огромное и снова полное звезд.

Снова хлопнул люк. Чья-то рука уцепилась мне в спину. Я хотел ее согнать, но не успел.

— Можно выйти, ребята! Можно выйти! — завопил своим детским голосом Леонар.

Это он толкал меня в спину. Он выбрался из танка во время нашего маневра, вскарабкавшись по ходу сообщения — теперь вертикальному, — как по строительным лесам.

— Есть осыпи! Это что-то вроде траншеи. Метров двадцать или тридцать, не меньше! С осыпями!

Праде тут же дал задний ход. Мы с Леонаром повалились ничком. Танк опять принял горизонтальное положение. Я под-

нялся и через боковой люк, который Леонар оставил открытым, выскочил наружу, а танк какое-то время еще продолжал пятиться задом, потом остановился по левую руку от меня, и в ночной мгле, где и танк и яма сливались в неразличимую массу, одиноко светился только прямоугольник его распахнутого люка: Праде удалось снова включить свет.

Наверху, на поверхности земли, уже не с таким густым гулом, каким он слышался нам внутри брони, продолжало идти наше танковое соединение... Казалось, снаряды вылетают из орудийных стволов очень медленно, а потом набирают стремительно скорость, чтобы быстрее свалиться на нас; и каждый свист, как нам казалось, устремляется к нашей яме. Один из снарядов разорвался впереди, совсем рядом, на том же месте, что первый. В момент его вспышки я успел разглядеть, что стенка, которую мы только что атаковали, стала крениться... Лишь бы нас не убило, прежде чем мы выберемся из ямы! Я не решился включить электрический фонарь. Впрочем, я оставил его в танке.

— Можно попробовать... — сказал Праде в темноте рядом со мной.

Он тоже приклеился к стенке: без защиты брони мы себя чувствовали голыми. От глиняной поверхности исходил грибной запах, напомнивший детство... Праде зажег спичку; ее свет проник в темноту метра на два, не дальше. Опять послышался свист; зародившись на высокой пронзительной ноте, он стремительно приближался, переходя на басовые тона; плечом вжавшись в глину, не отрывая глаз от клочка неба, которым сменился теперь красный отсвет разрыва, мы в который раз ждали. Умирать привыкнуть нельзя. Спичка была удивительно неподвижной, пламя судорожно трепетало. Как уязвимо и хрупко человеческое тело! Мы прижались к стене нашей братской могилы — я, Леонар, Бонно, Праде, — сиротливо сливаясь в некое подобье креста. Наш клочок неба исчез, погас, комья земли скатывались на плечи и каски.

Танковые волны все перекатывались над нами, но уже в обратную сторону. Отступление? И если мы выберемся, то лишь для того, чтобы попасть под удар немецких бронетанковых колонн?

Я уже считал, что вскоре мы выберемся...

Показался электрический фонарик Бонно. Бонно больше не вопил. По-прежнему прижимаясь к глине, мы все четверо поползли вверх. В каком-то уголке моего сердца сидела занозой мысль о снаряде, и ничто на свете не могло меня от этой мысли отвлечь. Маскировавший ловушку настил охватывал довольно большую площадь вокруг дыры, которую пробил в нем рухнувший в яму танк; обвалившаяся стенка шла вверх почти полого.

Мы взбирались по ней, пока не уперлись в древесные стволы, прикрывавшие ловушку.

До дыры нам было не добраться; не зря ведь побег из тюрьмы не совершают через потолок. Нужно было раздвинуть два самых ближних бревна. Сидя под ними на корточках, мы плечами пытались столкнуть их с места, при каждом взрыве превращаясь в окаменевшие перуанские мумии, но с тех пор, как у нас появилась возможность действовать, страх превратился в действие. Если бревна не поддадутся, их, может быть, удастся своротить танком. Он стоял сзади нас, молчаливый и черный, чернее, чем яма; из приоткрытого люка вырывался луч света, в котором плясал ночной мотылек...

Не укрываясь, мы бросились к танку, в нем мы опять ощущали себя точно за крепостными стенами. Праде, маневрируя, поставил машину носом к обвалившейся стенке. Перед танком громоздились завалы рыхлой земли. Наверху танковые волны продолжали откатываться к французским позициям... А мы — мы начали увязать. Праде сунул под гусеницы вспомогательный брус; танк вздыбился, нерешительно замер; гусеницы схватились за грунт, словно руки. Танк еще немного приподнялся, застопорил, забуксовал, натываясь на бревна потолка, безнадежно в них застревая. Если настил не поддастся, наши усилия приведут лишь к тому, что мы будем увязать все глубже и глубже; не пройдет двух минут, и корпус танка прижмется днищем к земле, гусеницы завертятся вхолостую.

Вспомогательный брус был теперь бесполезен.

— Пошли за камнями!

Праде не отвечал.

На полных оборотах двигателя стальная громада вгрызлась в древесный настил; яростным прыжком агонизирующего быка, в звенящем грохоте бревен, танк отшвырнул меня к башне; сзади послышался крик, звякнула каска, и вот мы уже скользим, словно лодка... Поднявшись на ноги, я головой оттолкнул Праде, прилипшего к перископу, выключил освещение — в зеркале без конца и края расстилалось приволье равнины...

На предельной скорости мы мчались среди рвущихся рядов, и каждый из нас, скорчившись в своем тесном закутке, думал лишь об одном — о ближайших ямах-ловушках. И однако, ночь, которая больше уже не была могильным склепом, живая ночь представлялась мне изумительным даром, бескрайним прорастанием жизни...

Когда мы вошли в деревню, немцы уже оставили ее. Мы вылезли из танка. Кругом полнейшая неразбериха. Мы шли, как-то странно пошатываясь; я уже начинал привыкать к этому состоянию крайней усталости, когда солдат бредет опустив голову, с отвисшей губой, и у него перед глазами колышется мут-

ная пелена. Кое-как замаскировав свой танк (да и другие машины замаскированы были не лучше), мы повалились на солому под каким-то навесом. На мгновение включив свой фонарик, я увидел Праде; он лежал, зажав солому в горсти — он сжимал ее так, словно в ней была его жизнь.

— Значит, нам еще не суждено... — сказал я.

Наверняка он думал в эту минуту о том, что его мальцу повезло.

— Война-то еще не кончилась! — сказал он с недоброй улыбкой.

Он отпустил солому и закрыл глаза.

Утро занялось ясное, словно и не было никакой войны. Догорала заря. Праде, поднимаясь, меня разбудил; он всегда вставал самым первым из нас:

— У меня еще будет время поваляться, когда помру!

Я отправился на поиски водоразборной колонки. Студеная вода пробудила меня не только от сна, но и от кошмара вчерашней ямы. В нескольких шагах от меня Праде что-то разглядывал. Он покачал головой:

— Ежели мне бы сказали, что я буду глядеть на кур и удивляться, я бы не поверил!..

Еще не украденные куры мирно бродили по двору, будто ничего не знали про войну, но своим круглым маленьким глазом следили за нами со скрытой настороженностью. На них-то и смотрел Праде; я тоже стал глядеть на механические движения, с какими они клевали корм, на резкий удар головой, словно ее приводила в действие особая пружинка, и мне казалось, что я ощущаю ладонями их тепло, словно я уже держал их в руках, тепло только что снесенных яиц — тепло жизни; всё же еще оставалась на этой странной земле живая скотинка... Мы шагали по утренней деревне, в которой не было крестьян. Утки, сороки, комары... Я увидел перед собой две лейки с набалдашниками в форме гриба, я любил играть такими грибами, когда был ребенком; мне вдруг показалось, что человек пришел из глубины времен только лишь для того, чтобы изобрести лейку. Посреди брошенных на произвол судьбы кур, расхаживавших кто спокойно, а кто воровато, заяц с чересчур грузным задом сделал попытку улепетнуть, как обычный садовый кролик; на утреннем солнце сверкали стога, искрилась в каплях росы паутина; слегка оторопев, я долго смотрел на метлу, на этот нелепый цветок, рожденный человечеством, и на окружавшие ее растоптанные цветы, рожденные землей... Увидев, как молниеносно и гибко метнулась прочь кошка, я изумился тому, что существует на свете этот конвульсивный комок пушистого меха. (Впрочем, удирали все кошки. А вот собаки оста-

вались на месте — наверное, так же, как и при вступлении в деревню наших танков.) Да что же такое сидело во мне, что восхищалось при виде того, как на этой так здорово придуманной и отлично сработанной земле собаки поступают, как надлежит поступать собакам, а кошки — как и положено кошкам? Взлетели сизые голуби, оставив под собою kota, вцепившегося в самый край своего несостоявшегося прыжка; они описали в небе, полном морской синевы, бесшумную дугу, переломили ее и, сделавшись вдруг совсем белыми, продолжили полет уже в другом направлении. Я бы не удивился, если б увидел, что они возвращаются, и бегут по земле, и прогоняют кота, и котяра взмывает в зенит. Незапамятную старину, когда звери умели говорить, поэзию древнейших сказок — ты их приносишь с собой, побывав по ту сторону жизни...

Так же как в ту пору, когда я впервые встретился с Азией, я слышал, как гудит и рокочет колокол столетий, уходящих едва ли не в те же глубины, что и сумрак минувшей ночи: эти риги, наполненные зерном и соломой, риги, чьи балки прятались за стручками, заваленные боронами, камышом, дышлами, деревянными повозками, риги, где всё сплошь было лишь деревом, соломой и кожей (металл подлежал реквизиции), риги, окруженные кострищами беженцев и солдат, — они были ригами готических времен; наши танки в конце улицы запасались водой — чудовища, что на коленях прильнули к источникам, о которых речь идет в Библии... О жизнь, такая невысказанно древняя!

И такая упрямая! В каждом крестьянском дворе громоздились запасенные на зиму дрова. Солдаты разжигали из них первые костры. Повсюду аккуратные грядки овощей... На всем лежала здесь печать человека. На проволоке деревянные зацепки плясали на ветру, словно ласточки. Развешанное белье еще не высохло — жалкие чулки, рабочие рукавицы, синие спецовки землепашцев; в этом запустении, в этом разгроме полотенца хранили инициалы владельцев...

Мы и стоявшие где-то впереди немцы были годны уже только на то, чтобы манипулировать своими смертоносными механизмами; но древнее племя людей, которых мы прогнали и которые оставили здесь свои орудия труда, свое белье и свои инициалы на полотенцах, — оно, мне казалось, пришло сквозь череду тысячелетий, явилось из мрака, с которым мы встретились в эту ночь, медленно пришло, скупо нагруженное всем этим скарбом, брошенным здесь перед нами, — нагруженное тачками и боронами, библейскими плугами, собачьими будками и крольчатниками, пустыми кухонными печами...

Мои ноги не забыли стискивавших их рук Леонара. Неужто теперь всегда предстояло мне помнить детскую физиономию

Праде, ошеломленное лицо Бонно, оборвавшего свой вопль, чтобы сказать: «Я? Я ничего не говорю!» Эти призраки колыхались перед ригами, перед солнцем, которое дрожало на концах молодых ветвей, колыхались лишь для того, чтобы придать им еще большую яркость.

Может быть, страх всегда сильнее всех других чувств; может быть, она изначально отравлена — радость, дарованная единственному животному, которое знает, что эта радость не вечна. Но в то утро все мое существо было только рождением. Я еще нес в себе вторжение земной ночи, происшедшее в тот самый миг, когда мы выбрались из ямы-могилы, — могучее прорастание жизни в углубившемся мраке созвездий, что мерцали в разрывах мчавшихся по небу туч; и когда я увидел, как вынырнула внезапно из ямы эта тугая и гулкая ночь, тогда-то и стало всходить, поднимаясь из ночи, чудотворное откровение дня.

Мир бы мог быть простым, как небо и море. И глядя на все эти формы, которые были всего лишь деревней, покинутой, обреченной; глядя на эти риги Рая и бельевые защепки, на эти стильные кострища и на эти колодцы, на эти торчавшие там и сям кусты шиповника — на прожорливые эти колючки, которые, дай им волю, через какой-нибудь год покрыли бы всю округу; глядя на этих животных, на деревья, дома, я чувствовал, что стою перед необъяснимым даром — перед видением. Все это могло быть иным. Как все эти единственные в своем роде формы были созвучны земле! Были другие миры, мир кристаллов, мир морских глубин... Со всеми своими деревьями, ветвящимися, словно кровеносные сосуды, вселенная была таинственна и совершенна, как молодое тело. Я проходил мимо крестьянского дома; хозяева, убегая, оставили дверь открытой, и мне видна была часть разграбленной комнаты. Ах, израильские пастухи не принесли Младенцу даров *, они ему только сказали, что в ночи, куда он пришел, хлопают створки дверей, приоткрытые в жизнь, которая впервые была явлена мне в это утро, такая же сильная, как мрак, и такая же сильная, как смерть...

На скамейке сидела чета престарелых крестьян, куртка старика вся была в паутине — видно, он вылез только что из подвала. Праде подошел, улыбнулся, выставив наружу все три своих зуба:

— Что, дед, на солнце греется?

Поговору старик признал в нем своего брата крестьянина; он глянул на Праде доброжелательно, но с отсутствующим видом, словно одновременно глядел куда-то дальше. Седые волосы женщины были заплетены в тощие тугие косицы. Она и ответила Праде:

— А что же нам еще делать? Вы-то молодые, а когда человек стар, у него только и есть что немощь...

Она принадлежала вселенной, как камень... Все же она улыбнулась медленной, запоздалой, задумчивой улыбкой; казалось, где-то вдали, за башнями танков, сверкавших росой, как и ветки, маскировавшие их, она видит смерть и смотрит на нее снисходительно, и даже — о таинственное движение век, острие тени в уголках глаза! — с иронией...

Приоткрытые двери, белье, риги, отпечатки людей на вещах, библейская заря, в которой теснились столетия, — как глубоко проникала ослепительная тайна утра в сердце того, кто прикоснулся взглядом к этим увядшим губам! Стоило вместе со смутной улыбкой снова возникнуть тайне человеческого бытия — и воскрешенье земли становилось лишь трепетной декорацией.

Я знал теперь, что означают древние мифы о существах, вырванных из обители мертвых. Я почти что не помнил о смерти; то, что носил я в себе, было открытием тайны, очень простой, непередаваемой и священной.

Так, быть может, Господь глядел на первого человека...

Почему мне вспомнилось это утро 1940 года и его раздавленные танками георгины?

Это было возвращение на землю, подобное тому, какое я пережил после единоборства самолета с ураганом, когда я летел на поиски легендарного города царицы Савской *, — но в ту ночь я об этом ни разу не вспомнил. Необычный вид городов, их скорняжные лавки, где лежит на шкурах собака, и эта огромная красная вывеска перчаточника, вознесенная над Боном, как рука неведомого божества, — все это не доходило до первозданных глубин крестьянской жизни, которая так же естественно сочеталась со смертью, как день сочетается с ночью.

И моя память — к утру или к ночи она тяготела? Почему этот бой среди стольких других? Потому что был он единственным, где рядом со мной сражались не добровольцы. Бой, в который идут добровольцы, словно бы выражает самый смысл их жизни; ожиданье снаряда в яме-ловушке для танков словно бы вопиет о том, что жизнь лишена всякого смысла. Кроме тех случаев, когда роковая неизбежность войны становится братством.

Назавтра мы узнали, как нам удалось спастись. Наши танки попали на полосу запеленгованных ям-ловушек, на которые немецкие орудия, расположенные довольно далеко, были наведены с недостаточной точностью; снаряды, которые были предназначены нам, взорвались за пределами ямы, вызвав обвал одной ее стенки.

Мощный гул, который с наступлением вечера поднимается к небу от расположенных в тропиках городов, шел от Бомбея, с другой стороны залива. То, что я знал — или интуитивно чувствовал — о жизни Праде, Бонно, Леонара, я ведасть не ведал о людях, окружавших меня в Индии. Чужестранный визирь, повстречавшийся молодоженам из Мадур, — не сыграл ли он в их жизни такую же роль, что и звезда мюзик-холла в судьбе Леонара? Последовательное чередование этой зловещей ночи и этого искрящегося росой утра (я бы умер на фламандской земле, откуда родом мои предки...), а вскоре и пылающего Дюнкерка — чередование крови, возрождения и смерти — было чередованием Вишну и Шивы *. Кто же тогда был индусским Праде? Но если даже его не существовало вообще, если романтическому приключению Леонара, и всеобщему изумлению, и фотографиям женщин, переходившим из рук в руки в круглых маленьких пятнах света электрических фонарей, соответствовали бы только виденья «Рамаяны» *, подлинный диалог мог бы состояться не между «Бхагавадгитой» *, и Евангелием, и не между Элефантой * и Шартром *, а между «Величием» в полумраке пещеры и лицом Праде, синеватым, фосфоресцирующим, преображенным луной, которую перископ отражал как свечение с м е р т и , — между цивилизациями, для которых смерть имеет смысл, и людьми, для которых жизнь смысла не имеет.

Несмотря на элементарные чувства... «Он у меня парнишка толковый, мог бы каким-нибудь стоящим делом заняться», — говорил Праде; и сразу же после боя: «На этот раз моему мальцу повезло...» А аскет Нарада * кричал: «Мои дети!» — вслед улетающему ветру, перед тем как Вишну сказал ему: «Я ждал более полчаса...»

Но как же были мелки эти чувства пред ликом единства мира, когда я воротился из а д а , — перед уверенностью, что мир — в гораздо большей мере, чем л ю д и , — не мог быть иным. Перед убежденностью, которую внушала здесь эта опьяненная ирреальностью вера, убежденностью, с которой пленная майя * в своих извечных циклах приводила на землю всегда всё тех же людей, те же сны и тех же богов.

Как гласит песня Мадур, храбрый бог-слон Ганеша * «снова прискачет верхом на крысе, и из-за туч будет сиять смеющаяся луна», как сияла она над моим самолетом в Испании, над моим танком в сороковом году, над снегами Эльзаса в сорок четвертом и над тысячами безмятежных пейзажей на протяжении вечности... «Вот священные воды Ганга, что освящают разверстые уста мертвецов...»; вот луна над нашим полем Фландрии, над Сталинградом, Верденом, над жалкими полями безмятных сражений, с их бесчисленными Праде, изглодан-

ными и почерневшими, как головешки, луна над голодными нищенскими полями или над вырванными с корнем деревьями, что плывут по течению в необъятности вышедших из берегов рек. И еще долгие века молитва Индии будет говорить: «Веди нас от ирреального к реальному, от ночи к дню, от смерти к бессмертию», в то время как Запад, где прощение давно обернулось злопамятностью или забвением, будет гнусавить: «Простите нам обиды, причиненные нами, как прощаем и мы обидевших нас». Молитва Индии скажет еще и так: «Поскольку любишь ты, Шива, место сожжения, — Я превратил свое сердце в место сожжения, — Дабы ты танцевал в нем вечный свой танец...» Но ни одно божество не танцевало в сердце моих со товарищей по танку.

Я думал о других сражениях и о других солдатах, об испанском республиканском монахе, про которого я говорил в «Надежде». Я услышал его однажды ночью: с диковатым красно-речием народных импровизаторов рассказывал он ополченцам и бойцам Интернациональных бригад о том, как у гурдов, в этой самой унылой и скорбной из всех испанских сект, повествуется о последнем воплощении Христа:

«Ангел нашел самую лучшую в округе женщину и предстал перед ней. Она отвечала: "О, со мной ничего не получится: не доносить мне ребенка, так как нет у меня еды. На нашей улице только один крестьянин за четыре последних месяца ел мясо: он убил свою кошку".

Тогда ангел пошел к другой женщине. Когда Христос родился, у его колыбели были одни только крысы. Чтобы согреть Младенца, этого было мало, а для дружбы — слишком печально.

Потомки волхвов не явились сюда, так как все они стали чиновниками. И тогда первый раз в мире люди из всех стран, и ближних, и дальних, из краев, где жара, из краев, где мороз, все, кто был отважен и кто жил в нищете, двинулись в путь с *ружьями в руках*.

И поняли они сердцем, что Христос живет среди бедняков и униженных нашей страны. И из всех в мире стран, с ружьями в руках, если были ружья у них, и с руками, готовыми взять ружье, если ружья у них не было, они пришли и легли друг подле друга на землю Испании...

Они говорили на всех языках, и были среди них даже торговцы китайской тесьмой.

И когда они истребили много врагов, и когда последняя вереница бедняков отправилась в путь...

...звезда, которой никто прежде не видел, над ними в небе взошла...» *

Вспомнился мне и рассвет в Коррезе, который разгорелся над кладбищем, окруженным белыми от инея лесами. Немцы расстреляли партизан, и жители должны были утром их хоронить. Кладбище занимала рота солдат с автоматами на изготовку. В тех краях женщины не идут за похоронными дрогами, а ожидают на кладбище, у своих семейных могил. Когда рассвело, у каждой из могил, что раскиданы по склону холма, точно камни в античных амфитеатрах, стояла женщина в черном, стояла и не молилась.

Малыш Леонар — пошел бы он на это кладбище? Да. Присоединился бы он к партизанам? Возможно. А Праде? Что, кроме сына, считал он стоящим в жизни? Собственные желания? Вряд ли, да у него почти и не было их. Что знал я об этих Праде, попрятавшихся по своим нишам небытия! Не верящих ни в какого бога, да, быть может, и в себя тоже. И это была та каменная толпа, чье молчание отвечало Божеству-колоссу *. Что случилось с тем загадочным превращением святыни в объект почитания и любви, которое я так явственно ощутил в пещере и которое сравнимо лишь с превращением святыни в ничто? Эта толпа, грубая и суровая, для которой жизнь не заключала в себе никакого смысла, — ибо какое ей было дело до знания, до истины и подобного вздора: от этого хлеба она никогда не вкушала, — эта толпа исчезла с земли еще со времен Римской империи... Россия, воскресшая в своей первобытной ночи, стихийный и беспощадный коммунизм, который с медлительностью зубра поднимался по другую сторону Тибета, были наследниками тысячелетнего братства и ничего не имели общего с этим зловещим одиночеством. «И все существа пребывают во мне, — Как в недрах великого ветра, что непрерывно витает в пространстве. — Я Бытие и Небытие, я бессмертье и смерть...», — шептал исполинский профиль, погруженный в гранит; и фламандская крестьянка с седыми косицами ответила: «Когда человек стар, у него только и есть что немощь...», и под луной, которая, как погребальный фонарь, осветила наш танк, китайская маска Праде с тремя зубами ничего не ответила — под тем же слабым мерцанием, которое привело к телу старого слепого раджи обезьян, обступивших его в «Бхагавадгите».

1944—1965

«Свободу нужно искать среди тюремных стен», — говорили Ганди и Неру *. Мои стены были не вполне тюремными, а если и были такими, то недолго. Был в моей жизни лагерь 1940 года, откуда я, несмотря на тесные башмаки, без особого труда бежал; был широкий луг, превращенный в «зону», розовое пламя рассвета, тележки на дороге за колючей проволокой, окровавленные консервные банки, были вавилонские хижины, сложенные из чурок, ветвей и дренажных трубок; в них, скорчившись, точно перуанские мумии, солдаты писали письма, которые никуда не шли.

Было и нечто посерьезней — 1944 год. Моим товарищам, арестованным немецкой полицией, по большей части гестапо, пришлось идти к смерти тем крестным путем, о котором позднее узнал весь мир. Я же, в полной военной форме, был схвачен танкистами дивизии «Рейх».

Мои тюрьмы начинаются в чистом поле. Я очнулся на носилках, которые двое немецких солдат поставили среди травы. Под моими ногами носилки были в крови. Поверх брюк белела наложенная наспех повязка. Тело английского офицера исчезло. В машине — неподвижные тела двух моих товарищей. Один из немцев снимал с машины флажок. Солдаты подхватили мои носилки и двинулись в сторону Грама. До города, как мне показалось, было довольно далеко. Рядом с носилками шагал унтер-офицер.

Я ездил улаживать конфликт между двумя подразделениями маки * — отрядом лондонской ориентации и отрядом франтиреров и партизан*. На обратном пути, подъезжая к Грама — каких-нибудь двадцать минут назад, — мы дремали; флажок с Лотарингским крестом * бился на горячем ветру. Едва слышные винтовочные выстрелы, звон разбитого заднего стекла, машина, развернувшись, летит в кювет. Шофер получает пулю в лоб, в последнюю секунду жизни он яростно жмет на тормоз. Телохранитель повалился на свой автомат. Английский офицер выскочил вправо, на дорогу, и упал, прижимая к животу судорожно сведенные окровавленные руки. Я выпрыгнул налево и побежал, с трудом передвигая затекшие после трех часов езды ноги. Пулеметная очередь чуть не настигает меня, от следующей я прячусь за машиной. Пуля перебивает коленную застежку моей правой краги, крага раскрывается венчиком, она держится теперь только на застежке у ступни. Я вынужден

остановиться, чтобы сорвать крагу. Пуля в правую ногу. Боль очень слабая. Только кровь подтверждает, что я в самом деле ранен. Страшная боль сводит левую ногу.

У тех двоих, что тащили меня, как куль, вид был совсем не злобный. Будут еще и другие. Все это было в высшей степени нелепо. Как немцы вообще могли оказаться в Грама?

Итак, все закончится здесь, один бог ведает как, закончится после этой дороги, и лучезарное небо над нею отныне впишется в вечность, так же как эти крестьяне, что провожают меня взглядом, положив ладони на рукоятки лопат, и эти крестьянки, что осеняют меня крестным знамением, точно покойника. Я не увижу нашей победы. Какой смысл был во всей этой жизни, какой смысл в ней вообще? Но меня обуревало трагическое любопытство: хотелось узнать, что меня ждет.

От самых первых домов улицу запрудили танки. Французы смотрели на меня с ужасом, немцы — с удивлением. Мои носильщики вошли в контору какого-то гаража. Унтер-офицер расспросил того, кто меня сопровождал, потом сказал:

— Ваши документы!

Документы были у меня в кармане кителя, я дотянулся до них без особого труда. Протягивая немцу бумажник, я сказал:

— Они фальшивые.

Он не взял бумажника и перевел остальным мои слова. Оба унтера глядели на меня, как куры на патефон. Носильщики снова двинулись в путь. На этот раз мы вошли в небольшой амбар. Носилки поставили на выдвигающиеся ножки. Немцы вышли. Ключ в замке повернулся. Перед узким оконцем — часовой. Я попытался сесть на носилках. Левая нога немного ныла. Я ощущал полное оцепенение. Наверно, я потерял много крови, и кровотечение продолжалось, несмотря на жгуты из носовых платков.

Силуэт часового взял «на караул». Поворот ключа. Вошел офицер, он был похож на Бестера Китона *.

— Как мне шаль вашу педную семью! Вы ведь католик, не правда ли?

— Да.

Вряд ли стоило сейчас излагать основы агностицизма.

— Я католический священник.

Он взглянул на окровавленные платки.

— Как мне шаль вашу педную семью!

— Страсти Христовы были, должно быть, не слишком приятны для семьи Иисуса Христа, мой отец. Правда, я не Христос.

Вид у него стал еще более обалделый, чем у меня. Но у него это было от глупости.

— У вас есть дети? — спросил он.

— К несчастью, да. Скажите, меня будут судить?

— Не знаю. Но если вам понадобится помощь религии, вы можете послать за мной.

Он открыл дверь, совершенно черную на фоне по-прежнему ослепительного неба. И вместо прощания сказал:

— А все-таки мне очень шаль вашу педную семью...

Чудной священник. Или чудная религия. Лжесвященник — тот хотя бы стал задавать вопросы...

Унтер-офицер знаком велел мне выйти; двор был полон солдат. Я смог сделать несколько шагов. Он поставил меня лицом к стене; упершись руками о камни над головой, я услышал команду "Achtung"¹ и обернулся: передо мной был взвод, выстроенный для расстрела.

— На пле-чо!

— На караул!

«На караул» оружие берут перед расстрелом. Всплыл в памяти недавний сон: я — в каюте парохода, иллюминатор вышибло, вода хлещет в каюту; перед лицом своей бесповоротно законченной жизни, которая никогда уже не будет иной, а только той, какой она была, я разражаюсь смехом и смеюсь, смеюсь без конца (мой брат Ролан погиб некоторое время спустя: пошел ко дну на пароходе «Кап-Аркона»). Я много раз бывал на волосок от насильственной смерти.

— Целься!

Я глядел, как головы склонились к прицелам.

— Отставить!

Солдаты опустили винтовки и, криво усмехаясь, нехотя разошлись.

Но почему они не стреляли хотя бы *вокруг*? Никакого риска для других: ведь я стоял у стены. Почему я ни на миг не поверил в свою смерть? На дороге возле Грама она была гораздо реальнее. Я не испытал ни хорошо знакомого чувства, что вот сейчас в меня будут стрелять, ни чувства неизбежного расставания с жизнью. Когда-то Сент-Экзюпери спросил меня, что я думаю о мужестве, и я ответил, что оно представляется мне любопытным и естественным следствием ощущения неуязвимости. С чем Сент-Экс не без некоторого удивления согласился. Комедия, при которой я только что присутствовал, не поколебала во мне этого ощущения. Выходит, эта аура, этот церемониал не был ни аурой, ни церемониалом смерти? Может быть, в смерть веришь только тогда, когда рядом с тобой падает товарищ? Я вернулся в амбар, который стал мне родным. Снова улегся. Вошел офицер и с ним двое солдат, подхвативших мои

¹ Смирно! (нем.).

носилки. Мы двинулись в путь. Младший лейтенант был немолод — лет за сорок, высокого роста, прямой, рыжий, с бугристым лицом. Бритый. Он пошел впереди носилок, и я теперь видел лишь его спину.

Мы пришли в лазарет. Сестра злобно взглянула на меня. Врач и санитары, которым и не то довелось повидать, аккуратно перевязали меня. Носилки отправились дальше. Мы спустились в подвал. Я знал, как используются подвалы. «День будет тяжким», как говорил Дамьен *. Но нет. Мы опять поднялись наверх, прошли не меньше километра, а Грама — город небольшой. Всюду танки. Завидев носилки, жители разбегались. Мы добрались до фермы, стоявшей несколько на отшибе, спустились в погреб. Борона, грабли, деревянные вилы. В кампанию 1941 года я не раз видел такие погреба, лишенные всяких примет времени, но боже, как эти инструменты (особенно борона) походили на орудия пыток! Кортёж снова двинулся в путь и еще дважды останавливался в подобных местах. У меня было впечатление, что мы отыскиваем подходящую декорацию для пыток. Солдаты, по-видимому, вернулись в казармы, потому что на улицах я их больше не видел. Безлюдье — город, населенный заснувшими танками; дома, уставленные вилами и боронами для насадки трупов. Через пять минут мои носильщики остановились.

— Kommandantur¹, — сказал младший лейтенант.

Это был «Отель де Франс». У партизан здесь был почтовый ящик... Немцы — видимо, только что — велели освободить помещение за конторкой. Хозяйка гостиницы сидела за кассой. Седые волосы, правильные черты лица, жесткий воротничок — ни дать ни взять начальница пансиона. Раньше я раза два видел ее.

— Вы его знаете? — на всякий случай спросил немец.

— Я? Нет, — ответила она рассеянно, почти не взглянув на меня.

— А вы? — спросил он меня.

— Увы, партизаны не останавливаются в гостиницах!

Контора гостиницы сообщалась с небольшим холлом, отделенным от нее двумя наполовину спущенными шторками. Младший лейтенант сел за конторку. Носилки опустили прямо на черно-белые плиты, не выдвигая ножек. Вошел солдат с блокнотом в руках, пристально посмотрел на меня — скорее с любопытством, чем враждебно, — сел слева от офицера. Улица была узкая, на ней уже зажгли фонари. У писаря лоб и подбородок выдавались вперед, голова напоминала фасолину; в лице того, кто вел допрос, было что-то воробыное — короткий нос, ма-

¹ Комендатура (нем.).

ленький круглый рот. То, что он немец, выдавали только рыжие волосы, остриженные ежиком над оттопыренными ушами. Оба немца уселись поудобнее.

— Ваши документы?

Я встал, сделал шаг вперед и протянул свой бумажник. После чего снова лег, чувствуя, как подступает дурнота. Но мысль работала четко, ибо игра началась.

— Я уже говорил вашему коллеге, что документы фальшивые...

Старый воробей тщательно их разглядывал. Удостоверение личности, водительские права и всякий прочий вздор на имя Берже. Тысяча франков в бумажных купюрах. Фотография жены и сына. Все это он сложил кучкой рядом с бумажником.

— Вы говорите по-немецки?

— Нет.

— Ваша фамилия, имя, звание?

— Подполковник Мальро, Андре, именуемый полковником Берже. Командующий вооруженными силами этого района.

Он озадаченно посмотрел на мой офицерский китель без знаков различия. Какой же еще версии мог он ожидать? Ведь я был захвачен в машине, на которой был трехцветный флажок с Лотарингским крестом.

— Что за организация?

— Деголлевская.

— У вас... есть пленные, не так ли?

Он говорил с северонемецким акцентом, жестко, совсем не «по-тевтонски». Вопросы задавал тоном суровым, но не враждебным.

— В части, которой я командую, примерно около сотни.

Что за странная игра судьбы! Было принято, не знаю почему, пленных, захваченных партизанами, судить военным судом. В одном из отрядов ФТП я присутствовал на судилище этого рода, с партизанскими командирами в роли судей, со вполне приемлемой обвинительной речью — ибо ненависть всегда похожа на ненависть — и с некоей пародией на защиту, произнесенной протоколистом, который, видимо, утолял многолетнюю страсть, играя роль адвоката. Происходило это в низком и прохладном зале одного из замков департамента Ло; за окном стояла жара, бляели козы, росли желтые цветы... Как раз для того, чтобы председательствовать на военном суде, я и облачился накануне в форму, которая была сейчас на мне. Мы освободили уже десятка два эльзасцев, потому что эльзасцев было много в частях, сражавшихся против нас, так же как и в наших партизанских отрядах — у нас потом родилась бригада «Эльзас-Лотарингия». Один из наших лейтенантов, школьный учитель из-под Кольмара, предложил поручить ему защиту

обвиняемых немцев и сказал сначала по-французски, потом по-немецки: «Никто из этих людей не служил ни в войсках СС, ни в гестапо. Это — солдаты, и нельзя расстреливать солдат только за то, что они были мобилизованы и выполняли полученные ими приказы». В зале было много партизан, и я чувствовал, как волнуется наши эльзасцы. Было решено передать пленных первой же воинской части союзников, с которой мы встретимся.

— Как с ними обращаются?

Писарь, который вел стенограмму, отложил карандаш.

— Они играют в горелки и получают тот же паек, что наши бойцы. Для них война окончилась.

Старый воробей подумал было, что я над ним издеваюсь, но потом, видимо, понял, что это не так.

— Они ожидали встретить дикарей в лохмотьях, — сказал я, — а попали к солдатам в военной форме.

— Сброшенным на парашютах?

— Нет, к французским партизанам.

— Где они?

— Кто, пленные?

— Это одно и то же!

— Но партизан все же больше, чем пленных.

— Так где же они?

— Этого я, к счастью, не знаю. Будем говорить откровенно. Они были в лесах в районе Сиорака. Мои люди уже не меньше двух часов знают, что я в ваших руках. Полтора часа назад мой заместитель принял командование, а он — выпускник Академии генерального штаба. Сейчас в лагере уже не осталось ни одного нашего солдата и ни одного вашего.

Короткое раздумье.

— Ваша гражданская профессия?

— Профессор и писатель. Я выступал в ваших университетах. В Марбурге, в Лейпциге, в Берлине.

Профессор — это произвело впечатление.

— Вы наверняка знаете немецкий. Но это не имеет значения.

— Мою первую книгу, "Die Eroberer"¹, перевел Макс Клаус.

Ходили слухи (оказавшиеся ложными), что Макс Клаус, ставший нацистом, был чем-то вроде заместителя министра у Геббельса. Замешательство моего собеседника росло. Он начал играть со мной в кошки-мышки. Минут через десять я сказал:

— Господин лейтенант, я думаю, мы попусту тратим время. Пленные, которых вам приходится допрашивать, обычно заяв-

¹ «Завоеватели» (нем.).

ляют, что они невиновны, а может быть, они и в самом деле невиновны, но вам нужно вырвать у них признание. А мне признаваться не в чем! Я ваш противник с того дня, как подписано перемирие.

— Но ведь перемирие подписал маршал Петен!

— Вы правы, это сделал не я. Ну а я — партизан. Следовательно, вы можете приказать меня расстрелять, но взвесьте сначала последствия. Могу вам также сказать, что мой заместитель командовал Иностранным легионом в Марокко, а я... в другом месте, и кустарной партизанщиной мы не занимаемся. У нас нет уязвимых мест. Операции свои мы проводим лишь на открытых дорогах, просматриваемых с четырех сторон дзорными. Немецкие войска ни разу не захватили в плен ни одного из моих солдат. Я оказался здесь потому, что вам удалось совершить блестящий маневр, а я как дурак бросился под огонь ваших пулеметов. Но, захватив меня, вы тем самым привели в действие систему боевой тревоги: на протяжении ста километров к северу все командные пункты эвакуированы. Если вы хотите узнать, какую территорию контролируют наши силы или, скажем, в каких условиях содержатся ваши пленные, вам лучше обратиться к помощи петеновской милиции. Вы можете подвергнуть пыткам моих солдат — если только вам удастся взять их в плен, — и вы ничего не добьетесь, потому что они ничего не знают: вся наша организация построена, исходя из того, что ни одно человеческое существо не может знать, как оно поведет себя под пыткой.

— Вермахт не занимается пытками.

— А главное, у соединений, подобных вашему, когда вся дивизия собрана в кулак, есть, пожалуй, дела и поважнее.

Он спросил меня, где были расположены наши прежние командные пункты, и я назвал ему замки, оставленные коллаборационистами, и те лесные поляны, где можно было найти подземные ходы или следы костров. Ни слова о зарослях карликового дуба, которые немцы считали непригодными для укрытия партизан. Что касается имен командиров других партизанских частей, то гестапо и вишистской милиции были известны, как и мне, их подпольные клички, о подлинных же их именах я знал не больше, чем гестапо и милиция (во всяком случае, о некоторых...). Старый воробей, по-видимому, получил приказ обращаться со мной, как с военнопленным. Но разумеется, все это было лишь начало. Речь зашла о маки. Я преувеличил нашу численность. Допрос превращался в беседу.

Оба немца ушли — быть может, обедать? Меня охранял часовой, стоявший за шторками, я видел только его ноги ниже колен. Иногда он с кем-то болтал: через холл проходило много немцев. Мне хотелось бы кое о чем поразмыслить, но я был

слишком измучен, только на время допроса мне удалось собраться с силами.

Девять часов вечера (над конторкой висели большие темные стенные часы). Пришли два других немца с пачкой бумаг — очевидно, это было краткое содержание моего допроса. Они задали мне вопросы, которые мне уже задавали и на которые я дал прежние ответы. Делалось ли это ради проверки? Какая разница? Оба немца ушли.

Через сорок пять минут послышался стук каблуков. Короткие шторки, которые обычно откидывались на ходу, теперь медленно раздвинулись. Вошел полковник, уселся за конторкой. Никакого писаря. Он был похож на своих предшественников. Нет, верно, это оттого, что я не привык смотреть на людей снизу вверх. Но у него была седая голова.

— На что вы рассчитываете? — спросил он.

— Вы о наших военных действиях или... о моей судьбе?

— О ваших действиях.

— Задержать вас, само собой разумеется.

Он наклонил голову, словно в знак одобрения или желая сказать: «Именно это я и предполагал».

— Почему вы производите такие разрушения, которые мы можем быстро восстановить?

— Согласно плану.

(Иногда это происходило еще и потому, что мы не в силах были сделать что-либо более существенное.)

— Вы не участвовали в предыдущей войне?

— Я был слишком молод. Удостоверение у меня — поддельное, но дата рождения указана правильно: девятьсот первый год.

— А в этой войне вы участвовали?

— Да.

— В каких войсках?

— В танковых.

(Но на каких танках! Впрочем, немца это не касалось. Вчера я с завистью глядел на его танки.) Он рассеянно рассматривал мои документы, будто не знал, чем занять руки.

— В ваших партизанских отрядах имеется противотанковое оружие?

— Да.

Гестапо не могло не знать, что Лондон уже больше месяца сбрасывал нам базуки на парашютах. Значит, он тоже это знал или, вернее, боялся этого. Ибо в лесу танки может прикрывать только пехота. Немецкие бронетанковые дивизии располагали мотопехотой, но если она оставалась в грузовиках, то не могла защищать танки от базук, а если она прикрывала танки с обеих сторон дороги, танки могли двигаться лишь со скоростью пеше-

хода. Мой собеседник, казалось, не был ни удивлен, ни даже слишком заинтересован. Он проявил скорее любопытство. Может быть, он хотел увидеть офицера этих таинственных партизан, которые их окружали? Или он снова видел перед собой французскую армию первой мировой войны, «свинные башки» Вердена?

Он снова сложил документы стопкой возле бумажника, поднялся и обошел вокруг конторки. Подходя ко мне, он взял с конторки мой пустой бумажник и протянул его мне. Едва дотронувшись до бумажника, я понял, что он уже не пуст. Полковник вышел. Часовой за шторками щелкнул каблуками. В одно из отделений бумажника немец вложил фотографию моей жены и сына.

Никто не пришел ему на смену. Перерыв на ночь? Гостиница засыпала. Настольная лампа на конторке горела по-прежнему. Я думал, что не усну. И ошибался. Сон навалился на меня, как когда-то бывало в Испании: наешься после воздушного боя и валишься мертвецки сонный, словно мертвецки пьяный.

Рассвет. День. Начали хлопать двери на этажах, стучать ставни внизу. Плеск воды. Воробей с волосами ежиком вошел, молча сел за конторкой. Топот многочисленных сапог по лестнице, гостиничный шум, шум общежития, вокзальный шум. Почему немецкий язык, когда кричат, всегда звучит гневно? Голоса перебивают друг друга:

— Мадам! У фас есть масло?

— Нет!

— У фас есть шоколат?

— Нет!

— Мадам! У фас есть хлеб?

— По карточкам!

Больше никто ничего не просил. Наверно, хозяйка ушла из-за кассы. Пауза. Сапоги затопали вверх по лестнице, позвякивали котелки. Потом с верхних этажей послышался странный шум, он приближался, нарастал, как будто толпа детей вдруг увидела рождественскую елку. Шторки раздвинулись, показался поднос; на нем дымилась большая чашка кофе с молоком, лежали толстые ломти белого хлеба с маслом. За подносом следовала хозяйка. Седые волосы были тщательно причесаны. Она была в черном платье, точно собралась к мессе, но в белом переднике, потому что шла из кухни. Взглянув на плитки пола, запачканные кровью (ночью раны мои открылись), она подошла ко мне и опустилась на колени — медленно, сначала на одно колено, потом на другое. Нелегко пожилой женщине опускаться на колени с подносом в руках. Она поставила его мне на грудь, встала с колен, подошла к шторкам, оберну-

лась — на белом переднике, там, где колени, темнели два больших кровавых пятна — и тоном, каким, наверно, лет сорок тому назад частенько произносила: «Вы очень меня обяжете, если не будете отбирать хлеб с маслом у своих братьев», но с какой-то неуловимой торжественностью, сказала:

— Это для раненого французского офицера.

И вышла под топот расступившихся перед ней сапог.

Воробей глядел на меня, разинув клюв. Отнять хлеб с маслом у раненого было бы смешно, но все это выглядело так аппетитно!

— Поделимся! — сказал я ему.

Он встал, вышел. Вернулся со стаканом. Взял один ломоть хлеба, положил на конторку. Взял чашку, чтобы налить себе кофе с молоком. Обжегся. Поставил чашку обратно на поднос. Теперь по белым плиткам пола тянулись к конторке большие кровавые следы рядом с маленькими.

Около восьми часов мы тронулись в путь. Хозяйка опять сидела за кассой.

— Благодарю вас, мадам. Вы были необыкновенны, — необыкновенны, как сама Франция.

Она перестала писать. Лицо ее оставалось непроницаемым, и она молча провожала меня взглядом, пока двери гостиницы не закрылись за мной.

Меня отнесли в санчасть, сменили повязки. Я смогу стоять, быть может, сделать несколько шагов. Но это оказалось ненужным. Меня посадили в бронированный автофургон, очевидно санитарный. Сзади — двойная дверца, запертая снаружи. Четыре койки. Я был один. Лег. В зарешеченное окошко, прорезанное в дверце, я видел вереницу грузовиков, пронесившийся мимо пейзаж. Совершат ли партизаны нападение? Я сомневался в этом: район был довольно гористый, а лесов маловато. До самой Гаронны, насколько я знал, не было крупных партизанских частей. Бронетанковая дивизия явно проводила карательную операцию: над круто петлявшей дорогой горели наши деревни, стлались длинные шлейфы дыма.

Когда колонна остановилась, мне разрешили выйти.

В Фижаке (где жил Роже Мартен дю Гар...) какой-то крестьянин принес мне палку и тут же исчез.

Каждый взгляд, брошенный на меня французом, подтверждал, что я обречен.

Я в это не верил или, во всяком случае, пока еще не верил. Я предполагал, что меня будут снова допрашивать или судить. Но что-то непременно должно произойти.

В Вильфранш-де-Руэрг — я узнал ее церковь почти в испанском стиле, послужившую фоном для нескольких сцен в моем романе «Надежда», — колонна остановилась на ночлег.

Меня поместили в монастыре. Когда я лег, настоятельница принесла мне кофе. Ей было не больше сорока, и она была красавица. Проходя мимо сторожившего меня солдата, она улыбнулась ему неприступной улыбкой.

Я не раз задумывался над тем, как принимаешь Евангелие перед лицом смерти.

— Матушка, не могли бы вы дать мне Евангелие от Иоанна?

— О, разумеется!

Она принесла мне Библию и ушла. Я собирался было найти текст Иоанна, но книга сама открылась на нужном месте — там лежала закладка, вероятно положенная настоятельницей. Меня много раз могли убить и в Азии, и в Испании, и во Франции, но мысль, что я мог бы спокойно сидеть дома, вместо того чтобы дожидаться военного трибунала или расстрела на краю рва, казалась мне нелепой. Даже в эту ночь близость собственной кончины не представлялась мне чем-то из ряда вон выходящим. Меня интересовало другое — смерть.

Но со святым Иоанном я познакомился отнюдь не перед лицом смерти. Я встречался с ним в Эфесе, но прежде всего в мире византийском и славянском, где гроб его почитался наравне с гробом господним. Моя память сохранила в передаче Иоанна довольно сложный образ Христа — убедительный и близкий, как образ святого Франциска Ассизского *, но в рамках того текста, где Иоанн говорит о себе только как об «ученике, которого любил Иисус». Я вспоминал торговцев голубями, изгнанных из Храма, и некоторые фразы, которые превращали Евангелие в песнопение: «...потому что еще не пришел час Его...», «Может ли бес отверзать очи слепым?», и грустные ночные слова: «Отче, избавь меня от часа сего!», и слова, обращенные к Иуде: «Что делаешь, делай скорее...» Я вспоминал рассказ о женщине, обвиненной в прелюбодеянии, который так часто рассказывают в осуждение, а между тем Христос не обращает свои слова ни к обвинителям, ни к женщине, а говорит: «Кто из вас без греха...» — и продолжает что-то чертить перстом на земле. Я снова нашел строки: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я не поверил в опереточный экзекуционный взвод в Грама, но, наверно, я повстречаюсь скоро с другим взводом, который уже не будет опереточным. Там, на дороге, я мог бы получить пулю в лоб, как шофер, но меня ранило в ноги. Я явственно ощущал, что всякая вера растворяет жизнь в вечности, а я был от вечности отлучен. Моя жизнь была одной из тех человеческих историй, которые Шекспир оправдывает, называя их сновидениями, и которые отнюдь не снови-

дения. Судьба, обрывающаяся под дулами дюжины ружей, лишь одна из множества судеб, столь же быстротечных, как и этот мир. Какую-то малозначащую частицу моего «я» безумно занимало, что же будет со мной, — точно так испытываешь желание выбраться из воды, когда тонешь. Но я не ждал, что в минуты подобных потрясений передо мной откроется смысл жизни. Гениальность христианства — в утверждении, что самый неисповедимый путь — это путь любви. Любви, которая не замыкается в человеческом чувстве, но переосуществляет его в мировую душу, делает его могущественнее смерти и могущественнее правосудия: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить, но чтобы его спасти». Один перед лицом смерти, я встретил ту тысячелетнюю Поддержку, которая осенила столько отчаявшихся, подобно тому как Страшный суд отверзнет столько гробниц: «Пребудь с нами, Господи, в нашей смертной муке...» Но обладать верой означает верить; я же восхищался христианским порывом, объявившим землю, в которую вскоре, без сомнения, мне предстояло лечь, но сам не верил. Память об Иоанне скорее помогает противостоять горю, чем смерти. В каком это восточном тексте прочитал я такие слова: «Смысл жизни столь же недоступен человеку, сколь движение царских колесниц — скорпионам, которые гибнут под их колесами»? Все происходило так, словно высшей ценностью для меня была Истина, и, однако, что для меня была Истина этой ночью?

Мое прошлое — все события моей жизни — не имело сейчас никакого значения. Я не думал о своем детстве. Не думал о своих близких. Я думал о неверующих крестьянках, которые осеяли мои раны крестным знамением, думал о палке, которую принес мне боязливый крестьянин, о чашке горячего кофе в «Отель де Франс» и о кофе настоятельницы. В моей памяти сохранилось лишь братство. В тиши монастыря, где, наверно, молились за меня и куда долетал смутный отдаленный гул одиноко маневрировавшего танка, — единственным, что глубоко жило во мне наряду с сознанием близкой смерти, было воспоминание об исполненной ласки и отчаяния жесте, каким мертвецу закрывают глаза.

В Альби (мы по-прежнему двигались на юг, и по-прежнему кругом горели деревни) я лежал на диване в большом зале; скорее всего, это была мэрия. Часовой — не из танкистов, а из солдат, расквартированных в городе, — сел возле меня и вытащил из кармана две фотографии: маршала Петена и — к моему великому удивлению — генерала де Голля. Ткнул пальцем в Петена: «Очень хорошо!» Неодобрительно в де Голля: «Террорист!» И взглянул на меня. Я ждал, что будет дальше. Он

поднял вверх палец, призывая к вниманию, сказал: «Завтра» — и опустил на де Голля: «Может быть, очень хорошо?», потом на Петена: «Может быть, террорист?», сделал жест, означавший: «Кто знает?», пожал плечами и вернулся на свой пост.

В Ревеле, кроме нижнего этажа пустующей виллы, я получил в свое распоряжение еще крохотный садик. Я смог понемногу ходить, опираясь на палку. За ужином (мне выдавали солдатский паек, как, впрочем, и офицерам) рядом с тарелкой у меня лежала сигарета и *одна* спичка.

На другой день за мной пришел офицер с двумя солдатами. Я сел в машину на заднее сиденье, рядом с офицером. При выезде из городка он завязал мне глаза. Я не почувствовал в этом никакой опасности: повязка даже словно защищала меня. Когда офицер снял ее, мы въезжали в парк какого-то довольно безобразного замка. У подъезда — десятка полтора офицерских машин: военный трибунал.

Инсценировка казни была неубедительной, другое дело — стадо автомобилей. Дурацкий замок — неужели последний? — приобретал какую-то навязчивую силу, как все, что соприкасается с судьбой. За несколько дней до самоубийства мой отец сказал мне, что смерть вызывает у него навязчивое любопытство. Я испытывал то же чувство, но не к смерти, а к военному трибуналу — возможно, потому, что он один и отделял меня от нее. Я ускорил шаг, удивленные стражи заспешили следом. Открытые стеклянные двери террасы вели в холл, а оттуда в просторный салон, где десятка два офицеров танцевали с «серыми мышами».

Не было военного трибунала, была обыкновенная танцулька...

Второй этаж. Длинный коридор, двустворчатая дверь. Офицер вошел, щелкнул каблуками, вытянул руку в нацистском приветствии и вышел. Дверь снова закрылась. Я стоял в просторной комнате, три огромных распахнутых окна выходили в парк, на небольшой пруд. Позади письменного стола в стиле Людовика XV, сверкавшего позолоченной бронзой, — генерал. Железный крест с дубовыми листьями. Он стоял спиной к окну, и я плохо различал черты его лица; черные очки; седые волосы поблескивали на солнце. Он подошел к небольшому столу, окруженному стульями, сел, знаком предложил мне сесть. На столе — серебряный портсигар. Он протянул его мне.

— Спасибо. Я бросил курить.

Он закурил сигарету. Пламя внезапно высветило странную маску, но она тут же снова погрузилась в полумрак.

— Я хотел бы узнать у вас, почему вы не признаете перемирия. Маршал Петен — замечательный солдат, победитель под Верденом, как говорят у вас. Франция взяла на себя обязатель-

ства. И ведь не мы объявляли вам войну.

— Нация не берет на себя обязательства умереть и не может выдать на это доверенности. Разрешите мне сделать такое предположение: маршал фон Гинденбург — президент Германской республики, вспыхивает мировая война, Германия разбита, как это произошло с нами, маршал подписывает капитуляцию. Фюрер, который, естественно, в этом случае не является канцлером, обращается из Рима к немецким солдатам с призывом продолжать борьбу. Какие же из этих обязательств взяла на себя Германия? И с кем будете лично вы?

— Почему де Голль в Лондоне?

— Руководители государства находятся в Лондоне, кроме одного, который пребывает в Виши. Генерал де Голль — не командующий Французского легиона на службе у союзников.

— Какой смысл в ваших действиях? Вы прекрасно знаете, что за каждого убитого солдата мы расстреливаем трех заложников.

— Каждый расстрелянный посылает трех бойцов в маки. Но, на мой взгляд, дело не в том. Поскольку вас это интересует, я могу изложить вам свои соображения. В маки уходят...

— Прежде всего люди, которые уклоняются от трудовой повинности.

— Действительно, это люди, которые не хотят служить Германии. Но вы прекрасно знаете, что всякая борьба должна быть чем-то одухотворена. Вам непонятно, что вдохновляет нас. Вы считаете, что мы сражаемся, чтобы победить.

Он поднял голову. Очки скрывали его глаза, но он наверняка был удивлен.

— Добровольных бойцов Французских Свободных Сил, добровольных бойцов Сопrotивления всего лишь горстка по сравнению с вермахтом. Именно поэтому они и существуют. Франция пережила в сороковом году разгром, один из самых страшных за всю свою историю. И вот те, кто сражается против вас, свидетельствуют, что Франция жива. Неважно, победители они или побежденные, расстреливают их или пытаются.

— Вермахт никого не пытается. Но я, пожалуй, вас понял. И в какой-то мере мне вас жаль. Вы, голлисты, нечто вроде французских эсэсовцев. Вам придется хуже, чем остальным. Если мы проиграем войну, у вас снова будет правительство из евреев и франкмасонов, танцующих под английскую дудку. И в конце концов его слопают коммунисты.

— Что произойдет, если вы проиграете войну, не в силах предвидеть ни вы, ни я. В двадцатом году весь мир считал, что главным результатом войны четырнадцатого года являлось крушение германской военной мощи. Теперь мы знаем, что главным результатом явилась революция в России. На этот раз

таким результатом может явиться конец мирового господства Европы. В течение двадцати, может быть, пятидесяти лет все будет идти плохо для Франции, для Германии. А потом снова воспрянет Франция, снова воспрянет Германия — и, возможно, снова будет война...

Он встал. Я решил, что он подойдет к письменному столу. Но он принялся без цели шагать по комнате, уставясь на ковер. Проходя мимо среднего окна, он попал в полосу света. Я понял, что меня поразило, когда пламя спички осветило его лицо: под черными пятнами очков слишком высокие скулы придавали маске сходство с черепом мертвеца.

— Вы и в самом деле верите в то, что только что говорили о Германии?

— В конечном итоге мы снова станем вашими противниками. Но как бы ни решилась судьба наших армий, какие бы ни установились у нас режимы, я, пожалуй, не знаю почти ни одного французского интеллигента, который готов зачеркнуть творчество Гёльдерлина * и Ницше, Баха и даже Вагнера...

— Вы знаете Советскую Россию?

— Да. Германия неотделима от Европы.

— Простите?

— Нельзя вырвать Германию из Европы, из мира.

— Но они попытаются это сделать... Звери с Востока, и торговцы автомобилями и консервами, никогда не умевшие воевать, и Англия во главе с этим шекспировским пьянчужкой!..

Он повернулся ко мне. Дымчатые стекла скрывали взгляд. Другие немецкие генералы готовили покушение на Гитлера. Я этого не знал, а он, возможно, и знал.

Он позвонил.

В комнату ворвались звуки оркестра, серпантинном закружились вокруг озадаченной Смерти в мундире немецкого генерала. В окне — небольшой пруд для катания на лодках, заброшенные кабины на берегу. Вошел сопровождавший меня офицер и знаком предложил следовать за ним.

Я снова вернулся в Ревель, к своей клумбе с гвоздиками, к своей сигарете и спичке. На следующий день за мной прибыл другой бронированный автомобиль. Рядом со мной, на заднем сиденье, — солдат с автоматом. Теперь мы направились не на юг, а на восток. Через несколько часов въехали в Тулузу. Смеркалось. Площадь Вильсона, кафе «Лафайет», где я так часто сживал во время войны в Испании. Однажды в маленьком скверике я перекладывал револьвер — я держал его дулом вниз в кармане пальто — и нечаянно выстрелил. Ни одна душа не обратила внимания на звук выстрела, и я отделался рыжеватой дырой. Помню еще, как я засвистел от радости, увидев в вит-

ринах книжных лавок «Семью Тибо» с ленточкой, оповещавшей о Нобелевской премии *...

Меня втолкнули в один из домов, выходявших на площадь. Антресоли. Комната — гостиная в буржуазном доме, вместо окна — полукруглая фрамуга.

Решетки изнутри. На площади вокруг скверика прогуливались парочки, сидели за столики на террасах кафе — обычная вечерняя жизнь, если бы не немецкие мундиры повсюду. Моя невестка (брат был арестован больше месяца назад) жила на улице Эльзас-Лотарингии, в ста метрах от площади... Немецкий майор заказал для меня яичницу с ветчиной и бутылку бордо. Уж не считали ли они меня важной птицей? Вишистские власти тут были ни при чем, поскольку французы ни разу меня не допрашивали. Я вспомнил совет: никогда не допивать бутылку до дна, потому что гестаповцы любят избивать заключенных бутылками, а пустые бутылки бьют больше всего. Но избиванием не пахло. Беседу лишь с натяжкой можно было назвать допросом, повторялось привычное: «Маршал Петен заключил перемирие» и «Вермахт пленных не пытается». Мы заговорили о Вердене, майор сказал: «Я был тогда во французском плену». Бронемашина провезла нас по широким улицам, обогнула большой памятник Павшим, остановилась перед роскошным отелем. В пустом холле — только письменный стол, за ним работали два унтер-офицера. Майор вручил им мои документы, все те же документы — они последовательно переходили от одних моих тюремщиков к другим. Унтер-офицер сказал: «Тридцать четыре» (что это, номер комнаты?). Второй унтер и майор встали по бокам; в отеле был лифт, но мы пошли пешком по лестнице, которую покрывал толстый ковер, закрепленный сверкающими медными прутьями. Я поднимался без труда, оба немца приноравливались к моему шагу. В коридоре — часовые; единственное оружие у них — револьвер в кобуре. Третий этаж. Номер тридцать четыре. Часовой открыл дверь, закрыл ее за мной, и ковер в коридоре заглушил шаги трех удалявшихся немцев.

Это была большая ванная комната, переоборудованная в спальню. В одном углу — кровать с белыми простынями и одеялом. В другом — стенной шкаф. Никакого звонка. Никакой ручки на двери. Я застучал в нее кулаком. Явился часовой, посмотрел на меня злыми глазами.

— Где уборная?

Он проводил меня. Не меньше десятка писсуаров — вертикальные, керамические, как в кафе. Часовой стоял у меня за спиной. Вернулись. Он принялся ругаться. Наверное, орал, что нельзя стучать в дверь. Долго он будет драть глотку? Я посмотрел на него и заорал так же громко, как он:

— Возможно, меня привезли сюда, чтобы расстрелять, но уж никак не для того, чтобы вы на меня орали. Хватит!

Он изумился, точно у него на глазах я превратился в кролика, замолчал и запер за мной дверь со зловещей тщательностью.

Обставили тюрьму, будто санаторий, а охранники все равно вопят как ослы. Я открыл стенной шкаф. На одной из полок — какие-то обломки, несколько карандашей и линейка, заботливо обструганная с одного конца. Охранник отпирал мою дверь не ключом, а специальной отмычкой. Я обследовал замок. Язычок входил в паз, но дверь оказалась запертой лишь потому, что была вывинчена дверная ручка вместе с железной защелкой, которую она выдвигала. В квадратную дырку, куда охранник вставлял свою отмычку, как сквозь замочную скважину, просачивался из коридора свет.

Конец линейки из стенного шкафа точнехонько подходил к дыре. Дверь можно было открыть. Что я аккуратно и сделал. Охранник стоял в коридоре, чуть подалее, спиной ко мне. Я бесшумно запер дверь, положил линейку на место, в шкаф.

Бегать я еще не мог. Ходить на цыпочках — тоже, но я мог бы снять ботинки. Побег всегда сопряжен с риском, который и сбивает с толку противника; на этот раз риск был не больше обычного. Но странно, что линейка оказалась в шкафу. Может быть, ее выстругал мой предшественник, но его вызвали прежде, чем он успел ею воспользоваться? Заключенному не оставляют ножей. Он может (так говорят...) сделать себе самодельное оружие, но эта линейка была уж слишком аккуратно подогнана. Разве шкафы не обыскивают? «Убит при попытке к бегству...» И что это за тюрьма, где заключенных только регистрируют?

Я предположил, что майор был представителем оккупационных властей, которым меня передала бронетанковая дивизия. Эти власти сочли самым подходящим поместить меня в семейный пансион, довольно странный, но совсем не похожий на преддверие к экзекуции. В комнате не было окон... Если меня решили не расстреливать — или по крайней мере расстрелять не сразу, — то, очевидно, меня отправят для дознания в Париж. Надо было выяснить, можно ли как-то рассчитывать на линейку из шкафа, а также насколько день в этом почтенном доме подходит на ночь. Я стал раздеваться. Дверь открылась — солдат, который сопровождал майора, на этот раз появился в сопровождении унтер-офицера. Я снова оделся. Внизу унтер-офицер взял мои документы. Опять бронемашина.

Отдаленный квартал, вышка, длинная-длинная стена; машина, визжа тормозами, сворачивает влево и въезжает под арку. Тюрьма. Традиционная регистрация. У меня отобрали только часы и выдали квитанцию! Заперли в зале, где уже находилось

десятка два заключенных, которых привели сегодня. Каждый с недоверием относился к остальным, но все жаждали обменяться информацией, самой что ни на есть фантастической. В свое время, в лагере в Сансе, я уже слышал нечто подобное: «Петен убит Вейганом * на заседании кабинета министров». — «Неправда! Петен и Вейган — оба арестованы Манделем *!» В эту ночь я услышал: «Фронт в Нормандии прорван. Шартр занят парашютистами».

На другой день около десяти утра нас стали разводить по камерам. Здесь уже не было ковров — были широкие тюремные коридоры и двери с окошками. Я ожидал, что попаду в камеру, но меня втолкнули в комнату — два больших зарешеченных окна, снаружи перед ними щиты, которые пропускают только вертикальный свет. Десяток заключенных в гражданской одежде смотрели на меня, не поднимаясь со своих тюфяков; только один, рыжеволосый, улыбаясь во весь рот, с жаром пожал мне руку.

— Я здесь староста. От имени всех — добро пожаловать. Меня зовут Андре.

— Меня тоже. Спасибо.

— Когда вас схватили?

— На прошлой неделе.

Он глядел на мою форму без нашивок.

— Вы командир маки?

— Да.

— Вам повезло, они вас не избивали!

— Пока что нет. Может быть, из-за моей формы. Да к тому же ведь и мы взяли немало немцев в плен.

— Кроме шуток?

Со всех тюфяков поднимались заключенные и медленно, как в театре, собирались вокруг нас.

— Как там с высадкой? У нас самый новенький и тот уже три недели как с воли. Есть, правда, «телефон», но какой только чепухи по нему не услышишь!

— Вы переговариваетесь?

— Еще бы! Скоро увидишь. Но только пусть фрицы сперва суп разнесут.

Вот и суп. Отвратительная жижа, без преувеличения. Лучше бы дали кусок хлеба.

Грохот жестяных бидонов в коридоре затих. Андре подошел к окну и сказал довольно громко, но не переходя на крик: «Алло, алло, алло». Все вокруг смолкло. Соседняя камера отозвалась: «Алло». Андре отошел в угол, сел на пол, трижды ударил рукой по внутренней перегородке. Ответный стук с той стороны. Заключенные встали между ним и глазком двери. Все тем же голосом он произнес:

— Все в порядке?

Двое наших товарищей, приложив ухо к стене, передавали ответы:

— Да. А у вас?

— Да. Получили полковника от де Голля. Арестован двадцать третьего июля. Говорит, что Каен и Сен-Ло взяты. И что союзная авиация выбросила дневные десанты. Больше он ничего не знает.

— Сведения верные?

— Да.

(«Не удивляйся, — сказал мне Андре, — тут все во всем уверены!»)

— Есть. Передаем дальше.

Тот же маневр у левой стены. Позади меня — коридор, передо мной — окна. Освободившийся тюфяк — рядом с Андре, что позволило нам после «телефона» поговорить вполголоса. Остальные дремали. Все их истории были уже давно рассказаны.

— Ты думаешь, здесь нет стукачей?

— Поменьше говори о себе, только и всего.

Я понял. О чем здесь могли доносить стукачи? Разве что о маловероятной подготовке к побегу или о хвастовстве. Сен-Мишель был пересыльной тюрьмой. Староста сидел здесь три месяца. Каждый месяц отправлялась партия в Германию. Отсюда тревожная вокзальная атмосфера, атмосфера лотереи и крепости, а не концлагеря. Нас не принуждали ни к какой работе. Охранниками были рядовые пехотинцы, безразличные ко всему, хотя в их обязанности и входило орать на нас. Они нас «не выслеживали», по выражению Андре. Они не могли не знать о том, что мы переговариваемся: каждая камера ловила слухи, как радиоприемник — волны. Даже в тюрьме Френ * подобные передачи не прекращались ни на день. Но для тюремщиков это не имело значения — лишь бы все заключенные были в наличии, в полном комплекте. Отправка в Германию означала для нас лишь то, что освобождение наступит много позже, вот и все. Но в шесть часов в коридоре раздавались шаги двух солдат и чиновника. Чаще всего они открывали одну-две двери, забирали одного-двух заключенных.

Их уводили в гестапо.

Когда в церквах вызванивали шесть часов, во всем нашем коридоре воцарялась тишина.

Кое-кто из уведенных узников возвращался обратно. Вернулся один и в нашу камеру. О пытках в ванне он рассказывал с черным тюремным юмором:

— Не то чтобы было особенно больно, но вся беда, что каждый раз все начинается сначала и в конце концов уже пере-

стаешь понимать. А они орут и дубасят тебя, и тут, если не будешь внимательным, можешь ненароком им что-то ответить. Нужно быть очень внимательным, в четвертый раз это тяжело. И сама ванна омерзительна — блевотина и все такое. Я думал, что они меня утопят, как крысу!

Он судорожно рассмеялся, хлопая себя по ляжкам:

— Как крысу! Кстати о крысах, там была одна «мышь» в военной форме, посадили ее стучать, она на машинке печатает. И знаете, что она мне сказала, эта дрянь, на третьем заходе: «Ах, кончайте, хватит же, мне страшно!» Она, видите ли, считала, что я притворяюсь, корова этакая! Как вам это нравится? Если мы выберемся отсюда, пусть лучше мне под руку не попадается...

Подобные истории составляли фольклор тюрьмы Сен-Мишель. Еще до моего прибытия офицер сделал обход тюрьмы; он спрашивал у каждого заключенного фамилию — очевидно, для проверки. Все заключенные стояли, кроме вернувшегося после пыток, который был не в состоянии подняться. Когда подошла его очередь, он назвал себя. Офицер заглянул в список, сказал: «Тер-ро-рист». Сосед, которого с того дня заключенные величали Профессором (отправлен в Германию), сделал шаг вперед, с ученым видом поднял палец и почтительно произнес: «Не тер-ро-рист, а *ту-рист*» — и вернулся на место. Офицер продолжал проверку; прежде чем выйти, он обвел всех взглядом и крикнул с презрительным негодованием: «Все вы — туристы!»

Дверь с грохотом захлопнулась, и началось веселье...

Главное теперь заключалось в том, чтобы не попасть в очередную партию. Те, кто был назначен к отправке, вернулись в свои камеры «с вещами». Узники никак не могли повлиять на включение или невключение в списки. Старались лишь не привлекать к себе внимания, иначе ты попадал в списки почти автоматически. Вот почему Андре сказал мне: «Поменьше говори о себе». И все-таки каждый, кроме нескольких типов, арестованных за махинации на черном рынке, рассказывал, как его арестовали. Привычный, наиглавнейший и неисчерпаемый сюжет, благодаря которому я узнал, что отель возле памятника Павшим, где я провел несколько часов перед отправкой в тюрьму, был штаб-квартирой гестапо в Тулузе. Ваньные комнаты там предназначались для допросов. Но обычно в комнатах кроватей не было. Горластый охранник, которого я послал ко всем чертям и которого это обстоятельство так изумило, был наверняка одним из палачей. Мрачный юмор, как и то, что я обнаружил танцуюшку в замке. И еще чувство, что я испытывал судьбу. Особенно острое оттого, что вся жизнь в этой тюрьме, после того как отправка последней партии была отложена,

сводилась к беспомощному ожиданию, что преподнесет тебе судьба — отправку в Германию или гестапо. Дни шли за днями, безликие, как во всякой тюрьме; некоторое разнообразие вносила порой раздача посылок от Красного Креста или от маршала Петена, да каждый вечер, в шесть часов, по коридору стучали сапоги — пытка. Так продолжалось до того самого утра, когда глухой отдаленный гул сотряс стены. Потом — тишина. Несколько заключенных прильнули ухом к стене: камень лучше, чем воздух, передает звуки, которые идут от земли. Прошел час. Два. И опять привычные невеселые шутки, мечты — тюремное небытие.

Второе сотрясение слабее первого. То не были артиллерийские раскаты. Диверсия, предпринятая партизанами? Но грохот взорванного моста похож на взрыв авиационной бомбы. Налет союзной бомбардировочной авиации, на который не ответила зенитная артиллерия? Ничего похожего на то, что мы слышали в 1940 году: то был переданный землей отзвук долгих, словно прикованных к одному месту боев, подобный гулу Вердена, которого никто из нас ни разу в жизни не слышал.

Это необъяснимое сотрясение, не имевшее ничего общего с нашими собственными динамитными диверсиями, было наступлением союзных армий — хотя второй грохот показался нам более отдаленным. Ни криков на улицах. Ни винтовочных выстрелов. То, что происходило, происходило очень далеко. Жизнь тюрьмы не изменилась.

Но ей предстояло вскоре измениться.

В два часа — обход; шаги замирали у дверей соседних камер. Потом открылась наша дверь. Немец в штатском сказал:

— Мальро, в шесть часов.

Вызов на допрос в гестапо.

Только тут я осознал, что все это время надеялся, что обо мне не вспомнят.

Я попытался вытянуть из моих товарищей все известные им подробности. Атмосфера братства, возникшая вокруг меня с той минуты, как захлопнулась дверь камеры, была похожа на бдение у гроба. Это чувство разделяли даже спекулянты черного рынка. Большинство моих товарищей именовали военную полицию, которая их допрашивала, гестапо. Но заключенный, вернувшийся после пытки в ванне, хорошо знал, что такое гестапо. Немцы допрашивали его, чтобы вырвать сведения о том, где находятся радиопередатчики его группы. Его подвергли пыткам дважды, с разрывом в трое суток. А передатчики в случае, если член подпольной группы бывал арестован, сразу переносили в другое место. На первом допросе он ничего не

сказал; на втором назвал адрес квартиры, где к тому времени уже никого не было.

Я пытался выяснить — увы, тщетно, — на каком плацдарме предстояло мне вести бой. «Что ребята рассказывают, тебе не поможет, — сказал Андре, — у каждого все по-иному...» Будут ли допрашивать о партизанах? Я схвачен слишком давно. Очная ставка? Захотят использовать меня как приманку? Этот случай был у нас предусмотрен. В расположении Монтиньякского отряда находились пещеры — немцы туда не сунутся. Было условлено, что, если кто-либо из нас, подходя к пещерам, будет почесывать нос, значит, за ним идут немцы; тогда наши, прежде чем скрыться, выстрелят ему в голову, чтобы немцы снова не подвергли его пыткам. А у меня в отряде было двое товарищей по Испании.

Но гестапо, вероятно, располагало данными обо мне. Осведомленное лучше, чем пресса, оно, следовательно, знало, что я никогда не состоял в коммунистической партии и не был бойцом Интернациональных бригад, но оно знало и то, что я был одним из председателей Всемирного антифашистского комитета, а также Лиги борьбы с антисемитизмом и что я командовал иностранной авиацией на службе Испанской республики в то время, когда коммунистические партии еще не знали, что они станут делать. У гестапо был добрый десяток причин меня расстрелять. Зачем им меня допрашивать? Никто с легким сердцем не думает о предстоящих пытках. Я думал о том, что много о пытках писал и что теперь это оборачивалось предвидением.

Шесть часов. Заключение сгрудилось возле двери. Когда дверь открылась, они встали по обе стороны и каждый протянул мне руку.

Тот же штатский, что и утром. Двое охранников. Мы спустились вниз. Я думал, мы вернемся в отель, но мы повернули в сторону, противоположную улице. Двор был окружен аркадами. Немцы-охранники играли в чехарду. Один из них прыгнул неудачно, упал и заодно обляял меня. Мы остановились перед маленькой дверью, похожей на дверь канцелярии в наших казармах. Прежде чем мои стражи успели постучать, дверь распахнулась, пропуская двух солдат, которые несли какого-то несчастного, с виду еврея. Лицо у него распухло, из уголка рта вытекла струйка крови; он взмахивал своими короткими руками, точно продолжая защищаться от ударов.

Мы вошли в дежурное помещение. Невообразимый шум: какой-то солдат колотил молотком по листу жести, который он держал левой рукой за цепочку. Грохот заглушал вопли избиваемых.

Узница с беспомощным видом пыталась влить ложку чая в зажатый рот заключенного, который, по всей видимости, был

без сознания; лицо у него было все разбито. Она все время проливали чай, будто нарочно выплескивая его из ложки, и все начиналось сначала. Мне завели руки за спину, надели наручники. Мы прошли в следующую комнату. Справа и слева — открытые двери, и за каждой из них по человеку; руки у них были привязаны к ступням, и гестаповцы избивали их сапогами и какими-то дубинками. Несмотря на грохот молотка, мне казалось, что я слышу глухой стук ударов по обнаженному телу. Я старался смотреть прямо перед собой — может быть, не столько из страха, сколько от стыда. Курчавый блондинчик, сидевший за письменным столом, остановил на мне ничего не выражавший взгляд. Я ожидал, что сначала он будет удивлять мою личность.

— Не советую городить чепуху: Голицына теперь работает на нас!

О чем шла речь? То, что он пошел по ложному пути, могло оказаться мне на руку. Главное было сохранить ясность мысли, несмотря на окружавшую меня обстановку, на шум и на ощущение, будто я безрукий.

— Вы провели полтора года в Советской России?

— За последние десять лет я провел за пределами Франции не больше трех месяцев. Это легко проверить в отделе паспортов.

— Вы провели год у нас?

Ему, как и мне, приходилось кричать.

— Ни разу больше двух недель. Даты и места моих лекций в ваших университетах я сообщил военной полиции, которая меня допрашивала.

Словно в припадке (несомненно, притворном), он заорал, поднимаясь со стула:

— Выходит, вы невиновны?

— В чем? Я с самого начала совершенно добровольно за явил, что команду военными силами этих департаментов.

Он снова сел, со всего размаху швырнул в меня пресс-папье, промахнулся, но не стал повторять. Тут была какая-то неожиданность для него. Он разглядывал мою форму без знаков различия и орденов, мою единственную крагу.

— Вы говорите — последние десять лет?

— Да.

— И вам тридцать три года.

— Сорок два.

Накануне в нашу камеру приходил парикмахер. Человек с многодневной бородой возраста не имеет, но я вчера побрился, и было ясно, что мне больше тридцати трех.

Он позвонил. Солдат перестал колотить по жести. Крики, перешедшие в жалобные вопли, затихали вдали. Решили, что

демонстрация продолжалась достаточно долго? И все же я чувствовал себя в большей опасности, чем под пулеметами на дороге возле Грама или под дулами винтовок во время инсценированного расстрела. Немец опять говорил нормальным голосом, почти освободившись от акцента.

— Вы хотите сказать, что вы не сын покойных Фернана Мальро и Берты Лами?

— Нет, я их сын.

— От какой болезни умер ваш отец?

— Он покончил с собой.

Немец перелистывал мое дело.

— Когда?

— В тысяча девятьсот тридцатом или тридцать первом. Но тут никакой ошибки быть не может: в нашей семье не было другого Фернана.

Он посмотрел на меня со злостью, словно говоря: «Тогда объясните мне, что происходит!» Я подумал, что сейчас я мог бы развести руками и это означало бы: «Я понимаю в этом не больше вашего». Но руки у меня были за спиной, а на них — наручники. И все же я как будто догадывался о том, что происходит.

Тридцать три года — это был возраст моего брата Ролана. Он действительно провел год в Германии, еще до Гитлера, и полтора года в Советском Союзе. Так называемая княжна Голицына была его любовницей. Париж переслал сюда его досье, а не мое. Ролан находился в их руках. И если они до сих пор не нашли моего досье, то виноват я сам: я всегда забываю, что меня зовут не Андре. Никто никогда меня по-другому не называл. Но по документам я числюсь Жоржем. Значит, бронетанковая дивизия, вероятнее всего, не передала протоколов моих допросов — она лишь запросила личное дело Мальро, Андре, какового в отделе актов гражданского состояния не оказалось, поскольку его не существует. Из всех досье, заведенных на Мальро (в одном лишь районе Дюнкерка у меня пятьдесят два кузена, из которых около тридцати носят мою фамилию), они выбрали самое подозрительное. Но, видимо, в этом досье находилось нечто такое, благодаря чему допрос начали не с избиения и следователь не обращался ко мне на «ты».

— Вы утверждали, что с нашими пленными у вас хорошо общались?

Значит, бронетанковая дивизия переслала сюда протоколы допросов в более полном виде, чем я предполагал.

— У вас было достаточно времени проверить это с помощью осведомителей вишистской милиции.

— Незачем, мы своих пленнх у вас отбили.

Вот уж в этом я сомневался.

— Вы и есть Берже, не так ли?

— Да.

— Значит, вы признаете себя виновным?

— С вашей точки зрения, это бесспорно.

Позади меня немец в штатском вел протокол. Следователь по-прежнему листал досье.

— Ну что ж, начнем все сначала!..

Потом, как пес, сделавший стойку, он взглянул на меня и закричал, словно негодуя на всю эту бессмыслицу:

— Да скажите же мне, какой дьявол втянул вас в это дело?

Секунда колебания.

— Мои убеждения.

Он ответил, точно харкнул:

— Ваши убеждения! Вот мы на них и поглядим!

Он встал из-за стола, прошел в соседнюю комнату. Что бы там ни произошло дальше, а я, как и столько людей до меня, держался, пожалуй, насколько мог, мужественно.

По крайней мере пять минут. Все должно начаться или кончиться.

Звонок.

Штатский прошел вслед за своим коллегой в соседнюю комнату, тут же вернулся, велел охранникам увести меня и снова ушел.

Та же дорога, по которой меня вели сюда. В подворотнях по-прежнему играли охранники.

Я попытался «увидеть» комнату, в которой меня допрашивали и которую, мне казалось, я не разглядел. На стене, над ящиками с картотекой, висела реклама «Перно Понтарлье» — когда-то такие плакаты были расклеены во всех кафе. Ползали насекомые. Связанный человек, которого палач в комнате справа поднимал ударами сапог, был светловолос и весь в крови. Черты моего курчавого следователя — близко посаженные глаза, крошечный носик, крошечный ротик — вписывались в круг, гораздо меньший диаметром, чем все лицо.

Лестница. Камера. Рукопожатия. Всеобщее изумление.

— Партия отложена, — сказал я, — у них оказалось не то досье.

Стенной телефон. Поздравления из соседних камер. Передали, что нами взяты Нант и Орлеан и что немецкие части в Коррезе сдались. Если это правда, значит, они сдались моему премьернику, что многое объясняло... Мои товарищи по камере жаждали информации о том, что они называли бомбардировкой. Они слышали гул, уже не такой отдаленный, как первые два раза. Ночью мы слышали этот гул еще трижды — возможно, из-за ночной тишины.

На следующее утро взрывы были такие близкие и такие мощные, что мы решили, будто бомбят Тулузу. Но гула самолетов не слышно. Андре просверлил дырку в низу одного из щитов, закрывавших наши окна, — мы увидели лишь клочок неба в полосах дыма. Дальнобойные орудия? Но где проходил фронт? Некоторые взрывы были явно не от снарядов. «Алло, алло! Фрицы взрывают свои игрушки!» Какие именно? Немецкие склады или французские здания — немцы взрывали их по собственному плану, независимо от продвижения союзников, вот почему взрывы то приближались, то удалялись. Слушать, ждать, строить догадки — только этим и жила тюрьма...

Видимо, все-таки происходило то, на что надеялось большинство из нас с первых часов ареста: фронт был прорван, и южная группа оккупационных войск откатывалась к Парижу.

Одна за другой с шумом открывались двери. Охранник кричал на бегу: «Всем вниз с вещами!» — и бежал к следующей двери. «С вещами», как правило, означало отправку в Германию. Ко времени моего ареста большинство главных коммуникаций было уже перерезано. Перевозить нас в грузовиках, через партизанские районы Центрального массива? Нас отвели в большой зал, тот самый, где я провел первую ночь. Всех ли заключенных собрали сюда? Нас было больше пятисот — измученные лица каторжан, жалкие пожитки в руках. Почти все сидели на полу. Извечный табор побежденных. Слухи, одни нелепее других, возникали и исчезали с калейдоскопической быстротой. После трех часов ожидания нас развели по камерам.

Немцы опоздали? Теперь им оставалось либо бросить нас, либо расстрелять. Не так уж много понадобится пулеметов, чтобы убить тысячу человек.

Никакого супа. Несколько заключенных яростно забарабанили в двери. Охранники выстрелили наудачу вдоль коридора. Тишина.

Всю ночь шли войска. Тюрьма выходила фасадом на одну из главных улиц. Утром никакого супа. Но около десяти часов шум грузовиков сменился торопливым грохотом танков. Одно из двух: либо к северу от Тулузы шли бои (но мы не слышали ни канонады, ни рева бомбардировщиков), либо немцы оставляли город.

И вдруг мы застыли, с изумлением уставившись друг на друга: во дворе тюрьмы женские голоса распевали Марсельезу. То не было торжественное пение узниц, которых отправляют в лагерь смерти; то был неистовый крик, с каким, наверно, парижские женщины шли когда-то на Версаль *. Никаких сомнений, немцы ушли. Удалось ли женщинам отыскать ключи? По коридору с криком «Выходи! Выходи!» бежали люди. На первом этаже раздался звук могучего деревянного гонга, пере-

шедший в дробь тамтама. Мы поняли. Единственной мебелью в каждой камере был стол. Стол, оставшийся в наследство от старых тюрем, может быть еще со времен Второй империи, громоздкий и тяжелый. Мы всей камерой схватили наш стол, поставили его перед дверью, отступили к самым окнам. Андре скомандовал: «Раз, два, три!» Мощный колокольный удар сотряс камеру. Дверь, казалось, напряглась, как лук, хотя наши усилия были не совсем согласованными. Посыпалась штукатурка; Андре поднял кусок, начертил на двери крест на уровне нашего роста, сказал: «Всем целиться сюда!» С первого этажа доносился грохот таранов. Мы отступили до самых окон. «Раз, два, три!» Дверь прогнулась; казалось, она вот-вот разлетится в щепы. Мы отступили. Мы были очень истощены, но истерически взвинчены. Тараны гремели со всех сторон, мы слышали, как трещало дерево. Много недель мы жили звуками, нависшей угрозой. Переговоры через стену, шаги идущих на пытку — этот дом тишины, подтачиваемой осторожными звуками, точно балка червоточиной, и мы — обращенные в слух. И теперь, все еще запертые посреди извержения криков и гулкого грохота таранов, мы по-прежнему жили вслушиваясь. Вся тюрьма гудела. Перекрывая тамтамы смерти (каждую минуту могли вернуться немцы), Марсельеза вновь обретала свой пророческий клич: «день славы» — то было наше освобождение; «тирания» — мы хорошо знали, что это такое; «слышите, в наших полях» — грохочут союзные танки и, может быть, подходят все ближе. «К оружию!» — и в ответ бьют в двери тараны. Кое-где в камерах раздалось было жидкие всплески Марсельезы, но быстро захлебнулись: дверь не вышибешь в ритме песни. Но тараны — их удары словно все убыстрялись, так стремительно росло их число, — сопровождали, будто грохот гигантских подземных барабанов, волну затухавших криков. С пятого удара дверь разлетелась.

Пришлось сначала вытаскивать застрявший в проеме стол. Справа в коридоре из многих камер выскакивали заключенные, перепрыгивая через вышибленные или разбитые двери; слева, со стороны лестницы, выплескивалась, потрясая поднятыми вверх кулаками и отвечая песней на кузнечный грохот таранов, ревушая толпа без возраста, толпа народных восставших, подправленная картинками из дамских журналов, ибо женщины, влившись в ряды оборванцев-заключенных, были элегантны или старались быть такими. Впереди, размахивая связкой отмычек, бежал какой-то детина; он начал отпирать еще не выбитые двери камер. Пели теперь только где-то над нами, но повсюду свобода колотила в свой неистовый гонг. Мы спустились, пробиваясь против течения, вырвались во двор и тут услышали стоны раненых; ворота тюрьмы с ужасающим

грохотом с размаху захлопнулись, заглушая гул удалявшихся танков и пулеметные очереди. Около десятка узников вбежало обратно во двор — окровавленные, держась за животы и падая без чувств. Наверху — отдаленная Марсельеза и тараны; внизу — нереальная тишина. Снаружи — крики. Все, кроме раненых, упавших во дворе, собрались в большом зале, человек триста-четыреста.

— Берже — командиром! Берже! Берже!

Кричали, наверно, заключенные из соседних с нашей камер; всем хотелось избавиться от этой бесформенной свободы, хотелось действовать сообща, но мы были безоружны, а за воротами — немецкие танки. Военная форма была на мне одном, что придавало мне своеобразный авторитет.

— Ступай! — сказал Андре. — Пошевеливайся!

Я взобрался на ящик:

— Стройся!

И вот уже передо мной стройные ряды.

— Врачи, ко мне.

Четверо.

— Санитары есть?

Подошел один. Возьмем еще нескольких заключенных.

— Первые десять поступают под начало доктора и занимаются ранеными — теми, кто уже ранен, и теми, кто будет ранен!

— А что мне с ними делать? — спрашивает врач.

— Что хотите. Быстро! Следующие восемь!

Они стояли рядом, но я продолжал выкрикивать распоряжения. По четырем углам тюремной стены были расположены сторожевые вышки.

— По двое на каждую вышку. Один остается на посту, другой возвращается сюда с отчетом и будет связным.

Андре распределил людей по вышкам. Его самого я послал на вышку, выходящую на дорогу.

Никаких звуков, только крики раненых. Если бы немецкие части еще были здесь, они попытались бы выломать ворота; если бы здесь был хотя бы один танк, он бы их уже выломал. Значит, по крайней мере в ближайшие минуты ничего не произойдет. Из глубины двора подходили новые заключенные; другие уходили.

— Офицеры и партизанские командиры!

Трое.

— Те, кто знаком с расположением Сен-Мишеля!

Несколько недель назад заключенных использовали здесь на разных работах. Таких набралось человек двадцать.

— Те, кто знает, где немцы хранили оружие!

Двое усачей.

— Там, наверно, ничего уже нет, но пойдите проверьте!

— Те, кто знает, где находятся приставные лестницы!
Никого.

— Те, кто знает, где были лопаты или молотки!

Пятеро. Не так уж плохо.

— Пойдите проверьте!

Я подозвал одного раненного в руку и его приятеля, который накладывал ему жгут.

— Расскажите, что произошло.

— Мы кинулись сломя голову, там были танки, ударили по нам из пулемета.

— А потом?

— Кто смог, вернулся.

— А танки?

— Не знаю...

Ну что же, покричим опять.

— Все раненные, ко мне!

Вот они. Второй врач сейчас ими займется.

— Танки, которые в вас стреляли, остались на своих позициях или ушли?

Большинство не знало. Четверо или пятеро сказали, что танки ушли. Один — что они остались. Я вспомнил, что грохот гусениц как будто удалялся...

Подозвал одну из женщин, она была почти спокойна.

— Как вам удалось сюда войти?

— Когда первые фрицы ушли, многие женщины начали наблюдать за тюрьмой, потому что у них здесь мужья. Когда увидели, что и охранники уходят из Сен-Мишеля, несколько женщин решились сюда войти — прикинуться дурочками, придумать всякие там предлоги. Ворота даже не были заперты. Кругом ни души. Тогда они крикнули нам, и мы все вошли.

— И никаких танков, как я понимаю, не было?

— Не было. Потому-то первые и вышли за ворота, ничего не подозревая.

Вернулся один из усачей.

— Оружия не нашли, нашли гранаты.

— Сколько?

— С полсотни.

— Взорвите где-нибудь одну для проверки. Возьмите четырех человек и поднесите остальные к воротам, разложите их по обе стороны арки.

Возвращается Андре:

— Париж освобожден! Со своей вышки я переговаривался с соседом, он все видел. Он считает, что фрицы в тюрьму не вернуться, об этом и говорить нечего. Но эвакуацию Тулузы они еще не закончили, а мы находимся на одной из дорог,

по которой они эвакуируются. Танкисты, покидавшие город, узнали здание тюрьмы, поняли, в чем дело — да это и нетрудно было, — и стали стрелять по толпе.

— Пошли еще двух связных.

Подошел связной с другой вышки, у дороги, и подтвердил информацию Андре.

Я выкрикнул еще несколько распоряжений, подошел к воротам тюрьмы, приказал их открыть. Дорога была пустынна. После трех раздавленных танками тел остались кровавые лужи.

— Во дворе есть песок, — сказал я одному из сопровождавших меня офицеров. — Прикажете засыпать кровь. Старайтесь ничем не привлечь внимания немцев. Если с вышки заметят их приближение, идите во двор не торопясь, как будто возвращаетесь после наряда.

Перед воротами — бедные домишки и лавчонки, где в прежние времена покупали провизию для заключенных; за ними — палисадники.

Я послал десятка два из толпившихся вокруг людей открыть все двери.

— Потом уходите задами, оставляя за собой все двери и калитки открытыми!

Они перебежали через дорогу. С ними побежали те, кто засыпал кровь песком. Все заключенные разбились на группы по двадцать человек. Свисток с вышки. Но мы и так уже слышали: танки. Закрыли ворота, задвинули огромные засовы.

Немецкие танки либо не обратят внимания на тюрьму, и тогда заключенные, когда танки пройдут, группами выйдут за ворота. Либо же танки будут таранить ворота. Но арка ворот слишком узка, чтобы въехать с ходу; танкам придется маневрировать, а развернуться им негде, даже если они врежутся в две-три соседние лавки. В нашем распоряжении было несколько минут. Въехав под арку, танки станут уязвимы для гранат, тогда как нас будет прикрывать прямой угол стены. Если они прорвутся во двор, они нас всех уничтожат. Но сначала им нужно прорваться. Стоит нашим гранатам поджечь первый танк, и проход будет закупорен; танки, идущие следом, вряд ли станут терять время на осаду. Два унтер-офицера противотанковых частей и двое молодых, умевших обращаться с гранатами, присоединились ко мне. Немецкие гранаты с рукоятками, которые усач сложил по обе стороны черной горловины ворот, были удобнее наших. Уже ничего не было слышно, кроме приближавшегося грохота танка (танка довольно легкого). И опять, в который раз, жить в этой тюрьме означало слышать. Танк не может маневрировать, не замедляя хода, а он его не замедлял. Возможно, мы были спасены. На вышках наши дозорные присели на корточки. Цепочкой, как разъяренные му-

равьи, пули прошли верхнюю часть ворот. И танк уже миновал тюрьму.

То же самое и с двумя следующими танками. Они посылали прощальную очередь, не причинявшую нам никакого вреда. Но это было все — то ли из-за безразличия к нам, то ли по приказу. Еще девять танков прошло перед тюрьмой, как и перед всеми домами... Последний из них увез с собою и шум.

Я бросился к левой вышке. Танк подъезжал к повороту дороги. Гусеницы перемешали песок и кровь, перед тюрьмой больше не было пятен. «Откройте ворота!» Первые узники вышли неторопливо, точно просто прогуливались, но иступленное буйство свободы выплеснуло остальных из ворот, точно толпу потерпевших бедствие школьников. Если пройдут танки, бойня возобновится.

Но больше не должно быть танков.

V

3

Я иду сейчас в Комитет по сооружению памятника Жану Мулену. Он состоит из делегатов организаций Сопротивления, организаций депортированных лиц и узников лагерей смерти.

Мысль о лагерях вот уже двадцать лет не оставляет меня. Кошмары и пытки присутствуют почти во всех моих книгах, написанных еще во времена, когда известна была лишь каторга. Мой личный опыт в этой области не слишком богат, хотя я, естественно, не забыл ни маленького курчавого гестаповца, ни доносившиеся сквозь открытые двери крики пытаемых в Тулузе, ни женщину с чайной ложечкой. Однако речь здесь идет не об опыте, а о диалоге, причем более содержательном, чем диалог человека со смертью.

Как все писатели моего поколения, я был поражен фразой из «Братьев Карамазовых», где Иван говорит: «Если божья воля допускает, чтобы злодей мучал невинного ребенка, то я свой билет возвращаю»*. Я дал почитать «Братьев Карамазовых» глиерскому священнику, и он написал мне, отдавая книгу: «Конечно, поразительно, но это-то и есть вечная проблема зла; однако для меня зло — это не проблема, а тайна...»

Достоевский, Сервантес, Даниэль Дефо, В и й о н , — все те, кто побывал на каторге, у позорного столба или в тюрьме *... Пока я спускаюсь от Пантеона к Сене, так как Комитет заседает в склепе узников лагерей смерти, в сознании у меня возникает картина крымского сада, где Горький мне сказал: «Я спросил у одного комсомольца, году в 1925-м, что он думает о «Преступ-

лении и наказании», и тот ответил: «Сколько историй из-за какой-то одной-единственной старухи!»

Не погиб ли он, этот комсомолец, где-нибудь в русском или немецком концлагере? А главное, понял он что-нибудь за это время или нет?

В Достоевском жила несокрушимая надежда, которая у него в творчестве проступает лишь как-то пунктиром. Мейерхольд, после того как показал мне описанный в «Преступлении и наказании» старый санкт-петербургский квартал (бесконечные железные лестницы, теряющиеся в таинственной тени каналов), показал мне также тот дом в Москве, где прошла юность писателя, дом его отца, врача Военной школы. На стене кабинета в обтянутой плюшем раме висела сильно увеличенная копия выцветшей фотографии. Я видел и раньше эти согнутые всеми земными скорбями плечи, это мертвенное лицо с прикрепленной к нему чахлой бородой, но здесь, в этом пустынном полумраке, от них повеяло каким-то наваждением, словно выцветшее бромистое соединение способно приближать к нам прошлое гораздо более убедительно, чем какой бы то ни было костюм. Портрет напоминал тот украденный у живых образ, которого раньше так боялись в азиатских странах; украденный и приколотый к стене комнаты образ с характерным страдающим взглядом и серым цветом кожи. Однако было в нем одновременно и воскресение, причем воскресение тем более убедительное, что образ в натуральную величину явно принадлежал смерти и стал тем самым Лазарем, которого когда-то удалось вновь найти Достоевскому *, найти не для того, чтобы утешать убийц и проституток, а для того, чтобы потрясать колонны, на которых держится загадка мира, некая простирающаяся по ту сторону проповедей любви туманность всего неизбывного, всего страдающего, главная загадка, гласящая: «Что делаешь ты на земле, где царит несчастье?» Самый неотложный вопрос после вопроса, заданного Шекспиром *, трагически вибрировал в этой привратничьей камерке. Хранительница вытащила из письменного стола и протянула нам книгу: «Это Библия, которую он привез с каторги». Она была покрыта надписями, среди которых постоянно встречалось слово «Нет». Чтобы узнать будущее, русские, просыпаясь, раскрывали Библию: первый абзац левой страницы предсказывал, что должно произойти. И вот напротив какой-нибудь фразы вроде: «Мария Магдалина видит, что камень взят с гробницы» — каторжанин по прошествии недель или дней одним и тем же почерком неизменно и с горестью писал: «Нет».

Покидая улицу Сен-Жак, я вспоминаю этот портрет, висевший в проеме между двумя окнами, выходящими во двор казармы с унылой мостовой, дремлющего в тумане дворника,

эту коммунистку в черной старинной русской шали поверх седых волос, ждавшую, когда Мейерхольд возвратит ей книгу. Достоевский, я вспоминаю твоих пьяных шутов и братство в вечернем Санкт-Петербурге, твоих святых и твоих безумцев, твои невероятнейшие политические теории и твою душу пророка. Откровение виселицы в конце концов освободило тебя от необходимости переводить Бальзака и писать романы в диккенсовском духе *. Тогда я еще не знал, что через десять лет я окажусь в ситуации, когда будут имитировать мою собственную казнь, и что, возможно, в фиктивные виселицы верится не больше, чем во вскинутые в твоём направлении винтовки. И вот ты стал защитником православия и царизма, носителем чего-то такого, что бросает твоих складывающих крестом руки персонажей в грязь публичных исповедей, но и обладателем этого столь ужасного молчания твоего выцветшего лица, на которое падает вечерний свет, этих губ, которым не обязательно говорить, чтобы мы услышали фразы, наполнившие век, чтобы мы услышали единственный со времен Нагорной проповеди ответ на священное варварство Книги Иова *: «Если мировой порядок достигается ценой страданий невинного ребенка...» *

Ты не изобрел таинство зла, хотя ты, несомненно, нашел для его выражения самые душераздирающие слова. Однако не тоска твоя, пророк, наполняет эту жалкую комнатку, даже если она и стала тоской нашего времени: любая жизнь становится таинством, когда ее вопрошает страдание. Не тоска, а Лазарь, против которого бессильны и несчастье и смерть, Лазарь, превратившийся в неопровержимый ответ Антигоны * или Жанны д'Арк перед судами земли: «Я пришла в мир не для того, чтобы разделять ненависть, а для того, чтобы разделить любовь»; автор псалмов воспевал вечность, которую тысячу лет спустя, когда на небосводе появляются волшебные звезды Венеции, вновь видит Шекспир: «В такую ночь, Джессика...» *: любовники, которые чувствуют, как во мраке воскресают умершие любовники, и каторги, откуда доносятся крики, поднимающиеся к ассирийским созвездиям. Я вспоминаю про нацеленные на меня немецкие винтовки. Точно таким же вот днем, Достоевский, ты поднимался по ступеням к виселице, которая была похожа на спортивную трапецию, неумелый рисунок которой мне однажды показали...

Эта виселица напоминает мне виселицу в Нюрнберге. Там петлю на шею узников, стоявших на кончиках пальцев, набрасывали с таким расчетом, чтобы изнеможение вынудило их убивать самих себя. Я видел этот каркас из труб в одном покинутом лагере, где уже не было ни мертвецов, ни веревок; он казался похожим на одно из тех металлических сооружений, по которым во время тренировок карабкаются пожарники.

Я читал о лагерях то, что можно прочитать, в частности воспоминания уцелевших узников лагерей, в которых погибли мои братья. Я расспрашивал всех моих спасшихся друзей. Устные рассказы более коротки, чем записанные, но им присуща та плотность подлинности, которой наша нескончаемая хроника бесчеловечности обладает далеко не всегда. Какие воспоминания смешались во мне? Прежде всего «Песня партизан»*.

Ты видел, друг,
Как воронье слеталось на поля!
Ты слышал, друг,
Как застонала в кандалах земля.¹

Может быть, из-за того, что я только что слышал ее мелодию; потом еще «Песня болот», наследство, доставшееся от коммунистов, которых арестовывали в 1933 году:

Над болотистой равниной
Небо кажется мертвей,
И не слышно ни единой
Птицы в шелесте ветвей.
Даль подавлена тоской:
День-деньской маши киркой
Вверх-вниз!..¹

Раны, снег, голод, вши, жажда; потом жажда, голод, вши, снег, болезни и раны. И трупы: «Вы можете выбирать между земляными работами и работой с прахом в крематории». Галлюцинации, которые заставляют принимать убийственную дубинку капо за плитку шоколада; бесконечно обсасываемый маленький кусочек дерева; тело, в котором, кроме голода, не осталось уже больше ничего; жажда, которая после четырех дней и ночей в вагонах-гробах вынуждала несчастных склоняться над ведрами в уборных; и главное — организация унижения. Голод был постоянным спутником заключенных, подведившим их к смертельной черте. Навязчивые конкурсы воображаемых пиршеств, которые сначала заставляют соревнующихся смеяться, преодолевая боль в сердце, и говорить: «А впрочем, мне плевать, ничто из всего этого не стоит бифштекса с жареной картошкой и добрым красным вином», а в конечном счете заканчиваются ссорой и ударами. Эдмон Мишле * рассказывал мне про агонию одного священника, умиравшего от голода в Дахау: «Такому-то ты отдашь мои драже, мои кара-

¹ Перевод Р. Дубровкина.

мели, а такому-то мое сгущенное молоко...» У него не было ни драже, ни карамелей, ни сгущенного молока. Мишле не знал никого из тех, кому они предназначались. Священник, который все-таки выжил, позднее рассказал: «Я называл имена своих товарищей, с которыми я когда-то учился в выпускном классе лицея...» Сексуальное воображение, желание давным-давно исчезли, и все пространство сознания заполнилось двумя самыми обыденными наваждениями.

Существует такое разрушение времени, которое похоже на медленную пытку, является как бы воплощением человеческого удела; при этом тело становится самым коварным врагом; что ни пробуждение, то новое осознание глубины своего чудовищного несчастья; уничтожение всех индивидуальных признаков; деградация и непрерывные удары в мире, где смерть ждет человека на каждом шагу. И иногда воспоминание о мире, где женщина была желанна и где мужчина обладал сердцем, где ненависть несла с собой надежду, что когда-то она будет утолена: ведь человек, лишенный всякой надежды, находится по ту сторону ненависти.

Декорацией ада в рассказах, которые я вспоминаю, является не какая-нибудь шахта, не какой-нибудь карьер, не лагерь, а безумие. Главная дорога называлась улицей Свободы; так же называлась и полоса, которую машинка для стрижки прочерчивала от лба до затылка. Дома немцев, как говорят вернувшиеся оттуда, были окружены «кокетливыми садиками», и под аккомпанемент криков избиваемых до смерти заключенных там можно было увидеть играющих котят; можно было встретить монастырские цветы в центре барака, где постели кишели вшами. Была нелепость ударов, которые немецкие политические заключенные наносили полусумасшедшим. Мир, где невозможное было всегда возможно, — это был кошмар в прямом смысле слова; сознание заключенного находилось во власти несообразности, существовало в мире организованного хаоса, где слово «организовать» означало украсть у врага: украденные для умирающих куски сахара были «организованы». Сбор золотых зубов и волос, накапливающихся после стрижки; беспричинные отъезды (однако эсэсовцы знали, что разлука ослабляет заключенных); в женском лагере — отмеченная черным треугольником немка-воровка, которая, чтобы не дать французенкам остатки своего кофе, мыла им пол; вызов добровольцев направиться в Бордо, который эсэсовцы путали с борделем; вопрос: «Умеете ли вы играть на рояле?» — обращенный к заключенным женщинам, которых направляли на земляные работы; безжизненные тени, катящие всемером или восьмером какой-нибудь каток с месопотамского барельефа. И у женщин, и у мужчин из громкоговорителя несло "Schön ist das Leben"

(«Жизнь прекрасна»); кража очков — кому они нужны? — и странным образом фосфоресцирующие кругляши колбасы. Те, кто, ложась спать, шнурками привязывали башмаки к шее, порой, когда воры пытались их украсть, чудом оставались в живых. Медицинская справка о том, что заключенного можно бить. Гадания, оплачиваемые хлебом. Женщины, которые не плакали от самых жестоких ударов, но плакали, проигрывая партию в подпольные карты. «Мучительницы», которые во время бомбардировок просили тех, кого они били, молиться и за них тоже. Было, например, и такое наказание — черный юмор! — «за смех в строю». Schwester¹, которую грозились позвать, чтобы заставить замолчать заключенных-рожениц, страсть заключенных — разделяемая и забавляющимися охранниками — устраивать между собой, порой еще не отойдя от ударов эсэсовцев, матчи бокса. Существовали театр («Ромео и Джульетта» в Треблинке!), оркестры в полосатых робах, игравшие в тот самый момент, когда экскаваторы вырывали из рвов гроздь полуживых заключенных, чтобы бросить их в полыхающий, как гигантская паяльная лампа, костер.

Есть несколько сцен, которые я после рассказов уцелевших записал. Сейчас я вижу, что три из них — это сцены бесед.

Сначала сцена карантина.

Заключенные, которых еще ничем не заняли, смотрят, как мимо них в одежде каторжников проходят группы стриженных бедолаг, опирающихся на костыли, или как возвращаются команды скелетообразных каторжников. Каждый рассказывает какую-нибудь историю (не собственную), которые начинают надоедать. На свете существуют диковинные профессии: один укротитель пользуется большим успехом, рассказывая, что маленьких животных приручить можно, только если притвориться, что ты их боишься. И вот кто-то начинает играть в дрессировку кролика, а в это время по другую сторону колючей проволоки, ограждающей карантинный участок, эсэсовцы, как бы для поднятия духа, избивают лопатой заключенного. Десять дней спустя устанавливается тишина. В сумерках на соломенном тюфяке лежат трое из тех, кого другие ласково называют Сумасбродными Интеллигентами. Причем один из них, нещадно избитый еще во время допроса на улице Фоша, находится при смерти, и его хрип смешивается с доносящимися снаружи воплями на немецком языке. Чуть дальше те, кто знает песни, поют. В них говорится о доме или о сне. Если петь хором и в замедленном темпе, то мелодию «Солдатика» можно превратить в нескончаемую колыбельную. Кто-то рассказывает «Макбета». Те, кто знает стихи, декламируют стихи. Сума-

¹ Сестра милосердия (нем.).

сбродные Интеллигенты знают их много. Один из них, которого не видно в темноте, пересказывает отрывки из Пеги.

Густой дым крематория теряется в облаках, плывущих со стороны баварских лесов и с гор Богемии. Французы восторженно внимают. А люди других национальностей чувствуют, что происходит нечто серьезное, и молчат. Второй Сумасбродный Интеллигент подхватывает с яростью. Его видно всего; он стоит в кальсонах на каком-то возвышении, у него из-за ушей торчат пучки волос — типичное лицо страшного клоуна и безумца:

Смотрите, как идут пехотные полки
По двадцати векам, за шагом шаг вбивая,
И слушает король, как стонет мостовая,
Как неподбитые грохочут башмаки.
Под шляпой с перьями косятся воровски
Глаза придворного на гнев рабов бесправных.
Пехота говорит с опасностью на равных:
Под пули во весь рост и грудью — на штыки.¹

Снаружи команды прекратились и слышен крик петуха. Один заключенный сообщает, что у него есть осколок зеркала, и каждый хочет взглянуть на свое отражение. То, что они называют скукой, возникает не от безделья, а от нависшей угрозы: ну а теперь что с нами будет? Время от времени в толпе циркулируют, словно какие-то маленькие животные, самые невероятнейшие и непонятно откуда берущиеся предположения.

25 декабря 1944 года в женском лагере, наступает рождество. В мужском госпитале священники, участвовавшие в Сопротивлении, читают проповеди. Дизентерия, тиф, туберкулез, раны, поломанные на работе или дубинками капо конечности. Один-единственный термометр и никаких медикаментов. Из полосатых лохмотьев выглядывает превратившаяся в пергамент кожа. Почти безмолвный ад. Только странные крики от голода, или еще: когда по дороге за колючей проволокой появляются черные фигуры крестьян, то один раненый со сломанной ногой начинает кричать: «Вы свободны! СВОБОДНЫ!» В качестве суден используются захваченные контейнеры от парашютов... Сегодня утром немецкий врач спросил моего соседа, от побоев харкающего кровью:

— В вашей семье были больные туберкулезом?

— Ничего, — говорит священник, облаченный в отрепья, которые ему выдали вместо полосатой лагерной формы. —

¹ Перевод Р. Дубровкина.

Ничего. Сегодня вечером во Франции семьи собрались вокруг столов. Наше место пустует. А на земле есть огромная семья. Семья узников лагерей: тех, кто умер, тех, кто умрет, тех, кто дождется освобождения.

Он рассказывает евангельскую историю рождения Христа, добавляя пастухов Луки к волхвам Матфея, осла и быка к Священному писанию — это Евангелие детства тех, кто его слушает...

— И вот ОН пришел и дал приговорить себя к смерти, чтобы мы могли умереть не в полном одиночестве.

Его заставили нести крест. Из того креста, который несем мы, он где-нибудь делает, вы уж мне поверьте, большой-большой крест.

И вот он упал в первый раз, это вы знаете.

Человек по имени Симон помог ему нести его крест*; мы все встречали Симона. Одна набожная женщина вытерла ему лицо. Толпы нет, но на Восточном вокзале в начале мая цветочницы нам принесли ландыши, и люди сразу же купили у них все остальное...

Он упал во второй раз: мы знаем. Он утешал женщин Иерусалима, которые шли за ним; здесь, во Френ, многие подвергали себя опасности, чтобы сквозь стены подбодрить вновь прибывших. Пусть Господь сделает нам всем милость, пусть даст возможность утешить товарища.

Он упал в третий раз. С него сняли одежду. Его привязали к кресту, и он там умер.

Его тело отдали его матери; а то, что наших матерей здесь нет, так это великая милость!

Не всегда: часто в лагерях мать и дочь оказываются вместе, в тех случаях, если их вместе арестовали.

— И положили его в склеп...

Напротив строят второй крематорий.

— Велосипед! Иметь велосипед! — кричит раненый с отрезанной ногой.

С криком вскакивает похожий на скелет больной: тот, кто лежал рядом с ним, только что умер и вши переползают на него.

— Это Крестный путь. Когда мы отправлялись, немецкий священник из Френ (он был хороший) сказал мне: «Главное, никогда не терять надежды и никогда не сомневаться в Боге...»

А там, там будет, наверное, трудно...

Да, трудно. Но потом мы пойдем. Вот почему надо принимать смерть так, как если бы мы понимали. Принимать ее радушно.

Когда я был ребенком, то пели про рождество, которое... Это милостивый Бог поет...

Голос его становится тише, а потом поднимается и поет

почти на тот же мотив, что и «Был такой маленький кораблик»: «Мне предстоит маленькое путешествие».

Маленькое путешествие — это, кажется, Воплощение.

Есть такие, кто считает, что с ними самими обошлись гораздо проще, без историй. И есть такие, кто молчит.

— По случаю рождения, — раздается голос, — крематорий должен был бы бастовать.

Равенсбрюк. Узниц собрали, чтобы они послушали выступление коменданта лагеря: микрофон подсоединен к громкоговорителю; седовласый мужчина похож на актера, выступающего в роли коменданта-эсэсовца. Перевод делают заключенные:

— Оставляя вас в живых, Великий Рейх проявляет беспрецедентную снисходительность. Вы, асоциальные элементы, вы — проказа на теле Германии. Вы, политические, вы подло убивали немецких солдат. Вам сохранили жизнь. Очень жаль. Но я подчиняюсь. Поступайте и вы так же. Тот, кто попытается нарушить дисциплину, принятую в этом лагере, приползет на коленях, это я вам говорю, приползет, умоляя применить к нему эту самую дисциплину. Дисциплина СС — это дорожный каток, и там, где он прокатится, там уже ничего не будет расти. Разойтись!

Узницы тут же окрестили его Аттилой-Давилой.

Затем только к французенкам обращается с речью эсэсовец без нашивок; очевидно, этот второй клоун имеет привычку обращаться к каждой категории узниц отдельно. У него на голове нет фуражки с эмблемой смерти, у него на голове нет ничего; его голова с выбритым черепом и прямым затылком делает его похожим на внимательную датскую овчарку Эриха фон Штрогейма *. Переводит его выступление эльзаска, в которой наверняка не больше сорока килограммов веса. Он широко расставил ноги и качается взад-вперед.

— Свора шлюх! Вы были разнаряжены, накрашены, и вам удавалось создавать впечатление, что вы женщины! Вы высказывались против Германии. Как сказал комендант, вы подло пытались нас убивать. Кто вы такие? Посмотрите на себя: дерьмо. С маскарадом все покончено! Отсюда вы выйдете только через трубу. Вы еще у меня попляшете, дождетесь. Все вы, жидовки! В трубу!

Он качается все больше и больше. Упадет или нет? Он находится в последней стадии опьянения, которая еще больше подчеркивается его речью:

— С маскарадом покончено! В трубу! Прежде всего, вы слишком жирные! Нужно, чтобы кости болели от одного прикосновения к постели! Ешьте клевер, это полезно для здоровья!

Перевод эльзаски, монотонный голос которой обращен как бы к никому:

— Он говорит, что мы грязь и что мы выйдем отсюда только, тогда, когда умрем.

Он продвигается вперед, продолжая широко расставлять ноги, но вроде бы не собираясь падать, доходит до самого первого ряда узниц. Остальные теперь его не видят. Они его слышат.

— Ах! мои сволочные хорошенькие француженки, я вас научу быть красивыми!

Перевод. Он уходит в сопровождении своих двух ээсовок. Со спины его опьянение заметно еще сильнее, но в нем нет ничего от водевильного опьянения: медлительное и угрожающее нордическое опьянение. Это не пьянчужка, а сумасшедший. Опираясь на плечи двух ээсовок, он разворачивает их, поворачивается к узницам:

— Первую, кто пошевелится, в тюрьму, в камеру умалишенных!

Пауза.

— В грязь и в трубу! Я вас научу быть красивыми!

Перевода нет. Он уходит, теперь слегка клонясь вперед, но выпрямленный, как если бы был в корсете, опираясь на два подставленных ему плеча, словно какой-нибудь мерзкий король Лир, опирающийся на своих двух дочерей ненависти. Площадь, где все это происходит, чистоты необыкновенной. У одной заключенной приступ безумного конвульсивного смеха; остальные вне себя от досады, но сообщнически сжимаются вокруг нее. Он больше не оборачивается и, тяжело ступая, уходит в тень идущего из крематория дыма.

Ээсовка из лагерного начальства проезжает на велосипеде вдоль колонны заключенных, направляющихся на работу. Она слезает и дает пощечину заключенной, возможно, нарушившей строй. В ответ та, являющаяся руководительницей подпольной ячейки, совершенно сознательно изо всех сил возвращает пощечину. Прерывистое дыхание всей колонны. Яростные удары хлыстов ээсовцев и ээсовок. На заключенную спускают собак; но по ее ногам течет кровь, и собаки, как в христианских легендах, вместо того, чтобы кусать, лижут кровь. Однако ээсовцы менее сентиментальны, они прогоняют собак и забивают ее до смерти. По лицам стоящих по стойке «смирно» узниц беззвучно текут слезы.

Когда я недавно все это записывал, то отмечал и многие другие факты: женщины-заключенные, сидящие в снегу на трупе своей подруги; женщины, для которых прошлая жизнь закончилась в десять часов тридцать минут, которые показывали

часы Френ; звуки поцелуев без слов (разговаривать запрещено), наполнявшие большой зал во время отправления крупных партий; навязчивое желание танцевать; прибытие в ночи, изрешеченной светящимися точками электрических фонариков в руках эсэсовцев; дрожащие от лихорадки стены; записывая их, я вспоминал Пастернака, читавшего по-русски свои стихи перед восхищенными студентами в зале Мютюалите*; вспоминал живших в наших комнатах певцов, когда в 1940 году мы находились в лагере военнопленных; фрески, созданные каторжниками Гвианы*, и того человека, «который так хорошо объявлял» на приеме у префекта; вспоминал Гали*, которая отвечала пришедшему к ней Майрене под усыпанным дружескими ящерицами потолком: «Я не хочу ничего знать, ни то, цветут ли поля, ни то, чем закончится приключение человека...»; Эренбурга, оказавшегося в роли комиссара при цирковых животных под верховным началом Мейерхольда и удивляющегося тому, что зрители воруют кругляшки нарезанной для его кроликов морковки; вспоминал моего республиканского испанского священника: «И когда последняя цепочка бедняков тронулась в путь, над ними взошла неизвестная звезда...» Однако пытка существует уже многие века; и даже те, кто пел под пытками, — тоже*. Чего раньше не существовало, так это такой вот организации унижения.

Ад — это не ужас, ад — это когда человека унижают еще до смерти, независимо от того, приходит смерть или проходит мимо; это страшная мерзость жертвы, таинственная мерзость палача. Сатана — это тот, кто унижает. Деградация начиналась с насмешки, оборачивавшейся бессмыслицей, например, когда на пойманных беглецов вешали картонку с надписью: «Вот я и вернулся» — или когда всех заключенных обязывали плевать в лицо и давать пощечину тем, кто пытался воровать хлеб, — кстати, на них тоже вешалась картонка (после чего капо укладывал их ударом палки). Это был уже не просто абсурд, как тогда, когда подвергнутые пыткам узники вдруг видели, как гестаповцы из охраны играют в чехарду, это была насмешка над Христом. Обращения в веру были редки, но почти все неверующие заключенные присутствовали на полулегальных религиозных церемониях, потому что, начиная говорить о страстях господних, священник говорил им о них самих. Совершенство концентрационной системы было, очевидно, достигнуто в Дахау, когда эсэсовцы вменили в обязанность заключенным немецким священникам прогонять из часовни всех иностранцев-мирян, которые приходили туда молиться. (Перед этой часовней из рифленой жести красовалась надпись, сделанная готическим шрифтом: «Бог здесь Адольф Гитлер».)

Тех, кто отказывался это делать, расстреляли, но вокруг

часовни постоянно были стоящие на коленях заключенные. Механизм того, как политических заключенных отдавали в подчинение уголовникам, ворами и убийцам, или в женских лагерях — проституткам, тщательно изучен. А вот сильно меняющуюся на протяжении войны мозаику изучали мало. На одежду пришивались матерчатые треугольники, указывавшие, к какому типу принадлежит заключенный: антифашисту следовало знать, что он подчиняется убийце или сутенеру, а каждый немец, будь то эсэсовец или заключенный, должен был знать, что перед ним находится «террорист». Однако многие из тех, кто носил красный треугольник политических, вовсе не являлись бойцами Сопrotивления, а были просто крестьянами, не пожелавшими доносить, молодыми людьми, рисовавшими на стенах Лотарингский крест, учителями, распевавшими с учениками «Марсельезу», заложниками либо даже — среди поляков или русских — жителями целых отправленных в лагеря деревень. Те, на ком был черный треугольник «асоциальных», иногда были психически не вполне нормальными людьми, но очень часто в эту категорию зачисляли цыган. И ничто не могло избавить всех этих оказавшихся в краю несчастья людей от чувства изумления, испытываемого ими оттого, что они казались себе совершенно непохожими друг на друга и в то же время совершенно одинаковыми. Во всяком случае, герои являются таковыми не постоянно, равно как и шлюхи: некоторые из них стали участниками Сопrotивления. Убить всех этих несчастных, чуть медленнее или чуть быстрее, можно было бы и с помощью иных средств; в данном же случае преследовалась какая-то еще более смутная цель, которую люди до того перед собой не ставили, так как раньше пытки использовались лишь для того, чтобы добиться признаний либо наказать за религиозную или политическую ересь. А здесь главная цель состояла в том, чтобы заключенные утратили человеческое достоинство в своих собственных глазах. Отсюда разлитый суп, который некоторые из самых изголодавшихся лакали прямо с земли; отсюда брошенные в собачью рвотную массу окурки, запертые в одну камеру с сумасшедшими узники и нечто еще более коварное и чудовищное: работа пинцетом и скальпелем: «опыты» и стерилизация. (Девушек, предназначенных для опытов, заключенные женщины с какой-то болезненной нежностью называли «крольчатками».) Цель считалась достигнутой, когда удавалось довести жертв до того, что они вешались или бросались на находившуюся под напряжением колючую проволоку. Однако в таком случае эсэсовцы чувствовали себя как бы обкраденными.

Впрочем, все эти бесовские ухищрения не были эффективны, потому что самые жестокие пытки и самые отвратительные унижения выпадали не на долю участников Сопrotивления,

а на долю тех, кто отвечал на удары охранников; нередко, например, жертвами оказывались польские крестьяне или крестьянки, помещенные в лагерь, когда часть их деревни ушла в партизаны. Годами длилась эта упорная борьба, и смерть признавала свое поражение. Физически она царила над всем, о чем свидетельствовал дым, непрерывно идущий из труб крематориев. И все же неистовое желание выжить, питавшее сознание большинства участников Сопротивления, было направлено в первую очередь даже и не против нее. Они поняли, что в человеке есть нечто более глубокое. Священник, читавший проповедь на рождество, сказал бы, очевидно, что-нибудь про способность «смиряться с ней», но это было бы верно лишь по отношению к тем, кто смирялся в Боге. Однако битва шла не на этой территории. Для заключенных смысл борьбы состоял в том, чтобы переносить то, что им было навязано, как они переносили бы, скажем, рак, но чтобы, перенося, отказываться в этом участвовать. По-видимому, наиболее часто приходившей им в голову мыслью была мысль «все равно» в смысле «это меня не касается» и «этого не было». «Пощечина принимает форму того, кто ее получает, а не того, кто ее да е т », — рассуждал Аллен *, имея в виду Христа. Нужно было выжить. Жить текущим моментом. Никогда и никак не проявлять своих чувств при виде ужасов, в момент страданий, не реагировать на промелькнувшую улыбку капо. Саботировать. Не лакать пролитый суп. Смерть была всего лишь одним элементом среди ряда других. Бывшие узники говорят, что стремление выжить является, возможно, самой сильной человеческой страстью, но что выживали лишь «те, кто не сдавался». В мире, безумие которого возникало частично случайно, а частично было создано искусственно, жертвы оказывались защищенными одной столь же вопиющей абсурдностью, что и абсурдность лагеря: абсурдностью палачей. Каждый мерзкий день оказывался аргументом в пользу Сопротивления. Когда тот священник узнал, что существуют такие лагеря, где эсэсовцы позволяют заключенным женщинам передвигаться лишь на четвереньках, он присоединился к подпольной организации.

По-видимому, битва развертывалась где-то в промежутке между двумя формами кощунства. Духу нечего было делать посреди трупов и очисток. Гитлер организовал свое варварство по той же схеме, по какой все государства организовывали свои каторги, но ни одно государство не сделало бы своим девизом слова, ставшие основополагающим принципом лагерей: «Обращайтесь с людьми, как с грязью, и тогда они действительно станут грязью». Так должны были обращаться с людьми, которые своими действиями либо одним фактом своего существования отрицали нацистского идола. И вот эсэсовцы-охранники,

а вместе с ними и немцы, оказавшиеся в лагере за воровство или убийство, непрестанно мстили за своего идола, мстили злейшим кощунством.

Между тем даже у находящихся при смерти обитателей лагеря сохранялось достаточно человеческого достоинства, чтобы догадываться, что их воля к жизни есть не животная страсть, а нечто святое. Таинство человеческого удела проступало в этой догадке гораздо явственнее, нежели в той космической зыби, что рано или поздно должна увлечь за собой в пучину смерти и палачей, и их жертвы; мерзость заключенных, доносивших на других заключенных с улыбками, которые, если бы животные улыбались, можно было бы назвать животными, мало чем отличалась от мерзости того мучителя-эсэсовца, которому кто-то из узников сказал, что Schnell (быстро) переводится на французский: "Vas-y mollo!"¹, и который, таким образом, забивал до смерти заключенных, призывая их работать медленно. Жалкие призраки, называвшие сами себя «туловищами с ногами», потому что головы их в ожидании нескончаемых ударов были втянуты в плечи, отнюдь не утратили способности презирать. То есть они сохранили в себе смутную и глубокую идею человека, заставившую их подняться на борьбу, а теперь получившую еще более отчетливые контуры: человек — это то, что пытались у них отнять.

Человеческий удел — это удел существа, столь же неразрывно связанного с судьбой человека, как смертельная болезнь связана с судьбой индивида. Разрушить этот удел означает разрушить жизнь: убить. Однако лагеря смерти, где пытались превратить человека в животное, позволили почувствовать, что человеческая сущность определяется не только жизнью.

Когда, пройдя вдоль стен склепа бывших узников, а затем миновав решетки, похожие и на колючую проволоку, и на крюки мясников, я появился в Комитете, заседание уже подходило к концу. Там находились председатели ассоциаций участников Сопротивления и бывших узников концлагерей, Эдмон Мишле, несколько женщин, несколько военных, один монах-доминиканец. Мне коротко пересказывают то, что я знаю, и то, что мне пока еще неизвестно.

Памятник Жану Мулену предстоит воздвигнуть вблизи от того места, куда он был сброшен на парашюте. Сооружать его будут на средства трех министерств, департамента Буш-дю-Рон и муниципалитета деревни: много людей, много и антагонизмов. Один капитан, арестованный гестаповцами и скрывший свое звание, чтобы остаться вместе со своими боевыми товарищами, пребывает в тягостном затяжном конфликте с доминиканцем,

¹ Полегоньку (франц.).

тем самым священником, что произносил рождественскую проповедь в Дахау. Чтобы охарактеризовать его внешность, подошло бы слово «изможденный», но обычно его употребляют тогда, когда речь идет о вытянутых лицах, а его круглая голова с темными глазами кажется головой мертвеца, освещенной улыбкой духовности. Другие пытаются его успокоить. А я, увы! вспоминаю про застолье по поводу «Премии Викингов» *, где Фернан Флере * пророчески заметил двум членам жюри, схватившимся друг с другом в тот самый момент, когда подавали закуски: «Немного терпения! Зачем ругаться сейчас, коль скоро вы и сами знаете, что в следующей стадии опьянения вы начнете обниматься...» В данном случае дело не в опьянении. Доминиканец предложил, чтобы мы все высказались в пользу одной понравившейся дочери Мулена достаточно абстрактной модели памятника, а капитан требует организовать конкурс. Он не знает, что великие художники не тратят времени на конкурсы и что члены официального жюри выберут кого-нибудь из своих друзей. Однако священник, поначалу думавший лишь о том, как увековечить память Жана Мулена, начинает раздражаться. Он-то знает, как проходят конкурсы. Будучи специалистом по романскому искусству, он знает также, какая глубокая пропасть разделяет портрет и современное искусство, особенно в «героических» памятниках. Он не желает никакого оловянного солдата. Члены комитета хотят, чтобы был памятник, вот и все; оба противника ссылаются на обязательства, взятые государством, и на какие-то сокращенные тексты.

Я пытаюсь представить себе капитана в полосатой одежде. В Штутгарте, в тот день, когда генерал Делаттр * пригласил победить с нами сына Роммеля * — фельдмаршал покончил жизнь самоубийством, — один освобожденный нами французский генерал в штатском сказал мне с презрением в голосе: «Нас, естественно, посадили не вместе с полосатыми...» Так много пощечин растворяется в воздухе, и к тому же один человек может пожать лишь двумя плечами.

Я мысленно представляю себе в полосатой одежде также и священника: «Мне предстоит маленькое путешествие...» Он облачен в белую рясу доминиканцев, на которой вот уж сколько лет вместо шпаги висят четки, и попыхивает коротенькой трубкой. Ему бы хотелось, чтобы сооружение памятника поручили Альберто Джакометти *. Я уже встречал его на подобных комитетах и припоминаю сказанные им как-то раз слова: «Если бы христиане отличались в жизни теми добродетелями, которые Сезанн и другие обнаруживали в своем искусстве, то Богу оставалось бы лишь радоваться...» В моем сознании вновь возникает образ Жана Мулена, зачеркивающего букву «с» на листке, который ему протягивает один из мучителей и где на-

писано «Муленс». Мне трудно представить себе памятник узникам концлагерей, потому что я очень хорошо помню столб, увиденный когда-то на выставке в Доме инвалидов *, который, хотя и был первоначально обтесан внизу от выпущенных во время казней пуль, превратился на уровне живота жертв в какую-то бесформенную скульптуру.

Дискуссия продолжается. Дахау, Равенсбрюк, Аушвиц... Мне нужно принять лекарство, а минеральная вода стоит на другом столе. Всегда испытываешь странное чувство, когда смотришь на собрание, частью которого ты был всего лишь несколько минут назад. Я испытываю это чувство еженедельно, то есть когда заседаю в Совете министров. Сидя на своем стуле, я вижу всех своих коллег вокруг стола, на одном уровне со мной, а встав и отделившись от них, вижу группу людей, участвующих в дискуссии, которая существует как бы сама по себе и может продолжаться до бесконечности. «Конкурс — это справедливость, а назначение — это произвол!» Очевидно, вместо того чтобы поручить роспись плафона парижской Оперы Шагалу *, я должен был бы выявить кандидата на эту работу с помощью конкурса. «Встань, Лазарь!» На месте великой зловещей насмешки, спутницы смерти, появилась обыденная насмешка, являющаяся спутницей жизни. Ни тот голос, что заставлял умолкать ад Дахау, ни тот, что вызвался сопровождать товарищей в ад, не в состоянии смирить голос обидчивости. «Дорогой м о й , — говорит капитан , — оставались бы вы уж лучше в своем монастыре!» Доминиканец печально отвечает: «Несмотря на все то, что нам довелось испытать, я благодарю Бога, заставившего нас, вас и меня, когда-то расстаться с нашими одежаниями...»

Мы подписываем протокол. Капитан выразил «желание всех друзей Жана Мулена узнать его лицо» на воздвигнутом в память о нем памятнике. Получит он своего оловянного солдатика или нет? Почему этот абсурд так меня поражает? Людей, которых должно было бы объединять братство, разделил какой-то совершенно не заслуживающий внимания пустяк. Они никогда не претендовали на то, чтобы их считали героями или святыми. Что навевает на меня тоску, так это появление Лазаря, вернувшегося из царства мертвых, для того, чтобы обсуждать форму гробниц.

Верил ли я когда-нибудь, что ужаснейшее испытание может служить свидетельством глубочайшей мудрости? В 1936 году мы вместе с Марселем Арланом * встретили Артура Кёстлера *, освобожденного из франкистской тюрьмы, где он провел несколько месяцев в камере смертников. «Всегда одно и то ж е , — сказал мне Арлан, когда мы расстались с Кёстлером, — думаешь, что они являются носителями некоего откровения,

а потом оказывается, что они говорят, как будто с ними ничего не произошло...» Я вспоминаю также одного боевого товарища моего отца, навестившего нас в 1920 году. Он пришел в сопровождении своей жены, и все время, пока длилась церемония чаепития, мы присутствовали при полуприкрытой семейной сцене. «А ведь знаешь, — сказал мне отец, после того как его проводил, — это такой славный и такой храбрый человек, один из самых храбрых офицеров, каких я только знал...» Между тем храбрость в танковых войсках 1918 года была не редкостью. Я был свидетелем, как мой дядя, унтер-офицер огнеметной части, женившийся по возвращении с войны на женщине, которая ждала его двадцать лет, превращался по воскресеньям в счастливейшего человека благодаря стаканчику «Бирра». Героические бойцы, лишившиеся одновременно с униформами того, чем они были, командиры ударных отрядов, ставшие вновь бакалейщиками и хозяевами быстро, после первой мировой войны встречались не так уж редко. Потому что храбрость как бы привносилась в них извне. Храбрость стоит того, чего стоит человек, но при этом не надо забывать о привносимом ею ореоле — готовность жертвовать собой никогда не бывает низкой. Все эти люди оказались лишеными того опыта, который сообщала им окружавшая их смерть, равно как и того опыта, которым одаривала их жизнь...

Комедия с памятником зацепила во мне ниточку, уходящую в неведомые мне самому глубины моего сознания. Меня настойчиво преследует не воспоминание о несчастьях или о проявлениях мужества, а мысли о лукавом всеисилии жизни, способной стереть все, за исключением разве что тех случаев, когда воспоминание о лагере сливается воедино с евангельскими страстями, едва тело перестает быть исключительно инструментом страдания. По окончании войны ее герои обуржуазились, и мир сделал ненужной их физическую отвагу, рассеял друзей, вернул их к женам и детям, к общественной жизни, заменившей безответственность солдата. Жизнь прикрыла этих выживших людей так же, как земля прикрыла покойников. В лагерях умерло восемьдесят процентов политических заключенных; почти все остальные рано или поздно показали примеры действительного либо пассивного мужества. Однако то, что волнует меня, не укладывается в военные категории. Над миром в течение нескольких лет нависала явная, осязаемая тень Сатаны, но даже те, на кого она тогда легла, сейчас об этом словно забыли. Может быть, от этой забывчивости зависит их способность к выживанию?.. Когда-то я считал, что опыт узников лагерей смерти оставил более глубокие отпечатки, чем даже угроза смерти. А оказывается, что предельное несчастье оставляет менее значительный след, чем простейшая рана...

Мы остаемся одни, мы, то есть Брижит, представлявшая свой лагерь и одну из равенбрюкских групп (это как раз ее охватил тот опасный безудержный смех после выступления пьяного ээсовца), Эдмон Мишле вместе с одним испанским республиканцем, представлявшие Дахау, доминиканец и я.

Как они-то вновь обретали жизнь? Что они вынесли из ада? Во всех европейских странах многие из тех, кто вернулся из лагерей, записали свои воспоминания; о перипетиях их возвращения в мир человечности там почти не рассказывается. Не очень-то легко нырлящику извлекать из водных глубин то, что он там находит, не зная, что это такое...

А рассказывают они об этом еще меньше, чем пишут.

— Для меня, — говорит Брижит, — все сложилось плохо, потому что я вернулась в мае. Я была единственной с моего эшелона, кого отправили в лагерь. Остальных направляли на принудительные работы и куда-то еще. В «Лютеции» тот тип¹, которому я все рассказала, сначала вообще ничему не поверил. А потом когда я в качестве военнопленной отправилась получать свое пособие, то там выдававший его солдат заявил мне, что я имею право получить лишь часть суммы, поскольку немцы обеспечивали меня жилплощадью, питанием и одеждой. Тут уж я немного вспылила. Или вот еще: стою в очереди на площади Виктора Гюго в банк «Креди Лионе», чтобы поменять первые тысячефранковые купюры. Чувствую, что сейчас мне будет плохо. Одна сердобольная дама вовремя меня поддержала. Я объясняю ей, что это ничего, что я только что вернулась из концлагеря. Дама требует, чтобы меня пропустили вне очереди, подзывает служащего. Меня переводят в первый ряд (окошечки банка должны вот-вот открыться). Один элегантный господин лет пятидесяти протестует. Почему это меня нужно пропустить раньше, чем его. Ему объясняют. «Так пусть бы она там и оставалась, в своем лагере!»

От воспоминаний я освободилась раньше, чем от сновидений. Ночью я опять оказывалась в лагере, а по вечерам, когда я гуляла под каштанами на улице Анри Мартена, меня не покидало чувство, что я вскоре проснусь в Равенсбрюке. Я плакала во сне, хотя в лагере никогда не плакала. А потом, вы знаете стихотворение Нелли Закс*:

Давай тихо учиться жизни

И не напоминай о клыках овчарок...²

¹ Один из офицеров, принимавших в отеле «Лютеция» тех, кто возвращался из лагерей.

² Перевод Р. Дубровкина.

Но все это — это было уже в Париже. А на границе у меня было только одно чувство, я ужасно боялась...

— Чего?

— Того, что мне предстояло увидеть, того, чем я стала... Не знаю...

— Когда прибыла первая партия возвратившихся из лагерей, — сказал Эдмон М и ш л е, — де Голль встречалих на перроне вокзала.

— Пусть бы он там и оставался, как выразился тот мой идиот.

— Когда мы возвращались, то встречающие изготовили флаги, и мы шли прямо по коридору из флагов.

— Это потому, что вы вернулись гораздо раньше, чем я. 14 июля 1944 года мы в Равенсбрюке смастерили себе из обрывков бумаги платье, и нам удалось одеться кому в голубое платье, кому в белое, кому в красное. Все женщины напевали «Марсельезу». Это было достаточно рискованно, и сейчас мне кажется просто странным, но это не похоже на лагерь.

— А что похоже на лагерь?.. — говорит доминиканец.

— Тюрьма, в которой я б ы л, — говорю я, — я могу представить себе нечто гораздо худшее; если говорить о пытках, то меня не пытали, но я видел, как пытаются. Впрочем, все это, возвращение из лагеря, очевидно, похоже на возвращение с каторги. Меня интересует вот что: стремление заставить человека презирать самого себя. Вот что я называю адом. Нам известно, что существовало в других местах. Я слышал знаменитых международных экспертов, которые и в Нюрнберге, и на процессе Мазюи говорили: «Против оставляемых в кафе бомб замедленного действия и против всего того, что называют терроризмом, столь эффективные методы испокон веков применялись всеми службами контрразведки». Подобные галантные термины, естественно, обозначают пытку. Однако вы испытали нечто такое, чего не было ни в России, ни в Алжире, ни в Италии, нечто такое, что мне кажется связанным с самой природой нацизма. Речь шла о том, чтобы заставить вас потерять душу, в том смысле, в каком говорят: потерять рассудок. (Что такое «душа»?) Можно сказать, что вы вновь обрели землю, так же как и я, в тот момент, когда они инсценировали мой расстрел или когда я выбрался из противотанкового рва. А вот то, о чем вы все даёте какое-то косвенное представление, но не можете выразить это до конца — и можно ли это выразить? — это нечто иное. Когда в Боне мне удалось вернуться с того света (самолет попал в градовый циклон), я с удивлением смотрел на женщин, которые гладили белье, на маленьких животных, и почему-то с особым удивлением разглядывал огромную красную вывеску перчаточного магазина. Земля была необычной. А вы, когда верну-

лись, встретились не с необычной землей, а с людьми, с человеческими чувствами, от которых вы были так же далеки, как я от земли, когда мой самолет вертелся как юла внутри циклона. Я могу ощутить то, как вы возвращались на землю; в конечном счете так же, как и я, только более мучительно. Но вот ощутить то, как вы вновь обретали жизнь, я не могу...

— Прежде всего, дружище, — говорит Эдмон Мишле, — не забывайте, что все как-то смешалось. Не остались ли мы одной ногой в аду? Я не забуду тех немецких священников, которым вменялось в обязанность гнать нас из церкви! Но в момент возвращения основным чувством, которое нами владело, было чувство, что нам дали добавочную порцию жизни. Во-первых, мы должны бы были уже лежать в земле; а потом все остальное перепуталось...

И еще вот что. Для меня, а я воспринимаю все как какой-нибудь гурон — гурон из страны Гуронии *, не забывайте этого! — и вот адский или метафизический абсурд, называйте как хотите, постоянно смешивался с обыкновенным идиотизмом, который его разжижал; это ведь кажется удивительным; что за идиотизм глупейшим образом уничтожать свою рабочую силу! Мы это ощущали ежедневно, а остальное не сулило ничего нового...

Что касается меня, то настойчивый прилив жизни все смешал, подобно Красному морю, стирающему на песчаном берегу рисунок города царицы Савской... Что сохранилось во мне сейчас от страны смерти? Застарелое удивление, которое не смогло бы удержать и меня тоже от страстных дебатов по поводу памятника. Я изучал исчезнувшие цивилизации, иные цивилизации и даже свою собственную, словно они были тенями, в молчании спускавшимися по лестнице музея в Каире. Точно так же интеллигенты, собиравшиеся в Альтенбурге, изучали былые варварские общества как особого рода цивилизации, но только то были разновидности варварства, а не разновидности каторги. Истинное варварство — это Дахау; истинная цивилизация — это прежде всего та часть человека, которую пытались уничтожить в лагерях. Христианин способен приносить собственное страдание в дар, аскет может его отрицать, при условии, что смерть наступит достаточно быстро... А ведь именно вокруг него, вокруг страдания кружатся, словно огромные бабочки, различные цивилизации. В этот ясный, холодный день с чудовищными образами Дахау перекликаются другие образы, те, которые мне описал Шапский, адъютант Андерса *, один из немногих счастливых, уцелевших после Катюши *. В русских концлагерях 1941 года, в глубине лесов, польским офицерам разрешалось иногда встречаться с женами, и их оставляли наедине.

Голод полностью разрушает чувственность... Женщины покрывали свое тело широким поясом теста, которую пленные соскабливали, и это спасало их от смерти. Мужчины, поскольку они выше, становились на колени, и образ этих неподвижных, скрытых камерной тенью валькирий запечатлелся в моем сознании столь же отчетливо, как и черные силуэты женщин на коррезском кладбище. Если бы кто-то донес на этих женщин, то их бы расстреляли или избили. И вот в моем сознании они смешались с полосатым народом, скрытым покровом снега и ночи, образовали единую, неделимую тайну, поскольку, так же как верующему человеку неразрешимую загадку задают существование лагерей и страдание избиваемого злодеем невинного ребенка, агностику ту же самую загадку задают акты сострадания, героизма или любви.

— Для меня, — говорит Брижит, — все это тоже смешивается. Прежде всего, — я думаю, что у вас, Мишле, было такое же ощущение? — мы не надеялись выжить. В «Лютеции» добряк-доктор, сделав мне рентген, сказал: «Так или иначе, но больше десяти лет никто из вас не протянет». Вот уж его никак нельзя было бы упрекнуть в том, что он морочит голову своим клиентам. Мы получили ту самую добавочную порцию, о которой вы только что говорили, и в прямом, и в переносном смысле. А кроме того, нельзя даже сказать, что я окончательно оттуда возвратилась, поскольку всякий раз, когда я ощущала запах каштанов и мокрой мостовой улицы Анри Мартена, мне казалось, что я сейчас проснусь в лагере, и я шлепала себя по щеке, чтобы убедиться, что не сплю. Прохожие умилялись. То, о чем вы говорите, приняло какую-то странную форму: все люди мне стали казаться детьми. Я сейчас говорю не о тех чиновниках, с которыми столкнулась сразу по возвращении; они мне казались просто идиотами. Поскольку я вернулась гораздо позже, чем другие, то все решили было, что я погибла. Отец мой замкнулся в себе и уже два месяца не разговаривал... И вот мне стало казаться, что мои родители превратились в малышей. О лагере они меня из деликатности не спрашивали; отец в первые дни очень мало говорил, но и его молчание тоже казалось мне каким-то детским. Что принимать за действительность? То, что было до войны? Лагерь? То, что происходило теперь? Это продолжалось недолго. Это прекратилось, я точно запомнила момент, не знаю почему, когда я вновь открыла существование мужских запонок... Там у нас было такое ощущение, что, если бы мы были мужчинами, у нас по крайней мере была бы надежда взбунтоваться...

— Не очень-то побунтуешь, когда вешишь меньше пятидесятикилограммов, — говорит Мишле.

Я спрашиваю:

— А были другие удачные восстания, кроме того, которое удалось евреям в Трешлинке?

Никто этого не знает.

— А потом еще то, что многие девушки не вернулись, — сказала Брижит. — По существу, я даже и не знаю, когда произошло мое примирение с родом человеческим.

Бывшие узники никогда этого не знают. Может быть, сознание не в состоянии вынести этот промежуточный анализ? Я вспоминаю слова Мельберга: «Если цивилизации способны выжить лишь с помощью метаморфозы, то, значит, мир соткан из забвения...» А если наши друзья не могут вспомнить, как они вернулись к людям?

— Согласно великой буддийской притче, — говорю я, — те, кто сел в лодку Избавления, могут увидеть противоположный берег реки лишь тогда, когда земля скроется из виду.

— Один варшавский еврей, — говорит доминиканец, — рассказывал мне, что после ареста ему пришлось пересечь все гетто, совершенно пустынное, с распахнутыми настежь дверями, с оставшейся на столе едой, словно его не покинули, словно жизнь приостановилась... И что когда потом его освободили американцы, то у него было приблизительно такое же ощущение, ощущение отрешенности от жизни...

Убегав из плена в 1940 году, я вошел в первый попавшийся кинотеатр, чтобы разуться и избавиться от мучительной боли в ногах из-за того, что на мне были слишком тесные ботинки. На экране показывали бомбардировку Варшавы, снятую немцами. Съемка шла с самолета: черные бензиновые хвосты и апокалиптический дым над грядой горящих домов. Самолет пролетал дальше, и это небо Голгофы, небо побоища, превращалось в море девственно чистых облаков...

— А в Испании? — спросил Мишле.

— Там я узников не видел.

— Как правило, — сказал испанец, — фашисты расстреливали.

— Могли бы быть те, кто попал к нам в плен... Но летчикам не представилось случая...

Испания в моем сознании ассоциируется не с адом. Я не забыл длинный кортеж крестьян, шедших за носилками, на которых в Теруэле несли летчиков. Однако я сохранил в памяти и еще один образ, совсем иного рода. Рассвет, тот самый час, когда обычно мы подлетаем к линиям противника. Я выхожу из белокаменного замка с черной железной решеткой, где спят пилоты, и иду по необъятному саду, куда часто приходил утром есть припорошенные инеем мандарины. Справа высокие смоковницы закрывают истребитель, алюминиевая кабина которого сверкает в лучах встающего солнца. Он весь покрыт росой, бес-

цветной у хвоста, розовой, а потом красной ближе к сиденью. Это самолет погибшего вчера товарища, кровь которого залила кабину. Ночь ее очистила, и вот кровь, пролитая в бою, выступает каплями вместе с росой, до самых Пиренейских хребтов покрывшей поля Испании.

— Добавьте к этому опыт безысходной нелепости, — сказала Брижит. — В лагере нас переполняло возмущение. Возмущение непреложное, постоянное. То, что таким образом обращаются с людьми, было невероятно возмутительно. И вот мы вернулись сюда с нашим возмущением, а оно вдруг стало беспредметным. Как если бы мы привезли с собой лопаты. В том что касается суда над военными преступниками, то мы никогда в него особенно не верили. И кроме того, достигая известных пределов, месть тоже как бы изнашивается... Уничтожение палачей не устраняет факта существования пыток...

Обычно говорят о драматических вещах, потому что об этом можно рассказать. А есть еще вещи, которые осознаешь только потом, вещи, которые не имеют названия. Например, неведение собственной судьбы, судьбы наших подруг, судьбы тех, кто остался во Франции, неведение того, какой оборот принимает война... Мы пребывали в постоянной тревоге, и одновременно мы достигли предела безответственности. Вернуться к жизни означало вновь обрести постель, ванну, салфетку, столовый прибор — все это нетрудно себе представить. И тишину. Тишину! На нас так кричали — это воспоминание сохранилось у всех нас, уж мы-то знаем, что это такое.

Все это было очень сложно. В конце концов ад начинает казаться простым. Находясь там, я иногда смотрела на деревья так, как будто целовала их, это было для меня нечто вроде побег; просто, обыкновенно смотреть на свободное дерево я научилась не раньше, чем через неделю после возвращения...

Я вспоминаю про деревья и про маленьких животных, окружавших Неру.

— Мне кажется, — говорит доминиканец, — что самым страшным было то, что жизнь не была для нас воспоминанием о времени, когда мы жили. Это было воспоминание, пропущенное сквозь призму лагеря. А призма лагерной жизни порождает картины еще более фантастические, чем тюрьма. И поэтому возникало ощущение неадекватности реальной жизни...

— Это что касается физической жизни, — говорит Брижит, — но ведь в лагере не могло и в голову прийти задумываться о чьей-то духовной жизни, о духовной жизни тех, кто на свободе.

— Когда неожиданно вырываешься из объятий смерти, — говорю я, — то живешь, удивляясь самой жизни. Но это не касается духовной сферы, если так можно назвать чувства людей

и их взаимоотношения с жизнью... Время, которое человек провел бок о бок со смертью, тоже, очевидно, имеет значение...

— Не забывайте, что у нас не было м с л е й, — отвечает Брижитт. — Это было испытание, вы понимаете: очень долгое испытание. Четырнадцать месяцев сожительства со смертью, а для некоторых гораздо больше. Смерть находилась внутри нас, потому что над нами постоянно висела угроза и перед нами, потому что мы ее видели непрестанно. Мы дотронулись до самого ядра. Мы отчетливо отдавали себе отчет, что мы боремся. Только в этой борьбе мы на что-то опирались: на веру, патриотизм либо солидарность, назовите это как хотите, зачастую на дружбу, на ответственность.

— Действительно, — говорит Мишле, — я все задавал себе вопрос, почему выжило столько ответственных людей, хотя у них и не было никаких привилегий: ответственность нас подерживала.

— А унижение отнюдь не разрушает гордость... — говорит доминиканец.

— Зато гордость, если она сохраняется, разрушает унижение, — говорит испанец. — Я говорю не о себе, я был токарем, и я выкрутился, изготавливая игрушки для детей капо. И все же то, что я говорю, сущая правда.

— Когда мы свалились с л у н ы, — продолжает Брижитт, — больше не было никакого лагеря, да здравствуют простыни и одеколон! Однако охранявшее нас чувство самозащиты оказалось вдруг беспредметным. Мы возвратились, предполагая, что окажемся в мире, где царит именно оно. А оказалось, что все не совсем так! Мы прошли четырнадцать этапов крестного пути, были распяты, а в конечном счете оказались в постели Марии Магдалины.

Я смотрю на доминиканца. Ни малейшего раздражения, а еще всего каких-нибудь десять минут назад, споря о памятнике, он выходил из себя. Его печальная улыбка словно говорит: бедная, бедная моя девочка!

— То не было Воскресение! Причем, не надо заблуждаться, во многом это происходило с нашего согласия. Вот что было хуже всего. Все, что должно было нас спасти: наши чувства и воспоминания, — больше ни на что не годились. Не было больше ада, и не было больше никакого средства против ада. Мы достигли глубин зла и вдруг оказались в мире, для которого оно не существовало. Люди забавлялись с погремушками, но почему? Чтобы не обнаружить нечто, касающееся нас и находящееся в нас глубоко-глубоко. Это было возвращение Данте к рассеянному. И вот что было странно. Мы возвратились похожие на трупы. Через довольно короткий промежуток времени, который мы провели в постели, в относительном одиночестве, мы

казались... выздоровевшими. И наши близкие поверили, что и в моральном отношении мы стали такими же, как они. Однако мы оставались такими же, как наши подруги, и непохожими на всех остальных. Семья для нас была так же, как и постель: теплой и чужой.

— Вы согласны? — спрашиваю я.

Даже доминиканец грустно качает головой в знак согласия.

— О том, как мы вернулись, — говорит она, — я об этом поначалу много думала, а потом у меня пропала потребность думать. Подобно тому как были простыни и вилки, у возвратившихся узников были еще и страсть к бродяжничеству, веселье без смеха и ночные заведения. Все это продлилось очень недолго, потому что было не так уж интересно и потому что Капуя нас тянула к себе, но в то же время и вызывала отвращение. И вы знаете, все мы довольно скоро поняли. Что нужно было, чтобы жить? Быть слепыми. И тогда мы опять ослепли. Кто чуть раньше, кто чуть позже.

— Ну не совсем, — говорит доминиканец.

— Конечно, но в общем и целом... Что касается вас, то здесь все иначе, потому что вера — эта сама ваша жизнь, будь то в лагере или где-то еще...

— Тоска всегда находит себе форму... Я часто сталкивался с людьми, боявшимися потерять веру. Мне это совершенно непонятно. Мы, очевидно, больше никогда не встретимся со злом в таком сатанинском виде, а вот что касается веры... Библия заранее ответила книгой Иова...

Я вспоминаю глиерского священника, говорившего, что для него зло — это не проблема, а тайна.

— А как наши умирали?

— Друж и ще, — говорит мне Мишле, — преподобный отец практически присутствовал только при смерти верующих. А раз так, то они каялись. Когда он говорил им: «Простите ваших врагов» и «Бог все видит!», они отвечали перед Богом.

— А вы видели хоть одного человека, который бы умер с ненавистью? — спрашивает его доминиканец.

Мишле задумывается, а потом обращается ко мне:

— Дорогой мой, а ведь отец прав, он прав... В качестве уполномоченного представителя французских узников Дахау мне, должно быть, пришлось увидеть даже больше смертей, чем ему. Не совсем так, как ему, естественно! Мне не нужно было ни исповедовать их, ни прощать. И все же они могли бы обмолвиться одним-двумя словами по поводу фрицев! Ни единым. Это было где-то за пределами. Последние слова всегда относились к кому-то из близких: «Когда ты вернешься, то скажи моей жене, чтобы она покопала под третьей грушей, слева...» Или: «Скажи детишкам, что я сделал все, что смог...»

— Смерть прощает или же пренебрегает?

— Прощает, — говорит доминиканец. — По крайней мере если говорить о тех, которые хоть немножко верили. Я видел перед собой Благодать.

— И для других грехов оставалось не слишком много места...

— Только для воровства и убийства!.. — говорит Брижит.

— А что касается остальных?

— Должно быть, то же самое, — говорит доминиканец, — просто они не знали об этом...

— Мне тоже, — говорит испанец, — приходилось присутствовать при агониях. Для умирающего трудно подобрать слова. У вас, падре, есть слова, но те, кто умирал на моих глазах, не захотели бы их слушать.

— Если смерть не открывает... путь к Богу, то, может быть, действительно, слова кажутся лишними. Но я все же думаю, что для Милосердия-то всегда найдется место... Чтобы быть атеистом, одного желания мало!

— У нас, — говорит Брижит, — несмотря на то, что жили мы все вместе, смерть была делом личным, как в гражданской жизни.

— В гражданской жизни, — мягко говорит доминиканец, — она не такое уж личное дело... Мне редко случалось видеть, чтобы ненависть устояла при приближении Святой Агонии... В лагере смерть превратилась во что-то обыденное... А здесь нет; и приближение смерти не похоже ни на что другое. Но там Сатана держал в одной руке ужас, а в другой — прощение...

Я опять вспоминаю Испанию. Ставшее легендарным высказывание президента Асаньи *, умиравшего, кажется, в Андорре: «Как называется эта страна... вы знаете, о чем я говорю, страна, где я был президентом Республики?..»

По ту сторону решетки толпа движется, как во время паломничества.

— Здесь каждое утро, — говорит Мишле, — одна сумасшедшая бродит целыми часами около реставрируемого вами Лувра. Она сошла с ума в лагере. Раньше она всегда прижималась к прутьям решетки, а с тех пор, как вы заменили решетки на балюстрады, она ходит...

Те, кто пришел проститься с прахом Жана Мулена и почтить память своих близких, медленно проходят на фоне отмеченного печатью смерти неба, точно так же как те, кто шел в городах Египта и Месопотамии в 1965 году до Христовой эры. Не возвращаются не только из царства смерти, но и из ада тоже.

ВЫСТУПЛЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ ПАРТИЗАН ДЮРЕСТАЛЯ (ДОРДОНЬ)

Вы видите вокруг те же леса, которые были свидетелями первых боев первых партизан. Вас, посланцев живых и мертвых, посланцев мужества, природа встречает полнейшим безразличием окружающих нас деревьев. Когда мы провожали в последний путь к Пантеону катафалк с прахом Жана Мулена *, ярко светила луна, и мы узнавали друг друга в ее неясном свете. Зажгли факелы, и стала заметна наша седина. Потом факелы взяли в руки ваши сыновья, они шли рядом с прахом под стук копыт конной гвардии, взявшей на караул в таинственном лунном блеске, отраженном в саблях...

Я должен поведать сегодня вашим детям, что вы свершили. Поверьте, это немало. На близлежащих кладбищах и в рощах хватает могил, чтобы я мог сказать: вы хорошо бились. Но вы были больше, чем бойцы — вы были свидетелями свершившегося.

Что требовалось от нас в то время? Создать подразделения, которые в нужный момент смогли бы помешать немецким дивизиям, и прежде всего танковым, вовремя подоспеть на фронт Нормандии *. Если генерал Эйзенхауэр и оценил высоко ту поддержку, которую ему оказало французское Сопротивление, то потому, что имел в виду не прямые военные действия того периода, а его вклад в осуществление общего плана высадки в Нормандии.

Не будем преувеличивать наши заслуги, но не следует и преуменьшать их.

В 1941 году генеральному штабу союзников ни на минуту не приходила в голову мысль, что партизаны будут иметь какой-то вес. От французской армии, которую несколько лет назад считали чуть ли не первой в мире, осталось только смутное воспоминание, похожее на облако пыли. И на что были способны в наших зарослях низкорослого дуба или на массивах Веркора те, кто представлял собой всего лишь изодранную в клочья Францию? Но они сделали то, что сделал генерал де Голль: им хватило чести поверить в эти клочья.

Не будем забывать, что представляли собой первые партизаны в маки. Это не были полки свободных стрелков Сен-Марселя или Веркора или наши будущие батальоны, которые мы противопоставили дивизии «Рейх» *. Массовый отказ от принудительных работ * еще не успел пополнить их ряды, первые парашютные десанты только начали снабжать их оружием. Несколько револьверов на несколько сот человек, притаившихся в мелколесье, флаг, скроенный из кусков кисеи трех цветов... Сре-

ди них были эльзасцы, потому что многие эльзасские подразделения, отступая, ушли в департаменты центра страны. О всех этих людях можно по праву сказать, что они голыми руками отстаивали Францию. Представьте заиндевелые просторы под луной, дозорных, прислушивающихся к лаю собак или приближению наступающих немцев... Эти люди сделали только одно — они сказали *нет*, но этого *нет* безвестного партизана, припавшего к земле в свою первую, смертельной опасности ночь, достаточно, чтобы сделать из него собрата по подвигу Жанны д'Арк и Антигоны... Раб всегда говорит «да».

Потом партизанские отряды стали иными. Ужесточение принудительных работ привело в их ряды большое число бойцов, пусть и менее решительных. Первые партизаны в душе были настоящими легионерами; у пришедших позже была солдатская душа. Они прибывали целыми семьями: матери, жены и даже дети. Более регулярный десант снабжал их оружием и даже базаками. Многоцветные грибы, спускающиеся с ночного неба, доставляли уже не только жалкие автоматы, но и гранатометы, позволившие оказывать сопротивление танкам. Движущийся танк, конечно, страшный зверь, но замаскированная базака весьма опасна для него: в тех районах, куда еще не вступили союзники, партизанская борьба напоминала бой подводной лодки против крейсера.

Именно базака, а не автомат и не пластиковая бомба, сделала из маки значительную вспомогательную силу. Прежде партизанское движение представляло собой скорее некое непостоянное присутствие. Потом оно превратилось в подлинное партизанское движение. Танк — сильнее роты автоматчиков, но не сильнее мины или снаряда.

К этому времени мы узнали о существовании в Германии лагерей массового уничтожения, о применении пыток. Тогда появились огромные глухие насекомые, ползущие по стволам гранатометов и мешающие противнику целиться, пулеметные очереди, срезающие ветки, вы начали накапливать оружие, захваченное у противника. Близились время, когда сдадутся в плен все немецкие части, расположенные в Коррезе, в южной зоне. Их оружие, вы знаете, находится в Страсбургском музее. Оружия отныне у партизан всегда было в достатке.

Потом началась операция «Железный план» * — план уничтожения средств коммуникаций между Югом Франции и фронтом в Нормандии — и настоящая партизанская война против бронетанковых дивизий, что были вынуждены осуществлять переброску по единственному однопутному железнодорожному пути и были основательно потрепаны авиацией союзников. Вскоре после этого партизанские отряды оформились в бригаду «Эльзас-Лотарингия». Вместе с эльзасцами они дрались за

освобождение Эльзаса, в том числе и этого поселка. Отсюда до Страсбура — прекрасная великая эпопея на дорогах смерти и братства. У партизан был больший, чем у регулярной армии, опыт лесной войны; именно они оказали поддержку пятой танковой дивизии, второй дивизии «Свободной Франции» генерала Леклерка *. Они дрались за Данмари *.

Целую ночь пролежали они в поле на промерзлой земле, в то время как на горизонте горели наши фермы. Под утро они атаковали немецкие танки справа; слева их атаковали части Легиона *. Лесные бродяги — те, кто крал кур, кто пробирался на фронт газогенераторным транспортом, — продвигались вперед неспешной исторической поступью, не боясь стать мишенью, как и «белые кепи» — наследники стольких войн. Возвращались обозы санитарных машин, выгружали раненых, шли посыльные, требуя от командиров замены погибших. Уже рассыпались, готовясь к атаке, роты, оставив резерв для предстоящего боя, слева едва виднелись затерявшиеся в поле и заиндевелом кустарнике пилотки, и несколько белых кепи — справа. Тяжелым шагом, маскируясь, шли резервные роты; стрелки с их противотанковыми гранатами и базаками продвигались, казалось, в ногу с легионерами. Лесные бродяги Эльзаса, Дордони, Корреза и ваших мест шли предрассветными полями Данмари, залитыми кровью стольких лет, они шли с глухим характерным гулом гвардейцев и могли сравниться с самой знаменитой из отборных частей французской армии *. Повторю то, что уже говорил однажды: в этот юбилейный день я провозглашаю вас, моих вчерашних братьев по оружию, и может быть моих вечных собратьев, очевидцами. Вспомните Виктора Гюго *: «Ни один не отступил. Спите, павшие герои!»

Город Данмари был взят.

Потом была вторая битва за Страсбур, возвращение немецких танков и Республиканские роты безопасности на холмах... И эти единственные ночные тени в истерзанном Страсбуре — ваши тени.

И вот последнее упоминание о лесных бродягах, ваших отцах, — мемориальная доска Крафтского моста, гласящая: «Здесь бригада «Эльзас-Лотарингия» и первая дивизия «Свободной Франции» остановили наступление маршала Рундштедта».

Это было последнее наступление немцев.

13 мая 1972

Метаморфозы искусства

ГОЛОСА БЕЗМОЛВИЯ

Трагедия и поныне сохраняет ту же двойственность, что в истории греческой культуры. Слушатель, увлеченный Эдипом в смятенные пределы, зачарован не столько даже глухим мстительным чувством, которое овладевает любым амфитеатром, когда ропщут цари, катимые, как прибрежная галька, сколько одновременным осознанием рабства человека и величия людей, противопоставляющих этому рабству неколебимую стойкость. Ведь по окончании трагедии зритель решает не выколоть себе глаза, а снова пойти в театр; ведь при появлении Эвменид * на буром камне греческого театра, как и перед Христом на кресте, перед пейзажем или портретом, зритель смутно ощущает вторжение человека в игру роковых сил, вторжение мира сознания в мир судьбы.

Нам отлично известно — своим звучанием это слово обязано тому, что выражает гибельный жребий всего смертного. Эта расщелина, разверстая или скрытая, проходит в каждом из нас, и нет бога, который мог бы от нее спасти: святые именуют свое отчаяние тщетой, и евангельское «Для чего ты меня оставил?» * — воистину вопль человеческий. Время, быть может, и течет к вечности, но уж наверняка — к смерти. Однако судьба — это не смерть, она совокупность всего того, что понуждает человека осознать свой удел; и даже рубенсовская радость жизни не неведение судьбы, ибо судьба глубже злосчастия. Именно поэтому человек так часто ищет от нее прибежища в любви; именно поэтому любая религия защищает человека от судьбы — даже тогда, когда не защищает от смерти, — ибо связует его с Богом или вселенной. Нам известна заложенная в человеке жажда всемогущества и бессмертия. Нам ведомо, что человек осознает самого себя по-иному, нежели он осознает

мир, и что для самого себя каждый — химера грез. Я однажды уже рассказывал о человеке, не узнавшем собственный голос в записи *, поскольку впервые услышал его ушами, не гортанью, а ведь мы воспринимаем наш внутренний голос только гортанью, поэтому я и назвал ту книгу «Удел человеческий». Другие голоса, в искусстве, лишь усиливают звучание внутреннего голоса. Воображаемый Музей учит нас тому, что достаточно миру человека, любого человека, выделиться из мира как такового — над судьбой нависает угроза. За каждым шедевром мечется или ропщет укрошенная судьба. Голос художника черпает свою силу в том, что, рожденный одиночеством, он скликает к себе всю вселенную, чтобы навязать ей человеческие интонации; великие искусства прошлого доносят до нас непобедимый внутренний голос исчезнувших цивилизаций, поправший смерть. Священная песнь, которую возносит этот голос — выживший, а не бессмертный, — подымается над звуками немолчного оркестра смерти. Мы осознали судьбу так же глубоко, как осознал ее Восток, но для нас она куда более многолика и соотносится с роком древности, как наш музей с коллекцией памятников античности. У нашей судьбы иные масштабы, чем у мраморных теней, она — Призрак XX века, и именно в противоборстве с нею пробует утвердить себя нарождающийся вселенский гуманизм.

Если Гойя реагирует на сифилис, погружаясь в тысячелетний кошмар, а Вагто — на чахотку, предаваясь музыкальным мечтаньям *, то одна цивилизация защищается от судьбы слиянием с космическими ритмами, а другая — забвением о них; и однако, в искусстве обеих есть для нас нечто единое — оно несет в себе защиту против общего врага: в соборе, населенном статуями, нехристиане ощущают не столько самого Христа, сколько защиту христиан — через Христа — от судьбы. Искусство, полностью чуждое этому извечному противоборству, не более чем проявление пресыщенности, оно для нас мертво. В противоположность цивилизациям, которые создали себе прошлое, населив его идеальными союзниками, наша художественная культура преобразует собственное прошлое в череду переходящих ответов на неотступный вопрос.

Цивилизация выживает — или возрождается — не в силу какой-то своей особой природы: она влечет нас либо тем, что приоткрывает некую сторону человека, либо тем, что мы находим в ней нужные нам ценности. Разумеется, мы берем эти ценности перевоплощенными; и очевидность перевоплощения тем более наглядна, что если каждая из цивилизаций прошлого видит в своем представлении о человеке нечто всеобъемлющее, исчерпывающее (понятие человека в XV веке, грека в эпоху Перикла *, китайца в эпоху Тан * было для своего времени не

представлением о человеке данного периода, но понятием человека как такового), то по окончании любой эпохи обнаруживается, какие именно стороны в человеке культивировала ее цивилизация.

Культура, в той мере, в какой она — наследие, включает в себя одновременно и сумму знаний, где искусствам принадлежит лишь малая доля, и легендарное прошлое. В любой культуре есть Плутархово начало, в том смысле, что каждая развитая культура передает нам целостный идеал человека, но даже и в том случае, если она не слишком развита, хотя бы его элементы. На эпитафию павшим под Фермопилами *:

Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне,
Что, их заветы блюдя, здесь мы костями полегли,

на китайскую надгробную надпись в честь героя-врага: «В вашей следующей жизни окажите нам честь возродиться среди нас!» — откликаются образы, свободные от ненасытного упоения кровью: мысль и святость, принц Сиддхартха *, покидающий отцовский дворец, обнаружив страдания человеческие, и монолог Просперо *: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны...» Цель любой культуры — сохранить, обогатить или преобразовать, не нанеся ему ущерба, идеальный образ человека, унаследованный теми, кто его в свою очередь творит. У нас на глазах народы, одержимые будущим, — Россия, Американский континент — все внимательнее вглядываются в прошлое именно потому, что культура — это определенное качество мира, полученное в наследство.

Пути к этому качеству не всегда единообразны, и в его соиздании искусствам не всегда принадлежит равная роль. Культура средневековья — это не знание «Романа об Александре» * и даже не знание Аристотеля, рассматривавшееся в ту пору как знание самой техники мышления; она зиждется на Священном писании, на отцах церкви и святых: это культура души. Ее искусство полностью в настоящем. Возрождение возвышает художника и выходит за пределы настоящего, знающего лишь вечность. Оно обращается к прошлому в поисках мирской эпопеи, полноценных форм, не обязательно направленных против форм религиозных, но обязанных своим расцветом не одной вере: его интересует, что отличает Венеру от Аньес Сорель *, Александра или Цинциннату * от рыцаря. Когда этот великий и взбаламученный образ мира уляжется в плоские декорации, XVI век станет их рабом, и искусство пойдет на ущерб; быть может, долгое затмение французской поэзии тем и объясняется, что Ронсар предпочел декорации Феокрита * феерическому фону, на который опирались Спенсер * и Шекспир. Возрождение,

с лихорадочным ликованием роющееся в глубинах доступного ему прошлого, словно бы ищет все, что ослабит дьявола (а вместе с ним, возможно, и Бога), и достигает своего апогея в патрицианстве Тициана, этого вдохновенного простолюдина, принимающего у себя императора и королей, — а за распахнутыми окнами виднеются обнаженные тела и прозрачные покрывала. Все чувства выступают в роли придворных царственного художественного чувства... Культура XVII века — в первую очередь культура ума. Но многие из самых великих художников этого столетия чужды его духу: что общего у Рембрандта с Расином, что ему до ценности, на которые опирается Расин? Обращение к прошлому связано в эту пору с упорядочением человека и мира; культура сводится к гуманитарной «словесности». В XVIII веке в общую культуру проникает научное знание, она и рассматривает себя не как сознание, а как знание и полагает, несмотря на то что одержима Римом, будто порвала с прошлым ради будущего. Как ни элементарна подобная схема, она дает понять, в каком именно смысле культуры исчезнувших цивилизаций предстают нам не столько в их различиях, сколько как ответвления единого древа. Но их смена не выстраивается в некую теософию культуры, потому что человечество развивается по законам перевоплощения, а не по законам сложения или даже взросления: Афины — не детство Рима, того менее Шумер. Мы можем синтезировать знание отцов церкви и великих мыслителей Индии, но не христианский опыт первых и индуистский опыт вторых; мы можем объединить все, кроме основ.

Наша культура складывается, таким образом, не из примитивных культур прошлого, но из непримиримых его частей. Мы знаем — она не инвентарный список, наследие — это перевоплощение, прошлое надо отвоевать; мы знаем — это в нас, через нас оживает диалог теней, столь излюбленный риторикой. Чем, кроме взаимных оскорблений, могут обменяться на берегах Стикса Аристотель и израильские пророки? Для того чтобы завязался диалог между Христом и Платоном, нужно было родиться Монтеню. Но гуманизм, ради которого мы воскрешаем умершие культуры, вовсе не предопределен заранее, это воскрешение, как и у Монтеня, вызывает к гуманизму, которому еще предстоит определиться.

Озирая кладбище мертвых ценностей, мы обнаруживаем, что ценности живут и умирают в зависимости от судьбы. Высшие ценности, так же как человеческие типы, их воплотившие, — защитники человека. Каждый из нас ощущает, что святой, мудрец, герой воплощают победу над уделом человеческим. А между тем буддийский святой ничуть не похож и не может быть похожим ни на апостола Петра, ни на блаженного Августина *, так же как Леонид * на Баяра * или Сократ на Ганди. И прехо-

дающие ценности, присущие каждой цивилизации, — даоистский путь, индуистская покорность космосу, греческая любознательность, средневековое причастие, разум, история, — сменяя одна другую, наглядно показывают нам, что каждая из них начинает клониться к упадку, едва перестает играть спасительную роль.

Ценности, воплощенные и порожденные художественным гением (гением, а не представлениями определенной эпохи), тоже клонятся к закату для общностей, к которым адресуются — будь то христианский мир или любая другая духовная культура, — едва перестают служить защитой, но как только возникнет ощущение, что они могут защитить других людей, они возрождаются. Не следует, однако, видеть в некоторых из них своего рода предвосхищение наших собственных сегодняшних ценностей; мы наследуем не столько ту или иную в отдельности и даже не все в сумме, сколько их сокровенную сущность и, главное, то глубинное течение, которым они порождены. Мы, наконец, осознали их подлинную природу, подобно тому как гегельянство осознало не некие позабытые ценности, но самое историю; именно наша цивилизация в ее противоборстве с судьбой впервые использует как оружие искусство в его целокупности, высвобожденное нашим искусством. Возрождение не поставило те несколько великих греческих творений, с которыми оно познакомилось, выше александрийской скульптуры — не поставило «Кору Евтидика» * выше «Лаокоона» *. Именно мы — с того самого момента, когда творчество превратилось для наших художников в высшую ценность, — именно мы, а не наши потомки открываем сокровищницу веков; мы вырываем у прошлого смерти живое прошлое музея. И здесь показательна сама наша восприимчивость к искаленной статуе, к извлеченной из раскопок бронзе. Мы коллекционируем отнюдь не стертые барельефы, не эффекты окисления — нас привлекает не присутствие смерти, а признаки ее попраiania. Искалеченность — свидетельство схватки, это время, внезапно являющее себя, время, которое входит наравне с материалом в творения прошлого и обнаруживается на изломах, точно выступая из грозного мрака, где совокупаются хаос и зависимость; символ всех музеев мира — искаленный торс Геркулеса.

Новый противник Геркулеса, последнее воплощение судьбы — история; но хотя человек музея и ее творение, он лишь немногим более историчен, чем легендарные боги. Он рожден одновременно и произведениями, неразрывно связанными со своей эпохой, подобно работам Грюневальда *, и произведениями, ускользающими от своего времени: существует барочный Микеланджело, но «Пьета Ронданини» * и даже «Ночь» * скорее наводят на мысль о каком-нибудь Бурделе *, сравняйся он с Ми-

келанджело, нежели об итальянских скульпторах того века: «Брут» — не флорентийский портрет; существует барочный Рембрандт, но «Три креста» *, «Пилигримы в Эммаусе» не принадлежат ни XVII веку, ни Голландии. Расин венчает цивилизацию, его породившую, подобно фронтому храма; Рембрандт венчает ту, что породила его, как трепетное зарево пожара. Истории в искусстве преудказана граница, эта граница — сама судьба, ибо история воздействует на художника вовсе не потому, что вызывает смену клиентуры, но потому, что каждой эпохе присуща определенная форма коллективной судьбы и время навязывает эту форму тому, кто против судьбы восстает; чтобы это воздействие ослабело, достаточно, чтобы художник натолкнулся на иные формы проявления судьбы. Духу Просвещения не перевесить болезни Гойи, как блеску Рима — тоски Микеланджело, как Голландии XVII века — откровения Рембрандта. Исполинский мир искусства, восходящий к нам из прошлого, не вечен и не надысторичен, он и связан с историей, и ускользает от нее, как Микеланджело от Буонарроти. Прошлое искусства — это не время, канувшее в вечность, но «поле возможностей», в нем не роковой приговор прошлому, но связь с ним. В бодисатвах царства Вэй * или Нары *, в кхмерских или яванских скульптурах, в живописи династии Сун * воплощена иная сопричастность космосу, чем в романском тимпане, танце Шивы или всадниках Парфенона, но все они, и даже «Кермеса» Рубенса, несут в себе тем не менее некую причастность. Взгляните на любой греческий шедевр: пусть он и выражает победу над восточными верованиями, в основе этого торжества не разум, но «многоулыбчивость волн». Отдаленные громы античных молний оркеструют, не заглушая ее, бессмертную очевидность Антигоны: «Я рождена любить, не ненавидеть». Греческое искусство — искусство не замкнутое, но сопричастное космосу, от которого оно было отторгнуто Римом. Когда становление или судьба вытесняют неподвижное бытие, история вытесняет теологию, а искусство обнаруживает свою многоликость и перевоплотимость. И вот тогда абсолюты, перевоплощенные возрожденным искусством, восстанавливают с прошлым, которое ими смоделировано, ту связь, что была у греческих богов с космосом. Греческое искусство — наш бог Греции в том смысле, в котором Амфитрита была богиней моря — фигурой, умиловливающей волны: для нас именно в искусстве, а не в персонажах Олимпа высочайшее и неподвластное времени братское воплощение Греции, ибо она нас трогает только через свое искусство. В нем выражено то, что благодаря Греции и через нее было особой формой божественного могущества, свидетельство которого несет в себе всякое искусство. Человек, открывающийся нам

в многообразии форм этого могущества, — герой величайшего из предприятий, уходящее вглубь корневище, чьи ростки переплетаются, не ведая друг друга; какая-нибудь победа, одержанная в незапамятные времена над демонами Вавилона, находит смутный отклик в одном из потайных уголков нашей души. Архетипы *, светлые или мрачные, воплощенные в произведениях искусства от «Рождения Афродиты» * до «Сатурна» Гойи или ацтекского черепа из горного хрусталя, соотносятся с моментами внезапного пробуждения от нескончаемого тревожного сна, которым дремлет в каждом из нас человечество, каждый из этих голосов — эхо могущества человека, то сознательно утверждаемого, то безотчетного, а то и никнущего. Бесвязный бред химеры грез выстраивается в искусстве вереницей державных образов, и Сатурнов кошмар принимает облик укрощенной и благодатной мечты. Искусство уходит корнями в глубь времен так же далеко, как и сам человек в его плоти и крови, и оно будит в нас видение той первой ледяной ночи, когда некое подобие гориллы необъяснимо почувствовало себя братом звездного неба. Искусство — вечный реванш человека. Родство почти всех великих произведений прошлого в том, что каждое из них ведет на свой лад диалог, заносчивый или смиренный, с чем-то самым высоким для души художника. Но во всех этих диалогах, связанных для нас с мертвыми религиями, которые их вызвали к жизни, подобно тому как "Vita Nuova" была вызвана к жизни Беатриче Портинари, а «Печаль Олимпио» — Жюльеттой Друэ *, божественное было всего лишь вершиной человеческого — не случайно те, кому представляется, что христианское искусство вызвано к жизни Христом, отнюдь не убеждены, что искусство буддийское вызвано к жизни Буддой или шиваистские его формы — Шивой. Искусство не избавляет человека от сознания, что он всего лишь случайность во Вселенной, но оно — душа прошлого в том смысле, в каком каждая из древних религий была некой душой мира. Во времена, когда человек родился для одиночества, искусство обеспечивает тем, кто в него верует, глубокую взаимосвязь, которой уже не дают боги, удалившиеся на покой. И если мы вносим в нашу цивилизацию столько чужеродных элементов, нельзя не видеть, что наша алчность переплавляет их в некое особое, только нам принадлежащее прошлое и что в этом прошлом, отличающемся от реального прошлого по самой своей природе, наша единственная надежная защита. Под кованым золотом микенских масок, там, где искали прах красоты, прослушался живой пульс могущества, наконец донесшийся до нас из толщи веков. «Перышку» Клее *, синеве виноградин Брака * отвечает из глубин древних империй шепот статуй, поющих при восходе солнца. Неизменно в облачении истории, но всегда, со времен Шумера

до Парижской школы *, тождественный самому себе, творческий акт на протяжении столетий ведет реконквисту, столь же древнюю, как сам человек. Византийская мозаика и картина Рубенса, полотно Рембрандта и холст Сезанна различны по технике, наполнены различным содержанием, которым эта техника овладела, и все они объединяются с доисторической живописью отнюдь не синкретизмом завоеванного, а своим незапамятно древним языком борьбы. Урок Нарских будд или шиваистских Танцев смерти — вовсе не урок буддизма или индуизма; Воображаемый Музей — напоминание о неисчерпаемых возможностях, получаемое нами из прошлого, в этом Музее собраны воедино утерянные фрагменты одержимости человека полнотой жизни, и само их присутствие — свидетельство непреодолимости этого стремления. Каждый из шедевров — своего рода очищение мира, но их общий урок — урок их наличия, и победа каждого художника над своим собственным рабством — частица в гигантской панораме торжества искусства над человеческой судьбой.

Искусство — это антисудьба.

Во времена наивысшей свободы греческого духа греки чувствовали себя при дворе Ахеменидов * ничуть не хуже, чем византийцы при дворе Сассанидов *, фотореконструкции римской улицы с ее выставленными в лавочках товарами, с ее женщинами под покрывалами и мужчинами в тогах напоминают не столько улицу Вашингтона или даже Лондона (чтобы исключить небоскребы), сколько улицу Бенареса, и как раз открыв для себя мусульманский мир, художники-романтики сочли, что перед ними ожившая античность. Наша эпоха впервые отринула азиатское прошлое, порвала союз, пять тысячелетий объединявший земледельческие цивилизации, подобно тому как земля объединяет леса и могилы; цивилизация овладения природой полностью нас преобразила, как преображала человека каждая из великих религий, а значение машинизации нашего общества для истории человечества сравнимо, пожалуй, только с открытием огня. [...]

Грандиозное воскрешение, которое осуществила наша эпоха, вызвало к жизни свое искусство, но его известные нам формы уже на излете; порожденные борьбой, эти формы, подобно философии Просвещения, не смогут пережить свою победу, не изменившись. Меж тем процесс воскрешения ширится и углубляется, как продолжалось познание античности после эпохи Возрождения или проникновение в готику после заката романтизма; но именно в этом залог жизни нашего искусства, ибо ни одна эпоха, восприимчивая *одновременно* и к греческой архаике, и к искусству Египта, и к скульптуре царства Вэй, и к тво-

реньям Микеланджело, не может отбросить Сезанна. У нас иные проблемы, чем у Вавилона, Александрии или Византии; наша цивилизация, даже если она погибнет завтра в атомной катастрофе, несравнима с цивилизацией Египта в канун ее заката, и дрожащая рука, которая вырывает у земли прошлое мира, не похожа на ту, что выала последние статуэтки Танагры *: в Александрии Музей был всего лишь узкой академией. Первая, действительно всемирная художественная культура, которая, безусловно, преобразит современное искусство, до сих пор служившее ей ориентиром, — это не захват чужого, но одна из самых великих побед Запада. Хотим мы того или нет, западный человек осветится только факелом, который он несет, пусть даже и обжигая себе руку: а этот факел стремится осветить все, что упрочает власть человека. Как может цивилизация, утратившая богов, отвергнуть помощь того, что возвышается над ней и подчас делает выше ее самое? Если качество мира — субстанция любой культуры, то цель ее — качество человека, а оно создается именно культурой — не суммой знаний, но наследием величия; и наша художественная культура, постигшая, что ее не может удовлетворить изощренность чувств, какой бы утонченности они ни достигли, пробирается на ощупь среди скульптур, песен и поэм, унаследованных ею от самой древней аристократии мира, понимая, что сегодня она — единственная наследница.

Рим принимал в свой Пантеон богов покоренных им народов.

Нет сомнения, настанет день, когда среди бесплодных или заполоненных вновь лесами просторов никому уже будет не догадаться о том, что некогда человек подчинил земные формы разумному началу, воздвигнув флорентийские камни среди волнующихся олив Тосканы. Не останется и следа от дворцов, зривших, как мимо них проходит Микеланджело, выведенный из себя Рафаэлем, исчезнут крохотные кафе Парижа, где Ренуар сживал с Сезанном, Ван Гог с Гогеном. Вечность Одиночества рассеивает грезы, как и армии; и это известно людям с тех самых пор, как они существуют и сознают неминуемость смерти.

Ницше писал, что при виде весеннего луга, усеянного цветами, человека охватывает нестерпимое чувство, будто и все человечество — вот такое же великолепие, созданное какой-то слепой силой, чтобы кануть в небытие. Возможно. Я видел, как фосфоресцировал звездами медуз малайский океан на всей поверхности залива, которую позволяла охватить глазу ночь, как покрывала склоны вплоть до самого леса мерцающая туманность светлячков, мало-помалу меркшая в изничтожающем величии зари; но пусть даже жребий человечества окажется

столь же эфемерным, как этот обреченный свет, все равно неумолимому бездну дня не пересилить могущества фосфоресцирующей медузы, которая изваяла памятник на могиле Медичи в поработанной Флоренции, или той, что, одинокая и всеми покинутая, выгравировала «Три креста». Что движению туманностей до Рембрандта? Светила отрицают человека, а именно к человеку обращается Рембрандт. Горемычные тела, пусть от вас не осталось и следа, пусть человечество уходит в небытие, знайте, бранные руки навеки исторгли из земли, хранящей отпечаток кроманьонского полужверя и гибели империй, образы, чье безразличие или сопричастность равно свидетельствуют о вашем достоинстве: величие неотделимо от того, что несет его в себе! Все прочее — покорные твари, мухи, не излучающие света.

Но действительно ли человек одержим вечностью или тем, чтобы ускользнуть от неумолимой зависимости, вновь и вновь подтверждаемой смертью? И что ему это ничтожное продление жизни, если оно не позволит даже увидеть, как угаснет свет давно умерших звезд! Но ничуть не менее ничтожно и небытие, коль скоро всех тысячелетий, накопленных глиной, не хватает, чтобы заглушить голос великого художника, как только он сойдет в могилу... Смерть теряет свою неуязвимость, едва завязывается этот диалог, и форма, в которую облеклась победа какого-то человека над судьбой, и после смерти человека начинает свою непредсказуемую жизнь. Победа, ее породившая, одарила ее голосом, неведомым тому, кто ее создал. Эти статуи, более египетские, чем сам Египет, более микеланджеловские, чем сам Микеланджело, более человеческие, чем наш мир, — статуи, воплотившие в себе непреодолимую истину, шелестят тысячами голосов леса, исторгаемых у них веками. Эти славные тела не принадлежат могиле.

Гуманизм не в том, чтобы сказать: «То, что я сделал, не под силу ни одному животному» *, он в том, чтобы сказать: «Мы отринули все, чего хотело в нас животное, и мы хотим обрести человека повсюду, где сталкиваемся с тем, что его подавляет». Конечно, для человека верующего весь этот долгий диалог перевоплощений и воскрешений сливается в единый божественный голос, ибо человек становится человеком только в погоне за самым высоким, что в нем есть; но как прекрасно, что животное, сознающее свою брэнность, вырывает у иронии туманностей песнь созвездий и бросает ее грядущим векам, заставляя их прислушиваться к неведомым словам. В тот вечер, когда еще рисует Рембрандт, все Славные Тени, в том числе тени пещерных художников, не отрывают глаз от колеблющейся руки, ибо от нее зависит, ожить ли им или вновь погрузиться в сон.

И трепет этой руки, за неуверенным движением которой

следят в сумерках тысячелетия, — одно из самых высоких проявлений силы и славы человека.

1951

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ ЛУИ ГИЙУ «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»

Я не верю в критику писателей. Они судят только о некоторых, немногих книгах и если делают это, то или по любви, или из ненависти. Иногда, чтобы отстоять нечто ценное для себя либо изложить в более или менее специализированном журнале кое-какие хитроумные идеи, навеянные прочитанным... Профессиональный критик берет на себя ответственность, потому что он говорит о многих произведениях, и вынужден тем самым устанавливать некую иерархию; писатель же — нет. Так пусть он представляет себе свою позицию такой, какая она есть: заставить полюбить то, что любит сам. Вот и сейчас, как когда-то в отношении Лоуренса и Фолкнера *, еще почти неизвестных во Франции, пишу я о книге, которая мне нравится, и скажу почему.

Книга эта не без недостатков. Некоторые из них встречались, в частности, у Фолкнера. Но достаточно прочитать суждения о самых великих писателях их современников, чтобы понять малозначительность замечаний, даже обоснованных, когда речь идет об искусстве. Талант не взвесишь на весах. Произведение искусства не живет тем дольше (я не говорю даже более долго), чем оно лучше. Оно или живет, или умирает: искусство не знает области отрицания.

Маленький заштатный городок с видом на бледное море и со всем тем, что вызывает в воображении слово «провинциальный», с беззвучно дряхлеющими стенами в туманной мгле. Местные интеллигенты, преподаватели или любители-дилетанты позволяют разлагаться в себе остаткам сохранившегося в них человеческого достоинства, которое они призваны, как это ни смешно, оберегать. Война, захватившая всю страну, отражается на них лишь в виде самого угоднического непротивления: преподаватель произносит перед учениками несколько слов на тему морали и показывает им саблю убитого сына; мэр города, совершающий, подобно молочнику, свой утренний обход, сообщает жителям городка об убитых и скрывает расстрел взбунтовавшегося солдата. А с наступлением ночи выползут из своих дыр всякого рода мокрицы, которые избежали даже самой мысли о терпеливой агонии, охватившей за сумеречным закатом

всю Европу до самого ее края, — горбуня с желтой собакой и со всей своей свитой, — для них непостижимо даже само сознание о смерти.

А между тем смерть, мгновенная или медленная, смерть убитых солдат или смерть Мерлена по прозвищу Крипюр *, что медленно агонизирует, повалившись, будто подавив прошедший гнев, на сиденье пыльного, окровавленного фиакра, везущего его в госпиталь следом за двумя полицейскими, не спеша едущими впереди на велосипедах, — смерть является главным действующим лицом романа «Черная кровь». Именно она, несмотря на беспорядок, создает удушающее единство романа. Именно с ней рано или поздно столкнутся все персонажи. Это она позволяет автору не ограничиваться поэтическим показом процесса разложения, которое он, без сомнения, оценил в «Господах Головлевых» и в «Мелком бесе» *, это она позволяет ему на протяжении всей книги нашептывать истину, бредущую на ощупь, истину негодующего и вместе с тем потерявшего надежду слепого: «Люди не поднялись до высоты своих страданий — люди недостойны своей смерти».

Ибо эта книга похожа на негатив фотографии героической фрески. Это призыв к человечеству быть достойным своей смерти. Некая снисходительность по отношению к собственному поражению несколько вводит в заблуждение: жалость здесь не без ненависти, даже жалость к людям менее порочным, и Гийу мстит персонажам, описывая их такими, какие они есть. Но, мне кажется, невозможно понять роман, если не увидеть в нем в первую очередь призыв. Одна поэма XV века * показывает сцену неистовой пляски смерти за спиной трех неподвижных божеств: Любви, Счастья и Смерти; пройдут века — божества внезапно обернутся, и танцующие мертвецы с ужасом заметят, что их боги слепы. «Черная кровь» — это пляска мертвецов, которые хотят силой заставить своих богов обернуться и открыть глаза, чтобы те показали наконец человеческое лицо — единственное лицо, способное отпустить мертвых.

Есть в этой книге вечная озлобленность на реальное, свойственная поэту, вынужденному в силу природы своего таланта самовыражаться не лирически, а с помощью самого реального. Флобер (его вселенная приходит порой на память, когда читаешь «Черную кровь») в высшей степени познал это состояние, он ненавидел безразличие или презрение к искусству многочисленных своих персонажей, таким, считал он, был их удел. Призракам этой книги не хватает не искусства, а чести, рожденной сознанием страданий, которую они попирают каждым своим жестом; поэтому-то все эти люди с тем большим почтением относятся к социальным ценностям, чем ниже они оказались, ибо нет большей силы, разрушающей человека

в человеке, чем соблюдение ритуала. В этой неустанной борьбе конформизма и страдания, в этих речах и приготовлениях к празднеству, во время которого предстоит награждение жены депутата, во всей этой атмосфере, я бы сказал, атмосфере попугаев на похоронах, с наибольшим постоянством происходит столкновение гротеска и трагедии — сочетание, всегда представляющее опасность, от которой спасает редчайшей проницательности восприимчивость автора. Прекрасные сцены Крипюра и Майи, в которых сломленный страданием Крипюр не замечает, как его собственные собаки пожирают дело всей его жизни*, лишний раз показывают, насколько плохо поставлены проблемы реализма, насколько в Западной Европе стремление к выразительности подменило всякое описание. Действующие лица изображаются посредством своих поступков, но через переживания, достаточно определенные, чтобы при обсуждении данной книги с позиций какого бы то ни было реализма было бы возможно задать себе вопрос типа: а похож ли Мадрид на «Капричос» Гойи*? По выражению одного из второстепенных персонажей, все действующие лица, к которым привязан Г и й у, — как те, к которым он более всего враждебен, так и те, кто ближе всего его сердцу, — представлены нам, как если бы они появились только благодаря тому, что фосфоресцируют, сами излучают свет. Каждый из них живет своим безумием, автор одержим единством этого безумия, непрерывным соприкосновением человека со страданием, о котором я говорил выше. Отсюда умышленное, преднамеренное видение, выраженное достаточно сильно, чтобы заставить поверить в свою реальность, несмотря на порой слишком затянутое действие, постоянно производящее впечатление, что человек высказывает собственную истину — человек, вынужденный написать книгу в том виде, каком он ее написал, человек, что ходит сейчас по чисто вымытым улицам городка, полного случаев человеческого падения, находя в каждом из них тот оттенок, который он однажды всем им дал, вновь обретая и ненависть к ним, и смутную надежду спасти их...

О многих ли книгах можно сказать, что они стали необходимы тем, кто их написал? Самое большое искусство заключается в том, чтобы хаос, царящий в мире, превратить в сознание, позволить людям стать обладателями своей судьбы — это искусство Толстого или Стендаля. Все те, кто идет после, должны найти свой хаос, чтобы придать ему собственные черты, сделать из призраков людей и спасти все, что может быть спасено, самые незначущие жизни, облекая их в их собственное величие, о существовании которого они не подозревали.

РЕЧЬ НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ В ГРЕНОБЛЕ

Примерно в 1835 году Мари Дорваль *, одна из величайших французских актрис, приехав в Бурж, была вынуждена отказаться от сцены из-за отсутствия публики.

В 1968 году Дом культуры Буржа, города с 65-тысячным населением, принимает одиннадцать с половиной тысяч человек.

У «Комеди-Франсез» примерно восемь тысяч постоянной публики.

В Дом культуры Гренобля, еще до его открытия, записалось восемнадцать тысяч человек. Эти цифры наводят нас на раздумье по многим направлениям.

Прежде всего, дома культуры — это явление исторического порядка. Какими бы ни были талант и активность руководителя, он добивается осязаемых результатов потому, что его работа отвечает какой-то потребности. Процесс возникновения домов культуры наблюдается сейчас во всем мире. В Асуане великолепный дворец вмещает в себя пока лишь кинозал и краеведческие выставки: он еще лишь ожиданием полон, но все же полон. Затем, Дом культуры создается отнюдь не ради развлечения. Поймите меня правильно: конечно, сюда приходят не для того, чтобы поскучать. Но пора положить конец недоразумению, возникшему лет тридцать назад, когда культура рассматривалась как излюбленное заполнение досуга. Нет культуры без досуга. Однако настаиваю на следующем: видеть в культуре всего лишь заполнение досуга — это уподоблять публику домов культуры буржуазии былых времен. Развлечением этой буржуазии были пирушки с угощением на всех. Народ, который записывается в дома культуры, ожидает от нас нечто большего, чем дарового угощения. Национальный народный театр в Париже * обязан своей широкой аудиторией отнюдь не пропаганде бульварных пьес.

Прежде чем уточнить, что мы хотим сделать для культуры нашей страны, следует спросить себя, чем она может стать.

Как вести о ней разговор, не потревожив великую тень, которая вот уже более ста лет повелевает этим городом? Что подумал бы о нашем начинании изумленный поначалу Стендаль*?

Сколь ни малы были его знания о нашем времени, возможные до революции 1848 годы, он мог бы назвать четыре события, в той или иной мере им предвосхищенных: одновременное вступление в Историю Соединенных Штатов и России, победу Республики и торжество рационализма.

Но он отметил бы, что рационализм, замкнутый лишь в себе, оказался неспособен создать где бы то ни было такой тип человека, который заменил бы христианский идеал, пусть даже идеал, значительно уступающий личности святого или рыцаря; он с удивлением обнаружил бы, что сопутствовавший рационализму образ человека был в основе своей не рационалистическим, а вдохновляющим образом, которым были одержимы Революция и Наполеон, образом, унаследованным от Спарты, отчасти от Афин и особенно от Рима.

Предполагаемое удивление Стендаля для нас показательно.

Во-первых, оно подсказывает нам, знакомым с историей, что почти во всех великих цивилизациях прошлого (за исключением, наверное, двух или трех веков Древнего Рима) высший, вдохновляющий образ человека был продиктован религией. Как и сама форма общества. Средневековый христианин — подневольный или рыцарь — был регламентирован своей верой, как в наши дни индус регламентирован своей.

Стендалю было известно о временах, когда христианство становилось все более и более светским. Хотя Людовик XIV и женился на г-же де Ментенон, а Сен-Симон каждый год уединялся в монастыре Ла-Трапп *. Мы знаем, что за ослаблением веры или, точнее, за ослаблением регламентирующей власти веры пришло, начиная с эпохи Возрождения, все более и более широкое распространение того, что называлось гуманизмом. И казалось очевидным, что гуманизм создаст свой идеал человека, что христианскую образность он заменит новой. Но вот один из очевидных фактов нашего века: цивилизация машин и науки, самая мощная цивилизация, которую только знал мир, оказалась неспособной создать ни храм, ни гробницу, ни, что самое удивительное, свой собственный образный строй.

Нам всем хорошо известно, что каждая цивилизация приносит свои ценности. Но мы не всегда знаем, что они неотделимы от обширной образной структуры, окружающей их, как бессознательное окружает сознание. XVIII век верил, что новая цивилизация будет основана на распространении знаний. В крайнем случае, он допускал распространение просветительской морали. Все остальное он назвал предрассудком. Средним векам было известно распространение знаний — пусть даже только богословских, — но верующие жили не этими знаниями. Они жили «Откровением» и «Золотой легендой» *. В нашей цивилизации бескорыстный научный поиск — это, безусловно, большая ценность, но для исследователя, а не для людской братии.

Светские ценности нигде не заменили собой религиозные. Они создают цивилизацию Приключения в самом высоком смысле слова, когда человек продвигается вперед с высоко поднятым факелом. Наша цивилизация должна была бы стать ци-

визацией без грез, но не от цивилизации зависит умение обходиться без своих грез.

Наполеон предвидел ту пустоту, которую создает отказ от христианства. И даже поспешил его восстановить. Но речь шла не о регламентирующем христианстве европейской цивилизации, а скорее о христианстве, как понимал его он сам. Нетронутыми оставались великие римские образы. В этом плутархианстве играло свою роль и то, что называлось тогда художественной литературой. Конечно, Наполеон не пренебрегал Мольером, даже если считал Корнеля более полезным для Империи. Но, как и вся та эпоха, обратившаяся к блистательному театру, он понимал, что область, которую мы называем сегодня культурной, не ограничивается знаниями. Университету было поручено изучать наших великих писателей, театру — учить их любить. Не Фонтан * раскрыл подлинного, наполеоновского Корнеля; раскрыл его Тальма *. Он раскрыл также сен-жюстовского Корнеля.

Так было задумано образование французской молодежи, которой предстояло занять руководящие посты в государстве.

В Париже — многообразии художественных школ! В Париже — императорские театры, отвечающие за душу молодежи, в то время как Университет и Политехническая школа несли ответственность за ее разум! Все остальное — епархия провинции, пирушки на всех или небытие. Для Стендаля, который жил театром, театр — это не Гренобль, а Париж. Если Наполеон, находясь в Москве, считает своим долгом подписать знаменитый декрет *, то это потому, что «Комеди-Франсез» в его глазах не место развлечения, а одно из мест формирования французского величия.

С падением Империи ничто не изменилось. Проповедь героических образов, распространение целой культуры, «Гораций» и «Мещанин во дворянстве» — все это был Париж. А что говорить о музыке, о живописи! Наполеон создал самый великий музей в мире, он создал его в Лувре. Провинция получала знания, но не получала переживаний. Дамы и господа, первый довод в пользу существования этого Дома культуры в следующем: все, что происходит важного в Париже, должно происходить также и в Гренобле.

Ответ известен: это забота телевидения. Я в это ничуть не верю. По многим причинам, некоторые из которых — простой здравый смысл. В телевидении даже цветовой показ происходит мгновенно, в то время как новая техника позволит проецировать изображение в натуральную величину в течение целых недель. Дело также в том, что телевидение не вызывает публичного обсуждения, которое имело такое большое значение для Бурже. Ведь все то, что вызывает участие публики, благотворно.

Важно и то, что в силу причин, которые еще ждут своего истолкования, ничто не может заменить человеческого общения.

И наконец, решающая причина: так же, как, несмотря на горячие предсказания былых времен, пластинка не убила певца, отнюдь нет! — а репродукция не убила музей, телевидение не исчерпывает возможности дома культуры, а наоборот, раскрывает их полнее — и в Бурже, и в Амьене, и даже в Бельвиле*.

Перед вами первая цивилизация, которая соприкоснулась со своими грезами, отдалась в их власть, при этом не расставив их по ранжиру. Много говорилось о том, что машина исключает грезы, но этому противоречит любое практическое знание. Ибо цивилизация машин — это одновременно и цивилизация машин мечты, и никогда человек не был до такой степени осажден своими грезами, восторгающими или деформирующими. [...] Но никогда, наверное, подобная приверженность инфантилизму не предлагала человечеству сонм грез, ничего не значащий для тех, кому больше пятнадцати. Грезы не имеют возраста. Они могут принадлежать как детству — тайному центру всей нашей жизни, так и возрасту, сохранившему от детства лишь лепет. Впервые грёзы имеют свои фабрики, и впервые человечество колеблется между удовлетворением своего наихудшего инфантилизма и шекспировской «Бурей».

Вот почему то, что мы здесь пытаемся сделать, то, что мы хотим сделать по всей Франции, то, что другие пробуют осуществить в иных местах, имеет такую важность. Каждая цивилизация знала своих демонов и ангелов. Но ее демонами не были обязательно миллиардеры и поставщики развлечений. Что касается ангелов, то мы знаем: так или иначе, фабрика грез существует за счет своих наиболее эффективных средств — секса и крови. И лишь один голос звучит столь же мощно, как голос секса и крови: голос выживания, раньше называвшийся бессмертием.

Почему? Мы этого не знаем, просто констатируем, что это так. На страницах «Сида», «Макбета», «Антигоны» мы находим то, что противостоит самому действенному языку инстинктов, — это слова, которые выдержали испытание временем.

Мы подошли к основному моменту наших рассуждений. Предположим, что культуры нет. Есть «хали-гали» вместо Бетховена, реклама вместо Пьеро делла Франчески и Микеланджело, газеты вместо Шекспира, Джеймс Бонд вместо «Броненосца Потемкина» и «Золотой лихорадки». Однако есть и соиздание, и искусство, и живые классики. Но если мы думаем о современных, то сразу же замечаем, сколь они связаны с мастерами прошлого. Хемингуэй родственнее Шекспиру, чем газете «Нью-Йорк таймс». Ибо всех мастеров объединяет то, что они обращаются к чему-то иному, чем жизнь. Сфе-

ра культуры — это сфера явлений, которые отсылают к этому «иному», впрочем самому разнообразному. И к такому образу человека, который им самим принимается и является просто более возвышенным, чем тот, что он сам создал о себе самом. Эта отсылка и позволяет произведению пережить своего автора.

В религиозном обществе жизнь духовных ценностей обеспечивается самой религией. В атеистическом обществе как раз отсылка освобождает произведение от его обреченности на умирание. Для средних веков удивительно было то, что греческая цивилизация не имела в своей основе собственной Библии, но вся греческая молодежь знала Гомера. Так что мы начинаем понимать, почему культура играет сегодня столь большую роль: она служит цели передачи ценностей. Цивилизация, общество, лишенное духовных ценностей, не общество, а скопление инфузорий. Присмотритесь к себе: найдете ли вы в себе хоть одну нехристианскую ценность, которая не была бы привнесена культурой?

Это могло бы привести вас к взгляду на культуру как на музей ценностей. Но мы знаем, что это совсем не так, потому что чувствуем, что если настоящее и возрождает прошлое, то лишь непрерывно его преображая. Эта основополагающая черта может показаться надуманной, но все станет ясно, если мы обратимся к самому знаменитому и донине наиболее глубокому ее выражению: Ренессансу.

Ренессанс вновь открывает античных богов. Но неверно будет сказать, что он возрождает их в качестве богов. Пракситель * по-своему верил в Афродиту. Ни Боттичелли, ни Рафаэль в нее не верят. Афродита из богини превратилась в демона, она стала не богиней, а произведением искусства. Так вот, подобная метаморфоза произошла с целой плеядой произведений искусства в горниле времен. Сезанн не может быть для нас тем, чем был для своих современников, потому что потом был Пикассо. Каждый век заново создает свою антологию. В своей борьбе против сил инстинкта культура является не нагромождением ценностей прошлого, а их отвоеванным наследием.

Мы чувствуем, что западная культура сейчас в самом разгаре перемен. Потому что наш век впервые открыл все искусства мира. Но также и потому, что завещанная нам культура — это, во многих отношениях, культура буржуазии. Народы коммунистических стран сделали свою культуру революционной, но и мы сейчас преобразуем свою гораздо больше, чем можно подумать. Для каждого из нас музей образов существует рядом с обычным музеем: Греция доходит до нас наряду с культурами Древнего Востока, Азии и некоторыми другими. Метаморфозы, которые произведут через поколение такие дома культуры, как этот, как дома африканской культуры, хотя и будут не такими

зримыми, как в Советском Союзе, но, может быть, не менее значительными. Жан Вилар оказал огромное влияние на публику Национального народного театра, но эта публика в немалой степени повлияла на творчество Жана Вилара. Здесь зрители, известно им это или нет, тоже являются актерами. Целая нация заняла положение господствующего класса, получила доступ к культуре, благодаря новым способам распространения произведений культура меняет свой характер.

За «круглым столом» в ЮНЕСКО представитель Академии наук СССР г-н Зворыкин сказал: «В наше время можно многое производить, и дома, и машины, но проблема будущего в том, чтобы найти смысл в этом изобилии...»

Мы сказали бы в свою очередь и, наверное, с теми же выводами: «Когда построены дома и машины, проблема в том, чтобы понять, каким будет человек, которого туда поместят». Пора наконец в будущем году на несколько недель произвести обмен между одним из наших домов культуры и его советским аналогом. Тогда начнется одно из глубочайших взаимодействий, известных в истории человеческой мысли: между культурой для всех и культурой для каждого.

Ибо во всех современных цивилизациях, то есть во всех цивилизациях, порожденных машиной, человек сталкивается с самым серьезным конфликтом своего времени. С одной стороны — средства массовой информации на службе инстинктов, с их могущественными техническими средствами удовлетворения потребностей. С другой стороны — столь же широкие для тех, кто к ним прибегает, выразительные средства на службе переданного нам веками человеческого образа, который мы в свою очередь должны передать нашим преемникам. Вот почему наша культура должна рано или поздно стать бесплатной, как образование; вот почему этот дом культуры, каким бы просторным он ни казался вам сегодня, потребует, наверное, лет через двадцать многочисленные филиалы. Великая битва интеллекта нашего века началась. Дамы и господа, этот дом культуры призывает каждого из вас участвовать в ней, ибо культура стала самозащитой человеческой общности, основой созидания и наследием доблести мира.

4 февраля 1968

ВЕРЕВКА И МЫШИ

Тогда Непреклонный Император приказал Великого Художника повесить.

Он оперался о землю только большими пальцами ног. Когда он устанет...

Он оперся о землю одним большим пальцем. А другим большим пальцем нарисовал мышей на песке.

Мыши были нарисованы так хорошо, что они вскарабкались вверх по нему и перегрызли веревку.

И так как Непреклонный Император сказал, что вернется, когда Великий Художник ослабнет и закачается в петле, Великий Художник тихонько ушел во свояси.

И увел за собою мышей.

V

[...] Поль Валери сказал мне в 1935 году, когда он писал «Предисловие» к большой итальянской выставке: «Большим искусством я называю такое, которое властно подчиняет себе каждого в силу законов самой иерархии духа...» Я подумал об этом сейчас перед портретом Берты Моризо, его тетки, — портретом, который так мало почитается за образец высокого искусства и который выражает при этом наивысшую ступень цивилизации! На этот призыв Клод Моне и прочие «Гуляки» * откликнулись голосами исследователей спектра и садовников, Ван Гог откликается голосом мученика. Кто из нас перед лицом его картин — жестоких посланий — решится утверждать, что эта живопись, которая со всей очевидностью властно подчиняла себе своего творца, не подчиняет себе столь же властно каждого зрителя?

«Каждый» — это каждый классический человек. Искусство, которое Валери помещал на самую верхнюю ступень, искусство Леонардо или Расина, выражало и вскармливало наивысшую степень культуры. В этом был залог его бессмертия. Долгое время Запад именно так понимал проблему. Но искусство великих периодов веры? Чтобы призвать живопись своего време-

ни к большей скромности, Валери противопоставляет ей «законы самой иерархии духа». Мане отвечает ему здесь довольно слабо — даже в своей замечательной «Берте Моризо»; но «Король» в Бове *, Муассак *, вся романская скульптура? Без сомнения, он полагал, что она не подчиняет себе дух человека. Отчаявшийся ум этого противника Паскаля почти не прибегал к слову «душа». Когда Пикассо нарисовал его портрет, почему не поговорили они о масках? Дух не любит и других духов. Но я знаю, что он ответил бы: «Даже если эти искусства захватывают каждого человека, он все равно ими не управляет».

Однако на средиземноморский урок, о котором напомнил мне шум дождя, зашелестевший в оливковой листве, Воображаемый музей в свою очередь отвечает: «Дух недостаточен, чтобы стала ясной работа, которая поочередно вызвала к жизни фриз Пантеона, «Сигемори» и африканские маски — искусства, которыми человек, возможно, управляет, и искусства, которыми он не управляет. И ничто, кроме преобразования, не дает нам возможности ощутить то всеобъемлющее воздействие, какое они оказывают на нас. Воображаемый музей не присоединил к себе мир, навязанный нам завоевателями, он его завоевал, потому что избавление мира от красоты и даже от культуры, кажется, открыло некий неведомый, но всеобщий язык. Воображаемый музей — это пока еще Запад».

Шумерские статуи возвратятся в Сирию, «Сигемори» — в свой храм, все современные картины — к своим владельцам. Мы не увидим больше «Берту Моризо» Мане рядом с большим «Девственным лесом» Таможенника *, не увидим Тициана, Веласкеса, Эль Греко, Пуссена, Шардена и Коро в соседнем зале и столько скульптур высокой эпохи вот в этом и не увидим, как снаружи меркнет над Средиземным морем свет дня... За холмами, в нескольких километрах отсюда, в загроможденных до предела комнатах Нотр-Дам-де-Ви полотна не спят. «Предмет искусства и произведение живописи — всегда разные вещи».

От Шардена до Пикассо — все большие художники приезжают в Париж, как некогда они приезжали в Рим. Явственно слышу свое вступительное слово на открытии первой Биеннале *: «Возле реки, которую окаймляют ящики букинистов и клетки продавцов птиц, в городе, где живопись вырастает из камней мостовой...» Были еще живы Брак и Пикассо. Когда-то очень давно я прочитал в «Ле журнал» о смерти Ренуара; я видел «продажу Дега»; в течение пятидесяти лет я жил среди самой великой живописи моего времени и воспринимал это без всякого удивления... Наверху привыкший к небытию принц Сигемори своими японскими глазами, которые никогда не видели написанной на полотне тени, смотрит, как искусство Запада, воскре-

сившее всю живопись, какая только была на Земле, соединяется с великими поэтами, певцами западной тени; он глядит в темноту, навещаемую Гойей, Тицианом, Рембрандтом. Мне надо идти подготовить речь, которую я произнесу сегодня на обеде, и добавить к своим заметкам несколько мыслей, которые принес мне нынешний день... Закатный свет прячется в сосны, торжественные кипарисы дарят его отраженье мозаикам и всем прочим руинам Средиземноморья от Сагунто * до священной роши Эпидавра *. Во дворе фигуры Джакометти * впитывают темноту, чтобы стать уже настоящими призраками. Ночь потихоньку карабкается на холмы Прованса, подбираясь к вилам и дьяволу Миро *, что все отчетливей вырисовываются на бледнеющем небе. Завтра — *Вовенарг*; Жаклина заезжает за мной. «Жил-был смешной человечек с Киклад...» *

Вовенарг

Справа и слева громоздятся отвесными гранями горы Прованса. Низкие облака скрывают Сент-Виктуар Сезанна*. В долине подо мной — кубический замок и его четыре гладкие башенки с усеченными острями. Вертикальный, отделенный скалистым своим пьедесталом от всего, что вокруг, он похож на гробницу.

Самому ли Пикассо принадлежала идея? Скорее Жаклине. Когда Канвейлер * сказал ему: «Это чересчур велико по размерам...», Пикассо ответил пророчески: «Я рассчитываю все заполнить!» Он хотел сказать — живописью. Одни только холсты из Мужена могли бы заполнить всё.

Это немного мавзолеей Сиды, но тогда бы он был повыше, больше походил бы на башни Папского дворца; все же это скорее мавзолеей Дон Кихота. Для французов уже стало привычным числить его по разряду безумцев, этого старшего брата лировского шута, что был ровней своему королю, ровней брату своему Гамлету. А в Испании, во время гражданской войны, мои друзья цитировали Дон Кихота, как Карла Маркса; в Барселоне, перед искореженным бомбежками храмом "Sagrada Familia" ¹* (единственная в мире дьявольская церковь), сестра милосердия сказала мне боязливо: «Гробница Дон Кихота...»

Дон Кихот и для меня олицетворение чар и ведовства; я видел, как закатное солнце удлинняет на растрескавшейся глине катильских плоскогорий тень его мельниц, — так расстилало оно перед армией Александра по Персидской пустыне и по ее гигантским кузнечикам тени костра, который сжигал Буцефала*.

Я видел могилу Сервантеса в церкви Алкалы зимой 1936 го-

¹ «Святого Семейства» (исп.).

да. Наши самолеты были в ремонте, и я бродил по главной площади, которую мели леденящие метлы испанской пыли. Я вошел в сгоревшую церковь. Уцелевшее распятие соединяла с могильной плитой большая нарисованная углем стрела, которую анархисты украсили надписью, обращенной к Христу: «Тебе везет. Он тебя спас».

Дорога позволяет добраться до Вовенаргского замка. В него попадаешь через крутой въезд, над которым сооружение поднимается медленно и торжественно и который завершается металлическими решетками Эскориала * у входа на галерею, где погребен Пикассо. На газоне черная бронза «Фигуры с вазой» простирает, как гений-хранитель, руку в дарящем жесте параллельно земле над облаками позднего утра.

Испанские или мексиканские каменные волоты, средневековые сени, едва различимая лестничная площадка, караульное помещение, где можно разглядеть только плотные ряды узких каменных плиток, устилающих пол; в глубине — массивный, очень низкий камин. В комнате, продолжающей сени, огромный котел красной меди, в котором пылают гладиолусы — жизнь костра среди плоских, возносящихся к сумраку стен. Чуть дальше, в камине, над жаром красных поленьев, — языки настоящего пламени, будто зажженные гладиолусы. Сидят найденные, должно быть, у антиквара свинцовые борзые в натуральную величину.

— Вам это кажется удачным? — спрашивает Жаклина.

— Необычайно...

Эту гробницу сочинила любовь, но ей помогали божества ночи. Во всех мастерских Пикассо, даже в Мужене, обитал озорной бесенок, который заставил его перед «Гадальными картами» сказать Рафаэлю Альберти и друзьям-поэтам, что он во главе своих Мушкетеров, своих Торедоров и Масок только что завоевал Папский дворец. А здесь, не без участия этих горящих поленьев, живописность отступает на второй план перед вопросом, который сжег его жизнь. Я думаю об усыпальнице Большой пирамиды, о свечении, которое пробивалось из подземного кабинета Гитлера вместе со скорбным пением черных шоферов грузовиков, когда мы заняли Нюрнберг. Отданный картинам, Вовенарг, без сомнения, станет самым благородным музеем художника. Но ничто не будет служить такою опорой этим цветам, как погребальный огонь перед распахнутой дверью, за которой «Фигура с вазой» протянула свой дар прочеркнутому низкими тучами небу. И рядом — только борзые, симметрично застывшие в карауле.

В столовой, тоже возле камина, стоит, задрав хвост, позолоченный бронзовый кот работы Пикассо, брат кота из Мужена. Буфет из знаменитого «Буфета в Вовенарге», фотография Пи-

кассо в натуральную величину; фотография поразительная: глаза играли такую роль на его лице, что, когда они опущены, почти закрыты, он уже не похож на себя. Кресла с высокими спинками, где размашистой кистью написаны фигуры сатиров.

— Их следовало обить бархатом, — говорит она. — Но у нас был только холст. И Пабло их расписал.

На камине, возле фотографии, — нечто вроде тщательно сложенной бумажной салфетки с изрезанными краями. Жаклина берет ее двумя пальцами каждой руки и со своей печальной улыбкой, в которой отсвет былого счастья подернут туманной дымкой, разворачивает целую гирлянду танцующих человечков; они держатся за руки и напоминают сатиров.

Справа — барселонские крыши, холст, который я видел в Мужене. На стене ванной комнаты фреска — лесная чаща и опять проказник сатир.

— Он принес вам в подарок лес? — говорю я.

— О нет! Я никогда ничего у него не просила. Когда он увидел свежий цемент, ему захотелось его расписать, и он изобразил фавна в лесу. Тогда я, конечно, купила садовую мебель...

В самом деле, на одной из скамеек можно прочесть, как на скамейках общественных скверов: «Приидите, братие».

Пустая комната.

— Мы здесь жили, — говорит она, — но так и не обосновались как следует...

— А вообще вы хоть раз где-нибудь как следует обосновались? Если судить по Мужену, прочно селились у вас только отары картин. И начинали быстро плодиться и размножаться. А вы оба только присматривали за своими барашками...

Мы снова идем в сторону смерти. Снаружи, в обрамлении двери, — «Фигура с вазой».

Напротив статуи, чей жест соединяет гробницу с окрестным скорбным пейзажем, мне видится голова апокалипсического коня *, которую «Герника» воздвигает над нагромождением трупов, словно голову лошади, привидевшейся во сне.

— К сожалению, это невозможно, — отвечает она. — Но когда Испанская республика возвратится, мы все вместе, как он обещал, отвезем картину в Мадрид. С Мигелем. Хотите поехать с нами?

Опять, как в Мужене, я вижу ее бледную улыбку; однако мне кажется, что она уже меньше страдает, потому что могила заполняет ее жизнь.

Здесь бы, наверно, казалось, что он сам повесил «Гернику», это свое оружие и свой герб, над очагом кордегардии, как те черные шпаги, которые изувеченные и тоже черные испанцы вешали после Лепанто * на известковые стены своих опустевших замков, населенных одними каминами. Скоро Жаклина запол-

нит Вовенарг его холстами. «Они уже созданы не для светских гостиных», — говаривал он.

Никто из великих художников не покоится под вечным при-
смотром своих творений. Был преобразован в музей один из
домов Микеланджело, дом Рембрандта, дом Эль Греко. Там не
хватает смерти. Чего бы стоила гробница Коллеони *, даже под
его статуей, рядом с гробницей Рембрандта, над которой несла
бы вахту его «Вирсавия», рядом с гробницей Тициана, охра-
няемой его последней "Pietà"¹! Мне видится Пьеро делла Фран-
ческа, покоящийся в соборе Ареццо, Джотто — в храме Асси-
зи *; их гений и после смерти служил бы Богу.

Самая поразительная на свете гробница так и не была соору-
жена. Когда Шах-Джахан * увидел белый Тадж, где предстояло
покоиться его супруге, он повелел воздвигнуть для себя черно-
мраморный Тадж, который связали бы с первым самые большие
в мире белые и черные арки перекинутого через Джамну моста.
Шах-Джахан умер в цитадели Агры пленником своего сына
Аурангзеба. Из ее прорубленного в мраморе окна можно и сей-
час увидеть огромную реку и пустыню призрачного мавзо-
лея.

Пикассо говорил, что его холсты уже созданы не для свет-
ских гостиных. Для музея? Такую мысль он допускал, быть
отлученным от музея ему не хотелось. Быть может, для своей
мастерской? Все его мастерские были до краев переполнены
полотнами и скульптурами... Для Папского дворца в Авиньоне,
в ожидании Дьявола занятого его полотнами? Он его искал, то
избранное место, к которому зывала его живопись, но смерть
терпелива; этим местом стала его могила. Конечно, если идея
Жаклины оказывается открытием, это происходит благодаря
самой природе гения Пикассо. Могила Коро в одном из неболь-
ших замков Иль-де-Франса, где над «Букетом цветов в стеклян-
ной вазе» и над «Женщиной с жемчужиной» витала бы тень Же-
рара де Нерваля * перекликалась бы с его искусством; можно
лишь пожалеть, что Анджелико * не погребен во флорентийском
монастыре Сан Марко; что под «Ночью» Микеланджело, почти
уже возвратившейся на одном из его вконец одичавших вино-
градников к своей первооснове — камню, нет его гроба. А воз-
никающая в воображении могила Гойи! Призрачная сумятица
«Черных картин» * под бдительным оком чудовищного «Сатур-
на», среди запустения какого-нибудь лишенного всякой мебели
замка, в глубине Арагонской сьерры, где даже травы не уви-
дишь... С искусством этого рода ничто не гармонирует с такой

¹ Сострадание (*ит.*); изображение скорбящей Богоматери, опла-
кивающей Христа. — *Прим. перев.*

полнотой, как могила. Монумент, одиночество, гроб и мятеж. Дань уважения Смерть воздает лучше музея.

Благодаря этому сближению смерти и гения холсты Жаклины создадут напротив гробницы еще одно посещаемое духами место. Чего, кроме «Герники», можно здесь ожидать? На этих просторных и мрачных стенах еще не развешенные, толпящиеся у врат смерти картины гораздо реальнее тех, что придут позднее. Смогут ли они, не считаясь с хронологическим порядком жизни, вновь обрести ту колдовскую власть, какую они обладали в Мужене, начиная с этюдов к «Авиньонским девушкам» и кончая самыми затрепанными из «Гадальных карт», начиная с «Женщины в листве», которая заколдовывает свои ветки и свои шкатулки, и кончая сатанинским тотемом из Нотр-Дам-де-Ви...

«Никому не дано знать, как живут и умирают картины...»

Но можно по крайней мере предчувствовать, как они будут здесь жить — необъяснимой жизнью произведений искусства во времени. Они не войдут «в бессмертие». Они не принесут живого присутствия Пикассо, как принес его фильм Клузо (все-таки живой голос...). Прежде всего они принесут жизнь, изменяющую холсты, которых мы долго не видели и которые возвращаются к нам, как он любил говорить, в золотых одеждах. Размещая «Гадальные карты» в Мужене, Жаклина бормотала: «Иногда мы с Пабло творили для себя стены...» Каждый холст сам творит свою стену. Художники говорят о картинах как о заколдованных предметах, я всегда это слышал от них. Предрассудок, трактующий живопись как подражанье модели или как идеализацию ее, сделал неуловимой *власть* картины. Холсты, которых мы больше не видим, ничуть не изменились, с них никто не стер персонажей; умирающие творения не утрачивают листвы, они утрачивают фосфоресценцию. «Люди воображают, что творят кумира, а творят скульптуру, — ворчал Пикассо. — Неважно, как это происходит, но настоящий образ — это образ, способный пуститься на приключения, разве не так? Корабль уходит, когда художник умирает».

Тогда начиналась самая непонятная метаморфоза, ибо от творений живых мастеров к творениям умерших мы переходим лишь постепенно, через маленькие чистилища, именуемые музеями современного искусства. Но художники говорят об искусстве только в терминах жизни, и жизнь произведений стала их главной загадкой. Как-то в мастерской на Гранд-Огюстен Брассай * сказал: «Мы знаем теперь, что португальские мореходы, Пинсон * например, добрались до Америки, что они наверняка высаживались в Бразилии. До Колумба. Не будем забывать: Колумб так и умер в уверенности, что этого континента не существует и что его корабли достигли западным путем Индии.

Почему же, несмотря на то что Америка носит имя Америго Веспуччи, ее Прародителем до сих пор считают Колумба?» Я напомнил, что после первых дикарей другие мореплаватели обнаружили всего-навсего других дикарей и что только после дикарей, открытых Колумбом, Кортес * открыл Империю и золото. Пикассо схватил мою руку, чего он никогда не делал. «Это как в живописи, — сказал он. — Вместо золота они бы могли обнаружить чуму, верно? Или не вернуться. Художник пишет картину. И ею в общем доволен. Или нет. А потом ее пишут другие! Пишут много раз! И ведь своих преемников не убьешь!..»

Он не боялся последующих поколений, он мечтал о грядущих Кортесах. Его дух искателя глубинных вод знал, что иные пульсации истории, иные революции восприятия изменяют большого художника не меньше, чем его преемники. Кортес преображает Колумба, а могущество Соединенных Штатов преображает Кортеса...

Тайной отмечено все, что неподвластно времени. Если Жаклина по дороге в Мадрид выставит здесь когда-нибудь «Гернику», «Герника» уже не будет принадлежать тому прошлому, которому принадлежит испанская война. Ибо испанская война была, а «Герника» *есть*; мы смущены и озадачены, когда видим шедевры, которые не бессмертны, но пережили свое время. Или воскресли. Препоручить умершего заботам таинственной будущей жизни, которая одна отвергает суть мироздания, космическую реку, столь же реальную, как и симметрия нашего тела, и влекущую Землю и каждого из нас от рождения к смерти... Здесь, в Вовенарге, где грезы Испании слепо тычутся в стены, как летучие мыши, я вспоминаю пещеру, где Шива перемешивает людей с обезьянами, закрывавшими глаза мертвецам, что пали в ведических войнах, и прованские галки кричат, как чайки Индийского океана.

Гладиолусы рдели во мгле и походили на те желтые гладиолусы, которые Азия возлагала в музеях перед богами. В часы глубокого сна, от Пекина до Константинополя, восхитительные осколки мозаики и фаянса с едва уловимым звуком падали в тишине. Я слышал, как разбивались в Императорском городе куски черепицы, падая с кровель дворцов мандаринов, когда лисицы выбегали на газоны фиолетовых астр у подножия стен; как звякали в Исфахане куски бирюзы, срываясь с Коранической школы, где дичали за серебряными воротами розы; как звенели куски фарфора в сиамских храмах, именуемых также пагодами. Их башни, что выше башен собора Парижской богоматери, искрились бусами и расколотыми тарелками, которыми Индийская компания некогда наводнила Сиам. Утренний ветер легко тербил колокольчики и ронял на страницы моей книги

кусочки голубых голландцев и китайнок... Во время больших церемоний тысячи коленапреклоненных женщин, которые в своих руках с удлинёнными пальцами держали, как одежды буддийских жрецов, желтые гладиолусы, одним движением наклоняли эти цветущие луга, и по ним, как под порывами ветра, бежали узоры. В музее Бангкока я впервые увидел, как бонзы приносят в дар Буддам древних властителей ожерелья из клубероз. (Где я снова увидел недавно, несколько месяцев тому назад, такие же ожерелья? На шеях тяжелораненых из Бангладеш...) Смотритель одобрително кивал головой.

А если доминиканцы в сутанах приносили бы лилии готическим Богородицам Лувра? Если бы наши музеи принимали такие дары, если бы здесь же гробницы и боги принимали своих адептов?.. Все наши воскрешения утонули бы в горах цветов, которые возле этих полотен и изваяний заменили бы храм, кафедральный собор или погибший дворец; всех анемонов, кан, цинерариев и валерьян из садов Фонда Магта не хватило бы на это. Удивительная эпоха, которая требует своих статуй у древнейших функциональных искусств души... «Кумиры, которые никому не известны, всегда могут стать предметом скульптуры, — напоминал Пикассо, — те, что известны, тоже, конечно, но меньше...» С давних времен Афродита является статуей! Но уже Венера была Афродитой только наполовину; лишь стараниями нашей цивилизации, с ее склонностью к тайне и с ее испуганным интересом к прошлому, прошлое искусства извергает наружу упраздненных кумиров. Кумиров, так легко перешедших из потустороннего мира богов и мертвецов в потусторонний мир искусства! Вчера в Фонде мне вдруг представилось, что вокруг статуй громоздятся католические соборы, храм Индии и пещеры, для которых их изваяли.

В индуистских храмах секты Нараяна * изобилие скульптуры постепенно, наподобие ожерелий из клубероз, слило верующих с их бесчисленными божествами; Нараян заменил всех этих богов зеркалами, и в полутьме нескончаемых коридоров коралловые рамки, которыми искусство покрыло стены, ведут верующих к их собственному изображению, каковое они обожествляют и избавляют от смерти...

Эти зеркала напомнили мне еще одно зеркало. Посетив вместе с последним послом Испанской республики Национальный музей Мексики, в ту пору еще не до конца законченный, я обнаружил обсидиановый череп доколумбовых времен, давно ожидаемый Фондом. Знаменитый экспонат хранится в отдельной витрине, где сзади него установлено зеркало, объединяющее череп с посетителями музея, — так зеркала в пещере, вставленные в стену на месте индуистских богов, сливают верую-

щих со святыней. Оно отражает также и исполинскую стеклянную крышу, через которую в залы вступают деревья, огромные деревья, наследники тех, что окаймляли каналы ацтекской столицы, где испанцы нашли «столько прекрасных цветов и опечаленных карликов». В этот циклопический музей, один из самых современных музеев мира, индейцы приносят цветы своим идолам, которые не совсем еще превратились в статуи.

Этот череп означает Смерть, но пойдем ли мы когда-нибудь исчезнувших идолов? Однако ясно, что он превосходит цивилизации еще в большей мере, нежели мексиканские идолы, окружающие его; так голод, неподвластный метемпсихозу *, оказывается сильнее всех прочих ощущений, которые преходящи. Невзирая на устойчивость архетипов, стиль этого черепа являет собой знак диалога человека с другим миром. Знак, а также и символ в древнем значении этого слова, символ, выражающий то, что может быть выражено только им. «Секрет вещей, которого не найти во внешнем их облике», — говорит Аристотель.

Плывущие по зеркалу тучи останавливаются; обсидиан мерцает на их свинцовом фоне. Снаружи приходит шорох сминаемой бумаги, взрывается грохотом ливня по огромной стеклянной крыше. Изгнанные грозой из сада, входят индейцы; их бесстрастная процессия пересекает зеркало. Индейцы, которые умрут, проходят перед священным знаком умерших индейцев, проходят по зеркалу вместе с дождем, который безразличен к погребальной символике и который когда-то лил на динозавров...

Отблески дождя встречаются на полированном черепе с отблесками людей. Зеркало говорит, что со времен воителей, увенчанных шлемами в форме орлиных голов, звездное небо изливает мерцающий свет «на мертвых воинов и на уснувших победителей» и что волею не менее упорной в своем постоянстве судьбы ацтекский кумир предстал перед испанцами сперва дьяволом, потом имитацией черепа и, наконец, шедевром искусства. Соседние царские мумии и бредущие в зеркале тучи, гонимые ветром, вовлекаются обсидиановым черепом в его метаморфозу. Метаморфоза играет образами богов охотнее, чем образами смерти. Всякая жизнь, созданная богами, обречена небытию; мы забываем, что всё, чему удалось взять над ним верх — формы, идеи и б о г и , — было создано людьми. Слово «искусство» приобретает странный оттенок в этом незавершенном музее, в этом храме метаморфозы, который рожден вместе с нашей цивилизацией и которому, без сомнения, суждено вместе с нею исчезнуть...

Пикассо был одержим метаморфозой сильнее, чем смертью.

С метаморфозой он словно бы сросся — так жрецы фетишистских религий срастаются с существами загробного мира. Он с заразительной увлеченностью (я не забыл мастерской на Гранд-Огюстен) пробовал и испытывал ее различные ипостаси — и ту, которая принесла ему идола-скрипку и леспюгскую «Венеру» *, но и ту, что принесла «Голову быка», которую ему захотелось увидеть опять превратившейся в велосипедное седло и руль. «Вот сделал я руль-седло, но этого недостаточно: надо было бы найти ветку, и чтоб она стала птицей». И ту, которая заставляла его говорить, что забытые картины возвращаются к нему на выставках в роскошных нарядах и, как только некая форма создана, «она начинает жить своей жизнью». Пробовал и испытывал он и ту, свою собственную метаморфозу, которая вынуждала его оставлять одну манеру за другой и которой он швырял свои работы, как другие вручают их вечности; ту, что внушила ему «Очные ставки» и длинную вереницу «Гадальных карт», порхавших, подобно бабочкам, вдоль четырехсот метров, на которых размещались в Папском дворце два его «Страшных суда», откуда неслись вопли критяи и стенания Пасифаи, оплакивающей смерть Минотавра. И ту метаморфозу, которая ждала его здесь.

«Жил-был смешной человек с Киклад...»

Его парижская мастерская, однажды днем с «Герникой», однажды вечером без «Герники»; клетушка, вся забитая статуэтками, над ними — тонкие косточки летучих мышей; он сам — невысокого роста, круглая голова, под островерхой шляпой лучатся чернотой глаза; на нем непромокаемый плащ — в точно таком американский актер сыграл в том году Смерть. Он манипулирует идолом-скрипкой и говорит про Вечного жидка, про творческую мощь и про Человечка, рожденного на Кикладах три или четыре тысячелетия назад, чьи перевоплощения тянутся сквозь века вплоть до Ван Гога, как невидимая глазу пряжа материнской любви, — про Человечка, который знал, что лики богов всегда создаются неизвестными скульпторами. Над статуэтками, вырезанными перочинным ножом, — леспюгская «Венера» и яростные холсты; улица Гранд-Огюстен врывается в мастерскую короткими шквалами лая. С удивленным видом, какой иногда бывает у котят, он спрашивает: «Может быть, это я сам, как знать? Он обожает корриду, это уж непременно... И люди его помнят, это уж непременно...»

Это было в Париже, среди живых. Здесь Человечку еще есть что сказать. Пикассо упрекали, что он пытается лишь обновлять свое искусство, тогда как его предшественники, даже Ван Гог, его углубляли. Подобно черной статуе на могиле, этот замок, возвышающийся как противостояние смерти, отвечает на эти упреки, что художник волен менять свои одеянья, но что покой-

ник не выбирает, в какое платье ему облачиться; он похож на свою кожу. «Гадальные карты» далеко отстоят от первых «негритянских полотен» — далеко в том смысле, в каком он сам обособлен от всех. «Стиль, — сказал он мне, — это когда человек уже умер; взгляните на лежащие фигуры надгробий!» Что же общего у живописи его самых великих соперников — ведь это была одна из славнейших эпох живописи в стране ведущих художников своего времени — с его изваяниями пленного пророка или со скованной яростью его «Гадальных карт»? Неистовство. Начиная с «Авиньонских девушек», постоянство его мятущегося искусства — в углублении бунта. [...]

1976

БРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЛИТЕРАТУРА

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

[...] Творению искусства, живущему в веках, присуще особое, как бы двойное время: это время его творца и наше. Картина Рембрандта 1660 года, в отличие от какой-нибудь другой картины, написанной в том же году, не может полностью принадлежать ни периоду своего создания, ни году 1975-му, когда мы ею восхищаемся. Современное произведение, если ему суждена долгая жизнь, тоже будет служить этому двойному времени искусства: нашей эпохе и будущей...

Нельзя смешивать бессмертие произведения с метаморфозой, которую оно претерпевает. В чем гений Софокла, Фидия, Расина? В том, что было общим предметом восхищения всех веков? Но ведь каждый век восхищался разным! Строки Расина, которые помним наизусть мы, совсем не те, которые выбрал бы Буало *, а средневековая скульптура воскресла для потомков как своего рода экспрессионизм. Метаморфозы, которые претерпевает произведение прошлого, различны, и обусловлены они влиянием нашего Воображаемого Музея. То, что мы видим во фризах Парфенона, там, безусловно, есть, это не фикция. Но видел ли их Фидий теми же глазами, что мы? Они говорили и языком своего творца, и тем, который чудился эпохе расцвета французского абсолютизма, и тем, который слышался XIX веку. Пикассо восхищался Гойей иначе, чем Бодлер, иначе, чем Виктор Гюго, иначе, чем сам Гойя. Мы восхищаемся романскими мадоннами, к которым паломники ходили на поклонение, как идолами; в прошлом веке ими отнюдь не восхищались; и те, кто их создавал, не восхищались ими: они им молились. И разумеется, Софокл восхищался «Антигоной», но иначе, чем мы.

Немного найдется цивилизаций, которые бы так же мало, как наша, отдавали себе отчет в причинах своего восхищения. [...]

Следует ли считать воображаемое миром вымысла, в котором меняется лишь программа представления и где сегодня дают «Фантомаса» вместо «Золушки»? Однако никто не верит в Фантомаса, как верили в святого Петра.

Средства массовой информации заселяют наше воображение сменяющимися друг друга образами. Само собой разумеется, в средние века мир воображаемого был населен не менее плотно; но само собой разумеется и то, что современные образы приходят к нам домой благодаря газетам и телевидению, тогда как образы религиозные обретались в церкви. Самый сногшибательный вымысел, показанный на самом широком экране, выглядит ребячеством по сравнению с тем, что находили верующие в местах паломничества или соборах, прежде всего потому, что этот современный вымысел — игра...

XIII век, равно как и век ХХ, — век образов, но эти образы полярно противоположны. Только отвернувшись от всего, что нам известно об эпохе Людовика Святого *, можно уподобить религиозному кинематографу тот мир, где статуи, картины, витражи не копировали то, что изображали, а являлись *единственным* образным миром и одновременно самым мощным средством общения с потусторонним, — общения, происходившего в освященном месте, где смертные сменяли друг друга перед витражом вечности. Как в Индии из-за обилия богов не допускалось ставить статуи земным владыкам, так и здесь главным объектом изображения было незримое: образы воплощали лишь его или то, что имело к нему отношение. Ключ к пониманию христианского Запада — это собор и витраж. Только образы вместе с богослужением, которому они были подчинены, вбирали в себя Истину великих глубин, и никакая повседневность не могла эту Истину замутировать.

Век Просвещения свалит в одну кучу это воображаемое и волшебство, он отметет и то и другое как суеверие, уравниет сказочный мир фей и образы, несущие вечные ценности, в которых осознается жизнь и смерть. В средние века у каждого прихода был свой святой, у каждого крещеного человека — свой, у собора — богоматерь, и жизнь текла от таинства к таинству. Природа и потустороннее выстраивались в органичную иерархию. Образы здесь — воплощение того, чего не дано увидеть. Потустороннее говорит только через них: всем известны литургия, миракль. Но и образы говорят *только* о потустороннем, и прежде всего о его рядовых посредниках: это святые угодники, иногда усопшие. Привычная для нас мысль о подражании в искусстве рисует нам такую эпоху храмов, которая

знала религиозные образы *помимо* других. Каких других? Скульптор изображал не сельских овец, а библейских. Есть жизнь и вечность, мир бога и мир смертных, все остальное — прах. Что такое это множество образов, как не осязаемое присутствие мира бога в жизни человека?

Возрождение не сменило средневековые механически, как сменяют друг друга в залах музея шедевры этих двух эпох... Сдвиг нигде не ощутим так ясно, как в отношении к античности. Я говорил, что Александр в романе, названном его именем *, не являлся примером для подражания, ибо его образ оставался в области волшебного, чудесного. Следовательно, не назидательного. Когда Европа узнает Плутарха, она воскликнет: великолепно! Великолепное прежде не было в ходу. Назидательность могла иметь только форму святости. Мир был истинным (то есть религиозным, включая и дракона Георгия Победоносца, и чертей) или не истинным (то есть волшебным). Великие люди и боги Олимпа были чем-то фантастическим, как если бы они были планетами, знаками зодиака. [...] Великие люди Плутарха — это назидание, причем назидание, идущее не от мира Христа. А раньше назидательность могла исходить только от него.

Раньше только религиозное воображаемое полагало себя истинным. Легенда, сказка, «романы» — все это относилось к области волшебного, следовательно, к игре. Даже Персеваль *. Но теперь и римская история заявляет свои права на истинность: имеется в виду история, которая не сводится к последовательности событий или хронике и не относится к миру волшебного. [...] Время, когда воображаемое Истины ослабело настолько, что люди смогли воспринять величие, сравнимое с величием святости, но независимое от бога, было решающим моментом в метаморфозе грёзы — от «Кота в сапогах» к кинематографу...

Мир этого нового воображаемого не есть мир только искусства или только литературы — он охватывает и то и другое: без Плутарха, быть может, не было бы и Микеланджело, наверняка не было бы и Корнеля... Во французском классицизме Древняя История одержит победу над Историей Священной, несмотря на «Гофолию» *...

Мирское воображаемое достигнет высоты воображаемого религиозного лишь тогда, когда литература станет равна изобразительному искусству. Преемниками Микеланджело и Тициана будут не художники, но Шекспир, Монтеверди *, Корнель. Чтобы Афродита могла соперничать с Богородицей, а герой со святым, нужно было, чтобы Плутарх открыл право человека на величие. Но понадобилось также, чтобы возникли театраль-

ные залы эпохи расцвета французского абсолютизма — событие, пародирующее, а позже и соперничающее с рождением собора.

Мы воспринимаем театр как ветвь литературы, средневековые статуи — как одну из школ ваяния. Разумеется, Аристотель требовал, чтобы трагедию можно было читать, и это достаточно часто повторяют. Разумеется, Шекспир, Корнель, Мольер читали Сенеку, который писал свои трагедии для того, чтобы их читали, а не ставили. Однако это не мешало Шекспиру жалеть о распространении книгопечатания. Мы осознаем метаморфозу, переживаемую романской скульптурой, когда она перекочевывает из церкви в музей, но мы гораздо слабее осознаем метаморфозу, которую претерпевают Шекспир и Корнель, когда их *читают*, — прежде всего потому, что привыкли воображать пьесу поставленной. Корнель писал «Сида», как покупают билет куда-то, где совершаются чудеса, всяческие превращения, где происходит нечто нереальное, феерическое, безумное. Корнель превратит это в *собственно* театр.

В разные периоды человечество знало магические и в то же время привычные места, последнее из которых — арена корриды. С одной стороны, были Колизей с его гладиаторами и мучениками, Карнавал, Стадион, Праздник — если он сопровождался маскарадом, а он сопровождался им часто; с другой — античный театр, театр эпохи расцвета французского абсолютизма, опера, а еще раньше — собор. Здесь находил свое воплощение воображаемое, эти места закрепляют его за собой, создают свою публику. Трансформация поэзии после Шекспира, испанцев, Корнеля связана с рождением, а затем и блестящим подъемом театра. Разве отрыв «Макбета» и «Сида» от представления на сцене — акт не столь же радикальный, что и отрыв священного текста от богослужения? Никто не может читать текст литургической мессы, не соотнося его либо с культом, либо с литературой. Сказать, что мы читаем этот текст просто так, будет, очевидно, означать, что мы читаем его как текст литературный, — равно как и «хранить» религиозную скульптуру в музее означает перевести ее из мира веры в мир искусства. Всякое произведение, рожденное для места, представляющего ирреальное, претерпевает метаморфозу, если ирреальность этого места исчезает...

Чтение родилось не вопреки театру, а параллельно ему. Но «Комеди-Франсез», где ставились пьесы Дюма-сына, уже не играла ни в человеческом воображении, ни в общественной жизни той роли, что миланский театр «Ла Скала». Всякая революция в мире воображаемого, прежде чем выразиться в смене

жанров, выражается в смене форм богослужения. Люди открыли, что можно молиться в одиночестве, они открывают, что можно мечтать в одиночестве, слушать книгу, как прежде молились Богоматери из слоновой кости. От всех магических свойств зрительного зала остаются лишь свойства чисто светские, Пруст отметит их еще в опере эпохи Наполеона III. Великая Игра человека и воображаемого, которая игралась в театре, в живописи, в церкви, ныне играет в романе. [...]

Рассказывать истории было свойственно всем цивилизациям, в том числе и античности; но рассказы эти были устными, даже если существовала письменность. Сначала «романами» назывались истории, написанные на романских языках, чтобы их можно было читать вслух неграмотным слушателям. То, что мы называем романом, немислимо без распространения чтения про себя. Писатель не сразу осознал свои права: как Боккаччо, как Маргарита Наваррская *, он еще долго продолжал считать себя стенографом. Самоценность письменного повествования будет обнаружена много позже. Вряд ли королева Наварры сознавала, что она *рассказывает беседы* (а не воспроизводит их) так же, как она рассказывает о прерванном путешествии. А сколько лет все — в том числе и Мельес * — считали кинематографию средством фотографирования спектакля...

Мир чтения про себя становится постепенно все более и более сложным, ибо вымысел не укладывается в правила, которые сам же пытается для себя установить: каких ухищрений потребовал переход от «Великого Кира» * к «Новой Элоизе» * или от «Новой Элоизы» к «Отцу Горио»! Речь идет не о том, чтобы рассказать новую историю или рассказать ее по-новому; речь идет об открытии романистом своей свободы, своей вездесущности, своего всеведения, самодостаточности своих произведений, которые не сводятся к историям и сказкам. Постепенно он откроет существование всего того, что в романе не есть рассказанная история.

Иллюзионизм в его наиболее полных и, главное, последних по времени проявлениях создает у нас впечатление реальности. Однако стоило, например, появиться звуковым фильмам, как мы осознали, что кино до сих пор было немо. Мы обнаруживаем сложную связь романов между собой, связь более тесную, чем между данным романом и рассказываемой в нем историей, отражающей наши поступки, чувства, самоё «реальность». Как и в случае с экспонатами музея. Всякое повествование ближе стоит к предыдущим повествованиям, нежели к окружающему миру; и произведения самые несхожие, когда они собраны в музее или в библиотеке, собраны там не по принципу их соотношения с реальностью, а по принципу их соотношения между собой. Реальность сама по себе не обладает ни стилем, ни талантом...

Флобер был неразлучен со своей библиотекой, как Гюго с Жюльеттой Друэ. Его библиотека — это то труды, которые он читает или перечитывает для работы над очередным произведением, то Олимп. И тогда речь идет уже не о том, чтобы найти справку в книге, но о том, чтобы вступить в диалог со сверхчеловечеством. Это не значит, что его гипнотизируют великие покойники. Его превосходные степени относятся скорее к произведениям, нежели к людям. Он не путает Фредерика Леметра с Рюи Блазом *, которым восхищается. Но... Классицисты намеренно сопоставляли свою библиотеку с уровнем цивилизации, которую представлял Расин, Флобер же невольно сопоставляет действительность с Сервантесом и Гомером.

Когда Флобер пишет «Саламбо», он не судит своих персонажей, которых даже и персонажами не назовешь, — он ждет от своей книги чреды поэтических минут, как он ждал их от видений первого «Искушения святого Антония» *. Где как не в истории искать чудесные мгновения!

Когда он грезит о галерах Клеопатры, он не сравнивает их с баржами Круассе *; когда же он грезит о Сервантесе, то сравнивает с ним Шарля Бовари и не может ничего с собой поделать. Не всегда? Всегда. Олимп у него судья Ионвиля *. Не столько даже романист, сколько мститель (за что он мстит?), этот великодушный человек, опьяненный восхищением, не может положить в основу своих современных образов ничего, кроме презрения. Повинный в создании аптекаря Омэ, он во имя справедливости создает Бурнисьена *.

Работая над «Госпожой Бовари», Флобер с грустью записывает, что «нужно бы равно любить всех своих героев»; пройдут годы, и он с горечью напишет о своих будущих персонажах: «Я всех вымажу одной грязью, так будет справедливо» *. Справедливость, которую натурализм счел беспристрастностью; такого рода беспристрастность весила немало в конфликте между натурализмом и романтизмом: натурализм предлагал мерить все человечество одной меркой, быть может и веря в то, что это возможно. Флобер же верил в это только тогда, когда писал романы из современной жизни. Легко ли создать полсотни персонажей без единого «положительного», причем почти не сознавая этого? Диалог со всем, что было написано до него, владеет Флобером до такой степени, что, начав со святого Антония, одержимого энциклопедией ересей, он кончает «святым Буваром» *, одержимым библиотекой, которую он переписывает!.. Флобер — первый французский романист, ощутивший абсурдность человеческого удела, но двойственность этого удела обусловлена для него не смертью, а миром написанного, по отношению к которому этот удел смехотворен. В этом, по-моему, и кроется то, что Флобер

называли искусством, — земля Обетованная, спасение.

Критика не только не заметила сарказма в «Госпоже Бовари» и в «Воспитании чувств», но и, более того, этот последний роман стал для натурализма библией объективности. Можно еще отстаивать объективность «Госпожи Бовари». Мы не найдем здесь, даже у Омэ, никаких сокрушительных научных формулировок, достойных фразы: «Бувар не верил уже даже в материю». Но если сравнить «Воспитание чувств» с первым неопубликованным вариантом этого романа, написанным за десять лет до «Госпожи Бовари», мы увидим, чего Флобер ждал от своего стиля в романах из современной жизни и почему не мог ждать ничего другого.

Глубокое различие, существующее, несмотря на преемственность стиля, между «Госпожой Бовари» и «Саламбо», объясняется не только заменой прямых наблюдений археологией. Приподнятый слог — никто из последователей Флобера не смог в этом с ним сравниться — придает описанию будней Ионвиля саркастическую рельефность, подобную той, которую мычание коров придает любовному объяснению Эммы и Родольфа. Стиль опрокидывает прием: смехотворность возникает не от присутствия скотины, а от присутствия богов. Торжественная речь на Земледельческом съезде мялится перед Шекспиром, перед всей внутренней библиотекой Флобера... За пределами всеобъемлющего абсурда лежит некая область спасения, единственно истинного в религиозном смысле слова. [...] Какой еще писатель написал книгу о святом, в которой Христос появляется лишь затем, чтобы с ним раз и навсегда было покончено? Весь смысл мира сводится к череде сцен «Святого Антония», череде дней Фредерика Моро *. Дрейфу туч. *Существует* только молельня, книгохранилище. Все было бы просто, если бы Флобер писал всю жизнь одну «Саламбо», если бы он пошел за Теофилом Готье *. Но Готье не написал ни «Бувара», ни таких писем. Леконт де Лилль * тоже. Как превратить в оперного чеканщика, в горластого Челлини этого великого жреца искусства-за-неимением-лучшего? Дано ли этому гению ускользнуть из загадочного мира книг?

Он его пленник.

Настает день, когда слово «буржуа», означавшее для художников «враг искусства», приобретает второй, параллельный смысл: враг народа, затем пролетариата. Отсюда и литература, в которой проклятые гении сообщают нищете величие, так что нищета предстает перед господином Прюдомом * во всей своей ужасающей серьезности. Но еще до того, как слово «буржуа» приняло сегодняшнее значение, еще до Коммуны, Флобер уже перевел этот персонаж из области карикатуры в область

мифа. [...] Но как мифический размах не спасает Дон Жуана, когда он становится Дон Жуаном Мольера, так не спасает он и Буржуа, когда тот становится Буржуа из писем Флобера: здесь он обнаруживает единый характер своих разнообразных проявлений, и это — кто бы мог подумать? — ненависть к ценностям, сберегаемым в книгохранилище.

Ни одна внутренняя библиотека не бросала вызов реальности так последовательно, глубоко, хотя часто и невольно, как библиотека этого величайшего французского реалиста. [...] Читатели всегда ощущали двойственность Флобера; к несчастью, ее слишком поспешно приписали смене декораций, в то время как она выражается отнюдь не в противопоставлении Эммы Бовари Саламбо, ничего не значащей статуэтке, но в противопоставлении Шарля Бовари мимолетному персонажу — доктору Ларивьеру *, марионеток — их разочарованному создателю.

Романическое творчество рождается из дистанции, которая, как мы видели, отделяет роман от рассказываемой в нем истории; но надо еще увидеть, что именно здесь, в процессе писания, разворачивается диалог автора со своим воображением: сожаления, домысливание, свобода, не ограниченная никакими исполнителями, никаким устным пересказом, ничьей памятью. Есть лишь челнок, снующий между автором и персонажами, белое поле, где они рождаются, неотделимое от сознания романиста, что он обращается не к собеседнику и не к зрителю, а именно к читателю. Разве могли древние создать роман? Там, где античный голос заставляет стенать Эдипа, античное безмолвие не поднимается выше «Дафниса и Хлои» *.

Не отсутствие типографской машины или газет помешало античным авторам создать роман. И разумеется, не нехватка воображения — у них не было нашей библиотеки.

Голос памяти



ВЕРЕВКА И МЫШИ

III

Понедельник 6 мая 1968

У себя в министерстве я жду Макса Торреса. Мы были друзьями во время испанской войны. Государственный секретарь по Каталонии, бывший психоаналитик, он сочувствовал коммунистам, но партия относилась к нему с подозрением. Я познакомился с ним в Понтиныи *. В тридцать восьмом он эмигрировал, был профессором университета в Мехико, потом перебрался в Беркли, где с пятьдесят восьмого года ведет семинар по химии мозга. Я не виделся с ним тридцать лет.

Входит, протягивая руку, старик в твидовом костюме — беловолосый Вольтер. Лицо можно узнать, но возраст, как брюзгливый ваятель, наложил на него свой отпечаток. Весь его облик дышит спокойствием, пришедшим на смену былой возбужденности; о ней тут же напоминает вспыхнувшая в обрамлении двери радость от встречи. Вольтер бережно держит перед собой сумку диковинного вида; он кладет ее на мой письменный стол, и мы крепко, по-испански обнимаемся, испытывая при этом некоторую неловкость: долгие годы отделяют мою жизнь от его, я ничего не знаю о ней, кроме его профессии!.. Может быть, для того чтобы рассеять эту неловкость, он хватает одно из тяжелых белых кресел короля Жерома *, подтаскивает его к моему письменному столу, усаживается напротив со своей сумкой на коленях и облокачивается, опираясь подбородком на вершину сложенных треугольником рук. Справа от него — высокие окна Пале-Руаяля, в которых угасает свет дня.

— Удивительно! Я говорил себе, когда поднимался по твоей благородной лестнице восемнадцатого века: друзья, которые расстались перед Французской революцией и увиделись после смерти Наполеона...

Совсем другая Европа. И у нас вид школьных подруг, которые повстречались, когда у них уже взрослые дочери.

Такие встречи редки. Я вновь повидался со своими друзьями по Испании — с мало изменившимся Хосе Бергамином *, с Максом Аубом *, с Пасионарией, превратившейся в старую женщину, с Эренбургом, которого я знал, когда он был толстым и подвергался постоянной опасности, и которого увидел сейчас худощавым, официальным, отделенным от меня двадцатью пятью годами жизни в России — и в какой России! Смутное ощущение дружбы с человеком, которого ты уже больше не знаешь...

Макс оглядывается вокруг, и я вижу его глазами свой кабинет, которого уже долгие годы не замечаю, — лепные орнаменты времен Людовика XVI на белых панелях, длинные бледно-желтые портьеры с малиновыми подхватами в стиле ампир, штофные кресла с геральдическими узорами. Этот официальный интерьер не лишен, должно быть, исторической живописности, если смотреть на него глазами жителя Беркли. Я думаю о Сан-Франциско, о Золотых воротах * в 1938 году. Я ездил в Беркли, чтобы рассказать об Испании. Макса там тогда еще не было.

— Снова увидеть Париж спустя тридцать лет! — говорит он. — Все твои памятники, ставшие светлыми... Это похоже на Барселону! В лучших ее образцах. Черный Париж был город печальный. Особенно летом. Теперь он повеселел.

— Печальным его делала грязь. Архитектура наших больших дворцов семнадцатого и восемнадцатого веков совсем не печальна. Чернота съедала тени, красочность пропадала.

Я не отвергаю обращения на «ты», идущего от испанской войны, но мне еще нужно к этому снова привыкнуть. После нескольких минут, заполненных банальными фразами, он говорит:

— Я попадаю в Европу, где Гитлер мертв. Советский Союз огромен! Британская империя исчезла! Алжир независим. О дорогом моему сердцу Монпарнасе не будем говорить. А Марсель! А Берлин, Вена, Москва и так далее — все, что я увидел в кинохронике! На бульваре Сен-Мишель я встречаю и молодого Макса Торреса. Разница между ним и его теперешними преемниками так же велика, как между Берлином и его бывшими развалинами, вот что я тебе скажу. Но я-то, лично я этим преемником не стал! Я потерял свою раковину. Просто-напросто.

Он провел студенческие годы во Франции, и отсутствие всякого акцента еще больше подчеркивает некоторую странность этого выражения, которым он пользовался уже в Испании. Я вспоминаю портрет молодого Вольтера, отданный Версальским музеем на хранение в «Ла Лантерн» *, — вполне заурядный подорожник, пронзительностью взгляда напоминающий статую Гудо-

на *, только одноцветную. Макс был тогда молодым угловатым евреем со сверкающими глазами, чьи черты я все меньше и меньше узнаю в этом старом Вольтере, которого не закончил Гудон. Губы его стали тонкими, что меня удивляет, ибо утончение рта исчезло с тех пор, как были изобретены зубные протезы. Когда он говорит, его губы, несмотря на их тонкость, свертываются в резиновую улыбку, ребячливую и гурманскую. Потом на них снова появляется радостная гримаса. Он отталкивает свою сумку, встает, начинает быстро ходить по комнате от стены до больших окон, за которыми сгущаются сумерки.

— Когда я учился в Сорбонне, у людей тоже был интерес к бессознательному, кто спорит! Но они стремились эту сферу завоевать. Теперь она завоевала их! Мы начинали с исследований, а пришли к ЛСД, марихуане и всему такому прочему.

— И многие из твоих коллег принимают наркотики?

Он размышляет.

— В общем-то, нет. Студенты — да. Но я говорил метафизически. С некоторых пор Фрейд стал у нас менее важен, чем Юнг *; однако взрывчатая смесь бессознательного и секса не заменена ничем. Нас притягивает все, что обездоливает человека, скажу я тебе. И в то же время — да они и должны идти рука об руку, верно? — психические состояния; мне следовало сказать — одурманивания. Чем больше чувство оттесняется сексуальностью, тем больше она уподобляется алкоголю. Алкоголь и шприц тоже идут рука об руку! О молодежи я мог бы говорить часами! Она меня ставит в тупик! Но проблема не только в ней. Словом, я не верю в нашу эпоху — да и в другие по той же причине. Обычно люди не верят в свои времена, потому что верят в какие-нибудь другие — в грядущие, наконец! Нет. Я агностик в отношении жизни, просто-напросто. Минутку! Я не верю в то, во что все верят, но и в обратное не верю тоже. Когда дело касается мысли, убедиться в глупости левых — вовсе еще не резон для того, чтобы считать умными правых.

Помолчав, он грустно добавляет:

— Видишь ли, я никогда не мог одновременно переносить тупость и ложь.

— То, за что ты сражался, не так уж тебе безразлично, раз ты не хочешь возвращаться в Испанию Франко.

— Верность погибшим товарищам — это особая статья. Пойми меня. Кроме химии мозга, я изучал первобытные верования; у нас этим много занимаются. Люди верили в древних богов, в торжественные ритуалы, в мифы. Почитали религии. Потом Историю, Науку, Прогресс. Наконец, Революцию, Пролетариат, Бессознательное и так далее. Это все одно и то же.

— Я тоже несколько раз испытывал это чувство... ну, скажем, чувство дистанции — по отношению к нашей цивили-

зации, к миру, который нас окружает. Например, когда избежал смерти. А для тебя что сыграло роль смерти? Изгнание?

Размышление, которое бороздит иные лица морщинами, придает его лицу безмятежное спокойствие сна. Но он разражается смехом:

— Я не догадывался об этом... Невероятно: это карикатура! Образ мысли моих студентов вызывает мое любопытство и раздражает меня, но их мысль — карикатура на мою, или, вернее, на какую-то ее часть, скажу я тебе! Ни один портрет не разоблачает так, как карикатура!

Он снова садится, берет опять свою сумку и говорит:

— Конечно, мой опыт негативнее твоего...

Он закрывает глаза.

— Однако я, пожалуй, могу тебе объяснить, что со мной происходит. В испанском посольстве в Вашингтоне какая-то собачонка кусает в задницу некоего американского министра, явившегося с визитом, после чего удирает. «Прошу ваше превосходительство принять мои извинения, — говорит франкистский посол, — но я позволю себе тем не менее сообщить вам, что это животное не принадлежит персоналу посольства: это была собака транзитная...»

Он передразнивает презрительный тон посла:

— «...да, транзитная...» Ты только подумай: чужак, да что там чужак — республиканец! Человечеству пришлось вытерпеть много транзитных гостей. Они не кусают его, они его населяют, вот в чем дело. Мое возвращение в Европу позволило мне понять, что моя жизнь состояла в одном: я терпел транзитных гостей, *nada más*¹. Не больше того, но в семьдесят лет...

Ему больше семидесяти.

— ...это уж слишком. Допускаю, что ты прожил жизнь, для которой ты был создан. Пруст в конце концов тоже, но не Маркс, не Фрейд. И не я. Я ненавижу все чужое, кроме Парижа. Даже здесь мне хотелось бы снова увидеть вещи моего детства. Хотелось бы обрести свои кладбища, а я живу в Беркли! И потом еще и еще — обретать, обретать. Что тогда волновало Сорбонну в сфере политики? «Аксьон франсез»*. Ты ведь знаешь, я не преувеличиваю: студенты об этом и слыхом не слыхивали. «Не знаю». Как молодые немцы (но им я верю все-таки меньше): «Гитлер? Не знаю!» О, этот Гитлер!

Он умолкает, потом принимается снова с какой-то особой настойчивостью, словно актер, хватающий своего собеседника за пуговицу:

— И из-за него я вынужден помнить, что я еврей! А мне на это плевать! Здесь мой учитель Леви-Брюль* был еврей; Ие-

¹ Не больше того (*исп.*).

салим, пойми ты меня, это была для нас строка из Расина! * Я должен был стать чем-то вроде Ренана *. Ренан руководил своим Коллеж де Франс, он не преподавал у краснокожих! Впрочем, краснокожие — хорошие ребята!.. Но Ренан верил в науку. То, что его дух завоевал, завоеванным и останется. А что завоевал мой дух? Химия — это особ статья...

Входит привратник, подает мне телекс из министерства внутренних дел.

ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ СТУДЕНТОВ ПРЕПЯТСТВУЮТ ДЕЙСТВИЯМ ПОЛИЦИИ ТОЧКА БОЛЬШИЕ ГРУППЫ НАПРАВЛЯЮТСЯ К ДАНФЕР-РОШРО.

Четыре дня назад ЮНЕФ (Союз студентов) призвал студентов, преподавателей и всех трудящихся собраться сегодня в 18.30 на площади Данфер-Рошро. Запрет. Закрытие факультета в Нантере. Восемьдесят три раненых. Занятие Сорбонны полицией. Даниель Кон-Бендит * и его товарищи, руководители «Движения 22 марта» в Нантере, должны были предстать сегодня утром перед дисциплинарным советом университета. В 9 часов ЮНЕФ, несмотря на запрещение демонстрации, повторил свой призыв. В 9 час. 30 мин. дисциплинарная комиссия объявила, что на следующий день она вынесет приговор в отношении Кон-Бендита и его товарищей. В 13 часов четыре тысячи манифестантов покинули факультет естественных наук и продефилировали к площади Виктуар и дальше к Латинскому кварталу. К 15 часам на бульваре Сен-Жермен произошло столкновение демонстрантов с парижской полицией и отрядами республиканской безопасности, вызванными из провинции. В это утро двадцать профессоров, и в их числе нобелевский лауреат Кастлер *, приняли сторону работников профсоюза высшего образования и выступили с обращением к своим коллегам; в 16 часов этот профсоюз призвал преподавателей «выйти на улицы вместе со своими студентами». Преподаватели вызвали у периферийных радиостанций гораздо большее беспокойство, чем студенты. Декан факультета естественных наук профессор Замански заявил, что он «видит в этих манифестациях результат всего того, что происходило на протяжении последних пятнадцати лет». Министр национального образования Ален Пейрефит выступит сегодня вечером по радио и телевидению.

Полиция получила предписание отделять зачинщиков, арестовывать их или подавлять без всякой пощады. После двух часов применения этой блистательной тактики в Федеративной Германии все студенты единодушно переходят на сторону подстрекателей...

ОДНА ТЫСЯЧА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПОКИДАЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МАНИФЕСТАНТАМ.

Такова информация, получаемая министерством в дни кризиса — баррикад в Алжире, путча генералов. Во время баррикад я вспоминал, как пассажиры толпились у телеграммы, вывешенной на пароходе, на котором я плыл в 1925 году: «Всеобщая забастовка объявлена в Кантоне»*. Предыдущая телеграмма, которую я прочел на том стенде, сообщала о матче между Карпантье и Демпси...

В ночь мятежа генералов в Алжире * я был в министерстве внутренних дел с Роже Фрэ *, которого накануне назначили министром. В конце заседания совета министров генерал де Голль заявил: «Делайте что хотите, а я иду спать». Уже к пяти часам, когда я ему сообщил, что между министерством внутренних дел и военным министерством нет необходимого взаимодействия, он сказал: «Хорошо, помогите его наладить. Но все это не имеет значения. Они ничего не предпримут: ведь это военные!» Мишель Дебре * готовил текст своего обращения к нации по телевидению: «Занимайте дороги, ведущие к аэродромам...», чтобы парашютисты увидели перед собой народ Парижа.

Они ждут у самолетов на взлетной полосе алжирского аэродрома — сообщили наши спецслужбы около пяти часов вечера. Маршрут полета непременно пройдет в зоне действия радаров в Сардинии. Таким образом, в нашем распоряжении было всего несколько часов. В совете министров государственный секретарь по внутренним делам утверждал: «Полиция и армейские подразделения Парижа, по всей вероятности, не вступят в бой с атакующими, одетыми во французскую военную форму». Ну что ж, значит, мы сами вступим в бой. За Большим дворцом стоял в ожидании приказа танковый полк. Мы снарядим и вооружим добровольцев, стекающихся в министерство. На каком аэродроме приземлятся части ОАС *? Только что нам сообщили об их посадке на каком-то поле парижского округа. Распоряжение префекта проверить достоверность этой информации. Информация ложная. Хорошо бы мы выглядели, если бы сейчас по нашему приказу взвыли сирены! Но и промедление, в случае настоящей тревоги, недопустимо. Каждое подобное сообщение мы проверяем у мэра. И правильно делаем: тревога трижды оказывалась ложной. Сумасшедших хватало. Во всем парижском округе радисты не отходят от аппаратов, префектуры подключены к полусотне телефонных линий, радары Сардинии прощупывают ночной мрак. Оасовцы не станут при-

земляться после рассвета. Над Кальяри все по-прежнему тихо. В пять утра добровольцы снова стали гражданскими горожанами; я вернулся домой, когда разгорался рассвет, — как бывало в Испании, — необычный и буднично-рассветный возвращений с боевых вылетов...

Однако успокаиваться еще рано. К тому же эта ночь станет свидетелем генеральной репетиции, которая развернется между площадью Данфер-Рошро и Латинским кварталом. Я протягиваю обе телеграммы Макс, он бросает на них взгляд, встает, ходит взад-вперед по комнате и, словно отвечая на них, продолжает свой монолог:

— Во времена моего отрочества здесь царил Бергсон *. Он не играет больше никакой роли. Даже для меня. Индивидуализм Барреса и особенно Жида — сам понимаешь! Везде фрейд-марксизм! Под Триумфальной аркой — могила Известного фрейд-марксиста! Заметь, я не против Фрейда — я сам был психоаналитиком. Не против Маркса — я воевал под началом коммунистов и не жалею об этом. По существу, мне на это плевать. Но я не люблю тупости, понимаешь?.. Люди становятся кретинами и очень этим довольны.

— Люди? Кто же именно?

Большая люстра освещает его, когда он проходит под ней; потом он пропадает в сумраке, который сливается с ночью, обступившей Пале-Руаяль; последние отсветы падают на белые кудри, которыми он встряхивает, и на указательный палец, которым он потрясает.

— Кто? Мои ассистенты, студенты, мои коллеги, пресса, деятели культуры и так далее — все, кого я вижу вокруг! Прежде всего мои студенты. Они принимают себя за будущее, потому что в науке и в искусстве девятнадцатого века будущее всегда бывало в выигрыше. И пусть меня считают старым болваном, но будущее будет им так же чуждо, как и мне! Бодлер ты или Маркс, будущее никогда не бывает таким, каким оно тебе виделось! И если я говорю сейчас только о своих студентах, черт побери, я делаю это потому, что хорошо воспитан. Я мог бы говорить о твоих! Сегодня они выглядят великолепно! Меня это не трогает: я достаточно насмотрелся на них в Беркли. Вчера у нас, сегодня у вас, завтра в Японии. С молодежью будет еще много хлопот! По существу, мне на это плевать.

— А мне нет. Откуда у тебя вдруг такая ярость против фрейд-марксизма?

— От протухшей действительности, в которой мы живем, вот откуда! И про которую никто не будет помнить через столетие! Будут говорить о подлинном Фрейде, подлинном Марксе. Так-то вот! Если ты думаешь, что парни, занятые потасовкой

с полицией у Данфер-Рошро, не фрейд-марксисты, тебе придется изменить свое мнение! Но я сел на своего конька. Возвращаюсь к нашему разговору! Когда я пребывал в этой вашей Сорбонне, чему меня там учили? «Истина — вот что превышает всех ценностей. Истина — это то, что поддается проверке». Разумеется, Фрейд и Маркс приняли бы эту фразу! Но фраза Маркса, которую все наперебой повторяют: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том чтобы изменить его» * начинает действовать мне на нервы. Как ты считаешь? Может быть, стоит чуточку перестать переделывать мир и попытаться немножко его понять, просто-напросто?

Подвижный, как ртуть, с громким ржанием перескакивающий с мысли на мысль, он выглядит актером, играющим роль. Впрочем, гудоновский Вольтер тоже похож на старого актера.

Я спрашиваю:

— Ты знал Алена *?

— Нет. Я был связан со многими его учениками.

— А Симону Вейль *?

— Нет.

— Алена бы тебе объяснил, что предмет философии — это, конечно, познание, но также и мудрость. Не разум, а именно мудрость, та, которую почитали у нас в Понтины. Это она считала себя «заступающей место» религии.

— Подумать только, я прочел всего Анатоля Франса! Вот где была Европа...

Я присутствовал на национальных похоронах Анатоля Франса, пытаюсь представить себе национальные похороны Поля Верлена, родившегося в том же году, что и Франс, и думал о том ужасе, каким обернулось его погребение, о его любовнице, которая кричала на могиле: «Поль, здесь собрались все друзья!»...

— Мудрость! Но я не могу, не могу говорить об этих вещах! Невозможно! Мои студенты сбежали! Для них Гёте — болван. Когда обращаешься к толпе, ты знаешь, чего ты не сможешь сказать! Студенты принимают меня точно так же, как они любят негритянское искусство. Психиатрия прекрасно ладит с марксизмом. Когда они заинтересованы, когда настроены заниматься, я это знаю. Раньше был экзистенциализм, теперь — негативная теология. Тебе ведь это знакомо: трагизм смерти Бога существует только для христианина, Бог умирает из-за своего воплощения в Историю и тому подобное.

— Во Франции это не играет никакой роли... Это годится для протестантских стран. Впрочем, я предпочитаю православных мыслителей, начиная с Достоевского.

Внезапно я нахожу то, что искал. На кого похож этот Вольтер? На традиционного старого ученого с сидящими у него на

плечах котами. Он возвращается в освещенную часть кабинета, говорит улыбаясь:

— Бывают дни, когда я спрашиваю себя: а может быть, я уже ничего не понимаю, может быть, это возраст. Но... тебе это покажется забавным, а? Но несмотря на... словом, несмотря ни на что, я еще не чувствую себя стариком!

Почти выкрикнув эти слова, он раздражается хохотом, который перепутывает его морщины, еще больше напоминает о сходстве с Вольтером, подтрунивает над смертью. Потом его лицо застывает в неподвижности. Он вглядывается «в себя». Когда-то он любил посвящать меня в свои тайны; интимная жизнь других мне интереснее, чем моя собственная. Уже Жид этому удивлялся: «Но, в конце концов, дорогой мой, неужто вы никогда не ощущаете себя непохожим на остальных? Меня это мало волнует. Женщина, китаец — да; но мужчина как особое существо — нет. У меня никогда не было склонности судить людей, и я думаю, что обе склонности слились воедино. Это в самом деле очень любопытно... Право же, уверяю вас, лю-бо-пыт-ство!...» Оно им руководило, и, желая сказать: «Это интересно», он всегда говорил: «Это очень любопытно». Внимательно вглядывавшийся в живые существа, даже пытавшийся попробовать их на вкус, он однажды сказал мне о своем интересе к одному человеку: «Знаете, в моем возрасте это прежде всего любопытство...», и я до сих пор не понимаю, что он хотел сказать.

Прошли годы, но у меня опять устанавливается с Максом Торресом односторонняя доверительность. Он снова уносит в полумрак свои освещенные белые кудри.

— Когда-то я полагал, что в моем нынешнем возрасте буду много размышлять о себе: мой жизненный опыт и все такое прочее... Об этом я не думаю никогда. Жизнь не имеет никакого отношения к тому, что ты когда-то о ней полагал... Все эти истории с молодежью, эти твои чудачки, которые собачатся со шпиками, мои студенты... Новое поколение! Новое! Мы говорим о нем так, словно они бунтуют против нас. А им на нас плевать. Молодое поколение должно было нас ненавидеть. Но у него нет на это времени: оно меняется! Мы рассуждаем так, будто люди вращаются вокруг жизни, различаясь между собою лишь мелкими особенностями зрения... Нет, кроме шуток! Не помню, в каком тексте сказано, что мы плывем в лодке, и, чтобы разглядеть истину, нужно потерять из виду берег... В глубинах бытия нам нечего друг другу сказать, молодежи и нам, в таких глубинах, где неправых вообще нет. Мы потеряли свой берег, и они вслед за нами тоже его потеряют. Все об этом знают. Но тем не менее мы придумали разделение на возрастные классы. Прочные, как цвет кожи! (Тебе

никогда не хотелось быть другого цвета — синего, зеленого?) Одно молодое поколение за другим, облака, которые пролетают мимо, ненависть, которая возвращается снова... Телеграммы, которые тебе сейчас принесли, политические объяснения того, что происходит в Беркли, в Т о к и о , — мне на это плевать. Студенты хватаются друг за друга, женщины, работяги — все, потому что они обнаруживают одиночество, в котором живут. Ощупью. У ночи есть кое-что про запас, скажу я тебе! Политическая сторона меня не волнует. Но есть ведь еще эта проклятая животина — человек! Нет, каково? Красноречие сбивает меня с пути! Будем считать, что я ничего не говорил. Нет ничего лучше, чем видеть, как твои студенты заболели твоей же болезнью! Очень поучительно! Все эти мифы, которые жили в нас... Спустились в метро, уехали и не оставили адреса! Великая иллюзия — вот что это такое. И вовсе не эдакий славный мир, который и рад бы, да не в силах ничего поделать. Когда меня ранило во время гражданской войны, я добрал до берега небольшой речушки, а вернее сказать — до ручья. Что-бы можно было меня найти, понимаешь... фашисты ушли, наши, слышу, стреляют все ближе... Летом все эти речушки очень похожи на ту, где ты сидел с удочкой, когда тебе было двенадцать л е т , — мелководье, где резвятся мальки, водоросли, быстрина. В воде колыхались водоросли. Казалось, они плывут. Я впал в забытье... Одурел. Моя рана была не смертельна, река — да что там река! жизнь — продолжала струиться, все так же текла над людьми, над водорослями, колыхала их, убегала вдаль, к другим делам и занятиям. Много водорослей унесло, а река была все та же, что и во время войн против мавров. Ей все равно. Краски лета, солнце в воде... Она и сейчас, наверно, точно такая же...

Внезапно, будто поймав на лету муху, он спрашивает, не прекращая ходьбы:

— Ты молишься?

— О чем же, по-твоему, я должен молиться?

— О чем — это неважно. Я теперь молюсь. Не знаю, о чем. Это неважно. Не богу Израиля. Мы всё усложняем. Бог — это то, чему мы молимся!

Он раздражается скрипучим вольтеровским смехом, который звучит так, словно он смеется над самим собой, и резко обрывается — быстрее, чем наполняющая его ирония.

Я гляжу на него и думаю — или, вернее говоря, во мне что-то думает: чем стало его лицо? Это мой товарищ? Да, он. В моей памяти он прокручивает сейчас фильм своей юности. Он рассказывает мне о том, что произошло с ним за эти годы , — зачем? События не имеют ничего общего с тем, как меняется истинное лицо. Они, конечно, ничего не объясняют.

Возраст здесь не единственная причина. Он понятие отвле-
ченное. Но одряхление, следы того, о чем мы не знаем, следы
ничего и всего — это сама материя жизни. Макс выполнен
в одряхлении, как скульптура — в дереве. А я?

— По существу, на психоанализ мне плевать, — говорит
о н . — Как реке! Наука вошла в мою жизнь с химией мозга.
Не забудь, она начинается в 1957 году. Так что позади у меня
была целая жизнь. Наука все изменила. Но никто, ты слышишь,
никто не знает, почему мозг повинуется наркотикам, которые
мы ему даем. Наши открытия эмпиричны — как и многие дру-
гие, пенициллин, например! Я начал с гипотезы и продолжаю
на уровне эмпирики, понимаешь? Но заметь себе, речь идет
не о плацебо¹ — смирительная рубашка просто-напросто исчез-
ла. *В самом деле* исчезла!

Он резко остановился перед камином.

— Это что за штуковина?

— Деревянная кошка, Балтюз * привез мне ее из Японии.
Амулет — она поднимает левую лапу.

— А? Ладно...

Он снова принимается ходить и разглагольствовать:

— Попробовали применять амфетамины для лечения рака.
Больные, как ты понимаешь, по-прежнему умирали, но умира-
ли в состоянии эйфории. Умные психиатры — такие тоже
бывают! — махнули рукой на рак и начали применять амфе-
тамины против депрессии. «Настоящая депрессия хуже, чем
рак». Цитирую французского профессора, а не восторженного
американца! Химия мозга началась.

Я знаю, что он ничуть не преувеличивает.

— Однако, — добавляет он, и утвердительная интонация
сменяется мечтательной, — когда мы лечим человечество, мы
забываем, что оно безумно. Да, это хорошо... Многие из
моих учеников — врачи, но сам я не имею диплома. Теперь
уже поздно.

— Франция тоже требует, чтобы психиатры были врачами.

— А в Центральной Европе все психиатры имеют диплом
терапевта. Впрочем, мне на это плевать.

И, словно чертик, выскочивший из табакерки, он вдруг
спрашивает:

— У тебя дети есть?

— Есть еще дочь *.

— Учится в университете?

— Постарше. Она замужем за Аленом Рене *.

— Предположи, что она сейчас в Нантере.

¹ Ложное лекарство, действие которого основано на воображе-
нии больных (плацебо — «я понравлюсь»). — *Прим. автора.*

— Я знаю нантерских студентов. Впрочем, и преподавателей тоже. Одна из преподавательниц — голлистка.

— Это говорит о ее мужестве! Но предположи, что твоей дочери двадцать лет. Что она фрейд-марксистка. Ты бы тоже решил, что это вирус! Обращение в несторианство *, в исчезнувшую религию! У моих учеников и у сотни моих студентов эпидемия более очевидна. Колыхание водорослей в потоке — в потоке, который уходит. Ему на смену придет другой. Это не моды. Эпидемии, скорее эпидемии...

Входит секретарша. Начальник моей канцелярии получает по телефону кучу сообщений и некоторые передает мне:

ВАВЕН, 18.40. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ МАНИФЕСТАНТОВ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ ПРОФЕССОРАМИ. ДЕЙСТВУЮТ ДВА ПОЖАРНЫХ НАСОСА, ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. БАРРИКАДА ИЗ АВТОМАШИН И БРУСЧАТКИ. УЛИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ НА БУЛЬВАРЕ СЕН-ЖЕРМЕН РЯДОМ С МАРТИНИКАНСКИМ БАРОМ И СТАТУЕЙ ДИДРО.

Сколько раз проходил я мимо этого бистро, этой статуи! Я жил на улице дю Бак. Недалеко от кафе «Прокоп». Кафе «Дё Маго» * — войдет ли оно в историю? Я передаю записку Максу, который уже сидит в кресле.

— Что ж, всё как у нас... Пожалуй, я не намного меньше сбит с толку, чем они, скажу я тебе. У меня есть возможность винить в своих бедах изгнание... Что касается молодых, они не думают «о чем-то другом», нежели я, — они думают по-другому. По-другому. Они ободряются — ободряются? одурманиваются? — только теми идеологиями, которые столь же тоталитарны, как вера. Которые обволакивают.

Ухмыляясь, он заворачивает воображаемый сверток.

— Я говорю о том, что есть общего между фрейдизмом и марксизмом. Остальное молодежь выбрасывает на помойку. Нужно, чтобы мысль, которая им чужда, была отброшена, обесценена и так далее — и объявлена мерзостью, которая марает чистоту их священного мира! Впрочем, Фрейд для Советского Союза такая же мерзость! И поделом. Но я не даю тебе понять главное. Я слишком суечусь.

Он замолкает, словно обдумывая предстоящий ответ экзаменатору, и медленно говорит:

— Когда-то я прочел одну французскую книгу, она называется «Романтизм и нравы» *. Потрясающая работа, в которой собраны письма неизвестных людей, личные дневники и так далее. Читая ее, видишь, чем становится драматургия Мюссе, когда подлинный клерк нотариуса пишет подлинной супруге нотариуса, когда какой-нибудь олух всерьез уверен, что в его

сердце бушуют страсти «Озера» или «Олимпии» *. Документы совсем не пародийные, напротив: там много писем, написанных перед самоубийством. Все эти искренние чувства кажутся сейчас безумными. Исчезнувшее безумие! Увеселение с самоубийствами! Люди заразились романтизмом, просто-напросто. Теперь они заражаются фрейд-марксизмом. Это одно и то же. Они заражаются им, понимаешь?

Он смеется своим смехом-ржанием; Вольтер без труда становится саркастичным.

— И все же , — продолжает он, колотя по столу словно для того, чтобы окончательно загасить свой прервавшийся смех , — отдаешь ли ты себе отчет? Мне хотелось бы знать, отдаешь ли ты себе отчет! Какой бы у тебя был вид в двадцать лет, если бы хиромантка нагадала тебе: «Вы будете присутствовать при конце индивидуализма!» Конец индивидуализма, просто-напросто! Пустячок! Самое поразительное заключается в том, что мы всего этого словно бы и не замечаем! Анекдот, да и только! Я повторяю: отдаешь ли ты себе в этом отчет?

— Будем считать, что люди когда-то заразились индивидуализмом. Как и романтизмом. Души чувствительные и души романтические друг друга стоили: пасторали закончились гильотиной. Ты знаешь, кто приговорил к смерти госпожу дю Барри *? Ее бывший чернокожий паж Замор...

— Никакого сходства! Плевать мне на пасторали! Король голый! Я тебе говорю, что ты не отдаешь себе отчета! Это...

Он застывает с изумленным видом:

— Я гляжу, как все ускользает и я остаюсь в одиночестве! Сарказм исчез. Впрочем, не полностью:

— В возрасте, когда начинаешь встречать в газетах сообщения о смерти однокашников...

Он ищет утерянную мысль, находит ее:

— Маркс и особенно Фрейд были восприняты в университетах Тихоокеанского побережья как откровение... Хотя поначалу о них говорили как о мыслителях в ряду прочих. Вовсе не так, как Европа приняла Канта! Видишь ли, пророческие мысли спорны: собираешься включить их в программу, а потом!.. Я тебе сказал, что я обрадован, но я тем не менее ошеломлен.

Он делает вид, что с удивлением вглядывается в себя.

— А почему мне не быть обрадованно-ошеломленным? В той или иной мере ошеломлены мы все... Я спустился по обыкновенной лестнице и вышел просто-напросто на луну! Разумеется, Париж обостряет проблему. В твой Пале-Руаяль я пришел для того, чтобы купить марок и амурных книжонок. Твоя Орлеанская галерея * оказалась закрытой. На улице Валуа я пообедал в ресторане, куда приходил Бонапарт. (Надеюсь,

ты распорядишься установить две мемориальных доски. Я повторяю: две!) Но речь идет совсем не о прошлом. Мои тогдашние мысли предстают предо мной в каком-то тумане, но твою Орлеанскую галерею я помню достаточно четко. Она была вся заполнена большими фотографиями из жизни в колониях. Ты только вдумайся: в колониях... Образ мысли моего времени мне кажется таким же диковинным, как и те фотографии. Не-о-бычным!

— Я ведь тебе говорил, мне тоже пришлось пережить нечто подобное. Возвращение на землю, сразу после того, как ты избежал великой опасности; посадка военного самолета после выполнения боевого задания. Все вокруг тебя удивляет — метлы, лейки, животные... Но не люди.

Я думаю о Грама после инсценировки расстрела. Но воспоминания о Сопротивлении, которого он не знал, сейчас чужеродны, тогда как память об Испании нас сближает. Когда я впервые начал ощущать, что мир изменился? Во время последней военной зимы, от высадки союзников и до смерти Гитлера? Американские солдаты в одежде механиков, судороги фашизма, марсианская армия советских бульдозеров, сопровождаемых тройками, последние годы империй, бомба, сброшенная на Хиросиму... Я продолжаю:

— Принадлежать к какой-то цивилизации среди многих других, отбывать, если можно так выразиться, свою цивилизацию — мне это знакомо. Но я все меньше и меньше думаю: «среди многих других». Ни одна эпоха, кроме нашей, не будет знать, что она была временной, что ею был отмечен конец какого-то мира: для нас каждое утро происходит вступление Алариха в Рим *... Со мной это началось, когда я впервые вернулся в Азию после войны; началось разрушением чувства, что ты удаляешься во времени, когда удаляешься в пространстве. Средиземноморские порты, почтовое судно... Медленно, дни за днями течет время на пароходе, как дни за днями текло оно для караванов Пьера Лоти *. Караван-сарай Персии, постоянные дворы Индокитая... Мой отец, со своим детекторным приемником и со своей каской, слушающий «Говорит Будапешт» с таким видом, словно он во время сеанса столоверчения вдруг услышал: «Говорит Феодора *, императрица Византии»... Телевидение дарит нам Будапешт и Стамбул, в один прекрасный день оно подарит нам Луну. Новая цивилизация похожа на уже опустевшие комнаты: ждут лишь последних перевозчиков.

Резиновая улыбка Макса становится шире.

— Ты думаешь о зрелищах, о... голосах в жанре «Говорит Будапешт». Да... Со времен нашей войны в Испании я больше ни разу не встретил абсента... Нет, когда я думаю о вещах, которые исчезли, я думаю об идеях. Транзитные постояльцы. Я считал,

что они будут жить гораздо дольше, чем я. Особенно думаю о мифах, или, вернее, о том, что мы называли мифами, когда не знали, что это такое. Бессознательное, Прогресс, Революция и так далее. Транзитные гости, да, название очень точно подходит!

— Мы говорили «мифы» по той причине, что есть слово «мифология». Употребляли слово «либидо» в значении Венеры *.

— И слово «История» в значении Бога, просто-напросто!

— Нет. Я пытался понять, что общего могли иметь История и Бессознательное, Прогресс, Нация, Партия, весь твой Олимп. Все они, начиная с Разума и кончая комплексами и тоталитарными партиями (единственными настоящими партиями...), являются убийцами богов. А их наследники... Но нужно, чтобы наши абстракции обрели своего рода душу...

— И что же может им ее дать?

— Найти врагов. Даже для иррационального наша цивилизация пользуется рациональным словарем. Но мы живем в эктоплазмах — в материализациях, если понимать это слово в спиритическом смысле. Древние воплощали в нечто реальное силы природы, чтобы их обожествлять; мы же воплощаем наши понятия. Твои транзитные постояльцы — Бессознательное, Прогресс, Революция, Пролетариат — суть эктоплазмы. Идеи, которые мы наделяем судьбой, Идеи с большой буквы... Все вокруг негодуют, через тысячу лет люди попытаются понять, что же это было такое — бог Бессознательное и богиня Революция. Мы же находимся внутри.

— Даже Бессознательное? Ты слишком круто берешь! Мне тоже хочется считать Фрейда старой каракатицей, и все такое прочее, но тем не менее психоанализ...

Психоанализ... 1920 год. Я зашел выпить кофе в «Куполь» * (в ту пору табачный магазин) вместе с одним шведским художником, тощим великаном с головою факира; он просил называть его Харисом и избрал в качестве подписи одну из букв санскритского письма. Он говорил: «Австрийцы нашли способ выявлять то, что таится в подсознании. Они называют это психоанализом». Прошел однорукий Сандар *, протягивая знакомым «свою руку-подругу».

— По существу, — говорю я, — бессознательное — это концепция, а все его приверженцы говорят о нем как об опыте. Подвергать его сомнению считается глупостью или кощунством. Оно не отягчено будущим, как политические мифы, каковые суть мифы прогресса; оно, в отличие от них, не является судьбой, но будь осторожен, это та сфера, где выковываются судьбы... Это концепция, полная чувств; как концепция первородного греха, а не как теория гравитации. Ты знаешь своих коллег-психоаналитиков, они...

— Бывших коллег!

— ...они борцы. То, что отделяет новую умственную сферу от той, которая предшествовала ей, выражается в том, что твои студенты одобряют в ней лишь те идеи, *которые нуждаются в борцах*. У Платона таких идей нет.

— У Сократа есть слушатели.

— У Монтеня есть книги. Воинствующая мысль требует определенного окружения, определенного действия, а не одиночества и размышления. Можно предпочитать одно другому, но нельзя их смешивать.

Привратник приносит «Монд». Студенческие волнения — не единственный материал первой полосы.

Переговоры американцев с Северным Вьетнамом должны состояться в Париже. — Поездка чехословацкого министра Дубчека в Москву, по всей видимости, результатов не принесла.

Однако «взрыв студенческого гнева застал всех обозревателей врасплох... Забастовки и демонстрации, размах которых еще невозможно определить, последовали за волнениями в Нантере. Студенческая масса переходит от апатии к буйству. ЮНЕФ переполнен крайне левыми группировками...»

Эти куски я читаю вслух. Макс, как и в прошлый раз, отвечает, будто следуя за ходом своей мысли:

— Объявляют истину своей собственностью; самые страшные зануды, скажу я тебе! Я обнаружил эту породу в Испании, да и оккультистов тоже; кто не придерживается их взглядов, тот непременно кретин или мерзавец. В общем, министерский портфель не сделал тебя идиотом. Это приятно.

Он извиняется:

— Знаешь, иногда себя спрашиваешь...

— Занятия искусством и философией Валери * называл «безумными профессиями».

— Тем не менее, когда тебе подают газету на серебряном подносе, это выглядит комично!..

— Особенно в первый раз: тогда это была «Канар аншене»*.

— Да, это здорово!

Он возвращается к своим баранам *:

— Религиозный детерминизм был довольно терпим, скажу я тебе: Провидение, раскаяние и так далее. Господь прощал! После чего пришел оптимистический сциентизм. Я уже тебе говорил, что предпочел бы быть Ренаном. Свой рай он препоручил науке следующего века, то бишь нашего...

— Между Ренаном и нами пролегли лагеря уничтожения и атомная бомба...

— Только и всего! Но берегись: с оптимизмом случился отлив. Медузы на прибрежном песке все еще задаются вопросом, что они здесь потеряли. Отлив рая оставляет их лицом к лицу с научным детерминизмом в самых разных его воплощениях. Не слишком уютным, скажу я тебе! Уж они-то не прощают! Для начала мыслители Просвещения провозгласили, что обскурантизм — это рабство, навязанное ложью церкви и верой в человеческую греховность. Далее exit¹ всеилия церкви, exit греховности, exit и так далее. В области идей — великое торжество! И страх становится моровой язвой, и век, который должен принести человечеству эй ф о р и ю, — это наш век! Чокнемся! Шампанского!

Вольтер злорадно ухмыляется, встает, возобновляет свое хождение по просторному бело-золотому кабинету, уже погрузившемуся во мрак, но когда он проходит под люстрой, зеркала многократно повторяют его возбужденные движения.

— Наше могущество связано с тем, что мы избавились от богов, но и наша покорность тоже, скажу я тебе. Покорность чему? Честно говоря, мне плевать. Это как в психоанализе. Во имя излечения людей, которых и не слишком-то излечивают, мы услаждаем себя тем, что якшаемся со всеми чертями и бесами, которых носит в себе человечество. А у него их хватает!

Не переставая кружить, как шаман, под позолоченными подвесками люстры, он поднимает указующий перст на уровень глаз, еще сощуренных в широкой улыбке:

— Заметь, что я со своей стороны против этого не возражаю... Только не хочу оставаться в дураках. Эта болезнь придет и во Францию...

— Она всюду придет под разными формами. Она уже есть в Голландии, со своими провокаторами. Левацкие настроения у интеллигенции — вещь преходящая; с молодежью куда серьезнее, и во Франции это может обернуться большой опасностью, если...

— Не преувеличивай!

— Я повторяю: большой опасностью, если университетская вспышка сольется с восстанием.

— Коммунистическая партия не очень на это готова!

— Она делает то, что может.

Он пересекает полосу света, кивает в знак одобрения головой, его белые волосы развеваются.

Снова секретарь. Две телеграммы:

¹ Зд.: крушение, гибель (лат.).

18 ЧАСОВ ТОЧКА СТО РАНЕННЫХ ТОЧКА ДЕМОНСТРАЦИИ СОЛИДАРНОСТИ ГРЕНОБЛЕ РУАНЕ ТОЧКА КРУПНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ТУЛУЗЕ.

ПОДГОТОВКА ДЕМОНСТРАЦИЙ РАБОЧИХ ЗАЩИТУ ЗАНЯТОСТИ ДЕВЯТИ ЗАПАДНЫХ ДЕПАРТАМЕНТАХ ТОЧКА ДЕМОНСТРАЦИИ СОЛИДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ СТРАСБУРЕ КАЭНЕ НАНТЕ ТОЧКА НЕВИДАННЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПАРИЖЕ ТОЧКА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЧАСОВ ТРИСТА РАНЕННЫХ.

— У н а с , — говорит М а к с , — то же самое. Плюнь!

— Вероятно, существует два типа великих умов. В Принстоне Эйнштейн искал смысла вселенной и говорил мне, что какой-то смысл, несомненно, в ней есть. Но пророки твоих студентов не ищут смысла вселенной, они ищут ее тайну.

— Да... да! Подводная часть айсберга! Маркс хочет вскрыть тайну капитализма. При этом лучше, чтобы тайна была гнусной. Маркс и Фрейд вместе, даже Ницше — вот это уже интересно. Почему хиппи, которые любят чистоту, обряжаются в лохмотья, как клошары? А твои экзистенциалисты? Студенты придумали свою форму одежды...

— Форма, в которую облечены распри, не изменяется. Изменяются распри.

— Есть что-то мазохистское в этой проклятой эпохе, скажу я тебе. Здесь ты прав, Маркс акцидентален. Фрейдизм студентов — это удовольствие барахтаться в эротике и удовольствие поклоняться своим бессознательным импульсам, как основным силам, которым все подчинено... Все восхищаются де Садом *. Де Сад для них не сластолюбец и не наркоман, он узник. Все являются узниками, они восхваляют лишь то, что держит их в узилище! Они бунтуют, они, как они сами это называют, оспаривают, но они говорят лишь о том, что им приходится претерпевать, они просто помешались на этом!.. Чтобы человек вызвал у них интерес, им нужно смотреть на него как на пробку в грязной воде! Еще раз повторяю, их мысль чем-то окутана! Как мысль студентов XIII века была окутана верой! Отказ от личности начался после войны четырнадцатого года... Отказ от человека... Он творил Историю, он претерпевает сексуальность. Для фрейдистов, как и для марксистов, свобода числится матерью-королевой мысли! Это даже не оспаривается! Человек никогда еще не чувствовал себя так по-собачьи, как со времен воцарения этой династии!

Он снова и снова семенит мелкими шажками под люстрой и похож теперь на индейца, ступившего на тропу войны.

— Эти болваны не отдают себе отчета, что их эксгибиционизм так же нелеп, как викторианские ночные рубашки! Совершенно ясно, что самое главное в отношениях между полами — это нежность, и...

— Валери тоже это говорил.

— Да ну! Он это написал?

— Нет.

— Меня бы это удивило. О таком не говорят. Это считается постыдным! Старомодным — есть у вас такое словечко! Ведут себя так, будто важнее всего в делах мужчины и женщины — половые отношения. Лет через сто наши студенты, профессора и прочие олухи будут выглядеть калеками, скажу я тебе. У которых ампутированы чувства. Даже плохие, в конце концов! Вот увидишь! Достойными уважения сейчас признаются лишь коллективы, эротизм и революция, фрейд-марксизм! Чувства! Если можно о них говорить... Господство его величества ощущения постоянно держит меня в состоянии тревоги. Мы живем в одной из тех подпольных книжонок восемнадцатого века, которые люди из-под полы покупают под твоими аркадами, причем наша книжонка взбесилась.

— Покупали. Теперь они продаются в другом месте.

— Воображаю, как наши наследники будут говорить: «Создается впечатление, что во второй половине двадцатого века искусство заниматься любовью считалось куда более важным — более важным само по себе, ты слышишь! о партнере и речи нет! — чем потребность нежно обхватить ладонями голову любимой женщины». Безумцы! Знаешь, на что будет похожа эта эпоха со всеми своими небоскребами? На пустыню. О, хотел бы я на это посмотреть!

— Ты и так на это достаточно смотришь.

— Для молодежи — ты заметил? — революция уже не имеет целью что-то завоевать, для них это просто смесь 14 июля и сатурналий *. Разумеется, против сатурналий я не возражаю.

— И против 14 июля тоже.

— Тоже. Тем не менее у фрейд-марксизма могут быть серьезные затруднения с оппозицией, которая вызревает! Художник должен разрушать всякое искусство, революционер должен разрушать всякое государство. В интересах мифической перманентной революции, которая смахивает на дикий разгул. Слово «дикий» опять входит в моду! Накачавшийся наркотиками дикарь приходит на смену наивному гурону...

— Все правильно. Но это было бы существенным лишь в том случае, если бы перманентная революция была связана с отчаяньем.

— Человечество знало эпидемии самоубийств... Потом мы изучили мазохизм. Он стал нам родным и близким. А коллек-

тивный мазохизм? Мы не говорим о мазохизме целой цивилизации! Однако в нашей определенно есть нечто мазохистское. Временами... Заляпанный грязью карнавал! Уже одно слово — санкюлоты... Мы сражаемся нагишом? Даже не это, даже не это!..

Макс задумчиво подкидывает свой сверток.

— Когда и у санкюлотов нет своей революции, это кончается плохо. Идеология моих хиппи, моих псевдозексистенциалистов вовсе не навязывала им этого карнавала. Он оказался более заразным, чем все остальное. Видишь ли, я не очень-то понимаю, каким образом изменился Гиньоль *, не понимаю, что происходит между Черными куртками * — эти уголовники были известны уже в пятнадцатом веке! — и этим... как Виктор Гюго называет отбросы общества? ах, да! Двором чудес*.

Он внимательно разглядывает свою сумку.

— Гипноз плевка? Что ж, хорошо.

Секретарша приносит мне листок с машинописным текстом (по телефону я попросил начальника канцелярии прислать мне последние сообщения) :

СВЫШЕ ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ. СИМВОЛИЧЕСКИЕ БАРРИКАДЫ: АВТОМАШИНЫ, БУЛЫЖНИКИ, РЕШЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ. НАСТОЯЩАЯ БАРРИКАДА У СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ. МЯТЕЖНИКИ УДЕРЖИВАЮТ ПЛОЩАДЬ МОБЕР. ПОЛИЦИЯ СО ЩИТАМИ, СЛЕЗОТОЧИВЫМИ ГРАНАТАМИ. ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА АТАКОВАНА. ГРУЗОВИК С ПОЖАРНЫМИ АТАКОВАН, НО ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН. ДЕМОНСТРАНТЫ, ЗАЩИЩАЯСЬ СЛЕЗОТОЧИВЫМ ГАЗОМ, АТАКУЮТ СТАНЦИИ МЕТРО. ПЛАКАТЫ СОЛИДАРНОСТИ С ЧЕШСКИМИ И ПОЛЬСКИМИ СТУДЕНТАМИ, АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ «МЫ МАЛЕНЬКАЯ ГРУППКА». ПРЕФЕКТ ПОЛИЦИИ ПРИЕХАЛ НА ПЛОЩАДЬ.

Я протягиваю записку Максу, он ее не берет.

— Все, что происходит, можно истолковать также и по-другому, скажу я тебе. Ты говоришь, что на протяжении тысячелетий мир жил, опираясь на очень глубокие чувства. Затем Европа решила жить на основе идей — первая мутация. Далее мир снова начал жить чувствами, понятиями, отягченными грядущим, жить большевизмом, нацизмом, маоизмом, прогрессом, наукой и так далее — вторая мутация. Наука — совсем другое дело.

— *Тоже* другое дело.

— Только за последние десять лет мы узнали о химии мозга больше, чем за пять тысячелетий. А что, если нынешняя

эпидемия была лишь неловкой попыткой? И даже не первой! Могла быть целая вереница просто-напросто великолепных попыток. Великолепных и непредусмотренных...

Откуда вдруг этот оптимизм? «Макс Торрес сбивает с веток идеи, точно орехи», — говорил Жюльен Бенда * на конгрессе в Мадриде. Но он слабо улыбается, смотрит искоса, словно опасается, что его сейчас призовет к порядку некое враждебное божество, понижает голос, начинает манипулировать стоящей на столе ампирной лампой — абажур позеленевшего металла поднимается и опускается на стержне с помощью ключа, на котором выбита монограмма "N". Он спрашивает, что это такое, но продолжает свою мысль.

— Лампа Наполеона. Оставленная здесь королем Жеромом.

— Ты неплохо устроился!

— Когда я думаю о своих предшественниках, меня это успокаивает. Но один из них стал диктатором Мали.

— Где находится Мали? В Африке?

Он не слушает ответа, кладет сумку на стол, жестом отмечает всякую возможность тратить время на пустяки, но отказывается от своего намерения, потому что по другую сторону сада все левые окна вдруг начинают ярко светиться.

— А это что такое?

— Театр Французской комедии. Была Чувствительная комедия, Плутарховская комедия, Христианская комедия — всё комедии Воображаемого. Да... Человечество околдовано собственным театром; но приворотное зелье, заставляющее его играть «Чувствительные души», заставляет его играть и такую пьесу, как «Солдаты II года» *. Тайна человека более глубока, чем его комедия. И ты не хочешь возвращаться в Испанию.

Неравнодушный к комплиментам, как и в былые времена, — но лишь по поводу Испании, ибо он совершенно лишен тщеславия, — он не может удержаться от улыбки, улыбки самой неожиданной — наивной. Exit Вольтера. Он отвечает:

— А «Французская комедия» все еще существует?.. Париж так романтичен! Декорации ваших романов, от Растиньяка до Фантомаса... Ни один американец не бросает вызова Нью-Йорку с высоты Пер-Лашез! Даже в кино.

— Бальзак и для нас остается живым. Осман * чертовски выпотрошил его декорации. Вот здесь, внизу, в Орлеанской галерее, находились Деревянные галереи Пале-Руаяля, которые изображены в «Утраченных иллюзиях»...

Москва 1934 года. Обед в гостинице «Националь» с Олешей и Пастернаком. Олеша хватает несколько маленьких ваз, ставит их на наш стол, говорит: «Полевые цветы! Нужно быть садовником, выращивать цветы...» — садится и начинает мечтать:

«Ты увезешь нас в Париж, Бориса и меня. Париж — это наша романтика. Будут лавки модисток, женские шляпки... Мы сядем на скамейку на площади Пигаль». — «Поглядим себе под ноги, — говорит Пастернак своим глубоким голосом слепа, — и скажем: "Вот грязь, по которой ходил Мопассан!..»

— «Французская комедия», — повторяет Макс. — Чувствительные души... Тогдашний фрейд-марксизм, скажу я тебе. Боги или дьяволы, всегда такие же сильные, всегда такие же глупые. Афродита и Несогласие, Великий Маниту * и Отчуждение *, Венера и Структуры... Эти страсти превращаются в старые шляпки...

Словно некая телепатия передала ему фразу Олеси о парижских модистках.

— В конце концов, поскольку нельзя жить в пустоте... Вечность? Я думаю, думаю об этом!.. Глупости!.. Может быть, я тоже чувствительная душа... Они есть у каждой эпохи. Все эпохи одурманены, все! Транзитные гости, как собака в посольстве... Если бы мне сказали, что я завершу свою жизнь, так и не узнав, что за комедию я играю!.. Мы должны бы были иметь по две жизни, скажу я тебе... Первую — чтобы ее разгадывать. Потом другую — чтобы ею пользоваться... Она могла бы начинаться лет, скажем... в двадцать? Разгадывать... Я буду человеком нашей эпохи, эпохи просто-напросто бесформенной...

— Бесформенность тоже имеет свои достоинства. Почему бы тебе не продолжить свои мемуары, раз уж ты их начал?

Он пожимает плечами:

— Понимать людей, чтобы воздействовать на них, говорит твой Стендаль. Воздействие на людей — это называется пропагандой, не так ли? Твои французы удивительны! Учиться понимать людей, читая «Красное и черное»! Разве мы понимаем безумцев, когда читаем «Дон Кихота»?

Секретарша:

ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ НАПАДЕНИЙ НА СТАНЦИИ МЕТРО, НЕДОСТОВЕРНА. РЕЧЬ ШЛА О СЛЕЗОТОЧИВОМ ГАЗЕ, ПРИМЕНЕННОМ ПОЛИЦИЕЙ И РАЗНЕСЕННОМ ПОРЫВАМИ ВЕТРА.

Макс, даже не протянув руку за сообщением, продолжает:

— Говорят, что с возрастом приходит опыт, но никогда не говорят о том, что приходит и безразличие... Молодые о нем не знают. Оно гораздо глубже. Спокойнее. Я изучал эту проблему; у нас в психиатрии настроение «А к чему?» считается опаснейшим симптомом.

Мери напомнил мне в Сингапуре, что Лоуренс Аравийский *

велел написать над входом в свой коттедж: «Не все ли равно?» Почти тот же голос. Давние дружбы... Я больше не виделся с Мери ни в Париже, ни в Индокитае. Если бы я встретил Макса в Сингапуре, наши отношения были бы другими. (Снова передо мной полет бабочек над Зондскими островами, теплый ночной туман, внутренний дворик отеля «Рафль», лай собак...). Но Мери долго говорил о Хо Ши Мине, прежде чем заговорил о себе. Его Азия, Америка Макса удивительно подходят к усталости одного, к возбуждению другого. Буддизм пошатывающегося сингапурского центуриона придает накал неистовства этому злобному «А к чему?». Общим для обоих этих людей является потребность мыслить, вопрошать. Они держатся на более далеком расстоянии от современности, чем я: гражданская война или обстановка колонии сделали их эмигрантами из прошлого. Мери видел свою жизнь в некоем божественном зеркале, затуманенном наподобие того небольшого водоема, в котором перед нами отражалась луна; думаю, что для моего заводного Вольтера, несмотря на его молитвы, божественного не существует. Ему уютно в его профессорской ипостаси. Плохо. Бывший участник войны. Свои монологи Мери произносил не передо мной, а перед лицом смерти. И однако:

— Когда ты перестал думать о делах, которые ты должен совершить позже, которые произойдут позже?.. — спрашивает Макс.

— Думаю, я и сам этого не заметил... Как все люди.

— Долгосрочное будущее исчезает, а мы этого не замечаем!.. Что за жизнь! Кстати: я тебе сказал, что не ощущаю старости, но все же думать о будущем я боюсь...

— Дом, в котором мы с тобой сидим, заставляет часто об этом думать. В безличном, административном плане. Что, в общем-то, нельзя считать размышлениями о будущем.

— Я был приговорен к смерти и прожил двое суток в ожидании казни, пока меня не освободили. Я этого не забыл по причине необычайной выразительности всей картины! А вот что я тогда чувствовал, не помню. Когда я об этом говорю, я все придумываю. По существу, мне плевать, скажу я тебе.

Привратник:

ЗАБАСТОВКИ ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОМИТЕТАМИ
ЛИЦЕЙСТОВ В МИШЛЕ И КОНДОРСЕ ТОЧКА НАНТЕРЕ
СПОКОЙНО ТОЧКА СТУДЕНТЫ КОММУНИСТЫ НЕ УЧА-
СТВУЮТ ТОЧКА ХРИСТИАНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ОБЪЯВ-
ЛЯЮТ УНИВЕРСИТЕТСКУЮ АКЦИЮ НЕПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОЙ ТОЧКА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЧАСОВ ТРИСТА РА-
НЕННЫХ.

Триста. В Нантере спокойно. При таком спокойствии мы скоро дойдем до трех тысяч. Я думаю о том, что только что сказал Макс.

Неужели я так же равнодушен, как он, к таким моментам моей жизни? Грама... Итальянский истребитель, который устремляется на турель моего самолета и в которого я в течение нескольких секунд не могу стрелять, потому что под маской вижу бородку пилота. Мадрид около трех часов ночи, улица Гран Виа, на которой остались только слепые флейтисты, играющие «Интернационал»... Почему возникают эти образы? Потому что Макс — испанец? Никакого желания думать о моих преддвериях смерти. Неважно, все равно о самом главном мы никогда не говорим.

— Русские варианты «Поругания Христа» *, — говорю я, — изображают Христа сидящим и подпирающим рукой голову. Правительство распорядилось забрать эти статуи из церквей и прислать их в Москву, для какого-то музея. В зале ожидания на маленькой станции возле Новгорода я увидел, как они сидят рядом на двух деревянных скамейках, как пассажиры. Они ждали. Я думаю о них, как ты — о водорослях в твоей речушке...

— Об абсурдности мира мы с тобой уже толковали однажды — в Мадриде... тридцать лет тому назад. С той поры, как ты видишь, я больших успехов не сделал... Разве только в одном пункте... сейчас скажу, в каком. Враг номер один любого абсурда — это, безусловно, надежда. Центральным понятием нашей психиатрии становится «уровень настроения»; по этой шкале сто соответствует эйфории, нуль самоубийству, ну и так далее. Этот уровень понижается лишь по направлению к смерти. И исследования все более ясно показывают, что он совпадает с уровнем надежды...

— Да, ради этого стоило потрудиться.

— В общем-то, стоило. Недавно мы сделали важное открытие. «Средние дозы» лекарств, одобренные наукой, действуют повсеместно вот уже пятьдесят лет, тогда как их действие варьируется в диапазоне от единицы до шести. Важность этого для химии мозга очевидна. Вопрос будет поставлен также и в общей терапии. Но многие исследователи, к которым принадлежу и я, не могут жить тем, что они знают, они хотят жить тем, чему они верят, скажу я тебе! Научный поиск не в состоянии что-либо решить за одну человеческую жизнь; к счастью, он откладывает все на будущее. Это охота за сокровищами. Молодые не умеют пользоваться нашими находками... Кстати, молодежь не входит в круг твоей компетенции?

В письме, где он обозначил дату своего прихода ко мне, не было никаких просьб. Однако он ждет от меня помощи или отве-

та на какой-то вопрос, который не решается мне задать.

— Нет. И государство ничем ей не может помочь. Вполне возможно, что то, что происходит сейчас в Латинском квартале, очень серьезно, но...

— Ты так думаешь? Почему серьезней, чем в Беркли, в Японии или где-то еще?

— Здесь, у нас, студенческий бунт может соединиться с действиями профсоюзов. Коммунисты не будут участвовать в восстании вместе со студентами, которых они считают публичкой импульсивной, безответственной и сумасбродной, но...

— Коммунисты нигде не участвовали в этом!

— Студенты нигде не встречали сильной компартии.

— А также и генерала де Голля, скажу я тебе!

— Компартия говорит: «Мы на стороне всей студенческой массы, которую нельзя смешивать с крохотными псевдореволюционными группками».

— Это, вне всякого сомнения, верно — здесь, как и у нас...

— ВКТ не рискнет участвовать в том, что она называет левацкой авантюрой. Но подлинное массовое движение живет своей собственной жизнью.

— Люди на стороне студентов. Но студенты мечтают не о революции, они мечтают о жакериях. Как в Испании, да, конечно! Как в Калифорнии, как в Голландии, как везде! Смесь нигилизма и празднества, говорю я тебе! Очень по-испански! В Мехико студенты вырвались из университета на Зокодовер, большую площадь, чтобы стрелять со всех сторон. Твои французы просто буржуа!

— До сих пор ни одного убитого. Что кажется странным, даже если учитывать намерения студентов и инструкции, полученные полицией.

Он ухмыляется:

— Несчастный случай происходит быстро... Но он не произошел... Я отправился в Нантер. Там было все, как везде. *Да здравствует Вьетнам!* — *Университет дрессирует сторожевых псов буржуазии, мы отвергаем университет и общество!* — *С пролетариатом, но не всегда с Марксом.* — *Маоисты или нет, политики зануды; но каждый должен иметь право высказаться я.* — *Да здравствует Маркузе **, *да здравствует Рейх* — *будем бороться против сексуального отчуждения трудящихся.* — *Да здравствует перманентное несогласие, основанное на провокации или оскорблении!* И так далее! О, я все это знаю, все это знаю!.. Ленину такое совсем бы не понравилось, скажу я тебе! У вас есть в придачу еще и Кон-Бендит, который ревет громче всех микрофонов; крохотное отличие. Однако у вас психодрама становится заразительной, действует на зрителей. Сан-Франциско плевать хотел на эпидемию в Беркли...

Привратник:

ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ РАНЕННЫХ.

— Ваш фрейд-марксизм, — спрашивает Макс, — начал, как водится, с сексуального протеста, с какой-нибудь дортуарной истории?

— Главное не в этом. Все правительства истолковывают нигилизм в категориях политических, потому что эти категории им понятнее.

— Мне казалось, что ты считаешь их совершенно идиотскими...

— В политическом плане весь этот фейерверк с черными ракетами будет иметь конкретным результатом, как принято говорить у коммунистов, только то, что он поддержит господина Миттерана и его политиков против генерала де Голля. А если они провалятся, это толкнет избирателей в объятия правого голлизма. Стоило публично заниматься любовью группами по шесть человек, чтобы кончить председателем Сената, который по своему обыкновению избавится от коммунистов. Завершить Апокалипсис реставрацией Топоза * — почему бы и нет? Во всем этом есть некая лирическая иллюзия, но также и немалая доля сарказма, насмешки...

— Это поразило меня в Латинском квартале!

Опять ржание, волосы взлетают; но после того, как он снова усаживается в кресло со своей сумкой на коленях, следом за иступлением наступает грусть и усталость.

— Лучше было бы тебе заниматься химией мозга! Кстати, мне нужно дать тебе труды нашего последнего конгресса. Что ни говори, а все же человек — занятная скотинка!.. Так, значит, я все-таки даю тебе эти труды?

Он кладет мне на стол свою сумку, которую до этого он не переставая мял и теребил у себя на коленях, сует в нее руку, вытаскивает какие-то бумаги и бюстгальтер, говорит, словно завершая реплику: «...и женщина, значит!», находит наконец небольшую брошюру, которую передает мне: «Конгресс», закрывает сумку и снова кладет ее на колени. Во время войны он сказал мне: «Годам к пятидесяти, когда я достигну наконец счастливого возраста импотенции...» Видимо, пустая надежда.

— В Мадриде у нас было больше надежды. То, что происходит сейчас, оно и похоже на наши волнения, скажу я тебе, и не похоже на них. Как по-твоему, каковы у них истинные мотивации? Теперь ведь так говорят. Когда после долгого отсутствия приезжаешь в страну, отмечаешь появление новых слов: мотивация, структура, отчуждение, какие еще?

— Демистификация, фрустрация, прогрессист, общество потребления...

— Даже те, кто, казалось бы, продолжает линию великих

умов, линию прошлого, блистательно демонстрирует последний этап идиотизма. О чем я тебя спрашивал?.. ах, да — каковы мотивации.

— Их много. Прежде всего, студенты, как и везде, требуют реорганизовать систему обучения. Они правы. Система должна быть приведена в соответствие с массовым наплывом студентов: их сейчас столько же, сколько было перед войной учащихся в коллежах и лицеях. Затем сексуальные проблемы. Факультет иногда выступает в защиту свободы для девушек, иногда — толком не знает за что. Затем немедленное требование: убраться полицию из Сорбонны, солидарность с арестованными студентами. Это очень важно. Кроме того, бастовать, бунтовать — это означает для них существовать. В спокойные времена они, бедняги, можно сказать, просто не существуют. Существование, восстание, независимость, свобода — вся эта смесь достаточно смутная, но взрывоопасная. И наконец, подлинный нигилизм. Потому-то и говорил я тебе об иррациональном. Под этим углом зрения все требования — только маски, кроме самых простых, таких, как освобождение арестованных студентов. Народная Сорбонна — не столько революционное требование, сколько фильм Эйзенштейна. Нигилизм всегда вызывает особые психические состояния. Атмосфера мятежа порождает их в еще большей мере, чем сексуальность. Они говорят «совершить революцию», как хлыщи говорят «кутнуть». Ты и без меня знаешь, что, не будь Древнего Рима, Наполеон не был бы ни консулом, ни императором. Оспаривающим называют того, кто протестует, любуясь своим протестом. Но эти актеры ошиблись Республикой.

Для кого я делаю этот доклад? Бюстгальтер всё превратил в несуразицу...

— Де Голль и на этот раз победит? — спрашивает М а к с . — И потом, какое это может иметь значение! Удивительнее всего — музыка. Испания... В конечном счете, я уже примирился, но в Беркли я могу принимать мексиканские передачи. Часто передают фламенко, иногда канте хондо. Тогда я говорю себе: уди-вительная штука — появиться на земле, чтобы сожалеть о том, чего никогда не знал...

Он колеблется.

— Скажи мне. Ты говорил о психических состояниях... Это тебя по-прежнему интересует?..

Его рот остается открытым. Быть может, сейчас я узнаю, зачем он пришел?

— Один из моих коллег создал... даже не знаю, как назвать, поскольку он этого слова не любит... галлюциноген? — ну да ладно, чего т а м , — создал наркотик, рядом с которым все другие не более чем детская игрушка. Те, кто проводил с ним экспери-

менты, говорят о первом состоянии — значительно превосходящем то, что мы называем вторым состоянием.

— Первое по интенсивности?

— Не совсем... скорее нет... они говорят о какой-то «дотоле не испытанной нежности». А они ведь не писатели! Их формула — ты только послушай — такова: единственное состояние, может быть наряду со смертью, при котором сознание и опыт совпадают. (Они будто знают твой лексикон). Однако они изучали основные наркотики...

— Почему «изучали»?

— Мой коллега с этим завязал. Не из страха перед полицией — просто из страха. Между тем это единственный наркотик, который не приводит ни к депрессии, ни к привыканию.

— Так в чем же дело?

— Он боится...

— Действие длится много часов?

— Двенадцать.

— Это много.

— Конечно. Ты сам посуди. Ничего общего ни с гашишем, ни с мескалином, ни с препаратами опия...

— А с алкалоидами?

— С героином? Тоже нет!

— Двенадцать часов... Какой-то «пусковой механизм»? Ведь ты, как и я, знаешь, что гашиш вызывает раздвоение личности, чем и объясняется его религиозный эффект в некоторых сектах.

— Религиозный... Я попросил одного своего студента, атеиста, рассказать мне, что представляет собой это средство... Он мне сказал...

Над голосом Макса проходит, как тень, чей-то другой — шепчущий и ностальгический — голос:

— Он мне сказал: это был рай...

Значит, на себе его действия Макс не испытывал.

— Мой коллега сохранил всего лишь две дозы. Когда он узнал, что я иду сюда, он дал мне одну для тебя. Если ты не хочешь ее брать, я верну...

Неужели он пришел для того, чтобы сделать мне это предложение? И это было единственной целью его поездки в Европу? Молодые далекие поклонники существуют; мы составляем часть их экзотики. Даже среди ученых такого рода неожиданности не так уж редки, особенно в этих областях.

— Как отнеслась к открытию служба контроля за наркотиками?

— Мой друг к ним никогда не обратится. Он хорошо знает... Они ревнивы... и главное, очень боятся.

— Боятся счастья?

— Конечно!.. Ты отдаешь себе отчет?

С тех пор как мы заговорили на эту тему, Макс ни разу на меня не посмотрел. Теперь его взгляд снова останавливается на мне. Он неловко улыбается... Я не думал, что его возбужденность может сочетаться с неловкостью. Чуть слышно произнесенное, слово «рай» таинственными кругами расходится по кабинету, исчезает во враждебном сумраке.

— Если дело пойдет, — говорит он, — это будет означать конец наркотикам среди несогласных в университете... Может быть, конец их драме... Поразительная история!.. Слово «счастье» прилагалось всегда только к отдельным мгновениям...

Его голос, только что так настойчиво убеждавший меня в этой галиматье, теперь сник. Можно подумать, что Макс оробел. Сходство с Вольтером больше уже не вторгается между сидящим напротив меня стариком и моим давним другом. Передо мною опять воскресает его былая манера таращить глаза. Рот приоткрыт в улыбке, которая утратила прежнюю свою ироничность, туловище наклонилось вперед, руки слегка раздвинуты, словно для испанского *abrazo*¹; в позе чувствуется напряженность встревоженного кота. Но этот престарелый кот больше не прыгнет. Я спрашиваю его:

— Чего хочешь твой коллега? Ему нужен писатель, который для его открытия сделал бы то же, что Хаксли, Мишо сделали для мescalina *? Я больше не пишу...

— Ты бы опять стал писать, если б захотел. Нет, здесь не то... во всяком случае, меня бы это удивило...

— Ускользнуть от ответственности, которую он, видимо, плохо переносит, и при этом не уничтожать найденной формулы?

Макс улыбается той же неумелой улыбкой, о которой мне трудно судить, выражает она общичество или иронию.

— Скорее так. Но я, конечно, не знаю... Он только просил сказать тебе то, что я тебе сказал.

— Давай сюда твой пакетик.

Словно для того, чтобы положить конец нашей беседе, звонит внутренний телефон.

— И все-таки я человек этого странного времени, говорю я тебе!.. — повторяет Макс, уже дойдя со своей сумкой до дверей.

Времени лимба.

¹ Обьятия (исп.).

*Коломбе,
четверг 11 декабря 1969 года*

Следов усталости, накопившейся за последние месяцы пребывания у власти, уже не видно. Генерал де Голль берет и поворачивает одно из кожаных кресел. В этой небольшой комнате с потрескивающими в камине дровами его высокая, начавшая сутулиться фигура кажется еще более внушительной, чем обычно. Садится спиной к свету за столик для пасьянса, где на зеленом сукне лежат колоды карт. Всякий раз, когда в былые славные дни я присутствовал на ужине в Елисейском дворце, в его Почетном салоне, столь же перегруженном позолотой, как роскошные отели прошлого века, у меня возникало ощущение, что этот ужин на двести пятьдесят персон устремляется куда-то в небытие, вместе с изображенным на гобелене рафаэлевским «Гелиодором»*, вместе с сидящими под гобеленом музыкантами, вместе с музыкой Моцарта и сопровождающим ее кортежем последних Габсбургов... Хрущев, Неру и Кеннеди в Зеркальной галерее Версаля, реставрированный Трианон, который вот-вот опустеет...

Пожимая руку, вновь ловлю себя на мысли: какие же у него при его по-прежнему столь крупной фигуре маленькие, изящные ладони. Кстати, ошпаренные руки Мао Цзэдуна тоже кажутся принадлежащими кому-то другому.

Обменявшись приветствиями, мы идем в его рабочий кабинет. Непонятно, отчего эта комната оставляет ощущение благородства, то ли от совпадения ее пропорций с пропорциями письменного стола, напротив которого стоит всего одно кресло, то ли такой ее делают три окна позади него или голые стены, где стоят только полное собрание сочинений Бергсона, друга семьи, и мои книги, на которые он взглядом обращает мое внимание, то ли, наконец, фигура самого генерала на фоне необъятного, протянувшегося через всю Францию черно-белого снежного пейзажа.

Однажды, когда мы гуляли с ним по парку, он сказал мне: «А ведь знаете, до пятого века все это пространство было заселено, а сейчас до самого горизонта нет ни одной деревни».

Келья святого Бернара*, с окном, выходящим на вековые снега и безлюдные просторы.

Он, естественно, понимает, что и друзья, и противники ломают себе голову над истинными причинами его ухода*. Хотя он и рассказал обо всем заранее, его объяснение никого не удовлетворило. Страна не могла не ощутить диссонанса

между самыми что ни на есть голлистскими выборами и итогами референдума по поводу административно-территориального деления и выборов в сенат, после которого генерал де Голль ушел со своего поста. Генерал признавал в качестве противника лишь исторические события, либо смерть, либо тайну. В свое время первый его уход тоже породил недоуменные вопросы *. Ну а теперь уже всем ясно, что он больше уже не вернется. А то, что называется французской политикой, продолжается, и эта политика прислушивается к тому, что скажет этот безмолвный Страж.

— На этот раз, — говорит он, — вероятно, все кончено.

У меня перед глазами возникает небольшой салон отеля «Лаперуз», когда в 1958 году, в момент всеобщего разброда, он сказал: «Необходимо четко себе представить: либо французы хотят строить новую Францию, либо у них опускаются руки. Строить ее без них я не буду. Мы вместе восстановим существовавшие прежде институты, соберем вокруг себя то, что называлось Империей, вернем Франции ее величие и ее место в мире». Тогда в его голосе звучала неукротимая энергия, а сейчас он говорит таким же тоном, каким в 1941 году сказал про Италию: «А не суждено ли ей остаться, как и предсказывал Байрон, всего лишь скорбной матерью покойной империи?»

Он испытующе смотрит на меня.

— Вполне возможно, что на мое решение уйти повлиял и возраст. Может быть. Только понимаете в чем дело: меня с Францией связывал контракт. И независимо от того, как складывались наши с ней взаимоотношения, она была со мной. Со мной на протяжении всего периода Сопротивления. Это было видно по тому, как меня встретили в Париже. Я находился на гребне огромной волны, которая меня поддерживала. Она-то и несла мой корабль. Ко мне в Лондон приезжали политики, военные, аборигены из Новой Каледонии. Разного рода бедолаги, например моряки с острова Сен *, то есть Франция. Когда французы верят во Францию, о! тогда... А вот когда они перестают в нее верить!.. Вы ведь слышали эту фразу папы римского: «Французы не любят Францию».

Так-то вот!

А потом контракт был разорван. И все потеряло смысл. А контракт был наиважнейший, причем как раз потому, что не существовало никакого документа; формально он так и не был закреплен. Получилось так, что мне пришлось взять на себя защиту Франции и ее судьбу без какого-либо наследственного права, без референдума, вообще без чего бы то ни было. Я ответил на ее настоятельный и безмолвный призыв. Я его высказал, записал, провозгласил. А теперь что?

В этот момент его сутулость сильно бросается в глаза, он

стоит одинокий и смотрит на снег, покрывающий пустынное пространство: «У меня был с Францией контракт...» Почему он говорит «Франция», почему не «французы»? Между тем он продолжает:

— У французов совсем не осталось национального честолюбия. Они уже не хотят ничего делать для Франции. А ведь ради чего, как не ради Франции, я забавлял их знаменами, призывал их вооружиться терпением?

В 1914 году ему было двадцать четыре года, и мне не раз приходила в голову мысль: не смешивается ли в его сознании то, что он называет национальным честолюбием, с жадной реванша, питавшей его юные годы?.. Однако он добавляет:

— Даже у англичан и то уже не осталось национального честолюбия.

Очень часто люди, предпринимавшие попытки создать его портрет, брали в качестве точки отправления психологию, что в его случае представляется мне делом совершенно безнадежным. Он прозорлив, причем иногда эта прозорливость становится вещей: «Придет день, когда за нами будут ходить по пятам, чтобы мы спасли родину». И все же, хотя его ум и не лишен проницательности, качество его объясняется в первую очередь уровнем рассудительности; есть в нем и нечто от наваждения. Я склонен считать, что великим христианам средневековья, например святому Бернару, был свойствен ум, покоящийся на призвании. Франция для него — это такая же навязчивая идея, как Китай для Мао Цзэдуна, пролетариат для Ленина или Индия для Неру. Первая фраза «Военных мемуаров» посвящена именно ей, и я думаю, что Франция, жившая в его сердце, отнюдь не столь проста, как та легендарная принцесса, о которой он там говорит *. Ее, Францию, он взял в супруги раньше, чем Ивонну Вандру *. Впрочем, в его драме, как бы патетична она ни была, есть нечто общее с драмой тех коммунистических руководителей, которые разошлись со своей партией. Причем генерал де Голль весьма далек от мысли, что Франция ему изменила ради его преемников.

— Но ведь в ваших главных мероприятиях, — говорю я, — разве не оказывались вы всегда в меньшинстве?

Разве не в меньшинстве он был 18 июня, затем неоднократно во время своих разногласий с Черчиллем, наверняка в меньшинстве он был в момент АМГОТа *, в эпоху наступления американцев, а потом тогда, когда оказался между парашютистами 1958 года и демонстрантами, шедшими от площади Бастилии к площади Нации *? И все это он принимал с легким сердцем; а что такое в сравнении со всем этим референдум по поводу административно-территориального деления и выборов в Сенат? Вполне возможно, что в этот момент французы повели себя

глупо, но разве заставлять их в конечном счете признавать Францию не стало со временем его единственной профессией?

Он сказал:

— Совершенно точно, я был в меньшинстве; но я всегда знал, что ситуация рано или поздно изменится.

Меня уже давно мучает вопрос, чем же в его глазах являются французы. Очевидно, чем-то переменным, как почти всякая вещь, обладающая определенной глубиной. «Славными ребятами с острова Сен»? Они были для него делегатами Франции (и кстати, они прибыли в Лондон вместе с аборигенами из Новой Каледонии). Женщинами, теми портнихами и машинистками, которые, не раздумывая, соглашались прятать наши передатчики в своих каморках, хотя они и отдавали себе отчет, что подвергают себя опасности попасть в Равенсбрюк? Толпой деревенских жителей, встречавших его после высадки союзников в Нормандии, толпой тех, кто приветствовал его в Байё * или на Елисейских полях? Толпой, встречавшей его во всех тех местах, куда он приезжал в бытность свою президентом? Узами, связавшими его со столькими веками? Он называет французами тех, кто хочет, чтобы Франция не умирала.

Я вспоминаю служанок в Больё, услышавших по радио объявление войны; вспоминаю своих товарищей по танку: сутенера Бонно с его раненой рукой, Праде и его сына, любимца звезд пожарника Леонара; товарищей по маки; женщин в черных шалях, стоявших каждая у своей могилы, когда хоронили тех, кто погиб в Коррезе; хозяйку отеля «Грама»; настоятельницу монастыря в Вильфранше; того узника тулузского монастыря Михаила-архангела, который озадачивал своим педантичным тоном гестаповца, входившего к нам в камеру с криком: «Террористы!», отвечая «Туристы!»; детей из Рамоншана и Данмари, пришедших вместе со своей учительницей откуда-то из непроглядной ночи, чтобы воткнуть свои маленькие флажки в могилы наших первых погибших бойцов или положить их на их тела.

— А в какой момент вы решили, что контракт разорван: в мае или же раньше, когда вас выбирали на второй срок?

— Много раньше. И тогда я взял Помпиду.

Что он имеет в виду? В момент парламентского конфликта? По возвращении из Афганистана? (Ему следовало бы сказать: «Оставил на своем посту».) Речь явно идет не о том моменте, когда он призвал Помпиду впервые, потому что это, конечно же, была бы неправда. Он продолжает:

— В мае все от меня ускользало. Я утратил власть даже над собственным правительством. Конечно, когда я обратился к стране с призывом, когда сказал: «Я распускаю палату депутатов», то все изменилось.

— Но ненадолго!

— Понимаете, я надеялся, что участие станет средством пробуждения страны, что оно заставит ее задуматься о собственном существовании, встряхнет ее! Но она уже сделала свой выбор. А успех действия зависит от стечения обстоятельств, которые никогда не повторяются.

— Я не очень-то верил в союз труда и капитала, а значит, и в участие...

— Но ведь вы защищали этот союз.

— Как только у вас назрел бы реальный конфликт с капитализмом, последствия этого конфликта оказались бы непредсказуемыми. Нечто похожее на последствия призыва 18 июня, мирного договора с Алжиром или дискуссий по поводу Сообщества *. А что касается марксизма, то я без устали убеждал своих друзей, левых голлистов: поймите же вы наконец, что слово «единение» является для генерала символом его надежды.

Я очень его насмешил, когда рассказал, как ответил каким-то идиотам, кричавшим, что мы воплощаем капитализм: «Вы что, вернулись с Зимнего велодрома? Правда? Это не капитализм, а метро!» Он, естественно, не является защитником капитализма, равно как не является и защитником пролетариата. Он согласился провести национализацию вовсе не для того, чтобы доставить удовольствие коммунистам: национализация в его глазах была средством воскрешения Франции. Он соглашается с марксизмом в том, что касается коллективной (он бы сказал — национальной) собственности на средства производства, но отвергает призывы к классовой борьбе.

— Пожалуй, вы правы, — сказал он.

— Социальные проблемы, естественно, не исчезли, но они отошли на второй план, как и во всем мире.

— Социальная справедливость опирается на надежду, на величие страны, а не на обладание домашними тапочками.

— Участие — это символ, вы понимаете мою мысль... Озабоченность жизненным уровнем превратилась сейчас во всех странах буквально в шкатулку печалей. Этот фактор причастен к половине всех событий, происходящих в мировой политике. А ведь дело же не в нем одном. Наше прежнее сельскохозяйственное общество преобразовалось благодаря тому, что крестьяне получили доступ к собственности. Точно так же преобразуется и наше индустриальное общество. И участие было чем-то вроде нащупывания путей этого преобразования. Вы ведь прекрасно понимаете, что, голосуя против меня, Франция отклонила не только новое административно-территориальное деление, сенатские реформы и прочее, понимаете, что она отклонила саму идею участия. Я сказал все, что собирался сказать. Но жребий был уже брошен.

Я слышал его речь, адресованную французской армии в Алжире: «А что касается вас, то не забывайте об одной вещи: вы являетесь не армией ради армии, вы являетесь армией Франции!» Слышал и речь про разрушение того, что называлось империей, равно как и Страсбургскую речь, произнесенную на ледяном ветру перед толпой враждебно настроенных офицеров: «Если вы не пойдете за мной, вас ожидает только одно будущее, будущее проигравших войну солдат!» А несколькими днями раньше он мне сказал: «Проявлять твердость характера — это значит прежде всего быть готовым пойти на риск оказаться покинутым либо оскорбленным своими. Люди считают, что мне непонятен смысл слов: «Утратить братство». Неужели они думают, что я недостаточно вкусил яда презрения? Им предстоит узнать еще многое! Однако нужно заранее смириться с возможностью потерять все. А как же иначе? Риск ведь тоже неделим».

Сегодня он говорит столь же уверенно, но только теперь он считает себя выбывшим из игры. Я спрашиваю его:

— Почему, господин генерал, поводом для вашего ухода послужила столь второстепенная проблема административно-территориального деления? Не из-за абсурда ли?

Он снова пристально смотрит на меня.

— *Из-за абсурда.*

До какой же все-таки степени он является олицетворением прошлого Франции, ликом, не имеющим возраста, таким же, как покрытый снегом лес, который он теперь выбрал себе в компаньоны!

Когда с ним говоришь, то видишь, что Шарля не существует, так же как не существует его и в написанных им «Мемуарах». Он был воплощением судьбы и продолжает им оставаться даже и тогда, когда говорит о своем разладе с судьбой. Говорить с ним о сокровенном означает говорить не о нем самом, что является запретной темой, а о Франции (в какой-то мере) либо о смерти.

— Вы правильно сделали, — продолжает он, — что не ушли сразу же после моего ухода. В том, что вы уйдете, не сомневались.

— Согласно конституции, вашим преемником становилось правительство, ваше правительство, а не председатель Сената. А до выборов можно было ожидать чего угодно. Впрочем, ситуация выглядела тогда какой-то совсем фантастической...

Фантастическая ситуация начала складываться еще раньше. У меня перед глазами возникает последнее заседание Совета министров под председательством генерала: проекты второстепенных декретов, принятие отставки одного префекта, сообщения. Незадолго до полудня закончил свое выступление ми-

нистр иностранных дел. И тогда встал генерал:

— Ну что же, господа, мы закончили!.. Значит, до следующей среды. Разве что... Ну что же, в таком случае одна страница истории Франции окажется окончательно перевернутой...

Она оказалась перевернутой.

Я продолжаю:

— На первом заседании палаты депутатов, состоявшемся после вашего ухода, в течение двух-трех минут я оставался наедине с Кувом * на министерской скамье и с Шабаном *, сидевшим в председательском кресле, — никто из депутатов первым войти не решался...

А здесь освещение кажется фантастическим из-за блеска снега. Мне хорошо знаком этот белый свет по его способности менять цвета картин; однако здесь картин нет. На столе расположились несколько листов рукописи, заполненные его устремленным вверх почерком, — должно быть, его «Мемуары».

— Вы, кажется, пишете продолжение своих «Мемуаров» и какую-то идеологическую книгу?

— Я пишу «Мемуары» *, охватывающие период с 1958 по 1962 год. Потом будет еще два тома.

— Но не про «пересечение пустыни» *?

— Нет. Вам сказали про идеологию, потому что я не выстраиваю события в хронологическом порядке. Так же как и в «Военных мемуарах», я здесь рассказываю о том, что я делал, как и почему.

Я опять вспоминаю отель «Лаперуз» в 1958 году.

А он продолжает:

— Как же все-таки странно, что, когда пишешь, приходится столько биться, чтобы вырвать из себя то, что хочешь написать! Когда говоришь вслух, то делаешь это почти без всякого усилия. Колетт * признавалась: «Как все-таки труден французский язык! Прилагательные!» И все же, несмотря на свой талант, она ошибалась: французский язык — это глаголы. А потом еще нужно освободиться от маниакальных привычек письменного стиля...

Он имеет в виду трехчленные периоды, которые его неотвязно преследуют и раздражают. Он от них так до сих пор и не освободился.

— Мне сказали, что вы собираетесь опубликовать все, что было вами сказано начиная с 18 июня: и речи, и пресс-конференции?

— За исключением разных шуток, которые произносятся на обочине дороги, перед мэрами. Нужно только будет проставить даты.

— Общий эффект может оказаться весьма своеобразным, так как ваши лондонские тексты — это не речи, а монологи, предназначенные невидимым толпам. В тот день, когда мы ус-

лышали по радио массу «личных обращений», которые, как можно было предположить, объявляли о начале высадки союзников, мне приходили на ум слова ночного обращения Родриго в «Атласном башмачке» *: «Офицеры, товарищи по оружию, собравшиеся здесь люди...»

Продолжение, которое я не цитирую, тоже звучит в моей памяти:

«...собравшиеся здесь люди, чье дыхание я смутно различаю вокруг себя, в темноте,

Все вы слышали про отправленное мне, Родриго, письмо и про давние узы желаний, соединившие меня с этой женщиной, вот уже десять лет назад превратившиеся в притчу во языцех между Старым и Новым Светом,

Смотрите же на нее, как те, чьим уже давно угасшим взорам представилась когда-то возможность смотреть на Клеопатру или на Елену, на Дидону * или на Марию Шотландскую...»

Как раз увидеть-то что-либо из вот-вот ожидаемой предутренней суматохи, с которой у нас было давно назначено свидание и которая для всех нас должна была принять обличье судьбы, не представлялось никакой возможности.

— Ваши выступления обладают неповторимой тональностью, — сказал я, все еще различая постепенно затихавшие в моем сознании клоделевские строфы, — именно благодаря тому, что их отличает от речей. (Впрочем, пресс-конференция тоже стали новым средством выражения.) Писатель ведь тоже столь же мало знает своих читателей. И в определенной мере он так же, как и вы, их создает... Однако любой великий писатель связан со своими предшественниками, тогда как у ваших выступлений прецедентов не было. За исключением одного. Вы же знаете Везел: каким образом рыцари, которые находились внизу, смогли услышать святого Бернара *, который, естественно, говорил без микрофона? Тем не менее они ведь отправились в крестовый поход.

Впрочем, будет место и для удивления; я не припоминаю, чтобы мне удалось найти в «Военных мемуарах» фразу: «Вполне нормально и абсолютно справедливо, что во Франции французы будут убивать немцев: если те не хотят этого, им достаточно остаться у себя дома».

— Совершенно верно. Когда я расскажу все про институты, мне придется рассказать еще о чем-то другом! Коль скоро уж я пишу, то от меня ждут, чтобы я рассказал о том, что я думаю, что я сделал! И я расскажу. Я расскажу также о том, что произошло.

Я считаю, что не столько институты создают людей, сколько люди создают институты; но я знаю, что эта книга, наследница «Военных мемуаров», окажется римским упрощением собы-

тий — речь идет о такого рода упрощении, благодаря которому Рим и в литературе, и в архитектуре с такой силой навязывает свой порядок, — и что в ней ничего не будет сказано о том, что он всегда держал наготове несколько видов оружия (причем не безразлично каких) и в нужный момент мгновенно пускал в действие самое эффективное из них. Эта черта характера у него не латинская, а римская, то есть нечто почти противоположное тому, из чего складывается латинский характер.

— Я люблю «Трех мушкетеров», — говорит он. — Это столь же прекрасно, как ваш приятель «Кот в сапогах». Однако их популярность объясняется тем, что война там никак не вытекает из политики Ришелье. Она возникает там исключительно благодаря подвескам Анны Австрийской, которые привез д'Артаньян. Люди любят, чтобы история была похожа на них самих. По крайней мере чтобы она походила на их грезы. К счастью, порой грезы у них бывают великие.

— Есть одна литературная область, — говорю я, — которую критики пока что еще не выделили и продолжают смешивать ее с мемуарами: это книги, рассказывающие о том, что их автор сделал. А не то, что он чувствовал. Ведь зачастую мемуары являются воскрешением чувств. Тогда как рассказ об исполнении какого-то великого замысла ставит другие проблемы. Если бы «Записки о Галльской войне» были написаны не Цезарем, то книга не стала бы от этого ни лучше, ни хуже, она была бы просто несколько иной. А вот если бы «Мемориал» был сделан на основе воспоминаний Лас Каза, *, если бы Наполеон в них не говорил, то это была бы совсем иная книга. На вас порой нападали, а еще чаще вами восхищались. Как мне кажется, по недоразумению. «Военные мемуары» не имеют ничего общего с «Замогильными записками» *, равно как не будет иметь ничего общего с ними и то, что вы пишете сейчас. Разные цели определяют выбор различных средств.

Мне думается, его «Мемуары», независимо от того, идет ли в них речь о катастрофе 1940 года или о надежде 1958 года, являются трагедией, где друг другу противостоят только два действующих лица: французы и он сам. В войне, так же как и в мире, ставкой в их игре оказывалась Франция. Причем несколько раз он вел игру против большинства французов. И оттого испытывает некую горькую и тайную гордость. Надеется ли он, что потомки поймут, или сейчас он находится уже по ту сторону и этой, и иных надежд? Мне видится некто подобный Эдипу, про которого Софокл рассказал бы нам, как тот хотел построить Фивы вопреки пожеланиям всех жителей города. В Кронштадте, в тот момент, когда пролетарии пошли против пролетариата *, Ленин и Троцкий столкнулись с аналогичной драмой и неистово ее разрешили. Он обладает на редкость твердым характером.

ром, а ведь он все-таки человек, а не театральный персонаж. В один из вечеров он мне сказал: «Если бы речь шла лишь о том, чтобы подвести итог, то зачем бы нужен был я? Закрывать великую книгу истории Четвертой республике удалось бы и без меня. В «Военных мемуарах» нечто такое, что можно назвать осторожной щепетильностью, не позволяет ему сказать главного, которое, однако, не составляет для него тайны. Через несколько дней после своего возвращения к власти, в эпоху алжирской драмы, он говорит: «Вы ведь знаете полковника Лашруа, не правда ли? Я его никогда не видел. Пришлите его ко мне». Этот полковник был тогда одним из руководителей психологической службы и своего рода местным министром информации, устраивавшим пресс-конференции с бургундским акцентом. Приходит он в Матиньон *. Генерал его выслушивает. «Прекрасно. А теперь, Лашруа, усвойте крепко-накрепко одну вещь: Францию не нужно защищать от де Голля». Лашруа выходит. «Когда я говорил в Алжире, — сказал мне тогда генерал, — все поняли, что на этот раз они слышат голос Франции».

Помолчав, он продолжает:

— С тем, чего мы хотели, то есть величием — почему бы нам не назвать это его настоящим именем, — покончено. О! Франция еще в состоянии удивить мир, но позднее. Она будет договариваться обо всем. С американцами и даже с русскими, с немцами и с коммунистами. Переговоры уже начались. И будут продолжаться, хотя особого проку ждать от них не придется. Разве что произойдет событие! И Франция на события не настраивается. Как, впрочем, и остальные. У меня нет никакой уверенности, что все это продлится. Вот увидите. Парламентарии способны парализовать действие, но совершенно неспособны им руководить. Франция возродилась тогда, когда пошла наперекор парламентаризму, а теперь она устремляется к нему, и защищать ее он будет не более умно, чем в те времена, когда я боролся за бронетанковые войска!

— Но ведь Гитлер умер.

— Страна выбрала рак. Что я мог поделывать?

Он всегда старался не путать страну с политиками, но только что он произнес именно слово «страна», а не «политики».

С величием покончено... Он возродил Францию благодаря вере, и вера имеет не только религиозный смысл. Каким образом святой Мартен, венгр, сумел обратить в христианство наши луарские провинции? А как ирландские проповедники вводили христианство в Германии? Для того чтобы стать генералом де Голлем, одной только его веры во Францию было бы недостаточно; однако без нее он был бы всего лишь победителем, затесавшимся среди истинных победителей, или же побежденным, в большей или меньшей степени отмеченным печатью героизма.

На потерпевшего поражение Наполеона навалились всем своим весом его былые победы, но он-то думал только о себе, не о Франции. В который уже раз обнаруживаю в генерале человека, которого я называю главой религиозного ордена. Коль скоро Франция его покидает, он уносит свое мерovingское одиночество * в Клерво и не собирается идти служить Великому Турку. Его взаимоотношения с Францией очень и очень непросты. Когда-то он сказал, употребив прошедшее время: «Но я, я был Францией». А его ответ Черчиллю «Если я не Франция, то что же я делаю в вашем кабинете?» выглядит как бы поставленным в сослагательном наклонении. После его знаменитого призыва никто, и прежде всего он сам, не верил, что он является Францией. Он решил быть ею. Когда он сказал раздавленным французам, всему удивленному миру: «Франция существует!», то кто, кроме него, осмелился бы это сказать? Политики Третьей республики в это больше не верили. Маршал Петен выглядел тогда трогательным хранителем развалин, но его охрана не только не означала, что Франция существует, а как раз напротив — подчеркивала, что Франция перестала существовать. Генерал остро ощущает, что причины агонии Франции заключаются не в том, что она перестает быть достойной веры, что агония вызвана поражением, не изъянами демографии, промышленности и т. д., а неспособностью верить вообще во что бы то ни было. Как-то раз он мне сказал: «Даже если доводы, которые коммунизм предлагает русским, чтобы те верили в Россию, не стоят выеденного яйца, он необходим, потому что он их предлагает».

А Неру спросил меня с еще более заметной усталостью в голосе: «Разве не приходится нам постоянно следить и за тем, чтобы крепко, обеими ногами стоять на земле, и за тем, чтобы наши головы не оставались на уровне той же самой земли?..» Слово «величие», которое генерал столь часто употреблял и которое столь же часто использовали в качестве аргумента его друзья и враги, в конечном счете стало ассоциироваться с пышностью, с выражением театральной стороны истории. Между тем этот рабочий кабинет, отмеченный печатью пустынных горизонтов, находится не в Версале, так что идея величия, сформулированная генералом, неотделима от идеи строгости, что обнаруживалось даже во время приемов в Елисейском дворце; неотделима от понятия независимости и от резкого неприятия театральности. Шах поведал мне: «Когда я впервые встретил его в Тегеране, я был еще молодым человеком. И попросил у него совета. Он мне ответил: "Ваше высочество, вам будут подсказывать немало ловких ходов. Никогда не слушайте этих подсказок! Я могу дать вам только один, но очень важный совет: употребите всю вашу энергию на то, чтобы остаться незави-

симым."» Сколько раз цитировали фразу «Быть великим — это значит вести великую битву», потому что он поставил эту фразу Шекспира в качестве эпитафии к «На острие шпаги»*. А мне он сказал: «Величие — это путь к чему-то неведомому».

А сколько раз он повторял: «Когда дела идут плохо и вам нужно принять решение, смотрите на вершины: там нет завалов». Вопреки предположениям его друзей и особенно его врагов, величие является отнюдь не тем, на обладание чего он якобы претендует, а тем, чему он служит, зная, что оно в свою очередь служит ему. Подобно тому, как святой Бернар находился на службе у Христа и многого от него ждал... Для генерала величие всегда ассоциировалось прежде всего с одиночеством, но с одиночеством, где он был не один.

— Что бы я стал делать на улице Бретей? — сказал он. — Должно быть, мне выпала судьба иметь в качестве спутника несчастье, а не весь этот прелестный мир...

— Но также и Освобождение, и десять лет воскрешения Франции.

— То, что сейчас происходит, — это ведь даже и не несчастье. Причем в третий раз схватить Францию за волосы в самый последний момент мне уже не удастся.

— Вы полагаете, что в Коломбе вы не окажетесь в роли статуи Командора?

— Видите ли, я так вам скажу... Я прерву свое молчание только в том случае, если страна окажется в опасности. Все должны знать — и я рассчитываю на вас, — что я не причастен к тому, что происходит. Это не имеет ко мне никакого отношения. Это совсем не то, чего я хотел. Совершенно не то. Я не собираюсь кого-либо упрекать: упрекать кого-то всегда означает признаваться в собственной слабости. Однако страница перевернута. Придется снова следить на карте за победоносными этапами других. И всласть их комментировать!

Его упреки в отсутствии великого проекта относятся не только к его преемникам, они относятся ко всем.

— Президенту Никсону еще аплодировали, — продолжает он, — потому что Азия продолжает верить в возможность мира. И все же ему не удалось покончить со шкатulkой печалей. Всякий великий проект обязательно должен быть долгосрочным проектом. А я не уверен, что Соединенные Штаты, как ни велика их мощь, проводят политику, рассчитанную на долгий срок. У них есть одно желание, которое они когда-нибудь осуществляют и которое сводится к тому, чтобы покинуть Европу. Вот увидите!

Что касается России, то она хочет выиграть время. А у Франции никаких проектов вообще не осталось. Я пишу не для тех, кто будет меня читать поначалу; время моих читателей еще не

пришло. Когда я умру, вы увидите прежде всего, как начнут появляться партии со своими несчастными программами, но в конце концов они бросятся друг другу в объятия.

— Когда приезжал Фостер Даллес *, вы сказали мне: «Запада не будет». Совсем не обязательно, чтобы Европа была Западом, но если она вдруг сможет построить себя, противопоставляя себя Западу, то в добрый путь!

— Когда французы поняли Фостера Даллеса? Они были тогда со мной. А теперь они уже не со мной. О! они теперь и не с другими, ни с кем...

Другие... Когда Троцкий говорил о Сталине, он называл его Другим. Мы с Троцким беседовали наедине в Руайане, в его маленьком домике, гудевшем от его учеников; стол был завален газетами. Здесь же чувство одиночества возникает не только оттого, что мы одни. Мне кажется понятной усталость, которую генерал выражает с заразительным спокойствием; причины ее мне понятны меньше. Я вспоминаю заседание Совета министров сразу после заключения Эвианских соглашений *. Участники переговоров закончили свои сообщения. Генерал, у которого была привычка вначале предоставлять слово молодым государственным секретарям, на этот раз начал не справа, а слева, и поэтому мне пришлось выступать первым, отнюдь не случайно. Я сказал, что компенсация, которая будет выплачена живущим в Алжире французам, потребует меньше средств, чем нескончаемая война, но главная проблема здесь состоит в том, насколько существующее в мире представление о Франции совместимо с этой войной.

Страстно защищал свою точку зрения Мишель Дебре, горькие интонации слышались в голосе Жака Сустеля *. На этот раз речь шла не о торжественном шествии вниз по Елисейским полям, а о крупной игре, которую предстояло играть под столом. Мы дискутировали, сидя перед неподвижным генералом, отделенные от непринужденно пролетавших облаков обрамлявшими их длинными зелеными шторами. После того как были высказаны все мнения, генерал сказал:

— Судьба Франции не обязательно должна совпадать с интересами живущих в Алжире французам.

А раз так, то войну в Алжире можно было считать законченной, и вот-вот должны были начаться покушения, организованные ОАС.

Луи Мартен-Шоффье * уверял меня, что ему генерал сказал уже в 1958 году: «Мы покинем Алжир». Мне он сказал только следующее: «Алжир останется французским в такой же мере, в какой Франция осталась римской. Но будьте осторожны!» Так же как и он, я тогда еще верил в «почетный» мир. Он хотел Добиться договора любой ценой и был уверен, что получит его. Ошибка. Однако я знал, что из массы лежащего в огне раскален-

ного добела железа он уже готовится вытащить железо Франции. Во время переговоров в Мелене я слышал, как он говорил: «Мишелю Дебре это, значит, не нравится? А мне, думаете, мне это нравится?»

Тогда почему же он решил превратить эпизодический референдум в непоправимый конфликт? Противодействие, которым был встречен его проект нового парижского Центрального рынка, выявило ограниченность его полномочий перед лицом полномочий муниципалитетов, но он был готов выдержать еще один бой.

Он обращается ко мне с вопросом, словно наши мысли сами молчаливо разговаривают друг с другом:

— Вы знаете, что крысы, покинувшие Центральный рынок, уже добрались до Рёнжи *?

Я был и сам заинтригован поведением крыс, которые перебирались в Рёнжи, как будто какой-то крысиный гений им рассказал про переселение рынка. Не их ли эмиграция напомнила мне последнюю церемонию переходного правительства перед Триумфальной аркой? Барабанный бой в честь погибших солдат согнал со скульптурной группы «Марсельеза» Франсуа Рюда последнюю стаю голубей, рассеявшихся в потоках воздуха...

— Вы читаете прессу, господин генерал?

— О, разве что заголовки!.. Я же вам сказал: я не имею никакого отношения к перипетиям.

— Вы не интересуетесь даже тем, что происходит в мире? Когда-то я пытался понять энтузиазм, сопутствовавший вам в дальних краях. В Канаде, в Румынии — здесь все понятно! В Латинской Америке тоже куда ни шло. Но в Ширазе? Жители которого не смогли бы найти Францию на карте... Причем дело было вовсе не в пропаганде, даже, например, в такой, которая сыграла большую роль во время путешествия Хрущева.

Хотелось бы мне знать, что же вы для них значили. Некоторые кричали «Шах-ин-шах», а другие, как сказал мне посол, что-то вроде «Да здравствует Рустем!», то есть своего рода эквивалент нашего «Да здравствует Роланд!». Стало быть, вы являлись для них воплощением одного из их собственных героев. Однако мне хотелось бы знать глубинный смысл всего этого: кем был генерал де Голль для приветствовавших его людей.

— То же самое, вероятно, и в Индонезии... В Латинской Америке другое дело. Почему бы испанцам меня не любить? Любят же они Дон Кихота! Однако весь мир тоже уже надел домашние тапочки. Мыши пляшут. Знаете, даже в самой Франции, причем в самые лучшие времена, всегда приходится удивляться, почему же люди все-таки тебя любят. Конечно, я отдаю себе отчет...

Вашим предшественником, если не в Иране, то по крайней мере во Франции, является вовсе не политик, даже такой, например, политик, как Клемансо, а, может быть, Виктор Гюго...

— Вы знаете, по существу, мой единственный соперник на международной арене — это Тентен *! Мы оба — дети, которые не позволяют взрослым обманывать себя. Этого просто не замечают из-за моего роста.

Его полусмех замирает в усталом подрагивании плеч. Эйнштейн однажды сказал мне по поводу Ганди: «Пример возвышенной в моральном отношении жизни неодолим». Я в этом отнюдь не уверен. Тогда получается, что жизнь генерала де Голля, конечно же высокая, не является возвышенной. Что сделало его легендарным персонажем? Он ведь не является великим полководцем, как не является и святым. Не является победителем в войне, в том смысле, в каком им был Клемансо. Великий политик? Однако ни Ришелье, ни Бисмарк не являются легендарными личностями; политические колоссы не являются ими никогда. Я ему сказал, что его Франция иррациональна, но и сам он тоже иррационален. Естественно, в его престиже немала рационального: он был освободителем, одиноким, неуступчивым победителем, воплощением национальной энергии и, следовательно, воплощением надежды, в 1958 году тоже; единственным человеком, которого смогли противопоставить катастрофе, причем не потому, что он должен был восстановить «национальное единство», подобно Пуанкаре или Думергу, а потому, что он нес Францию внутри себя; в какой-то степени он был и пророком... Само собой разумеется, он обладает талантом: когда он выступает перед собравшимися представителями власти в Великобритании или в Соединенных Штатах, то он говорит как сама Франция. Президенты Четвертой республики тоже, может быть, хорошо бы говорили; разница состоит только в том, что их не стали бы слушать.

Его диалог с политиками всегда был диалогом глухих. Роялисты, которые противопоставляли себя сначала Дантону, потом Сен-Жюсту, конечно же, отнюдь не все были простаками, и идеология некоторых из них была менее несбыточной, чем идеология Сен-Жюста. Однако политика последнего не сводилась к его идеологии, а определялась страсбургской гильотиной и победой при Флёрюсе *. Когда подобный политик начинает говорить о том, что генерал «должен был бы сделать», возможно, он бывает и прав, но это не имеет никакого значения. Как, впрочем, и голлистская идеология. То, что столь часто люди называли безусловным (кстати, подчинение Сталину и его судам таковым ведь не являлось и было вполне, вполне обусловленным!), оказалось иррациональным. Существует красноречие поступков, которое хотя и порождает красноречие слов, но

в корне от него отличается; таков был призыв 18 июня. Этот призыв оказал на мир таинственное, не имеющее ничего общего с политикой воздействие. Кому из живущих где-нибудь в Мексике или в Ширазе известны имена противников генерала? Что могли бы они там означать для людей, живущих в Мексике или в Ширазе, — ровным счетом ничего?

А ясно ли было, что означает генерал де Голль для французов, которые шли за ним? Несомненно: он был одним из тех людей, без которых Франция была бы не такой, какая она есть, а иной. А для других? Для третьего мира его имя означало независимость, причем не только нашу независимость: он восстановил Францию, которая была когда-то любима во многих странах, а не Францию *über alles*¹; он стал защитником Африки, а в конце также и Вьетнама. Он вернул Франции силу, ту, которую чувствовал в себе, и прежде всего силу, связанную с нашей слабостью: его, выступающего против колоссов, слушали, потому что он не мог никому угрожать. Однако ничто из всего этого и даже все это еще не объясняет ни энтузиазм в Иране, ни уважение Мао, ни слова мексиканского школьного учителя, который сказал Жоксу *, посетившему его маленький музей: «Прощайте, служитель героя...» Учитель называет так генерала де Голля не потому, что одобряет его политику. Персонаж, которого он называет героем, принадлежит миру воображаемого. Его действие обусловлено не достигнутыми им результатами, а сновидениями, которые он воплощает и которые ему предшествуют. Герой истории является братом героя романа: рыцарь — это не рейтар. Распятие открывает путь в царство самопожертвования. Разумеется, поступки героя истории не столь однозначны и славой своей он часто бывает обязан разнообразным чувствам. Слава Александра Македонского (самого великого в западном мире завоевателя) понятна, а слава Цезаря нет; однако убийство Цезаря гарантирует ему славу. Если поражение Наполеона не разрушает его легенду, то лишь потому, что остров Святой Елены сделал его собратом Прометея. Он стал Наполеоном тогда, когда перестал быть Бонапартом, так же как Микеланджело стал таковым, перестав быть господином Буонарроти, о чем я однажды уже говорил. А генерал де Голль стал генералом де Голлем, перестав быть Шарлем. Персонаж — это вовсе не улучшенный вариант «индивида».

Виктор Гюго — это вовсе не усовершенствованный Виктор. Может быть, именно поэтому генерал в тех случаях, когда речь заходила об Истории, нередко говорил о себе в третьем лице: де Голль. Человечеству необходимо создавать королевский портал Шартра, Эллору *, скульптурные китайские пещеры либо

¹ Превыше всего (нем.).

преображенных персонажей Сикстинской капеллы. В Ширазе, в Мексике генерал де Голль, очевидно, выглядит как один из персонажей Сикстинской капеллы. В разговоре со мной Мао не раз упоминал его имя, а вот что касается Франции, то я совсем не уверен, что она слишком уж часто возникала в нашей беседе. Генерал не отделим от силы, которая выглядит не столько его собственной силой, сколько силой судьбы. И его друзья, и его враги находят в нем что-то от колдуна; точно так же и для судей в Руане было ясно, что если Жанна д'Арк не связана со святыми, то как ей не быть связанной с дьяволом? Я опять вспоминаю Эйнштейна, зажавшего скрипку под мышкой: «Слово "прогресс" будет оставаться бессмысленным до тех пор, пока в мире будут несчастные дети». А Достоевский сформулировал эту мысль еще более трагически: «Если мир позволяет злодею мучить невинное дитя, то я возвращаю мой билет» *. Я вспоминаю лицо Бернаноса, когда я ему рассказал про лагерь смерти: «Сатана снова явился на землю». Наше Соппротивление любой ценой (причем порой еще какой ценой!) было ответом на эти лагеря, про которые оно тогда еще ничего не знало: маки Веркора стали ответом на Маутхаузен. И получается, что в этой области генерал де Голль отвечает Гимmlеру. В глазах французов. А в глазах других людей? Французская армия в тот момент, когда она потерпела сокрушительное поражение, вообще с 1918 года, считалась самой сильной армией в мире. Соразмеримы ли масштабы воскрешения с масштабами катастрофы. То, что произошло, в военных категориях не измерить. Существование некоего типа человеческой личности, не имеющего названия, но, возможно, играющего в Истории столь же необыкновенную роль, как и герой или святой, тип человека, ускользающего от судьбы, — вот, может быть, где таится разгадка тайны легендарного человека.

Он кладет руку на незаконченную страницу своих «Мемуаров»:

— Мальро, а если откровенно, то нужно ли все это?

Все его друзья умерли, так же как и большинство моих друзей. Он добавляет:

— Зачем писать?

— И зачем жить? Вы знаете эту фразу из Бхагавадгиты: «И зачем нужна власть, зачем нужна радость — Зачем нужна жизнь...»

Гигантские головы Элефанта в полутьме, пронзительные крики чаек над сутолокой волн Аравийского моря... А сейчас передо мной этот снег, который бесконечно будет возвращаться на землю.

— Мой генерал, а зачем нужно, чтобы жизнь обязательно

имела смысл? В Сингапуре, когда я был там в последний раз, я встретил одного из моих старых друзей. Раньше он руководил департаментом просвещения по Индокитаю, а потом, задумавшись о грядущей смерти, стал коллекционировать бабочек. «Теперь я часто принимаю точку зрения бабочек...» Им двести шестьдесят миллионов лет, а жизнь одной бабочки длится в среднем два месяца. У них есть свои собственные области в Малайзии, свои острова. На Яве, на Бали они появились задолго до человека... Соответственно, они, очевидно, рассказывают друг другу бабочкины истории: цветы покинули деревья, чтобы превратиться в подарки, чтобы украшать волосы. Люди сменяли друг друга и, естественно, убивали друг друга. Итак, они следовали один за другим. Безумцы... Будьте уверены, что для бабочек единственная сколько-нибудь серьезная часть человечества — это женщины, которые не уничтожают друг друга. Вот так, очевидно, рассуждают они, мы-то, бабочки, остаемся неизменными уже вон сколько времени, а несчастные людские истории...

— И История людей.

— ...нам кажутся безумными, лишенными смысла... Если не ставить мир в зависимость от человека, то история человечества оказывается всего лишь одним приключением среди многих других. Я процитировал моему бедному другу священный индийский текст, где рассказывается о том, как большие бабочки после битвы «салятся и на мертвых воинов, и на спящих победителей...»

— Это прекрасно. Я согласен, что бабочки могут рассматривать человеческую жизнь как перипетию. Однако они не отвечают на вопрос, который вы задали. Хотя в каком-то смысле они его упраздняют.

Он повторяет как ироническое и, возможно, горькое эхо:

— Зачем нужно, чтобы жизнь обязательно имела смысл?..

Сколько людей в течение скольких веков задавали себе этот же вопрос в маленьких комнатках Запретных городов * или же под небосводом, принадлежавшим в равной мере и вавилонским царицам, и римским рабам, смотревшим, как умирают их дети, новорожденные рабы! Он едва заметно пожимает плечами:

— А что отвечали философы с тех пор, как они начали размышлять?

— Не у религий ли надо спрашивать ответ на этот вопрос? Если нужно, чтобы жизнь имела смысл, то, очевидно, потому, что только он, этот смысл, способен в свою очередь дать ответ на вопрос о смысле смерти... Вы же знаете фразу Эйнштейна: «Самое удивительное то, что мир почти наверняка имеет смысл». Однако вовсе не обязательно, чтобы смысл мира совпадал со смыслом нашей жизни... И если наша цивилизация не первая

в ряду тех цивилизаций, которые отрицают бессмертие души, то она первая цивилизация, для которой душа не имеет значения...

— Почему вы говорите так, как если бы были верующим, хотя вы не верите в Бога?

— Ренан же не был идиотом...

— Иногда да.

Он полагает, что я по-своему тоже верующий, а мне в свою очередь порой приходит в голову мысль, что он по-своему неверующий. Он мне сказал: «Существует религиозное утешение, но религиозной мысли не существует». Даже индусы, считающие, что человеческая мысль комично плавает на поверхности священного, и те такого бы не сказали. Однако он хочет сказать то же самое, что говорит Индия. Утешение — это не могила его дочери (которая для него значит немало, поскольку он мне сказал: «Я буду похоронен с Анной» *), это, очевидно, то, что в его глазах согласуется с вибрацией души, которую мысль принимает за свое собственное дрожание... Он мне говорит:

— Вы знаете, что такое смерть?

— Богиня сна. Кончина меня никогда не интересовала, да и вас тоже — мы принадлежим к той категории людей, которые к возможности оказаться убитыми относятся с безразличием. Однако мое отношение к смерти отнюдь не однозначно. Когда в Грама немцы поставили меня к стенке, я не верил, что буду казнен. Однако вот такой эпизод: во время атаки Парерских высот (вы, если я не ошибаюсь, были на соседнем холме?) мортирные снаряды летят со своим характерным мяуканьем, от которого кажется, что они ищут именно тебя. Мы ложимся, и я продолжаю шутить. Один осколок разрезает мою португепю пополам. А раз такое происходит, когда ты лежишь, то это значит одно: еще немного, и все было бы кончено. И тут я умолкаю. Почему? Может быть, потому, что со смертью не разговаривают...

Самое впечатляющее воспоминание в этой области связано у меня с Испанией, воспоминание очень точное, потому что мне стоило немалых трудов воссоздать его в моем фильме. Смотрю в прицельное приспособление, в большой такой аппарат тех времен, и вижу, как прямо на нас мчатся итальянские истребители. Начинаю стрелять, кабина самолета наполняется адским грохотом, прицельное приспособление все трясется. И вот в тот самый момент, когда я целюсь в итальянцев, по приспособлению безмятежно разгуливает муравей: муравьи ведь лишены слуха.

Люди в определенной мере тоже.

А во время работы над фильмом муравьи, которые были так спокойны под пулями, постоянно норовили убежать... В конце концов режиссер попросил намазать медом ту сторону прицель-

ного приспособления, в которую должны были направляться муравьи, и наши мучения кончились...

Как гласит переиначенный на современный лад ислам: разве раздавленное автомобилем на дороге насекомое способно понять, что такое двигатель внутреннего сгорания?

На стол прыгает шартрезская кошка. Откуда она взялась? Дверь ведь закрыта.

— А вы знаете, — говорит мне генерал, иронически прищурив глаза, — что в ООН есть черная кошка, которую никто не осмеливается прогнать? Когда эти люди говорят о будущем мира, она проходит для того, чтобы все поставить на свое место...

Его кошка, словно поняв, что речь идет о ней, подходит к нему.

— Мой генерал, а можете вы ничего не делать?

— Спросите у кошки. Мы вместе с ней и гадаем на картах, и гуляем. Навязать себе дисциплину праздности всем дается нелегко, но это необходимо. Жизнь — это не труд: непрерывный труд сводит с ума. Запомните это. Желание беспрерывно трудиться — плохой признак. Те из ваших сотрудников, которые не могли расстаться с работой, отнюдь не были лучшими.

Он рассеянно гладит кошку. Я говорю:

— Один из умнейших людей, которых только я знал, умер от рака, говоря Полану *: «Какая это занятная вещь — смерть!» А вот что касается смерти тех, кого я любил...

Он слегка повернулся в сторону коломбейского кладбища, которое из окон его кабинета не видно. Сзади него идет снег. Кажется, его дочь Анна похоронена на этом кладбище.

— О смерти тех, кого любишь, — говорит он, — по прошествии какого-то времени вспоминаешь с необъяснимой нежностью.

Он никогда мне о ней не рассказывал и лишь изредка как-то полупонамеком, с лаской в голосе упоминал ее имя. Когда он жил в Лондоне, то гулял с ней, держа ее за руку, и, возможно, ход его мыслей был бы несколько иным, если бы перед глазами у него не было ее несчастного образа.

— Это неправда, — продолжает он, — что наша жизнь определяется нашим глубинным опытом. В том, что касается действия, это верно, а в остальном вовсе нет.

— Опыт возвращения на землю, столь хорошо мною прочувствованный, сначала когда я возвращался из Аравии, где искал город царицы Савской, потом после имитации моего расстрела во время Сопротивления, в моей памяти понемногу стирается...

— Стираются в памяти даже самые ужасные несчастья. Однако естественно то, что мы думаем о смерти... Важно то, что смерть заставляет нас думать о жизни.

— Мой генерал, вам не хуже, чем мне, знакомо знаменитое

высказывание: жизнь — это совокупность сил, сопротивляющихся смерти *. Которое подразумевает, что душой мира является смерть, и, как мне кажется, является чистейшим пустословием. Существует, конечно, проблема нашей смерти, но лишь потому, что мы живые существа. И эта проблема вовсе не обязательно является проблемой смерти как таковой.

Когда речь идет о вере, то здесь все получается иначе...

Как всегда в тех случаях, когда я начинаю говорить о вере, а значит, и о его собственной вере, он делает неопределенный жест, как если бы отгонял от себя мух.

— Котятка играют, а кошки размышляют, — отвечает он. Мне хочется погладить сидящую на столе кошку.

Я отвечаю:

— Либо делают вид. И дети, и взрослые размышляют либо делают вид, что размышляют. Один мой друг, знаменитый психоаналитик, сказал мне: «Жизнь — это человек в метро с чемоданом в каждой руке. Он очень торопится, выбирает пересадки, чтобы доехать кратчайшим путем, но вот только на какую станцию? К смерти. Однако ему так дороги его чемоданы...»

— Сколько лет вашему другу? Его точка зрения выдает не слишком молодого человека.

— Шестьдесят пять лет, что-то около этого...

— Еще молодой. И все же он не в полной мере учитывает фактор честолюбия. А это ведь самая распространенная болезнь. Чемоданы битком набиты именно ею. Просто удивительно.

— А, кстати, и желание быть любимой или любимым часто имеет тот же самый источник. Вы обратили внимание, что честолюбие не фигурирует в числе смертных грехов?

— Гордыня и зависть позволяют обнаружить его присутствие. Ну и что? На протяжении многих веков люди размышляли над смыслом жизни, пользуясь тем светом, который отбрасывала на нее смерть: духовное уединение, монастырь после пятидесяти лет. А теперь вот уже многие годы наблюдается стремление избежать этого вопроса. Там, где религия устраняется, наука живет в веках, а ученый — заботами сегодняшнего дня. Образ чемоданов поразительно удачен, но жизнь вовсе не сводится к навязчивому желанию сохранить чемоданы, она состоит в том, чтобы от них освободиться.

Хотя, впрочем, не всегда! Чемоданы позволяют не задумываться об остальном, то есть о существенном. Интересно, держат их в руке ради того, что везут? Или потому, что везут то, что позволяет забыть про путешествие? Что еще в них, кроме честолюбия? Они полны сиюминутных страстей. У кого-то в багаже есть еще и гений. Ну а смерть заботится о том, чтобы освободить человека от этой суеты.

— Либо подвергнуть ее метаморфозе.
— Вот-вот. Почему бы и нет?
— Однако не всякому дано везти в своих чемоданах Францию.

— Я вернул Франции то, что она мне дала.
Снег все идет и идет.

Он продолжает, пожимая плечами:

— А что значит избавиться от чемоданов?

— Жить в настоящем так, как вы живете в Истории?

— История может мотивировать жизнь, но друг на друга они не похожи.

— Как живопись...

— Сталин сказал мне одну серьезную вещь, и я вам его слова уже цитировал: «В конце концов смерть всегда оказывается победительницей».

«Впрочем, есть созерцание».

Когда-то он мне сказал эту фразу, и я ее тогда не понял; не понимаю я ее и сейчас. Однако в настоящий момент его жизнь полностью подчинена его «Мемуарам».

— Литературный труд тоже является мощным наркотиком, — говорю я. — Чемоданы полны белых листков, которые требуют, чтобы на них появились какие-то записи... Когда в игре не участвует никакая трансцендентность, наиболее сокровенным и самым острым желанием человека часто является следующее: как сделать так, чтобы не думать о главном?

Когда речь идет о вас, то у меня в сознании порой смутно, а порой явственно звучит знаменитая фраза Наполеона, произнесенная им перед Старой гвардией: «Ну, а теперь я буду писать про великие вещи, которые мы делали вместе...»

— Ему-то было хорошо! — Его иронический голос меняется, как если бы он возвращался назад: — Он верил, что потомки смогут согласиться с ним, с тем, что он думал о своих действиях, с тем, что он называл своей славой. Мы к этому еще вернемся. Когда пишешь, то забываешь про преследующую тебя свору. Это важно.

— Рим, очевидно, создал самую первую атеистическую цивилизацию. Правда, суеверную. Когда Цицерон или кто-то там еще упоминает о священных голубях, то говорит, что не любит этих летучих чиновников.

— Суеверную, как и вообще все атеисты. Не более того. Во что верил Цезарь? Ни в одном из оставленных им произведений этого не вычитаешь. И даже ни в одном из тех, которые написали о нем. А ведь написали много.

— Вот почему я считаю важным то, что вы пишете ваши «Мемуары». А то, думаете, не напишут другие, если вы не напишете? «Зачем тебе, Сократ, учиться играть на лире, раз ты скоро

умрешь?» — «Чтобы прежде, чем умереть, сыграть на лире».

Существует еще один вариант ответа. Посмотрите, что сейчас происходит вокруг майских волнений. Суесловие вокруг Святой Елены достаточно убедительно показывает, что «Мемориал» незаменим *.

К тому же, когда пишете вы, то независимо от того, называете вы себя «я» или «де Голль», читатель воспринимает ваше свидетельство иначе, нежели рассказ кого-либо другого. Совершенно разный подход. Другой бы передавал так, как сочиняет романист тогда как вы выступаете в роли свидетеля, даже в том случае, когда читатель считает, что вы ошибаетесь. Я повторяю свою фразу: «Мемориал» незаменим.

Вы мне сказали: французы хотят знать, что я обо всем этом думал. Возрождение Франции, как, впрочем, и Сопrotивление, не сводится к событиям. Разумеется, это отнюдь не было сновидением. Однако союзники, главным образом американцы, могли бы воспринимать Сопrotивление как нечто вроде Иностранного легиона, вроде армии Андерса *, и только вы сделали это восприятие иным. Кстати, и восприятие Возрождения Франции тоже. Хватило несколько дней, чтобы речь, произнесенная 18 июня, обрела иное значение, чем призыв создавать Иностранный легион. Вы говорили: огромные силы еще не сказали своего слова; мы соберем необходимое количество самолетов и танков, и мы обратим наше поражение в победу. Доводы были неопровержимые. Однако никто не обмолвился об этой речи ни словом, даже на том удивительном заседании Совета министров в 1940 году, который теоретически (на потеху!) должен был отправить Эррио * в Лондон. Сила пророков Израиля состояла в том, что они говорили Истину, когда все было против нее. Сила ваших речей, произнесенных в июне и позже, объясняется той же самой пророческой уверенностью: «Когда вы восстанете из мертвых...»

— Основные вещи, сказанные человечеству, — медленно отвечает он, — всегда были простыми вещами... Религии... В общем, вы понимаете, что я хочу сказать... А то, что из этого рождается, непредсказуемо...

Может быть, контакт между двумя людьми, уединившимися в этой кажущейся столь изолированной, несмотря на открывающийся за окном необъятный заснеженный пейзаж, комнате, способствует возникновению какой-то смутной телепатии? Однажды он мне сказал о Сопrotивлении: «Мне пришлось отдать ему все: оно было для меня Францией. В какой мере Франция пошла за ним?»

— Почему, — говорю я, — в ваших речах военного времени вы отводили относительно небольшую роль Сопrotивлению в метрополии? Вы думали, что рано или поздно политики попы-

таются сделать ее ставкой в своей игре против вас?

— Я отводил ему большую роль.

— Когда в 1944 или в 1945 году один журналист спросил вас, откуда бойцы 1-й армии взяли оружие, вы ответили: «У африканцев, которых прогнала зима, и у американцев». А среди этого оружия было и то, которое мы захватили у немцев: выставленные в Страсбургском музее автоматы солдат бригады «Эльзас-Лотарингия» — это ведь немецкие автоматы.

— Вероятно, тогда я этого просто не знал. А должен был бы знать.

Дистанция, столь часто отделяющая его от собеседников, похоже, отделяет друг от друга и две различные части его самого; он говорит «А должен был бы знать» так же, как пишет «де Голль». Я продолжаю:

— Было нечто замечательное в тех последних месяцах Сопrotивления: тогда мы знали, что нас ждет. После ареста Жана Мулена мужчины и женщины, участвовавшие в Сопrotивлении, можно сказать без преувеличения, сражались с силами ада.

Возможно, он опасался, что в Сопrotивлении немало блефа, и хотел иметь дело лишь с проверенными величинами? Или считал, что Сопrotивление само по себе не смогло бы обеспечить преэминентности Франции? Он говорил: «Я слушаю глубинный голос нашего народа так же, как слушают ропот моря». Он не раз говорил о гестаповских подземельях и расстрелах. Я видел вместе с ним в музее Дома инвалидов столб, весь изжеванный немецкими пулями, страшный тотем, придававший документальный характер экспозиции Сопrotивления. Он смотрел на него так же, как и я, но при этом, очевидно, думал, что не такая уж большая разница между Иностранным легионом и маки. Он сказал мне: «У Сопrotивления было несколько мотивов, в том числе и самые благородные. Я думаю, Франция знает, что я сопротивлялся не одной политике во имя другой политики и, что еще серьезнее, не обезумевшей цивилизации во имя нашей цивилизации. Даже не во имя христианства. Я был Сопrotивлением Франции. Нельзя забывать, что я принимал всех. Если бы это было не так, я бы был находящимся в изгнании главой одной из партий.

Несчастные обвиняют меня в том, что я слишком много на себя беру, говоря от имени всей Франции; а разве есть выбор?»

Сегодня его мысли то и дело возвращаются к эпохе, когда Франция вновь становилась Францией, потому что каждый день он проводит несколько часов, воскрешая те времена. Не стали ли десять последних лет последней вспышкой? Я вспоминаю биологов, собравшихся в Сан-Франциско наблюдать за опытом, который должен был показать, как из материи рождается жизнь:

первый тайм оказался выигранным, а потом наступила удивительная минута, в течение которой казалось, что жизнь раздумывает, родиться ей или нет, и в конце концов все кончилось неудачей.

Эренбург, который ненавидел генерала, говорил однако: «В Москве казалось, что Франция следует за ним на расстоянии трех шагов, подобно мусульманской супруге». Может быть, теперь он ей не нужен, потому что она больше ничего не хочет? «Бир-Хакейм * — это, естественно, не Аустерлиц; и все же те, кто там сражались, выступили в роли свидетелей». Именно так он думает о себе. Но не всегда. «Я персонаж хемингуэвского рассказа "Старик и море": я привез один лишь скелет».

Сегодня у него обнаруживается странное безразличие к действию, о котором он говорил накануне: «Люди, которых приветствуют, внезапно сбрасывают с себя ношу». Кого он имел в виду? Цезаря? Вполне вероятно. Сен-Жюста? Он плохо его знает и не испытывает к нему симпатии. Однако разве можно анализировать безразличие к действию, которое у человека действия является, очевидно, безразличием ко всему; не зарождается ли оно в каком-то глубинном чувстве, которое как раз и способно объяснить это безразличие? Макс Торрес говорит, что именно к такому выводу уже десять лет назад пришла химия мозга... Неужели перед самым своим уходом он не слышал, как к нему постучалась смерть? Он кажется неуязвимым. Однако за скелетом из «Старика и моря» я узнаю его упорство. Однажды он сказал мне, причем явно искренне: «Должен признать, что вы меня убедили»; на следующий день он сделал так, как решил до нашего разговора. И все же вот сейчас он собирает воедино свои речи, отвечает на письма женщин, которые поздравляют его с днем святого Шарля, и просит их, чего раньше никогда не делал, за него помолиться; и инструкции, которые он дал госпоже де Голль на случай худшего, весьма точны. Он говорит сейчас о смерти с серьезным безразличием, тогда как раньше говорил о ней рассеянно. «Он упаковывает чемоданы», — сказал мне с горечью один хорошо знающий его человек.

Он верит в свою отставку. А я нет. То, что он сейчас пишет, является продолжением его жизни, действием, борьбой против одиночества, то есть того пространства, по которому он гуляет после обеда со своей кошкой. «Насколько простирается мой взгляд, нет ни одного дома. Можно гулять часами и никого не встретить». Очевидно, святой Бернар ходил вот так же, как ходит он сейчас, по необъятным и пустынным просторам зимы; до Клерво отсюда совсем недалеко. Он сказал мне одну неожиданную в его устах фразу, которая, однако, может быть, выражает одну из сокровеннейших частей его души, тем более не-

ожиданную, что то же самое он говорил и о Сен-Жюсте: «Святой Бернар был, конечно, гигантом; интересно, был ли он сердечным человеком?»

В стороне Клерво садовник пересекает Буассери; чуть дальше лежит кажущийся забытым плуг, словно памятник Цинциннату. Есть у генерала де Голля одна часть, которую нельзя ассоциировать ни с римлянами, ни с Вашингтоном, ни с великими монахами-пустынниками. И высшей ценностью этой части является отказ. В его характере не просто заложено стремление говорить «нет», а он только тогда нормально себя и чувствует, когда говорит «нет».

Приносят пакет, он его вскрывает: отпечатанные на машинке его «Речи» и «Сообщения».

— Это первый том?

— Война...

Завтра в это время он будет в этой же комнате. Вернется к своей теории Тридцатилетней войны, начавшейся в 1914 году: «Фош, Клемансо, де Голль — это одно и то же», — и: «Наша родина находится в смертельной опасности»; потом, на следующий день после потопления в Мерс-эль-Кебире * французского флота английским флотом: «От имени тех французов, которые еще в состоянии действовать в соответствии с честью и интересами Франции, я заявляю, что они приняли окончательно и бесповоротно суровое решение; они окончательно и бесповоротно приняли решение сражаться». И еще: «Среди шагов марширующих солдат мир едва-едва различал тогда еще далекий звук шагов кого-то из наших...» Он будет переворачивать страницы, добавляя запятые. «Франция, которая сражается, — это и есть Франция... Цемент французского единства — это кровь французов, которые, как говорил Корнель, не пожелали узнать, что такое «позор умереть, не сражаясь...» * Наша Африканская армия с заржавевшим оружием и неизменной боеспособностью...» Он опять встретит трагическую тень самоубийцы Гитлера и увидит правительство Виши, не отбрасывающее никакой тени: «С тех пор как трусость, прикрываясь словами о необходимости избежать страдания, выбрала позор... Эти реалисты, которые не хотят видеть реальности... Правительство Виши, которое держит руки Франции, в то время как враг ее убивает... Брезент, который враги и предатели набрасывают на наших покойников... Уста тех, кто претендует на управление нашей страной, открываются лишь для того, чтобы приказывать ей валяться в грязи...»

Страницы будут следовать за страницами, выражая то, что происходило каждый день: «Величайшая на свете слава — это слава людей, которые не уступили». Или вот: «Во время грандиозных потрясений ценны, обращают на себя внимание и заслу-

живают такого лишь люди, умеющие думать, желать, действовать, поспевая за стремительным ритмом событий».

Он вспомнит историю, которую созидал, как Микеланджело вспоминал Сикстинскую капеллу, — как вечную борьбу с бесконечно идущими тенями. А затем наступит время обеда.

Уже наступило.

— Вы все еще читаете? — спрашивает он меня.

Освещение изменилось: пошел снег. Напротив меня заблестели маленькие игрушки из проволоки, изображающие космические аппараты на поверхности Луны. Я сказал:

— Странно сознавать, что живешь при конце цивилизации. Французская, Американская революции означали всего лишь конец общественного уклада. Римские философы уповали на стоицизм, но Стоя * не перевесила христианства, о котором они почти не думали.

— В ней не было надежды, а Воскресение давало ее. Надежда всегда побеждает хандру.

— Бунтарям и хиппи предшествовали стилиаги, но тогдашние профессора не становились стилиагами. Валери сказал мне о Жиде: «Не могу серьезно воспринимать человека, которого заботит мнение молодых людей». Я ответил ему, что молодежь и молодые люди — это не одно и то же.

— В точности как Франция и французы! Но в какой другой цивилизации до нашей великие старцы были враждебны молодежи? Вы сказали, что в средние века профессора не становились стилиагами. Понимаете, есть вещь, которая не может долго продолжаться: безответственность интеллекта. Либо это прекратится, либо прекратится наша цивилизация. Пусть бы интеллект занимался душой, как он это делал всегда, космосом, просто жизнью, самим собой, да мало ли чем. Но он занимался исторической жизнью, иначе говоря, политикой. И чем больше занимается ею, тем становится безответственной. В России, в Китае не так. Монтескье мне поведал множество важных вещей. Но когда я беседовал с вашими интеллектуалами, они мне говорили что-то совершенно незначительное. Понимаете? Они играют роль. Часто бескорыстно, иногда не без благородства, но незначительно. Глупость может нести все, что угодно, интеллект — нет. Посудите сами. Нужно будет вернуться к знанию того, что думают люди. Можно сражаться во имя неясных страстей, но нельзя же — вы понимаете, что я хочу сказать? — все время биться во имя пустых слов. Кончилось тем, что на бульварах продаются гошистские газеты, и не потому, что смелости не хватает, а просто эта смелость никогда не встречается со своим врагом. Если бы я сказал Сталину, что ско-

ро у нас противники государства — правительства — не позволяют арестовывать себя, он решил бы, что я сошел с ума.

— А как у вас началась встреча со Сталиным? *

— Примерно минуту никто не произносил ни слова. Это долго. Потом... — генерал пожал плечами. — Потом я подумал, что он будет говорить со мной о Европе или о своих людях из Люблина *, потому что он очень за них держался. А он сказал: «Значит, вы приехали потребовать у меня Тореза? * — и продолжил: — На вашем месте, я не стал бы расстреливать его: он хороший француз». Я ответил: «Французское правительство относится к французам в соответствии с тем, чего ждет от них. А вы?»

Генерал рассказывает очень немного, даже в беседе. «Записки Сталина хороши для Черчилля». Но другие дополняют его. Я слышал про банкет в Кремле, когда один из наркомов опрометчиво провозгласил тост за Сталина, что не полагается делать. Сталин поднял бокал со «своей» водкой, то есть водой, так как спиртное он пил только у себя в квартире: «Товарищ Такой-то — нарком путей сообщения, и, если транспорт будет плохо работать, — тут Сталин раздавил бокал о стол, — он будет повешен». Вспоминая эту сцену, генерал мне сказал: «Он был азиатский деспот и соответственно вел себя».

А еще было люблинское правительство, которое генерал не соглашался признать. Банкет кончился, и генерал ушел спать. В три ночи Молотов, не сумевший разыскать Бидо *, министра иностранных дел, пришел к Гастону Палевскому *: «Скажите генералу де Голлю, что маршал будет демонстрировать для него фильм». Генерал спустился в маленький кремлевский кинозал. Фильм был патриотический, один за другим крупным планом падали немецкие солдаты, и всякий раз при этом пальцы Сталина впились в бедро генерала. «Когда я решил, что мне хватит синяков, я отодвинул ногу».

Гитлер еще был жив.

Утром франко-советский договор был подписан. Лежал снег, такой же, как сейчас, но только глубже.

Сергей Эйзенштейн, получив приказ прекратить съемки «Удела человеческого», признался мне: «Когда я делал "Потемкина", меня оставили в покое, потому что я был почти неизвестен, и мне дали на фильм всего полтора месяца, и если бы он не получился, то тем хуже для меня. Мне было двадцать семь лет. Но теперь я не буду просить Сталина принять меня, так как, если он не поймет, мне останется только покончить с собой».

А как умер Эйзенштейн?

— От психологии мало проку, — говорит генерал. — С самого начала — да даже раньше! — было известно, что Рузвельт —

это не Черчилль, а Хрущев — не Сталин. Индивидуальные черты собеседников не изучают. Это ничего не дает. Изучают их технику переговоров, только и всего. Не надо считать себя великим мудрецом, потому что и так понятно: мания делает раздражительным. Что же касается народов, наше время частенько ставит их в невиданные ситуации. Люди, почитав Кюстина *, толкуют об извечной России, но Кюстин не знал русскую большевистскую партию. А это важно!

Знание людей он считает одним из основных качеств руководителя. Не слишком охотно употребляет слово «психология». Не дать людям одурочить себя, знать, когда они сами себя дурчат, знать, до какой степени можно им доверять. Знать, на что они способны, то есть насколько они заблуждаются относительно самих себя, одним словом, знать, что им поручить. Все прочее чушь и пустозвонство.

Это знание распространяется сверху донизу. И лишь частично — на его собеседников, государственных деятелей. Он изучает географию противника. Старается четко высказать свою позицию, в точности так же, как глава какой-нибудь церкви высказывал бы свой символ веры. Тот, кто отвергает ее, отвергает его. Вот почему взаимопонимание с Рузвельтом у него было хуже, чем со Сталиным. По мнению Рузвельта, Франция уже ничего не значила. По Сталину, она перестала что-то значить в военном отношении, но Сталин помнил, что во времена Брест-Литовска Советский Союз тоже был почти в таком же положении. К тому же Сталин признавал в де Голле коллегу «наоборот и вопреки», а не некоего доморощенного гения. Генерал, охарактеризовавший Рузвельта как «практика-демократа», так и не дал четкого определения грузину. Одинокое доисторическое животное. Но люди, у которых он открыл что-то непонятное и не смог разгадать, не уходят у него из памяти.

— Вот самая поучительная история про Сталина, какую мне рассказывали, — говорит генерал. — Сталин думал, что он один, а между тем за спиной у него был Молотов. И вот он накрывает обеими руками на глобусе, который стоял у него в кабинете, крупные материки, а потом одной рукой Европу и бормочет: «Какая она маленькая, Европа...»

— Я встречался со Сталиным, но не встретился с Россией. Моя Польша — это совсем другое *. А жаль, Россия — это серьезно.

— От жизни в Советском Союзе у вас осталось бы ощущение беспредельной нелепости, которую так постигали великие русские писатели и которая постоянно существует. Сталин говорил: «У нас есть и Спарта и Византия. Когда Спарта, это хорошо». Только вот нет Византии, чтобы противостоять Спарте:

есть вдохновенные пьяницы, есть советский комизм, который ничуть не веселее русского, и прямо-таки невообразимые просторы.

— В 1934 году я был знаком с начальником милиции Крайнего Севера. Туземцы откуда-то добывали спирт, который был губителен для них. Нужно было навести с этим порядок. И вот после нескольких недель путешествия на собаках мой знакомец, начальник ГПУ, добрался до какой-то избы на берегу Ледовитого океана. Бутылки водки, мертвый русский, сохранившийся в целости благодаря морозу, а на некоем подобии стола страница из сан-францисской газеты, и на ней в черной рамочке, сделанной углем, объявление: «Молодая девушка, приятная во всех отношениях, желает вступить в брак с русским, предпочтительно сибиряком; состояние сопоставимое с ее». Год выхода газеты — 1883-й. Рядом придавленные камнем пачки рублей.

Или клуб в Ростове, состоящий почти целиком из колченогих и колчеруких, потому что цель его была оклеивать луковицы кафедрального собора плакатами «Бог есть предатель», сделанными из блокнотных листочков (по причине нехватки бумаги). Почему их не посадили в лагерь — загадка (думаю, этим кончилось, но я побывал в Ростове до чисток). Ведь Бог действительно предал Россию, отдав ее большевикам. Но Бог все-таки сводил с ними счеты: ежегодно несколько наклейщиков срывалось и ломало ноги-руки, так что рядом со мной пили водку хромоногие вместе со своими сочленами, которым предстояло покалечиться в следующем году.

«В России никогда не переводятся Карамазовы», — говорил Эренбург. От него я услышал, по-моему, самый лучший русский анекдот. Не помню, в каком-то сибирском городе на заводах было объявлено постановление за подписью Сталина: отныне половые отношения запрещены. Сразу же речи: «Товарищи! Время, потраченное нами на собственные удовольствия, потеряно для производства! Половая жизнь хуже водки!» «Тогда а, — говорит Эренбург, — я пошел на почту и попросил показать телеграмму. Начальница почты, блондинка лет двадцати, с косами, отвечает: "Товарищ Эренбург, я ее порвала. Там говорилось: половые отношения между мужчинами запрещены. Что они в Москве, совсем идиоты? Какие могут быть половые отношения между мужчинами?" И тогда я, не слишком, впрочем, обрадованно, произнес: "Товарищ заведующая, это вы идиотка! Дура!»

И подобных анекдотов бездна. Не думаю, чтобы они ничего не значили.

— Я т о ж е , — говорит генерал.

— В глубине они запутываются, как в русских романах. В прошлом году я встретил комсомольца, который прочитал

Евангелие от Иоанна и был потрясен; оно было переписано от руки и стоило очень дорого, почти столько же, сколько полное собрание Толстого. Слышал рассказ психиатра (теперь в Москве можно разговаривать: рука тайной полиции висит над головами очень низко, но не держит за горло): «Я только что лечил сына одного министра. Традиционный вопрос: "О чем ты чаще всего мечтаешь?" — "Чтобы остаться наконец в одиночестве. Чтобы исчезли все люди. Весь мир".»

Когда-то Бухарин, проходя со мной по перекопанной площади Одеон, где около траншей лежали канализационные трубы, задумчиво произнес: «А теперь он меня уничтожит...»

Что и было сделано.

После вступления России в войну (если это можно так называть) польских пленных, интернированных в России, выстроили, чтобы выслушать польского офицера, приехавшего их призывать вступить в польскую освободительную армию, которая будет сражаться рука об руку с Красной Армией; офицер этот еле ходил, опираясь на две палки: еще месяц назад его пытали в НКВД...

Помните Сталина, улыбающегося перед фотографами при подписании германо-советского пакта? Разумеется, это не диковинка. Джилас *, который встречался со Сталиным то ли незадолго до вас, то ли сразу после вас, говорил, что он полысел. Когда я видел Сталина, он смахивал на крепкого капитана жандармерии, молчаливо интересующегося всем миром, террором, своей трубкой и своим правым усом...

— В тысяча девятьсот сорок четвертом году он превратился во всеильного старого кота. Полысел? Нет, кот был рыжий. Он толковал лишь о будущем, но поразил меня своей укорененностью в прошлом.

— Да, в России по-прежнему живет прошлое! В кабинете Ленина с картами фронтов гражданской войны и трудами Маркса соседствует небольшая бронзовая статуэтка дарвиновского питекантропа, подаренная одним промышленником из Соединенных Штатов, который хотел построить карандашные фабрики, так как Советское правительство постановило учить детей грамоте. Культура, а как же! Я видел пьесу по «Десяти дням, которые потрясли мир». Захватывающе, но миф чистой воды, еще больший, чем гениальный «Октябрь» Эйзенштейна. На следующий день я посетил музей Маркса — Энгельса. Практически пусто, а в последнем зале я обнаружил несколько влюбленных парочек, которые преспокойно целовались, словно в сквере на скамейке... Кроме того, разумеется, грандиозное возрождение Ленинграда, кладбище, где похоронено полмиллиона человек, помпезный, но и эпический монумент в Сталинграде, поистине монумент Спарги...

— Ну, а кроме живописного?

— У Горького Сталин был лукавый и экстравагантный. Этакая молчаливая жизнерадостность. Ну, а на самом деле, я думаю, он руководствовался (столь же убежденно, как вы волей к объединению) статистической манией: если мы уничтожим тех, кто знал тех, которые знали и т. д., мы тем самым доберемся до подлинных преступников либо парализуем их. «У меня никогда никакой Франко не появится». Его ничуть не интересовала невиновность людей, которых он уничтожал или сажал в лагерь. Вспомните его ответ Джиласу, когда тот жаловался на насилия, которые творит в Югославии Красная Армия: «Она достаточно вынесла, чтобы теперь никому не давать отчета!» При том, что русских военнопленных он отправлял в лагерь, даже тех, кто бежал из немецкого плена.

— Но объясняет ли деспота статистическая маниакальность?

— Вспомните его диалог с Бухариным, который тогда еще был у власти. «Чтобы решить проблему кулака в соответствии с теорией, — сказал Бухарин, — прежде всего нужно будет уничтожить восемь миллионов». — «Ну и что?» Сталин демонстрировал это такое забавное простодушие, в чем-то даже обаятельное; а в общем и целом — усатый дракон.

В тысяча девятьсот шестьдесят шестом году у меня была беседа с Косыгиным. Можно сколько угодно твердить мне, что он политик; он всего лишь единственный оставшийся в живых из трех руководителей планирования — двоих других Сталин уничтожил, — а еще он был мэром Ленинграда во время блокады. Мне запомнилось самое большое в мире кладбище гражданского населения. Встреча была примерно такая же, как с Чжоу Энь-Лаем: довольно непривычная для нас мешанина из сильнодействующих исторических положений и заверений, которые были бы таковыми, если бы он считал собеседника слабоумным. Он толковал мне о преступности личной власти Мао, о прогрессе человечества: «Людей невозможно засунуть в одинаковые форменные штаны и устрашением заставить быть только солдатами! Времена фанатиков кончились». И тут же последовало главное утверждение: «Между партией, которую вы знали, и теперешней такая же разница, как между той Москвой, которую вы знали, и современной». Я, надо сказать, подумал, что так оно и есть. Но партия не перестала быть партией. Загипнотизированной Мао, его стремлением захватить Азию. И вот еще: «На кого он опирается? Интеллигенция против него. Это диктатура, и она приведет к капитализму. После его смерти будет пустота. Все, что он делает, основано на страхе». — «Страх — великая сила, господин председатель Совета министров». — «Вполне возможно, дело кончится тем, что китай-

цы вмешаются во Вьетнаме... (Советский Союз, как всем известно, туда не вмешивался!) Они хотят войны, а мы хотим м и р а». — «Как вы думаете, господин председатель Совета министров, американцы применят атомную бомбу?» — «Нет». — «Китайцы все время говорят о войне, но не воюют. Даже во Вьетнаме. Я не уверен, что силы мира могут установить мир, но уверен, что силы войны, по крайней мере пока, не могут затеять войну...»

Падал снег, как сейчас, но только крупными хлопьями. Сидя напротив окна в кабинете, бывшем кабинете Сталина, я припомнил одно давнее выступление: «В Кремле Сталин глядит в окно на падающий снег, который похоронил и тевтонских рыцарей, и Великую Армию...»

В 1934 году в скверике около Кремля я размышлял об этой гигантской нищенской стране, которой угрожал Гитлер и которая уже тогда рвалась соперничать с могучей Америкой. Я обернулся, посмотрел на средневековые башни, и мне вспомнилась императорская гвардия небоскребов Манхэттена. Я видел сибирские степи, где огни огромных промышленных комбинатов были похожи на зарево вспыхнувшего пожара.

Но мое последнее русское воспоминание не относится ни к Сталину, ни к его преемникам. Один из моих друзей, эмигрировавший в 1918 году, попросил меня зайти в Москве к его матери и помочь ей. Что я и сделал. Через несколько месяцев после моего возвращения мы были с ним в кино, и вдруг он мне говорит: «А моя мама теперь похожа на эту старушку на экране?»

Во двор въехала машина с шипованными шинами, которая отвезет нас в Бар. Генерал сопровождает нас, словно не хочет завершить свое простое и высокое гостеприимство, не определив самого главного.

— Помните, я вам говорил: я убежден, между мной и тем, что происходит, нет ничего общего.

— Герой легенды отринет все неясное.

Исторические деятели никогда не бывают похожи на то, какими хотят их видеть противники. Впрочем, и на себя тоже.

— В политике существует стратегия, которая называется, вне всяких сомнений, Историей. И есть тактика. Рассуждать о ней столь же несерьезно, как рассуждать о фехтовании. Вы, разумеется, помните фразу Наполеона: «Война — несложное искусство и целиком заключается в действии». Подумаем, прежде чем действовать, но действие не определяет направление размышлений. Это совсем другое. Я вам говорил: историческое предназначение неотделимо от множества ошибок. Я не слишком заблуждался насчет Франции и насчет того, что нужно для нее сделать. Однако я верил, что Россия не сумеет создать

бомбу, что в сорок шестом году война неотвратимо надвигается, что в сорок седьмом Франция дошла до крайности. В шестидесятом году Аденауэр мне сказал, что если социалисты придут к власти в Бонне, то они договорятся с Москвой. Мы оба ошиблись. Но я не ошибался насчет предназначения Франции. Я не ошибся, заявив, что Петен не пойдет в Алжир. Вы верно сказали: пройдя через Монтуар, кончаешь в Зигмарингене *. Никогда не следует проходить через Монтуар. Некоторые считают, и совершенно справедливо, что Франция любой ценой должна противиться возрождению рейха, некоторые — что ей следовало бы возложить венок к могиле Неизвестного немецкого солдата... Историю делает время. И если наш исторический путь проходит через независимость Алжира — пусть, через наш союз с Германией — пусть. Сожалеть об алжирской независимости было отнюдь не весело. Но следовало прежде всего помнить, что на нас лежит ответственность за Францию. Политики, вопреки тому, что они мнят о себе, ни на что не способны. Они собирают владения для того, чтобы их потерять. Защищают интересы для того, чтобы их предать. История совершается на совсем других путях.

Эти бедняги думают, что я оказался лицом к лицу с господином Миттераном, с господином — как, уже? — Поэром *. Я же нахожусь лицом к лицу с тем, о чем вы только что говорили. Франция была душой христианства, или, скажем по-современному, европейской цивилизации. Я делал все, чтобы возродить ее. Ну, а майские события, истории с политиками — не будем о них говорить. Я пытался поднять Францию против конца света. Вам это известно.

Генерал писал: «Отныне страница колониальных империй перевернута». А сейчас он развивает эту мысль. Мы переживаем конец первого всепланетного приключения. Начиналось оно туманно, с Великих географических открытий. Мы открывали весь мир, и никто не открывал нас. Вследствие этого возникли колонии, потом колониальные империи, и, наконец, наступила деколонизация. Начиналось туманно, кончается ясно. 1947 год, Неру в Дели; 1948 год, Мао в Пекине. Три последних колосса, ну пусть два с половиной, — Америка, Россия, Япония — тихоокеанские; к этой троице примыкает Индия, которая расположена тоже не в Европе. Когда-нибудь, произнесая: «Америка и Россия в XVIII веке вместе вошли в историю...», закончат: «...в конце XX века, когда закатилась европейская гегемония...»

— Я потерпел неудачу? — продолжает о н . — Поживем — увидим. Мы, определенно, присутствуем при конце Европы. Но почему парламентская демократия, эта распределительница табачных киосков, которая всюду агонизирует, должна возродить Европу? Что ж, желаю удачи этой федерации без создателя

федерации! В конце концов, нужно быть полными глупцами! Почему предназначение Франции должно быть таким же, как ее соседей? И почему должен сохраняться в неприкосновенности тип демократии, который мы почти прикончили, когда дело идет о преодолении грандиозных трудностей, встающих на пути создания Европы?

Этот тип демократии даже не способен обеспечить развитие Бельгии!

Я никогда не считал, что судьбу страны, когда она находится в угрожающем положении, следует вверять тому, что необходимо изменить. А теперь, выходит, я должен уверовать, что демократии можно доверить Европу!

Они так дорожат демократией, после того как она прекратила существование. У антифашизма крепкие позиции. Какая демократия? Сталин, Гомулка, Тито, вчера Перон *? Мао? У Соединенных Штатов тоже был монарх — Рузвельт, и они сожалеют о нем. Иллюзии Кеннеди обречены. Его выбрали ничтожнейшим большинством, и так будет повсюду. В Великобритании, у нас. На последних выборах я получил такое большинство только благодаря страху: то была партия пуганых. Когда рождалась демократия, когда третье сословие восставало против привилегированных сословий, рождался новый мир. С этим покончено. Так почему бы не управлять при однопроцентном большинстве, как они говорят? Вот-вот, почему?!

Что же касается Европы, и вы это знаете не хуже меня, либо будет согласие между государствами, либо не будет ничего. Значит, ничего. Мы — последние европейцы Европы. После христианства. Европы разделенной, которая тем не менее существовала. Европа, в которой нации ненавидели друг друга, была куда реальнее, чем теперешняя. Да, да! Франция уже не создаст Европу, а гибель Европы грозит и ей гибелью.

А может, мы в Европе времен Александра Великого? За окном лес...

В то утро лес за окном уходил в бесконечность.

— Взбесившиеся студенты, все эти неожиданные события! Создавали исповедальни, чтобы оберечься от дьявола, а потом посадили дьявола в исповедальню. Подлинная демократия не позади нас, а перед нами: ее нужно создавать. Нация может выиграть время, коммунизм может верить, будто он его выигрывает. Хотелось бы мне посмотреть на цивилизацию, оставшуюся без всякой веры. Интересно, что она поставит — осознанно или нет — на ее место? Разумеется, ничто еще окончательно не решено. Если Франция вновь станет Францией... Одним словом, я буду стараться делать то, что могу. Если придется увидеть смерть Европы, что ж — такое происходит не каждый день. Но было бы достаточно Ги Молле *...

Франция и не это видывала. Я когда-то сказал вам: день подписания договора в Бретиньи * был не самым легким днем, да и восемнадцатое июня тоже. О, Франция еще поразит мир! Но исходя из сделанного мной, а не из того, что делается теперь, я повторяю: происходящее не имеет ко мне отношения.

Кто в этом сомневается? Всем уже ясно: больше их не вовлекут в грандиозное пари. Отныне непредвиденное — уже не удел Франции, оно для других.

Мы в дверях. Генерал протягивает нам руку, смотрит на первые звезды, показавшиеся в большом просвете слева от туч, и произносит иронически:

— Они мне подтверждают, как все ничтожно.

Автомобиль трогается. Все такой же белый снег на черных деревьях. Утверждение Франции вопреки всему, многострадальное Соппротивление, весь этот отчаянный подвиг — иллюзии? Деколонизация, конец алжирской драмы, человек, который олицетворял разгромленную Францию и говорил на равных с президентом Соединенных Штатов, — иллюзии? Мне вспоминается один синдикалист во время беспорядков 1934 года; он нес красно-черное знамя, и ответственные политические деятели, видя, что полиция пошла в атаку, закричали: «Сворачивайте знамена!» — а он им: «Да, да, но без спешки...»

Отсвет снега, сумеречные века, когда воздвигались первые колокольни; времена, когда башенные часы с безучастностью своей единственной светлой стрелки бодрствовали над христианством... Маленькие стенные часы пробили час в кондиционированном кабинете Сенгора * в Дакаре, а за окнами дрожало знойное марево. Как там сейчас в Дакаре? Мечтают ли об единстве Африки главы новых африканских наций, вспоминающие про Европу только в связи с помощью, которую она им дает? Высокий негр едет на осле по пустой улочке. Что ему Африка, Мао, который только что вновь овладел Китаем, страсти, которые, наподобие огромных хищников, раздирают народы, — да что даже сами народы? И что для Мао, для королевы Касаманки призрачное кружение этого древнего снега и его вечных спутниц — туч, бегущих над выжившими колокольнями и исчезнувшими кладбищами? Я вспоминаю дикарей в джунглях Борнео, у всех у них на руках были часы-браслеты, но они не ходили. И еще вспоминаю, вероятно, потому что втайне боюсь, что видел генерала в последний раз, про дом Неру, про Бенарес:

Я смерть всего, я рожденье всего — Слово и память, постоянство и милосердие — И молчание тайного...

Ганг уносил в ночь синие и красные отблески.

Произнеси теперь бесполезные слова мудрости...

Огоньки светильников в переулках Бенареса и на древних улочках Ура или Вавилона, и злобный вой в глубинах звездной ночи. В 1940 году в Провене наш полковник ждал приказа, а поскольку солдат никогда нельзя оставлять без дела, будущим танкистам на отдыхе было велено для боевой подготовки искать клевер с четырьмя листочками... Лунное зарево, которое вдруг залило наш танк, когда мы прорывались через немецкие позиции... Июньский вечер сорокового года, розы, цветущие под канонаду, летний туман, крестьяне перед ночью жгут стога. Мертвый священник в Глиере; снежной ночью, такой же, как эта, мы шли гуськом. Он нес ручной пулемет. Я остановился, подождал его и спросил: «О чем вы думаете?» — «Ни о чем, пытаюсь постичь Христа». Когда ему впервые пришлось читать молитву над погибшими макизарами, он произнес только: «Господи, внимающий мне, яви нам свою милость...» А вечером он вдруг тихо падает среди снежного вихря! Вот конец дней этого человека и моих. Конец похода Ганди к океану, чтобы собрать там соль *, похода Мао на Тибет, чтобы собрать тем самым Китай. Гитлер в бункере в Берлине, прислушивающийся к первым русским танкам, Неру, вспоминающий стебельки травы, что росли у него в тюрьме, и свернувшихся в клубочек белок. Отряды Мао, остановившиеся на мосту перед пулеметами. Вьетминь *, устоявший перед напалмом, залитые кровью груди индонезиек, становившиеся символами поочередно побеждавших партий. Обычные ночи в Индокитае, падающие костяшки китайского домино, однострунные скрипки, распоряжения ростовщиков под скрежет закрываемой решетки, споры за болотами, усеянными светляками. Города в Индии, отданные павлинам или обезьянам, селения, становящиеся столицами. Мир, словно светящиеся в дакарской ночи глаза невидимой кошки. Немецкая армия, распеваящая на наших улицах, немецкие города, куда мы входили в начале сорок пятого года и где из всех окон свешивались простыни, ставшие белыми флагами. Генерал на похоронах Жана Мулена.

«Вступи сюда, Жан Мулен, вместе с твоим страшным кортежем...»

Грузы из Лондона для маки, разноцветные парашюты, освещенные нашими ночными кострами; первые немецкие полицейские, когда у нас в карманах уже лежали револьверы; походы на рассвете под мычание проснувшихся коров; товарищи уцелевшие и товарищи погибшие, попавшие в застенки гестапо; лагерь смерти, где пошатываясь бродили тени нашей горестной,

душераздирающей Илиады; гроза, заблудившаяся в парке Елисейского дворца; баррикады в Алжире; ошестинившиеся объективы телекамер на последней пресс-конференции, на крохотной сцене зала Почета, где когда-то давались балеты, а впоследствии иностранные монархи устраивали обеды и приемы...

Ветви орешника сплетаются на фоне угаснувшего неба. И я вспоминаю орешник в Эльзасе, большие круги опавших орехов на земле у стволов, — опавших орехов, которым предназначено стать семенами: жизнь без людей. Мы будем стараться сделать все, что может сделать человек своими обреченными на тление руками, своим осужденным на угасание разумом перед лицом великого племени деревьев, которое даже сильнее кладбищ. Не здесь ли умрет генерал де Голль? Мы опять проезжаем мимо несуразной караульной будки, в которой укрывается часовая с автоматом, выезжаем из сумрачного парка Буассери. Сейчас последний великий человек, неотступно думавший о Франции, наедине с нею: агония, преобразование или химера. Опускается ночь — ночь, которая не ведает про Историю.

После мервингского снега в Коломбе снега, через которые поезд летит в Париж, кажутся пригородными и современными... О чем мне в одиночестве думать, если не о нем, — так же, как и в машине, когда я один ехал после нашей встречи в отеле «Лаперуз». Он почти не изменился. Но теперь он прервал свой тревожный диалог с будущим: «Сейчас надо создать государство, которое будет государством, стабилизировать франк, решить колониальный вопрос!»

В течение десяти лет я видел человека, преодолевающего препятствия. А сейчас встретил человека, который уже несколько месяцев наедине с собой следует призыванию одиночества, судьбе, которая уже ничем не защищена. Он говорил мне когда-то по-наполеоновски: «Не время для души...» Теперь он занят ею.

По многу часов в день он пишет, переделывает — трудится для надежды. Это слово он поставил в заглавие мемуаров. Никогда раньше не казался он мне таким непостижимым, никогда еще я так остро не чувствовал, насколько мало выражает его все то, олицетворением чего он стал.

Он не ответил мне напрямую, когда я сказал: великие люди нашей истории зависели не только от цели своего служения. Он промолвил: «Я тоже был мифом».

Мифом, чуждым какой бы то ни было идеализации его самого: миф предшествовал ему. Нам известны образы, плоды воображения, которые таятся в человеке в ожидании воплоще-

ния и порой его сотворяют; так Цезарь бредил Александром, а Наполеон Цезарем. Но человечеству не нужны были птицы, чтобы придумать ангелов (они суть древнегреческие Ники *), или огородные пугала, чтобы придумать привидения. В 1940 году генерал слился с мифом своей невидимостью, вездесущностью, даже своей фамилией. Он был только фамилией и воинским званием, которое работало бы против него, если бы то, что он говорил, и то немного, что о нем знали, не противоречило бы категорически слову «генерал».

И все-таки он уподобился бы нашим генералам той войны, если бы не отмежевался от них *словом*. Обращение 18 июня можно было бы сопоставить с приказом Жоффра в день сражения на Марне *, если бы Жоффр записал его...

Клемансо тоже не слушали, а потом слишком много слушали других. Словарь «Свободной Франции» не совпадал со словарем палаты депутатов.

С самого первого дня он не был ни главой Иностранного легиона, ни главой правительства в изгнании, препирающимся с маршалом Петеном. У того был беспомощный язык. Генерал же говорил, что Франция и не такое переносила; то был первый раз, когда Франция изъяснялась не метафорами, и ее услышали. Франция не проиграла войну? Но ведь тогда прислушались не к логике; это означало: «Услышите меня, ибо если вы меня слышите — значит, я жива».

В нашей Революции роль идеологии была такова, что для нас теоретик является автором теории, но не ее воплощения в жизнь. Сен-Жюст не старался осуществить свои «Установления» *; подлинной его доктриной был Комитет общественного спасения. Соперником «Манифеста» Маркса является не голлистская теория, а обращение 18 июня.

Французы, а вовсе не я (вопреки остроте генерала) придумали термин «голлист» по образцу слова «сталинист»; в Соединенных Штатах не говорили «рузвельтисты». Генерал напрасно пытался вывести его из обращения: ведь оно давало некое утешение в столкновении с разглагольствованиями петеновцев и нечто вроде доктрины в столкновении с речами коммунистов. И все же сам факт голлизма и его доктрины имеет иное происхождение. Наполеоновский миф не является продуктом «Гражданского кодекса» *. Не томизм * освободил Орлеан, «Свободную Францию» создали не «Аксьон Франсез» * и не марксизм. Не существует жаннадаркизма.

18 июня генерал де Голль изложил принципы Общественного спасения. Не слышавшие этого выступления принимали его за главу некоего неопределенного иностранного легиона, защитника традиционного патриотизма. Те же, кто слышал, были поражены. Не часто слову «Франция» придавался такой

дорийский акцент *. Его патриотизму был чужд шовинизм, хотя в стране эти понятия изрядно путали. Почему же столько французов восприняли как подражание, в лучшем случае как преемственность, одну из глубочайших наших метаморфоз — метаморфозу патриотизма? В течение пятисот лет непрерывно взывали, и не только во Франции, к чувству национального превосходства. Интернационализм, пацифизм проявлялись в противостоянии в большей степени национализму, нежели сепаратизму, присущему отдельным регионам. Отчаявшаяся, аморфная, обреченная отчизна невнятно шептала мазохистский призыв, относя его к фольклору и рухнувшему величию. Патриотизм, о котором говорил генерал, основывался попросту на свободе: место немцев в Берлине, а не в Париже. Он был антифашистом, каковыми не были всевозможные наши лиги. Свободные французы продолжали сражение (Бир-Хакейм * подарил генералу непредвиденный символ), и он с первого же дня заявил, что партия еще не сыграна. Франция считала себя живой, хотя была мертва и все вопило о катастрофе; именно об этом ужасающем сознании, впервые объединившем французов после долгого перерыва, говорил он, утверждал его. Его Франция была не лубочной картинкой, и, только потеряв свою собственную Францию, остальные тоже открыли, что она не лубок. Он говорил с иррациональной энергией человека, возмущающего то, что все знают и в то же время умалчивают; сказал слова, являющиеся самым простейшим объяснением в любви к поверженной родине: *я не могу без тебя*.

Его харизмой * было всего-навсего представить Францию близкой и убедительной, как это сделал святой Франциск с Христом. Для большинства религий явить чудо — значит заставить ощутить присутствие того, что доказывается только лишь самим этим присутствием. И само собой разумеется, что Франция не принадлежит к сфере сверхъестественного, но точно так же благодаря этому «присутствию» и к области чистой абстракции.

«Свободная Франция» объединила тех, кого он сплотил вокруг этой горестной Франции. С этим предпринятым подвигом каждый был связан еще более, чем с его целью, самой своей причастностью к нему. «Сделать решительный выбор»; он призвал голлистов примкнуть, сочетаться с Францией ради детей, которые появятся, и тем доказать ошеломленным французам, что она не бесплодна. Они хотели все сразу — одновременно и де Голля и Петена без Зигмарингена, — и много алчней, поскольку не имели ничего. Это братское прошлое, которое тоже было мифом, смешало Жанну д'Арк с Конвентом, авторитарную и национальную демократии. Не у волонтера ли 1792 года, лихого кавалериста сражения при Риволи, поэим-

ствовал Леклерк свой псевдоним *? В конце войны 2-я бронетанковая дивизия знала голлизм тверже катехизиса. Было бы ошибкой забывать тех, кто был с генералом Жиро *, знаменитую в ту пору речь, где провозглашалось, что народ, на чьих отпечатках пальцев остается засохшая под ногтями кровь, ждет только поражение. То, что отвергал де Голль, равно как и призывы к единству, которые он обращал и к Сопротивлению, и к Лондону, лучше всего доказывают, что для него было невозможным кровавое Освобождение. Впоследствии как-то пренебрежительно относились к его одержимости единством. Но она обеззаразила патриотизм.

Его идеология была проста и потому приводила в замешательство. Он обязан был бы быть командующим иностранного легиона, или традиционным патриотом, или диктатором, или фашистом, поскольку привычные категории очень долго одерживают верх над очевидным. Историка, который ответил бы, прежде чем генерал принял свои главные решения, на простейший вопрос «Что в нынешних обстоятельствах должен попытаться сделать человек, считающий своим высшим законом интересы нации?», можно было бы счесть пророком.

Франция была благодарна ему за неиссякаемую веру в нее; сама она куда как меньше верила в себя. Высшие интересы, общее благо, эти библии Робеспьера и Ришелье, казались чужью, так как все, что говорили политики разных мастей, перепуталось в общем вранье. Непросто выжить в демократиях, привыкших по-снобистски, даже не слишком понимая, во имя чего, относиться к собственным принципам. Каковы бы ни были принципы генерала де Голля — хороши или плохи, — он никогда не трактовал их по-снобистски.

Он смел называть своими именами разногласия, Дакар, победы Роммеля, гитлеровское знамя над Акрополем, поражения русских. Его забота об истории и презрение к политике, уверенность, которая порой походила на утешение у гроба, его «НЕТ», с первого дня и навсегда вобравшее отзвук громогласных «нет», прозвучавших в истории, голос, отделенный от облика, — все способствовало, чуть только счастье начало меняться, превращению его в голос Франции; это одинокое «нет» порождало убежденность, присущую религиозному ордену. Убежденность не является рациональным чувством. Но ведь непокорство Антигоны * и Прометея тоже. Генерал не выражал мнение, он взвалил на себя одновременно и катастрофу, и надежду. «Законы, которые обязательней и выше людских...»; несомненность будущего, которое «обязательней и выше» настоящего. Вернейшим способом не понять генерала де Голля было бы воспринимать его как эдакого второго Леклерка, так

как все ждали героического командира танковой дивизии, и именно эта фигура заместила миф, а после произошло замещение фигурой реакционного генерала. Но не без труда, поскольку она должна была создавать собственную традицию: древние римляне были уже крепко забыты. Генерал де Голль самолично не командовал каким-либо подразделением «Свободной Франции». То, что он говорил о себе, не вполне верно: его призвали события; он стал генералом де Голлем, потому что говорил именно таким, а не иным языком. Не столько французский генерал, сражавшийся в Лондоне, сколько порождение этих его слов, не имеющее видимого облика, в том смысле, в каком всякий великий творец становится мифом, рожденным его творениями.

Миф не ограничивается ни поступками, которые его выражают, ни тем, чему он служит, ни тем, кто служит ему. Его миф был последней метаморфозой мифа Франции, проявляющегося лишь через собственные метаморфозы. Хотя немало мифов происходят из воображаемого, которое им предшествует, утверждают они себя, отбрасывая все, что явилось до них; так, герои великих романов принадлежат вымыслу, но утверждают себя только через отличия от своих предшественников. Миф — отнюдь не имитация куколки, миф — это бабочка. Метемпсихоз наций, как сказал бы индус.

Освобождение воплотило этот миф, не имея времени разрушить его. Феликс Гуэн * вынудил французов вновь презирать своих политиков. Потом родилось «Объединение французского народа», РПФ *, но оно не располагало ни радио, ни телевидением.

До своего триумфа на муниципальных выборах это было мятежное движение — для всех, кроме генерала де Голля. Триумфа достаточно скромного — или достаточно крупного, поскольку количество активистов было сравнимо с числом голосовавших за него. Многие считали слово «Объединение» благим пожеланием, несколько даже в бойскаутском духе; между тем для генерала де Голля оно было одним из самых весомых после слова «родина». Давно уже, еще задолго до Маркса, существовало убеждение, что за этим словом кроется заблуждение или обман. Но как можно убедить в этом человека, который, невзирая ни на что, стремился только к нему, и не всегда безрезультатно. «История не сможет забыть, что в Лондоне я принимал всех». Достойнее всего выбирать цели, которых никогда не достигнешь. Воля к единству подобна воле к справедливости, только недостижимей. Для противников генерала стремление объединить было по самой сути своей *утопическим*,

то есть тем, чем был социализм для его врагов до появления на сцене Ленина. Утопия — это форма надежды наших соперников.

Венсан Ориоль * придумал блокирование: объединение голосов блокирующихся, то есть почти всех партий против коммунизма и голлизма. Либо генерал идет на блок РПФ, к примеру, с МРП * и таким образом входит в систему партий, либо отказывается и обеспечивает победу «третьей силе» *, которая потом обвинит его в подготовке создания «единой партии». Однако эта «третья сила» не понимала (да и большинство членов «Объединения» тоже), что для Генерала единая партия, какова бы она ни была, узурпирует государство. Его противники весьма боялись, как бы он не решился на первый вариант. Но он даже не рассматривал его. Одержав победу или потерпев поражение, он воззвал бы к общим интересам, основывающимся на интересах нации, в которой он не мог видеть несбыточную мечту, так как верил главному опыту своей жизни: «Свободная Франция» объединила ради общего дела самые разные силы. Тот же Жан Мулен говорил: спорить будем после победы. И утверждая, что нужно усилить власть государства, Генерал не пошел на это из-за риска гражданской войны. Не пошел, даже будучи убежден, что система блокирования разложит РПФ, если оно не призовет к восстанию. После 6 февраля *, тем более имея перед глазами опыт войны в Испании, риск гражданской войны — не столкновения, а такой, которая лет на двадцать-тридцать превратит страну в слаборазвитую, — был одним из мощнейших факторов нашей истории; парламентарии тоже не пошли на этот риск, и потому Генерал, не обязанный ему своей победой, обязан ему своим возвращением.

Ибо в 1958 году вернулся не председатель РПФ, а генерал Освобождения. После Дьенбьенфу *, после забастовки полицейских режим не был уже режимом Национального собрания или какой-нибудь партии, а воплощением полнейшей беспомощности. Как Третья Республика после перемирия. Президент Рузвельт заблуждался, полагая, что Франция сможет восстановить ее: она была обречена так же, как II Империя после Седана *.

В режиме партий генерал де Голль боролся против:

Его бессилия. А главное, его неспособности быть готовым к исходу, который ни для кого не был тайной: концу колониальной империи.

Его безответственности.

Его вынужденности возводить компромисс в ранг техники правления — того, что я называл: согласование программ министерства национальной обороны посредством помещения полковника солдата в половину танка.

Противоречивых влияний иностранных держав.

Драматической ситуации, возникающей в связи с проблемой преемственности правительств. Разумная сменяемость их основывается на уверенности, что оппозиция, придя к власти, продолжит политику тех, кого она сменила, во всем, что касается национальных интересов.

И наконец, он боролся с неспособностью заключить мир, равно как и вести войну — войну за овладение Черной Африкой, — с неспособностью даже определить волю нации.

Мысли о борьбе, о том, что она будет суровой. Возможно, у Генерала возникало предположение, что партии умерли с рождением «единых партий», с которыми они могли бы соперничать лишь в условиях государства, наподобие созданного Ришелье или викторианской Англии, тогда как в нынешнем они заинтересованы лишь в том, чтобы урвать свою долю.

Народы чтят своих «учителей уверенности» — Колумба, Молчаливого *, Фридриха II *, Петра Великого, Ленина, а у нас — Конвент, вождей первых Крестовых походов, Ришелье, Наполеона. Чувство это плохо изучено, поскольку его путают с определенностью разумных условий, меж тем как оно больше исходит от веры, нежели от разума, и зачастую распространяется на серию противоречивых действий. Эта уверенность стала причиной того, что алжирский вопрос «не вставал более как первоочередной» даже для врагов Генерала.

Итак, он вновь обрел признаки мифа. Члены парламента ночью, когда утих переполох с их уходом (не борьбой, поскольку у них не было даже полиции, чтобы противостоять алжирским парашютистам), с горечью избрали его главой правительства. Они знали, что он приглашал Ги Молле, Пинэ * и Пфлимлена * не ради соглашения или просто соблюдения законности, хотя, рискуя отдать государство одной партии, пусть даже той же бывшей РПФ, не слишком понимали это его упорное нежелание. Нет, это не их избранник отправился в Алжир, а тот единственный человек, кого алжирцы и армия согласны были хотя бы выслушать, если уж не послушаться. «Крайнее средство», тот единственный, кто мог бы говорить от имени Франции и не вызвать в ответ пожатия плеч. Это очень чувствовалось в обращении президента Коти *. В ночь возвращения Генерала Франция, замершая, когда в Национальном собрании сошлись вместе его противники и враги, доверилась ему одному.

И справедливо, хотя они в этом не были уверены. Но ведь они не только имели свой кабинет министров в виде переходного правительства, не только правые алжирские делегаты скандировали: «После Нагиба Насер!» *, но и большинство голлистских активистов ждали свершения своей революции. Однако Генерал пошел на принятие самого важного после 18 июня 1940 года

решения: воспротивился созданию «единой партии» любого вида.

Мы прекрасно понимали, что так оно в любом случае и будет, но не вполне понимали почему. Праздный вопрос? А не считал ли он просто-напросто идею создания «единой партии» столь же нелепой, как и мысль о воскрешении радикальной? Не думал ли, что утраченное призвание Франции, которое он пытался вновь обрести через Сообщество, но которое алжирская война подвергла тяжелым испытаниям, требовало именно такого решения? Среди тогдашних нелепостей очевидней всего выявилась нелепость «власти». Править со стороны власть имущих становилось все более тяжким преступлением. Всякая власть была доведена экспертами до полной немощности; они предпочитали именно такую, чтобы старательно исполнять ее. Французы почти не задумывались над проблемой власти: им привычной всего было злоупотребление ею; идея эта четко и блистательно проводилась в истории, начиная с Виктора Гюго до Дюма. О, благословенные времена, когда не допускали до власти голлистов, когда Генерала и, «скажу без ложной скромности, господя, меня тоже» еженедельно поносили в печати многочисленные Рюи Блазы с интонациями Дюкло! Постыдная чрезвычайная юрисдикция вынуждена была почти что оправдать Салана*... Генерал де Голль до своей отставки включительно был главой в высочайшей степени правового государства. Церемониал, по которому консул, покидая с войском Рим, надевал тогу гражданина, а по возвращении после победы вновь получал консульскую, был одним из самых привычных его образов; пурпурной тогой Генерала стала 16-я статья*.

Я видел, как он защищал (не без гнева) муниципальные свободы, потому что «почти двадцать тысяч муниципальных советников являются превосходными орудиями Франции», а между тем они, эти свободы, позволяли какому-нибудь Топазу* противодействовать его планам. Он с трудом терпел позицию Государственного совета, но тем не менее терпел. Сенат он считал самым неэффективным нашим институтом и поставил на карту себя, чтобы попросить у страны одобрения на изменение его формы. Может быть, он неизменно стремился к неограниченной власти из сознания того высочайшего достоинства цивилизации, которое он обязан был сохранять во Франции, как сохранял республику?

Он был знаком с гегелевским методом. Суверенность народа не есть суверенность совокупности отдельных людей. Общая воля, действительно суверенная, вершит историческую судьбу при либо без согласия индивидуумов, которые о ней не желают знать или не интересуются ею (метод в высшей степени полезный для приравнивания коммунистической партии к пролета-

риату). Зависит ли судьба Франции от тех, кого она не интересуется? Его почти вызывающий ответ был таков: власть должна осуществляться через государство.

Он повторял это неоднократно. Если бы это услышали, удалось бы избежать многих недоразумений. Но люди не слушают то, что знают наизусть. По крайней мере это решение, пока еще не объясненное в его «Мемуарах», было обдуманым, поскольку позже он мне говорил: «До чего же нелепа эта вечная история насчет фашизма. У нас не было ничего общего с ними. Для нас опасностью было скатиться не к фашизму, а к монархии». Его враги до самой отставки давали его правлению крайне любопытное определение — предфашизм. Дескать, завтра всех начнут расстреливать.

— Какого дьявола, — удивлялся генерал, — протестантские демократии, скандинавские, равно как и англосаксонские, видят свое подобие в средиземноморских «левых», которые совершенно не схожи с ними? Почему столько людей уверены, что я готовлю тоталитарное государство? А как же тогда республика, личные свободы, гарантируемые ею? Мне хотелось бы понять механизм.

Но он обрел телевидение. И изменил саму суть того, что оно показывало. Вместо фотографий новых министров, вручений премий — на экране его самолет, нацеленный на юг; вместо ничемных поздравлений — Алжирский форум. С ненавистью, с восторгом люди смотрели, как история заменяет политику. 14 июля Французское сообщество впервые установило на площади Согласия свои эфемерные флаги. Один посол-сталинист наклонился ко мне и не без иронии шепнул: «Даже нас, старых революционеров, захватывает...» Телезрители не принимали участия в этих подкалываниях, но что общего между тем, что они видели, и тем, чего не видели год назад? Этим концом империи, превратившимся в праздник Федерации, воскрешенной «Марсельезой» Берлиоза, бурлящим Алжиром, дружественной Африкой на малый экран прорвалась Франция. На пресс-конференциях говорили о делах мирового значения, а ведь недавно эхо ответило бы: куда вы лезете? Манихейство *, противопоставлявшее голлистов и антиголлистов и не имевшее прецедентов, разве что кроме противопоставления коммунистов антикоммунистам (но коммунизм ведь тоже миф), глушило решающий сдвиг, как глушат радиопередачу. Телевидение внесло голлизм в каждый дом, приведя туда историю, точно так же, как радио превратило голос Генерала в голос Франции. Изменилась не программа, изменилась судьба.

Политики требуют власти, постов и победы своего мнения. Они обвиняли Генерала в том, что он нарушил равновесие, бросив на весы свой авторитет, и не понимали, что он сам вечно

был ставкой в его невозмутимой игре ва-банк — своей личностью или позицией. Победа алжирских парашютистов отнюдь не означала бы реорганизации кабинета министров! И победа бунтарей 1968 года тоже. Быть свергнутым государственным переворотом и подать в отставку — разные вещи. Если бы МЛН * или ОАС * убили его, это никого бы не удивило. Миф снижается до вымысла, как и героизм, но он рождает чувство общности в самых сокровенных глубинах каждого из нас. Враги постоянно его путают с пародией на него, но, споря с нею или мимоходом ее проклиная, они твердо убеждены: Жореса необходимо убить. Миф питает миф: президент в мундире против алжирских генералов; монументальный, как менгир, генерал де Голль в наглухо застегнутой шинели, которую он не надевал ни разу после высадки, при внесении праха Жана Мулена в Пантеон. Его поступки поддерживали между ним и событиями связь, какую не заменит ничто, тем паче доктрины. Вы представляете себе генерала де Голля, чья уверенность вылилась бы в книгу, а не в восемнадцатое июня?

Однако за мифом вырисовывался персонаж, обладающий опытом и смирением, персонаж, говорящий: «Обстоятельства таковы, каковы они есть», как бы покоряющийся им, тогда как в действительности он готовился направлять их. Ему пришлось примирить или по крайней мере заставить сосуществовать Дон Кихота и Санчо Пансу, чтобы они вдвоем обеспечивали ему большинство, дававшее юридическую основу его власти. При этом он не столько разрешал споры между различными тенденциями, как раньше, сколько сопрягал почти антагонистические, но тем не менее взаимно друг друга дополняющие силы. С одной стороны, ярых голлистов, то есть активистов, а с другой — молчаливую массу, которая, начав с выражения доверия, в конце концов говорила: «Увы, де Голль!» Он утверждал, что демократии утратили воодушевление, из которого рождаются истинные массовые движения, что теперь демократии располагают незначительным большинством: разрыв в пять очков, соотношение пятидесяти пяти процентов к сорока пяти воспринимается как триумф. Во время референдума по поводу Алжира, когда Европа и Америка провозгласили, что Франция идет за де Голлем, его неожиданные девяносто процентов голосов не достигли даже и двух третей первоначально зарегистрировавшихся избирателей. Отсюда его постоянное обращение к истории, которая через раз отвечала ему скверными стишками. Она оказывалась деянием разгоряченного страстями большинства; он еще помнил Елисейские поля в первые дни после Освобождения и Францию, сплотившуюся вокруг него против ОАС. Теперь же поле его деятельности сузилось до размеров самой судьбы. «А почему бы, например, не большинство голосов женщин про-

тив голосов мужчин в прибрежных департаментах, — спрашивал он своим окрашенным невеселой иронией голосом, — или же большинство граждан, фамилии которых начинаются с буквы "А"?» Он питал надежду собрать вокруг себя в целях все того же Общественного спасения такие же массы, как в 1944 году. Но только из чего они рождались, как не из неистовства многочисленных группировок вроде «Свободной Франции» или Сопротивления? Во время высадки союзных войск под его началом было меньше добровольцев, чем жандармов у вишистского правительства.

Судьба Франции, ответственность за которую взяли на себя сражающиеся группировки, принадлежала отныне расплывчатой массе голосующих, которые, не подозревая о том, распоряжались законностью государственного устройства. И он был бессилен что-либо изменить. Именно их он и должен был убедить, как если бы Франция стала разыгрывать свое будущее в кости. И все же предпринятые его противниками попытки любой ценой убедить и привлечь на свою сторону если не эту массу, то по крайней мере некоторые достаточно многочисленные категории избирателей-холостяков, стариков, различного рода общины — провалились. В то время как он ничего подобного не предпринимал. Он чувствовал, что все эти неизвестные придут к нему только лишь в том случае, если он тронет сердце Франции. Удержать Францию он мог, лишь подобрав ключ к их душам, а сам ключ он мог подобрать, лишь добываясь Франции. Можно предположить, что в будущее он смотрел с большей уверенностью тогда, когда находился во главе горстки моряков с острова Сен *, чем тогда, когда за ним шел пятьдесят один процент избирателей... Но уж коль скоро в прошлом ему удалось восстановить страну, располагая столь незначительными средствами, то теперь он надеялся удержать корабль на плаву, тщательно выверяя его курс: «Нужно делать дело с тем, что имеешь под рукой. И у Генриха IV не каждый день был праздник!» Слушая по возвращении из Камбоджи запись своей пномпеньской речи, он, казалось, с недоумением узнавал голос все еще живой Франции, словно хозяйка, которая, вернувшись с рынка, вдруг обнаружила, что ее корзина полна звезд. И снова в который уже раз он констатировал, что французы, путающие государство с правительством, все же соглашаются принимать в качестве закона *высшую ответственность перед Францией, вверенную народом и осуществляемую через посредство государства.*

Франция неотступно присутствует в его мыслях, но не вопрошает его. А вот государство вопрошало его постоянно. Он говорил о нем, как Бонапарт в бытность свою консулом или как

ученые о науке, являющейся в их глазах областью строгого знания, уходящего корнями в приключение. Он упрекал святого Августина в отсутствии политического чутья за то, что тот сравнивал государство со сборищем разбойников. Поэтому создание новой конституции представлялось ему столь же неотложным делом, как урегулирование алжирской проблемы. Общественное спасение невозможно без воинской повинности, а воинская повинность невозможна без декретировавшего ее революционного государства. Нет нации без государства, вопреки теоретикам Интернационалов, требовавшим его отмирания. Генерал всегда видел в государстве не аппарат власти одного класса, а средство национального единства, находящегося под постоянной угрозой; таков же был взгляд Конвента. Величайшие люди Франции, говорил он, служили ей, преобразовывая государство: Бонапарта невозможно представить в роли главнокомандующего при Людовике XVI. Монархии и республики придали нации форму, которая без государства была бы телом без души или понятием, без истории. Подобно Ришелье, главной своей задачей он считал создание и укрепление государства, способного наилучшим образом служить стране.

Так ли уж отличались труд, дух изобретательности, промышленность, торговля Франции в 1620 году, когда она была слаба, и в 1650 году, когда она выдвинулась в могущественнейшие монархии христианского мира?

«Когда французы ладят меж собой, тогда да!» Он остро чувствовал великую историческую мутацию, с которой плохо согласовывалось запутавшееся в политике и в химерах государство. Его государство было почти противоположностью правительству; правительство управляет тем, что неизменно, а государство тем, что меняется. Его государство было инструментом становления нации, самым мощным средством координации ее сил. «Не очень-то много было сделано со времен Наполеона... Разве что перестали вообще что-либо понимать в государстве, от которого ждут всего, включая право на счастье». Он увлеченно, как когда-то укреплением бронетанковых дивизий, занялся налаживанием этого авторитарного, но хромого аппарата. Для него это было нечто большее, чем аппарат, — своего рода живой и закрепощенный организм, который предстояло освободить от инертности, конформизма, химер, феодальной зависимости от хозяев и профсоюзов, то есть всего того, что могло соперничать с государством. Он сочинил историю государства, подобную историям войн, которые являются прежде всего историями армий. Он написал историю французской армии *. Однако если о стратегии писали многие офицеры, то главный историк армий Дельбрюк * оказался по профессии преподавателем, а не военным. Применение арбалета, аркебузы

организуется и развивается так же, как впоследствии организуется применение танков; однако происхождение самых радикальных изменений в военной области вовсе не военное: пример тому — воинская повинность, декретированная страной тогда, когда было объявлено: «Отечество в опасности», и положившая начало всеобщим мобилизациям. Как и Наполеон (и, похоже, следуя той же схеме), Александр Македонский изобретает одновременно и военные, и гражданские организмы, например конницу гетайров * и административные учреждения для завоеванных областей. «Наше государство на полвека отстает от нашей техники и даже от наших политических концепций», — говорил де Голль в 1960 году. Он восстановил государство в 1945 и 1958 годах, указал путь членам Французского сообщества. «А теперь им нужно создавать свои государства. Если они на это способны». Идея создания государства, подобно, например, идеям создания римского сената или состоящей из легионов армии, отнюдь не лежала на поверхности. Генерал интересовался структурой департаментов и образованием наемной армии при Карле VII *. Он лично знал всех префектов, разбирался в истории «изобретения» первых элементов автономии в коммунах, а также в том, как был введен первый постоянный налог или как сложилась система социального обеспечения. Один из его министров раздраженно бросил мне: «Он хотел бы каждое утро устраивать здесь Национальную школу администрации *». А сам генерал говорил так: «Государственная власть была чем-то вроде прокладки между ожесточенно воюющими за голоса избирателей партиями, и при этом ей отводилась роль арбитра по проблемам, о которых она понятия не имела».

Мир профсоюзов остался где-то в стороне, несмотря на полтора миллиона голосов, отобранных у коммунистов. Генерал пожелал наладить с профсоюзами отношения, установленные еще в Лондоне. Вернувшись к власти, он сразу же возвратил профсоюзам их права. Он видел в них более серьезных по сравнению с партиями выразителей и защитников профессиональных интересов. Однако общих целей лондонского периода, таких, как антифашизм и победа, уже не было. Разрыв с Леоном Жуо * в 1946 году оказался бесповоротным. Начав вмешиваться в политику, тот, по мнению де Голля, бесцеремонно перескочил из народного лагеря в лагерь нового феодализма. На отказ генерала его принять Жуо ответил завлечением, что де Голль является врагом рабочего класса; между тем в аналогичных условиях сам он точно так же отказался бы принимать председателя патронируемых им профсоюзов.

Однако профсоюзная оппозиция не представляла опасности для государства и не стала тормозом в развитии страны ни в 1946 году, ни после 1958 года. Демократия предполагает нали-

чие оппозиции. Возможно, генерал предпочел бы иметь перед собой иную оппозицию.

Он понимает, что предпочтение всегда отдается иной оппозиции.

Он весьма рано столкнулся с оппозицией прессы. Беспрерывно нападая на приписываемый генералу предфашизм и при этом апеллируя к добродетельной демократии и политической морали, газеты в течение многих лет выражали порицание, которое, будучи весьма распространенным среди интеллигенции, на настроения населения в целом по стране не влияло и самим генералом во внимание не принималось. Потому что единственной партией, предлагавшей создать альтернативное правительство, были коммунисты, но создать его в одиночку не могли. То, что речь идет о психологической драме или даже об итальянской комедии с обращенной к генералу неизменной фразой «А ну-ка повторите!», становилось со временем все очевиднее — сейчас историку совершенно ясно, что, хотя интеллигенция и политики и делали в ту пору вид, что ссылаются на пролетарскую революцию и на возможный возврат Четвертой республики, в действительности они ни в то, ни в другое не верили. По существу же альтернатива в серьезных обстоятельствах так ни разу и не представилась. На вопрос «Что делать?», в смысле действия, ответ всегда был один и тот же: писать статьи.

Интеллигенция практически не прекращала своего диалога глухих, где в качестве аргументов постоянно фигурировали «фашисты» и «ГПУ»! То было совершенно идиотское навязывание доктрин, потому что голлизм, явившийся ответом на кризисную ситуацию во Франции, не имеет ничего общего ни с одной из политических систем. Первая республика и социалистические элементы Второй республики включали в себя системы своего времени. Затем, благодаря Марксу, произошло их упорядочение; однако в Сорбонне, равно как и в иных сферах, Маркс занял место не Прудона и не Бакунина, а «Аксьон Франсез». Все это произошло на глазах генерала, который хорошо знал, что такое «Аксьон Франсез». Его недоверчивая мысль не желала отождествляться с какой бы то ни было системой. Ему настолько неприятно само это слово, само это понятие, что в течение долгого времени «системой» он называл парламентский режим. Он гораздо меньше заботился о том, что представляет собой история, государство или же он сам, чем о том, что он должен с этим делать. Ему очень понравилось процитированное мной выражение Будды: «Если ты видишь, что в твоего друга попала стрела, то станешь ли ты размышлять о сущности лука или же вырвешь стрелу?» Он так же хотел власти Франции, как Маркс власти пролетариата, а Моррас власти монархии, но его Фран-

ция не была понятием. Его собеседником была не столько история, сколько Общественное спасение.

Победа марксизма состоит, разумеется, не в том, что он обратил в свою веру Запад, а в том, что для стольких жителей Запада он сделал поставленный им вопрос главным, основополагающим. Однако доктрину, даже очень важную, нельзя противопоставлять действию, даже если оно и выглядит как модель. Генерал не превратил свои проблемы, и в частности проблему государства, в постулаты: путь к его идеям лежит через принятие его мифа и зачастую на этом и держится. Какая-либо ориентация на марксизм ему чужда. Взгляд на историю как на судьбу напоминает ему исторические взгляды Руссо *; будущее представляется ему вовсе не благоприятствующим, а враждебным, и он не верит, что история сама по себе, как бы она ни развивалась, поможет Франции вновь занять в ней и сохранить достойное место. Марксизм отныне заигрывает с таинственным национальным фактором, который генерал считает центральным в нашем столетии, хотя никто еще не определил его контуры. Становление наций по территориальному принципу? Алжир, который никогда не был нацией, становится ею. Станет и Вьетнам, неважно какой. В Африке с трудом идет рождение федерации, а нации прямо кишат. И ни одна нация никогда не считала де Голля своим врагом. Мао Цзэдун назвал мне его имя прежде, чем упомянуть о Франции. Прошлое высветляет национальную позицию коммунистов гораздо лучше, чем настоящее. В 1945 году они хотели аннексировать все направления движения Сопротивления во имя патриотического и либерального коммунизма, подобного Пражской весне *. Но какой идиот способен сегодня поверить, что Сталин в 1945 году потерпел бы Парижскую весну? Речь шла отнюдь не о розах, а о настоящем сталинизме, а генерал видел Сталина вблизи.

Не пожелав отдать Торезу и Дюкло ключевые министерства, которых те добивались, он сказал им: «Вы сделали ваш выбор, я же не имею права выбирать». Они увидели в этом обман, но это была сама суть его мысли. В какой мере надеялся он, что в новом государстве ему удастся если уж не привлечь коммунистов на свою сторону, то по крайней мере установить с ними благодаря франко-советскому договору * определенный *modus vivendi* ¹? Они шли за ним и в Лондоне, и в Алжире, и в период Освобождения. Правда, не без задних мыслей. Однако Патриотическая милиция была уже распущена, а Восстановление продолжалось

¹ Букв.: образ жизни, зд.: временное соглашение, сосуществование (лат.).

Он выписал фразу Ленина о том, что всякая революция завершается усилением власти государства *. Ему было известно, как Ленин вслед за Энгельсом и Марксом бичевал государство, поскольку он читал все написанное о государстве. Нередко он смотрел на коммунистов так, как марксист смотрит на идеалистов. История посмеялась и над теми, и над другими. Его перспектива озадачивала их, как все у противника, не укладывающееся ни в рамки капитализма, ни в рамки консерватизма. Но и они тоже озадачивали его. Однажды я слышал, как он спрашивает скорее у себя, чем у Дюкло: «Как будет выглядеть коммунизм через пятьдесят лет?» «Все так же!» — твердо ответил жизнерадостный тулузец. Когда Дюкло ушел, генерал спросил меня: «И он верит в это?» — «Конечно: вы же их враг, а то, что они говорят врагу, всегда становится правдой». — «Сколько же надо было приложить труда, чтобы разувериться во Франции и в конечном счете поверить в Россию! Впрочем, они работают, заставляют работать других, а значит, нужны Франции, как и все остальные».

Когда появлялся хоть один шанс, чтобы обеспечить единство государства в период восстановления, он соглашался играть даже с шулерами. Сумев предугадать столько событий, он оказался неспособным предугадать, что, как только Национальное собрание начнет работать, уберечься от его разрушительной деятельности будет невозможно. Он правильно рассчитал, что никакой революции они делать не станут. У него сохранились воспоминания о партиях, какими он знал их до войны, и воспоминания о коммунистах, какими он знал их в Лондоне. Теперь же он не узнавал ни партии, совершенно ослабленной, ни коммунистов, каждый из которых, за исключением Тореза, почитал себя Лениным, а его самого все принимали за Керенского. Однако великие демократии родились из консенсуса, который при наличии мощной и претендующей на роль гаранта демократии сталинской партии не удалось сохранить нигде. Не будучи достаточно сильной, чтобы взять власть, такая партия оказывается достаточно сильной, чтобы разрушить государство, потому что в этом случае политическая карта, даже в условиях парламентского режима, вычерчивается не по своим внутренним законам, а с оглядкой на сталинизм. С политического горизонта исчезают настоящие правые — и если вчера на их место приходили фашисты, то сегодня приходят полковники, либо независимые, желающие быть либералами, либо либералы, желающие быть независимыми. В прошлом социализм означал справедливость и интернационализм, противостоящие порядку и армии; сталинисты же, постоянно набивая себе цену, выступают за порядок, за родину, за армию, за справедливость, но в их понимании. Причем они-то ничем не рискуют, потому что

хотят разрушить государство, а партии рискуют всем, потому что хотят либо его сохранить, либо осуществить в нем определенные реформы. А после избрания учредительного Национального собрания оказывается, что от антифашизма сохранилась только сталинская марионетка. Действительно ли западные правительства верили, что им удастся возобновить с коммунистическими партиями прерванный войной диалог? Ведь те не больше походили на своих слабых предшественников, чем Россия — владычица половины Европы на Советский Союз в границах 1936 года. Никто на Западе тогда не понял, что на пути от народных фронтов к народным демократиям изменилась сама природа коммунистических партий. 13 ноября Национальное собрание единодушно сделало своим председателем генерала де Голля. В декабре Конституционная комиссия лишила будущего президента республики всякой власти и подчинила правительство Национальному собранию *. Подобной телегой с разъезжающимися в разные стороны колесами не смог бы управлять никто, какой бы твердой ни была рука возницы, даже такой твердой, как рука генерала. Выйдя победителем из начатой в 1940 году борьбы за Францию, на сей раз генерал де Голль потерпел поражение.

Поезд в ночи, разбросанный клочками снег: Париж все ближе; на фоне белого окна над Клерво поднятые руки... У президента Сенгора тоже было ощущение, что мир пошатнулся, и у профессора Торреса, произносящего то ли в Беркли, то ли в моем кабинете в Пале-Рояле: «А ведь я человек именно этого нелепого времени...» В мае шестьдесят восьмого он говорил: «Студенты, опять начинается! Как в Калифорнии!.. Пускай!..», и «Победит ли и на этот раз де Голль? А впрочем, какая, в конце концов, разница!..», и «Все это заезжие гости...». Однако я ловлю себя на мысли, что вот уже четверть часа думаю именно о них, об этих заезжих гостях, о которых мне говорил Торрес. Мою фразу: «Есть только коммунисты и мы, и между нами нет ничего!» — продолжали обсуждать еще долго после того, как она перестала отражать истинное положение вещей. В любом случае, в течение многих лет мы были их главными противниками, и наоборот. Удивительно то, что между нами никогда не было реальных столкновений. Это невозможно объяснить одной только внешней политикой генерала. Коммунисты называли нас фашистами, но это было название, что называется, «на экспорт», потому что уж они хорошо понимали, что без однопартийной системы фашизма не существует и что решение генерала в этом вопросе окончательное. Он же, напротив, никогда и в мыслях не имел запрет коммунистической партии; и, если не считать несколько стычек с полицией в 1947 году, эта партия

вплоть до мая 1968 года не предпринимала против генерала де Голля никаких массовых действий.

Он тоже смотрит на это «нелепое время» с чувством астронома, открывающего диковинные планеты. Свысока. Однако неужто прошлое воскресит лишь события, а не ту неподвластную им действительность, которая как бы воплощает воображаемое, — ту действительность, которая останется существовать и тогда, когда умрут все, кто ею жил?

Во дворах ферм слышались крики немецких солдат, разбиравших приклады наших винтовок. Дым апокалипсиса, поднимавшийся от пылающих складов горючего, гнал страну на юг. Опустившаяся, ставшая своей собственной вдовой Франция и доносившийся из Лондона голос: «Я призываю присоединиться ко мне, с их оружием или без него...» Их оружие!

Были обнаженные Карлтонские сады, был диалог с председателем Кассеном * перед кухонными столами, называемыми бюро: «Мой генерал, мы, конечно, не Иностранный легион, являемся ли мы французской армией? — Мы являемся Францией». Внизу — моряки с острова Сен и первые добровольцы из Новой Каледонии. Когда немцы прибыли на остров Сен, то не обнаружили там ни одного человека.

Был Мерс-эль-Кебир *, где англичане потопили французский флот. «Что касается "Свободных французов", то они приняли свое суровое и окончательное решение: раз и навсегда приняли решение сражаться».

На одном из гребней просторной зыби ливийских песков, подобно обломку корабля, сверкающему над поверхностью океана, в Бир-Хакейме, были, наконец, французы, которых немцам не удалось разбить.

Потом был первый расстрелянный немцами в отместку парашютист из «Свободной Франции». Тогда каждый вишист считал своим долгом призвать генерала к осуждению индивидуальных покушений на немцев: пресмыкаясь, они требовали от этого «предателя» проявления гандистских добродетелей. Ни разу не осудил генерал ни одного действия Сопrotивления. На этом процессе он был не судьей, а заинтересованной стороной.

Был срыв в Дакаре *, но в то же время уверенность всей Африки, что Франция — это не Виши.

Были разногласия с Черчиллем. «Стоит мне убрать руку, и у генерала де Голля не останется камня, чтобы преклонить голову!» До фашистского нападения на Россию и бомбардировки Пёрл-Харбора, когда Англия в одиночку взяла на себя ответственность за судьбу мира, прекословить английскому правительству... «Я был слишком слаб, чтобы уступить».

«Вчера немецкие войска вторглись в Советский Союз», — сообщило радио, а потом что ни неделя — все новые известия о поистине наполеоновских победах, до тех пор, пока не выросла стена.

Были события, связанные с архипелагом Сен-Пьер и Микелон *, словно разбросанные клочки земли остались последним пристанищем Франции.

Были, ко всеобщему удивлению, разногласия со всемогуществом Рузвельта. Дарлан *, но и Даркье де Пельпуа *. Жиро, фигура которого красноречиво говорит сама за себя. Диалоги Петена с Леги * либо Эррио * с Лавалем *. Священные союзы беспомощности.

Союзники тем меньше пренебрегали «Свободной Францией» и Соппротивлением, чем больше покрывала Бретань и Нормандию разведывательная сеть, чем больше уходили в маки те, кто хотел избежать обязательной трудовой повинности, и чем больше становилось ясно, что во Франции готовилась высадка войск. С 1944 года генерал де Голль старался объединить Соппротивление и «Свободную Францию», создать из этих разрозненных островов мужества согласованное действие Франции. Кто из этих формирований, независимо от многочисленности рядов, должен был символизировать в глазах союзников преемственность нации? Жан Мулен, основавший от имени генерала Национальный совет и Объединенные движения Соппротивления, не проронив ни слова, умер от пыток; благодаря «ночному народу» взрывались мосты, минировались дороги, осуществлялся саботаж, в результате подтягивание немецких подкреплений к Нормандии прошло с таким опозданием, которое генерал Эйзенхауэр назвал непоправимым.

Для Франции это не пропало даром. Кому следовало доверить управление освобожденными территориями: французам или армии освободителей? Американцы не без колебаний решили было использовать один забытый текст законодательства Третьей республики: согласно ему, формирование нового правительства поручалось Генеральным штатам. После ликвидации вишистского режима это привело бы к затянувшейся на месяцы анархии, которую пришлось бы подавлять силой не кому иному, как военной американской полиции. Полиция же эта подчинялась так называемому АМГОТу¹, а это значило — приравнивание Франции к территориям вражеских государств: Италии и Германии! Вообразить здесь черные замыслы и глубинные конфликты с нашими союзниками абсурдно: если бы

¹ Allied Military Government of Occupied Territories — Союзническое военное правительство оккупированных территорий.

американцы решили передать все АМГОТу, оставить Страсбург, то кто бы смог им в этом помешать? Однако для того, чтобы признать власть участвующей в войне Франции, а не Франции — сателлита Германии, нужно было, чтобы она существовала. С первого же дня после высадки союзников появились присланные из Лондона или назначенные Спротивлением комиссары Республики. В каждом отвоеванном городе союзническая армия обнаруживала прибывшего туда несколько дней или несколько часов назад префекта временного правительства Республики. Освобожденная Франция узнавала себя в де Голле, в нешуточном и неистовом энтузиазме Елисейских полей, как узнала она себя в солдатах Леклерка, что пришли к Триумфальной арке в губной помаде.

В Париже его ожидала ярмарка власти, сопоставимая с ярмаркой металлолома. Прежде всего он сделал так, чтобы временное правительство не дублировалось. Обосноваться в Елисейском дворце, в ратуше, где-либо еще? Он обосновался в единственном месте, откуда можно сражаться одновременно и с врагом, и с хаосом: в военном министерстве.

Из-за обилия появившихся на другой день после Освобождения униформ, среди которых совсем затерялись униформы маки, бойцы стали превращаться в участников какого-то опасного карнавала. Объединение внутренних войск с Первой армией моментально произвело размежевание: настоящие бойцы отправлялись на фронт либо возвращались к себе домой. Оставались другие. Но ненадолго. Поскольку все тяжелое оружие было, естественно, передано армии, то в тылу его больше не осталось. Роспуск патриотической милиции, предписанный правительством, куда входил Морис Торез, дало понять возмутителям спокойствия, что в государстве есть только одна армия и что место ее на фронте.

Продолжая борьбу, нужно было перестраивать Францию, обеспечить ее независимость. Чтобы добиться первой цели, требовалась долгосрочная и реальная договоренность с коммунистической партией. Сталин, несомненно, желал заключения договора. Генерал считал, что независимость и подчинение Соединенным Штатам несовместимы. Он отправился в Москву и вернулся с франко-советским пактом, в результате чего Торез стал его помощником, а французские рабочие принялись за работу.

Ему казалось, что тем самым он способствует созданию государства. Его грезы развеял проект новой конституции, который меньше всего отвечал этой задаче и меньше всего обеспечивал отвоеванную независимость. Он заявил об этом в Байё *. Слишком поздно. В результате — десять лет отсрочки.

Таким образом, в 1958 году главной его задачей стала новая конституция, а его ближайшей задачей — обретение Франции перед лицом алжирской драмы, независимо от возлагаемых на нее ожиданий. Причем без гражданской войны. Он отменил цензуру и отправился в Алжир.

Прежде всего освободить сложную алжирскую проблему от колониальной проблемы. Франция, некогда освободившая рабов *, должна была последовать примеру Англии, десять лет назад ушедшей из Индии, и перестать цепляться за колониальную империю, бросив ее на весы: пусть каждая бывшая колония сама решает, входит ли ей во Французское сообщество или же предпочесть самостоятельность.

Конец нашей империи явился не менее значимым событием, чем уход англичан из Индии. И тревога, порожденная кровавым диалогом между независимостью и разделом Индии, давала себя знать и в ожидании этой эпической лотереи — в диалоге человека, сделавшего Францию освободительницей, с каждой из бывших французских колоний.

Поэтому в битве и переговорах с ФНО * он располагал гораздо большей свободой действий по сравнению с постоянно колеблющимися политиками Четвертой республики. Вначале он верил в возможность заключения договора (и ФНО никогда окончательно не порывал с ним отношений). «К несчастью, не в моих силах сделать Ферхата Аббаса * умным...» Когда он с сомнением в голосе произнес на заседании совета министров слова «Речь идет о том, чтобы определить, совпадают ли высшие интересы Франции с интересами французских колонистов в Алжире...», я решил, что он уже принял решение. Хотя он и страдал от того, что называл «раком армии», для празднования годовщины взятия Страсбура Леклерком генерал пригласил тысячи офицеров, встретивших его выступление враждебным молчанием. В который раз — противостояние. Он закончил медленно, отчетливо выговаривая слова, словно обращаясь к участникам гражданской войны: «Поскольку государство и страна свой выбор сделали, не осталось никаких сомнений относительно того, в чем сейчас заключается воинский долг. И не подчиниться этому долгу способны лишь обреченные солдаты...»

А потом был мятеж генералов *.

И тогда вступили во взаимодействие его миф, его понимание государства, его представление о самом себе. Он стал сопротивлением страны, народа, того крестьянина, которому почтальон либо мэр сообщил о гибели в Алжире его сына, сопротивлением «людям с быстрыми, но ограниченными способностями», которые воспользовались армией для установления своего престижа и узурпированной силы. Франции пол-

ковников! И вот люди перед экранами телевизоров ждут того же НЕТ, что и 18 июня: «Если на мне сегодня эта униформа, то это для того, чтобы показать, что я не только президент Французской республики, но и генерал де Голль» и «Изо всех сил, всеми средствами боритесь против этих людей!» Голлизм был тем, что перед лицом одной и той же опасности отделило Францию и ее правительство в 1961 году от Франции и ее правительства до 1958 года. «Моя дорогая древняя страна, мы снова вместе в час испытаний...» На сей раз он был полон решимости.

Следующую большую волну — другого рода — он встретил лишь в мае шестьдесят восьмого. Встретил так же. С той лишь разницей, что к студенческой молодежи он испытывал иные чувства, нежели к генералам из Алжира. Он предвидел военный мятеж, в той или иной форме; он предвидел кризис молодежи: Соединенные Штаты, Голландия, Италия, Германия, Индия, Япония, даже Польша... Однако никто не мог предвидеть, что в скором будущем этот кризис сольется с массовыми выступлениями профсоюзов. Ситуация все больше напоминала то, что бывало в XIX веке: праздник и баррикады, — и сильно отличалась от того, как развивалась, например, забастовка шахтеров. Однако, как и в других странах, студенческий бунт показал, что он, в сущности, не носит характер восстания, что он иррационален и обращен на самого себя. Поэтому коммунистическая партия не подключалась к нему, она его сопровождала. Огромная демонстрация собрала все политические и профсоюзные силы, контролируемые коммунистическим революционным аппаратом. Партия считала себя более сильной, чем в 1945 и 1947 годах, и генерал это знал. Коммунисты позволяли болтунам говорить о том, что надо делать революции; сами-то они знали, что революцию не делают — ждут, когда она созреет. Для исследователей типичнейшая ситуация: повстанческая суматоха, предшествующая захвату власти; государству противостоит одна-единственная сила — коммунисты. События же на стадионе Шарлети * показали, какая победа досталась бы коммунистам в случае низложения генерала де Голля: против них не нашлось бы даже Керенского. К ним стеклись бы все антиголлистские силы, способные на борьбу, а не только на лирическую иллюзию... Однако всего один убитый... Много полицейских, но мало средств подавления: их не подключили. Известно, чем оказались в Будапеште бутылки с зажигательной смесью против советских танков — пустым звуком *. Правительство не собиралось применять танки против студентов или демонстрантов, но применило бы их против вооруженных отрядов. Поэтому коммунистическая партия так же не

могла использовать свои бутылки с зажигательной смесью, как правительство — свои танки. И коммунисты и правительство зависели от общественного мнения. Без него не могло быть восстания, но и государства уже не было. Жребий был брошен: накануне выступления Генерала коммунистическая партия, давно уже говорившая о своем «участии в управлении страной в составе демократического правительства», заявила: «Народ Франции требует, чтобы при новом режиме рабочий класс и его коммунистическая партия получили причитающиеся им места». Все места. Генерал, который едва упомянул про Алжир в своей речи, по поводу путча, о студентах практически не говорил. Он говорил французам от имени Общественного спасения.

«Я не уйду. Я получил наказ народа и выполняю его.

Я не сменю премьер-министра, который своими достоинствами, способностями, надежностью заслужил всеобщее уважение. Он предложит мне изменения в составе правительства, которые сочтет полезными.

Сегодня я распускаю Национальное собрание».

Это означало поставить Францию на место правительства. Начиная с этой минуты генерал де Голль становился гарантом консультаций с народом и новых выборов. Пятая республика проводила испытания своих важнейших институтов. Комедия, в том числе и бунтарская, закончилась: Франция собиралась решать свою судьбу сама.

«Необходимо, чтобы тотчас же и повсюду было организовано гражданское действие. Это нужно для того, чтобы помочь прежде всего правительству, а затем на местах, префектам, которым назначат либо повторно утвердят комиссарами Республики, помочь в их работе, направленной на обеспечение нормальной жизни населения и на пресечение подрывных действий в любой момент и в любом месте.

Над Францией нависла реальная угроза установления диктаторского режима. Ее хотят принудить подчиниться такой власти, которая явилась бы следствием национального отчаяния, которая была бы естественно и преимущественно властью победителя, то есть тоталитарного коммунизма. Само собой разумеется, сначала ее бы подкрасили, придали бы ей, используя честолюбие и ненависть третьесортных политиков, обманчивую внешность. После чего оказалось бы, что вес этих персонажей равняется их собственному, весьма незначительному весу».

Пока он говорил, толпа, не менее плотная, чем та, что встретила его во время Освобождения, постепенно заполняла Елисейские поля. В результате были обещаны повышение зарплаты и реформа университета, но гражданская война, которая отбро-

сила бы Францию на двадцать лет назад, потерпела поражение. Оказалось, что захватить страну врасплох нельзя: она повернулась лицом к опасности, и вновь по радио голос позвал миллион людей на Елисейские поля. Сонмы людей, крики которых американское посольство улавливало на площади Согласия, чтобы ретранслировать их в Белый дом, достигали Триумфальной арки. В тот же вечер коммунистическая партия уже ограничилась требованием «истинной демократии». С 4 мая люди повсюду стали возвращаться на свои рабочие места. Можно ли себе представить правительство Ориоля перед лицом майских событий шестьдесят восьмого? При том, что бастовала и полиция? «Мемуары» обязывают обратиться к прошлому. События, соприкасающиеся с легендой, обещают непредсказуемое, отодвигают исполнение судьбы. В этот час генерал де Голль наверняка кружит в рамках своей непроницаемой мысли, как и в своем кабинете с опущенными шторами, создававшими барьер между ним и снежной ночью. Размышляет о стечении обстоятельств, о самом себе, о том, что главному суждено воскреснуть. «Мемуары надежды». Он изучил Европу, возникшую после наполеоновских войн. «Когда Франция вновь станет Францией, отправной точкой будет то, что я сделал, а не то, что делается после моего ухода». Интересно, он имеет в виду свои идеи или 18 июня? Он любил повторять, что его идеология плоха на ровном пространстве. Франция выживет, если национальная воля удержит ее до появления непредсказуемого: когда призвали Ришелье, она была второразрядной державой. Генерал думает: перипетия всех явных нависших над Францией угроз или перипетия слепого, балканизующего ее мира? Ришелье не боялся смерти христианского мира. «Я попытался поднять Францию против конца света». Нация с большой буквы, в которую Франция некогда обратила Европу, родилась из лозунга «Отечество в опасности», из блистательной метаморфозы, предложенной Конвентом. В 1940 году судьба Франции затрагивалась непосредственно. Затрагивается ли она сейчас, в этом бесформенном мире, где на ощупь сталкиваются друг с другом последние империи? Она еще удивит мир. Андре Жид во время своей агонии сказал: «Это всегда борьба того, что разумно, и того, что таковым не является...» В музее Дома инвалидов, на выставке Сопrotивления, перед изрешеченным пулями столбом, у которого расстреливали наших бойцов, перед нашими подпольными газетами генерал, так же как и я в 1945 году, сказал организатору выставки: «Газеты очень хорошо отражают то, что участники Сопrotивления говорили, но слишком плохо то, как они сражались и умирали. Не оставалось никого, кроме них, чтобы продолжить войну, начатую в 1914 году: и бойцы Бир-Хакейма, и бойцы Сопrotивления были прежде всего свиде-

телями». И он тоже. Оставшись наедине с собой в Коломбе, между воспоминаниями и смертью, похожий на вождей палестинских рыцарских орденов перед гробом господним, он все еще остается вождем ордена, называемого Францией. В силу того, что он взял на себя ответственность за ее судьбу? Потому, что на протяжении стольких лет он нес на вытянутых руках ее труп, веря, заставляя верить весь мир, что она жива? Только что, когда он поднял руки перед окном и перед снегом, казалось, что он ее несет: «Это великие похороны». Он пережил тех, против кого сражался: Гитлера, Муссолини, пережил и своих союзников: Рузвельта, Черчилля, Сталина. Пережил, испытывая те же чувства, что и наполеоновские генералы, говорившие в 1825 году: «Во времена Великой армии...» Все эти дружественные или враждебные тени играют на земных просторах своими черными картами, где попадают и джокеры. Европа в огне, самоубийство Гитлера в бункере, остановившийся поезд, в знак траура по Сталину долго гудящие в сибирском безлюдье... А может быть, он думает о «великой эпохе», а не о великих людях? О том, как после 1815 года судьба мира подала в отставку. Однако он не потерял веру в непредсказуемое, в игру случая, залогом в которой — Франция. Конечно же, ему не чужды грезы, и, очевидно, он с мрачной гордостью несет в себе одну невысказанную мысль: «Если последний акт того, что было Европой, уже начался, то по крайней мере мы не дали Франции умереть в сточной канаве».

Однако для того, чтобы она поняла, что он хочет ей завещать, возможно, требуется нечто большее, чем обладать властью и даже большее, чем отойти от власти, — нужно умереть.

Коломбе,

13 ноября 1970 года

Десять минут спустя после его смерти врач покидает Буассери, чтобы отправиться лечить дочерей одного железнодорожника. Г-жа де Голль просит одного из столяров снять с пальца генерала обручальное кольцо; едва закончив свою работу здесь, столяры должны идти к г-же Плик, муж которой, крестьянин, тоже только что умер... Сегодня, в пасмурный день похорон, я спешу на похоронный звон Коломбе, которому отвечает звон всех церквей Франции, а в моей памяти — всех колоколов Освобождения. Я видел открытую могилу, два огромных венка: Мао Цзэдун, Джоу Энь-Лай. В Пекине над Запретным городом траурные флаги. В Коломбе, в маленькой церкви без прошлого, соберутся прихожане, семья, орден: рыцарские похороны. Радио сообщает, что в Париже, на Елисейских полях, по которым он некогда прошел, сверху вниз, из-за спин морских пехотинцев почетного караула снизу вверх

тянется молчаливая людская процессия. А здесь, в толпе, какая-то крестьянка в черной шали, похожая на коррезских крестьянок времен войны, кричит: «Почему меня не пропускают! Он сказал: все! Он сказал: все!» Я кладу руку на плечо моряка: «Пропустите-ка ее, ему бы это было приятно: в ее словах сама Франция». Не произнося ни слова, почти не шевелясь, он пропускает ее, и кажется, что он отдает почесть жалкой и верной Франции — женщина, ковыляя, торопится к церкви впереди рычащего танка, везущего гроб.

Елисейские поля

Тень ста знамен скрывает всех, кто их несет, за исключением первого ряда. Все эти старые промокшие под дождем штандарты, выпрямившиеся в ночи, в тишине, нарушаемой звоном сотрясающихся от медленного шага наград, движутся вперед, как деревья шекспировских лесов *. Освещена только Триумфальная арка; река течет во мраке, кое-где разрываемом освещенными окнами редких лавок. Ночь представлена трижды: поздним часом, освещением Триумфальной арки и сгустившимися тучами, образовавшими завесу дождя над людской лавой, сжатой с обеих сторон массивными изгородями из стоящих на тротуарах зрителей. Одни тени смотрят, как текут другие тени. Это не демонстрация — люди, заполнившие из конца в конец авеню, говорят лишь вполголоса. Но это и не похороны — гроба нет. Это траурный марш к Арке, ставшей гробницей, к большой орифламме, которая дрожит в лучах прожекторов, голубые, белые либо красные пучки которых до самых облаков высвечивают в свинцовой тьме капли дождя, подобно тому как лучи солнца невозмутимо освещают вечные атомы.

Репортер «Радио Люксембурга» с маленьким микрофоном в руке подходит к коллеге, и тот шепчет:

— Ну что они тебе рассказали?

— В основном говорят женщины. Что до мужчин, то многие из них на вопрос: «Вы голосовали за?» — посылают подальше! Похоже, голосовали они против; а женщины, те все говорят приблизительно одно и то же: «Мы все ему обязаны!» или «Дождь не дождь, а мы пойдем до конца!». Одна мне сказала: «Бросать цветы — это, должно быть, идея госпожи де Голль: только женщине придет в голову такое!..» Другая, с «Юманите» под мышкой, сказала: «Я пришла сказать ему: прощай». А одна старушка, бедняжка, которой я предложил: «Дайте мне ваш цветок, я положу его одновременно с моим», ответила: «Не надо: три года в Равенсбрюке, три часа под дождем, выдержу». А ты?

— Я записывал в очередях: около цветочниц фиалками в Шатле, на улицах — везде одно и то же. Совсем маленькие

девочки и те говорят, что запомнят. Одна мне сказала: «Как жаль, что он нас не видит!»

Она ошибалась: покойный генерал вслушивается в это молчание, которое беспорядочно мнуг сотни тысяч шагов. Здесь его присутствие ощущается сильнее, чем в Коломбе, если не считать того момента, когда женщины из Коломбе подняли на руках детей рядом с выезжающим из Буассери танком. Дождь усиливается. У многих в руках сложенные зонты (раскроют, когда церемония закончится?). Медленно кружатся людские водовороты, выходящие из боковых улиц, из домов, из метро. Ночной марш останавливается. Сквозь дождь пробирается «Марсельеза». Хризантемы, гвоздики, ветреницы, букеты фиалок начинают переходить из рук в руки, в сторону Триумфальной арки. Эти цветы не принадлежат больше никому: земля отдает почести смерти.

Кортеж вновь трогается в путь и шаг за шагом продвигается в глубокой траурной ночи. Погибшие в лагерях женщины, у которых не было иных цветов, кроме тех, что они выращивали для своих палаток, сопровождают этот молчаливый кортеж. Некоторые из них не были голлистками? Мокрые от дождя цветы предназначены всем.

Многие из тех, кто медленно идет сейчас к Арке, во время майской демонстрации в 1969 году были здесь, многие — в рядах их противников на площади Бастилии *, многие были здесь тогда, когда генерал де Голль спускался по Елисейским полям впереди перепачканных губной помадой солдат. Этот кортеж еще глубже уходит в прошлое, чтобы соединиться там с тем кортежем, который отдавал последние почести Виктору Гюго. Поэт в течение двадцати лет говорил «нет» империи, поражению, репрессиям. Еще глубже в ночи веков можно различить и «нет», у которого нет возраста. Этот кортеж поднимается к Арке, подобно тому кортежу в Фивах, что направлялся к могиле Антигоны. И неизвестный солдат, над которым гневно трепещет пламя, тоже оказывается одним из тех, кто кричал «нет», и все они сменяют друг друга над ночной волной живых, над подземной рекой покойных. Вместе с одетыми в черное женщинами из Корреза, стоящими перед семейными могилами и чествующими убитых оккупантами, погребенных макизаров. Вместе с крестьянами, положившими килограмм драгоценнейшего тогда сахара под деревянный крест наших расстрелянных товарищей. Сколько женщин! Мужчины не умеют нести цветы: как бы далеко ни поднимались мы к истокам нашей памяти, женщин, несущих дар, порой с риском для собственной жизни, всегда больше, чем мужчин. Бухенвальд и Дахау тоже поднимаются к похоронному ковчегу, вместе со всеми их тенями, решившими принять смерть, и даже больше, чем смерть.

Наши танкисты, машинистки, прятавшие наши передатчики, сонмы замученных в неволе. Политика в конце концов утратила свой смысл: муниципальные советники — коммунисты тоже здесь. Женщины, несущие маленький флаг с Лотарингским крестом, отдают половину букета соседкам с «Юманите» в руках, которым не досталось цветов. Речь идет уже не о голлизме и даже не о Франции. Те, кто бредет в дождливой ночи, принадлежат к единому братскому союзу, о существовании которого они узнают от покойного, гроба которого здесь нет. К тому же союзу, к которому принадлежат наши товарищи, выкрикивавшие его имя в момент расстрела.

Служба порядка, без униформы, только с повязками, направляет поток к ковчегу, гораздо более узкому, чем улица. Блестящая от дождя площадь отражает Триумфальную арку. Те, кому пройти дальше не удалось, сложили свои цветы под «Марсельезой» работы Рюда. Кортиж продвигается вперед. Хиппи распахивают свои пончо и извлекают хризантемы. Большое знамя, в котором пытаются спрятаться голуби, наполняет гулкий ковчег своим влажным хлопаньем. Над головами хиппи уходят в тень списки наполеоновских битв, похожие на траурное бдение побед. Живые бросают цветы, а пламя, то опадающее, то вздымающееся вверх, погружает во тьму и вновь освещает их мокрые от дождя лица.

VI

Я заболел чем-то вроде сонной болезни; несколько раз у меня подкашивались ноги и я падал в обморок, но без потери сознания; обмороки повторились еще дважды на протяжении недели, им предшествовали приступы внезапного головокружения. Медицинские обследования. Профессора и врачи дадут ответ не раньше чем через двенадцать дней. Обнаружился тем временем склероз периферических нервов и угроза мозжечку, что чревато параличом. Параличом чего?

Поскольку я работаю над, возможно, своим последним произведением, я снова вернулся — в «Орешниках Альтенбурга», написанных тридцать лет н а з а д, — к одному из событий, столь же непредсказуемых и поразительных, как Крестовый поход детей (сто тысяч мальчишек, одни, без взрослых, отправились освобождать Иерусалим, где все и погибли или были обращены в рабство), — вернулся к одному из тех событий, когда История словно бьется в припадке безумия, — к первой германской газовой атаке в Болгако, на Висле, в 1916 году *. Не знаю, почему эта атака на Висле оказалась частью «Зеркала лимба», но знаю, что она туда непременно войдет. Не много существует «сюжетов», которые способны устоять перед угрозой смерти. Этот

сюжет сплетает в один узел братство, смерть — и ту сторону человеческой натуры, которая ищет себе сегодня название и которая не сводится к понятию «личность». Жертва продолжает свой самый глубокий и самый древний в христианстве диалог со Злом; за этой атакой немцев на русском фронте были потом и Верден *, и иприт во Фландрии, и Гитлер, и лагеря уничтожения. Вся эта зловещая вереница не может заслонить того забившегося в конвульсиях дня, когда человечество словно сошло с ума, как потом перед лицом атомной бомбы, но при этом было охвачено бешеным состраданием. Если бы летчик взорвал и себя со своей бомбой вместо того, чтобы сбрасывать ее на Хиросиму, мы бы его не забыли — даже после другой бомбы; я опять говорю об этом лишь потому, что ищу ту главную область души, где абсолютное Зло противится братству.

Мы достаточно знаем всё, что произошло в тот день, чтобы ясно представить его себе; из того, что случилось потом, ничего не осталось. Опубликованные воспоминания обрываются на прибытии санитарных машин; смешно надеяться, что спустя шестьдесят лет мы сможем обнаружить что-то еще. К концу 1944 года в Эльзасе уже не помнили имен тех, кто уцелел в Болгако. История уничтожает людей вчистую, вплоть до их полного забвения; эта ослепительная вспышка сразу же канула в сумятицу фронтовых будней, как в небытие, ибо второй полк, продвигавшийся к передовой вместе с санитарными машинами, прорвал позиции русских.

От факта ничего не остается. Может быть, вспышка *должна* сначала угаснуть — и только тогда отыщется ее сверхчеловеческий отблеск? Иначе не затеряется ли она во всех этих рассказах, навеянных бредом, хмельными парами или паникой, которые народы, в общем, не очень-то любят хранить в своей памяти? Эта атака оказывает на меня действие смутное и могучее — такое же, как великие мифы о мятеже, начиная с мифа об Антигоне. Человечество древности жило своими мифами; до 1911 года китайский император шел за плугом, прокладывая первую борозду года, — подобно императору из мифа, прокладывающему первую борозду на Земле. Я заново пережил безвестный миф Вислы, потому что сам создал его — в другой форме — в 1940 году, когда попал в плен, и в 1941 году, когда из плена бежал. Я оставляю незавершенными, чтобы к ним снова вернуться, фрагменты этой книги, где теснятся мои воспоминания, мои наваждения, мои предчувствия. Я начал с исследования газовой атаки на Висле, потому что в числе солдат, осуществивших ее, были эльзасцы. Германия охотно использовала Эльзас на русском фронте. (Этим объясняется и внутренняя свобода моего персонажа, который воюет за Германию с полным равнодушием.) В 1941 году я не знал, что в один

прекрасный день возникнет бригада «Эльзас-Лотарингия», что я буду кровно связан с Эльзасом. Смерть, витающая вокруг меня, отдаёт меня во власть силы, тридцать лет назад дотянувшейся до меня с другой стороны жизни.

Слово «конвульсия» преследует меня. Можно ли озаглавить им текст, который я уже одиннадцать дней пытаюсь улучшить? Однако неистовство этого слова (но не безумие его) от меня отдаляется. К этому рассказу я хотел бы добавить воспоминания, которые он сегодня во мне пробуждает. Перед нависающей над нами дланью отравленных газом обитателей Города Смерти, в час, который для всех этих людей стал часом судьбы, я думаю о фреске Нефертари, что напротив Луксора *: перед входом в свою гробницу супруга Рамзеса играет в шахматы с богом мертвых, о чьем присутствии мы догадываемся лишь по расположению фигур на доске. Перед пустотой она ставит на карту свое бессмертие.

С первыми боевыми отравляющими веществами над миром снова появляется Сатана; но этот Бич не получил перевеса над слепым инстинктом жизни, опять вынырнувшим на свет в том единственном лесу Европы, где уцелели бизоны четвертичного периода. Много ли мы знаем примеров того, как человек и смерть сливаются воедино волшебством некоего изначального братства — заложенного в человеке, в нем запрограммированного, как сказала бы, ухмыляясь, вычислительная машина? В тот день, явившись из таких же немислимых далей, что и вселенское Зло, полузверь из глубин, в которых родился человек, обнаружил, пуская слюну, вызов богам, брошенный Прометеем. Может быть, чувствуя, что меня обложила смерть, я пытаюсь укрыться от нее в рассказе об одном из самых загадочных содроганий жизни.

Личности там не существует. Майор Берже — лишь с натяжкой. В подземелье он слушает; во время атаки смотрит. Жестикующий профессор — тоже в счет не идет, равно как и его бульдоги. Остальные говорят древнейшим голосом человечества — пещерным голосом германских солдат в крытом ходу сообщения, французских пленных в лагере. В душе у противника тоже есть сострадание.

Когда автомобиль профессора останавливается, майор Берже и прикомандированный к нему лейтенант видят, как на их уставное приветствие отвечает широкий взмах фетровой шляпы с большими полями; одна рука откидывает назад кашне, которым замотано (в июне) горло, другая мечет им под ноги недокурную сигарету; руки, сигарета, кашне, седые и достаточно длинные волосы — все это, как беспокойное население

голубятни, вспархивает с лица профессора, который похож на Бисмарка, выступающего в амплу иллюзиониста. Толстый флегматичный детина выбирается из автомобиля за ним следом, в левой руке дорожный чемоданчик, в правой корзина, — сын профессора.

— Безмерно счастлив! — говорит профессор. — Поистине я безмерно счастлив, господа! У меня всегда был совершенно особый интерес к офицерам разведки!

Он знает о майоре, что этот еще довольно молодой этнолог был советником Кровавого султана * и помощником Энвер-паши * и что в настоящее время он отстаивает Дарданеллы от притязаний союзных держав. Берже знает о профессоре, что это один из немногих специалистов по боевым отравляющим веществам. Его больше интересуют газ, нежели жалкие анекдоты из практики разведывательных служб.

— Идемте обедать!

Профессор продел руку под локоть немало удивленного этим Берже. «Европа» — наименее пострадавший из трех реквизируемых в Болгако отелей. Под прояснившимся к вечеру небом, под смутным запахом пыльных, еще не увядших роз гул канонады разносится в одиночестве принадлежащего ксандзу сада.

Стол накрыт в номере Берже. С опечаленным видом профессор кладет свою огромную шляпу на камин, вытаскивает из корзины какую-то флягу, следом за ней желтую бутылку и делает из бутылки глоток, прямо из горлышка.

— От астмы, господа! А вот это (теперь он держит флягу) — заметьте! — настоящий французский коньяк высшего сорта. Именно так!

Он с грустью ставит флягу на стол.

— Что ж, будем есть. Завтра утром русские обратятся в бегство.

Он по-прежнему удручен.

Берже спускается вниз за пивом. Когда он возвращается с бутылками, зажатыми на манер веера по несколько штук в каждой руке, профессор, его сын и лейтенант стоят у стола, склонившись над фотографиями; на первой — она лежит между тарелок — профессорский дом. Его собираются разрушить ради строительства аэродрома. Профессор надеялся его спасти, но в одной из телеграмм, ожидавших его, окончательный отказ. Отсюда его подавленность. На другой фотографии — двое детей лейтенанта.

— Я тоже покажу вам своих детей, — говорит толстый сын профессора.

Берже видит на снимке трех бульдогов.

— Гейнц учился в Оксфорде, — говорит отец. — А потом

специализировался по медицине животных. Прошу заметить, это его призвание!

— Это моя страсть! — бормочет толстый Гейнц, уже почти засыпая. И, слегка поклонившись, словно желая представиться, тоном горделивого смирения добавляет:

— Ветеринар.

Он похож на вялых бульдогов.

— Что предстоит нам завтра провести, господин профессор, испытание или настоящую атаку? Поскольку предыдущая попытка оказалась неудачной...

— Испытания, которые имели место до сегодняшнего дня на этом фронте... я вас умоляю!..

Он заливается детским смехом; подобно большим обезьянам, этот усатый человек бывает поочередно то стариком, то ребенком, но никогда не бывает молодым.

— Пытались применить яды. Но это чистейший идиотизм! Синильная кислота, окись углерода — превосходные яды, но что они дали? Синильной кислоты требуется полграмма на кубометр воздуха — у объекта начинаются судороги, и он умирает в тетанической ригидности. Это прекрасно в закрытом помещении! А поле боя, подумать только, позволяет себе находиться на свежем воздухе! Что же дальше? Попробовали окись углерода. В лаборатории. Яд — страшный, обладает всеми нужными свойствами, легкий в изготовлении, дешевый! Блокирует гемоглобин крови, не дает ему соединиться с атмосферным кислородом. Но и здесь все та же проблема открытого воздуха! Яды я отвергаю. Мы применим... другую вещь. Мы пошли дальше производных хлора. Вообще-то хлор не так уж плох, должен вам сказать! Легко разжижается, для человеческого организма смертелен, очень дешев, прошу заметить! По утверждению ваших... коллег с западного фронта, наша химическая атака на Изоре дала от десяти до двадцати тысяч немедленных поражений — больше, чем требовалось, чтобы английский фронт был прорван! Великолпно! Однако стоит противнику применить противогазы — и начинай все сначала!

— Но если вы отвергаете яды, — спрашивает Берже, — что же будете вы тогда поражать?

— Слизистые оболочки, дорогой майор! Это же так просто: слизистые оболочки!.. Конечно, у нас имеются вещества гораздо эффективнее хлора! Вирулентность фосгена в десять раз выше вирулентности хлора, но фосген...

Он проходит перед открытым окном, протягивает руку, чтобы определить направление ветра. За садом купола и кресты православной церкви сверкают закатным светом в глубине площади, которая полого спускается к реке. Голос профессора перечисляет достоинства и недостатки фосгена, а Берже ощу-

щает глубину славянского мира, разметнувшегося до Тихого океана.

Профессор бросает погасшую сигарету в окно, закрывает его и с просиявшим лицом возвращается к столу.

— Ветер по-прежнему преотличный, по-прежнему преотличный! Впрочем, внезапная перемена ветра даже не так для меня страшна, как увеличение влажности...

Он уже закурил новую сигарету и опять принялся за еду.

— Но во всем, что касается химической войны, мы еще пребываем в доисторической эпохе! Двухлористый сульфат этила — это, быть может, самое лучшее из боевых отравляющих веществ. Препарат разъедающего, нарывного и собственно отравляющего действия одновременно! Особенно опасный — заметьте себе! — потому, что объект не испытывает страданий в самый момент отравления; действие начинается много часов спустя... Высокая эффективность: даже при концентрации одна часть вещества на четырнадцать миллионов частей воздуха!

И, потрясая фотографией своего дома в качестве аргумента, продолжает:

— Несомненно, химия — оружие окончательное, оружие наилучшее, дающее народам, которые сумеют правильно его применить, — полностью им овладеть! — дающее им в руки превосходство над всеми другими народами... Именно так! Даже, быть может, мировое господство, вы понимаете?

— Допускаете ли вы вероятность того, что разведка противника может заполучить наши формулы? — спрашивает лейтенант.

— Не далее чем через полгода мы будем применять шесть разных газов! Видите ли, между газом и средствами защиты от газа будет продолжено состязание на скорость — то самое, что началось тысячелетия назад, во времена изобретателя первой палицы! — состязание между копьем и кольчугой, между пулей и броней! Но есть обстоятельство, которое придает проблеме особую остроту...

Фотография выскальзывает у него из рук. Он наклоняется и поднимает ее, не прерывая тирады.

— ...с тех пор, как эта борьба существует, броня ни разу не выигрывала последнего раунда, вот что надо иметь в виду!

— Господин профессор, вы сказали, что новые открытия позволяют поражать войска противника — при том, что сам противник об этом не знает, не так ли?

Профессор опять начинает размахивать фотографией своего дома.

— Одна часть на четырнадцать миллионов частей воздуха!.. Если вы взглянете на проблему под другим, более, если можно так выразиться, возвышенным углом зрения, вы поймете, что

отравляющие вещества представляют собой самое гуманное средство ведения войны. Так оно и есть. Ибо они все же дают о себе знать: непрозрачная роговица сразу же синее, в дыхании появляются свистящие звуки, цвет радужной оболочки — это также важно отметить! — переходит почти в черноту. В общем, противник предупрежден. Следовательно, если я считаю, что у меня имеется шанс — пусть самый ничтожный — спастись, я проявляю мужество; но если я знаю, что никакого шанса у меня нет, — плевать я буду на мужество!..

— Станет великим несчастьем, — говорит лейтенант, — если нам доведется увидеть, как в Германской империи исчезает старый немецкий дух войны.

— Да! — сухо отвечает профессор. — Но немцы тоже люди, и человеческие слабости им не чужды, не так ли? А сульфат — вещь неподкупная.

Спустя час профессор знает, что молодого этнолога интересуется лишь человек, лейтенанта — лишь немцы; Берже знает, что профессора интересуют только боевые отравляющие вещества, а Макса¹ — только собаки. Когда профессор ехал сюда, он знал, что сослуживцы наградили Берже прозвищем Фрегат, и это имя то ли птицы, то ли корабля неплохо подходит к его острому профилю. Внутренний голос Берже именует профессора то Бульдогом, то Бисмарком. Ветер не переменялся, канонада утихла; издалека долетает звяканье лопат, перемежаясь печальным и медленным перестуком копыт одинокой лошади. В глубинах ночи скользит кавалерия; вровень с землей в изобилии бродят всевозможные шумы войны, не оставляя места метафизическому беспокойству. Свежий ночной ветер с завидным постоянством скользит в сторону России.

В шесть часов утра Берже ждет профессора и лейтенанта в крытом ходу, который сообщается с траншеями переднего края. До их прибытия атака не начнется. Берже расположился в небольшом крытом окопчике (предназначенном для командования?), который примыкает к обширному подземелью; дневной свет пробивается туда через диагональные брусья, мелькая в наблюдательных щелях, как в поднимаемых для приветствия шпагах. В эти щели Берже видит солдат, только когда они пересекают эти пучки светящихся атомов. Солдаты сидят на земле и почти все переговариваются между собой.

— Царь! — доносится один из самых громких голосов. — Уничтожить Германию! (Слышится шуршание складываемой газеты.) Уничтожить Германию! Сидит себе во дворце в Петер-

¹ Так в оригинале. Очевидно, имеется в виду тот же Гейнц. — *Прим. перев.*

бурге! Под землей! Смотреть противно! И народ так глуп, что слушает его! Фридрих Великий — это, братцы, точно — сам вставал во главе войска — и вперед на врага!

Гул равнодушных голосов.

— У французов нет больше ружей, — сообщает, отклоняясь от темы, еще один голос.

— Когда тебя ночью будишь, чтобы выпить вместе пивка, тебе с перепугу мерещится контрольная поверка — и ты еще смеешь талдычить про Фридриха Великого! Противно слушать!

Спор переместился в другой темный угол, а здесь теперь поверяют соседу самое сокровенное:

— В моем деле надо не только руками работать, тут, главное, голова нужна...

— Ты слесарь?

— Фрезеровщик.

— Да, это как у меня: когда в металле просечки делаешь, тут внимание требуется — и голова, конечно...

Скромность, с какой это говорится, исключает всякую иронию.

Пауза. Другой голос тоже делится наболевшим с соседями:

— Женщины — те на сортировке работают. Раньше все под землей делалось, а теперь на поверхности, там конвейерная лента. Но как семьей обзавелся, на шахте больше работать нельзя.

— Шахтер не имеет права жениться?

— Да не про мужиков тут речь. Женщины. Замужнюю на завод ни в какую не возьмут. Ни в какую.

Снова пауза. Вдали канонада, разрывы снарядов.

— А знаешь, в штольнях, в галереях работаешь почти нагишом, в одних брюках. И глаза подводить не надо — и так всё как в театре! Для кожи угольная пыль, говорят, даже полезна... Лампа — уж это обязательно, без лампы пропадешь.

В уважении, с каким произносится слово «лампа», есть что-то от колдовства — особенно в этой темноте, хотя и прорезают ее полоски лучей, что пробиваются через наблюдательные щели.

— Каждую неделю — проверка ламп, и еще какая проверка, скажу я тебе! Была у меня там девчоночка, очень хорошенькая девчоночка, так она мою лампу что ни день до блеска надраивала.

Человек, заодно вспоминая про любовь, когда он думает о шахтерской лампе и о своем голом торсе, покрытом угольной пылью...

Другой голос, чуть ближе:

— Мужик упросил капитана увольнительную ему дать: сперва он на западном фронте воевал, потом сюда перегна-

ли, и ни одной передышки за все время! У него пятилетняя дочка была. К пяти годам девчонки уже кое-что понимают... Ну вот, получил он свою увольнительную, заявляется в дом, а дочка и говорит: «Где ты спать-то ляжешь?» — «В свою кровать, куда же еще!» — «Значит, — это опять дочка говорит, — значит, тогда швейцарец там уж не ляжет?» Вот тебе и на! Был, выходит, какой-то швейцарец, который с его милой женушкой каждую ночь спал!

— Ну, а дальше как было?

— А никак. Веселого, конечно, мало... Но он не стал скандала устраивать, дочку пожалел...

Яростный грохот разрывов заполняет подземелье.

— А я одного мужика знал — он, как увольнительную получил, так сразу домой и явился, предупредить не успел. Ночь, значит, была, он стучится, ему не открывают. А он наверняка знал, что жена дома. Просто открывать не хотела. Тут он все и понял. Воротился к себе в эскадрон и повесился. На своем же ремне, прямо над койкой. Койка-то обыкновенная была...

Берже никогда не жил в казарме. И сейчас, когда в полосах света время от времени мелькают перед ним остроконечные каски, прикрытые холстиной, он слышит тайный голос людей, куда более глубокий и мудрый, чем голос войны.

— В «Хромом гонце» — лично я, конечно, этому не верю, — там вроде бы так говорится: «Когда будет собран плохой урожай и когда имена слуг будут начинаться с той же буквы, что имя Господина, будет тогда война...»

— Гинденбург *...

Никто не произнес имени Гогенцоллерн *. Название «Хромой гонец» Берже знакомо, такой альманах издавался когда-то в Страсбуре. «Когда будет собран плохой урожай...» Древняя крестьянская привычка связывать непредсказуемость урожая с непредсказуемостью судьбы.

— И кто по этому пророчеству победит? Мы?

— Нет...

— Плевал я на этого «Гонца». Опять эльзасские бредни.

— Ничего удивительного! Конечно, эльзасцы нашей победы не хотят!..

— Заткнись! Их ведь и здесь немало!

Чуть подалее кто-то говорит:

— Когда мы пришли, до нас их тут и казаки, и австрийцы насильовали, так что они особенно сопротивляться не стали...

Многие из солдат, что не носят рубашек, расстегнули мундиры.

— Ты не знаешь лютеранского креста? — отвечает на во-

прос, которого Берже не слышит, чей-то простуженный г о л о с . —
Что же ты знаешь?

Голос не похож на другие, звучавшие до сих пор, — он тоже простецкий, но в нем заметно умение человека собою владеть, в интонации проскальзывает улыбка. В полосе света на груди электрическим блеском вспыхивают лучи креста и яркая капля гугенотской голубки. Тот же голос опять отвечает на вопрос:

— Нет, я не верующий, но люблю иногда зайти в храм. При условии, что буду один. Бывают иногда обстоятельства...

— Какие?

— Когда я чувствую себя несчастным... Или когда хочется вспомнить о чем-то...

Говорящие удаляются. Наступает довольно долгая пауза; орудия теперь бьют с интервалами; потом Берже слышит шаги — приближаются унтер-офицеры.

— С добровольцами всегда возникают моральные проблемы. Да вот, судите сами: только что мне понадобились трое, а ведь истории с газом могут всякий раз серьезным делом обернуться... Я выбрал троих самых симпатичных. Почему? Потому что им очень этого хотелось; им это любопытно, и я хотел им приятное сделать... А приятного тут мало — я их, может быть, к смерти приговорил. Мне следовало выбрать тех, чья смерть была бы меньшей потерей...

— Как же эту моральную проблему решить?

Ответа Берже не слышит; должно быть, ответили жестом... Его удивляет, что унтеры осведомлены о том, какого рода будет атака. Раздается еще голос, показывая, что и солдатам все известно:

— Когда я в Руре работал, сунулись мы как-то в штольню, в которую еще давно рудничный газ проник. Там был рабочий — совсем как живой, в руке кайло, а сзади лошадь стоит и словно бы все еще вагонетку тянет. Это они от газа так сохранились, а когда мы вошли, с нами и воздух туда ворвался. Не прошло десяти минут, и мужик и коняга — оба в труху превратились! Чего ты, дурак, ржешь! Говорю ведь тебе — я это сам видел!

Толпа утробно урчит в темноте, потом — еще реплика:

— Говорю тебе, газ. Он все и сделал...

Это глухой и медлительный голос народа, голос, заставляющий предположить, что древние колдуны разговаривали как дети.

— Газ, говорю тебе. Мужик, которого удушило, он, понимаешь, так сразу и застыл. Застыл без движения... Уже шевельнуться не может. Весь так и остался — точно такой, как был, когда его придушило. Вот, скажем, режутся мужики в карты...

— Ничего не успеешь заметить, и ты уже мертвый?
— А если ветер вдруг переменится?
— Командование все рассчитало! — кричит один из унтеров.

— Это всегда говорят... — вяло отзывается чей-то голос. Общее молчание, потом в дебаты вступает новый специалист по отравляющим веществам:

— Такие же вот испытания один раз на западном фронте проводились... Когда все закончилось, французы остерегаться особо не стали, похоронные команды потащили своих покойников на кладбище — ну, возле Дома Мертвых. Да сами все там и остались — кто как был, с занесенной над могилой ногой, — все похоронщики вместе со своими мертвецами в саванах. Надо же! Все как один — покойнички на витрине.

— Ну, ты загнул! Такого быть не может. Ни за что не поверю, даже если те похоронщики сами сюда придут и будут эту чепуху повторять.

— С занесенной над могилой ногой, говорю тебе, тупица несчастный!

— Да ладно уж!

— Говорю тебе, все так и застыли!

Им невдомек, что Домов Мертвых во Франции не существует. Атмосфера дискуссии накаляется — по всем правилам простонародного спора: твердить одно и то же, кричать все громче. Орудийный выстрел заглушает голоса.

— Что ж, значит, дорожный уборщик вдруг замрет со своей метлой наперевес — ты такое можешь представить?..

— И свинья, которую режут, останется с ножом в брюхе? Да ведь она будет вопить как резаная!

Кто сейчас говорит — люди или ремёсла?

Ирония позволяет каждому фантазировать без зазрения совести. Каждому видится, как жизнь внезапно замерла — и даже, пожалуй, не жизнь врага, а своя собственная.

— Бухгалтер, который годового отчета не закончил... — бормочет робкий голос.

— Так ведь оно и не так все серьезно, как про то говорят, все эти там штуки, машины, газы... Эти люди домашней скотины не знают. Если проделать в носу у мула дырку, он больше уже не может реветь. Его больше не слышно. Представляешь, что можно с такими мулами на фронте учинить! Ведь это кавалерия, которую противник не слышит!

«Быть может, я слушаю тех, кому предстоит сейчас умереть, — думает Берже. — Каждому кажется, что он говорит о себе... В какие незапамятные времена слушали их лесные боги, Карл Великий? Говорят: немецкий народ. Их бедные головы напялили на себя это понятие, как их тела — военную

форму. Древнее христианство... Может быть, белые люди...»

Ему вспоминается Средняя Азия, погонщики верблюдов. Степи, небольшой костер, бескрайнее небо — схожий с нынешним ропот, как голос земли. Присутствие Бога там чувствуется сильнее. Но это вот бормотанье, которое он сейчас слушает, не погружено ли оно в глубины времени, человека — за гранью божественных слов?

— Они семнадцатилетних мальчишек мобилизуют, французы-то! И половина тут же драпает с позиций...

— У них революция будет — в этой стране всегда революция происходит...

— Да заткнетесь вы наконец?

Отравляющие вещества интересней для них, чем французы.

— Нет, вы представляете? Кузнец поднимает свой молот над наковальней — и тут же перестает шевелиться! Все эти байки — одна брехня, молот все равно упадет, потому как тяжелый.

— Электричество тоже должно остаться включенным...

Берже думает о городе из «Тысячи и одной ночи», где все человеческие движения, жизнь цветов, пламя ламп были остановлены Ангелом Смерти. Окаменевший жест кузнецов из легенды при свете пламени, едва колыхнувшегося под дуновением человеческих желаний, эфемерных и зыбких, как эта война и эти армии. Тот, кто заговорил об электричестве, человек с лицом наследственного алкоголика, шарит в жалком кукольном чемоданчике. Тьма снова заселена. Тембр голосов постоянно меняется, но интонации прежние — та же безропотная покорность, тот же дутый авторитет, те же нелепые сведения и тот же жизненный опыт, та же неистребимая грусть и неистребимая веселость, и бесконечные споры, состоящие только из все более грубого утверждения своей правоты, словно этим голосам, населяющим мрак, не удастся сделать свой гнев чувством собственным, личным.

Время опять становится временем, зависящим от приказов начальства. В одном из лучей света, четко выделяющихся на угольно-черной земле, лежит колода гадальных карт; рука тянет из нее время от времени карту, и это движение сопровождается ропотом людей, пытающихся предвидеть чью-то дальнейшую жизнь... Кажется, что эта рука, лишенная туловища, бегаёт по картам, точно грызун, с первого дня творения.

После еще одной паузы слышится голос, он шепчет растроганно и словно извиняясь:

— Не за красоту я на ней женился...

Солдат показывает фотографию другому? Слова обретают в темноте тревожную таинственность. Вокруг лучей света больше никто ничего не показывает. Под самым ближним из них подросток с тонким лицом что-то читает. Что он делает в этом

территориальном полку? Это он только что говорил? За все то время, что Берже слушает, он ни разу не пошевелился. Скрючившись, в пучке света, проникающего через щель, он читает. Какой низкий потолок в этих подземных ходах!

Мелькают два силуэта, рядом со слабым свечением сливаясь в сплошное пятно, — пламенем зажигалки освещена фотография. Все с той же интонацией покорности судьбе простуженный голос, недавно говоривший: «Я иду в храм, когда хочу что-то вспомнить...», отвечает:

— Знаешь, и у меня жена не красотка...

Возвращается похоронщик.

— Понимаешь, они нашли пса. Что ж, думаем, можно его и у себя оставить, все равно ведь даром достался! Жена назвала его Петерль. Почти как меня. Дочка до той поры никак не могла мое имя выговорить. И что же ты думаешь? Хочешь верь, хочешь нет, но как у нас этот пес появился, она прекраснейшим образом говорит теперь «Петер», как все!

В голосе появляется горечь.

— Ради меня у нее не получалось. Ну да ладно, главное — что наконец получилось...

Полосы света тускнеют: стая перелетных птиц спускается с неба к Висле. Берже слушает, как из плотного сумрака доносится до него голос единственного существа, которое знает — да и знает-то недостаточно твердо, — что оно может умереть.

Все в подземелье встают. Кто-то вошел.

— Надеть противогазы! Сначала сто тридцать вторая!

Берже понимает, почему солдатам было известно, что им предстоит идти на траншеи врага вслед за газом.

В ночи, испещренной бледными пятнами дня, они навьючивают на себя свою амуницию и, грохоча котелками, пряжками и прочим железом, тянутся к ходу сообщения, направляясь к переднему краю. Их капитан заходит за Берже. Они отправляются вместе, замыкая движение. Валяется брошенная колода карт. И книга, которую читал молодой человек с лицом студента: «Приключения трех бойскаутов». Предстоит ли солдатам сюда вернуться? Они идут гуськом. Достигают траншеи, теперь их видно в профиль. Через отверстия, пробитые наискось в бруствере, Берже видит полосу поля, отделяющую их от русских траншей, очень светлую после темноты подземелья. На зеленом фоне, уже пожелтевшем от летнего зноя, колышутся на ветру широкие волны зонтичных трав. Немецкий передний край расположен немного ниже, над белыми полузасохшими цветами; ветер, который вдали рисует по ним плавные разводы, яростно сотрясает их здесь, перед наблюдательными щелями. Два лежащих друг против друга склона, река в глубине. Русский склон высится в таком безмятежном спокойствии, что провололоч-

ные заграждения кажутся деревенскими плетнями. Ни человека, ни зверя. Пушка замолкла. Чудесное летнее утро, как до войны.

Длинным облаком в солнечном свете поднимается пыль. Она не клубится, как пыль на дороге вслед за проехавшим автомобилем; она всюду одинаково плотна и одинаково высока, как стена. Она растет, хотя никакого мотора не слышно. Дорога исчезает: пуск отравляющих веществ начался.

Четыре санитарных машины одна за другой направляются к перелескам перед траншеями.

Люди борются за возможность смотреть в амбразуры. Профессор, этот огромный бисмарковский паук-сенокосец, съездившись под наблюдательной щелью, стискивает руками кашне, которым пытается укутать усы. Пелена газа добирается до подножья деревьев в яблоневом саду, потом до ветвей. Дно долины — уже сплошной желтый туман, вдоль луговин и зеленых елок слегка красноватый, из которого выступает, как при виде, высоченный телеграфный столб.

Пелена газа шириной в километр скользит к передовым позициям русских. Она просачивается в лес, закрывает стволы елок, не достигая верхушек, и движется дальше, оставляя позади себя зубчатые гребни, которые вырисовываются на фоне тумана, как на японских гравюрах. Она продолжает свое сонливое восхождение, накрывает поля, которые взбираются лентами на холмы, накрывает фиолетовые от клевера луга, последние полосы несжатых хлебов и обширные прямоугольные клинья, уставленные скирдами, и еще выше, возле русских траншей, накрывает все более и более частые рощи и кусок леса, в котором артиллерия пробила зияющие бреши. Там ничто не шевелится.

Что-то движется от русских позиций навстречу газу — это лошадь, маленькая даже в бинокль. Кажется, что теперь, с приближением к русским траншеям, газ продвигается быстрее. Лошадь без всадника атакует его в отрывистом ритме дальнего галопа. Она останавливается, кружит на месте, снова возобновляет свой бег, беря теперь влево, и стук копыт по дороге доходит сквозь толщу земли с поразительной четкостью; такое впечатление, что копыта цокают много ближе, чем скачет этот ничтожный, крохотный конь, выпущенный в бесконечность. По долине разносится ржание. В бинокль видно, как лошадь вздымает голову вверх, чтобы заржать; так воют собаки. Она опять переходит в галоп, мчится прямо в облако газа. Копыт уже больше не слышно. Конь растворяется в тишине.

И больше не появляется; глухое и нескончаемое продвижение газа, которому, кажется, суждено продолжаться до края

земли, пропавшее ржание, довольно четкая кромка густой пелены — все начинает превращать этот туман в грозную машину войны.

Оставили ли русские свои позиции? Даже в бинокль трудно угадать мгновение, когда газ достигнет русских окопов. Скоро он полностью их накроет, и, кроме этого апокалипсического коня, который, словно принося себя в жертву, заржал, освещенный ярким солнечным светом, прежде чем ринуться в туманную бездну, — никто и ничто не уходит оттуда. Невозможно предположить, что противник заранее покинул траншеи. В глубине долины еловый лесок и телеграфный столб с изоляторами уже исчезли под клубами газа; на середине склона еще торчат над этой густой пеленой несколько древесных верхушек... Стебли злаковых трав и мелкие листки чертополоха, прикрывающие наблюдательную щель, кажутся силуэтами на рыжевато-молочном фоне. Профессорский нос, зажатый между биноклем и усами, конвульсивно подергивается, профессор всей своей тяжестью наваливается на Берже.

Неужто противник нашел способ остановить катящийся вал отравляющего вещества, застывший теперь неподвижно на кромке бруствера? Ветер гонит уже новую волну газа, и она, словно перескакивая через предыдущие волны, продолжает их общее движение вперед. Берже вспоминает:

«Непрозрачная роговица синее, в дыхании появляются свистящие тона, цвет зрачка — это весьма любопытно! — переходит почти в черноту... Русские не смогут выдержать этих мучений...»

Значит, это и происходит сейчас там, где ничто не шевелится под пластами тумана, который ползет, извиваясь, как доисторический ящер, чтобы никогда больше не останавливаться в этом мерзком своем скольжении по земле?

— Когда наши части достигнут траншей, там не останется газа?

— Опасаться решительно нечего, — отвечает профессор категорическим тоном, — газ уйдет. Кроме того, санитарная служба в полной готовности!.. Мы там задерживаться не станем! Впрочем, я...

Конца его фразы не слышно, все заглушает яростный огонь русских пушек. Орудия бьют по туману, как будто перед ними не туман, а поднявшиеся в атаку цепи. Снаряды судорожно озаряют алыми вспышками пожелтевшую вновь пелену; взрывы кромсают ее по краям, мелкие рваные клочья ползут немного быстрее, чем основная масса вещества, но полностью от нее не отрываются. Пелена тяжело ворочается в багровом блеске разрывов, точно река в отсветах заходящего солнца; она с тупым равнодушием продолжает свой ужасающий ход и снова

становится тем, чем и была всегда, — боевым отравляющим веществом.

Огонь русской артиллерии прекращается так же внезапно, как начался.

— Всем, кто почувствовал признаки отравления, — тотчас раздается в траншее команда, — немедленно отходить к санитарным постам! Вкус горького миндаля, свистящее дыхание... Задача ясна?

Когда Берже со своими спутниками покидает траншею, газ по ту сторону гребня исчез — от него остается только японский туман на дне долины да черноватые подтеки на всем, к чему он успел прикоснуться, словно пятна промозглой зимы под лучезарностью летнего неба. Возле русских траншей попрежнему никакого движения.

Роты, выступившие много раньше, форсируют реку. Берже их отчетливо видит. Видят ли их также и русские? Между широкими пластами недвижно застывшей мглы люди пробиваются, как по трясине, разбредаются поодиночке, сходятся снова. Ветер стряхивает с еловых верхушек рыжие лохмотья облаков. Перейдя реку, роты, не останавливаясь, занимают боевые порядки.

Каждый ждет первого снаряда, который возвестит начало нового налета русской артиллерии — теперь это будет бойня, разгром.

Берже снова отыскивает в бинокль свою сто тридцать вторую — она среди головных рот. Крохотные фигурки солдат под линией остроконечных, обтянутых холстом касок не дают разглядеть колючую проволоку; продвижение, шедшее до этой минуты толчками, прерывается, людские пятна начинают запутываться в переплетениях проволоки, они дергаются, будто попавшие в паутину мухи. Упорное продвижение вперед, которое из-за дальности расстояния воспринимается в замедленном ритме, как выглядело по той же причине замедленным и движение газа, сменяется чем-то похожим на топтание марионеток в ярмарочном балагане. Потом все исчезает в русской траншее или сразу за ней.

Нет, некоторые остаются на проволоке. Подходят новые роты, замирают в нерешительности, потом ныряют. Больше нет войны, только яркое солнце над крестьянской беспредельностью, над деревянным городом вдалеке, который странным образом уцелел со своей луковкой-колокольней. Но и Берже и прикомандированный к нему лейтенант неотрывно глядят лишь на едва заметную линию русских окопов.

Кажется, что профессор вдавил трясущиеся окуляры бинокля прямо в глазницы. Части получили приказ продолжать

наступление — уже на второй эшелон обороны противника, — занять как можно быстрее перелески за гребнем холма, скрытые сейчас ползущими пластами газа; однако никто из солдат не выныривает из тумана.

— Может ли оказаться, что их самих поразило газом? — спрашивает наконец Берже.

Профессор раздраженно пожимает плечами; от толчка траншея в его бинокле уходит вбок.

— Им было сказано там не задерживаться! Им приказано не задерживаться! Если они намерены просидеть там всю жизнь!..

Его левая рука выпускает прыгающий бинокль и вцепляется в руку Берже: человек без мундира, в одной рубашке, только что выбрался из траншеи наружу.

Человек двух с половиной метров роста на очень коротких ногах... Без маски. Он останавливается, падает. Под ним оказывается другой человек. На всем протяжении траншеи из нее выходят люди без противогазов, в одних рубашках — белые и, невзирая на расстояние, четкие пятна. Все они необычно высокого роста, как ярмарочные великаны; голова тоже очень высокая, мотается на палке невидимой метлы. Какого черта снимали они свои мундиры и маски?

Многие из ярмарочных великанов переламываются пополам. Часть тела, которая в рубахе, падает; другая продолжает шагать. Они состоят из двух человек, один несет на плечах другого. Неужели у нас столько раненых? По-прежнему тишина и по-прежнему ветер.

Зеленые солдаты в противогазах снова взваливают себе на плечи белые пятна, их ковыляющая вереница устремляется в проходы, прорезанные в проволочных заграждениях. Они идут не в сторону русских, они возвращаются.

По всему переднему краю, через проходы в колючей проволоке — беспорядочное бурление вокруг солдат в противогазах, бредущих неверным шагом, волоча на себе белые пятна, — как муравьи, которые тащат свои личинки. Роты откатываются назад. Они оставляют позиции русских. В тишине, без единого орудийного выстрела. Без единого винтовочного выстрела.

Профессор выпускает из рук болтающийся на шее бинокль и бежит вперед с развевающимся на ветру кашне.

Слева от Берже — лошадь, он вскакивает на нее, скачет. Роты отходят уже вразброд, появляются и исчезают все ближе и ближе. Берже наконец наталкивается на двоих бегущих ему навстречу солдат, они смотрят на него, но не видят. Они вообще ничего не видят. Они бегут. Бегут в противогазных масках. Водолазы из некоего океана, звери с другой планеты.

— Что делают русские?

Он вопит что есть сил, они не слышат его, в них не осталось ничего человеческого, кроме способности бежать. Они исчезают под деревьями. Его лошадь ржет; так ржала лошадь, которая бросилась в облако газа. Появляется солдат из сто тридцать второй. Он тоже бежит в маске противогаза; каску он потерял. Берже лошадью преграждает ему путь.

— Так что же сделали русские? — опять вопит он.

Истерично размахивая руками и вертя головой, человек отвечает. Берже знаком предлагает ему приподнять маску. Человек кричит. Берже догадывается:

— Не могу!

— Чего вы не можете? Где ваше оружие?

— Не могу, не могу!..

Он кричит «нет» руками, плечами, головой. Он давится криком. Вытянув вперед руки в жесте оратора, заклинающего зал, он показывает на клевер, окруживший обоих плотным ковром алых цветов; он обличает в чем-то это розовое руно, разостланное между темными стенами деревьев. И в том же неистовстве бежит дальше. Берже снова пускает лошадь в галоп; на выезде из леса лошадь, будто сраженная внезапным ударом молнии, скользит метров пять по траве на негнущихся, мгновенно окостеневших ногах и швыряет его в кусты. Когда Берже поднимает глаза, лошадь еще стоит в страшной позе мраморной статуи. Жизнь возвращается к ней через губы, губы шевелятся, обнажая оскал зубов; потом жизнь обрушивается на нее лавиной, от ушей до хребта; лошадь срывается с места и исчезает из глаз. Перед Берже — земля, по которой прокатился вал газа.

Он трет ушибленное колено, неподвижно глядя перед собой; пальцы наталкиваются на нечто омерзительное — прядь мертвых волос, клубок паутины, хлопья спекшегося праха. При падении его сапог проскреб по земле борозду около метра длиной, между сапогом и коленом набился клевер и зонтики дикой моркови, растущие даже в кустах, — черные, липкие, будто добытые с занесенного илом дна. Форма цветов не пострадала. Так же, как форма трупов; рука отдергивается инстинктивно, из-за отвращения жизни к падали. На лугу, который открывается перед ним метров на триста, газ не оставил ни сантиметра жизни. Полегшие высокие злаки сверкают на солнце уныло и мрачно, как уголь. Несколько рядов гниющих яблонь словно усыпаны лишаями, листья навозного цвета кажутся приклеенными к тусклым ветвям. Яблони, созданные человеком, человеком убиты; они мертвее всех прочих деревьев, потому что они плодоносны... Вся трава под ними черна. Черны деревья, закрывающие горизонт; они тоже все в чем-то липком; мертвы леса, перед которыми пробегает несколько силуэтов немецких сол-

дат; завидев встающего на ноги Берже, они скрываются в чаще. Мертвы травы, мертвы листья, мертва земля, по которой раскачивается, удаляясь в посвисте ветра, галоп обезумевшей лошади. Берже надевает противогаз.

Вертикальное положение сохранили только пучки чертополоха, торчащие там и сям среди яблонь; их головки, их колючки и листья стали такими же рыжими, как и цветы, готовые вот-вот рассыпаться мелкой трухой, а стебли приобрели омерзительную белизну анатомических препаратов в банках со спиртом. Луг, весь залитый чем-то смолистым и вязким, вытянул между двух стен леса прямоугольные ответвления траншей. У Берже повреждено колено, но идти он все-таки может; на сапогах от тащит комья земли, налипшие на подметки, и с каждым шагом идти становится все тяжелее. Галоп его лошади затерялся в шуме ветра. Другая лошадь, с соединенными вместе копытами, как на моментальной фотографии скачек, валяется перед ним — быть может, та самая, что безрассудно устремилась в атаку на г а з , — еще не успевшая оконечить, с открытыми серыми глазами, со шкурой, тронутой тем же гниением, что листья и травы, с конвульсивно сведенными мышцами. Вокруг нее тянут вверх свои рыжие, как чертополох, свечи соцветия царского скипетра, но листья у них свернулись и съежились; целая гроздь убитых пчел приклеилась к одному из стеблей, как зерна в кукурузном початке. За этим входом в долину мертвых, за дальней линией телеграфных столбов ветер гонит в небе без птиц высокие облака.

Берже еле бредет. Застывшее в одиночестве, словно неся скорбную вахту над лошадью, сраженной газом, высится мертвое дерево; оно убито не газом, но от его резко очерченных веток, угловатых, окостеневших, веет трагизмом, как от всех засохших деревьев на свете. Это дерево, которое окаменело уже много лет назад, кажется в этом гниющем мире последним признаком жизни. Со странной медлительностью пролетает сорока — на черных крыльях четко вырисовываются белые перья — и внезапно падает вниз, словно тряпичная птица.

Перейдя через поляну, Берже добирается до другого берега леса. Теперь ему предстоит уже не просто шагать по гнусному до омерзения миру, а погрузиться в него. Заросли ежевики и боярышника, тоже отвратительно осклизлые, покрыты чем-то мертвенно-рыжим, чем-то схожим по цвету с околешней скотиной, которая уже за двадцать шагов кажется черной. Кусты ежевики больше не цепляются за одежду; с тревожным ощущением, что он вдруг обрел свою прежнюю силу, Берже, не встречая никакого сопротивления, одолевает колючий барьер, который расплзается жижей под его коленями, под плечами, под животом. Еще немного колются лишь длинные шипы ака-

ции, чьи ветки уже не ломаются от первого прикосновения; их листья свисают, как вареный салат, там и сям торчит мертвый паук в середине своей паутины, на которой виднеются зеленоватые капли росы. Слипшийся плющ ниспадает с сочащихся гноем стволов. От раздавленных сапогами кустов с каждым шагом поднимается сладковатый и горький запах. Запах газа? Возникают четверо солдат, они идут в масках и облеплены листьями; те листья, что пострадали от газа меньше других, прилипают к листьям, которые уже пристали к мундирам, но ветер все время их сдувает, как осеннюю сухую листву. Солдаты тянутся в затылок друг другу, друг на друга не глядя, одни во всем этом сгнившем лесу; узкая тропа почти не дает разминуться. Берже загораживает ее, но здесь его власти уж нет, и он не на лошади. Солдаты охвачены тем же ужасом, что и он, ужасом перед этими исходящими гноем, заживо разлагающимися стволами. Первый останавливается в полуметре от него, приподнимает маску.

— Это меня не касается, — говорит он сквозь зубы, затравленно глядя на что угодно вокруг, но только не на Берже, — лично меня это все не касается!

И валится напролом через деревья, цепляющиеся за него своими клейкими лапами. Второй и третий движутся на Берже, прижимаясь локтями друг к другу, словно один другого поддерживая в возможной стычке с ним. Один кричит ему прямо в лицо:

— Да нет же, старина, нет! — словно измученный чьим-то долгим нудным внушением (может быть, всеми внушениями, которые довелось ему выслушать от своих офицеров с начала войны...).

Второй истерически смеется, Берже догадывается об этом по непрерывному дрожанию маски.

«Раненые у вас есть?» — думает Берже. Солдат проходит мимо. Берже ничего не сказал. Даже не поднял свою маску. Последний солдат, поравнявшись с ним, покачивает головой в противогазе, нерешительно медлит, топает ногой (отчего сыплется дождем налипшие на шинель листья) и приподнимает маску:

— Потому как мне нужно кое-что вам сказать, господин майор!

И, остолбенев от звука собственного голоса, наполнившего тишину, он, как и первые трое, ныряет в слипшиеся заросли.

По ту сторону завесы, сотканной из деревьев — лишь у нескольких, самых высоких из них остались зелеными обдуваемые ветром верхушки, — над этими сатанинскими лесами крутизна косогора открывает перед Берже размах катастрофы, постигшей немецкие роты; сотни людей тащат на плечах сотни

других людей без мундиров, в одних рубахах. Хромая, стараясь выбрать на ходу короткий путь, он опять попадает под навес смердящих деревьев. Бегущие навстречу солдаты, с головы до ног облепленные листвой, не отвечают на его вопросы. Один из них, подойдя совсем близко, с каким-то нервным подергиванием шеи, украдкой оглядывается назад. Он тоже бежит, но не из-за страха.

Над глубокими оврагами отчетливым силуэтом на фоне ясного неба выделяется, как на опушке, отвратительный мир обращенного в жидковатую массу леса. Выталкиваемое снизу, возникает вдруг чье-то туловище в рубашке, с руками, висящими точно плети, как у снятых с креста. Следом — тот, кто его несет. Первый отравленный газами немец... Берже бежит, снова падает, бежит; боль в колене утихла.

Это не немец, это русский.

Но тот, кто тащит его, наверняка немец. Он стаскивает с себя маску и злобно глядит на Берже.

— Что случилось? А? Что?

У немца крестьянское лицо, как на старинных портретах. Его лоб хмурится, становится еще более низким. Он искоса глядит на Берже. Взваливая русского на плечи, он, видно, бросил винтовку. Берже думает, что кричит, и уже второй раз обнаруживает, что не произнес ни слова. Он приподнимает свою маску.

— Санитары! — сквозь зубы говорит человек с угрожающим видом.

— Что происходит, черт возьми?

Берже обрел наконец голос.

— Ну, где все эти штуки, чтобы больных выхаживать?

Лоб человека хмурится все сильнее. Он выглядит гораздо старше, чем Берже, который ощущает так же ясно, как если бы солдат во весь голос кричал об этом, до какой степени тот презирает его мнимую молодость. Корпус солдата напряжен, он внимательно смотрит за тем, чтобы не дать телу упасть с его плеч, но при этом он страшно озлоблен и, кажется, хочет швырнуть этого русского в физиономию Берже. Резким движением плеч он отбрасывает назад свисающую голову русского, которая поворачивается теперь другой стороной, и на месте волос табачного цвета оказывается пораженное газом лицо. Оно ужасно. От шинели исходит тот же сладковатый и горький запах, что и от раздавленных веток. Сама ухватка, с которой немец поддерживает это тело, выражает, неловко и трогательно, чувство братства.

— Нужно что-то сделать... — говорит он уже не так агрессивно.

У русского фиолетовые глаза и фиолетовые губы на сером

лице. Ногти скребут рубаху, он пытается сорвать ее с себя, но никак не может ухватить. Под зловещими деревьями, с которых продолжают срываться липкие листья, свет отбрасывает пестрые, под мрамор, блики, подчеркивающие свинцовый колер окружающего гниения; совсем рядом ветер собирает в морщины загустевшую воду в луже, которую окаймляют слои нетронутой газом плесени; ее маленькие, похожие на кресс, островки перекатывают взад и вперед вздувшийся трупик белки с дряблым хвостом. Носильщик тяжело трогается с места.

Берже нужно выйти из этого леса, где он ничего не сможет узнать, где ничего человеческого не существует, просто не может уже существовать. Светящаяся пустота оврага, который он, с трудом бредя по колдобинам, огибает, придает четкость китайских теней лохмотьям нижних веток, грудам листвы, напоминающей повешенные на сучья шинели, щупальцам, прилипшим к стволам, — всему этому миру болотного дна. Но не только пустота оврага, а теперь еще и близость опушки жмут и клонят в пыльном тумане все эти опутанные мертвыми водорослями стволы; туман, как только стихает ветер, начинает мерцать блестками июня, возвращая залитый гнилью лес к тишине и покою летней чащобы. Берже каких-нибудь пять секунд видел лицо русского, пораженного газом. За этот год он сполна нагляделся на убитых и раненых, на коченеющие под покрывалами трупы, на угольно-черные лица в рядах проводочных заграждений. Но никакое лицо мертвеца не сотрет отныне из памяти этот чудовищный лик.

То, до чего он добрался, совсем не поляна, а новое пространство лугов, обнесенных стеной разлагающихся деревьев; в сгнившей траве видна паутина бесчисленного множества крохотных земляных паучков; она вся целехонька и унижена каплями зловонной росы; в бликах скользящего света паутина мерцает и искрится из конца в конец всех этих мерзостно цветущих лугов. Над их тошнотворным мерцанием рдеет светлая точка — словно окно, которое вдруг загорается во мгле городских сумерек, отражая закатное солнце. Она поблескивает на груди солдата, который сгибается под тяжестью ноши: он несет на своих плечах русского с безжизненно свисающими руками и ногами. В треугольнике распахнутой до живота рубахи сверкает брелок; человек теперь достаточно близко, и Берже угадывает очертания голубки и распятия — двойную каплю гугенотского креста. Берже узнаёт этот крестик — для него он как дружеское лицо.

В этой голове без каски, в этой физиономии добродушного пса, исхлестанной лохмами длинных волос, которые брошены ветром прямо на нос, трудно узнать лицо, мелькнувшее перед ним в подземелье... Остановившийся солдат с откинутой

на голову противогазной маской, где она со своим хоботом выглядит шапкой с помпоном, часто-часто моргает и медленно распрямляется, шадя свою натруженную поясницу и боясь уронить тело, которое он тащит.

— Еще далеко! — говорит он.

Этот тоже настроен враждебно, однако по мере того, как он осторожно распрямляет под русским свой торс, лицо у него постепенно освещается улыбкой; это его реакция на окружающий их ужас опустошения. Берже видит его знаки различия.

— Унтер-офицер? Так что же... Почему...

Человек хочет покачать головой и, не в состоянии шевельнуть шейю из-за взваленной на плечи тяжести, кривит в гримасе рот, но даже гримаса не может прогнать растерянную улыбку, которой короткая передышка отметила его лицо.

— Почему... — оторопело повторяет он.

Берже кажется, что он узнаёт простуженный голос, который говорил в подземелье: «С добровольцами всегда возникают моральные проблемы...» Конечно, он не крестьянин.

— Нельзя же их там оставлять.

Он говорит о русских.

— Разве есть приказ об отступлении?

Унтер слушает, раскачиваясь на фоне изъеденных омелой яблонь, растянув в улыбке толстые губы и по-прежнему очень часто моргая.

— Больше нет приказов... — отвечает он наконец.

Не имея возможности — из-за груза, придавившего ему плечи, — сделать хоть какое-нибудь движение, он встряхивает головой, словно хочет сказать, что приказы, как и весь мир, навсегда провалились в тартарары.

— А офицеры? — кричит Берже.

— Не знаю... Делают так же, как мы... Нет, человек создан не для того, чтобы заживо сгнить!

Тяжело, с одышкой, он возобновляет свой путь — в тыл. Берже идет за ним следом.

— Если война... становится... такой... — говорит унтер.

Он останавливается, чтобы перевести дух. Древесный лист влетает в его открытый рот. Он выплевывает его — так, будто блюет. И не заканчивает начатой фразы.

Двое солдат, которые несут одного русского на сложенных, как сиденье, руках, выходят из леса; они останавливаются и, низко нагнувшись — их руки касаются дрожащей, как студень, земли, — кладут на нее свою ношу. Потом выпрямляются с той же улыбкой, какая растянула и губы унтера, глядит вдаль, за леса и за мертвые поля — чтобы добраться до санитарных машин, они теперь снова спускаются к р е к е, — глядят за ря-

ды огромных подсолнухов, сотрясаемых ветром; там, вдалеке, по-прежнему существуют краски, цветы, зеленые и рыжие пятна земли, существуют узоры, которые ветер рисует на реке и на всей неоглядности мира. Русский, растянувшийся между ними, делает усилие, чтобы перевернуться со спины на живот; наконец это ему удастся. Оба немца все еще медленно распрямляются на полусогнутых ногах, изумленные тем, что вновь обрели долину земли обетованной.

Берже выпускает из рук висящий на шее бинокль: его спутник, унтер-офицер, опять что-то ему говорит. Его слова заглушаются чавканьем сапог в густой жиже листьев.

— Что? — кричит Берже.

Унтер хочет показать пальцем, но он держит за шинель свою ношу.

— Он удирает, их парень... — повторяет он наконец.

Сильный ветер раздувает рубахи обоих носильщиков, совершенно сомлевших в своей неподвижности; за их спиной пострадавший от газа пытается отползти в сторону русских позиций. От леса его отделяет около сотни метров; при каждом усилии он вновь утыкается носом в землю — и все-таки тянется к своей траншее, к этому узкому рву, залитому газом, где сейчас, наверно, разлагаются трупы его товарищей. Но еще бесчеловечнее и страшнее, чем этот умирающий человек, который ползет, упираясь ладонями и локтями в вонючую жижу, и тычется лбом в облепленные роями мертвых пчел метелки царского скипетра, всего бесчеловечнее и страшнее — тишина.

Носильщики в противогазах наконец замечают телодвижения русского. Они наступают на него, один из них бьет его по ягодицам сапогом, потом они оба прежним манером сажаят его к себе на руки, пускаются в путь и исчезают в лесу.

Берже опять углубляется в лес. Ему следует подниматься к русским позициям — он с каждым шагом все больше от них отдалека; ему было приказано быть неотлучно при профессоре... при каком еще профессоре? Он идет вспять, к санитарным машинам. Ему следовало бы также помочь своему спутнику, который уже выдыхается, с каждым шагом теряет последние силы под тяжестью своей висящей ноши, — но Берже на него не глядит, к нему не притрагивается. Он спускается, спускается по склону вниз, продираясь сквозь чащу, свесив руки, идиотским взглядом мертвой птицы уставясь на полужидкое месиво, которое недавно было мхом. Вражеская траншея находится метрах в трехстах от него. Он все время заворачивает к ней, но с каждым шагом уходит от нее все дальше.

Наклонная тропа, ведущая к немецким позициям. По ней, точно в судорогах, скачет на четвереньках человек. Нагишом. Метрах в двух от Берже привидение обращает к нему серое

лицо с глазами, лишенными белков, и широко растягивает губы, будто собираясь завывать, как воют перед припадком эпилептики; Берже уступает ему дорогу. Обезумевшее от боли существо движется так, словно тело его наполнено нечеловеческой мукой; совершив несколько нелепых лягушачьих прыжков, оно вламывается в гниющие заросли. Первобытная тишина оглашается душераздирающим воплем, жуткий вой переходит в мяуканье.

Берже видит новую просеку в глухой стене этих мертвых лесов.

Над протоптанной стежкой болтается множество русских шинелей, белеют рубахи, там и сям зацепившиеся за сучья, будто их разметало артиллерийским налетом, — и никаких следов взрыва. Совсем рядом, на небольшой полянке, скрытой за шеренгой подсолнухов, в траншее, имеющей форму буквы «Т», громоздятся тела — около трех десятков. Передовой пост противника.

Раздетые почти догола, мертвецы вповалку лежат на куче разодранной в клочья одежды; они судорожно вцепились друг в друга, слиплись в сплошную огромную гроздь. Воплощенные въяве дурацкие бредни солдат в подземелье, оцепенело застывшие, словно картежники с занесенными в воздух картами! Из окаменевшей груди глядят босые ступни со сведенными, будто сжатыми в кулак, пальцами...

Хотя руки у Берже неподвижны, у него дрожит правое плечо. Все мускулы сжались, как будто тело хочет свернуться в клубок. Локти вжимаются в ребра с такой неожиданной силой, что становится трудно дышать. Подобный припадок внезапно-го ужаса верующие называют присутствием дьявола. Дух Зла сильнее, чем смерть, настолько сильнее, что нужно сейчас же найти пострадавшего русского, неважно какого из них, лишь бы только он был еще жив, и взвалить его на спину, и спасти.

Пять-шесть русских валяются в кустах под зацепившейся за воротник шинелью, которая, как повешенный, колышется на ветру над этим кошмаром; Берже кидается к самому первому, подлезает под него в расплзающихся кустах ежевики и, выгнувшись, поднимается с ним на ноги. Руки напряглись, как тетива. Человек барахтался, должно быть, в подсолнухах; один из этих огромных плоских цветков, уже наполовину сгнивший от газа и с дырой посередке, похожий на большое круглое пирожное, нелепым браслетом болтается на мертвой руке. Такие пирожные, кажется, называют венками... Ведь говорят же: погребальный венок. Сомкнув плотно веки, всем телом припав к этому братскому трупу, который защищает его от враждебных сил, Берже бормочет сквозь зубы: «Скорее, скорее, скорее».

даже не зная, что он хочет этим сказать, и не осознавая, что вообще куда-то идет. Но вдруг до него доходит, что русский мертв, и он отпускает его; тело падает.

Он выпрямляется. Сквозь закрытые веки его затопляет свет; он открывает глаза. Перед ним лежит часть русской стороны косогора; эти длинные перелески на склоне холма, почерневшие, изъеденные внезапно наставшей и окончательной осенью, убитые неумолимой силой, подобной силе Творения, — все это для него ничтожно и мелко рядом с единственным лицом отравленного газом солдата. На этих пространствах, пораженных библейской карой, Берже ничего уже больше не видит, кроме смерти людей. И однако, он ощущает — глаза уже привыкают к солнцу — содрогание мертвого пламени; так содрогаются джунгли под грузной поступью невидимых зверей, направляющихся к водопою. Он различает вдалеке белые пятна рубашек, их очень много, они вытянулись в почти параллельные линии; от каждого выступа леса тянутся носильщики, там и сям прорезаемые муравьиными цепочками беглецов; тяжелым шагом, преодолевая тугое сопротивление ветра, спускаются они к поляне. Берже теперь знает, что делают эти люди; знание это — не результат размышлений, оно пришло к нему от мертвого тела, под грузом которого он брел почти по колено в грязи... Открыв рот, он глядит, как, скатываясь вниз по склону, сострадание атакует санитаров.

Впереди унтер, про которого он успел забыть, с трудом тащит своего русского. Приподняв маску, Берже нагоняет его и слышит:

— Что тут смешного?

Берже понимает, что во все горло хохочет. Они бредут под порывами ветра, который за гребнем все еще гонит перед собой облако газа.

Хоть растительность и мертва, не все ее формы распались; над травой, превратившейся в грязную кашу, высятся там и сям силуэты не тронутой тлением ежевики, папоротников, чертополоха. Они еще держатся в защищенных от газа местах. Ветер гонит листву, как клочки обгорелой бумаги; длинные шипы и колючки сыплются, как паутинные нити, на китель Берже и падают под ноги, не зацепившись за ткань.

— Черт побери? — произносит вдруг унтер с неожиданно вопросительной интонацией.

Он останавливается, переносит всю тяжесть тела на левую ногу, погруженную в торф. Несколько фраз, которые он до сих пор произнес, бросались на ветер, он бормотал что-то невнятное, не отдавая себе, видно, отчета в том, что рядом шагает Берже; на сей раз он обращает к Берже свое лицо и разворачивает к нему тело русского; но он по-прежнему смотрит куда-то

внутри, отсутствующим взглядом, озабоченный только одним — своей ношей.

— Скажи-ка, ты уже съел горького миндаля?

— Что случилось? Что с вами?

Осторожно обследовав языком свое нёбо, унтер резко выпрямляется и злобно освобождается от русского, подставляя ветру ладони, облепленные колючками ежевики; тело, которое он нес на себе, глухо шмякается оземь. Русский приходит в себя; Берже слышит ужасающий свист его дыхания, видит руку, вцепившуюся в унтер-офицерское колено. Тот отчищает сапог от слизи налипших злаков, а рука, вцепившаяся в его зеленые брюки, не хочет их отпускать.

— У меня трое детей! — кричит по-немецки русский солдат.

Другой рукой он пытается разодрать на себе рубаху.

— У меня трое детей, у меня трое...

Фраза, выученная наизусть, мольба, которой поручено сбегать его на войне. Он повторяет ее все с большей торопливостью, слова прерываются свистом ветхих кузнечных мехов, словно у него продырявлены легкие; унтер озирается вокруг, пытается не замечать русского, и опять часто моргает, как в тот раз, когда он впервые увидел Берже, и при этом украдкой старается освободить свою ногу, в которую вцепился лежащий.

— Мне двадцать шесть лет! — вопит он.

Русский не понимает. Почти седые волосы, невыразительные черты мужицкого лица. Толстые синие губы шевелятся, что-то говорят; смотрят посиневшие глаза с черными зрачками. Рука по-прежнему вцепилась в брюки.

Унтер-офицер вырывает из его пальцев и из месива гноящихся злаков сапог, который задевает русского по лицу, и со всех ног кидается в сторону санитарной машины. Перед Берже множество фигур продирается через кусты; так же как унтер, так же как он сам, они рвутся к яркому свету обширной поляны, откуда с порывами ветра доносится голос:

— Ничего нельзя сделать!.. Давайте другого! Сюда! Темно-синий... До конца и налево!..

Берже бредет на этот голос, бежать уже больше нет сил.

— Полнейший идиотизм! Противопоказано! Синий... Налево...

Под деревьями какой-то капитан собирает людей, пытается организовать доставку умирающих в полевой госпиталь. Санитары в ослепительных кислородных масках бегут к распростертым телам. Профессор, тоже весь облепленный листьями, с развевающимся по ветру кашне, в сбитой на затылок шляпе и с мелькающими, как мельничные крылья, руками, мельтешит, как охотничий пес, вокруг капитана, бежит к отравленным газам, возвращается; Берже ненавидит его, как ненавидели солда-

ты его самого, встречаясь с ним на тропе. Профессор подбегает к нему.

— Видите! Видите! Окончательно! Великолепно! — вопит он. — Да нет же, идиоты! — И поворачивается к Берже (который знает несколько русских слов): — С этими ничего нельзя сделать! Скажите же им!

Его обезумевшие зрачки неистово мечутся, обшаривая поляну, где с каждой минутой скапливается все больше пострадавших.

— Да еще эти кретины, которые пьют!

Это русские, которых носильщики положили возле ручья. Они судорожно лакают воду.

— Противопоказано! Противопоказано! Если будут пить, роковой исход!

Глядя на русских, облепленных листьями, Берже вспоминает, что он тоже в листве, и отряхивается, продолжая смотреть на лежащих.

Рядом русский майор, с которого сняли кислородную маску, открывает глаза.

— Прикажите санитарным машинам подойти как можно ближе! — кричит немецкий капитан, обращаясь к Берже. — Пусть подгонят хотя бы одну! У нас тоже множество жертв!

Немцы стащили с себя противогазы. Берже теперь кажется, что вокруг только русские... Спасенные? Один из них кидается к нему, обнимает, вытаскивает из кармана фотографию — жена и дети. Они будут за него молиться... Русский ошибся, решил, что Берже его спас. Берже слышит доносящийся с ветром гул моторов санитарных машин и спешит им навстречу. От резкой боли в колене его сейчас вырвет. Когда ветер стихает, звук моторов тоже уходит, как будто машины теперь отдалились; через щели в плотной завесе листвы Берже пытается найти перспективу, где бы виднелась дорога. Оставляя позади пораженный газами лес, он выходит на луговину, поросшую крапивой и повиликой; он изумлен ярким их блеском, их живой зеленью, острыми, как у ножовки, зубцами на листьях крапивы, раскаленной добела повиликой; эти вновь обретенные краски ошеломляют его, и ему всюду мерещатся пестрые пятна замаскированных санитарных машин. У многих колючих кустарников уже появился гранатовый цвет дикого винограда; на этом фоне пылающая синева колокольчиков и цикория, белизна дикой моркови, взъерошенных порывами ветра лепестков так ослепительно ярки, что его благодарные веки трепещут, как секундная стрелка на циферблате. В этой пульсации красных и синих раскаленных углей шум санитарной машины то приближается, то удаляется, то опять наливается с силой и вдруг, умноженный эхом, со всех сторон окружает Берже.

Но вот уже шум не уходит и при затишьях ветра, санитарные машины рокочут слева, где-то совсем уже близко. Берже устремляется на этот гул, но оказывается, что это не санитарные машины, а грузовики, идущие впереди войсковой колонны.

Проезжая мимо, шоферы, а потом и солдаты удивленно оглядывают его: пряжка ремня, крючки и застёжки, вся металлическая фурнитура на его мундире покрыта ярью-медянкой. Так же ошеломленно они будут вскоре глядеть на первых пострадавших от газа. Вместе с прочей укладкой у них на боку болтается противогазная маска. Берже тоже смотрит на них, переводя взгляд с одного на другого: они направляются к переднему краю, и барьер сострадания на сей раз, возможно, уже не сработает. Человек не может привыкнуть лишь к смерти.

— У вас есть санитарные машины? — кричит Берже первому унтер-офицеру.

— Да, в хвосте колонны!

Берже наконец чувствует, что он больше не нужен. Опустошен. У его ног на фоне белой пыли четко выделяются рапиры флагов, созвездия их лепестков; над этим царством миниатюрных трепещущих тростинок возносит вверх свои кованые стержни живой чертополох. Слово сотканное из той же легкой соломки, насекомые снуют вокруг хрупких овсов, которые вздрагивают от дальнего сотрясения почвы под сапогами и колышутся на ветру. Желтый кузнечик, особенно яркий на грязном мундире с налипшими на него листьями, прицепился к ляжке Берже. Подобно тому как газ все смешал в одном общем гниении, жизнь возрождается из одного вещества, из этой соломы, чья пружинистая упругость вдыхает душу одновременно в наилегчайшие флаги и виртуозный прыжок кузнечика, затаившегося в окутанной солнцем пыли. Над завесой деревьев ветер катится с тем легким рокотом морского прибора, с каким он обычно шумит в тополях... Высоко в небесах большая стая перелетных птиц...

Берже не избавился от той страшной минуты, когда он закинул себе на спину мертвого русского. Плечи еще ощущают сползание тела, руки еще пронизаны дрожью секунды, когда он разжал их и когда хрустнул огромный браслет из подсолнуха (а под ногами мимоходом увиденные два дохлых ежа — два пушечных банника, чьи иглы жестоко завиты газом...). Сострадание? — пронесется та же неясная мысль, что и в миг, когда он осознал, что роты откатываются назад; но сейчас речь идет о более смутном порыве, где ужас и братство сливаются в своем общем безумии. К самому небу, сверкающему и голубому, косогор возносит вместе с возрожденным ароматом деревьев запахи букса и елок после короткого ливня. Пролетает

большой металлический жук, отполированный и блестящий, — яри-медянки нет на нем и в помине; еще явственнее, чем морской шум ветра, его жужжанию сопутствует ропот слов, услышанных в подземелье, и этим же ропотом сопровождается движение колонны, исчезающей за поворотом.

Опустившись в траву, он закуривает сигарету. Отвратительный вкус. Закуривает другую — то же самое. Третью. Отшвыривает ее: тот же вкус, сладковатый и горький. Он вскакивает, сломя голову мчится против движения колонны. Отравлен? В какую-то долю секунды в голове пронесится грозная мешанина — подземелье, газовая пелена, профессорский голос, нудно о чем-то зудящий под звездами Болгако (еще накануне! накануне!). Зачем, черт возьми, человек вообще появился на этой земле! Вернулась боль, она пронзает его от колена до живота, когда он ступает на правую ногу; сквозь посвист ветра в ветвях он отчетливо слышит свистящие ноты в собственном горле...

В ярости оттого, что бег замедляется на каждом спуске, чувствуя, как на каждом шагу вонзаются в пах раскаленные вилы, а в горле, в носу цепко засел все тот же неистребимый вкус, он все больше осознает ужасающую очевидность, столь же бесспорную, как и этот упрямый свист в груди, — ему, дураку, не видать уже счастья! Где санитары? Надо еще быстрее бежать! Ноги работают вхолостую, вселенная опрокидывается, лес устремляется в небо.

Он потерял сознание не до конца. Его куда-то несут. В легкие входит кислород — на лице он чувствует маску. Эйфория. Сознание может в любое мгновение исчезнуть. Счастье уже не имеет значения. Типы в противогазах, уроженцы прогнившего леса, и покойники, тоже прогнившие. Земляной пол в подземелье и на нем гадальные карты в луче благодушного солнца. Счастье — странная вещь. Как и все остальное. Говорят, умирающий видит все свое прошлое. Нет, его жизнь — это будущее. Рядом с ним, на носилках, жестикулирует русский офицер: «Не надо сейчас меня отравлять! Не надо сейчас!». — и отталкивает от себя сверкающую кислородную маску; его вопли не заглушают хрипящего дыхания, которое надсадно воеет у Берже в груди, как сирена в тумане, пока он окончательно не лишается чувств.

НАДГРОБНЫЕ РЕЧИ

ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАРИЖА

От имени находившегося в тот момент в Африке генерала де Голля перед вокзалом, где была подписана капитуляция немецких оккупационных войск в Париже.

24 августа 1958 года

И вот четырнадцать лет спустя в полностью восстановленный город вернулось лето, как оно возвращалось раньше к развалинам; стершаяся тень генерала фон Хольтица *, тень генерала Леклерка, перед которой мы склонялись сегодня утром в усыпальнице Дома инвалидов, лица живых, на которых время оставило свой след. Знаменитые либо безвестные лица сегодня объединило одно и то же постепенно стирающееся воспоминание. Уже сейчас для тринадцати миллионов молодых французов освобождение Парижа является не более чем историей; поэтому я буду говорить от вашего имени так, чтобы для тех из них, кто нас слушает, для всей нашей живущей в разных уголках страны молодежи, которая услышит нас сегодня, история слилась с воспоминанием.

Когда вооруженные силы «Свободной Франции» и Сопротивление, родившиеся из одного и того же призыва, встретились в ставшем ныне историческим зале этого вокзала *, они знали друг о друге лишь то, о чем им говорили их легендарные деяния. Для «Свободной Франции» это были Бир-Хакейм, итальянские сражения, эпопея Леклерка, вновь обретенное чувство достоинства в тот момент, когда Франция узнала, как горстка людей генерала Кёнига *, перед которой была поставлена безнадежная задача продержаться десять дней против двух дивизий, продержалась четырнадцать и прорвала окружение Роммеля *. Эти бойцы стали живым воплощением знаменитого «нет», прозвучавшего 18 июня. Они были отнюдь не каким-нибудь иностранным легионом при союзнических войсках, а вечной горсткой тех, с кого начинается либо возобновляется преобразование личности: легионом свидетелей. Свидетелей национальной преемственности, того, что, хотя Франция и оказалась за пределами Франции, хотя ее территория и превратилась в клочок африканской пустыни, она все еще жива, потому что в этой пустыне она вновь явила всему миру свое непреходящее мужество.

О Сопротивлении, истинном Сопротивлении, символом ко-

того является присутствующий здесь председатель его Национального комитета, об этой совокупности всех находившихся в подполье и готовивших восстание сил знали гораздо меньше. Из-за окружавшей его действия тайны. Из-за многочисленных усилий, направленных впоследствии на то, чтобы завладеть его наследством... Впрочем, это не столь важно: погибшие признали друг друга, поскольку их сразили одни и те же пули, поскольку они умерли в одних и тех же лагерях. В глазах «Свободной Франции», в глазах всех тех, кто был хоть как-то связан с Сопротивлением, оно выглядело глубоко законспирированной организацией, имеющей боевые отряды, которые посреди бела дня осмелились атаковать Дворец правосудия, чтобы освободить наших товарищей.

Во время высадки в Нормандии * это Сопротивление уже насчитывало больше погибших, чем оставшихся в живых. И для выживших оно ассоциируется в памяти с глубочайшим чувством мужского братства. Это воспоминание о том, как они вступили в битву — поначалу совершенно безоружные — с намного превосходящим их силы противником, как они держали в своих руках частицу протестующей Франции, частицу судьбы Франции, как они были неизвестными сподвижниками «человека, который тогда защищал честь как неодолимое сновидение». Можно по-разному объяснять, что такое честь, а вот чувство унижения вполне однозначно. Никто из присутствующих здесь бойцов Второй бронетанковой дивизии не забыл ощущений, овладевших ими всеми, когда их дивизия впервые встретилась с немецкими танками; ни один из участников Сопротивления не забыл искажившей его лицо улыбки, когда, став накануне членом подпольной организации, он уже наутро (с револьвером в кармане или еще нет) оказался лицом к лицу со своим первым немецким офицером. Не забыл и чувств, овладевших им, когда он обменялся паролем со своим первым незнакомым товарищем...

Глубина всех этих чувств объясняется еще и тем, что в 1944 году они были связаны с риском оказаться в камере пыток или в одном из лагерей смерти, от которых до самого Балтийского моря растянулся чудовищный кортеж теней, непрерывно пополняемый живыми людьми. Выжившие участники Сопротивления, вы по праву, не повышая голоса, можете говорить, что сражались с самим адом.

Вот чем были в начале августа 1944 года Сопротивление и вооруженные силы «Свободной Франции». Англо-американские войска дошли к тому времени до Авранша. Но вот в Нормандии высадилась Вторая бронетанковая дивизия, после чего Сопротивление стало превращаться в восстание.

10 августа началась забастовка железнодорожников. 15 августа — забастовка полицейских, 18 августа — забастовка почталонов. Прервало свои передачи радио, перестали выходить коллаборационистские газеты. Профсоюзы решили объявить всеобщую забастовку. Утром 19 августа повстанцы под руководством генерала Шабана, военного уполномоченного Национального комитета, и полковника Роля, командующего Французскими внутренними силами в Иль-де-Франсе, занимают мэрии, министерства, здания газет. 20 августа генерал де Голль прибывает в Шербур, и одно из подразделений, предвосхищающее высадку Второй бронетанковой дивизии, направляется в сторону Парижа, который 22 августа покрывается баррикадами. Однако 23 августа немцы в ответ на одну из атак Сопротивления поджигают Большой дворец. Победы сил Сопротивления в тот момент еще так хрупки. Помимо вековой романтической традиции воздвижения баррикад восстание являлось также носителем истинного героизма, того героизма, который, будучи безоружным, захватывает револьверы, имея револьверы, идет против автоматов, с автоматами устремляется на пулеметы, героизма, который, выпрямившись во весь рост, бросает в танки бутылки с зажигательной смесью. Восстанию было очень нелегко защищать захваченные здания и развить в городе партизанскую войну. К счастью, вечером 24 августа танки полковника Бийота добираются до Круа-де-Берни, танки полковника Лангледа захватывают Севрский мост, а танки капитана Дронна оказываются перед ратушей, «Марсельеза», неотступно сопровождавшая их от самых Итальянских ворот, яростно врывается на площадь. Капитан входит в залы префектуры. Александр Пароди *, уполномоченный представитель генерала де Голля, говорит в микрофон: «Передо мной стоит французский капитан, только что вступивший в Париж. У него красное лицо. Он грязен и небрит. И все же мне хочется его расцеловать...»

Дело в том, что Сопротивление захватило радиостанцию и повсюду стали появляться микрофоны. Каждые пятнадцать минут передавались призывы братья за оружие, звучала «Марсельеза», сообщалась информация о ходе восстания; Пьер Кренес, взяв в одном небольшом кафе под аккомпанемент выстрелов интервью у председателя Национального комитета Сопротивления, выпустил в эфир первый репортаж повстанческого радио. О качестве радиопередач, конечно, говорить не приходилось! Однако этой ночью электричество, сперва поданное лишь в некоторые районы, затем в течение целого часа освещало Париж и вместе со светом несло ему лепет Освобождения.

«Парижане, — говорит Ш е ф ф е р, — не выключайте радио! Мы все безумно счастливы! Наши передачи не имеют четкого

расписания. Мы не ели уже три дня. В течение этих трех дней некоторые наши товарищи ходили в бой, а потом возвращались к микрофону. Мы, может быть, пьяны, но пьяны от радости и от счастья...» Ему не дают высказаться до конца, его место занимают другие: «Распахните окна! Украсьте флагами ваши дома!» Наконец ему удается продолжить: «Временное правительство Республики поручило мне обратиться к господам священникам, которые меня слышат сейчас и которых можно известить в ближайшие минуты. Я обращаюсь к ним с призывом немедленно звонить во все колокола».

И после этого ночь избавления так долго молчавшего, так долго пребывавшего во мраке, а теперь освещенного города наполняется торжественным звоном колоколов.

Однако это еще отнюдь не конец. К голосу радио присоединяется уханье пушек: по Парижу бьют немецкие батареи, размещенные на ипподроме Лоншан. Тем временем танки полковника Бийота, продвигаясь в рассветной мгле, утром достигают Шатле, а танки полковника Дио вместе с Французскими внутренними силами оказываются у Эйфелевой башни. В двенадцать часов тридцать минут впервые после четырехлетнего перерыва над ней уже развевается трехцветный флаг; когда танки полковника Ланглада въезжают на площадь Звезды, на Триумфальной арке тоже разворачивается огромный, ниспадающий до мостовой флаг. А когда солдаты направляются к могиле Неизвестного солдата, под сводом пролетает немецкий снаряд: бой продолжается. Но совсем недолго. В 10 часов полковник Бийот направил генералу фон Хольтицу ультиматум. И после последнего сопротивления последних немецких танков генерал сдается. В четыре часа пятнадцать минут он входит в билъядную Монпарнасского вокзала и останавливается напротив молодого офицера, который произносит сквозь зубы: «Вот теперь все кончено — и громко по-немецки представляется: — Генерал Леклерк».

Это произошло здесь, четырнадцать лет назад...

Условия капитуляции подписывают генерал Леклерк, полковник Роль, командующий французскими внутренними силами Иль-де-Франса, и генерал фон Хольтиц. Через четверть часа появляется де Голль и затем отправляется в военное министерство, куда, попав по дороге в перестрелку на улице Эбле, он прибывает в 5 часов. А вечером в ратуше вы, господин председатель Национального комитета Сопротивления, скажете ему: «Мы собрались здесь, движимые одним и тем же желанием, забыв о каких бы то ни было партийных, религиозных либо социальных различиях, и я с радостью выполняю свой

долг, состоящий в том, чтобы прежде всего выразить нашу огромную признательность человеку, который без промедления и уловок с первого же дня сказал "нет" врагу и предательству. Он был первым, а то, что происходит сейчас у нас на глазах в освобожденном Париже, свидетельствует, что сегодня вся Франция повторяет вместе с ним это "нет" первого дня».

Разрозненные очаги перестрелки постепенно затухают, а тем временем появляются танки, на которых ковер цветов скрыл нормандскую пыль; и над могильной плитой Неизвестного солдата склоняются исцелованные, перепачканные губной помадой солдатские лица...

А на следующий день — легендарный марш вниз по Елисейским полям. Освобождение Парижа завершено.

То, что Париж все равно бы освободили — чуть позже — и без Второй бронетанковой дивизии, и без Сопrotивления, а следовательно, и без восстания, ни для кого не составляло тайны. Истинная цель этих боев состояла не столько в том, чтобы отвоевать город, сколько в том, чтобы вновь обрести некую Францию, в которую не верили противники генерала де Голля, ибо она существовала лишь в сердцах тех, кто за нее сражался. Во имя этой Франции, а не во имя чего-то другого, отдавали они себе в том отчет или нет, погибли бойцы, освободившие столицу. Чтобы вновь обрести таинственную гордость, утрата которой воздвигла стену между ними и прошлым страны, гордость, о которой большинство из них знали лишь то, что Франция ее утратила. Для того чтобы вернуть им свободу и независимость, хватило бы союзников. И эти бойцы не ошиблись, потому что Франция возродилась не благодаря их победе, а благодаря их битве и их жертвенности. Одержав победу, восстание Парижа сродни разгромленному восстанию Варшавы*.

Это понимали и во Франции и в других странах. Даже в Латинской Америке города украсились флагами, здесь же колокола освобождения наполняли своими голосами летнее небо, от церкви до церкви и от Бретани до Прованса; и в это же время радио разносило слова, сказанные генералом де Голлем в ратуше: «Париж-мученик, освобожденный своим народом, борется сейчас вместе со всей Францией». И вот вся Франция — Франция сражающаяся и Франция, томящаяся в плену, — узнавала, что Париж освободился сам; эту радостную новость услышали и солдаты Первой армии, направлявшиеся к Рейну, и макизарты, которые, освободив свои провинции, должны были к ним присоединиться, и все еще находившиеся в аду узники лагерей смерти.

И тогда на всех каторгах от Шварцвальда до Балтийского

моря огромный кортеж еще живых теней поднялся на своих дрожащих ногах. С того момента люди, которых механизм концентрационных лагерей стремился сделать рабами, мстя им за их героизм, люди, подвергаемые осмеянию, стриженные наголо, одетые в полосатую форму — еще не свободная, еще ощущающая на своем лице дыхание смерти часть *нашего* народа! — почувствовали, что, даже если им и не доведется больше никогда увидеть Францию, все равно они умрут победителями.

Такова простая и великая история, которую мы чувствуем сегодня, — возможно, потому, что сегодня Франция может смело смотреть ей в глаза. Молодежь, будущее Франции, в ожидании, когда вновь зазвонят все колокола Парижа, окружающие меня свидетели и скорбное собрание теней, о котором я только что вспоминал, говорят тебе не очень громким, но пробуждающим спящих голосом: «Молодежь моей страны, послушай этот вечерний звон, эти колокола годовщины, у них будет то же самое звучание, что и четырнадцать лет назад. Услышь же их: сегодня они будут звонить для тебя».

ДАТЬ УВАЖЕНИЯ ГРЕЦИИ

От имени французского правительства по случаю первой иллюминации Акрополя.

Афины, 28 мая 1959 года

В который уже раз греческая ночь простирает над нами свои созвездия, те самые, которые были видны и ожидавшему сигнала о падении Трои аргосскому стражу, и приступавшему к написанию «Антигоны» Софоклу, и узнавшему об окончании строительства Парфенона Периклу... А вот сегодня в этой вековой ночи впервые вдруг засиял сам символ Запада. Скоро все то, что мы сейчас видим, станет обычным явлением, но сегодняшняя ночь неповторима. Тебя, народ Афин, твой зародившийся в земной ночи гений, как прежде, приветствует голос, который звучит в памяти людей с тех самых пор, как здесь были произнесены слова: «Даже если все сущее обречено на умирание, признайте же вы, будущие века, что мы построили самый славный и самый счастливый град...»

Этот призыв Перикла не нашел бы понимания на опьяненном вечностью и угрожавшем Греции Востоке. Даже в Спарте с будущим никто прежде не говорил. Эти слова звучали на протяжении многих веков, а сегодняшней ночью будут услышаны на необъятном пространстве: от Америки до Японии. Первая мировая цивилизация начала свое существование.

Она-то и освещает сейчас Акрополь, и светится он *ради нее*, вопрошающей его так, как его не вопрошала еще ни одна цивилизация. Гений Греции являл себя миру и позднее, но всякий раз иначе. В эпоху Возрождения он блистал столь ярко благодаря тому, что Возрождение не знало Азию; нынче же он блистает еще ярче и волнует нас еще сильнее именно благодаря тому, что мы ее знаем. Скоро зрелища, подобные этому, оживят памятники Египта и Индии, и призраки всех заколдованных мест вновь обретут голос. Однако Акрополь — это единственное в мире заколдованное место, где дух заключил союз с мужеством.

Нынче мы знаем, что стоявшая лицом к лицу с Востоком Греция создала новый, никогда ранее не существовавший тип человека. Слава Перикла — ореол, окружавший его личность, и созданный вокруг его имени миф — объясняется тем, что он был одновременно и величайшим защитником полиса, и философом, и художником; Эсхил и Софокл также не оказали бы на нас подобного воздействия, если бы мы не знали, что они были воинами. Для всего мира Греция остается задумчивой Афиной, опирающейся на свое копьё. До нее искусству еще ни разу не доводилось скреплять союз копья и мысли.

Я не устану повторять: именно Греции обязаны мы тем, что культура — столь неоднозначное понятие, которое ассоциируется в нашем сознании с совокупностью духовных и художественных творений, — стала важнейшим средством формирования человека. Благодаря этой первой цивилизации, не опирающейся ни на одну священную книгу, слово «ум» стало синонимом слова «вопрос». И с этого вопроса началось овладение космоса мыслью, судьбы — трагедией, божественного — человеком и искусством. Сейчас античная Греция вам скажет:

«Я искала истину и нашла справедливость и свободу. Я изобрела независимость искусства и духа. Я сумела сделать так, что человек, в течение четырех тысячелетий простиравшийся ниц перед своими богами, впервые встал на ноги. Одновременно я научила его не простирается ниц перед деспотами».

Это очень простой язык, но мы по-прежнему считаем его бессмертным.

Потом его на несколько веков забыли, а когда вспоминали, к добру это не приводило. Может быть, в нем больше не было нужды. Важнейшая политическая проблема нашего времени в том, чтобы примирить социальную справедливость и свободу; важнейшая проблема культуры — сделать доступными как можно большему количеству людей самые великие произведения искусства. Современная цивилизация, как и древнегреческая, является цивилизацией вопрошающей, но она пока еще

не создала пусть эфемерный, пусть умозрительный эталон своего собственного человека, без которого форма любой цивилизации остается незавершенной. Гиганты современности, нащупывая свой путь, едва ли понимают, что главная цель великой цивилизации — не только мощь, но и ясное сознание того, чего она ждет от человека, — формирования непокорной души, какой обладали покоренные Афины, неотступно занимавшие мысли Александра в азиатских пустынях: «Сколько нужно вынести, афиняне, чтобы заслужить вашу похвалу!» Современный человек принадлежит всем тем, кто общими усилиями попытается его создать; дух не знает малых наций, он знает только братские нации. Греция, как и Франция, находится в апогее своего величия тогда, когда нужна всем людям, и есть на свете некая сокровенная Греция, нашедшая себе приют в сердце всех людей Запада. Нам, древним нациям духа, негоже замыкаться в нашем прошлом, мы должны созидать будущее, которого требует это прошлое. На пороге атомной эры человек испытывает столь же большую потребность в духе, как и человек былых эпох. И всей молодежи Запада нужно помнить, что в тот момент, когда эта потребность проявилась впервые, человек поставил на службу духа копья, которые остановили Ксеркса *. На вопрос делегатов, каким должен быть девиз французской молодежи, я ответил: «Культура и мужество». И пусть этот девиз станет нашим общим девизом, так как он достался мне от вас.

В этот час, когда Греция с полной ответственностью отдается поискам своей истины и своей судьбы, логичнее будет, если миру предложите ее вы, а не я.

Потому что культура не наследуется, а завоевывается. При чем завоевание это может осуществляться различными способами, в каждом из которых отражается личность исполнителя. Отныне Греция будет обращаться к целым народам; за эту неделю Акрополь увидит больше людей, чем за истекшие две тысячи лет. Эти миллионы людей обнаружат в речах Греции не тот смысл, который обнаруживали в них римские прелаты или же версальские вельможи; и, может быть, они поймут его до конца только тогда, когда греческий народ в полной мере ощутит в себе преемственность традиций и когда великие покойные полисы заговорят голосом живой нации.

Я имею в виду живую греческую нацию, народ, к которому Акрополь обращается прежде, чем обратиться ко всем другим народам, народ, в будущее которого вписываются все ипостаси его гения, поочередно сиявшие над Западом: прометеевский мир Дельф, олимпийский мир Афин, христианский мир Византии и, наконец, единственный приемлемый из всех ви-

дов так долго существовавших фанатизмов — фанатизм свободы.

Ведь это народ, «любящий жизнь даже и в страдании», умел и петь в Софийском соборе, и воодушевляться у подножия этого самого холма, заслышав крик Эдипа *, которому потом было суждено звучать в течение многих веков. Ведь он же народ свободы, для которого сопротивление является многовековой традицией, народ, чья новая история стала историей нескончаемой борьбы за независимость, единственный в мире народ, отмечающий праздник слова «нет». Вчера это «нет» ассоциировалось с Миссолунги *, с Соломосом *. А у нас оно ассоциируется с генералом де Голлем и принадлежит нам всем. Мир не забыл, что первоначально оно было словом Антигоны и Прометея. Когда последний погибший участник греческого Сопротивления пал и распростерся на своей земле, на которой родился благороднейший и древнейший из всех протестов, то ночью его тело, так же как и тела бойцов, погибших в Саламинском сражении *, сторожили одни и те же звезды.

Нам открылась одна и та же истина, когда мы, греки и французы, сражались за правое дело в Египте, когда наши макизары в честь ваших побед изготавливали маленькие греческие флаги, когда в ваших горных деревнях звонили колокола в честь только что освобожденного Парижа. Из всех духовных ценностей самыми многообещающими являются те, что рождаются от союза братства и мужества.

На всех камнях Акрополя мы читаем: «Путник, иди и скажи жителям Спарты, что те, кто пал здесь, честно защищая...» Так пусть же свет этой ночи поведает миру, что Фермопилы перекликаются с Саламином и завершаются Акрополем, но при условии, что их минует забвение! И пусть мир не забудет про виднеющийся за панафинеями * строгий кортеж павших, что несет свою торжественную вахту в ночи, и передает нам свое молчаливое послание, которое впервые сливается с древнейшим восточным заклинанием: «И если эта ночь станет ночью свершения судьбы, пусть будет она благословенна до самой утренней зари!»

СПАСТИ ПАМЯТНИКИ ВЕРХНЕГО ЕГИПТА

Ответ на призыв ЮНЕСКО.

Париж, 8 марта 1960 года

Сегодня впервые все страны — причем в тот самый момент, когда многие из них ведут друг против друга объявленную либо тайную войну, — призваны сотрудничать в деле спасения

цивилизации, не принадлежащей ни одной из них.

В прошлом веке подобный призыв был бы просто невысказанным. Дело не в том, что Египту уделяли недостаточно много внимания: о его духовном величии догадывались и уже тогда восхищались его памятниками. Впрочем, знать Египет лучше, чем, например, Индию или Китай, помогало то обстоятельство, что в нем видели что-то вроде филиала Библии. Подобно Халдее *, он принадлежал Востоку нашей истории. И привилегированное место во временном периоде из сорока веков, о котором говорил перед пирамидами Наполеон, занимало мгновение, в течение которого их созерцал Моисей *.

Потом Египет постепенно завоевывал автономию. Имеющую, правда, более тесные рамки, чем это кажется на первый взгляд. Приоритет греко-римской архитектуры и скульптуры оставался нетронутым: Бодлер говорит о египетской наивности. Эти грандиозные храмы считались прежде всего свидетелями, единственными свидетелями, доставшимися нам в наследство от древнего Востока; точно так же как и эти каталептические шедевры, которых словно собирал под свое крыло глубокий, вечный сон. И при этом все они рассматривались не столько в контексте искусства, сколько в контексте истории. Ни в 1820, ни в 1890 году Запад, который прилагал усилия, чтобы изучать Египет, не стал бы прилагать никаких усилий, чтобы спасти его произведения.

А вот в нашем веке произошло одно из величайших событий истории духа. Эти храмы, считавшиеся руинами, вновь стали памятниками, а эти статуи обрели душу. Свою изначальную? Конечно же, нет. Душу, принадлежащую им, душу, которую мы можем обнаружить только у них, но которую до нас еще никто не обнаружил. Мы говорим про это искусство, что оно является документальным свидетельством определенной цивилизации, в том же смысле, в каком романское искусство считаем свидетельством романского христианства. Однако в действительности мы знаем лишь живые цивилизации. Несмотря на труды египтологов, религия какого-нибудь жреца бога Амона *, как и вообще основы мировосприятия древнего египтянина, для нас недоступны. Юмор, излучаемый остраками *, маленьким скульптурным народцем, текст, где солдат называет Рамсеса II не по имени, а по прозвищу: Рарой, подобно тому как старая гвардия называла Наполеона *, ироническая мудрость юридических текстов — как совместить все это с «Книгой мертвых», * с похоронной торжественностью монументальных изображений, с цивилизацией, которая существовала в течение трех тысяч лет лишь ради потустороннего мира? Для нас единственным живым древним Египтом является тот Египет, о котором мы узнаем из египетского искусства, но этот Египет никогда не существовал.

Точно так же, как не существовало такого христианства, о котором мы могли бы узнать лишь из романского искусства. В наши дни тот Египет живет исключительно благодаря своему искусству, а не благодаря своим знаменитым именам или же спискам одержанных побед... Несмотря на битву при Кадеше *, являющуюся, возможно, одной из самых решающих битв всех времен, несмотря на картуши, выгравированные по приказу фараона, пытавшегося навязать богам свое потомство, присутствие Сенусерта * мы ощущаем гораздо меньше, чем присутствие несчастного Эхнатона *. А образ царицы Нефертити живет в воображении наших художников столь же интенсивно, как образ Клеопатры жил в воображении наших поэтов. Однако Клеопатра — это царица без лица, а Нефертити — лицо без царицы.

Стало быть, Египет живет лишь благодаря своим формам. А сейчас нам уже известно, что значение этих форм, подобно формам всех иных покоящихся на религиозном культе цивилизаций, определяется не по отношению к живым людям, чьи образы они вроде бы имитируют, а по отношению к стилю, обеспечивающему их включение в мир, который отнюдь не является миром живых людей. Стиль египетского искусства создавался с таким расчетом, чтобы его формы в самых высочайших их проявлениях были посредниками между эфемерными людьми и направляющими их стопы созвездиями. Он обожествил ночь. Такое ощущение возникает, когда в Гизе мы подходим спереди к Сфинксу, и такое же ощущение я испытал, когда в последний раз увидел его вечером: «Вторая пирамида закрывает вдаль перспективу и превращает гигантскую погребальную маску в стража некоего защитного сооружения, воздвигнутого против волн пустыни и против мрака. В этот час подчиняющиеся общему закону формы вновь обретают свой прежний, похожий на шелковый шелест голос и ведут диалог с незапамятной распростертостью Востока; в этот час они одухотворяют места, где разговаривали боги, прогоняют бесформенную необъятность и упорядочивают движение созвездий, словно для того и появляющихся на темном небосводе, чтобы вращаться вокруг них».

Ну а будучи созданным, египетский стиль на протяжении трех тысяч лет переводил бренное в вечное.

Мы должны отдавать себе отчет, что он трогает нас не только тем, что еще недавно называли красотой. Красота стала одной из главных загадок нашего времени, таинственным присутствием, с помощью которого творения Египта объединяются со статуями наших соборов и ацтекских храмов, со скульптурами гротов Индии и Китая, с картинами Сезанна и Ван-Гога, с произведениями величайших мастеров прошлого и величай-

ших мастеров наших дней и вместе с ними со всеми образуют сокровищницу первой всемирной цивилизации.

Мы становимся свидетелями гигантского Воскресения, в сравнении с которым Возрождение вскоре будет выглядеть просто робким наброском. Человечество впервые открыло для себя всеобщий язык искусства. Мы явственно ощущаем его силу, хотя и не очень хорошо понимаем природу этой силы. Очевидно, такое ощущение возникает оттого, что Сокровищница искусства, в существовании которой человечество впервые начинает отдавать себе отчет, свидетельствует о блестящей победе творений человеческих рук над смертью. Категоричному «больше никогда», нависающему над историей цивилизаций, эта живая Сокровищница противопоставляет свою торжественную тайну. От той мощи, которая помогла Египту выйти из доисторической ночи, не осталось ничего; но та мощь, которая извлекла из нее этих находящихся сейчас под угрозой колоссов или шедевры Каирского музея, говорит с нами таким же громким голосом, как и могучий талант шартрских мастеров или Рембрандта. С авторами этих гранитных статуй нас не в состоянии сблизить ни наше представление о любви, ни наше представление о смерти, ни даже, скорее всего, наша манера воспринимать их произведения; и тем не менее, когдамотришь на эти произведения, то интонация безымянных и невоспоминаемых на протяжении двух тысячелетий скульпторов нам кажется столь же неподвластной сменяющим друг друга империям, как и интонация материнской любви. Вот почему толпы европейцев заполнили выставку мексиканского искусства, сонмы японцев — выставку французского искусства, миллионы американцев — выставку Ван Гога; вот почему церемонии по случаю годовщины смерти Рембрандта открывали последние короли Европы, а выставку наших витражей — брат последнего азиатского императора. Вот почему столько славных имен присоединяются к нашему сегодняшнему призыву.

Если ЮНЕСКО пытается спасти нубийские памятники, то это потому, что над ними сейчас нависла непосредственная опасность; само собой разумеется, что организация предприняла бы аналогичные шаги и в отношении других великих реликвий, например таких, как Ангор * или Нара *, если бы они оказались под угрозой. Мы обращаемся ко всему миру с призывом сохранить художественное достояние человечества так же, как другие на этой неделе обращаются с призывом помочь жертвам катастрофы в Агадире *. «Пусть нам не придется никогда выбирать, — сказали вы только что, — между изображениями и живыми людьми!» Впервые в истории вы предлагаете использовать для спасения изображений огромные средства, которые до сих пор использовались лишь для спасения живых

людей. Это произошло, вероятно, потому, что изображения стали для нас одной из форм жизни. В тот момент, когда наша цивилизация начинает догадываться, что искусство обладает таинственной трансцендентностью и является одним из пока еще не совсем осознанных инструментов ее единства, в тот момент, когда она собирает воедино породнившиеся таким способом произведения, которые раньше принадлежали различным ненавидевшим друг друга либо ничего друг о друге не знавшим цивилизациям, вы предлагаете действие, являющееся призывом ко всем людям объединиться против всех великих катастроф. Ваш призыв вписывается в историю духа не потому, что он направлен на спасение нубийских храмов, а потому, что благодаря ему первая всемирная цивилизация публично признает мировое искусство в качестве полученного им неделимого наследства. А ведь в те времена, когда Запад полагал, что первые ценности доставшегося ему наследства были созданы в Афинах, он рассеянно смотрел, как рушится Акрополь...

В медлительных волнах Нила отражались и скорбные библейские вереницы, и армия Камбиза *, и войско Александра Македонского, всадники Византии и всадники Аллаха, солдаты Наполеона. Когда над ним пролетают песчаные бури, его древняя память, очевидно, невозмутимо перемешивает облака пыли, взметнувшейся в момент триумфального шествия Рамсеса, и печальную пыль, оседающую позади побежденных армий. Но вот воздух освобождается от песка, и Нил опять видит рукотворные горы и гигантские скульптуры, безмолвное отражение которых уже так давно сопровождает его шепот вечности. Смотри же, древняя река, чьи паводки позволили астрологам зафиксировать самую первую дату истории, смотри, как люди, прибывшие сюда со всех концов Земли, будут уносить этих гигантов подальше от твоих плодородных, но одновременно и разрушительных вод. Пусть наступит ночь, и ты снова, в который раз отразишь в них созвездия, под которыми Изида * исполняла свои погребальные обряды, и звезду, на которую смотрел Рамсес. А потом самый скромный из рабочих, спасающих изображения Изиды и Рамсеса, скажет тебе то, что ты знал всегда, но услышишь впервые: «На свете есть лишь одно действие, способное поспорить и с небрежным свечением созвездий, и с вечным шепотом рек: действие, благодаря которому человек отнимает что-нибудь у смерти».

ПОХОРОНЫ ЖОРЖА БРАКА

От имени французского правительства.

Колоннада Лувра, 3 сентября
1963 года

Перед тем как тело Жоржа Брака отправится на выбранное им маленькое нормандское кладбище, я скажу торжественные слова прощания Франции.

Вы, мадам, узнали музыку, прозвучавшую перед этими колоколами, которые когда-то звонили для королей; это «Похоронный марш в честь погибшего героя» *. Еще ни одна страна в новое время не воздавала подобного рода почестей скончавшемуся художнику. История живописи, одной из вершин которой является творчество Брака, была долгой историей пренебрежения, нищеты и отчаяния. Брак в своей смерти как бы берет реванш за жалкие похороны Модильяни, за зловещее погребение Ван Гога... И поскольку все французы знают, что одна частица славы Франции зовется Виктором Гюго, то они должны знать, что есть еще одна частица славы Франции, которая зовется Браком — ведь честь любой страны складывается также и из того, что она дает миру.

Его полотна есть во всех крупных музеях, а в Токио, когда там состоялась его выставка, на ней побывало более ста тысяч японцев, направлявшихся туда как в паломничество. В его мастерской жила лишь одна страсть — страсть к живописи, и слава вошла туда на цыпочках, не потревожив ни одной линии, ни одной краски, не задев ни одного стула. Молчаливая и неподвижная, как те белые птицы, что появились на его полотнах, когда он постарел. Он стал одним из величайших художников века.

Однако мы преклоняемся не только перед его умиротворенным гением, сокровищем, обретаемым мастерами при приближении ночи. Мы преклоняемся также перед тем, что связывает этот гений с самой значительной революцией в живописи XX века, поскольку роль Брака в разрушении имитации предметов и зрелищ оказалась решающей. Наиболее характерной чертой его творчества, несомненно, является способность сочетать беспрецедентную, сознательно отстаиваемую свободу с не имеющей равных в современной живописи властью над инструментарием этой свободы.

Кроме того, демонстрируя нам с заразной силой свободу живописи, Брак и его друзья 1910 года открывали перед нами одновременно и отвергающее иллюзионизм искусство прошлого, целую традицию, уходящую от романской

живописи в глубь веков: терпеливо либо неистово работая над своими оскорбляемыми картинами, эти художники воскрешали для нас все прошлое мира...

Наконец, эти картины выражали Францию так же успешно, как картины Коро, но только более таинственно, потому что Коро предпочитал ее скорее изображать. Брак выражал ее с такой великой символизирующей силой, что он так же непринужденно чувствует себя в Лувре, как знаменитый реймский ангел * в своей церкви. В эту субботу мы вновь ощутили, казалось бы, очень далекую, но всем нам хорошо знакомую печаль, печаль, испытанную нами в свое время, когда мы слышали: «Умер Дебюсси».

Пусть же, мадам, завтра утром любившие Жоржа Брака моряки и крестьяне Варанжвиля * услышат: «Вчера, когда он находился перед дворцом королей и первым в мире музеем, в дождливой ночи звучал неясный голос, говоривший: «Спасибо»; а в темноте в последний раз поднималась ветхая рука крестьянки, рука Франции, чтобы в последний раз ласково погладить его седые волосы».

ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ЖАННЫ Д'АРК

От имени французского правительства.

Орлеан—Руан, 31 мая 1964 года

...Воскресение ее легенды предшествовало воскресению ее личности, но, уникальный случай! запоздалое знакомство с ее личностью отнюдь не вредит ее легенде, а, напротив, делает ее еще более яркой. Для Франции и для всего мира маленькая сестра Георгия Победоносца * стала живой Жанной благодаря документам процесса, на котором ее осудили, и процесса, на котором ее реабилитировали *: благодаря ее произнесенным здесь ответам и благодаря кровавой багровости костра.

Сейчас нам известно, что в Шиноне, в Орлеане, в Реймсе, на войне и даже здесь, за исключением, может быть, единственного ужасного дня, ее душа была неуязвима. Это объясняется прежде всего тем, что она не считала себя обладательницей своего собственного голоса: «Без божьей милости я не сумела бы ничего». Патетическая кантилена ее показаний в Руане всем хорошо знакома: «В первый раз я очень испугалась. Голос раздался в полдень; было лето, и он прозвучал в глубине сада, принадлежащего моему отцу... После того как я услышала его три раза, я поняла, что это голос ангела... Он был прекрасный, нежный и смиренный; и рассказывал про великое не-

счастье, которое пришло во Французское королевство... Я сказала, что я всего лишь бедная девушка, что я не умею ни ездить на коне, ни воевать... Но голос говорил: «Иди, дочь божья».

Конечно, Жанна была по-женски человечна. И тем не менее, когда нужно, она умела быть удивительно властной. Военачальников возмущало то, что эта «сорочка пытается их учить вести войну». (Войну? Битвы, которые они проигрывали, а она выигрывала...) Независимо от того, любили они ее или ненавидели, в ее речах они различали: «Так угодно Богу», звучащее во времена крестовых походов. Как можем мы понять эту семнадцатилетнюю отроковицу, если не различим в ее простом слогое ту же непреклонную интонацию, с какой библейские пророки простирали свои грозящие длани в сторону царей Востока и свои утешающие длани в сторону подвергавшегося страшным испытаниям израильского царства?

Перед началом военных действий ее спросили: «Если Богу угодно, чтобы англичане ушли, то разве он не сумеет обойтись без ваших солдат?» — «Военные люди вступят в бой, и Бог даст им победу». Лучшего ответа не придумали бы ни святой Бернар, ни Людовик Святой.

Но они несли в своем сердце христианство, а не Францию.

А вот как она парировала, когда, беззащитная, стояла здесь, в нескольких шагах отсюда, два опасных вопроса: «Жанна, вы сейчас находитесь в состоянии благодати?» — «Если нет, Бог мне его ниспошлет, а если да, то Бог меня в нем удержит»; и особенно знаменитый вопрос: «Жанна, когда архангел Михаил явился вам, он был наг?» — «Неужели вы считаете Бога настолько бедным, что он не в состоянии одеть своих ангелов?»

Когда ее спросили о ее покорности по отношению к воинствующей церкви, то она, встревожившись, но без колебаний, ответила: «Покорна, но сперва покорна Богу!» Именно эта фраза характеризует ее лучше всего. Перед лицом дофина, прелатов, военного люда она отстаивает самое существенное — в этом с начала сотворения мира заключается гений действия. И конечно же, как раз этому принципу она обязана своими военными успехами. Дюнуа * сообщает, что она великолепно располагала войска и, что особенно удивительно, артиллерию. Однако англичане были обязаны своими победами не столько собственной тактике, сколько полнейшему отсутствию тактики у французов, безумной комедии, унаследованной от Креси *, которой Жанна положила конец. В те времена участь потерпевших поражение была весьма тяжка; а мы склонны забывать, что разгром английской армии при Пате * был столь же сокрушителен, как и разгром французской армии при Азенкуре *. А свидетельство герцога д'Алансона не позволяет отнять у Жанны д'Арк славу победы при Пате, потому что без нее французская армия

перед сражением оказалась бы разделенной и потому что именно она сумела сплотить силы воедино...

И произошло это в 1429 году — 18 июня.

В том мире, в котором Изабелла Баварская могла подписать в Труа смертный приговор Франции *, упомянув при этом в своем дневнике лишь факт покупки вольеры, в том мире, в котором дофин сомневался, является ли он дофином, Франция — является ли она Францией, армия — является ли она армией, Жанна воссоздала и армию, и короля, и Францию.

Не оставалось уже больше ничего, и вдруг появилась надежда, а с надеждой и первые победы, позволившие восстановить армию.

Потом состоялось — благодаря ей и вопреки желанию почти всех военачальников — коронование, вернувшее стране короля. Ведь коронование было для нее равнозначно воскресению Франции, а Франция занимала в ее сердце так же много места, как и ее вера.

После коронования ее отстранили, и ей пришлось вести лишь второстепенные бои, которые привели ее в Компьень неизвестно для чего, если только не для того, чтобы превратить ее в первую мученицу Франции.

Мы все знаем, какая ей была уготована мука. Однако те же самые документы, благодаря которым из легенды постепенно все отчетливее проступают ее истинное лицо, ее сновидения, ее плач, действенная и нежная властность, разделяемая ею с основательницами религиозных орденов, — те же самые документы позволяют выделить в ее муке два самых патетических момента истории страданий.

Первый из них — таинственное подписание акта отречения. Сравнение короткого французского текста с очень длинным латинским текстом, который ее заставили подписать, подсказывало, что речь идет об обмане. Она поставила вместо подписи нечто закругленное, хотя уже и научилась подписываться «Жанна». «Поставьте крест!» А ведь накануне между нею и военачальниками дофина было обговорено, что под всеми лживыми текстами, под всеми навязанными ей текстами она будет ставить крест. И вот, услышав этот приказ, который, казалось, был продиктован Богом для спасения ее памяти, она вывела крест, как в прежние времена, и разразилась бессмысленным хохотом...

Второй момент был, по-видимому, самым ужасным моментом ее испытания. Похоже, что, поручив себя Богу, она на протяжении всего процесса не раз укреплялась в мысли, что он ее спасет. И может быть, в последнюю минуту она надеялась, что это произойдет на костре. Ведь победа над огнем подтвердила

бы, что она невиновна. И вот она застыла в ожидании, с крестом из двух деревянных обручков, поддерживаемым у нее на груди английским солдатом, и распятием из соседней церкви, поднятым на уровень ее лица над первыми клубами дыма. (Никто не осмелился отказать в кресте этой еретичке, этой грешнице...) Но появилось первое пламя, и одновременно с ним раздался ужасный крик, которому во всех христианских сердцах суждено было стать эхом крика Богородицы, увидевшей, как в свинцово-бледное небо поднялся крест с Христом.

От того, что когда-то было броселиандским лесом *, до кладбищ Святой земли все покойное древнее рыцарство приподнялось в своих могилах. Весь мир христианской грезы: богатыри Круглого стола и спутники Людовика Святого, первые воины, павшие при штурме Иерусалима, и последние приверженцы маленького прокаженного короля * смотрели своими глазами-тенями, развеяв в тишине траурной ночи сложные руки своих надгробных каменных изваяний, смотрели, как поднимается вверх пламя, которому суждено было пройти через века вплоть до той наконец-то успокоившейся формы, каковой стало сгоревшее тело рыцарства.

Сжечь ее было гораздо легче, чем вырвать из души Франции. Король ее покинул, а в это самое время в освобожденных ею городах организовывались процессии за ее освобождение. Потом постепенно королевство набралось сил. Отвоевали наконец и Руан. И Карл VII, все же озабоченный тем, что коронавание его состоялось благодаря колдунье, приказал начать процесс по реабилитации. И вот мать Жанны, маленькая скорбная фигурка, испуганно осматривающаяся в огромном нефе собора Парижской Богоматери, вручает рескрипт, где написано, что папа римский разрешает пересмотр дела. Вокруг нее — сумевшие добраться туда жители Домреми, жители Вокулера, Шинона, Орлеана, Реймса, Компьеня... Все прошлое воскресает при звуке этого голоса, произносящего то, что летописец назвал мрачной жалобой: «Хотя моя дочь не думала, не замышляла, не делала ничего такого, что было бы против веры, люди, желавшие ей зла, обманным образом обвинили ее во многих преступлениях. Они несправедливо осудили ее и...» В голосе слышится отчаяние, и он смолкает. Ну и Париж, забыв о своем бургундском прошлом *, вдруг вновь становится городом Людовика Святого и плачет вместе с жителями Домреми и Вокулера, а воспоминание о костре рассеивается в рыданиях, поднимающихся над жалкой фигуркой в черном.

Начинается расследование.

Забудем, ах, забудем! зловещую вереницу ее сгибающихся от почестей судей, которые ничего не помнят. Но другие помнят. Длинный кортеж, выходящий из старости, подобно тому как

выходят из ночи... Прошло четверть века. Пажи Жанны превратились в зрелых мужей, а у ее исповедника и ее соратников волосы совсем побелели. И вот тогда-то пришло время справедливости, которую человечество носит в тайниках своего сердца.

Ее, эту девушку, все знали либо встречали на протяжении одного года. И в их памяти тоже стерлись многие вещи, но только не оставленный ею след. Однажды ночью, когда они вместе со многими другими людьми спали на соломе, герцог Алансонский видел, как она одевается: по его словам, она была прекрасна, но никто бы не осмелился воспылать к ней желанием. Военачальник вспоминает перед внимательно и уважительно смотрящим на него писарем свои сдобренные печалью победы и эту минуту лунной ночи двадцать семь лет назад... Помнит он и первую рану Жанны. Она сказала: «Завтра прольется моя кровь, над грудью». Он вновь видит стрелу, пронзившую ей плечо и вышедшую из спины, и Жанну, до самого вечера не покидавшую поле битвы и захватившую наконец крепость Турель... Помнит ли он коронавание? Не казалось ли ей, что она коронует Людовика Святого? Увы! Однако для всех свидетелей она является владычицей того времени, когда люди жили, повинаясь своим сновидениям и своему сердцу, и все, от герцога до исповедника и оруженосца, все говорят о ней, как волхвы, вернувшиеся в свои царства, говорили об упавшей звезде...

Эти показания сотен живых свидетелей, от Овьетты из Домреми до Дюнуа, складываются в нечто очень хорошо знакомое и все же уникальное, в нечто вроде собора Французской Богоматери, излучающего радость и доблесть, осененного колокольной, где живут птицы сверхъестественного. А когда XIX век обнаружил этот ностальгический репортаж об ушедшем времени, то еще задолго до ее беатификации * начались удивительные вещи: хотя Жанна и символизирует родину, обретя облик живого человека, она получила всеобщее признание. В глазах протестантов она наравне с Наполеоном является самой знаменитой фигурой нашей истории, а в глазах католиков — самой знаменитой французской святой.

Четыре года назад, во время церемонии основания города Бразилиа *, дети изобразили несколько сцен из истории Франции. И вот на изящном костре из бенгальских огней появилась Жанна д'Арк, пятнадцатилетняя девочка со знаменем, с большим трехцветным щитом и с фригийским колпаком на голове. Смотря на эту маленькую Республику, я представил себе взволнованную улыбку Мишле или Виктора Гюго. В громком, как в кузнице, шуме, сопровождавшем зарождение города, обе, Жанна и Республика, были Францией, потому что обе они являлись воплощением вечного зова справедливости. Подобно античным богиням, подобно всем тем фигурам, что последовали

за ними, Жанна воплощает и славит великие и противоречивые сновидения людей. Ее трогательный трехцветный образ у подножия небоскребов с сидящими на них вверху хищными птицами напоминал деревянные скульптуры святых на дорогах, где могилы французских рыцарей соседствуют с могилами солдат Второго года *.

Самый мертвый из пергаментов передает нам удивленную дрожь руанских судей, услышавших ответ Жанны: «Я никого не убивала». Они вспомнили про кровь, стекавшую с ее доспехов, но убедились, что то была ее собственная кровь. Три года назад в возобновленной постановке «Антигоны» фиванская принцесса подстригла себе волосы так же, как она, и произносила, выставив вперед свой маленький бесстрашный профиль Жанны: «Я пришла не для того, чтобы разделить ненависть, а для того, чтобы разделить любовь». Мир узнает Францию, когда она обретает в глазах всех людей свой лик спасительницы, и поэтому никогда доверия к ней окончательно не утрачивает. На пустынных высокогорных бразильских плато Жанна д'Арк несла республике Флерюса * если не лицо, то личность, озаренную таинственным светом жертвенности, сияющим еще более ярко тогда, когда он становится одновременно и светом доблести. Страшная ирония заключалась в том, что, отстраняясь от пламени, ее тело выбирало пламя; но, чтобы его сжечь, костру пришлось сжечь и ее раны. И с тех пор как земля залита приливом жизни и смерти, в глазах тех, кто знает, что умрет, против смерти есть лишь одно средство — самопожертвование.

«Как вам говорили ваши голоса?» — спрашивали ее, когда она еще ж и л а . — «Они мне говорили: "Иди, дочь божья, иди, дева с большим сердцем..."» Это бедное сердце, бывшее за Францию, как не билось ни одно сердце, нашли в золе, которую палач не смог или не осмелился разжечь снова. И решили бросить его в Сену, «чтобы никто не попытался сделать из него мощи».

А она страстно желала быть похороненной на христианском кладбище. И тогда родилась легенда.

Сердце плывет вниз по реке. Наступает вечер. На заре его ожидают святые и феи с волшебного дерева Домреми. А на заре все морские цветы поднимаются вверх по Сене, и ее берега покрываются голубым песчаным чертополохом, усыпанным звездами лилий...

Легенда эта не так уж далека от истины. Только прах ее позволил нам увидеть не морские цветы, а самый чистый и самый волнующий образ Франции. О Жанна, ты, знавшая, что могила героев становится сердцем живых, не оставила нам ни гробницы, ни портрета, и все же важны не твои двадцать тысяч статуй, помимо тех, что стоят в церквах, важно другое:

всему тому, за что Францию любили, ты дала свое незнакомое лицо. И вот снова поплывут вниз по реке цветы веков... Пусть они доплывут до моря и от имени всех присутствующих и всех, кто придет сюда позднее, поприветствуют тебя, подарившую миру единственный лик победы, являющийся и ликом страдания!

ПОХОРОНЫ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

От имени французского правительства.

Квадратный двор Лувра, 1 сентября 1965 года

В тот самый момент, когда правительство принимало решение об организации национальных похорон Ле Корбюзье *, оно получило такую телеграмму:

«Греческие архитекторы, глубоко переживающие утрату, посылают председателя своего союза на похороны Ле Корбюзье, чтобы он мог положить на его могилу землю Акрополя».

А вот телеграмма, полученная вчера:

«Индия, где находятся несколько шедевров Ле Корбюзье и построенная им столица Чандигарх, прибудет, чтобы, воздав высшую почесть, оросить его прах водой из Ганга».

Вот он, вечный реванш.

Прекрасно, что в этом знаменитом дворе, устройством которого в разное время занимались Генрих II, Ришелье, Людовик XIV, Наполеон, присутствует и Греция, прекрасно, что этим вечером задумчивая богиня склоняет над гробом свое копьё.

Прекрасно, что здесь присутствуют представители гигантских храмов и священных гротов и последний долг вместе с людьми отдадут ему также вода и земля.

Ведь эти символы являются символами братства. У Ле Корбюзье были великие соперники, и некоторые из них присутствуют здесь, а другие уже умерли. Однако никто из них не являлся в такой степени олицетворением революции в архитектуре, потому что никого не оскорбляли так много, так настойчиво, как его.

От полученных им оскорблений слава его засияла еще ярче, но при этом слава эта общалась не столько с человеком, не очень-то ее жаловавшим, сколько с его творчеством. Проработав многие годы в приспособленном им под мастерскую широком коридоре заброшенного монастыря, человек, строивший столицы, умер в хижине. Купальщики, принесшие тело старого пловца, не знали, что его звали Ле Корбюзье. Однако,

возможно, он не без удовольствия узнал бы, что, видя, как он каждый день спускается к морю, они называли его Ветераном.

Он был художником, скульптором и, о чем мало кто знал, поэтом. Он не сражался ни за живопись, ни за скульптуру, ни за поэзию, он бился только за архитектуру. Он это делал с такой горячностью, какая не была свойственна ему ни в одном другом деле, потому что только архитектура казалась ему отвечающей его смутной и страстной надежде сделать для людей максимум возможного.

Его знаменитая фраза «Дом — это машина для проживания» дает о нем весьма искаженное представление. Гораздо точнее характеризует его другое высказывание: «Дом должен быть ларцом жизни». Машиной счастья. Он всегда мечтал о городах, и его проекты «лучезарных селений» — это башни, вырастающие из необъятных садов. Этот агностик создал самые поразительные церковь и монастырь из всех построенных в нашем веке *. На склоне лет он говорил: «Я трудился ради того, что современным людям нужнее всего: ради тишины и мира». И главный памятник Чандигарха предполагалось увенчать огромной Рукой Мира *, на которую бы садились прилетающие с Гималаев птицы.

Подобное произвольное благородство весьма легко уживалось в нем с агрессивными футурологическими теориями, с иступленной логикой, фигурирующими среди ферментов нашего века. Удел любой теории — превращение в шедевр либо забвение. А его теории, декларировавшие освоение советов земли человеческим разумом, наложили на архитекторов громадную ответственность. Ле Корбюзье изменил архитектуру, равно как и личность архитектора.

В нем жил творец, которого нам было бы трудно отделить от теоретика, но который отнюдь с ним не смешивался. Пожалуй, одного из них следует назвать близнецом другого. В 1920 году Ле Корбюзье сказал: «Архитектура — это искусная, точная и великолепная игра форм в световом потоке», а несколько позднее: «Пусть же наш грубый железобетон покажет, что под ним таится наша тонкая чувствительность...» Поклоняясь функциональности и логике, он изобретал изумительно произвольные формы. Естественно, он отвергал декоративный эффект конца XIX века, боролся с украшательством. Однако разве разрушение стиля «канделябр» в момент, когда от архитектора ждали еще один вариант геометрических масс, может объяснить тайну сотворения корабельного носа роншанской церкви, омываемой вогезскими облаками? Ее строгие формы словно воскрешали душу романских базилик. Казалось, он забывал, но на самом деле он не забывал никогда, что его дома — это не только дома, что его воображаемые города — это не толь-

ко города и что Чандигарх — это нечто иное, чем просто столица Пенджаба. Он прекрасно объяснял, что он любит, и поэтому греческие архитекторы прислали землю Акрополя человеку, «чувствовавшему и любившему Грецию». Однако таинственное родство Греции и Индии выявили не его книги, а Чандигарх. Глубокое единство архитектурных форм стало очевидным не благодаря его теории, а благодаря его творчеству. Говоря, причем совершенно справедливо, что улицы предназначены не для автомобилей, а для пешеходов и всадников, он возвращал жизнь многовековым истинам. А предсказывая будущее, он подвергал метаморфозе прошлое умерших людей, чтобы сделать его достоянием живых...

Ле Корбюзье, я видел, как вы были взволнованы, когда Бразилия выражала вам свою сыновнюю признательность, и вот теперь — признательность всего мира...

В Японии начинается день и по шести каналам телевидения показывают ваш токийский музей; в Индии занимается заря и воробьи уже встряхивают крыльями на ваших памятниках, тогда как здесь у нас, на вашей церкви в Роншане, птицы лишь засыпают. А на другом краю Земли скоро с наступлением вечера засветятся огнями министерство в Рио-де Жанейро и эпопея города Бразилиа...

В кортеже, подобном кортежу индийских женщин, несущих — так носят амфоры — землю к пустому пьедесталу Руки Мира, идет президент Кубичек *, который на пустынных плато воздвиг Бразилиа и который славит вас, «визионера архитектуры, вместе с вашими учениками Нимейером * и Костой *» (Они не ученики ваши, а ваши сыновья.) Нимейер, создатель государственных дворцов Латинской Америки, только что сказал: «Он был величайшим гением современной архитектуры», а вот и Коста — автор крупнейшего в мире градостроительного ансамбля, следовавший за вашим гробом от того трагического пляжа.

Вот его дочь, ваша ученица, занимавшаяся убранством вашего катафалка.

Вот архитекторы Греции и архитекторы Индии.

Вот телеграмма Аалто *, преобразившего Финляндию; вот телеграмма из Англии, где говорится: «Нет в мире ни одного архитектора моложе шестидесяти лет, который не испытал бы его влияния». Вот послание из Советского Союза: «Современная архитектура потеряла своего величайшего мастера». Вот телеграммы от Нойтры * и от американских архитекторов, где выражается сожаление по поводу всего того, что вы не успели сделать.

Вот голос президента Соединенных Штатов: «Его влияние

всеобъемлюще, и его работы обладают непреходящим характером, свойственным очень немногим художникам нашей истории...»

И наконец, вот Франция, та самая Франция, которая столь часто вас недооценивала, Франция, которую вы носили в вашем сердце, когда решили опять, по прошествии двухсот лет, стать французом, и которая голосом своего величайшего поэта говорит вам: «Приветствую тебя на суровом пороге могилы!»

Прощай, мой старый учитель и мой старый друг.

Спокойной ночи...

Вот дань уважения эпических городов, венки от города Нью-Йорка, от города Бразилиа.

Вот священная вода Ганга и земля Акрополя.

ПЕРЕНОС ПРАХА ЖАНА МУЛЕНА В ПАНТЕОН

В присутствии генерала де Голля.

Площадь Пантеона, 19 декабря
1964 года

Господин президент Республики,

Прошло более двадцати лет с тех пор, как Жан Мулен отправился, очевидно, по такой же, похожей на сегодняшнюю, декабрьской погоде, чтобы приземлиться с парашютом на землю Прованса и стать командиром ночного народа. Не будь этой вот церемонии, сколько французских детей знали бы его имя? Ведь и сам он вновь обрел свое имя лишь для того, чтобы погибнуть; а с тех пор родилось шестнадцать миллионов детей...

Пусть же торжества по случаю годовщины двух войн смогут воскресить народ теней, которым этот человек руководил, который он символизирует и который придет сюда, чтобы смиренно стать в почетный караул у его тела.

По прошествии двадцати лет Сопротивление стало своеобразным миром лимбов, где легенда переплелась с реальностью. Вот как мне довелось испытать впервые глубинное, органическое, древнее чувство, впоследствии превратившееся в чувство причастности к легенде. В одной коррезской деревне немцы убили макизаров и приказали мэру похоронить их тайком, на рассвете. А в тех краях существует такой обычай, что на похоронах любого жителя деревни присутствуют все ее женщины и каждая из них становится у своей семейной могилы. Погибших — это были эльзасцы — там не знал никто. Но когда наши крестьяне под дулами немецких автоматов принесли их на кладбище, из отступившей, как море в отлив, ночи возникли рассредоточенные по всему склону холма черные неподвижные силуэ-

ты коррезских женщин, стоявших у своих семейных могил и остававшихся там, пока не закончились похороны погибших французов.

Как превратить подобное братство в организованную борьбу? Мысли Жана Мулена о Сопrotивлении, в тот момент, когда он отправился в Лондон, известны: «Было бы просто безумием и преступлением не использовать в случае переноса действий союзников на континент эти готовые на любые жертвы войска, пока что разрозненные и неорганизованные, но способные стать завтра сплоченной армией парашютистов, уже находящейся там, где она нужна, знающей местность, выбравшей себе противника и определившей свои задачи». Таково было и мнение генерала де Голля. Однако, когда 1 января 1942 года Жан Мулен выбросился с парашютом во Францию, Сопrotивление, несмотря на мужество его участников, оставалось крайне аморфным и сводилось к одной подпольной газете, к одному источнику информации и к конспирации, призванной сплотить еще не существующее войско. Информация эта направлялась тому или иному союзнику, а по приходе союзников войско должно было вступить в бой. Так что, естественно, участники подполья хранили верность союзникам. Однако они хотели перестать быть сопротивляющимися французами, чтобы стать французским Сопrotивлением.

Вот в связи с этим обстоятельством Жан Мулен и отправился в Лондон. Не только потому, что там находились французские бойцы (которые могли составить разве что легион), не только потому, что определенная часть Империи стала на сторону «Свободной Франции». Одновременно с деньгами и оружием он желал получить от де Голля «морального одобрения и регулярных, быстрых и надежных контактов с ним». Генерал был тогда человеком, взявшим на себя ответственность и за произнесенное им в первый же день «Нет», и за руководство боями, где бы они ни происходили и какую бы форму ни принимали, наконец, человеком, взявшим на себя ответственность за судьбу Франции. Убедительность призывов июня 1940 года объяснялась не столько ссылкой на «огромные и пока еще не проявившие себя силы», сколько следующим : «Нужно, чтобы Франция участвовала в победе. Тогда она вновь обретет и свою свободу, и свое величие». Франция как таковая, а не какой-нибудь легион французских бойцов. Именно благодаря «Свободной Франции» воины Бир-Хакейма, объединившись, создавали борющуюся Францию, *не прекращавшую* сражаться. Любая отдельная группа бойцов как бы узаконивала свое существование благодаря тому или иному поддерживающему и вооружающему ее союзнику и, конечно же, благодаря собственной

отваге; но один только генерал де Голль мог призвать все движения Сопротивления *объединиться* между собой и присоединиться ко всем остальным битвам, так как только он один мог превратить отдельные действия борющейся Франции в единое сражение. Вот почему — даже в тот момент, когда Рузвельту казалось, что речь идет лишь о соперничестве генералов или же партий, — и Африканская армия, и войска коммунистической партии воевали впоследствии на всей территории от Прованса до Вогезов под знаменем голлизма. Вот почему Жан Мулен увез в спичечном коробке с двойным дном микрофото одного весьма простого приказа: «Г-ну Мулену поручается обеспечивать в незанятой непосредственно зоне метрополии *единство действий* всех участников борьбы против врага и его пособников».

И он неустанно предостерегает командиров различных групп против опасности раскола, грозящей Сопротивлению в том случае, если оно будет ориентироваться лишь на тех или иных опекунов. Каждое крупное событие — вступление в войну России, потом Соединенных Штатов, высадка в Северной Африке — укрепляет его позицию. Начиная с этой высадки, становится очевидным, что Франция вот-вот превратится в театр военных действий. Однако подпольная пресса, равно как и разведка (даже с учетом проникновения ее в вишистскую администрацию), находятся на оккупационном, а не на собственно военном уровне. Сопротивлению известно, что освободить Францию без помощи союзников оно не способно, но в то же время оно знает, что, объединив свои силы, сможет оказать союзникам существенную помощь. Постепенно оно поняло, что, хотя взрыв моста и осуществляется относительно легко, восстановление его осуществляется не менее легко; а вот если Сопротивлению не составит большого труда взорвать двести мостов, то немцам восстановить их одновременно будет трудно. Словом, оно понимает, что эффективная помощь десанту союзников немыслима без общего плана. Нужно, чтобы на всех шоссежных дорогах Франции, на всех железных дорогах партизаны методично разрушали порядок закованных в броню немецких дивизий. А такой план можно разработать и выполнить лишь в условиях единства Сопротивления.

Вот этим-то Жан Мулен и занимается изо дня в день, решая задачу за задачей, переходя от одного движения Сопротивления к другому: «А теперь попытаемся успокоить противоположную сторону...» Существуют неизбежные проблемы личностей и еще гораздо более существенные проблемы: нищета борющейся Франции, удручающая уверенность каждой группы маки, каждого партизанского отряда, что их обкрадывают в пользу другой группы, другого отряда, находящихся во власти

точно такого же заблуждения... Кто может сказать, сколько упорства потребовалось, чтобы убедить поочередно борющихся за одну и ту же свободу и рискующих попасть в одну и ту же тюрьму учителей-радикалов и учителей-реакционеров, офицеров-либералов и офицеров-реакционеров, троцкистов и недавно побывавших в Москве коммунистов; какая сила воли понадобилась ему, другу Испанской республики, уволенному вишистским режимом бывшему «левому префекту», чтобы настоять на принятии в ряды борцов каких-нибудь бывших кагуляров! *

Жан Мулен не нуждается в чужой славе: движения «Комба», «Либерасьон», «Фран-Тирер» были созданы не им, а Френе *, д'Астье *, Жан-Пьером Леви *. Не он организовал многочисленные движения в северной зоне, — Истории еще предстоит запечатлеть имена их создателей. Не он формировал и полки, он формировал армию. Он был Карно * Сопrotивления.

Не придавать большого значения так называемым политическим убеждениям, когда подвергается смертельной опасности нация — не национализм, раздавленный в ту пору гусеницами гитлеровских танков, та непобедимая и таинственная субстанция, которой вскоре суждено было наполнить собой век звать, что она восторжествует вскоре над тоталитарными доктринами, оглашавшими своими криками всю Европу; видеть в единстве Сопrotивления основной инструмент борьбы за единство нации — все это, возможно, и было утверждением того, что впоследствии получило название голлизма. И вне всякого сомнения, это было утверждением веры в то, что Франция выживет.

В феврале этот убежденный атеист установил радиосвязь с Лондоном с помощью передатчика, находящегося в доме священника. В апреле была создана Служба информации и пропаганды, потом Генеральный комитет планирования, а к сентябрю возникли ячейки Сопrotивления в лоне вишистской администрации. И наконец, генерал де Голль решил создать Координационный комитет под руководством Жана Мулена, которому должен был помогать командир тайной объединенной армии. На этом предыстория закончилась. Из координатора движения Сопrotивления в южной зоне Жан Мулен стал его главой. В январе 1943 года под его началом был образован Комитет по руководству объединенными действиями Сопrotивления. В феврале он вместе с командиром секретной армии генералом Делестреном * и Жаком Дальзасом еще раз побывал в Лондоне.

Наиболее впечатляюще эту поездку описал полковник Пасси*:

«Я, как сейчас, вижу побледневшее лицо Мулена, охваченного тем же волнением, во власти которого оказались мы все,

стоявшего в нескольких шагах от нас перед генералом; тот не очень громким голосом говорил: «Станьте по стойке "смирно"», потом: «Мы признаем вас нашим соратником в борьбе за освобождение Франции, за ее честь, за победу». А когда де Голль его обнял, по бледной щеке нашего товарища Мулена медленно скатилась слеза признательности, гордости и непреклонной решимости. Поскольку он стоял с высоко поднятой головой, мы видели пересекавший его горло шрам, оставшийся от удара бритвой, нанесенного им себе в 1940 году, чтобы избежать риска проговориться под пытками врага».

Пытки врага... В марте, получив задание создать и возглавить Национальный совет Сопротивления, Жан Мулен садится в самолет и выбрасывается из него с парашютом к северу от Роана.

Этот Национальный совет Сопротивления был призван стать тогда еще не очень прочным союзом различных движений, партий и профсоюзов всей Франции, позволявшим надеяться, что в день высадки союзников одетая в лохмотья армия Сопротивления и бронированные дивизии Освобождения смогут начать совместные действия.

Жан Мулен находит членов Совета, с трудом собирает их. Он обнаруживает, что Сопротивление претерпело трагическую метаморфозу. Раньше оно сражалось, как сражается армия перед лицом победы, смерти или плена. А теперь оно открывало для себя мир концлагерей и неизбежность пыток. Отныне начинается война лицом к лицу с адом.

Получив рапорт о концентрационных лагерях, он говорит своему связному Сюжете Оливье: «Надеюсь, что они нас перед этим расстреляют». Им не потребовалось его расстреливать.

Ряды Сопротивления растут, отряды макизаров увеличиваются за счет людей, уклоняющихся от трудовой повинности; но и гестапо тоже расширяется, так же как и вездесущая вишистская милиция. Наступает пора, когда мы внимательно прислушиваемся к лаю деревенских собак; пора разноцветных парашютов с оружием и сигаретами, падающих с неба в направлении разложенных на полях и известняковых плато костров; пора темниц и отчаянных, пронзительных, как у детей, криков пытаемых... Великая борьба во мраке началась.

27 мая 1943 года в Париже на улице Фур состоялось первое заседание Национального совета Сопротивления.

Жан Мулен напоминает о целях, стоящих перед «Свободной Францией»: «Вести войну; вернуть французскому народу слово; восстановить республиканские свободы в государстве, где будет место для социальных свобод, трактуемых в духе величия; осуществлять взаимодействие с союзниками с целью организации реального международного сотрудничества в области эконо-

номики и социальных отношений в таком мире, где Франция вновь займет подобающее ей место».

Потом он зачитывает послание генерала де Голля, где в качестве главной цели, стоящей перед первым Советом Сопротивления, выдвигается *сохранение единства* Сопротивления.

Жизнь всех его членов каждый день подвергается опасностям.

9 июня в Париже арестовывают генерала Делестрена, главу тайной и наконец объединенной армии.

У него не оказывается преемника. В подполье такое случается часто, и Жан Мулен до прибытия Серреля * не раз говорил: «Если меня схватят, у меня не будет даже времени, чтобы известить своего заместителя...» Поэтому он хочет с согласия всех движений, в частности, движений южной зоны, назначить себе преемника. 21 июня он должен встретить их уполномоченных в Калюире.

И действительно, они его там ждут.

Но ждет и гестапо.

Здесь в действие вступает измена, а также судьба, которой угодно, чтобы опоздание на три четверти часа почти всегда пунктуального Жана Мулена совпало с сильным опозданием немецкой полиции. Полиция достаточно быстро узнает, что им удалось схватить главу Сопротивления.

Однако это ей ничего не дает. В тот день, когда в лионском форте Монлюк агент гестапо после пыток протягивает ему бумагу и карандаш, поскольку он уже не в состоянии говорить, Жан Мулен рисует карикатуру на своего палача. Что же касается продолжения, то слушаем простые слова его сестры: «Его роль сыграна, начинается его голгофа. После глумления и диких побоев, с окровавленной головой, с раздавленными органами, достигнув пределов человеческого страдания, он все же не выдает ни одного секрета, хотя они все были ему известны».

Вдумаемся в это: в течение тех нескольких дней, когда он был еще в состоянии говорить или писать, судьба Сопротивления целиком и полностью зависела от мужества этого человека. Как говорит мадемуазель Мулен, он знал все.

Его преемником станет Жорж Бидо. И вот наконец триумф этого столь чудовищной ценой оплаченного молчания: фортуна поворачивается на сто восемьдесят градусов. Замученный в гнусных подземельях глава Сопротивления, взгляни своими исчезнувшими глазами на всех этих женщин в черном: они надели траур в память о всех наших товарищах, погибших за Францию, и по тебе тоже. Видишь, как под карликовыми дубами Керси скользят, держа в руках сплетенные из кусков кисеи знамена, макизары, которых гестапо так и не обнаружит, пото-

му что у него под подозрением находятся только большие деляги. Видишь, как арестованный входит в роскошную виллу и удивляется, почему его ведут в ванную — он еще никогда не слышал про пытку, называемую «ванной». Бедный замученный король теней, смотри, как в июньской ночи, усеянной пытками, поднимается твой народ. Слышишь рев немецких танков, спешащих в Нормандию под жалобный вой разбуженных зверушек: благодаря тебе танки опоздают. А когда начинается наступление союзников, смотри, префект, во всех городах Франции уже есть комиссары Республики, если их, конечно, не убили. Ты, как и все мы, завидовал эпическим бродягам Леклерка; смотри же, боец, как твои бродяги на четвереньках выходят из своих дубовых рощ и, обхватив своими крестьянскими руками базуки, останавливают «Рейх», одну из самых отборных бронетанковых дивизий гитлеровской империи.

Так же как Леклерк со своим прославленным, обожженным африканским солнцем и эльзасскими сражениями кортежем вошел в Дом инвалидов, войди, Жан Мулен, сюда и ты вместе со своим. Войди с теми, кто так же, как и ты, погиб в застенках, не проговорившись; и даже с теми, кто — что, возможно, еще страшнее — проговорился; со всеми одетыми в полосатое, стриженными наголо тенями, явившимися из концентрационных лагерей; с последним из тех, кто шел в чудовищных колоннах «Ночи и тумана» * и кто, не выдержав, в конце концов свалился от ударов прикладами; с восьмью тысячами француженок, не вернувшихся из лагерей; с последней женщиной, погибшей в Равенсбрюке за то, что она укрыла одного из наших товарищей. Войди же вместе с народом, возникшим из тени и с тенью исчезнувшим, войди с нашими братьями в орден Ночи...

По случаю годовщины освобождения Парижа я говорил: «Слушай, молодежь моей страны, сегодняшний вечерний звон годовщины, такой же звон, как четырнадцать лет назад. Услышь же его на этот раз: сегодня колокола будут звонить для тебя».

А сейчас прозвучит «Песня партизан», как нельзя более соответствующая сегодняшней церемонии песня, тихому шепоту которой я вначале внимал как призыву к братству, а потом вновь и вновь слышал в тумане Вогезов и в лесах Эльзаса, вместе с тоскливым блеянием овец, когда коррезские базуки двигались навстречу танкам Рундштедта, снова брошенным на Страсбург. Слушай же сегодня, молодежь Франции, то, что было для нас Песней несчастья. Вот он, похоронный марш вступающего под эти своды праха. Пусть же покоится он здесь вместе со своим кортежем обезображенных теней рядом с прахом Карно и его солдат Второго года, рядом с прахом Виктора Гюго и его отверженных, рядом с прахом Жореса, охраняемым бо-

гинеи справедливости. Представь же себе, молодежь Франции, этого человека так, как если бы твои руки коснулись его бесформенного лица, каким оно было в его последний день, как если бы они коснулись его отказавшихся говорить уст; в тот день его лицо было лицом Франции...

НАШЕ ЕДИНСТВО — ТОЛЬКО В ВОПРОШАЮЩИХ РАЗДУМЬЯХ

— *Вы остались человеком, страстно интересующимся проблемами современного человечества. Каковы, по вашему мнению, опасности, угрожающие цивилизации и какова в то же время великая надежда, к которой устремляется мир?*

— Прежде всего надо сказать, что наша цивилизация утратила коллективное сознание. Мы не знаем, каким было коллективное сознание египетской цивилизации, но знаем, что оно было.

Я сказал бы так: в настоящее время единство нашей цивилизации только в вопрошающих раздумьях. Мы являемся первой цивилизацией, располагающей громадными знаниями и сводящей все эти знания к знаку вопроса. Такого до нас никогда не было. Нечто подобное случилось на закате Римской империи, но средства тогда были весьма скудны, то есть человеческие познания во времена Марка Аврелия были все же крайне ограничены, тогда как наши — солидны.

Начиная с III века Рим ощутил опасность, исходящую от варваров; прежде он ее вовсе не чувствовал. И XVIII век был начисто лишен чувства опасности, а ведь опасность была, и называлась она Революция. Так вот, чрезвычайно важным мне представляется не прогноз, я по-прежнему с большим недоверием отношусь к прогнозам.

Никто не думал, что христианство решит проблемы Рима. Возникло нечто непредвиденное. Сказать: наибольшая опасность заключается в том или в этом — не значит ответить по существу. Но если бы завтра вам пришлось поговорить с Виктором Гюго или Марксом, людьми очень разными, они изумились бы, узнав, что нации хотя и не совсем в том же виде, но существуют и что существует атомная бомба. В отношении первого они ожидали обратного, а второе просто не могло прийти им в голову, для них это было немислимо.

Когда перечитываешь тексты XIX века, то поражаешься, насколько наука тогда была чем-то, что служило человеку и не могло обернуться против него. В целом это относительно верно, я имею в виду, что динамит изобрели очень поздно. По сути, это было из области научной фантастики. Люди порядочно

удивлены. В чем же на деле состояла важность изобретения динамита? Когда я говорю, что это важно, я подразумеваю: мы являемся первой цивилизацией, в которой определенный вид живых существ способен уничтожить планету. До сих пор у жителей Земли не было возможности взорвать свою планету.

Опасение увидеть нечто подобное эпидемиям прошлого

— *Не может ли тревога интеллигенции за судьбы мира стать источником действия?*

— До войны возникло беспрецедентное явление — антифашизм. Он был явлением значительным, цементирующим, по сути дела, союз западных демократий с СССР; писатели чувствовали себя в нем превосходно; в конечном счете антифашизм не доктрина, а в гораздо большей мере воплощенное чувство. Ведь интеллигенцию на три четверти составляют люди, значительно больше связанные с чувствами, чем с «техникой».

— *В этом и заключалась позиция по отношению к опасности?*

— К общему врагу. Однако сегодня наши чувства по отношению к опасности — все-таки чувства «технические». Если газеты пишут при каждом удобном случае о коммунистической угрозе, читатель ничуть не боится увидеть наступающую Красную Армию. Может быть, он и не прав, но он не думает об этом — такого просто быть не может. Тогда как иной раз он все-таки задумывается: «Что же с нами будет из-за всех этих атомных историй, отходов производства и загрязнения среды? Не возникнет ли однажды нечто подобное эпидемиям прошлого?» В XX веке страх перед наукой столь же велик, что и вера в науку в XIX веке.

— *Опасение главным образом, что она станет неуправляемой. Боятся ученика знахаря, но доверяют любому врачу.*

— Доверяют врачу, вы правы, только ведь врач, биолог, отлично знает, что половина его открытий является открытиями эмпирического характера. Химия мозга, одна из важнейших в нашу эпоху областей знания, появляется в 1957 году в результате исследований по раку. В действительности крупные биологи — я знаком с тремя или четырьмя из них — особых надежд не питают, и тут есть, по-моему, одно очень интересное обстоятельство.

Их навязчивой идеей пятьдесят лет назад было стремление объяснить мир выживанием самых сильных видов, то есть дарвинизмом. Сегодня они считают, что биология шагнула далеко вперед, будет развиваться и впредь, но что открытия в биологии ни в коем случае не позволят воздействовать на формирование человека. Когда-то я сказал: наука не может

сделать человека. Я описал последовательные типы человечества: римлянин, джентльмен, допустим, большевик; это были модели поведения, а не факты, установленные наукой. Мне довелось как-то принимать одного профессора из Академии наук; к сожалению, он пришел к тому же выводу, что и я: чем больше ученые приближаются к пониманию смысла открытия, тем больше этот смысл кажется им непостижимым; они чувствуют, что невозможно перейти от исследования, целью которого является поиск, к формированию человека в духе Древнего Рима или христианства. Это довольно существенно, ведь пятьдесят лет назад биологи бы нам этого не сказали. Сегодня биология совершает головокружительный поворот.

— *И в общем стремится понять саму себя.*

— Да, только с учеными случилось одно чрезвычайное происшествие. Дело в том, что электронный микроскоп показал им некоторые вещи, которые являются реальностью, а прежде были всего лишь гипотезами. В результате электронный микроскоп открывает нам то же, что цепные реакции физикам.

— *Непредсказуемое играет существенную роль в научном прогрессе. Какое значение имеет осознание того, что человек, может быть, не единственное мыслящее существо мироздания и что, возможно, существуют неведомые цивилизации?*

— Я полностью отвергаю этот вопрос, потому что для меня он целиком из области непредсказуемого. Мы можем заниматься предвидением, обладая определенным набором исходных данных. Учитывая, что сегодня во Франции пятьдесят два миллиона жителей, не будет нелепым предположить, сколько их будет в принципе через тридцать лет. Но сколько их будет через триста лет — говорить нелепо. Просто нельзя. Ибо для того, чтобы предвидение было серьезным, мы должны быть внутри кривой, данные которой нам известны.

— *Я имел в виду взезную цивилизацию.*

— Понятно, но я считаю, что это бессмыслица. Эйнштейн говорил: «Не нужно задавать себе вопросов, которые не возникают сами». Примерно то же думаю и я. Если говорить о разных типах цивилизаций, то дистанция между ними не слишком велика, то есть самые отдаленные из них от нас все-таки относительно близки. Чтобы их отрыв от нас был большим, нужно, чтобы мы находились вне цивилизации. Негры из девственных лесов — это одно, а человек, еще не приручивший животных, — совершенно другое. И тем не менее это цивилизации относительно близкие. Тогда как взезная цивилизация мыслится либо по земным данным — в таком случае она удивит нас не больше и не меньше, чем парфяне или майя или что угодно еще, — либо она не соответствует земным данным, и тогда предмет разговора вообще неясен.

Иными словами, случайной жизни нет, нет жизни, обязанной случаю, всякая жизнь есть область упорядоченного; это не обязательно наша упорядоченность, но это упорядоченность. Пусть и неведомая нам.

Слово «любовь» имеет с десяток различных значений

— *Не утратила ли смысла для вас — на сегодняшний, да и на завтрашний день — знаменитая фраза из вашего романа: «Помочь людям осознать свое величие, о котором они сами не подозревают»? **

— Написал я ее в разгар грандиозного столкновения между фашизмом и антифашизмом, когда все знали, что к трагическим событиям могли привести как коммунисты, так и фашисты или что столкновение произойдет между ними, и все понимали, что это было противостояние колоссов.

Из сегодняшнего сознания, мне кажется, все это сильно выветрилось. Например, когда я был в 1934 году в России, я не встретил там ни одного русского, который бы совершенно искренне и правомерно не осознавал, что живет в стране, окруженной врагами. Который бы не верил ни в какие альянсы с западными демократиями, впрочем, альянсов этих еще и не было. У дверей России стоял Гитлер, против России была Япония. Разве сегодня в какой-нибудь стране живут с подобным мироощущением? Конечно, люди и сейчас участвуют в войне — более или менее холодной, — но того ощущения угрозы, кстати вполне обоснованного, поскольку война-таки и началась, больше нет.

— *Задавая вам этот вопрос, я думал не столько о политической стороне дела, сколько о его, скажем, метафизической стороне.*

— Но мы опять возвращаемся к тому, о чем говорили. Мы прекрасно видим, как разлагается наша цивилизация. Индивид подобен атому, который сцепляется с другими атомами, и в настоящее время происходят как бы цепные реакции. В странах Восточной Европы делают вид, что это не так, но мы с вами понимаем, что это факт.

Что же можно противопоставить разложению? Безусловно, ценности, то, что мы понимаем под выражением «создать человека», когда люди объединены ценностями. Религиозными или иными, но ценностями.

— *Некоторые критики удивлены, как мало места в вашем творчестве отведено любви, в отличие от мужественного братства или любви к искусству. Не считаете ли вы, что любовь в ее общем значении может стать верховной ценностью, играть роль анти-судьбы?*

— Когда вы мне говорите: почему в моем творчестве любовь не имеет значения...

— *Это мнение не мое, а других критиков.*

— Допустим. И вот что я скажу: если ее трудно обнаружить, то в этом нет принципиальной установки. Не следует забывать великих романов — романов без любви. «Дон Кихот», «Робинзон», «Моби Дик» — вот уже три романа мирового значения, в которых любовь не играет никакой роли или ей отведена пародийная роль. Дошло до того, что любовь называют необходимой литературе темой, а я в этом далеко не уверен.

— *Необходимой роману...*

— Утвердилось даже неперемненное присутствие любви в любом художественном произведении. Нам говорили, что Троянская война — это, как ни крути, Елена, что неправильно. Елена, естественно, предлог, но «Илиада» в целом — это не вымысел, основанный на любви Париса и Елены. Это вымысел, основанный на сражениях Гектора с Ахиллом.

— *И все же у Достоевского, Толстого, Чехова, у великих русских прозаиков любовь играет значительную роль...*

— Да, значительную. Тем более значительную, что русская любовь, как мы с вами знаем, в довольно сильной степени метафизическое понятие и что эти романисты вновь ввели его в литературу. Толстой обладал гениальным даром воплощения любви, человеческой любви; он — почти единственный великий романист, создавший незабываемые женские образы. Иное дело Достоевский. Гений его проявился совершенно в другом, и образы его женщин трудно защищать. Они подобны образам Шекспира.

— *Есть и другое направление в русской литературе, в котором любовь вообще не играет никакой роли. Гоголь, Салтыков-Щедрин, Булгаков. Это главным образом сатирики.*

— Это я и хотел сказать. Стоит вам обратиться к сатире, как тут же на первый план выступает карикатурное начало. Вы назвали Щедрина. Если изменить порядок сцен Иудушки с племянницей, то они стали бы любовными сценами.

— *Что вы думаете о любви вообще, то есть об отношениях между мужчиной и женщиной, о чувстве дружбы, преданности идее, а также о вере?*

— Чем ближе мы к Востоку, тем это существенней. В России на любовь метафизический взгляд. В Англии взгляды на любовь строго распределены: это божественное, это сентиментальное.

— *Думаю, что в том смысле, какой я вкладываю в слова «любовь вообще», в вашем творчестве она все-таки сыграла большую роль.*

— Вне всякого сомнения.

— Но какого вы мнения о роли любви, скажем, в культуре, любви как верховной ценности, как ценности анти-судьбы?

— Слово «любовь» обладает дюжиной различных значений. Одновременно может означать «нежность» и, скажем, «метафизическое чувство»; вы находитесь где-то между понятием сексуальности, более или менее связанной с любовью, что, впрочем, спорно, и понятием священной любви, такой, какой она бытует с огромной силой в христианстве. В действительности вы незаметным образом переходите от одного понятия к другому. Я думаю, что интереснее в вашем вопросе — это то, как вы его задаете, вы говорите о чувстве независимом от самого предмета любви.

— Именно так.

— В таком случае, мне кажется, мы касаемся вещи чрезвычайно важной и в своей глубине, вероятно, абсолютно неопределимой; к ней нас приближает только музыка. Музыка способна выразить чувство благородной любви без самого предмета любви, как с помощью Моцарта, так и без него, но всегда с огромной силой; музыка показывает, что словами нам любовь не выразить. В этот момент мы чувствуем себя безоружными.

— Впрочем, музыка может наилучшим образом выразить и веру, особенно религиозную веру.

— Знаете, как-то я говорил Менухину * (по-моему в «Лазаре» *), что, когда оказываешься в Азии, главным чувством западной музыки представляется ностальгия: Бетховен, Шуман, Шуберт... Вместе с Менухиным была Надя Буланже *, и он спросил у нее: «Вы, Надя, тоже так думаете?» Она ответила: «Нет». «И я тоже», — добавил Менухин. «Что же, по-вашему, главное в западной музыке?» — спросил я его. На что он ответил: «Восхваление». Интересно и правильно, ведь это одно из основных чувств. Восхваление содержит в себе специфически музыкальный элемент.

— Я хотел бы спросить, не случайно, а в тесной связи с предыдущим вопросом: как автор «Удела человеческого» и «Завоевателей», что вы думаете о сегодняшнем терроризме, в каком из романов впервые появляется психологический портрет террориста? Есть ли сходство между Хонгом, Ченом и сегодняшними террористами?

— Я вижу огромный разрыв между ними в том, что сегодняшние террористы довольно последовательные, тогда как террористы, которых знал я, были скорее близки к русским нигилистам, то есть были, по сути, метафизиками. Напротив, если вы возьмете сегодняшних японцев или арабов, у вас возникнет ощущение какого-то суперрационализма: самое простое — убивать людей, значит, будем угрожать им. Есть в них что-то почти механическое.

Хоть китайские и русские террористы были очень разными, и те и другие всегда пребывали в мире достаточно иллюзорном. Современные террористы могут сказать, что, беря заложников, они выполняют некую миссию, но они этого не говорят. У них нет «словаря», но есть «поведение». Я хочу сказать, что современный терроризм своей неукоснительностью напоминает мне скорее гангстеризм.

— *Та же практика, технология.*

— Мне кажется, прежний известный мне терроризм полностью исчез. Первыми, безусловно, были русские, последними китайцы.

Конечно, существует еще не очень хорошо мне известный японский терроризм. Некоторые из его представителей, по моему, достаточно метафизичны. У них есть некое понятие японской чести, связанной с кровью, что восходит все-таки не к гангстеризму, а к метафизике, религии, к области довольно обширной.

— *Но среди этих двух категорий существовал тип террориста периода французского Сопrotивления?*

— Он не был террористом.

— Покушения все-таки совершались.

— Да, но между тем в русском терроризме доминировала идея жертвы. Жертвой становился великий князь. Одновременно жертвовали собой. Что же касается Сопrotивления — а я сотрудничал с командирами соединений, — все это происходило в рамках войны.

— *И техники.*

— Как при вооруженной борьбе. И чувства были несложными. Просто абсолюта больше не существовало.

— *Но в то же время не было и нигилизма, то есть не было ненависти.*

— А у русских вот что происходило: во-первых, я убью великого князя, иначе что мне с ним делать? Во-вторых, я сам стану жертвой, потому что меня неизбежно схватят. По всей видимости, повесят, но моя казнь станет прологом последующего бунта. Когда немцы хватают заложников и расстреливают их, заложники эти оставляют своих последователей. Сегодня именно террористы вешают заложников. Значит, это дает противоположный результат.

— *Не следует ли принять во внимание и тот факт, что японский террорист или палестинский действует не на своей национальной территории, не среди своего собственного народа?*

— Я продолжу вашу мысль. Новый террорист действует независимо от национальной территории, тогда как раньше он действовал у себя дома. Русские террористы бросали бомбы

в России, китайские — в Китае. Сравните с Иностраннным легионом *. Другой человеческий тип. Ибо в национальном терроризме было все-таки бессознательное и глубокое чувство братства со своим народом. Все эти люди были народниками.

В Сопротивлении, начиная с 1943 года, у нас было чувство, что в конце концов мы победим. А у китайцев такого чувства не было. Они ощущали, что когда-нибудь наступит их день, как в России, но не при их жизни. Это было как утопия.

— *Существует ли, на ваш взгляд, разрыв между «Антимемуарами» и вашим предшествующим творчеством, как считает Гаэтан Пикон *? По его мнению, «Антимемуарам» недостает мифологичности, чувства истории.*

— Я лично думаю, что эта книга целиком продиктована удивлением перед тем, как развивается наш век. Я и представить себе не могу, каким увидят наше время через столетие.

Но я не сомневаюсь, что при чтении моих книг возникнут совершенно иные чувства, чем, скажем, при чтении Мориака, потому как Мориак внутри своего, двадцатого века, а я — вне его. Так вот, отвечая Пикону, хочу сказать, что не схваченная им мифологичность «Антимемуаров» вовсе не в их персонажах или эпизодах, она в ощущении разрыва с цивилизацией. Представьте себе путешественника вокруг Земли, некий НЛО (неопознанный летающий объект) — в этом я и вижу своего рода мифологический размах.

Для любого художника огромная удача — встретиться с неожиданностью

Но получается так, что это чувство выявляется у меня в историческом ряду. Для читателя, если бы это было в романе о любви, через сто лет это ощущение слилось бы с выявлением характера персонажа. Иное дело, когда на сцене появляется генерал де Голль или одновременно де Голль и Мао. Во всяком случае, я совершенно уверен, что в факте разрыва есть очень скрытая, но несомненная мифологичность, подобная той, что ощущается нами в наших снах. Человечество всегда мечтало летать.

— *Вы думаете, что в этом и заключается мифологический смысл «Антимемуаров»?*

— Это то, что будет отличать их чуть ли не от всех современных произведений. Разумеется, все, о чем мы говорим, имеет смысл, только если мы останемся на уровне неопределенности. Я хочу сказать, что в данном случае претендовать на точность — значит лгать. Если бы мне мысленно удалось переместиться в 2050 год, то это был бы уже Жюль Верн, что совсем неинтересно. Интересно некое отдаление, осознание отдален-

ности современного человека от современной цивилизации, поэтому я с большим нажимом ставлю акцент на том, что мы, в общем, чувствуем без особого нажима. Все мы смотрим на цивилизацию, как на чужую родину. Такого еще не случилось.

— *Вы подходите, по сути, к новому определению понятия «история».*

— В некотором роде. Но полагаю, что не столько я, сколько совокупность переживаемых нами открытий, она выдвигает обвинение в адрес истории.

— *Каково соотношение между пережитым и вымышленным в ваших романах? Некоторые критики утверждают, что в них главенствует реально пережитое, жизненный опыт; я же, напротив, полагаю, что жизнь в них лишь сырье, предлог для того, чтобы возник «воображаемый музей человеческой жизни». Я ошибаюсь?*

— Мы только что об этом говорили. Очевидно, пережитое — рельефно. Но только при условии, что у вас в сохранности арматура; вот эта арматура и составляет глубочайшую основу воображаемого, то есть изображение не внешнего фантастического элемента, но изображение того, что заключено в нас самих.

Существует два типа воображаемого: первый заключается в умении рассказывать истории, тогда получается «Тысяча и одна ночь», Перро и т. д.; другой тип способствует открытию в себе чудовищного или святого.

— *Совершенно верно. Но «Удел человеческий» и «Надежда» рассматривались как произведения о реально пережитом... И даже как репортажи.*

Но существует ли пережитое на самом деле? Разве это не какая-то невероятная химера? Кто, считается, идеально воплотил пережитое во Франции? Бальзак. А вот Бодлер счел его самым великим провидцем нашего времени. Сегодня мы все с этим согласны.

Затем был Золя. Никто из нас не относится к его большим романам как к фотографиям. «Западня» — книга абсолютно эпическая, черная, трагическая, полная противоположность фотографии.

В живописи это проявилось еще определенной, потому что там всякий раз, когда начинают говорить о работе в реалистической манере, мы понимаем, что речь пойдет о борьбе против господствующего стиля. У нас реалист тот, кто против икон. В XVII веке реалист тот, кто против Рафаэля. Но реализм в живописи — это всегда критика предшествующего идеализма.

Думаю, в литературе дело обстоит примерно так же. Силы, привлеченные к творчеству, в великих романах или трагедиях не

эксплуатируют реальность. Нам нужно использовать или исследовать факты лишь для того, чтобы иметь возможность в любой момент придать рельефность произведению или создать эффект неожиданности.

Для любого художника огромная удача — встретиться с неожиданностью! Придумать ее невозможно, как невозможно заставить ее возникнуть здесь и не возникнуть там. Это то же, что монтаж в кинематографии: у монтажера нет собственной идеи картины, но вот перед ним кадр с только что упавшей героиней, рядом с которой видна струйка керосина, что тотчас же дает представление о крови и тем самым превосходный кадр.

Есть гениальный человек, у которого все это очевидно, — Шекспир. Ясно, что «Макбет» разыгрывается совершенно независимо от присутствия в трагедии короля. Тут уместно вспомнить и Достоевского. Сегодня, когда у нас есть его записные книжки, мы знаем, что убийцей мыслился именно Мышкин, а не Рогожин *. Достоевский полностью сохранил сцену, поменяв персонажей ролями. Значит, для него единственно важной была любовь.

Возвращаясь к нашему вопросу, я отвечаю: жизнь — не больше чем первичный материал для искусства. Но бывают моменты, когда она дает некое воплощение нашим мифам или по крайней мере нашим фантазиям.

Художественная сила жизни — в просторах непредвиденного. И то, что называется опытом (не идеей, не чувством), связано все-таки с жизнью.

Искушение Запада

Книга была опубликована издательством «Бернар Грассе» в июле 1926 г. За несколько месяцев до этого в письме к издателю Мальро выразил пожелание скорейшей публикации своей книги, содержание которой служило, как он считал, ответом по проблеме «Запад—Восток» его оппоненту Анри Массису (1886—1970), представителю консервативных кругов французской критики, Мальро знал о предстоящей публикации книги А. Массиса «Защита Запада», был знаком с националистическими и охранительными позициями ее автора — защитника католицизма и «европейского порядка». Центральная проблема в этой полемике — кризис традиционных ценностей в современной западной цивилизации. Мальро продолжает ее разработку в статье «Защита Запада» Анри Массиса («Нувель ревю Франсез», июнь 1927) и в очерке «О европейской молодежи» (1927). На русском языке фрагменты книги публикуются впервые.

25 *...имя Эдипа (греч. миф.)*. — Эдип — сын царя Фив Лаия и Иокасты, по приказанию отца, которому была предсказана гибель от руки сына, был брошен младенцем в горах и спасен пастухом. В юности получил предсказание оракула, что убьет отца и женится на своей матери. Ужаснувшись такой судьбе, Эдип отправился странствовать. На пути в Фивы он убил, сам того не подозревая, своего отца Лаия, а затем встретил Сфинкса, который стерег дорогу в этот город и задавал путникам загадку: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?» Никто не мог разрешить загадку, и чудовище пожирало путников. Эдип разгадал загадку, и тот бросился в пропасть. По древнейшему варианту мифа, Эдип сражался со Сфинксом и убил его. Дорога в Фивы стала свободной. Благодарные фиванцы выбрали Эдипа своим царем и дали ему в жены вдову Лаия Иокасту. Позднее, узнав, что роковое предсказание сбылось, Эдип ослепил себя.

26 *Минерва (рим. миф.)* — богиня, покровительница ремесел и искусства. Рано отождествленная с греческой Афиной, Минерва

стала покровительницей государственной мудрости и помощницей в войне. Римские полководцы приносили в храм Минервы свои трофеи.

...в городе ликторов... — Ликтор — в Древнем Риме почетный страж при высших должностных лицах — магистратах; сопровождая их, ликтор нес в руках фасции (пучки прутьев) с топором в середине, связанные ремнем и представлявшие знаки достоинства магистратов.

- 29 *...в утро Аустерлица.* — Имеется в виду победа, одержанная 2 декабря 1805 г. французской армией под командованием Наполеона над русско-австрийскими войсками около города Аустерлиц.

...когда в Версаль, где воцарилась... тишина, впервые доставили хлеб, выпеченный из травяной муки. — Мальро, вероятно, имеет в виду один из ранних эпизодов Великой французской революции, связанный с тягчайшим экономическим положением во Франции: осенью 1789 г. сотни парижских торговков отправились в Версаль с требованием хлеба.

Какое нам дело до Святой Елены... — Имеется в виду остров в Южной Атлантике, на котором Наполеон I провел в изгнании последние годы своей жизни (1815—1821).

- 34 *Вертер приглашает к смерти...* — Вертер — персонаж романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), не чуждого идеализации пассивного страдания. Вертер покончил жизнь самоубийством.

- 35 *...но, вслед за Богом, умер человек...* — переключка с известным афоризмом «Бог умер» немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900). Возвещая «смерть Бога» в своих лирико-философских эссе «Веселая наука» (1883—1887) и «Так говорил Заратустра» (1883—1884), Ницше мечтал возвеличить человека, освободив его как от христианско-торгашеских идеалов, так и от безусловной веры в прогресс, будь то в истории или в науке.

- 38 *...словно Рансэ перед трупом своей возлюбленной...* — Рансэ — персонаж из романа «Жизнь Рансэ» (1844) французского писателя-романтика Франсуа-Рене Шатобриана (1768—1848), написанного им по настоянию своего духовника как своеобразное покаяние. Прототипом послужил Арман де Рансэ (1625—1700), некогда блиставший в светском обществе и готовивший себя к духовной карьере молодой человек, после смерти своей возлюбленной, герцогини де Монбазон, удалившийся в монастырь сурового траппистского ордена.

О европейской молодежи

Очерк был опубликован издательством «Бернар Грассе» в 1927 г. в сборнике серии «Зеленые тетради» под общим названием «Экри». На русском языке публикуется впервые.

- 41 *Маритен Жак* (1882—1973) — французский религиозный философ и эссеист, ведущий представитель неотомизма; много писал о современном искусстве, в частности о кубизме.
- 44 *..безумием Ницше, украшенный тем, что осталось от умерших богов...* — Болезнь настигла Ницше в Турине в 1889 г., вскоре он был парализован; умер в 1900 г.
- 45 *Кандинский Василий* (1866—1944) — художник русского происхождения, один из родоначальников абстракционизма.

Удел человеческий

Первоначально роман публиковался в журнале «Нувель ревью Франсез» в январе—июне 1933 г., вскоре вышел отдельной книгой в издательстве «Галлимар», в декабре 1933 г. был удостоен Гонкуровской премии. В русском переводе печатался под названием «Условия человеческого существования» в журнале «Молодая гвардия», № 4—8 за 1935 г. Предлагаемый в новом переводе фрагмент из романа отражает трагическую развязку шанхайского восстания в мае 1927 г., поднятого коммунистами (персонажи Кио, Катов и др.) и потопленного в крови войсками Чан Кайши.

- 48 *Мандарин* — название, данное европейцами крупным чиновникам в феодальном Китае; с начала XIX в. — просвещенный и влиятельный человек, принадлежащий к духовной элите.
- 59 *Он вспомнил — и сердце его замерло — граммофонную запись.* — Кио вспомнил, как накануне восстания, прослушивая свое донесение, записанное на граммофонную пластинку, он не мог узнать собственный голос, ему казалось, что говорит кто-то совсем чужой. Кио поразило чувство разрыва между тем, как человек воспринимает себя изнутри, и тем, как он сам и другие воспринимают его извне.
- 60 *...кровавая легенда, рождающая золотые легенды!* — Имеется в виду «Золотая легенда» — популярнейший в средние века сборник житий святых архиепископа Генуи Иакова Ворагинского (1228 или 1230—1298).

О фашизме во Франции

В июле 1933 г. в связи с возрастающей угрозой установления фашистской диктатуры во Франции редакция небольшого левого журнала «Аван-пост» провела исследование общественного мнения, направив ряду писателей специальный вопросник. Текст этого вопросника и ответы Мальро были опубликованы в журнале «Аван-пост» № 3 (октябрь—ноябрь) 1933 г. На русском языке печатается впервые.

- 64 *...очень важный антифашистский конгресс.* — Имеется в виду Европейский антифашистский конгресс, открывшийся в Париже

4 июля 1934 г. в зале Плейель. Мальро, вступивший в декабре 1932 г. в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции, принял активное участие в работе этого конгресса,

- 65 *Гугенберг Альфред* — коммерческий директор концерна Круппа, основатель и председатель Немецко-национальной народной партии, один из руководителей крайне реакционного Гарцбургского фронта правых сил, в котором участвовала и гитлеровская партия. В период Веймарской республики находился во главе газетного концерна, а также акционерного общества, монополизировавшего кинопроизводство и кинопрокат в Германии.

Тиссен — имеется в виду Фриц Тиссен (1873—1951), глава крупнейшего металлургического и машиностроительного концерна в Веймарской республике; оказал существенную финансовую поддержку нацистской партии, в 1933 г. стал государственным советником. В 1939 г. во время подписания советско-германского договора Ф. Тиссен порвал с Гитлером, эмигрировал во Францию, но был там арестован, выдан гестапо и депортирован в Дахау. После войны обосновался в Латинской Америке.

...Гуалино, что сидит на Липарских островах... — Гуалино — крупный итальянский промышленник, сосланный Муссолини на Липарские острова — место изгнания политических противников режима.

Клеманс Жорж (1841—1929), прозванный «тигр Клемансо», — премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг.; стремился к установлению военно-политической гегемонии Франции в Европе. Стиль его правления, вызывавший критику как левых, так и правых партий, отличался бескомпромиссностью.

Искусство — это завоевание

Речь Мальро, произнесенная им на I съезде советских писателей в Москве 23 августа 1934 г. В русском переводе с небольшими сокращениями была опубликована в «Литературной газете» № 111 от 26 августа 1934 г. Выверенный Мальро текст этого выступления был напечатан по-французски в журнале «Коммюнь», № 13—14 (сентябрь—октябрь) за 1934 г. Полный перевод этого выступления на русском языке публикуется впервые.

Человек в процессе рождения

Текст выступления Мальро в августе 1934 г. перед советскими журналистами в Москве. Впервые был опубликован по-русски в журнале «Интернациональная литература» № 6 за 1934 г. Печатается по этому изданию.

- 70 *Жид Андре* (1865—1951) — французский писатель, драматург и эссеист. Наиболее известные из его книг: «Имморалист» (1902), «Подземелья Ватикана» (1914), «Фальшивомонетки» (1925),

а также «Дневник», который он публиковал на протяжении всей своей творческой жизни. В 1934 г. московское издательство «Огонек» выпустило «Страницы из дневника» Андре Жида.

Комитет бдительности — 5 марта 1934 г. три видных представителя левой интеллигенции, принадлежащих к разным политическим горизонтам, — этнограф Поль Риве, физик Поль Ланжевен и философ Ален — основали Комитет бдительности и антифашистского действия. Вскоре сам комитет и его филиалы в провинции объединили около 5 тыс. представителей интеллигенции, начали издавать двухнедельный бюллетень и приступили к организации лекций и митингов, собиравших на общей антифашистской платформе людей с различными идеологическими воззрениями.

- 72 *Лакло Пьер Шодерло де* (1741—1803) — французский писатель, автор психологического романа в письмах «Опасные связи», где мастерски нарисованы картины жизни аристократического общества накануне Великой французской революции. В 1939 г. Мальро опубликовал статью о его творчестве («Шодерло де Лакло» в сб. «Картина французской литературы: XVII—XVIII в.», Галлимар), а в 1953 г. — предисловие к «Опасным связям» в издательстве «Ливр де пош».

Позиция художника

23 октября 1934 г. по инициативе Ассоциации революционных писателей и художников Франции Мальро выступил в парижском Дворце Мютюалите с отчетом о работе I съезда советских писателей. Это выступление не было полностью застенографировано и появилось под редакцией автора в газете «Монд» 23 октября 1934 г. и журнале «Коммюн» № 15, ноябрь 1934 г. На русском языке публикуется впервые.

- 74 *Бордо Анри* (1870—1963) — французский писатель, творчеству которого присущи религиозно-моралистические тенденции. Автор девяти томов воспоминаний; член Французской академии.
Думерг Гастон (1863—1937) — президент Франции в 1924—1931 гг. и председатель Государственного совета в 1934 г.

- 75 *Фромантен Эжен* (1820—1876) — французский писатель и художник, автор психологического романа «Доминик» (1863, рус. пер. 1967).
- 76 *...во времена Первой республики.* — В годы Первой республики (1792—1799) Франция вела войны против коалиций монархических европейских государств (Пруссия, Австрия, Англия, Россия, Испания и др.).

- 77 *Фрейд в начале пути...* — Мальро имеет в виду первые труды австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда (1855—1939), намечавшие новые ориентиры и возможности в познании почти не изученных до него сфер человеческой психики и предлагавшие новые методы лечения патологических нарушений психики.
- 78 *Познер Владимир* (р. 1905) — французский писатель-коммунист, член французской делегации на I съезде советских писателей, включавшей, помимо Мальро, Луи Арагона, Жана Ришара Блока и Поля Низана.

Произведение искусства

Речь Мальро на Первом международном конгрессе в защиту культуры в Париже (июнь 1935) в зале Мютюалите; была опубликована в журнале «Коммюн» № 23, июль 1935 г. На русском языке печатается впервые.

- 81 *...вы провели свой Московский конгресс...* — Имеется в виду I съезд советских писателей (август 1934).

Предисловие к «Индокитай. SOS» Андре Виоллис

В начале сентября 1933 г. французской журналистке Андре Виоллис довелось побывать во французском Индокитае в составе правительственной комиссии по судопроизводству в Ханое и Сайгоне, а затем провести там еще месяц за сбором фактов и сведений о преступлениях колониальной администрации. 11 октября 1933 г. Мальро, хорошо знакомый с реальным положением дел в Индокитае, опубликовал, ссылаясь на полученные им документы, большую статью под заголовком «SOS» в газете «Марианн». Большая часть этих документов была затем опубликована в качестве приложения к книге А. Виоллис «Индокитай. SOS», вышедшей в издательстве «Галлимар» в 1935 г. при содействии Мальро и с его предисловием. На русском языке книга вышла с сокращениями в 1936 г. (библиотека «Огонек»). Предисловие Мальро публикуется впервые.

- 81 *Рец Жан Франсуа Поль де Гонди* (1613—1679) — кардинал; французский писатель, политический деятель и талантливый проповедник; завоевал популярность среди парижских масс, выступая против налоговой политики министра Мазарини; участник заговора против Ришелье и один из вождей Фронды (1648—1652). Опубликованные посмертно «Мемуары» (1717) Реца принесли ему славу одного из наиболее своеобразных прозаиков XVII в.
- 82 *Лондр Альбер* (1884—1932) — французский писатель, мастер очеркового жанра, писал о каторжных тюрьмах, лагерях и поселениях («Каторга», 1924; «Данте ничего не видел», 1925), о между-

народной торговле живым товаром («Дорога в Буэнос-Айрес», 1927; «Ловцы жемчуга», 1931). Одна из журналистских премий Франции носит его имя.

Киш Эгон Эрвин (1885—1948) — представитель пражской немецкой литературы, журналист, прозванный в 20-е годы «неистовым репортером», один из основоположников художественной публицистики в западноевропейской революционной литературе 20—30-х годов. Член ГКП с 1925 г., после прихода Гитлера к власти был арестован, некоторое время сидел в подземелье тюрьмы Шпандау в Берлине. Как чехословацкий подданный был освобожден и выслан в Прагу, откуда уехал в Париж. Активный деятель международного антифашистского движения.

Аннамит — житель Аннама — название, данное китайскими императорами территории современного Северного и частично Центрального Вьетнама, находившейся под их господством в VII—X вв. Позже употреблялось в европейской литературе как название всей страны; при французском колониальном господстве в 1884—1945 гг. Аннамом назывался Центральный Вьетнам.

83 *Год Рейна* — год сражений на Рейне в период Первой республики, когда с осени 1793 г. по весну 1794 г. республиканская армия, контролировавшаяся Конвентом и воодушевленная подъемом народных масс, одержала ряд блестящих побед над войсками монархической коалиции и заняла Рейнскую область. Комиссаром Рейнской армии был Сен-Жюст, облеченный неограниченными полномочиями.

84 *Сиам* — официальное название королевства Таиланд до 1939 г.

Ответ шестидесяти четверем

Выступление Мальро 4 ноября 1935 г. на первом заседании Международной ассоциации писателей в защиту культуры в парижском Дворце Мютюалите. Текст выступления был опубликован в декабре в журнале «Коммю» № 28, 1935 г., и под заголовком «Запад и Восток» в журнале «Крупуйо». Речь Мальро связана с войной, начатой фашистской Италией против Эфиопии в октябре 1935 г., и представляет собой ответ шестидесяти четверем представителям реакционных кругов французской интеллигенции (во главе с Анри Массисом, Бордо, Габриелем Марселем, Тьерри Монье), выступившим в поддержку захватнических планов Муссолини. На русском языке печатается впервые.

85 *Местр Жозеф Мари граф де* (1753—1821) — французский религиозный мыслитель и литератор, один из вдохновителей и идеологов европейского клерикально-монархического движения начала XIX в.

последствия цивилизаторской миссии Испании в Перу. — В XVI в. испанцы завоевали территорию Перу и создали вице-королевство Перу, существовавшее до 1821 г.

86 *Кохингина* — название Южного Вьетнама в европейской литературе в период господства французских колонизаторов. Колонизация Южного Вьетнама проходила при Наполеоне III с 1858 по 1867 г.

Белуджистан — историческая область на юго-востоке Ирана. В середине XIX в. Англия подчинила Восточный Белуджистан, тогда как Западный оставался включенным в Иран. Мальро предлагает здесь сравнить колонии с независимыми странами.

87 *...в битве при Никополе.* — Никопол — небольшой болгарский город на Дунае; 28 сентября 1396 г. — место сражения, при котором армия христиан под предводительством германского императора Сигизмунда I была разгромлена турками.

88 *Запретный город Пекина.* — Пурпурный, или Запретный, город — часть древнего Пекина, занимающая середину городской территории и предназначенная для императорского двора.

Годы презрения

Первоначально повесть публиковалась весной 1935 г. в трех номерах журнала «Нувель Ревю Франсез», в том же году вышла отдельной книгой с предисловием автора в издательстве «Галлимар». На русском языке появилась с сокращениями в авторизованном переводе И. Эренбурга (журнально-газетное объединение «Огонек») в 1936 г. и была перепечатана в сборнике «Французская новелла XX века. 1900—1939» (М., 1973). Полностью в новом переводе печатается на русском языке впервые.

89 *«Я всех вымажу одной грязью, так будет справедливо».* — Из письма Флобера (1872), в котором писатель делится замыслом своего будущего философского романа «Бувар и Пекюше» (1881). Воплощая идеал объективного искусства и связанного с ним авторского бесстрашия по отношению к персонажам, Флобер в то же время рассматривал этот роман как «книгу мести», «энциклопедию человеческой глупости». Своей мишенью он избрал мещанское невежество, поверхностное образование и дефект мышления, характеризующий, по мнению писателя, поколение его современников.

90 *Борджа Чезаре (1476—1507)* — один из представителей знатного римского рода испанского происхождения, сын будущего папы римского Александра VI. Став в шестнадцать лет кардиналом, оставил церковную службу и посвятил себя целиком политической и вооруженной борьбе за власть в Италии.

91 *Немецким товарищам...* — Проводя кампанию за освобождение Тельмана, Мальро встречался с немецкими антифашистами, прошедшими через нацистские тюрьмы, в частности с Вилли Бределем (1901—1964), писателем-коммунистом, соратником Тельма-

на. В. Бредель был арестован гитлеровцами 1 марта 1933 г., после чего последовало 13 месяцев заточения в концлагере, из которых одиннадцать он провел в одиночной камере, а семь недель — в каменном мешке без света. В 1934 г. ему удалось нелегально перебраться в Чехословакию и опубликовать задуманную в тюрьме книгу о фашистских застенках — роман «Испытание», который в течение короткого времени был переведен на семнадцать языков.

- 95 *...против декретов Папена.* — Франц фон Папен (1879—1969) — один из главных немецко-фашистских преступников; в июле—ноябре 1932 г. — глава правительства, автор антидемократического проекта реформы Конституции, в 1933—1934 г г . — вице-канцлер Германии.
- 96 «С одним авангардом победить нельзя» — В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. — Полн. собр. соч., М., 1963, т. 41, с. 77.
- 105 *...все сжигать в мятущемся и в то же время ровном пламени горящего и не сгорающего куста...* — В Библии «куст» горящий, но не сгорающий («неопалимая купина») символизирует действие Бога как огня воспламеняющего, в частности Откровение Божие. Моисей услышал призыв вывести соплеменников в обетованную землю, когда «явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста» (Деяния, VII, 30).
- 138 *Эринии (греч. миф.)* — богини мщения, обитающие в подземном царстве; преследуя преступника, лишают его рассудка.
- 139 *Торглер Эрнст* (1893—1963) — немецкий политический деятель, с 1920 г. член КПП. Был депутатом, в 1932—1933 г г . — председателем коммунистической фракции рейхстага. На Лейпцигском процессе о поджоге рейхстага занял капитулянтскую позицию; после освобождения из тюрьмы заявил об отказе от антифашистской деятельности. В январе 1935 г. как ренегат был исключен из КПП.
- Ренн Людвиг (наст. имя Арнольд Фридрих Фит фон Гольсенау, 1889—1979)* — немецкий писатель-антифашист, член Компартии Германии с 1928 г. В ночь поджога рейхстага был схвачен фашистами. Под давлением прогрессивной общественности после двух с половиной лет заключения был освобожден и бежал в Швейцарию. Как и Мальро, сражался в Испании, где командовал батальоном Тельмана, а затем собирал в США средства для поддержки Испанской республики. Впоследствии видный писатель и общественный деятель ГДР.
- Осецкий Карл фон* (1889—1938) — немецкий публицист-антифашист, автор острополемических статей, разоблачающих германский милитаризм; в ночь после поджога рейхстага был схвачен гитлеровцами и брошен в крепость Шпандау, где подвергался истязаниям. Погиб в нацистском концлагере (Нобелевская премия мира, 1936).

За Тельмана

Один из инициаторов движения за освобождение Димитрова и Тельмана, Мальро вместе с Андре Жидом организовал 23 декабря 1935 г. в парижском зале Ваграм митинг, приуроченный ко второй годовщине освобождения Димитрова после суда в Лейпциге над «поджигателями рейхстага». На этом митинге был создан Комитет Тельмана. В своем выступлении Мальро коснулся и судьбы другого узника нацизма, немецкого писателя-антифашиста Людвиг Ренна. Выступление Мальро вошло в сборник «За Тельмана», опубликованный в начале 1936 г. издательством «Эдисон универсаль» в Париже. На русском языке печатается впервые.

- 146 *...когда он выступал в Бюлье.* — 3 марта 1933 г. Тельман побывал во Франции и выступил на митинге, собравшем представителей левых сил, в Париже в зале Бюлье.
- 148 *...с момента последнего совета в Астурии до первого совета в Китае...* — Мальро имеет в виду героическую эпопею вооруженного восстания шахтеров в Астурии в октябре 1934 г. — одного из самых напряженных классовых сражений в Испании, и его жестокое подавление реакционными силами страны; национальная революция в Китае, начавшаяся в 1925 г., завершилась в 1927 г. ее временным поражением, установлением контрреволюционной власти и жестокими репрессиями против коммунистов.

О культурном наследии

Речь Мальро, произнесенная 21 июня 1936 г. в Лондоне на расширенном заседании Генерального секретариата Международной ассоциации писателей в защиту культуры; была опубликована в бельгийском журнале «Комба» (15 июля 1936) и в «Коммюн» (сентябрь 1936). На русском языке печатается впервые.

- 149 *Скорь Ниобеи.* — Ниобея (Ниоба) (*греч. миф.*) — дочь Тантала, супруга фиванского царя Амфиона. Гордясь своим многочисленным потомством, Ниобея оскорбила хвастовством богиню Латону (родившую только двоих), за что дети Латоны поразили своими стрелами всех сыновей и дочерей Ниобеи. От горя Ниобея превратилась в скалу. Образ ее увековечен в искусстве античности и нового времени как олицетворение горя, печали, страдания.
- 150 *Бенжамен Самюэль Грие Уилер* (1837—1914) — американский художник, критик и путешественник, издавал специализированный журнал по искусству, автор книг «Искусство в Америке» (1879), «Современное искусство в Европе» (1877), «Персия и персы» (1886) и др.

...типографский текст «песни о деяниях» отличается от сказания аэда. — Имеются в виду сохранившиеся до нас поэмы средневековья, памятники французского героического эпоса (например,

«Песнь о Роланде») и эпические песни в «гомеровскую эпоху» (VIII—VII вв. до н. э.), которые сочинялись и исполнялись певцами-аэдами под аккомпанемент струнного инструмента.

- 152 ...кто внимал вместе с толпой проповедям архиепископов Кентерберийских... — Кентербери — город в Великобритании, в VI в. — столица королевства Кент с епископством; резиденция архиепископов Кентерберийских, на проповеди которых во времена средневековья стекались многочисленные толпы паломников.
- 154 *Кузанский Николай* (1401—1464) — немецкий богослов, ученый и философ, кардинал, предвосхитил открытия Коперника и опытного естествознания.

Речь в Мадриде

Речь Мальро на Втором Международном конгрессе писателей в защиту культуры, проходившем летом 1937 г. в Испании, была произнесена 7 июля в Мадриде в помещении кинотеатра «Саламанка» и опубликована в журнале «Коммюнь» № 49, сентябрь 1937 г. На русском языке печатается впервые.

- 155 *Бергамин Хосе* (1897—1983) — испанский писатель и драматург, левый католик, друг Мальро, участник войны в Испании.
- 156 *Любич Эрнст фон* (1892—1947) — немецкий, а с 1923 г. американский кинорежиссер. В марте 1937 г. совершал пропагандистские туры по США для сбора средств в поддержку Испанской республики. Мальро побывал в Голливуде, где Любич тогда снимал фильм «Анжель» с участием Марлен Дитрих.

Антимемуары

Впервые опубликованы в издательстве «Галлимар» в 1967 г. В 1972 г. вновь отредактированный автором текст «Антимемуаров» вошел как первый том в «Зеркало лимба». На русском языке, за исключением одного фрагмента (с. 193—223), опубликованного в сборниках «С Францией в сердце» (М., «Прогресс», 1973) и «Над Сенной и Узой» (М., «Прогресс», 1985), печатается впервые.

- 158 *Он погиб на плато Глиер*. — В марте 1944 г. гитлеровцы разгромили отряды сил Сопротивления на плато Глиер (департамент Верхняя Савойя), атаковав их с помощью танков и артиллерии. Около пятисот защитников крепости погибло.
- 159 ...затерялись в нынешнем городе, как ворота Сен-Дени в Париже. — В XVIII в. на месте бывших парижских укреплений протянулись бульвары, одним из украшений которых были ворота. Из них до наших дней сохранились лишь ворота Сен-Дени и Сен-Мартен.

160 *Пале-Рояль* — архитектурный ансамбль, построенный в 1633 г. зодчим Ж. Лемерсье для кардинала Ришелье; с 1643 г. служил королевской резиденцией. В правом крыле Пале-Рояля расположено министерство культуры.

Гленн Джон (р. 1921) — летчик-космонавт США; 20 февраля 1962 г. впервые в США совершил пятичасовой полет вокруг Земли на космическом корабле «Меркурий».

...Токио, куда я отправлял Венеру Милосскую... — В апреле — мае 1964 г. знаменитая «Венера Милосская», хранящаяся в Лувре, экспонировалась в Японии.

...я вспоминаю первую фразу первого своего романа... — Речь идет о романе А. Мальро «Завоеватели» (1928).

«В Кантоне объявлена всеобщая забастовка». — Имеется в виду вооруженное выступление рабочих и солдат в Кантоне в июне 1925 г. под руководством гоминьдана против европейских колонизаторов. Оно послужило сигналом к началу национальной революции в Китае.

161 *«Беседа с немцем до войны»* — эссе А. Жида из сборника «Случайные заметки» (1924).

...после Руссо она стала излюбленным материалом литературы. — В своем автобиографическом произведении «Исповедь» (1776—1769) Ж. Ж. Руссо стремится к предельной искренности, обнажая свое сердце, «...все свои сокровенные мысли».

«Исповедь Ставрогина» — глава «У Тихона» из романа Достоевского «Бесы» (1871—1872), впервые опубликованная А. Г. Достоевской в 1922 г.

162 *Лабии Эжен Марен* (1815—1888) — французский драматург, прославившийся как «король водевиля». Его перу принадлежат пьесы «Соломенная шляпка» (1851), «Путешествие господина Перришона» (1860) и др.

...оратору у Виктора Гюго, который отважно бросает слова правды в лицо королю... — Мальро говорит о Рюи Блазе, герое одноименной драмы В. Гюго.

Августин Блаженный Аврелий (354—430) — один из отцов церкви, христианский богослов и писатель, автор о «О Граде божием» (ок. 426) и других сочинений, где развивается идея божественного предопределения. Лирическая автобиография «Исповедь» (ок. 400) рисует внутреннее развитие Августина от младенчества до принятия им крещения (387) и завершается утверждением о необходимости божественной благодати. Опыт самонаблюдения Августина был использован литературой сентиментализма.

«Военные мемуары» генерала де Голля — включают три тома — «Призыв» (1954), «Единство» (1956), «Спасение» (1959). Это крупное политическое и литературное произведение, в котором уход де Голля с политической арены в январе 1946 г. представлен

как финал великого дела борьбы за освобождение Франции. «*Семь столпов мудрости*» (1926) — мемуарно-автобиографическая книга Томаса Эдварда Лоуренса (1888—1935) — офицера британской разведки и писателя.

«*Человек с крысами*» — полное название упоминаемой работы З. Фрейда «Об одном случае невроза навязчивых состояний: человек с крысами» (1909).

163 *Жуанвиль Жан де* (ок. 1224—1317) — французский хронист. Участвовал в седьмом крестовом походе (1248—1252), был ближайшим советником короля Людовика IX Святого. Автор мемуаров, в которых дан яркий портрет Людовика Святого на фоне красочного изображения рыцарского общества XIII в. («Книга о святых речах и добрых делах святого Людовика», нач. XIV в.).

Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель, епископ, крупнейший представитель церковного ораторского искусства. Среди его проповедей особое место занимают «Надгробные речи» (1689) памяти Анны Австрийской, Генриетты Английской, принца Конде и др., в которых содержится много сведений о политических событиях XVII в.

Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк либерального направления, автор трудов «История Франции» (Средние века, т. 1—6, 1833—1844; Возрождение и Новое время, т. 7—11, 1855—1867), «История французской революции» (т. 1—7, 1847—1853), «История XIX века» (неоконч., т. 1—3, 1872—1875).

Римский король. — Речь идет о Наполеоне II (1811—1832), сыне Наполеона Бонапарта; при рождении был провозглашен Римским королем, но никогда не правил. Его судьба вдохновила Э. Ростана на создание драмы «Орленок» (1900).

Победа под Маренго (1800) — одна из побед Наполеона, наряду со сражениями при Аустерлице, Йене, Ваграме.

Богарне Жозефина (1763—1814) — жена французского генерала Богарне, казненного по приговору революционного трибунала (1794). В 1796 г. вышла замуж за Наполеона. Брак был бездетным, в 1809 г. Наполеон развелся с ней.

Мне приписали фразу одного моего персонажа... — Далее следуют цитаты из романа Мальро «Орешники Альтенбурга» (1943).

Великий Конде — Конде Луи II (1621—1686) — один из прославленных французских полководцев, отличившихся в царствование Людовика XIV; один из руководителей Фронды.

Наблюдал он и за Толстым в яснополянском лесу. — Здесь ошибка памяти Мальро: Дюльбер — в Крыму.

Мы только что срубили маленькое деревцо... — Снова Мальро подводит память: по русскому обычаю в память о каком-либо значительном событии принято посадить дерево.

- 164 *Стать жертвой инсценированного расстрела — подобный факт вряд ли можно считать пустяком.* — Факт биографии Мальро (в 1944 г. он был схвачен немцами), о котором подробно рассказывают «Антимемуары».

...горка словарей... американским дарвинистом... — Упомянутая Мальро статуэтка питекантропа была подарена Ленину американским концессионером А. Хаммером в 1921 г.

- 166 *...первая немецкая газовая атака была предпринята на Висле...* — Мальро не совсем точен: впервые химическое оружие было применено немецкими войсками в районе г. Ипр (Бельгия) 22 апреля 1915 г.

Виктор Гюго написал «Марион Делорм» до того, как встретил Жюльетту Друэ. — Жюльетта Друэ была подругой В. Гюго в течение почти полувека, до самой своей смерти (в 1883 г., за два года до смерти Гюго), и оба они до конца дней сохранили друг к другу нежные чувства. Друэ была актрисой и ради Гюго оставила сцену. «Марион Делорм» — драма Гюго, созданная им в 1827 г. и посвященная жизни знаменитой куртизанки. Была запрещена цензурой и разрешена к постановке в 1831 г.

- 167 *«Отплывает душа моя к страшным крушениям...»* — Цитируется заключительная строфа из стихотворения П. Верлена «Тоска», вошедшего в сборник «Сатурновские стихотворения» (1866).

Пеги, Шарль (1873—1914) — французский поэт и публицист; погиб во время первой мировой войны. Далее Мальро приводит цитату из поэмы Пеги «Ева» (1913).

Шарден Пьер Тейяр де (1881—1955) — французский ученый-палеонтолог, философ, теолог.

Думаю об Альбере Камю, который за десять лет до случайной своей смерти писал... — А. Камю трагически погиб в автомобильной катастрофе 4 января 1960 г. Мальро приводит дневниковую запись Камю, сделанную им летом 1943 г. и заканчивающуюся вопросом: «Существует ли он, вечер жизни?» Однако в данном случае вряд ли стоит обвинять Мальро в неточности. Цитату он приводит по изданию «Записных книжек» Камю, на обложке которых стоят две даты: 1942—1951. Вполне понятно, что, вспомнив поразившие его строки, Мальро мог отнести их к 1951 г.

Алтарь Грюневальда. — По-видимому, речь идет о знаменитом Изенхеймском алтаре, созданном в 1512—1515 гг. немецким живописцем Грюневальдом. В настоящее время Изенхеймский алтарь хранится в музее Унтерлинден города Кольмара (Франция).

...я тоже совершил побег. — Мальро бежал из немецкого плена в 1940 г.

Шамфор Никола Себастьян Рок де (1741—1794) — французский писатель, автор книги «Максимы и афоризмы. Характеры и анекдоты» (опубл. посмертно, 1795), в которой отражены его взгляды

на природу человека, исполненные пессимизма и иронического презрения.

Ницше написал последнюю строку «Веселой науки» («Здесь уже начинается трагедия») за несколько месяцев до того, как он встретил Лу Саломе — и Заратустру. — Над «Веселой наукой» Ницше работал в 1883—1887 гг. (в начале 1889 г. Ницше сошел с ума). Саломе Лу (Луиза) Андреас (1861—1937) — немецкая писательница, родившаяся в Петербурге в семье генерала на русской службе. С 1880 г. в основном жила в Западной Европе. Была близка с Ницше, Рильке; известна ее переписка с Фрейдом.

- 168 *«Воля к власти»* — труд Ницше, частично опубликованный посмертно в 1889—1901 гг.

«Странник и его тень» — одно из поздних произведений Ницше.

Лазарь Барнар (1865—1903) — французский критик и публицист, сыгравший важную роль в кампании за пересмотр дела Альфреда Дрейфуса.

Гностики — представители религиозно-философского течения (II в.), соединявшего христианскую теологию с религиями Востока, а также с неоплатонизмом и пифагореизмом.

- 169 *Фарфелю* — одно из ключевых понятий в творчестве Мальро. Осуществив смысловое смещение, Мальро действительно «воскресил» это забытое старое слово, встречавшееся у Кристины Пизанской и Рабле. Благодаря внутренней экспрессии звучания этого слова (аллитерации) Мальро удачно выразил то, что представлялось ему причудливо-фантастическим, барочным или нелепо-случайным и осмыслялось как вызов косной реальности и плоскому здравомыслию. Эти же черты несут в себе авантюристы — персонажи романов Мальро.

- 171 *Монтегюс* (наст. имя Гастон Бруншви́г, 1872—1952) — французский шансонье, продолживший традиции П. Ж. Беранже и Ж. Б. Клемана. Его песни были необычайно популярны во время первой мировой войны и вновь зазвучали в годы французского Сопротивления.

«Легионер». — Речь идет о песне «Мой легионер», написанной Раймоном Ассо в 1936 г. (музыка Маргерит Моно) и получившей известность после ее исполнения Эдит Пиаф в 1937 г.

...некий Боно. — Боно Жюль Жозеф (1876—1912) возглавлял банду, совершавшую ограбления банков; «банда Боно» впервые стала использовать при ограблениях краденые автомобили.

- 173 *Мистенгет* (наст. имя Жанна Буржуа, 1875—1956) — звезда французского мюзик-холла в период между двумя войнами; ее считали воплощением «Духа Парижа».

Герцогиня Виндзорская (наст. фам. Симпсон) — американка, ставшая женой Эдуарда VIII, короля Великобритании и Ирландии с января по декабрь 1936 г. Решение Эдуарда VIII жениться на

миссис Симпсон вызвало правительственный кризис. Тогда король отрекся от престола в пользу брата и принял титул герцога Виндзорского. В 1937 г. миссис Симпсон стала герцогиней Виндзорской.

174 *Любовный напиток* — волшебный напиток, вызывающий любовь, которая сильнее смерти; этот напиток по роковой ошибке выпивают корнуэльская королева Изольда и племянник ее мужа Тристан — герои кельтской легенды.

188 *...израильские пастухи не принесли Младенцу даров...* — Мальро использует образ евангельской притчи: младенцу Христу приходят поклониться пастухи, побужденные к этому ангелами, славящими рождение сына Божьего (Евангелие от Луки, II, 8—20).

189 *...единоборство самолета с ураганом, когда я летел на поиски легендарного города царицы Савской...* — В феврале 1934 г. Мальро и летчик Корнильон отправились на одномоторном самолете на поиски в Аравийской пустыне древней столицы царицы Савской. На обратном пути в Европу самолет попал в жестокий циклон и едва не разбился. Легенда о царице Савской, властительнице Савского царства в Южной Аравии, — одно из самых захватывающих библейских сказаний. Она рассказывает, что, привлеченная славой о мудрости царя Соломона, царица отправилась к нему в гости; пораженный ее красотой, Соломон воспылал к ней страстью и имел от нее сына, от которого якобы происходит династия абиссинских царей-негусов.

190 *...чередование крови, возрождения и смерти было чередованием Вишну и Шивы.* — В индуизме и брахманизме Брахма, Вишну и Шива — три ипостаси единого и безличного космического духовного начала (Брахмана), выражающие три его основные функции: Брахма — созидатель Вселенной, Вишну — хранитель всех миров, Шива — их разрушитель.

«Рамаяна» (санскр. «Сказание о Раме») — древнеиндийская эпическая поэма на санскрите. Наряду с «Махабхаратой» — одно из самых популярных древнеиндийских произведений.

«Бхагаватгита» (санскр. песнь богов) — входящий в состав «Махабхараты» трактат, излагающий основы брахманизма и индуизма.

Элефанта — остров в Аравийском море, в 8 км от Бомбея. Известен пещерными брахманскими храмами — выдающимися памятниками раннесредневекового индийского искусства. Самый большой из этих храмов представляет собой многостолпный зал с гигантским бюстом трехликого Шивы.

Шартр известен собором Нотр-Дам периода зрелой готики (XIII в.); его порталы, в том числе так называемый Королевский портал, декорированы романской и готической скульптурой.

Нарада — в мифологии индуизма поэт и посланец богов, мудрец, которому приписывают многие религиозные сочинения.

Майя — философская категория в различных направлениях индуизма и буддизма: особая сила богов, с помощью которой вечный, бесконечный, единый Брахман предстает конечным, множественным, изменчивым. Майя — причина видимости, кажимости мира.

Ганеша — индуистское божество, сын Шивы и Парвати, покровитель торговцев, путешественников и воров; изображается с головой слона (символом мудрости) и туловищем крысы.

191 ...звезда, которой никто прежде не видел, над ними в небе возшла... — В Евангелии от Матфея говорится о том, как волхвы, пришедшие поклониться младенцу Иисусу, были приведены к нему чудесной звездой (II, 1—11).

192 ...это была та каменная толпа, чье молчание отвечало Божеству-колосу. — Имеется в виду статуя Шивы в храме Элефанты. См. коммент. к с. 190.

193 «Свободу нужно искать среди тюремных стен», — говорили Ганди и Неру. — Лидеры национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди (1869—1948) и Джавахарлал Неру (1889—1964) неоднократно подвергались арестам и сидели в тюрьмах. Так, Неру провел в тюрьмах свыше десяти лет.

Маки (от франц. maquis — заросли вечнозеленых колючих труднопроходимых кустарников) — одно из названий французских партизан в годы второй мировой войны. Отряды маки сначала формировались из французов, уклонявшихся от трудовой повинности и отправки в Германию и скрывавшихся в горах и районах, покрытых зарослями кустарника.

Франтиреры и партизаны (ФТП) — крупнейшая военная организация французского движения Сопротивления в 1940—1944 гг.; возглавлялась коммунистами.

Лотарингский крест — средневековый геральдический знак и одновременно символ христианской веры — крест особой формы с двумя горизонтальными перекладинами, расположенными под прямым углом к вертикальной, из которых верхняя короче нижней. Этот знак де Голль избрал символом движения «Свободная (впоследствии Сражающаяся) Франция». Знамя с лотарингским крестом вызывало в памяти легендарную уроженку Лотарингии — Жанну д'Арк.

194 *Китон Бестер* (наст. имя Джозеф Френсис, 1896—1966) — американский комический актер и режиссер кино. В 20-е годы комедийные фильмы Китона приобрели мировую известность.

196 *Дамьен Робер Франсуа* (1715—1757) — французский крестьянин, покушавшийся на жизнь короля Людовика XV, за что был казнен после жестоких пыток.

203 *Франциск Ассизский* (1181—1226) — итальянский проповедник

добровольной нищеты и отказа от всякой собственности, основатель ордена францисканцев, религиозный поэт.

207 *Гёльдерлин Иоганн Кристиан Фридрих* (1770—1843) — немецкий поэт-романтик.

208 ...увидев ... «*Семью Тибо*» с ленточкой, оповещающей о Нобелевской премии... — Р. Мартен дю Гар был удостоен Нобелевской премии в 1937 г.

210 *Вейган Максим* (1867—1965) — французский армейский генерал. С 19 мая 1940 г. начальник штаба национальной обороны и верховный главнокомандующий вплоть до капитуляции французской армии. В июле — сентябре 1940 г. — министр национальной обороны правительства Виши, затем — генеральный уполномоченный правительства во Французской Африке. В ноябре 1942 г. был арестован немцами и до 1945 г. находился в лагере.

Мандель Луи Жорж (1885—1944) — французский политический деятель. В июне 1940 г., будучи министром почт и телеграфа, занял патриотическую позицию, пытался препятствовать заключению капитулянтского перемирия с немцами. В дальнейшем боролся против правительства Виши и был убит его агентами.

211 *Тюрьма Френ*. — В годы гитлеровской оккупации тюрьма Френ служила местом заключения для многих борцов Сопротивления. После освобождения там содержались коллаборационисты; в октябре 1945 г. в тюрьме Френ был расстрелян П. Лаваль.

218 ...то был неистовый крик, с каким, наверно, парижские женщины шли когда-то на Версаль. — См. коммент. к с. 29.

223 ...я свой билет возвращаю. — Слова Ивана Карамазова из «Братьев Карамазовых» (глава «Бунт»). Мальро цитирует неточно, см.: Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 30 тт. Т. 14. Л.: Наука, Лен. отд-е, 1976. С. 223.

Достоевский, Сервантес, Даниэль Дефо, Вийон — все те, кто побывал на каторге, у позорного столба или в тюрьме... — В 1849 г. Достоевский за принадлежность к обществу петрашевцев был приговорен к казни «через расстреляние», замененной каторгой. Четыре года он провел в Омском остроге, а затем выдержал еще пять лет солдатчины. Сервантес в 1575 г. был захвачен пиратами и продан в рабство алжирскому паше; только в 1580 г. его выкупили миссионеры. В 1702 г. за анонимно опубликованный памфлет в защиту веротерпимости Дефо был приговорен к позорному столбу и тюремному заключению. К моменту исполнения приговора Дефо опубликовал памфлет «Гимн позорному столбу» (1703), и, когда он стоял у позорного столба, толпы лондонцев приветствовали его. Вийон в 1455 г. убил в драке священника, бежал из Парижа; затем был помилован, но, вернувшись, связал свою судьбу с воровскими шайками, участвовал в кражах и ограблениях, не раз сидел в тюрьмах.

224 ...стал тем самым Лазарем, которого когда-то удалось вновь найти Достоевскому... — Лазарь Четверодневный — в христианских преданиях человек, воскрешенный Иисусом Христом через четыре дня после погребения. Рассказ о воскрешении Лазаря приводится только в Евангелии от Иоанна (гл. II) — любимом Евангелии Достоевского. В его романе «Преступление и наказание» Соня Мармеладова читает легенду о Лазаре Раскольникову.

Самый неотложный вопрос после вопроса, заданного Шекспиром... — Имеется в виду начало знаменитого монолога Гамлета «Быть или не быть — вот в чем вопрос».

225 Достоевский... Откровение виселицы в конце концов освободило тебя от необходимости переводить Бальзака и писать романы в диккенсовском духе. — К «откровению виселицы» Мальро не раз возвращается в «Зеркале лимба», вспоминая при этом Достоевского, чьи романы он называл своим «пятым Евангелием» (см. далее: «Точно таким же вот днем, Достоевский, ты поднимался к виселице...»). То, что в данном случае Мальро искажает факты, впервые было отмечено и интерпретировано Л. А. Зониной: в сознании Мальро именно «виселица», этот «каркас из труб... где уже не было ни мертвецов, ни веревок», «...порождает философскую метафору — притчу о торжестве Художника над Смертью и Судьбой» (см.: Л. З о н и н а . Тропы времени. М. 1984, с. 31). И далее, там же: «Мальро... нужна виселица, и память уже услужливо обманывает, выдавая le poteau (*фр.*) — столб (3 столба были поставлены на Семеновском плац-парадном месте для «смертной казни расстреливанием» петрашевцев) за la potence (*фр.*) — виселицу, «похожую на спортивную трапецию».

...единственный со времен Нагорной проповеди ответ на священное варварство Книги Иова... — Нагорная проповедь — моральное наставление, с которым, согласно евангельскому рассказу, Христос обратился к народу. Нагорная проповедь начинается с заповедей, определяющих образ идеального в христианском понимании человека; далее прилагаются поучения, излагающие суть христианского учения (Евангелие от Матфея, гл. V, VII). Иов — в иудаистических и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый Сатаной с дозволения Яхве; главный персонаж ветхозаветной Книги Иова.

Антигона (греч. миф.) — фиванская царевна, дочь Эдипа и Иокасты, сопровождавшая своего слепого отца в его странствиях. Когда ее брат Полиник, воевавший против Фив, погиб, Антигона, нарушив запрет своего дяди, царя Креонта, предала тело брата погребению. За это была заживо замурована в пещеру, где покончила с собой. Образ Антигоны запечатлен в трагедиях Софокла («Эдип в Колоне», «Антигона»), в драмах Расина, Кокто, Ануя и др.

В такую ночь... — цитата из V акта комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596).

- 226 *«Песня партизан»* — песня, написанная Жозефом Кесселем и Морисом Дрюоном на музыку Анны Марли (1943); первые такты этой мелодии служили позывными радио «Свободная Франция». Стала любимой песней макизаров и гимном Освобождения.
- Мишле Эдмон* (1899—1970) — французский политический деятель; в годы войны — один из организаторов и руководителей движения Сопротивления. В феврале 1943 г. был арестован гестапо, заключен в тюрьму Френ, затем в лагерь Дахау. После освобождения Франции входил в состав правительства де Голля.
- 229 *Смотрите, как идут пехотные полки...* — Цитируются строки из стихотворения Ш. Пеги «Освящение босских полей в соборе Нотр-Дам-де-Шартр» (1913).
- 230 *Симон помог ему нести его крест...* — В евангельских преданиях рассказывается, что приговоренный к распятию Иисус Христос должен был нести крест до места казни, но не выдержал его тяжести, и крест помог нести некто Симон из Кирены (Евангелие от Марка, XV, XXI).
- 231 *Штрогейм, Эрих фон* (1885—1957) — американский режиссер и актер.
- 233 *...я вспоминал Пастернака, читавшего... свои стихи... в зале Мютюалите...* — В июне 1935 г. Пастернак был приглашен на проходивший в Париже Первый международный конгресс писателей в защиту культуры.
- ...фрески, созданные каторжниками Гвианы...* — С 1852 по 1945 г. во Французской Гвиане находилась каторжная колония, получившая печально зловещую известность.
- Тали, Майрена* — прототипы героев романа Мальро «Королевская дорога» (1930).
- ...пытка существует уже многие века; и даже те, кто пел под пытками, — тоже.* — Аллюзия на стихотворение Л. Арагона «Баллада о том, кто пел под пытками» (1945), в котором воспет героический образ французского коммуниста Габриэля Пери (1902—1941).
- 235 *Ален* (наст. имя Эмиль Огюст Шартье, 1868—1951) — французский литературный критик и философ.
- 237 *«Премия Викингов»* — литературная премия во Франции, существующая с 1926 г. Присуждается один раз в два года за произведение о путешествиях, географических исследованиях и экспедициях, герои которого должны обладать качествами древних викингов: мужеством, стойкостью в испытаниях, отвагой.

- Флере Фернан* — французский литератор и критик, близкий Мальро в 20-е гг.
- Делаттр де Тассиньи Жан Мари Габриель* (1889—1952) — маршал Франции. В начале войны, в звании генерала, командовал дивизией; после поражения Франции был заключен немцами в Риомскую тюрьму, откуда в сентябре 1943 г. бежал в Алжир. Участвовал в высадке союзников в Провансе и в освобождении ряда городов Франции. 8 мая 1945 г., в качестве представителя Франции, принял немецкую капитуляцию в Берлине.
- Роммель Эрвин* (1891—1944) — немецкий генерал-фельдмаршал, командовал корпусом в Северной Африке. Участник заговора против Гитлера, после раскрытия которого по приказу Гитлера покончил жизнь самоубийством.
- Джакометти Альберто* (1901—1966) — швейцарский скульптор и живописец.
- 238 *Дом инвалидов* — архитектурный ансамбль в Париже, возведенный (1670) по повелению Людовика XVI для солдат, пострадавших в военных походах; символ военной славы Франции, крупный Музей армии. В часовне Дома инвалидов находится могила Наполеона I.
- ...поручить роспись плафона парижской Оперы Шагалу...* — Марк Шагал выполнил роспись плафона парижской Оперы в 1964 г.
- Арлан Марсель* (1899—1986) — французский писатель, литературный и художественный критик, друг Мальро.
- Кёстлер Артур* (1905—1983) — английский писатель венгерского происхождения. В годы войны в Испании своими яркими антифашистскими публикациями заслужил ненависть франкистов. В феврале 1937 г. был схвачен фашистами и приговорен к расстрелу, которого избежал благодаря вмешательству международной общественности.
- 240 *Закс Нелли* (наст. имя Леони Закс, 1891—1970) — шведская писательница, по происхождению — немка; лауреат Нобелевской премии (1966). Нелли Закс и ее семья подверглись жестоким преследованиям нацистов.
- 242 *...гурон из страны Гуронии...* — Гуроны — индейцы Северной Америки. Были необычайно популярны во Франции в XVIII в. после появления философско-сатирической повести Вольтера «Простодушный» (1767). С легкой руки Вольтера гурон стал символом «просвещенного дикаря», удивленно взирающего на мир, как бы увиденный впервые.
- Андерс Владислав* (1892—1970) — польский генерал. В период второй мировой войны командовал польской армией, созданной на территории СССР в результате соглашения между правительством СССР и польским эмигрантским правительством 30 июля 1941 г. В 1942 г. эмигрантское правительство выступило против

участия польских войск на советско-германском фронте и по его приказу в марте — августе 1942 г. Андерс вывел почти всю армию из СССР через Иран в Ирак. В 1947 г. армия Андерса была расформирована.

...уцелевших после Катыни. — Речь идет об убийстве 11 тысяч польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска в сентябре 1941 г.

- 248 *Асанья Мануэль* (1880—1940) — испанский политический деятель и литератор. После победы в Испании Народного фронта (16 февраля 1936) — глава правительства, а затем президент республики (с мая 1936 по 1 марта 1939). После победы франкистов эмигрировал во Францию, где и скончался в Монтобане.

Выступление, посвященное памяти партизан Дюресталья (Дордонь)

13 мая 1972 г. Мальро выступил с речью в деревне Дюресталь (департамент Дордонь на юго-западе Франции), в районе которой в 1942—1944 гг. базировались отряды французских партизан. Выступление Мальро было опубликовано в сборнике «Андре Мальро. Политические речи и статьи», выпущенном в 1973 г. «Институтом Шарля де Голля» в Париже (журнал «Эспуар», № 2). На русском языке печатается впервые.

- 249 *Мулен Жан* (1899—1943) — герой французского движения Сопротивления. Мальро познакомился и сотрудничал с ним в 1936 г., когда тот возглавлял кабинет министра авиации П. Кота, а Мальро занимался с его помощью поставкой самолетов республиканской Испании. В 1940 г., будучи префектом г. Шартра, Ж. Мулен отказался служить правительству Виши и примкнул к де Голлю, по заданию которого был заброшен на территорию Франции для объединения еще разрозненных сил Сопротивления. В 1942 г. стал председателем Национального комитета, а затем основал и руководил Национальным советом Сопротивления. Был схвачен и погиб под пытками гестаповцев, не выдав товарищей. 19 декабря 1964 г. Мальро выступил с речью о Жане Мулене при перенесении его праха в Пантеон.

...фронт Нормандии. — Имеется в виду высадка войск союзников под командованием генерала Эйзенхауэра 6 июня 1944 г. на побережье Нормандии и открытие второго фронта. Действия французских партизан на оккупированной немцами территории страны способствовали успешному осуществлению в Нормандии стратегического плана союзников.

«Рейх» — бронетанковая дивизия СС, которая в 1944 г., продвигаясь к Нормандии, вела бои с партизанами в районе Перигора и Корреза и несла при этом тяжелые потери. В Нормандию она прибыла на десять дней позже назначенного срока и почти полностью утратив боеспособность.

Массовый отказ от принудительных работ... — В феврале 1943 г. правительство Виши учредило специальное Управление обязательных работ по привлечению французского населения к работе в Германии. Многие французы, уклоняясь от этой повинности, скрывались в лесах и вступали в Сопротивление.

250 *Операция «Железный план».* — В июле 1944 г. Мальро участвовал в этой операции, командуя крупным партизанским соединением.

251 *Леклерк* (или *Леклер*), *Филип Мари* (наст. фам. де Отклок, 1902—1947) — маршал Франции. Во время второй мировой войны командовал войсками «Сражающаяся Франция» в Экваториальной Африке, затем бронетанковой дивизией в Тунисе и при освобождении Франции. Его дивизия первой вошла в Париж, затем в ноябре 1944 г. с тяжелыми боями освобождала Страсбург; в 1945 г. был назначен главнокомандующим на Дальнем Востоке. Погиб в авиационной катастрофе.

Данмари — небольшой город в Эльзасе. За личное мужество, проявленное Мальро при штурме Данмари, генерал де Латтр вручил ему в апреле 1945 г. в Штутгарте орден Почетного легиона.

...их атаковали части Легиона. — Иностраннный легион — название наемных военных формирований Франции — создан в 1831 г. Его контингент набирался преимущественно из иностранцев, по разным причинам порвавших со своей родиной, и подчинялся особому уставу. Военная форма легионеров также отличается своеобразием, в частности они носят кепи.

...сравниться с самой знаменитой из отборных частей французской армии. — Мальро имеет в виду наполеоновскую гвардию.

Вспомните Виктора Гюго... — строки из стихотворения В. Гюго «Искушение» (сборник «Возмездие», 1853), в котором воспето мужество наполеоновской гвардии в сражении при Ватерлоо.

Голоса безмолвия

Впервые книга опубликована издательством «Галлимар» в 1951 г. Фрагмент из «Голосов безмолвия» печатается по изданию: Писатели Франции о литературе. М., Прогресс, 1978.

252 *Эвмениды*, или *Эрини* — см. коммент. к с. 138.

«Для чего ты меня оставил?» — предсмертный крик Христа (Евангелие от Марка, XV, 34).

253 *Я однажды уже рассказывал о человеке, не узнавшем собственный голос в записи...* — См. коммент. к с. 59.

...Гойя реагирует на сифилис, погружаясь в тысячелетний кошмар, а Ватто — на чахотку, предаваясь музыкальным мечтаньям... — Говоря о Гойе, Мальро мог подразумевать мрачные видения художника, воплощенные им в росписях 1820—1823 гг. «Са-

турн», «Юдифь» и в серии офортов «Диспаратес» того же времени. Французский живописец и рисовальщик Антуан Ватто (1684—1721) умер в молодом возрасте от туберкулеза; прославился как «художник галантных празднеств», в своих полотнах стремился создать вымышленный, феерический мир, созвучный реальному.

Перикл (ок. 490 до н. э. — 429 до н. э.) — древнегреческий политический деятель, стратег (главнокомандующий) Афин в 444/443—429 до н. э. При нем Афины являлись крупнейшим экономическим, политическим и культурным центром эллинистического мира.

Тан — китайская императорская династия (618—907). Годы правления императора династии Тан Ли Лунци (712—756) по традиции считаются периодом расцвета империи.

254 *Фермопилы* — ущелье в Греции; здесь в 480 г. до н. э., во время греко-персидских войн, произошла битва между персами и спартанцами, охранявшими проход. Все триста спартанцев погибли.

Принц Сиддхартха — Будда (Сиддхартха Гаутама, 623—544 до н. э. или на 60 лет позже). По преданию, происходил из царской семьи. До 29 лет провел жизнь в роскоши и удовольствиях; однажды во время прогулки увидел старика, больного и мертвеца; это зрелище возбудило в нем такое отвращение к жизни, что он в тот же день покинул дворец и предался сосредоточенным размышлениям в отшельническом одиночестве.

Монолог Просперо — из трагикомедии Шекспира «Буря» (1612) (действие IV, сцена 1).

«Роман об Александре» — один из самых ранних (ок. 1130) и самых популярных средневековых романов.

Сорель Аньес (ок. 1422—1450) — фаворитка французского короля Карла VII.

Цинциннат Люций Квинт (V в. до н. э.) — римский политический деятель, славившийся простотой и строгостью поведения.

Феокрит (кон. IV — I-я пол. III в. до н. э.) — древнегреческий поэт; основал жанр идиллии.

Спенсер Эдмунд (ок. 1552—1599) — английский поэт; ему принадлежит аллегорическая поэма «Королева фей» (1590—1596), в которой используются мотивы кельтских преданий.

255 *Августин* — см. коммент. к с. 162.

Леонид I (ум. 480 до н. э.) — спартанский царь, предводитель греков в битве при Фермопилах.

Байяр Пьер дю Террай де (ок. 1475—1524) — французский дворянин, за свою беспримерную храбрость прозванный «рыцарем без страха и упрека».

256 *«Кора Евтидика»*. — Кора — архаическая греческая статуя, изо-

бражающая девушку-кору; так называемая «Кора Евтидика» — статуя, относящаяся к 480-м гг. до н. э., была принесена в дар Афине неким Евтидиком.

«Лаокоон» — скульптурная группа, выполненная родосскими мастерами Агесандром, Атенодором и Палидором ок. 50 г. до н. э.

Грюневальд — см. коммент. к с. 167.

«*Пьета Ронданини*» (1555—1564, неоконч.), «*Ночь*» (1516—1534) — скульптурные произведения Микеланджело.

Бурдель Антуан (1861—1929) — французский скульптор, живописец и рисовальщик, друг и ученик Родена; образцом для него служила греческая архаическая скульптура.

«*Брут*» — Речь идет о картине Жака Луи Давида (1748—1825) «*Ликторы приносят Бруту тело его сына*» (1789, Лувр).

257 «*Три креста*» (1660—1661), «*Пилигримы в Эммаусе*» (1648) — полотна Рембрандта.

Царство Вэй — мощное государство на севере Китая в III в. до н. э.

Нара — древняя столица Японии. Так называемый «период Нары» (654—794) считается золотым веком японской цивилизации.

Сун — династия и империя в Китае (960—1279).

258 *Архетип* — в позднеантичной философии — прообраз, идея. В современной западной литературе термин получил распространение под влиянием работ Юнга и означает некие первичные врожденные структуры так называемого «коллективного бессознательного», архаический психический «осадок» повторяющихся жизненных ситуаций и переживаний человека.

«*Рождение Афродиты*» — греческий барельеф, относящийся к началу V в. до н. э.

"*Vita Nuova*" была вызвана к жизни *Беатриче Портинари*, а «*Печаль Олимпио*» — *Жюльеттой Друэ*... — *Беатриче Портинари* (ок. 1265—1290) была воспета Данте в автобиографической повести в стихах и в прозе «*Новая жизнь*» (ок. 1292) и в ряде сонетов. О *Жюльетте Друэ* см. коммент. к с. 25. Ей посвящено знаменитое стихотворение *Гюго* «*Печаль Олимпио*» из сборника «*Лучи и тени*» (1840).

Клее Пауль (1879—1940) — немецкий художник, прошедший через принадлежность к различным авангардистским течениям в живописи.

Брак Жорж (1882—1963) — французский художник; наряду с *Пикассо* основатель кубизма.

259 *Парижская школа* — так с середины 20-х гг. принято называть обосновавшихся в начале века в Париже художников и скульп-

торов, выходцев из разных стран (среди них — Шагал, Модильяни, Бранкуши).

Ахемениды — (ок. 550—330 г. до н. э.) — династия, при которой персидское царство достигло наивысшего могущества и расцвета.

Сассаниды — династия, правившая Персией с 226 по 651 г.

- 260 ...*статуэтки Танагры*... — В IV—III вв. до н. э. беотийский город Танагра был одним из главных центров производства эллинистических терракот, из которых особенно славились танагрские статуэтки.
- 261 *Гуманизм не в том, чтобы сказать: «То, что я сделал, не под силу ни одному животному»*... — Предлагая свою трактовку гуманизма, Мальро приводит слова летчика Гийоме из «Земли людей» (1939) Сент-Экзюпери.

Предисловие к роману Луи Гийу «Черная кровь»

В 1955 г. Мальро написал предисловие к новому изданию романа Луи Гийу «Черная кровь», первоначально вышедшему в 1935 г. Луи Гийу (1899—1980) — французский писатель, выходец из социальных низов, принадлежал в 20-х — начале 30-х годов к группе «Пролетарская литература», автор романов «Народный дом» (1927), «Друзья» (1930), «Анжелина» (1932) и др. Друг и сподвижник Мальро по Народному фронту. В его лучшем романе «Черная кровь» с большой художественной силой изображена жизнь захолустного провинциального городка в годы первой мировой войны. Глубокий гуманистический пафос романа был направлен против реальных виновников войны — тех, кто уходит от активного социального протеста, цепляясь за мнимую духовную независимость и нигилистическое всеотрицание. В романе подвергнуто резкой критике общество, живущее конформистскими представлениями и обрекающее молодежь на абсурдную смерть в войне. «Правда этой жизни, — писал Л. Гийу, — не в том, что умираешь, а в том, что умираешь обворованным». В 1967 г. Л. Гийу написал по своему роману пьесу «Крипюр». На русском языке предисловие Мальро печатается впервые.

- 262 ...*как когда-то в отношении Лоуренса и Фолкнера*... — в 1932 г. Мальро написал предисловие к роману английского писателя Д. Г. Лоуренса (1885—1930) «Любовник леди Чаттерлей» (1928), вышедшему в издательстве «Галлимар», а в 1933 г. опубликовал предисловие к роману У. Фолкнера «Святылище» (1931), также вышедшему в издательстве «Галлимар».
- 263 *Крипюр* — центральный персонаж романа «Черная кровь», старый и одинокий учитель, которому его ученики дали прозвище Крипюр, составленное по-французски из названия книги Канта «Критика чистого разума».

...он, без сомнения, оценил в «Господах Головлевых» и в «Мелком бесе»... — Мальро имеет в виду почитаемый им роман Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875—1880) и роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1907).

Одна поэма XV века... — Имеется в виду поэма Пьера Мишо «Пляска перед слепцами».

- 264 ...собаки пожирают дело всей его жизни. — В финале романа Крипюр, увидев, что собаки разодрали в клочья его рукопись «Хрестоматии отчаяния», кончает жизнь самоубийством.

«Капричос» Гойи. — Мальро имеет в виду отличающуюся страстной эмоциональностью и фантазией графику испанского живописца Франсиско Гойи — серию «Капричос» (1797—1798).

Речь на церемонии открытия Дома культуры в Гренобле

Речь произнесена 4 февраля 1968 г. и опубликована в сборнике «Речи, выступления и пресс-конференции Андре Мальро, государственного министра по делам культуры», изданном министерством культуры в Париже в 1970 г. На русском языке печатается впервые.

- 265 Дорваль Мари (наст. фам. Делонэ, 1798—1849) — французская актриса, исполнительница ролей в романтических драмах.

Национальный народный театр в Париже — один из прогрессивных современных театров драмы во Франции, пользуется государственными субсидиями. Основан Жаном Виларом (1912—1971), французским актером и режиссером.

Что подумал бы о нашем начинании изумленный поначалу Стендаля? — Имеется в виду крайне неприязненное отношение Стендаля к своему родному городу Греноблю, где все ему казалось «низменным, плоским и мещанским» («Жизнь Анри Брюлара», 1835 изд. 1890), бесконечно далеким от высокой культуры.

- 266 Людовик XIV женился на 2-же де Ментенон, а Сен-Симон каждый год уединялся в монастыре Ла-Трапп. — Ментенон, Франсуаза де, урожд. Д'Обиньи (1635—1719) — жена писателя Поля Скаррона, после смерти которого в 1660 г. стала воспитательницей побочных детей Людовика XIV; получила в дар от короля поместье Ментенон и титул маркизы. С 1684 г. — морганатическая жена короля. Набожная католичка, подчинившая своему влиянию Людовика XIV, она искусно насаждала религиозный ригоризм и благонравие в жизни двора. Герцог де Сен-Симон (1675—1755) — один из крупнейших представителей мемуарной литературы во Франции, в своих «Мемуарах» дает беспощадную оценку госпожи де Ментенон, исходя при этом как из принципов христианской морали, приверженцем которой он являлся, так и из критериев светской жизни.

Они жили «Откровением» и «Золотой легендой». — «Откровение» (Иоанна Богослова), или Апокалипсис, — одна из книг Нового завета, древнейшее из сохранившихся христианских произведений, содержит пророчества о конце света, о борьбе между Христом и антихристом, Страшном суде и тысячелетнем царстве божьем. «Золотая легенда» — см. коммент. к с. 60.

267 *Фонтан Луи де* (1757—1821) — французский поэт и критик, друг Шатобриана, член Французской академии. При Наполеоне осуществил реформу университетского образования.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый французский актер, в «Комеди-Франсез» исполнявший главные роли в пьесах Корнеля. Новаторский характер его игры с ориентацией на естественность и историческую правду, умение передать величие духа и героизм персонажей Корнеля снискали Тальма огромный успех. Среди его почитателей и покровителей был Наполеон.

Если Наполеон, находясь в Москве, считает своим долгом подписать знаменитый декрет... — Во время революции в 1792 г. труппа театра «Комеди-Франсез» была распущена. В 1804 г. Наполеон распорядился о ее восстановлении, а в 1812 г., будучи в Москве, подписал декрет об организации театра «Комеди-Франсез».

268 *Бельвиль* — район в северо-восточной части Парижа, населенный по преимуществу рабочими и ремесленниками.

269 *Пракситель* (ок. 390 — ок. 330 до н. э.) — древнегреческий скульптор в Афинах, представитель поздней классики. Его мраморную статую Афродиты Книдской, известную по римской копии, отличает чувственная красота и одухотворенность.

Веревка и мыши

Второй том «Зеркала лимба» под названием «Веревка и мыши» был опубликован издательством «Галлимар» в 1976 г.; он составлен из вышедших ранее и подвергнутых новой авторской правке книг Мальро: «Недолгие гости» (1975), «Дубы, что срубают...» (1971), «Обсидиановая голова» (1974) и «Лазарь» (1972). Все фрагменты из этого тома на русском языке публикуются впервые.

271 *На этот призыв Клод Моне и прочие «Гуляки»...* — Термин «импрессионизм» стал употребляться после 1874 г.; ранее будущих «импрессионистов» могли называть по-разному. У Золя, например, встречаем: «актуалисты», «натуралисты», «пейзажисты». Можно предположить, что одно из таких «ранних» названий употребляет в данном случае и Мальро.

272 *Бове* — город в департаменте Уаза, славится памятниками готической и романской архитектуры.

Муассак — небольшой город в южной части Франции, там нахо-

дится церковь святого Петра (X—XV вв. колокольня которой известна прекрасными образцами романской скульптуры.

...рядом с большим «Девственным лесом» Таможенника... — Речь идет о французском художнике-самоучке Анри Жюльене Феликсе Руссо (1844—1910). Руссо служил в парижской таможене (отсюда его прозвище); был признан постимпрессионистами и с их помощью получил известность. Постоянная тема полотен Руссо — тема «девственного леса», экзотических сцен в джунглях.

Биеннале — фестиваль, организуемый раз в два года.

273 *Сагунто* — древний иберийский город на Востоке Испании, близ побережья Средиземного моря.

Эпидавр — древний город в Греции на берегу залива Сардоникос (сохранился в руинах); близ Эпидавра — святилище Асклепия с дорическим храмом (380 до н. э.), богато украшенным скульптурами, и другие памятники античной архитектуры.

Джакометти Альберто — см. коммент. к с. 237.

Миро Хоан (1893—1983) — испанский живописец, скульптор и график, в 40—50-е годы близкий к абстракционизму.

Жил-был смешной человек с Киклад... — Здесь и далее имеются в виду так называемые «кикладские идолы» — знаменитые мраморные фигурки (размером от 1,5 до 5 см), которые изготавливали на Кикладских островах в период расцвета этой древнейшей цивилизации (III тыс. до н. э.).

Сент-Виктуар Сезанна. — Имеется в виду горная гряда в Провансе, излюбленный сюжет полотен Сезанна.

Канвейлер Даниэль Анри (1884—1979) — торговец картинами (маршан) и художественный критик немецкого происхождения; в 1907 г. открыл в Париже картинную галерею, проявив особый интерес к работам Дерена, Вламинка, Пикассо, Брака, Леже.

Церковь Святого семейства в Барселоне — главное произведение испанского архитектора Антонио Гауди-и-Корне (1852—1926), испытывавшего влияние клерикальной идеологии. Символика форм церкви необычайно сложна. Гауди начал трудиться над ней в 1884 г.; ко времени его смерти был завершен лишь фасад одного из трансептов.

Буцефал — любимый конь Александра Македонского, убитый в сражении на реке Гудаспу (ок. 326 до н. э.). На его могиле Александр Македонский основал город Буцефалию.

274 *Эскориал* — город в Испании с монастырем-дворцом Филиппа II Сан-Лоренсо дель Эскориаль (1563—1584). Это суровый, одиноко стоящий прямоугольный ансамбль из гранита, лишенный внешних украшений. Его интерьеры украшены скульптурой и живописными полотнами XVI—XVII вв.

- 275 *Апокалипсический конь* — одно из пророческих видений Апокалипсиса: четыре всадника, под ними — конь белый, конь рыжий, конь вороной и конь бледный, несущий смерть (Откровение святого Иоанна, VI, 1—8).

Лепанто — средневековое название греческого города Нафпактос, в 60 км от которого 7 октября 1571 г. произошел последний крупный бой гребных флотов Средиземноморья во время Кипрской войны 1570—1573 гг. между Турцией и Священной лигой. Турецкий флот был разгромлен. Этому событию посвящена картина Тициана «Победа при Лепанто» (1572), хранящаяся в музее Мадрида.

- 276 *Коллеони, Бартоломео* (1400—1470) — итальянский кондотьер. Большую часть жизни провел на службе у Венеции, став в 1454 г. генеральным капитаном (главнокомандующим). Согласно завещанию Коллеони, на оставленные им деньги в Венеции ему был воздвигнут памятник (скульптор Андреа Вероккьо, открыт в 1496 г.).

Пьеро дела Франческа... Ассизи... — Итальянский живописец Пьеро дела Франческа (ок. 1420—1492) в 1452—1466 гг. создал цикл фресок в церкви Сан-Франческо в Аречцо на тему легенды о «животворящем древе креста». Фрески Верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи относятся к числу ранних работ Джотто (выполнены между 1290 и 1299).

Шах-Джахан («правитель мира», 1592—1666) — правитель Монгольской империи в 1627—1658 гг. В годы его правления был возведен выдающийся памятник индийской архитектуры Тадж-Махал (ок. 1630—1652). Это мавзолей жены Шах-Джахана (в котором позже был похоронен и сам Шах-Джахан); его стены выложены белым полированным мрамором с инкрустацией из самоцветов.

...виталя бы тень Жерара де Нерваля... — Мальро говорит здесь о Мортфонтене, где прошли детские годы французского писателя Жерара де Нерваля (наст. фам. Лабрюни, 1808—1855), неоднократно упоминаемые им в его произведениях, в частности в повести «Сильвия», вошедшей в сборник «Дочери огня» (1854). Мортфонтен навсегда связан с именем живописца Камиля Коро (1796—1876), одна из лучших работ которого — «Воспоминание о Мортфонтене» (1864). Мальро упоминает еще два полотна Коро — «Женщина с жемчужиной» (1869) и, по-видимому, «Букет цветов в стеклянной вазе» (1874) — картину, изображающую большую розу алого цвета, которая подчиняет себе все остальное.

Анджелико (собств. Фра Джованни да Фьезоле, прозванный Беато Анджелико, ок. 1400—1455) — итальянский живописец раннего Возрождения, монах-доминиканец; был настоятелем монастыря Сан-Марко во Флоренции.

«Черные картины» — росписи «Дома Гойи», датируемые 1820—1823 гг. Это серия из пятнадцати панно (в том числе «Сатурн»),

выполненных в технике масляной живописи (позднее были перенесены на холст).

- 277 *Брассаи* (наст. имя Гюла Халаш, 1899—1984) — французский фотограф румынского происхождения; в 20-е годы был близок к сюрреалистам. Известны его альбомы «Ночной Париж» (1933), «По Парижу с камерой» (1949).

Пинсон Мартин Алонсо (1440—1493) — испанский мореплаватель. Вместе со своим братом Висенте Яньесом Пинсоном участвовал в первой экспедиции Христофора Колумба (1492—1493). На обратном пути, опередив Колумба, попытался приписать себе открытие Нового Света.

- 278 *Кортес Эрнан* (1485—1547) — испанский конкистадор, завоеватель Мексики.

Ведические войны — По-видимому, речь идет о религиозных верованиях древних индийцев, отраженных в древнейших индийских литературных памятниках — Ведах. По представлению индийцев, боги находятся в постоянной войне со злыми демонами асурами.

- 279 *Нараяна* — в древнеиндийской мифологии 1) имя высшего божества; 2) имя божественного мудреца (риши), всегда выступающего в паре с другим риши — Нарой.

- 280 *Метемпсихоз* — концепция переселения души из одного тела в другое (человека, животное, растение или даже в предмет неживой природы), характерная для ряда философских систем древности и многих ранних и развитых форм религии.

- 281 *Лестюгская «Венера»* — статуэтка (от 270 000 до 200 000 до н. э.) из бивня мамонта, найденная на стоянке древнего человека близ г. Леспюг (департамент Верхняя Савойя).

Бренный человек и литература

Книга вышла в свет в 1977 г. Фрагменты из нее печатаются по изданию: «Вопросы литературы», 1979, № 1.

- 282 *Буало-Депрео Никола* (1636—1711) — французский поэт, критик; в своем наиболее известном произведении «Поэтическое искусство» (1674), написанном в форме поэмы, сформулировал основные эстетические принципы французского классицизма.

- 283 *Людовик IX Святой* (1214—1270) — французский король с 1226 г. Провел реформы по централизации государственной власти. Возглавил 7-й (1248) и 8-й (1270) крестовые походы.

- 284 *Я говорил, что Александр в романе, названном его именем...* — См. коммент. к с. 254.

«Персеваль, или Повесть о Граале» (ок. 1181—1191) — последний незавершенный роман Кретьена де Труа.

«Гофолия» (1691) — трагедия Ж. Расина на библейский сюжет.

Монтеверди, Клаудио Джованни Антонио (1567—1643) — итальянский композитор, автор оперы «Орфей» (1607).

- 286 *Маргарита Наваррская* (1492—1549) — французская писательница; королева Наварры (с 1527). Ей принадлежит сборник новелл «Гептамерон» (опубл. под названием «История о счастливых любовниках», 1558).

Мельес Жорж (1861—1938) — французский актер, режиссер, иллюзионист: изобретатель основных приемов современной трюковой съемки.

«*Артамен, или Великий Кир*» (т. 1—10, 1649—1653) — роман одной из крупнейших представительниц прециозной литературы Мадлен де Скюдери (1607—1701).

«*Новая Элоиза*» (полн. назв. «Юлия, или Новая Элоиза») — роман в письмах (1761) Ж. Ж. Руссо.

- 287 *Он не путает Фредерика Леметра с Рюи Блазом...* — Фредерик Леметр (наст. имя Антуан Луи Проспер, 1800—1876) — французский актер, исполнитель роли Рюи Блаза в одноименной пьесе В. Гюго.

«*Искушение святого Антония*» — философское произведение Г. Флобера, известное в трех редакциях: 1849, 1856 и 1870 (опубл. 1874) гг. Перед Антонием, фиванским отшельником IV в., проходит вереница аллегорических фигур, олицетворяющих различные языческие верования.

Круассе — поместье Флобера близ Руана, с которым долгие годы были связаны уединенная жизнь и литературные занятия писателя.

Ионвиль — место действия романа «Госпожа Бовари» (1857).

Повинный в создании аптекаря Омэ, он во имя справедливости создает Бурнисьена. — Омэ, Бурнисьен — персонажи романа «Госпожа Бовари». Как отмечал Б. Г. Реизов, аптекарь Омэ — «это персонифицированная пошлость эпохи». Но для современной ему действительности Омэ типичен и торжествует, ибо сила глупости — на его стороне. Антагонист Омэ, священник Бурнисьен, показан Флобером погруженным в житейскую повседневность, отупевшим и вполне довольным своим «приземленным» существованием.

«*Я всех вымажу одной грязью, так будет справедливо.*» — См. коммент. к с. 89.

Бувар — персонаж романа Флобера «Бувар и Пекюше» (неоконч., изд. 1881).

288 *Фредерик Моро* — герой романа Флобера «Воспитание чувств» (1869).

Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель и критик, один из основателей теории «искусства для искусства».

Леконт де Лиль Шарль (1818—1894) — французский поэт, один из основоположников (наряду с Теофилом Готье) эстетики «чистого искусства» группы «Парнас».

Прюдом Жозеф — сатирический персонаж, созданный французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877), — карикатура на самовлюбленного, банального буржуа.

289 *Доктор Ларивьер* — персонаж романа Флобера «Госпожа Бовари».

«*Дафнис и Хлоя*» — любовно-буколический роман, приписываемый греческому писателю Лонгу (ок. II или III в.)

Вербка и мыши

290 *Я познакомился с ним в Понтины*. — Имеются в виду «Декады в Понтины» — десятидневные семинары-дискуссии по вопросам философии, искусства, литературы, этики, социологии, права, собиравшие интеллектуальную элиту Западной Европы. Декады были основаны французским литератором и общественным деятелем Полем Дежарденом (1859—1940) и проводились в 1910—1939 гг.

Бонапарт Жером (1784—1860) — брат Наполеона I Бонапарта, в 1807—1813 г. г. — король Вестфалии. После Лейпцигского сражения 1813 г. и развала Вестфальского королевства бежал во Францию.

291 *Бергамин Хосе* — см. коммент. к с. 155.

Ауб Макс (1903—1972) — испанский писатель; в 1937 г. передал Пикассо заказ на создание «Герники»; в 1938 г. вместе с Мальро участвовал в создании фильма «Сьерра де Теруэль».

Я думаю о Сан-Франциско, о Золотых воротах... — Сан-Франциско расположен на узком полуострове, омываемом заливом Сан-Франциско, который соединяется с проливом Золотые ворота.

«*Ла Лантерн*» — павильон в Версале; резиденция Мальро — министра культуры.

292 *Гудон Жан Антуан* (1741—1828) — французский скульптор, один из крупнейших мастеров европейского портрета; в числе его работ — статуя Вольтера (1781, Эрмитаж).

Фрейд стал у нас менее важен, чем Юнг. — В 1907—1912 гг. швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг (1875—1961) был одним из ближайших сотрудников Фрейда. Впоследствии переосмотр Юнгом основных положений психоанализа (в частности, отрицание им сексуальной этиологии неврозов) привел его к разрыву с Фрейдом.

- 293 «*Аксьон Франсез*» — французское националистическое движение крайне правых, основанное в 1908 г. Шарлем Моррасом, Жаком Бенвилем и Леоном Доде.

Леви-Брюль Люсьен (1857—1939) — французский философ и психолог-позитивист, близкий к «социологической» школе Э. Дюркгейма. Наиболее известен своей теорией первобытного «дологического» мышления.

- 294 *Иерусалим... строка из Расина!* — Аллюзия на трагедию Ж. Расина «Гофолия» (1691): «Встань, Иерусалим, с челом горе воздетым...» (действие III, явл. 7; пер. Ю. Корнеева).

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский историк религии, востоковед, писатель. Некоторое время возглавлял кафедру иврита в Коллеж-де-Франс.

Кон-Бендит Даниель (р. 1945) — немецкий еврей; один из лидеров студенческих волнений 1968 г.

Кастлер Альфред (1902—1984) — французский физик, лауреат Нобелевской премии 1966 г.

- 295 «*Всеобщая забастовка объявлена в Кантоне*». — См. коммент. к с. 160.

Мятеж генералов — захват власти в Алжире реакционной военной группой в ночь с 21 на 22 апреля 1961 г.; 24 апреля мятеж был подавлен.

Фрэ Роже (р. 1913) — французский политический деятель, лидер партии «Союз за новую Республику» (ЮНР). Занимал различные министерские посты в правительстве де Голля.

Дебре Мишель (р. 1912) — французский государственный и политический деятель, участник движения Сопротивления. Один из лидеров голлистских партий, участвовал в создании введенной в 1958 г. новой Конституции Французской Республики. Член правительства де Голля; в 1958—1959 гг. министр юстиции, в 1959—1962 гг. премьер-министр, в 1966—1968 гг. министр экономики и финансов.

ОАС («Секретная вооруженная организация») — военизированная террористическая организация во Франции, созданная весной 1961 г. с целью не допустить предоставления Алжиру независимости.

- 296 *Бергсон Анри* (1859—1941) — французский философ-идеалист; первоосновой всего сущего полагал «чистую», то есть нематериальную, «длительность», познание которой доступно лишь интуиции, мистическому «постижению».

- 297 *Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.* — Выражение К. Маркса из «Тезисов о Фейербахе» (опубл. 1888; Маркс К., Энгельс Ф.

Соч., т. 3, с. 4). Эти слова высечены на пьедестале памятника на могиле Маркса на Хайгетском кладбище в Лондоне.

Ален — см. коммент. к с. 235.

Вейль Симона (1909—1943) — французская писательница и философ, ученица Алена. В годы второй мировой войны участвовала в движении «Свободная Франция».

- 300 *Балтус* (наст. имя Балтазар Клоссовски де Ролла, р. 1908) — французский художник; его эстетика сближается с эстетикой сюрреализма.

Есть еще дочь. — 23 марта 1961 г. два сына Мальро погибли в автомобильной катастрофе.

Рене Ален (1922—1986) — французский кинорежиссер; создатель фильма «Хиросима, любовь моя» (1959), был женат на дочери Мальро Флоранс.

- 301 *Несторианство* — течение в христианстве, возникшее в Византии в начале V в., его основатель — константинопольский патриарх Несторий. В отличие от ортодоксального учения Несторий показал, что в Христе человеческое и божественное начала пребывают лишь в относительном соединении, никогда полностью не сливаясь.

«Дё Маго» — одно из любимых кафе писателей экзистенциалистского направления.

«Романтизм и нравы» (1910) — критическое исследование Мегрона.

- 302 *«Озеро»* — элегия Альфонса де Ламартина (1790—1869) из сборника «Поэтические размышления» (1820). *«Олимпио»* — см. коммент. к с. 258.

Дю Барри (наст. имя Жанна Бекю, 1743—1793) — графиня, фаворитка Людовика XV; в 1793 г. была осуждена революционным трибуналом и казнена.

Орлеанская галерея — галерея, соединяющая внутренний сад Пале-Рояля с его парадным двором. Спроектирована архитектором Контаном Д'Иври, который в 1763—1767 гг. по заказу Филиппа Орлеанского осуществил перепланировку части Пале-Рояля.

- 303 *Аларих I* (ок. 370—410) — король вестготов (395—410); в 410 г. захватил и разграбил Рим.

Лоти Пьер (наст. имя Луи Мари Жюльен Вьо, 1850—1923) — французский писатель и морской офицер, автор многочисленных романов о природе и нравах Ближнего и Дальнего Востока.

Феодора (ок. 500—548) — византийская императрица с 527 г., жена Юстиниана I.

- 304 *«либидо» в значении Венеры.* — Понятие, введенное Фрейдом и обозначающее сексуальное влечение, инстинкт любви, психическую энергию.

«Купель» — ресторан в Париже, излюбленное место встречи французских писателей.

Сандрап Блез (наст. имя Фредерик Заузер, 1887—1961) — французский поэт, близкий кубизму и другим авангардистским течениям, автор поэмы «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913). В годы первой мировой войны потерял руку. Его поздние романы и очерки являются лирической автобиографией — «Гроном пораженный» (1945), «Ампутированная рука» (1946).

- 305 *Валери Поль* (1871—1945) — французский поэт и эссеист, начал как символист и последователь С. Малларме. Поэтическое творчество и эстетические идеи Валери оказали заметное влияние на западноевропейскую литературу XX в.

«*Канар аниене*» — сатирический еженедельник, выходящий в Париже с 1919 г.

Он возвращается к своим баранам. — «Вернемся к нашим баранам» — этими словами в фарсе «Адвокат Пьер Патлен» (ок. 1470) судья прерывает речь богатого суконщика, призывая его вернуться к предмету тяжбы.

- 307 *Сад Донасьен Альфонс Франсуа маркиз де* (1740—1814) — французский писатель. Его романы («Жюстина, или Несчастье добродетели», 1794; «Жюльетта, или Благодеяние порока», 1796, и др.) приобрели печальную известность откровенностью изображения аморальных сцен, поэтизацией жестокости (отсюда — понятие «садизм»).

- 308 *Сатурналии* — в Древнем Риме ежегодные празднества в честь Сатурна. Справлялись после уборки урожая во время зимнего солнцестояния; сопровождалась карнавалом, во время которого рабы уравнивались с господами, бедным раздавали деньги.

- 309 *Гиньоль* — французский народный театр марионеток, названный так по имени своего главного персонажа.

«*Черные куртки*» — прозвище, данное в 1955—1965 гг. парижским хулиганам, носившим черные куртки.

«*Двор чудес*» — так назывался раньше квартал в Париже, в котором до 1656 г. жили воры и нищие; во «дворе чудес» происходит действие одного из знаменитых эпизодов романа Гюго «Собор Парижской богородицы» (1831).

- 310 *Бенда Жюльен* (1867—1956) — французский писатель, автор книги «Предательство клерков» (1927), в которой определяет интеллигентов как хранителей «вечных» духовных ценностей, призывая их не превращаться в рупоры политических идей. Впоследствии Бенда был участником Второго международного конгресса писателей в защиту культуры, который открылся в июле 1937 г. в Валенсии и продолжил свою работу в Мадриде.

«Чувствительные души», «Солдаты II года» — понятия, к которым Мальро возвращается неоднократно; «Чувствительные души» и «Души романтические» (подразумевается романтизм героический, революционный, символ которого для Мальро — «Солдаты II года») питались одним и тем же источником — тайной человеческой души. Этот источник породил не только пасторальную идиллию, но и героический порыв тех, для кого жизнь оборвалась гильотиной.

Осман Жорж Эжен (1809—1891) — французский политический деятель, сенатор. Став в 1853 г. префектом Парижа, осуществил проект перестройки и оздоровления французской столицы, что определило сегодняшнее лицо города.

- 311 *Маниту* — Великий Дух в верованиях индейцев Северной Америки.

Отчуждение — философское понятие, характеризующее, во-первых, процесс и результаты превращения продуктов человеческой деятельности в нечто не зависящее от людей и господствующее над ними, во-вторых, искажение в сознании людей их реальных жизненных отношений. Проблема отчуждения разрабатывалась представителями французского и немецкого Просвещения, немецкой классической философии. Большое внимание анализу отчуждения уделил Карл Маркс, который определил его как порождение общественного разделения труда и связал с частной собственностью.

Лоуренс Аравийский — так называли Т. Э. Лоуренса. О нем см. коммент. к с. 162.

- 313 *Поругание Христа* олицетворяет издевательства, которым, по евангельской легенде, подвергли Христа римские легионеры после его бичевания (Евангелие от Матфея, XXVII, 27—3; от Марка, XV, 16—20; от Иоанна, XIX, 2—3).

- 314 *Маркузе Герберт* (1898—1979) — немецко-американский философ, идеи которого были популярны среди «новых левых» в 60-е годы. По Маркузе, предельно технизированное и бюрократизированное современное общество интегрирует рабочий класс и потому движущей силой социальных изменений становятся радикальные интеллигенты, студенчество и «аутсайдеры» (безработные, люмпены и т. п.).

- 315 *Топаз* — персонаж одноименной комедии Марселя Паньоля (1895—1974), который из добропорядочного школьного учителя превращается в циничного дельца («Топаз», 1928).

- 318 *...то же, что Хаксли, Мишо сделали для мескалина.* — Олдос Леонард Хаксли (1894—1963) — английский писатель. Ему принадлежат эссе о действии наркотиков, в частности мескалина («Врата перцепции», 1954). Анри Мишо (р. 1899) — французский

поэт. С 1956 по 1960 г. занимался научным изучением наркотиков, что нашло отражение в его произведениях («Жалкое чудо», 1956; «Непоседливая бесконечность», 1957; «Знакомство благодаря безднам», 1961, и др.).

- 319 *...вместе с изображенным на гобелене рафаэлевским «Гелиодором»...* — Заказ на картоны для гобеленов Рафаэль получил от Льва X в 1515 г. Гобелены предназначались для украшения нижней части стен Сикстинской капеллы и были вытканы во Фландрии между 1517—1519 гг.

Святой Бернар — Бернар Клервосский (1090—1153) — французский теолог-мистик, деятель католической церкви; с 23 лет монах цистерцианского ордена, с 1115 г. — настоятель основанного им монастыря в Клерво. Канонизирован в 1174 г.

...причинами его ухода. — 28 апреля 1969 г., после поражения на референдуме 27 апреля (по вопросу о реорганизации сената и о форме территориально-административного устройства Франции), отразившем недовольство определенной части французского населения политикой правительства, де Голль ушел с поста президента.

- 320 *В свое время первый его уход тоже породил недоуменные вопросы.* — В январе 1946 г. де Голль подал в отставку в знак несогласия с установившимся во Франции парламентским многопартийным строем.

Отель «Лаперуз» — в 1947—1958 гг., приезжая в Париж, де Голль всегда останавливался в отеле «Лаперуз», в номере 11.

Ко мне в Лондон приезжали... моряки с острова Сен... — После капитуляции Франции (22 июня 1940 г.) де Голль возглавил в Лондоне комитет «Свободная Франция» (с 13 июня 1942 г. — «Сражающаяся Франция»). Моряки с острова Сен присоединились к движению де Голля после его знаменитого выступления по Лондонскому радио 18 июня 1940 г., в котором он призывал к продолжению борьбы.

- 321 *Первая фраза «Военных мемуаров»... та легендарная принцесса, о которой он там говорит.* — В первых строчках «Военных мемуаров» (см. коммент. к с. 162) де Голль называет Францию сказочной принцессой или мадонной, которой уготована необычайная судьба. В этих строках — отзвуки поэтических образов Шарля Пегги, который создавал мистический, романтический образ Франции — страны с особой, возвышенной судьбой.

Вандру Ивонна — дочь владельца кондитерских фабрик в Кале; стала женой де Голля в 1921 г.

АМГОТ — после освобождения Парижа американцы собирались установить впредь до проведения выборов власть «союзного временного правительства» (сокращенно АМГОТ).

...оказался между парашютистами 1958 года и демонстрантами, шедшими от площади Бастилии к площади Нации? — 14 июля

1958 г., после подавления реакционного мятежа в Алжире, в Париж прибыли парашютисты из Алжира и торжественным маршем прошли по Елисейским полям, тем самым как бы демонстрируя верность де Голлю.

322 *Байё* — город в Нормандии; был первым французским городом, освобожденным от немецкой оккупации (8 июня 1944).

323 *...или дискуссий по поводу Сообщества.* — Имеется в виду Европейское оборонительное сообщество (ЕОС), учрежденное в мае 1952 г.

325 *Кув де Мюрвиль Морис* (р. 1907) — французский дипломат и политический деятель. В июле 1968 г. занял пост премьер-министра; после ухода де Голля, в июне 1969 г., подал в отставку.

Шабан-Дельмас Жак (р. 1915) — французский политический деятель. В 1958—1969 г г . — председатель Национальной ассамблеи; с июня 1969 по июль 1972 г. — премьер-министр в правительстве Ж. Помпиду.

Я пишу «Мемуары»... — В конце 60-х г. де Голль ведет уединенную жизнь в своей резиденции «Буассери» в Коломбе-ле-дез-Эглиз и пишет «Мемуары надежды», воссоздающие события его жизни после 1958 г. Успел закончить только первый том («Обновление»), вышедший в 1970 г.

...не про «пересечение пустыни»? (или «Переход через пустыню») — так голлисты называли период в деятельности де Голля после краха РПФ («Объединение французского народа») в мае 1953 г., продолжавшийся до мая 1958 г.

Коlette Габриель Сидони (1873—1954) — французская писательница, автор более пятидесяти романов, пьес, статей.

326 *«Атласный баимачок»* (1929) — пьеса Поля Клоделя (1868—1955).

Дидона (греч., лат. миф.) — по римским сказаниям, у Дидоны, основательницы Карфагена, нашел приют герой Троянской войны Эней, скитавшийся после гибели Трои. Когда он покинул ее, влюбившаяся в него Дидона лишила себя жизни.

Вы же знаете Везеле: каким образом рыцари, которые находились внизу, смогли услышать святого Бернара... — По преданию, в 1146 г. в Везеле Бернар Клервосский (см. коммент. к с. 319), призывал ко второму крестовому походу.

327 *Лас Каз Эмманюэль Огюстен Дьедоне* (1766—1842) — французский писатель; сопровождал Наполеона в ссылку на остров Святой Елены, где оставался с ним в течение восемнадцати месяцев и записывал его воспоминания, которые издал под названием «Мемориал со Святой Елены» (1823).

В Кронштадте, в тот момент, когда пролетарии пошли против

- пролетариата...* — Речь идет о Кронштадтском антисоветском мятеже, организованном в марте 1921 г. эсерами, меньшевиками и анархистами. После ожесточенных боев мятежники были разгромлены.
- 328 *Матиньон* — с 1958 г. отель «Матиньон» — резиденция премьер-министра Франции.
- 329 *...он уносит свое меровингское одиночество...* — Меровинги правили во Франции в V—VIII вв. в заслужили прозвище «короли-лентяи».
- 330 *...он поставил эту фразу Шекспира в качестве эпитафии к «На острие шпаги».* — Книге де Голля «На острие шпаги» (1932) предпосланы слова шекспировского Гамлета: «Быть великим — значит вести великую битву» (акт IV, сцена 4).
- 331 *Даллес Джон Фостер* (1888—1959) — государственный деятель США, дипломат; в 1953—1959 гг. государственный секретарь США.
- Эвианские соглашения* — соглашения о прекращении войны в Алжире, подписанные 18 марта 1962 г.
- Сустель Жак* (р. 1912) — французский политический деятель и этнолог, один из основателей голлистского движения «Объединение французского народа» (1947). В мае 1958 г. был назначен министром информации; выступал против алжирской политики де Голля, за французский Алжир.
- Мартен-Шоффье Луи* (1894—1980) — французский журналист и писатель, переводчик Данте и Аристофана.
- 332 *Рёнжи* — В начале 1970-х годов старые здания Центрального парижского рынка были снесены, а оптовый рынок переведен за город, в район Рёнжи.
- 333 *Тентен* — популярнейший герой французских комиксов 30—70-х годов, созданный бельгийским карикатуристом Эрже (наст. имя Жорж Реми, 1907—1983).
- Флёрюс* — селение в Бельгии, при котором 26 июня 1794 г. во время войны революционной Франции против первой антифранцузской коалиции французская армия нанесла поражение австрийским войскам.
- 334 *Жокс Луи* (р. 1901) — французский дипломат и политический деятель, в 1946—1952 гг. возглавлял министерство иностранных дел. Посол Франции в СССР (1952—1955), ФРГ (1955—1956); занимал различные министерские посты.
- Эллора* — местность на Западе Индии, знаменитая древнеиндийскими высеченными в скале храмами (IV—XIII вв.), украшенными горельефами.
- 335 *... я свой билет возвращаю.* — См. коммент. к с. 223.

- 336 *...в маленьких комнатках Запретных городов.* — См. коммент. к с. 88.
- 337 *Я буду похоронен с Анной.* — Любимая дочь де Голля Анна страдала болезнью Дауна и умерла в 1953 г. на 20-м году жизни.
- 338 *Полан Жан* (1884—1968) — французский писатель, критик, эссеист.
- 339 *Жизнь — это совокупность сил, сопротивляющихся смерти.* — Мальро приводит определение жизни, данное Франсуа Ксавье Биша (1771—1802) — французским анатомом, физиологом и врачом («Физиологические исследования о жизни и смерти», 1800).
- 341 *«Мемориал» незаменим.* — См. коммент. к с. 327.
- Армия Андерса.* — См. коммент. к с. 242.
- Эррио Эдуар* (1872—1957) — французский политический деятель, один из лидеров партии радикалов и радикал-социалистов.
- 343 *Бир-Хакейм.* — В мае 1942 г. бригада под командованием Кенига задержала под Бир-Хакеймом продвижение войск Роммеля к Каиру.
- 344 *...после потопления в Мерс-эль-Кебире.* — 3 июля 1940 г. английские корабли напали на французскую эскадру в Мерс-эль-Кебире (Оран); были выведены из строя три линкора и эсминец, французы потеряли более 1500 человек.
- ...Позор умереть, не сражаясь...* — слова Родриго из IV акта трагедии Корнеля «Сид» (1637).
- 345 *Стоя* — учение стоиков (одной из школ эллинистической философии III—II вв. до н. э.), названо так по афинской «стое» — колоннаде, где Зенон, основатель стоицизма, беседовал со своими учениками.
- 346 *А как у вас началась встреча со Сталиным!* — В декабре 1944 г. французская правительственная делегация во главе с де Голлем посетила СССР; был подписан советско-французский договор о союзе и взаимной помощи.
- ...я подумал, что он будет говорить со мной... о своих людях из Люблина...* — Имеется в виду Польский комитет национального освобождения, созданный в июле 1944 г. в Люблине.
- ...вы приехали потребовать у меня Тореза?* — После оккупации Франции и запрещения ФКП М. Торез стал одним из руководителей нелегального руководящего центра ФКП; позднее он прибыл в СССР, где находилось руководство Коминтерна.
- Бидо Жорж* (1899—1983) — французский политический деятель: в 1944—1948 и в 1953—1954 г. г. — министр иностранных дел, в 1946 и в 1949—1959 г. г. — премьер-министр.
- Палевский Гастон* (р. 1901) — французский политический деятель; в 1942—1946 г. г. — начальник личного кабинета де Голля; в последующие годы занимал различные правительственные посты.

- 347 *Кюстин Астольф маркиз де* (1790—1857) — французский писатель; прославился своими книгами о путешествиях по Германии, Испании, Италии и особенно по России (1839).

Моя Польша — это совсем другое. — В 1919—1921 гг. де Голль был офицером-инструктором польской армии, участвовал в боевых действиях с Красной Армией на Воляни и под Варшавой.

- 349 *Джилас Милован* (р. 1911) — политический деятель Югославии; в 30-е годы соратник Тито, в годы войны — участник югославского движения Сопротивления. После войны выполнял различные дипломатические миссии.

- 352 *...пройдя через Монтуар, кончаешь в Зигмарингене.* — 24 октября 1940 г. в Монтуаре состоялась встреча Петена с Гитлером, во время которой была окончательно согласована политика коллаборационизма. 22 декабря 1944 г. Петен был насильно вывезен немцами в Германию, в город Зигмаринген.

Поэр Ален (р. 1909) — французский государственный деятель, член правительства, сенатор; кандидат на президентских выборах 1969 г.

- 353 *Перон Хуан Доминго* (1910—1974) — государственный и политический деятель Аргентины; в 1946—1955 гг. президент Аргентины.

Молле Ги (1905—1975) — французский политический и государственный деятель; в 1956 г. стал главой правительства, сформированного в результате победы на выборах левых сил. В мае 1958 г., будучи заместителем премьер-министра, способствовал приходу к власти Ш. де Голля.

- 354 *Бретины* — селение близ Шартра, где в 1360 г. король Иоанн Добрый, после поражения под Пуатье, подписал унижительный мир с Англией, отдав за свое освобождение из плена юго-западные земли Франции и 3 миллиона экю золотом.

Сенгор Леопольд Седар (р. 1906) — государственный деятель Сенегала, философ, поэт. В 1960—1980 гг. — президент Республики Сенегал.

- 355 *Конец похода Ганди к океану, чтобы собрать там соль...* — 12 марта — 5 апреля 1930 г. Ганди с 79 своими последователями прошел пешком от города Ахмадабад до побережья Аравийского моря, где они демонстративно, в знак нарушения колониальной соляной монополии, три недели выпаривали соль из морской воды.

Вьетминь — организация Единого национального фронта Вьетнама в 1941—1951 гг.

- 357 *Ника* (греч. миф.) — богиня победы; изображалась крылатой девой с лавровым венком, часто на колеснице.

...Жоффра в день сражения на Марне. — Жозеф Жак Сезер Жоффр (1852—1931) — маршал Франции, в 1914—1916 гг. — главнокомандующий французской армией. В сентябре 1914 г.

умело организовал отход, а затем добился победы в Марнском сражении.

Сен-Жюст не старался осуществить свои «Установления». — Свои революционные взгляды Луи Сен-Жюст (1767—1794), деятель Великой французской революции, теоретик революционного террора, изложил во «Фрагментах, касающихся республиканских установлений» (1800), которые были опубликованы после его смерти.

Наполеоновский миф не является продуктом «Гражданского кодекса». — Первый Гражданский кодекс был составлен Наполеоном в 1804 г.

Томизм — учение Фомы Аквинского (1225 или 1226—1274) и основанное им направление католической философии.

«Аксьон Франсез» — см. коммент. к с. 293.

- 358 *Не часто слову «Франция» придавался такой дорийский акцент.* — Аллюзия на строгость, лаконичность и мужественность дорийской архитектуры.

Бир-Хакейм — см. коммент. к с. 343.

Харизма (благодать) — по религиозным представлениям, особая божественная сила, якобы ниспосылаемая человеку свыше. Голлисты считали де Голля харизматическим лидером.

- 359 *Не у волонтера ли 1792 года... позаимствовал Леклерк свой псевдоним?* — О генерале Леклерке см. коммент. к с. 251. В 1940 г. Леклерк был ранен, попал в плен, но бежал в Англию и вступил в ряды «Сражающейся Франции»; чтобы не поставить под удар свою семью в оккупированной Франции, принял фамилию Леклерк (по имени французского генерала, сторонника Бонапарта Ш. В. Э. Леклерка, 1772—1802).

Жиро Анри Оноре (1879—1949) — французский политический и военный деятель, генерал. В июне—ноябре 1943 г. сопредседатель (совместно с де Голлем) Французского комитета национального освобождения (ФКНО). В связи с разногласиями с де Голлем и обвинением в тайных контактах с правительством Виши был смещен с этого поста, а в апреле 1944 г. и с поста главнокомандующего вооруженных сил ФКНО.

Антигона — см. коммент. к с. 225.

- 360 *Гуэн Феликс* (1884—1977) — французский политический деятель, один из лидеров социалистической партии, личный друг Леона Блюма. Занимал различные государственные посты.

«Объединение французского народа» (РПФ) — политическая организация, созданная де Голлем в апреле 1947 г. (существовала до 1955 г.); выступала за расширение власти президента и некоторые реформы, занимала националистические позиции.

- 362 *Ориоль Венсан* (1884—1966) — французский государственный

и политический деятель, в январе 1947 — январе 1954 г. — президент Французской Республики. В декабре 1958 г. вышел из СФИО из-за разногласий с руководством партии. Протестовал против режима Пятой республики.

МРП — партия Народно-республиканское движение, образованная в ноябре 1944 г.

«Третья сила». — После того как весной 1947 г. де Голлем была создана партия Объединение французского народа (РПФ), лидер СФИО Л. Блюм выдвинул идею создания «третьей силы», направленной якобы как против ФКП слева, так и против РПФ справа. Блок партий «третьей силы» (СФИО, радикалов, МРП и более мелких буржуазно-центристских групп) в 1947—1951 г. формировал правительства.

6 февраля. — 6 февраля 1934 г. в Париже состоялась демонстрация профашистских лиг, которые предприняли попытку ликвидировать республиканский строй.

Дьенбьенфу. — В марте—апреле 1954 г. в районе Дьенбьенфу на Северо-Западе Вьетнама произошло решающее сражение Вьетнамской народной армии и французских колониальных войск, потерпевших поражение. Это сражение привело к завершению войны во Вьетнаме и получению Вьетнамом независимости.

...она была обречена так же, как II Империя после Седана. — 2 сентября 1870 г. французская армия во главе с Наполеоном III потерпела поражение под Седаном от прусской армии, что привело к падению II Империи и провозглашению III Республики.

Молчаливый — Вильгельм I Оранский, прозванный Молчаливым (1533—1584), — принц, лидер освободительной борьбы Нидерландов.

Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г., крупный полководец; провел ряд реформ в духе так называемого «просвещенного абсолютизма». При Фридрихе II Пруссия выдвинулась в число великих держав.

Пинэ Антуан (р. 1891) — французский политический деятель, экономист; в годы IV Республики член Национального собрания. В 1960 г. подал в отставку из-за несогласия с экономической политикой де Голля.

Пфлимлен Пьер (р. 1907) — французский политический деятель, в годы IV Республики занимал различные министерские посты; в 1958 г. вошел в состав правительства де Голля.

Коти Рене (1882—1952) — французский политический деятель, президент Французской Республики в январе 1954 — январе 1959 г.

После Нагиба Насер! — Нагиб Мухаммед (1901—1984) — генерал египетской армии; в 1953—1954 г. г. — президент ОАР. В ноябре 1954 г. был свергнут Насером.

- 363 *Салан Рауль* (1899—1984) — французский генерал, один из организаторов ОАС; активный участник путча в Алжире в апреле 1961 г., после подавления которого был приговорен к пожизненному заключению (освобожден в июне 1968 г.).

...пурпурной тогой Генерала стала 16-я статья. — В Древнем Риме гражданская тога — белая, консульская — белая с пурпурной полосой. Пурпурную тогу носили триумфаторы и императоры. По Конституции 1968 г. 16-я статья давала президенту право в случае необходимости взять на себя неограниченную власть.

Тоназ — см. коммент. к с. 315.

- 364 *Манихейство* — пессимистическое религиозное учение об изначальности зла, возникшее на Ближнем Востоке в III в.

- 365 *МЛН* — Национально-освободительное движение и партия в Алжире.

ОАС — см. коммент. к с. 295.

- 366 *...во главе горстки моряков с острова Сен...* — См. коммент. к с. 320.

- 367 *Он написал историю французской армии.* — В 1925 г. по поручению Петена де Голля подготовил материалы по истории французской армии, на основе которых в 1934 г. издал книгу «Франция и ее армия».

Дельбрюк Ганс Готлиб Леопольд (1848—1929) — немецкий военный историк и политический деятель. Крупнейший труд Дельбрюка — «История военного искусства в рамках политической истории» (т. 1—7, 1900—1936), — последние три тома которого вышли в изложении его ученика Д. Э. Даниельса, охватывает период от античного мира до 1870 г.

- 368 *Гетайры* или *гетарии* (сотоварищи) — конные дружинники из аристократии в Македонском войске. Ошибка Мальро: конница гетайров в таком же виде существовала и при отце Александра Македонского Филиппе II, и при его деде.

Генерал интересовался... образованием наемной армии при Карле VII. — Карл VII (1403—1461), король Франции с 1422 г., победитель в Столетней войне. Впервые во Франции завел наемное войско, в том числе «вольных лучников», прообраз регулярной пехоты.

Национальная школа администрации — учебное заведение, готовящее кадры для высших эшелонов власти; была учреждена де Голлем в августе 1945 г.

Жуо Леон (1879—1954) — реформистский деятель французского и международного профсоюзного движения; в 1909—1940 и в 1945—1947 гг. секретарь французской Всеобщей конфедерации

труда (ВКТ). В 1947 г. один из организаторов раскола ВКТ и создания профсоюзного объединения «Форс увриер», которое Жуо пытался противопоставить ВКТ.

- 370 *Взгляд на историю как на судьбу напоминает ему исторические взгляды Руссо...* — Сопратник энциклопедистов XVIII в., Руссо разошелся с ними в отношении к истории, прогрессу, оценивая последний отрицательно, идеализируя патриархальные устои.

Пражская весна. — 1—5 мая 1945 г. в различных районах Чехословакии началось народное восстание, 5 мая — в Праге. В ночь на 6 мая Пражская радиостанция обратилась к советским войскам с просьбой о помощи. 9 мая Прага была освобождена, восстание завершилось победой и сыграло важную роль в утверждении народно-демократического строя в Чехословакии.

...Благодаря франко-советскому договору... — См. коммент. к с. 346.

- 371 *Он выписал фразу Ленина о том, что всякая революция завершается усилением власти государства.* — Мысль из работы К. Маркса «18-ое брюмера Луи Бонапарта», процитированная Лениным (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1981, т. 33, с. 28).

- 372 *В декабре Конституционная комиссия... подчинила правительство Национальному собранию.* — Французская Конституция 1946 г. являлась одной из самых демократических конституций буржуазных стран; она гарантировала контроль Национального собрания над деятельностью президента и правительства.

- 373 *Кассен Рене (1887—1976)* — французский юрист и политический деятель; в годы войны выполнял административные функции в секретариате де Голля. С 1965 г. был председателем Международного европейского суда по правам человека. Лауреат Нобелевской премии мира 1968 г.

Мерс-эль-Кебир — см. коммент. к с. 344.

Был срыв в Дакаре... — В сентябре 1940 г. де Голль, при поддержке английского флота, предпринял попытку овладеть крупнейшим портом французской Западной Африки Дакаром, которая не увенчалась успехом.

- 374 *...события, связанные с архипелагом Сен-Пьер и Микелон...* — В декабре 1941 г. де Голль энергично поддержал адмирала Мюзелье, провозгласившего присоединение островов Сен-Пьер и Микелон, удерживавшихся под властью Виши, к «Свободной Франции».

Дарлан Жак Луи Ксавье Франсуа (1881—1942) — французский военный и государственный деятель, адмирал флота. Во время второй мировой войны был членом правительства Виши, а с апреля 1942 г. — главнокомандующим вооруженных сил правительства

Виши. После высадки англо-американских войск в Северной Африке в ноябре 1942 г. отдал приказ о прекращении сопротивления союзникам, а затем о вступлении французских вооруженных сил в борьбу против фашистских держав. Был убит петеновцами.

Даркье де Пельпуа — один из сотрудников французской полиции, которые в мае 1942 г. поступили в распоряжение начальника немецкой охранки генерала Гейдриха для дальнейшего усиления репрессий над борцами Сопротивления.

Леги Уильям Даниэль (1875—1959) — американский адмирал. В 1937—1939 гг. начальник Генерального штаба флота, в 1940—1942 гг. посол США при правительстве Виши.

Лаваль Пьер (1883—1945) — французский государственный деятель, в 30-е годы неоднократно входил в правительство. В апреле 1942 — августе 1944 г. премьер-министр коллаборационистского правительства Виши, действовал как прямой пособник гитлеровцев. В момент освобождения Франции бежал из страны, был арестован в Австрии и выдан французским властям. На судебном процессе был приговорен к смертной казни как изменник. Расстрелян.

АМГОТ — см. коммент. к с. 321.

375 *Он заявил об этом в Байё.* — В июне 1946 г. де Голль выступил в г. Байё с речью, в которой потребовал создания «сильной власти».

376 *Франция, некогда освободившая рабов...* — По Конституции 1793 г., утвержденной якобинским Конвентом, было отменено рабство на о. Гаити.

ФНО — Фронт национального освобождения Алжира.

Аббас Ферхат (1899—1985) — алжирский политический и государственный деятель. В 1944—1956 гг. возглавлял умеренно националистические организации, боровшиеся за автономию Алжира в федерации с Францией. В 1956 г. открыто присоединился к Фронту национального освобождения. В 1958—1961 гг. председатель Временного правительства Алжирской Народной Демократической Республики, в 1962—1963 гг. — председатель Национального собрания.

Мятеж генералов — путч в Алжире в апреле 1961 г. См. коммент. к с. 295.

377 *События же на стадионе Шарлети...* — 27 мая 1968 г. на стадионе Шарлети в Париже состоялся многотысячный митинг, организованный гошистами. Они объявили коммунистов «основными антиреволюционными силами порядка» во французском обществе, так как ФКП не поддерживала авантюристические и провокационные призывы студенческих вожаков к восстанию.

- Известно, чем оказались в Будапеште бутылки с зажигательной смесью против советских танков — пустым звуком.* — Речь идет о контрреволюционном мятеже 23 октября — 4 ноября 1956 г. в Венгрии. 3 ноября 1956 г. вновь сформированное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Я. Кадаром обратилось за помощью к СССР. Части Советской Армии, временно дислоцированные на территории ВНР на основе Варшавского Договора, помогли венгерским революционным силам разгромить мятеж.
- 381 *...штандарты... движутся вперед, как деревья шекспировских лесов.* — Аллюзия на трагедию Шекспира «Макбет» (1606), см. акты IV, V.
- 382 *Многие... во время майской демонстрации в 1969 году были здесь, многие — в рядах их противников на площади Бастилии...* — В мае 1969 г., перед референдумом де Голля, состоялась демонстрация правых в его поддержку, которая прошла по Елисейским полям к Триумфальной арке на площади Звезды. На площади Бастилии проходили митинги, организованные Всеобщей конфедерацией труда.
- 383 *...к первой германской газовой атаке в Болгако, на Висле, в 1916 году.* — См. коммент. к с. 166.
- 384 *Верден* — город-крепость в северо-восточной Франции; к началу первой мировой войны составлял левый фланг укрепленного французского фронта на франко-немецкой границе. В феврале 1916 г. германская армия атаковала Верден. Осада крепости, с огромными потерями с обеих сторон, продолжалась несколько месяцев, но Верден не был взят.
- 385 *Нефертари, что напротив Луксора...* — Нефертари — королева Египта (ок. XIII в. до н. э.), первая жена Рамзеса II. Ее гробница в долине Королев отличается богатством убранства. Луксор — город в Египте, на западной окраине которого находится храм бога Амона-Ра (XVI—II вв. до н. э.), к которому ведет аллея сфинксов.
- 386 *Кровавый султан* — Абдул-Хамид II (1842—1918), турецкий султан в 1876—1909 гг. Своей политикой угнетения народов Османской империи заслужил прозвище Кровавый султан.
- Энвер-паша* (1881—1922) — турецкий военный и политический деятель, активный участник Младотурецкой революции 1908 г.
- 391 *Гинденбург Пауль фон Бенкендорф унд фон* (1847—1934) — немецкий военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. С 1925 г. — президент Веймарской республики, способствовал восстановлению военной мощи Германии. В 1932 г. с помощью правых был вновь избран президентом. 30 января

1933 г. передал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.

Гогенцоллерны — династия бранденбургских курфюрстов (1415—1701), прусских королей (1701—1918), германских императоров (1871—1918).

Надгробные речи

Речи и выступления Мальро были опубликованы в 1965 г. в брошюре "Action étudiante gaulliste de Paris", в 1971 г. вышли отдельным изданием, а в 1976 г. были включены в качестве приложения в книгу «Зеркало лимба». На русском языке избранные речи печатаются впервые (за исключением «Годовщины смерти Жанны д'Арк», опубликованной в сборнике «Над Сеной и Узой». М., «Прогресс», 1985, но в данном сборнике идущей в новом переводе).

- 413 *Хольцци Дитрих фон* (1894—1966) — немецкий генерал; с 9 по 25 августа 1944 г. — командующий немецкими войсками в Париже.

...в ставшем ныне историческим зале этого вокзала... — Имеется в виду Монпарнасский вокзал, который служил командным пунктом дивизии Леклерка при освобождении Парижа. 25 августа 1944 г. на вокзале Монпарнас Роль-Танги и Леклерк приняли официальную капитуляцию немецкого гарнизона. В тот же день в Париж прибыл де Голль.

Кёниг Мари Пьер (1898—1970) — французский генерал; в 1940 г. присоединился к движению «Свободная Франция». В 1944 г. был назначен командующим Французскими внутренними силами.

Роммель — см. коммент. к с. 237.

- 414 *Высадка в Нормандии* — см. коммент. к с. 249.

- 415 *Пароди Александр* (1901—1979) — французский политический деятель, дипломат. В годы войны — главный уполномоченный де Голля во Франции; в 1946 г. был назначен постоянным представителем Франции при Совете Безопасности ООН.

- 417 *...восстание Парижа сродни разгромленному восстанию Варшавы.* — Речь идет о Варшавском восстании 1944 г., подготовленном польским движением Сопротивления. Восстание началось 1 августа, 2 октября было подавлено гитлеровцами.

- 420 *Ксеркс* (ум. 465 до н. э.) — древнеперсидский царь (486—465). В 480 г. выступил в поход против Греции, закончившийся поражением персидского флота при Саламине (480), Микале (479) и сухопутной армии персов при Платеях (479).

421 *Крик Эдипа* — см. коммент. к с. 25.

Миссолунги (Месолонгион). — Героическое сопротивление города Миссолунги турецкой армии (1821—1826) — легендарная страница греческой войны за независимость, завершившейся сражением османского ига (1829). На помощь греческим войскам прибывали иностранные добровольцы; за свободу Греции сражался Байрон (умер в Миссолунги в 1824 г.).

Соломос Дионисос (1798—1857) — греческий поэт, участник борьбы за независимость Греции. Первые строфы «Гимна Свободе» (1823) Соломоса стали национальным гимном Греции.

Саламинское сражение — крупное морское сражение (480 до н. э.) во время греко-персидских войн, происшедшее у о. Саламин.

Фермопилы — см. коммент. к с. 254.

Панафинеи — в Древней Греции праздник в честь богини Афины. Происходил ежегодно в конце июля — начале августа; наряду с религиозными обрядами предусматривал состязания певцов и музыкантов, гимнастические и конные состязания.

422 *Халдея* — Ново-Вавилонское (или Халдейское) царство, основанное в 625 г. до н. э. на окраинах Вавилонии (на северо-западном берегу Персидского залива). Навысшего могущества достигло при Навуходоносоре (604—562).

Моисей — библейский пророк, который, по преданию, возглавил исход евреев из Египта в страну Ханаанскую (Палестину), во время которого они сорок лет блуждали по пустыне.

Амон — в древнеегипетской мифологии бог — покровитель г. Фивы, постепенно стал отождествляться с верховным богом Ра (Амон-Ра).

Остракон (мн. число — острака) — черепок, осколок ракушки, гончарного изделия; в Древнем Египте такие черепки использовались для письма и рисования.

...*текст, где солдат называет Рамсеса II не по имени, а по прозвищу: Рарой, подобно тому как старая гвардия называла Наполеона...* — Рамсес II (тронное имя Усер-маат-Ра-сотеи-ен-Ра) — древнеегипетский фараон (конец XIV — сер. XIII в. до н. э.), при котором Египет достиг значительного могущества. Прозвища Наполеона — «наш маленький капрал», «Жан с саблей».

«*Книга мертвых*» — древнеегипетский сборник текстов (XV в. до н. э.); содержит молитвы и заклинания против препятствий, которые может встретить умерший, направляясь на суд бога Осириса и к полям вечного блаженства.

423 *Кадеш* — в древности город в Сирии на реке Оронт. Под стенами Кадеша в конце XIV — начале XIII в. до н. э. произошла битва между египетскими войсками Рамсеса II и хеттами.

Сенусерт — имя египетских фараонов XII династии, правившей в 1970—1889 гг. до н. э.

Аменхотеп IV (Эхнатон) — фараон Древнего Египта, правил в 1419 — ок. 1400 г. до н. э. Опираясь на средние слои населения, нанес удар фиванскому жречеству и старой аристократии, провозгласил новый государственный культ бога Атона. Принял имя Эхнатон — «полезный Атону». Обстоятельства смерти Аменхотепа IV неизвестны.

- 424 *Ангкор* — грандиозный комплекс храмов, дворцов, водохранилищ и отводных каналов близ г. Сиеш-Реап в Кампучии; сооружен в IX—XIII вв. до н. э., в пору расцвета государства кхмеров.

Нара — см. коммент. к с. 257.

...помочь жертвам катастрофы в Агадире. — Агадир — город на крайнем юго-западе Марокко; в 1960 г. сильно пострадал от землетрясения.

- 425 *Камбиз* (ум. 522 до н. э.) — древнеперсидский царь в 530—522 гг. из династии Ахеменидов; в 525 г. завоевал Египет и основал новую, XXVII династию фараонов.

Изида — одна из важнейших богинь Древнего Египта, покровительница плодородия, материнства, здоровья.

- 426 *«Похоронный марш в честь погибшего героя»* — Траурный марш из третьего действия оперы Р. Вагнера «Гибель богов» (пост. 1876), входящей в тетралогии «Кольцо Нибелунгов».

- 427 *...знаменитый реймский ангел...* — скульптура (XIII в.) центрального портала Реймского собора: архангел Гавриил, улыбаясь, сообщает деве Марии «благу весть» о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Христа.

Варанжвиль-сюр-Мер — городок на побережье Ла-Манша. На кладбище Варанжвиля похоронен Ж. Брак.

...маленькая сестра Георгия Победоносца... — В христианских и мусульманских преданиях Георгий Победоносец — воин-мученик; с его именем фольклорная традиция связывает мотив драконоборчества.

...благодаря документам процесса, на котором ее осудили, и процесса, на котором ее реабилитировали... — Жанна д'Арк, Орлеанская дева (ок. 1412—1431) — простая крестьянка из Домреми; в ходе Столетней войны возглавила борьбу французского народа против англичан, поддерживаемых бургундцами. В 1429 г. французские войска под предводительством Жанны д'Арк освободили от осады Орлеан, разбили англичан при Пате, овладели рядом других городов. В 1430 г. в Компьене Жанна д'Арк попала в плен к бургундцам, продавшим ее англичанам; была объявлена колдуньей, предана церковному суду и заживо сожжена в Руане в 1431 г. В 1450 г. был проведен процесс по ее реабилитации, решение по которому вынесено в 1456 г. В 1920 г. причислена к лику святых.

- 428 *Дюнуа Жан де Лонгвиль, Орлеанский бастард* (ок. 1403—1468) — французский дворянин, внебрачный сын герцога Орлеанского. Участник похода Жанны д'Арк, руководил обороной Орлеана. При Людовике XI — один из деятелей феодальной Лиги общественного блага, выступавшей против короля. На процессе по реабилитации дал показания в пользу Жанны д'Арк.

Креси — населенный пункт в северо-восточной Франции, в районе которого в 1346 г. английские войска под командованием короля Эдуарда III разгромили французскую армию Филиппа VI. Победа при Креси позволила англичанам в 1347 г. овладеть Кале, который стал их основной базой.

Пате — см. выше, коммент. к с. 427.

Азенкур — французское селение в 60 км южнее Кале, близ которого в 1415 г. французские войска потерпели сокрушительное поражение от англичан.

- 429 *Изабелла Баварская могла подписать в Труа смертный приговор Франции...* — Изабелла Баварская (1371—1435) — королева Франции (1385—1422). В 1420 г. подписала в Труа договор, по которому Франция утрачивала национальную независимость и превращалась в часть английского королевства. При этом наследником французского престола становился король Англии, а дофин Карл (будущий Карл VII) отстранялся от наследования.

- 430 *Броселиандский лес* — обширный лес в Бретани, в котором разворачивается действие средневековых романов о рыцарях «Круглого стола».

...первые воины, павшие при штурме Иерусалима, и последние приверженцы маленького прокаженного короля... — Иерусалим был взят крестоносцами в 1099 г., в результате чего образовалось Иерусалимское королевство. После неудачного восьмого крестового похода Людовик Святой заболел чумой. По преданию, рыцари оставались верны королю до последнего часа.

...Париж, забыв о своем бургундском прошлом... — В 1418 г. герцог Бургундский благодаря союзу с английским королем захватил Париж. После побед, одержанных Жанной д'Арк, он вынужден был порвать с Англией и подписать в 1435 г. в Аррасе договор с Карлом VII, по которому признавал власть французского короля.

- 431 *...во время церемонии основания города Бразилиа...* — город Бразилиа, с 1960 г. столица Федеративной Республики Бразилии, был специально построен для выполнения функций столицы.

- 432 *Солдаты Второго года* — революционные солдаты, защитники республики. По республиканскому календарю, введенному в период Великой французской революции декретом от 5 октября 1793 г. и действовавшему до 1 января 1806 г., время отсчиты-

валось от 22 сентября 1792 г. (день провозглашения Французской Республики).

Флерюс — см. коммент. к с. 332.

433 *Ле Корбюзье* (наст. имя Шарль Эдуар Жаннере, 1887—1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры, один из лидеров урбанизма; развивал идеи функционально оправданной конструкции здания, «вертикального» города-сада. Архитектурные предложения Ле Корбюзье предусматривали полный пересмотр проблемы массового жилища.

434 *Этот агностик создал самые поразительные церковь и монастырь из всех построенных в нашем веке.* — Церковь Нотр-Дам-дю-О (1950—1955) в Роншане близ Бельфора была задумана и воплощена Ле Корбюзье как своего рода многозначная «скульптура», некий образ-символ. Монастырь де ля Туретт (1957—1960) в Эвё, недалеко от Лиона, по замыслу Ле Корбюзье, явился архитектурным сооружением, в котором господствует прямой угол.

...главный памятник Чандигарха предполагалось увенчать огромной Рукой мира... — Новая столица Пенджаба Чандигарх была спроектирована Ле Корбюзье в начале 50-х годов, после раздела провинции Пенджаб между Индией и Пакистаном. За пределами города, на особой террасе, находится комплекс правительственных зданий (так называемый Капитолий) и символические скульптурные композиции «Открытая рука» и «Могила мученика».

435 *Кубичек ди Оливейра Жуселину* (1902—1976) — государственный и политический деятель Бразилии, в 1955—1960 гг. президент Бразилии.

Нимейер Оскар (р. 1907), *Коста Лусиу* (р. 1902) — бразильские архитекторы; создатели бразильской школы современной архитектуры, сочетающей опыт функционалистической архитектуры и национальные традиции. В 1936—1943 гг., в сотрудничестве с Нимейером и Костой, Ле Корбюзье возвел здание Министерства национального образования и культуры в Рио-де-Жанейро.

Аалто Алвар (1898—1976) — финский архитектор и градостроитель, сочетавший национальные традиции и функционализм.

Нойтра Рихард Йозеф (1892—1970) — американский архитектор австрийского происхождения, последователь Ле Корбюзье.

439 *Кагуляры* — члены французской фашистско-террористической организации 30-х годов.

Френе Анри (р. 1905) — французский офицер и политический деятель, один из организаторов французского движения Сопротивления, создатель подпольной группы «Комба». Был комиссаром, затем министром во Временном правительстве (1943—1945) де Голля.

Астье де ля Вижери Эмманюэль де (1900—1969) — французский морской офицер, журналист, антифашист, участник движения Сопротивления; основатель подпольных организаций «Либерасьон-Сюд» и «Последняя колонна».

Леви Жан Пьер — французский торговый служащий, затем директор небольшой фабрики; возглавлял «Франтирер» — одну из трех крупных организаций французского Сопротивления.

Карно Мари Франсуа Сади (1837—1894) — французский государственный деятель, президент Французской Республики (1887—1894). Способствовал заключению в 1891—1893 гг. франко-русского союза. Был убит анархистом С. Казерио.

Делестрен Шарль Анри (1879—1945) — французский генерал, один из наиболее авторитетных специалистов по бронетанковой технике в период между двумя войнами. После капитуляции Франции возглавил движение Сопротивления в районе Лиона. В 1943 г. был арестован немцами; умер в концентрационном лагере.

Пасси (наст. имя Андре Деваврен, р. 1911) — французский офицер, в июне 1940 г. присоединившийся к движению де Голля; возглавлял разведывательную службу в оккупированной Франции.

- 441 *Бушине-Серрель Клод* (р. 1912) — французский политический деятель; в годы войны — уполномоченный представитель де Голля, был направлен из Лондона для совместной работы с Жаном Муленом в оккупированной Франции; действовал в Париже.
- 442 «*Ночь и Туман*» ("Nach und Nebel") — организованная нацистская акция по уничтожению противников фашистского режима.

**Наше единство —
только в вопрошающих раздумьях**

Под таким названием газета «Монд» опубликовала 5 июля 1975 г. интервью, которое Мальро дал румынскому журналисту и переводчику Иону Михайлану. На русском языке печатается впервые.

- 446 *Помочь людям осознать их собственное величие, о котором они даже не подозревают* — см. с. 90 данного сборника.
- 448 *Менухин Иегуди* (р. 1916) — знаменитый американский скрипач, гастролирует как солист и ансамблист.

Лазарь — название одной из книг воспоминаний Мальро, вышедшей в 1974 г. и включенной во второй том его мемуарного цикла «Веревка и мыши» (1976).

Буланже Надя (1887—1979) — французский композитор и педагог.

Пикон Гаэтан (1915—1976) — французский литературовед и критик.

- 452 ...убийцей мыслился именно Мышкин, а не Рогожин. — В «Записных книжках» Достоевского такого развития фабулы романа «Идиот» не просматривается. Вероятно, Мальро имел в виду первые подготовительные материалы к роману (сентябрь—октябрь 1867), где встречаются заметки о том, что «Идиот», еще ничем не напоминающий князя Мышкина, «хочет убить», «может убить» героиню («Геро»), однако персонаж Рогожина при этом еще отсутствует.

Е. П. Кушкин, Г. В. Филатова

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аалто Алвар 435
Аббас Ферхат 376
Августин Блаженный Аврелий 162, 367
Аврелий Марк 443
Аденауэр Конрад 351
Аларих 1
Александр Македонский 25, 254, 273, 282, 334, 353, 368, 420, 425, 428
Ален 235, 294
Альберти Рафаэль 274
Андерс Владислав 341
Анджелико 276
Анна Австрийская 327
Аристотель 254, 255
Арк Жанна д' 16, 85, 225, 249, 335, 358, 427, 428, 431
Арлан Марсель 238
Асанья Мануэль 248
Астье де ля Вижери Эмманюель де 440
Ауб Макс 291
- Байрон Джордж Ноэл Гордон 320
Байяр Пьер дю Террай де 255
Бакунин Михаил Александрович 369
Бальзак Оноре де 74, 77, 81, 82, 163, 167, 310, 451
- Баррес Морис 296
Барри графиня дю 302
Бах Иоганн Себастьян 207
Бенда Жюльен 310
Бенжамен Самюэль Грис Уилер 150
Бергамин Хосе 155, 291
Бергсон Анри 296, 319
Берлиоз Гектор 364
Бернанос Жорж
Бернар Клервосский 319, 321, 326, 330, 344
Бетховен Людвиг ван 268, 448
Бидо Жорж 346, 441
Бисмарк Отто фон Шёнхаузен 333
Богарне Жозефина 163
Бодлер Шарль 75, 167, 282, 451
Боккаччо Джованни 286
Боно Жюль Жозеф 171
Борджа Чезаре 90
Бордо Анри 74
Боссюэ Жак Бенинь 163
Боттичелли Сандро 263
Брак Жорж 258, 272, 426
Брассаи 277
Буало Никола 282
Буланже Надя 448
Булгаков Михаил Афанасьевич 447
Бурдель Эмиль Антуан 256

- Бухарин Николай Иванович 349, 350
 Бушине-Серрель Клод 441
- Вагнер Рихард** 207
 Валери Поль 160, 161, 271, 305, 345
 Ван Гог Винсент 260, 271, 281, 423, 424, 426
 Вандру Ивонна 321
 Ватто Антуан 149, 253
 Вейган Максим 210
 Бейль Симона 297
 Веласкес Диего де Сильва 272
 Верлен Поль 167, 297
 Верн Жюль 450
 Вийон Франсуа 223
 Вилар Жан 270
 Виндзорская герцогиня 173
 Виоллис Андре 82, 83
 Вольтер 290, 297, 298, 302, 306, 310, 318
- Ганди Мохандас Карамчанд** 164, 193, 255, 333, 355
 Гельдерлин Фридрих 207
 Генрих II 433
 Генрих IV 366
 Гёте Иоганн Вольфганг 75, 297
 Гийу Луи 262
 Гиммлер Генрих 335
 Гинденбург Пауль фон 205, 391
 Гитлер Адольф 95, 97, 216, 235, 274, 291, 293, 303, 328, 346, 351, 355, 380, 384
 Гоген Поль 260
 Гоголь Николай Васильевич 71, 447
 Гойя Франсиско Хосе де 253, 258, 264, 273, 276, 282
 Голь Шарль де 15, 17, 18, 19, 22, 162, 164, 167, 204, 206, 211, 241, 249, 295, 314—316, 319—324, 328, 333—335, 341—347, 356—361, 363, 365, 368, 370—384, 415, 416, 421, 437, 440—442, 450
 Гомер 269, 287
 Гомулка Владислав 353
 Гонкур Жюль и Эдмон де 163
- Горький Максим 68, 70, 163, 164, 223, 350
 Готье Теофиль 288
 Грюневальд (Нитхардт Матис) 256
 Гугенберг Альфред 65
 Гудон Жан Антуан 292
 Гуэн Феликс 360
 Гюго Виктор Мари 80, 85, 89, 162, 166, 240, 251, 282, 286, 309, 333, 334, 363, 382, 426, 431, 443
- Даллес Джон Фостер 331
 Дальзас Жак 439
 Дамьен Робер Франсуа 196
 Дантон Жорж Жак 333
 Даркье де Пельпуа 374
 Дарлан Жак Луи Ксавье Франсуа 374
 Дебре Мишель 295, 331
 Дега Эдгар 272
 Декарт Рене 88
 Делаттр де Тассиньи Жан Мари Габриель 237
 Делестрен Шарль Анри 441
 Дельбрюк Ханс Готлиб 367
 Дефо Даниель 148, 223
 Джакометти Альберто 237, 273
 Джилас Милован 349, 350
 Джотто ди Бондоне 149
 Димитров Георги 12, 139, 148
 Дитрих Марлен 156, 173
 Дорваль Мари 265
 Достоевский Федор Михайлович 16, 73, 75, 89, 148, 161, 168, 223, 224, 298, 335, 447, 452
 Дрейфус Альфред 168
 Друэ Жюльетта 166, 258, 287
 Думерг Гастон 33, 74
 Дубчек 305
 Дюкло Жак 363, 370, 371
 Дюма Александр (Д.-отец) 363
 Дюма Александр (Д.-сын) 285
 Дюнуа Жан де Лонгвиль 428, 431
- Жид Андре** 70, 85, 161, 162, 168, 296, 298, 345, 379
 Жиро Анри 359, 374
 Жокс Луи 334

Жорес Жан 365, 442
Жоффр Жозеф Жак Сезер 357
Жуанвиль Жан де 163
Жуо Леон 368

Закс Нелли 240
Золя Эмиль 81, 451

Изабелла Баварская 429

Камю Альбер 167
Канвейлер Даниель Анри 273
Кандинский Виктор Хрисанфович 45
Кант Иммануил 302
Карл VII 368, 430
Карл Великий 87, 393
Карно Мари Франсуа Сади 439, 442
Кассен Рене 373
Кёниг Мари Пьер 52, 413
Кеннеди Джон Фицджеральд 319, 353
Керенский Александр Федорович 371, 376
Кёстлер Артур 238, 294
Китон Бестер 194
Киш Эгон Эрвин 82
Клее Пауль 258
Клемансо Жорж 65, 333, 344, 357

Клеопатра 287, 326, 423
Клодель Поль 74, 167
Коллеони Бартоломео 276
Колетт Габриель Сидони 325
Колумб Христофор 278, 262
Кон-Бендит Даниель 294
Конде Луи II Бурбон 163
Корнель Пьер 89, 267, 284, 285, 344
Коро Камиль 80, 272, 276, 427
Кортес Эрнан 278
Коста Лусиу 435
Косыгин Алексей Николаевич 350
Кренес Пьер 415
Ксеркс I 420
Кубичек ди Оливейра Жуселину 435
Кув де Мюрвиль Морис 325
Кюстин Астольф де 347

Лабिश Эжен Марен 162
Лазар Бернар 168
Лаваль Пьер 374
Лакло Пьер Шодерло де 72
Лас Каз Эмманюель Огюстен Дьёдоне 327
Леги Уильям Даниэль 374
Леви Жан Пьер 440
Леви-Брюль Люсьен 293
Леклер(к) Филипп Мари де От-клок 251, 259, 375, 376, 413, 416, 442
Леконт де Лиль Шарль 288
Ле Корбюзье Шарль Эдуар 433
Леметр Фредерик 287
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 18, 120, 164, 314, 321, 327, 349, 361, 362, 371
Леонардо да Винчи 163, 271
Леонид I 255
Лондр Альбер 82
Лоти Пьер 303
Лоуренс Томас Эдвард 8, 167, 262, 311
Любич Эрнст фон 156
Людовик IX Святой 163, 283, 428, 430
Людовик XIV 266, 433
Людовик XVI 291, 367

Малларме Стефан 22, 73
Мальро Клара 7
Мане Эдуар 21, 272
Мао Цзэдун 18, 319, 321, 334, 335, 352—355, 370, 380, 450
Маргарита Наваррская 286
Маритен Жак 41
Маркс Карл 67, 70, 88, 273, 293, 296, 297, 302, 307, 314, 349, 360, 369, 371, 443
Маркузе Герберт 314
Мартен-Шоффье Луи 331
Маяковский Владимир Владимирович 68
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 224, 225, 233
Мельес Жорж 286
Мельберг 244
Ментенон Франсуаза д'Обинье маркиза де 266
Менухин Иегуди 448

- Местр Жозеф Мари де 85
Микеланджело Буонаротти 163, 256, 257, 260, 268, 276, 286, 334, 344
Миро Хоан
Мистенгет 173
Миттеран Франсуа 315, 352
Мишле Жюль 163, 240, 241
Мишле Эдмон 236, 242, 244—248, 431
Мишо Анри 318
Модильяни Амедео 426
Молле Ги 353, 362
Молотов Вячеслав Михайлович 346, 347
Мольер 85, 162, 267, 285, 289
Моне Клод 271
Монтеверди Клаудио 284
Монтегюс 171
Монтень Мишель де 255, 305
Мопассан Ги де 167
Мориак Франсуа 18, 450
Моррас Шарль 369
Моцарт Вольфганг Амадей 319, 448
Мулен Жан 223, 237, 238, 248, 249, 342, 355, 361, 365, 374, 436, 437, 439
Муссолини Бенито 380
Мюссе Альфред де 301
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт)**
83, 163, 266, 267, 290, 310, 316, 327, 329, 334, 340, 351, 357, 362, 366, 367, 422, 431
Наполеон III 83, 85, 86, 166, 284
Насер Гамаль Абдер 362
Нерваль Жерар де 276
Неру Джавахарлал 18, 16, 19, 36, 245, 319, 321, 329, 352
Нефертари 385
Нефертити 423
Николай Кузанский 154
Никсон Ричард Милхаус 330
Нимейер Оскар 435
Ницше Фридрих 6, 8, 75, 167, 168, 207, 260, 307, 433
Нойтра Рихард Йозеф 435
- Олеша Юрий Карлович** 310
Ориоль Венсан 361
- Осецкий Карл фон 139
Осман Жорж Эжен 310
- Палевский Гастон** 346
Папен Франц фон 95
Пароди Александр 415
Пастернак Борис Леонидович 68, 233, 310
Пеги Шарль 167
Пейрефитт Ален 294
Перикл 253, 418
Перон Хуан Доминго 353
Перро Шарль
Петен Анри Филипп 205, 208, 210, 329, 352, 358
Петр I Великий 322
Пикассо Пабло 17, 269, 272, 273, 274, 278, 279, 282
Пикон Гаэтан 450
Пинсон Мартин Алонсо 277
Пинэ Антуан 362
Платон 255, 305
Плутарх 284
Познер Владимир 78
Полан Жан 339
Поло Марко 87
Портинари Беатриче 258
Поэр Ален 353
Прудон Пьер Жозеф 369
Пруст Марсель 74, 286
Пуанкаре Ремон 33
Пуссен Никола 272
Пфлимлен Пьер 362
Пьеро делла Франческа 268
- Рамсес II** 385, 422, 425
Расин Жан 80, 85, 255, 271, 282, 287
Рафаэль Санти 260, 269, 451
Рембрандт Харменс ван Рейн 151, 255, 257, 259, 261, 273, 276, 282, 424
Ренан Жозеф Эрнест 294, 305, 337
Рене Ален 300
Ренн Людвиг 139, 147, 148
Ренуар Огюст 151, 260, 272

- Рец Жан Франсуа Поль де Гонди 81
 Ришелье Арман Жан дю Плесси 33, 327, 359, 362, 367, 379, 433
 Робеспьер Огюстен 359
 Роллан Ромен 85
 Роль-Танги Анри 415
 Роммель Эрвин 237, 359, 413
 Ронсар Пьер де 80, 254
 Рубенс Питер Пауэл 149, 257, 259
 Рузвельт Теодор 346, 347, 353, 374, 380
 Руссо Анри 370
 Руссо Жан Жак 161, 168
 Рюд Франсуа 332, 383
- Салан Рауль 363
 Саломэ Лу 167
 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 447
 Сандрар Блез 304
 Сезанн Поль 13, 75, 150, 151, 259, 260, 269, 273, 423
 Сенгор Леопольд Седар 372
 Сенека Луций Анней 285
 Сен-Жюст Луи 344
 Сен-Симон де Рувруа Луи де 162, 266
 Сент-Экзюпери Антуан де 18, 19, 195
 Сенусерт 423
 Сервантес Сааведра Мигель де 148, 223, 273, 287
 Сократ 255, 305, 340
 Сорель Аньес 254
 Софокл 282, 327, 418, 419
 Спенсер Эдмунд 254
 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 331, 333, 340, 345—353, 370, 375, 380
 Стендаль 72, 85, 90, 163, 168, 267, 311
 Сустель Жак 331
- Тальма Франсуа Жозеф 267
 Тейяр де Шарден Пьер 167
 Тельман Эрнст 12, 139, 146, 148
 Тимур (Тамерлан) 87
 Тиссен Фриц 65
- Тито (Броз Тито) Иосип 353
 Тициан (Тициано Вечеллио) 255, 272, 273, 284
 Толстой Лев Николаевич 22, 67, 68, 70, 71, 73, 82, 163, 349, 447
 Торглер Эрнст 139
 Торез Морис 346, 370, 375
 Торрес Макс 290, 291, 298, 310, 343, 372
 Троцкий Лев Давыдович 164, 327, 331
- Уайльд Оскар 161
- Феодора** 302
Фидий 282
Флере Фернан 237
Флобер Густав 73, 88, 287, 288
Фолкнер Уильям 262
Фонтан Луи де 267
Фош Фердинанд 344
Франко Баамонде Франсиско 12, 155, 156, 292, 350
Франс Анатолий 297
Фрейд Зигмунд 77, 162, 292, 294, 296, 297, 301, 302, 304, 307
Френе Анри 440
Фридрих II 362, 390
Фромантен Эжен 75
Фрэ Роже 295
- Хаксли Олдос** 318
Хемингуэй Эрнест 167, 268
Хольтиц Дитрих фон 413, 416
Хо Ши Мин 312
Хрущев Никита Сергеевич 319, 332, 347
- Цезарь Гай Юлий** 334, 340, 343, 357
Цинциннат 254
Цицерон Марк Туллий 340
- Чан Кайши** 57
Чаплин Чарлз Спенсер 68, 76, 150
Черчилль Уинстон Леонард Спенсер 321, 329, 346, 347, 373, 380
Чехов Антон Павлович 447
Чжоу Эньлай 350
Чингисхан 87

- Шабан-Дельмас** Жак 325, 415
Шагал Марк 238
Шамфор Никола Себастьян Рок де 167
Шарден Жан Батист Симеон 272
Шатобриан Франсуа Рене де 89, 165
Шах-Джахан 276, 329
Шекспир Уильям 68, 224, 225, 254, 268, 284, 330, 447, 452
Шопен Фридерик 149
Шпенглер Освальд 8
Штрогейм Эрих 231
Шуберт Франц 448
Шуман Роберт 448
- Эйзенхауэр** Дуайт Дейвид 249, 374
Эйзенштейн Сергей Михайлович 12, 150, 316, 333, 346, 449
Эйнштейн Альфред 307, 336, 445
Эль Греко Доменико 272, 276
Энвер-паша 386
Энгельс Фридрих 371
Эренбург Илья Григорьевич 82, 233, 291, 343, 348
Эррио Эдуар 341, 374
Эсхил 88, 419
Эхнатон (Аменхотеп IV) 423
- Юнг** Карл Густав 169, 292

СОДЕРЖАНИЕ

У роковой черты, или Зеркало лимба <i>Л. Г. Андреев</i>	5
--	---

Запад и Восток

Искушение Запада (Избранные главы) <i>Перевод Л. Н. Токарева</i>	24
О европейской молодежи <i>Перевод Л. Н. Токарева</i>	39

От абсурда к братству людей

Удел человеческий (фрагмент романа) <i>Перевод И. И. Кузнецовой</i>	47
О фашизме во Франции <i>Перевод А. И. Рычагова</i>	64
Искусство — это завоевание. Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей <i>Перевод Л. Н. Токарева</i>	66
Человек в процессе рождения <i>Перевод Л. Файко</i>	69
Позиция художника <i>Перевод И. И. Кузнецовой</i>	73
Произведение искусства <i>Перевод А. П. Бондарева</i>	79
Предисловие к «Индокитай. SOS» Андре Виоллис <i>Перевод А. П. Бондарева</i>	81

Ответ шестидесяти четырем	
<i>Перевод А. П. Бондарева</i>	85
Годы презрения	
<i>Перевод Л. Н. Токарева</i> (предисловие и VIII глава) и	
<i>Я. Ю. Богданова</i> (главы I—VII)	89
За Тельмана	
<i>Перевод А. И. Рычагова</i>	146
О культурном наследии	
<i>Перевод А. П. Бондарева</i>	148
Речь в Мадриде	155
<i>Перевод А. И. Рычагова</i>	

Обретение Франции

Антимемуары	
<i>Перевод М. Н. Ваксмахера</i> (с. 158—223) и <i>В. А. Никитина</i> (с. 223—248)	158
Выступление, посвященное памяти партизан Дюресталья (Дордонь)	249
<i>Перевод А. И. Рычагова</i>	

Метаморфозы искусства

* Голоса безмолвия	
<i>Перевод Л. А. Зониной</i>	252
Предисловие к роману Луи Гийу «Черная кровь»	
<i>Перевод А. И. Рычагова</i>	262
Речь на церемонии открытия Дома культуры в Гренобле	
<i>Перевод Т. Любимовой</i>	265
Веревка и мыши	
<i>Перевод М. Н. Ваксмахера</i>	271
Бренный человек и литература (Фрагменты книги)	
<i>Перевод И. И. Кузнецовой</i>	282

Голос памяти

Веревка и мыши	
<i>Перевод М. Н. Ваксмахера</i> (с. 290—318, 384—413),	
<i>В. А. Никитина</i> (с. 319—346, 366—384), <i>Л. М. Цывьяна</i> (с. 346—366)	290
Надгробные речи	
<i>Перевод В. А. Никитина</i>	413

Наше единство — только в вопрошающих раздумьях <i>Перевод Е. П. Кушнина</i>	443
Комментарии. <i>Е. П. Кушкин, Г. В. Филатова</i>	453
Указатель имен. <i>Е. П. Кушкин, Г. В. Филатова</i>	508

Художественная публицистика

АНДРЕ МАЛЬРО

Зеркало лимба

Составитель *Евгений Петрович Кушкин*

Редактор *Т. В. Чугунова*

Художник *В. Б. Гордон*

Художественный редактор *В. А. Пузанков*

Технический редактор *Е. В. Величина*

Корректор *В. В. Евтюхина*

ИБ 16881

Сдано в набор 23.12.88. Подписано в печать 20.07.89.
Формат 84x108¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура
Баскервиль. Печать офсетная. Условн. печ. л. 27,3 +
+ 1,26 печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 28,77. Уч.-изд. л.
33,79. Тираж 50 000 экз. Заказ № 6. Цена 1 р. 80 к.
Изд. № 44032

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Прогресс» Государственного комитета СССР по де-
лам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17
Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткни-
га» Государственного комитета СССР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной торговли. 143200,
Можайск, ул. Мира, 93